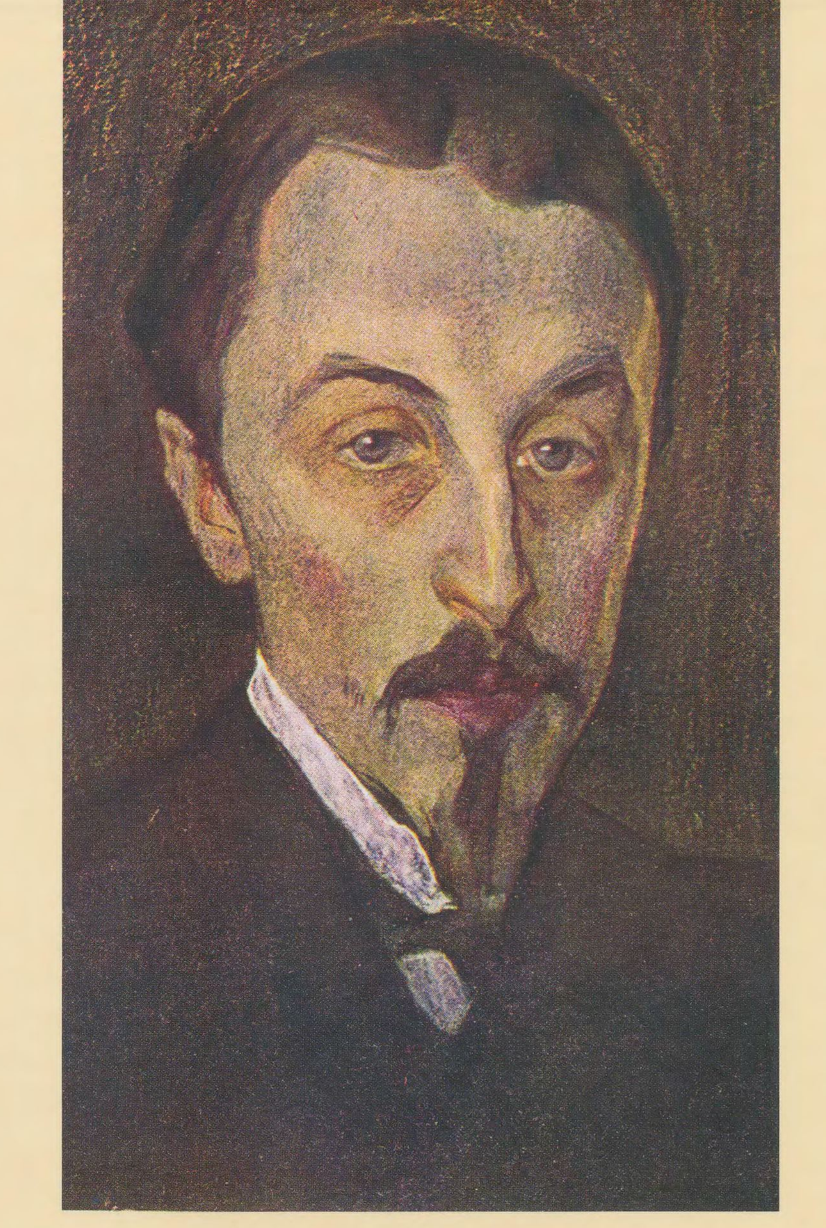
ОТБЛЕСКИ ВЕЧНОГО

Борис Зайцев

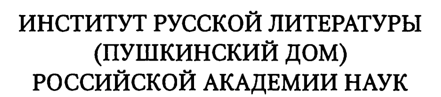


Борис Зайцев

ОТБЛЕСКИ ВЕЧНОГО

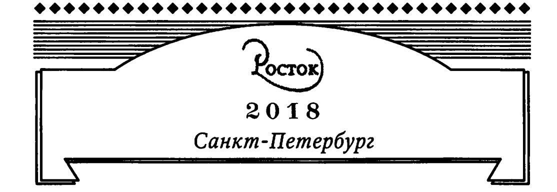
СЕРИЯ

Неизвестный XX век


ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Б. К. ЗАЙЦЕВ

ОТБЛЕСКИ ВЕЧНОГО



ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Б. К. ЗАЙЦЕВ

ОТБЛЕСКИ ВЕЧНОГО

Неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью



ББК 83.3(2Рос=Рус)
УДК 821.161.1-94-97
З17

З17 **Зайцев Б. К.**

Отблески Вечного. Неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. М. Любомудрова. — СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2018. — 736 с.

ISBN 978-5-94668-253-4

Впервые публикуется более двухсот произведений классика русского зарубежья Б. К. Зайцева (1881—1972): рассказы, очерки, воспоминания, статьи, рецензии, критика и публицистика. Они увидели свет в редких дореволюционных изданиях и в эмигрантской периодике, до сих пор не переиздавались и современному читателю не известны.

В книге открываются новые грани художественного мира и биографии Б. Зайцева. Особый интерес представляют записки очевидца февральских событий 1917 года, очерки путешествий по Франции и Финляндии, статьи о духовных и культурных событиях эмигрантской жизни 1920-х — 1960-х годов.

Для всех, интересующихся историей русской словесности XX века и ценящих творчество Бориса Зайцева, сочетающее изысканный стиль с глубиной и точностью мысли.

ISBN 978-5-94668-253-4



НЕИЗВЕСТНОЕ НАСЛЕДИЕ БОРИСА ЗАЙЦЕВА

«Мы не увидим уже Родины, но, конечно, никогда ее не забудем, и судьба ее всегда в нашем сердце. Вы, более чем вероятно, ее увидите. На чужой земле или на своей — дай вам Бог оставаться носителями и хранителями света Христова, "единого на потребу". <...> Не забывайте Россию. Идолам ее не поклоняйтесь. Величие ее духовное храните. Само оно будет просвечивать в делах ваших. Страданиям, пережитым Родиной вашей, поклоняйтесь. Мучеников ее не забывайте. Наши же сердца и помышления всегда будут с вами».[1] Такой завет русским молодым людям оставил Борис Зайцев в конце своего пути.

Борис Константинович Зайцев (1881—1972) принадлежит к плеяде писателей, начавших свой творческий путь в России, покинувших страну после революции и создавших самые известные свои произведения за рубежом. Вместе с собратьями по перу он проходил через испытания русского лихолетья, терял близких, обустраивался на чужой земле. Он бесконечно любил свою родину, увидеть которую ему было не суждено. Зайцев обрел известность в европейских странах, произведения его переводились на десятки языков. Но в советской России писатель был запрещен, в течение долгих десятилетий само его имя было вычеркнуто из русской литературы. Лишь в конце 1980-х годов книги Зайцева попали к российскому читателю, заняв подобающее им место в сокровищнице русской словесности. Имя классика отечественной литературы вошло в читательский и научный обиход.

Чем же был не угоден негромкий голос писателя, далекого от всяких политических манифестов? В отличие от ряда маститых собратьев-эмигрантов, Зайцев занимал последовательную и принципиальную позицию по отношению к советской власти. К «палачам России» и их наследникам он не мог испытывать никакого сочувствия: «Русский че-

[1] *Зайцев Б. К.* Уходящие — приходящим // Зайцев Б. К. Собр. соч. Т. 11. М., 2001. С. 338.

ловек слишком много пережил, слишком много видел. Сердце его уже годы кровоточит. Не забыть ему на чужбине безмерной Голгофы Родины. <...> В невиданных миром размерах воздвигнуто там гонение на *человека*, на его свободу, душу, религию».[2] Была и другая причина: глубоко христианская по своему духу проза писателя не могла быть допущена в страну, где господствовала идеология безбожия.

Впрочем, однажды имя Зайцева было названо с высокой трибуны. На Втором съезде советских писателей в 1954 году прозвучали слова: «Не молчат и враги нашей страны и нашей литературы. По случаю съезда был вытащен из ящика с литературным мусором белоэмигрант Борис Зайцев, который прошамкал у белогвардейского микрофона слова ядовитой бессильной злобы». Трудно найти более несовместимые вещи, чем слово этого писателя и «ядовитая злоба»... Упомянутое обращение к съезду Зайцева, а также его ответ на поношение читатель найдет в настоящем сборнике.[3]

В историю литературы Зайцев вошел как лирик, «поэт прозы», художник-импрессионист, тонко чувствующий звуки и краски мира. «Легкозвонным стеблем» называл его Константин Бальмонт.

Какова позиция художника в мире, где восторжествовали «безобразие, зверство и свирепость», где царствуют хаос и пошлость? Зайцев противопоставил всему этому гармонию, поэзию, свет. Неустанно напоминал о том, что «в душах наших не только не умирает, но, в изгнании сплачивая, ярче и чище светит облик Святой Руси — нашей духовной Родины. Нам дано огромное укрепление и счастье — в родных святынях. То, что самое важное и единственно великое в России, этого не отнять никаким политикам и никаким партиям. Оно с нами, в нашей душе и сердце».[4] Творческое и жизненное кредо были нераздельны у художника, убежденного, что «каждое малое слово участия, сострадание в беде, у́миление, помощь — отблески все того же Высшего и Вечного в людях. Доброта — голос Бога, говорящего через человека».[5] Зайцеву был дан дар разглядеть эти отсветы в окружающем мире и запечатлеть их в слове. Литературное наследие его — поистине «отблески Высшего и Вечного».

В русской литературе Борис Зайцев уникален и своими личными качествами. От литераторов Серебряного века его отличала безупречная нравственная позиция. Брак с Верой Алексеевной Орешниковой оказался прочным и гармоничным. Зайцев не был замешан в скандаль-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[2] *Зайцев Б. К.* Беда. См. наст. изд., с. 466.

[3] Ответ Бориса Зайцева А. Суркову. См. наст. изд., с. 482.

[4] *Зайцев Б. К.* Вифлеемская звезда. См. наст. изд., с. 468.

[5] *Зайцев Б. К.* Наш опыт. См. наст. изд., с. 463.

ных историях, никогда не изменял своим принципам и идеалам. Может быть, поэтому ему была дарована долгая жизнь: творческий путь писателя продолжался семь десятилетий. В отличие от большинства «серебряных» талантов, которые не оставили детей, «род праведника», по библейской истине, умножился: многочисленные потомки его живут и здравствуют доныне. Судьба даровала девяностолетнему писателю безмятежную и мирную кончину на руках любящих людей.

Еще до революции он удостоился определений критики: смиренный, инок, тишайший, даже блаженный. Пожалуй, в полной страстей и личных драм атмосфере художественной жизни он и вправду выглядел блаженным. «Воды глубокие плавно текут. Люди премудрые тихо живут», — сказал Пушкин. Может быть, поэтому имя Зайцева оставалось в тени более ярких, бурных и драматичных биографий современников — Бунина и Мережковского, Набокова и Вяч. Иванова, А. Толстого и А. Куприна. В воспоминаниях писатель предстает как образец доброты, простоты, честности, скромности, благородства. Его «иконописный» облик отражал внутреннюю душевную чистоту. Хорошо сказал критик С. Яблоновский: «Одни перекрасились, другие застонали, третьи прокляли, все шарахались в разные стороны, — а Зайцев смотрел, и в лице его — как всегда! — были и ясность, и строгость, и любовь, и печаль, и улыбка. Сам переносил — все перенес. Другим помогал переносить. Учил без учительства. Мирился. Не с злодейством, не с подлостью, а с жизнью, потому что жизнь для него — подвиг, и когда можно — радость, и — когда надо — Голгофа».[6]

Однако Зайцев не был неотмирным анахоретом. Наоборот, он всегда оказывался в центре литературной жизни — и в России, и в Зарубежье, его не раз избирали главой писательских объединений. Четверть века он провел на посту председателя Союза русских писателей и журналистов во Франции, снискав любовь и уважение своей отзывчивостью и доброжелательностью, был автором многих культурных и общественных инициатив. Деятельная любовь к бедствующим собратьям проявилась и в личной помощи, и в устройстве благотворительных вечеров, сборов средств в пользу нуждающихся.

Еще одна черта выделяет Зайцева из писателей XX века: его творческий путь протекал, как он сам признавался, «при свете Евангелия, Церкви». Христианское мироощущение помогло ему соблюсти внутреннюю душевную гармонию в эпоху страшных катастроф, оно подспудно присутствует во всех его текстах. Исторические катаклизмы, революции и войны XX века он рассматривает с точки зрения Вечности. Неколебимой оставалась вера в Промысл Божий: «Ничто в мире

[6] *Яблоновский С.* Блаженный // Зайцев Б. К. Собр. соч. Т. 11. С. 346.

зря не делается. Всё имеет смысл. <...> День и ночь, радость и горе, достижения и падения — всегда научают. Бессмысленного нет».[7] В долгом творческом пути писателя не было мучительных поисков и метаний. Его личность и творчество гармоничны, в них сочетаются любовь к культуре Запада и верность русским идеалам, заинтересованная отзывчивость на самые разные явления общественной, культурной, религиозной жизни разных стран и преданность Церкви. «Светский, но православный»[8] — так писатель определил свою позицию.

Борис Константинович Зайцев стал подлинным летописцем блистательного века русской словесности. На протяжении 70-ти лет, проведенных в России и Франции, он общался с писателями, издателями, литературными критиками, искусствоведами, артистами, музыкантами. Своим современникам он посвятил сотни мемуарных очерков, портретов, заметок, приветствий и некрологов. Среди мемуаристов Зайцев выделяется объективностью и беспристрастностью. Он обладал даром увидеть, почувствовать и запечатлеть суть личности, проникнуть в сущность творчества, дать точные и глубокие оценки. Сегодня без его мемуарных очерков невозможно полное представление об истории русской литературы XX столетия.

История возвращения наследия Зайцева начинается в 1987 году, когда в периодике появилось несколько очерков, а вскоре в журнале «Русская литература» (1988. № 2—4) Ю. М. Прозоров опубликовал его книгу «Жуковский». В 1989—1990 гг. вышло семь однотомников Зайцева (составители А. Д. Романенко, Т. Ф. Прокопов, О. Н. Михайлов, Л. А. Иезуитова) и с этого времени количество изданий избранных произведений писателя множится. В их подготовке принимали участие С. Р. Федякин, Т. В. Гордиенко, Р. Герра и другие. В 1993 году появилось первое в новой России собрание сочинений — трехтомник, подготовленный Е. В. Воропаевой и А. Е. Тарховым;[9] хотя объем включенных в него текстов не столь велик, издание отличается высоким научным уровнем, подробным комментарием.

Были изданы на родине книги воспоминаний «Москва», «Далекое», художественные биографии Жуковского, Чехова и Тургенева, паломнические книги «Афон» и «Валаам». Автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба» вышла отдельным томом в 1996 году.[10]

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[7] *Зайцев Б. К.* Собр. соч. Т. 6. М., 1999. С. 116.

[8] *Зайцев Б. К.* Собр. соч. Т. 9. М., 2000. С. 222.

[9] *Зайцев Б. К.* Соч.: В 3 т. / Вступ. ст. и коммент. Е. В. Воропаевой; сост. Е. В. Воропаевой и А. Е. Тархова. М.: Терра, 1993.

[10] *Зайцев Б. К.* Атлантида / Сост. Н. И. Лаврентьевой, вступ. ст. А. П. Черникова. Калуга, 1996.

Публицистическое наследие Б. Зайцева огромно: количество документально-очерковых и художественно-публицистических текстов исчисляется сотнями. Далеко не все очерки были собраны писателем в отдельные книги; основная часть оставалась рассеянной в периодике русского зарубежья. Первые попытки собрать эти тексты были сделаны Н. Б. Зайцевой-Соллогуб (*Зайцев Б. К.* Мои современники. Лондон, 1988), Л. Н. Назаровой (Русская литература. 1989. № 1), А. Д. Романенко (*Зайцев Б. К.* Братья-писатели: Воспоминания. М., 1991). А. К. Клементьев издал дневниковые циклы — «Странник» (СПб., 1994) и «Дни» (М.; Париж, 1995), причем источниками послужили гранки с авторской правкой, хранившиеся тогда в парижском архиве писателя, — публикатор имел редкую возможность получить доступ к этому архиву.

В сборнике «Знак Креста» (М., 1999) впервые был републикован роман «Дом в Пасси», а также ряд неизвестных очерков.[11]

Итогом эдиционной активности российских исследователей Зайцева стало Собрание сочинений, выходившее в 1999—2001 годах в издательстве «Русская книга».[12] Главный редактор и составитель Т. Ф. Прокопов привлек для подготовки отдельных томов и других исследователей, в частности, немалый вклад внесла известный московский историк литературы и коллекционер Евгения Кузьминична Дейч. Первоначально был запланирован и издан пятитомник, но впоследствии издательство расширило проект и выпустило дополнительные тома, количество которых (шесть) превысило число основных; тома 10 и 11 посвящены эпистолярию Б. Зайцева.

11-томное собрание сочинений является на сегодняшний день самым полным и служит основой для научных исследований и изданий. Оно снабжено комментариями, именными указателями, в приложениях опубликованы литературно-критические статьи зарубежья, посвященные Б. Зайцеву. Вместе с тем оно не лишено недостатков: материалы распределены по томам без единой системы, издатели не ставили задачу сверки текстов по первоисточникам, в качестве источников зачастую служили републикации произведений в России. Оставляет желать лучшего и текстологическая подготовка: встречаются ошибки, неточности, как например пропуск нескольких строф в переводе «Ада» Данте. Тем не менее ценность издания не подлежит сомнению.

После выхода 11-томного собрания введение в научный оборот новых текстов Зайцева замедлилось, ограничиваясь лишь редкими

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[11] *Зайцев Б. К.* Знак Креста: Роман. Очерки. Публицистика / Вступ. ст. и коммент. А. М. Любомудрова. М.: Паломник, 1999.

[12] *Зайцев Б. К.* Собр. соч.: В 11 т. / Сост., общая редакция Т. Ф. Прокопова. М.: Русская книга, 1999—2001.

публикациями небольших текстов; отдельными книгами вышли цикл «Дневник писателя» и афонские очерки и заметки.

С момента первых публикаций Зайцева в современной России прошло три десятилетия. К настоящему времени все еще оставались не републикованы и незнакомы читателю, не введены в научный оборот сотни текстов, вышедших из-под пера художника. Очевидна несправедливость: наследие других писателей-эмигрантов первой волны издано гораздо полнее. А ведь речь идет о классике литературы, чье творчество является, несомненно, национальным достоянием. Настоящее издание восполняет этот пробел.



Итак, в данную книгу включены произведения, отсутствующие как в Собраниях сочинений Б. Зайцева — 3-томном (М., 1993), 11-томном (М., 1999—2001), так и в сборниках его произведений, выходивших в России с 1980-х годов по настоящее время. Например, в собрания сочинений не вошли двенадцать глав цикла «Дневник писателя», а также ряд очерков и заметок разных лет, посвященных путешествию Зайцева на Святую Гору Афон. Эти тексты не включены в настоящую книгу, поскольку в недавние годы вышли отдельными изданиями.[13]

Помещены несколько текстов, републикованных в российской периодике, — четыре рассказа,[14] пять очерков и три рецензии. Остальные тексты — а всего в книге их около двухсот — публикуются в современной России впервые.

Полноценная работа по поиску газетных и журнальных публикаций была бы невозможна без библиографических пособий. Ценным справочником при подготовке настоящей книги, послужило издание: Борис Константинович Зайцев: Библиография / Сост. Р. Герра; Ред. Т. А. Осоргина. Париж, 1982. Оно отличается полнотой, продуманной рубрикацией и системой перекрестных отсылок, учитывает редкие издания не только европейского русского зарубежья, но также Китая,

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[13] *Зайцев Б. К.* Дневник писателя / Вступ. ст., подгот. текста, коммент. А. М. Любомудрова. М.: Русский путь, 2009; *Зайцев Б. К.* Афины и Афон. Очерки, письма, афонский дневник / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. А.М. Любомудрова. СПб.: Росток, 2011.

[14] Ранние рассказы Б. Зайцева, не вошедшие в 11-томное Собрание сочинений («На станции», «Гора Угрюмая», «Скопцы», «Утки»), после его выхода в свет были републикованы в изд.: *Зайцев Б. К.* Ранняя проза / Сост., предисл. Т. В. Гордиенко. М., 2004; в силу мизерности его тиража эти рассказы включены в настоящую книгу.

США, Канады. Вместе с тем сегодня оно перестало быть научно удовлетворительным, поскольку содержит немалое число ошибок — как в датах и номерах изданий, так и в идентификации текстов: ряд материалов с пометкой «тот же текст» на самом деле таковыми не являются.

Последнее обстоятельство стало одной из причин того, почему некоторые произведения столь долго оставались непереизданными: писатель часто давал одни и те же заголовки разным текстам. Из-за этого в библиографию, а оттуда и в комментарии вкрались ошибочные сведения. Например, очерки, посвященные одной и той же личности и названные одинаково («О. Георгий Спасский», «Митрополит Евлогий» и др.) представляют собой разные тексты, разделенные порой десятилетиями. Эта особенность касается не только отдельных рассказов, очерков, заметок, но даже целых книг: так, в 1923 и 1951 году вышли книги Зайцева под названием «Италия», в обеих есть главы «Венеция» и «Флоренция», однако и книги, и главы представляют собой совершенно разные тексты. Другой казус: долгое время считалось, что первая редакция очерка «Мы, военные», вошедшего в книгу «Москва» (1939), была опубликована в 1917 г. в журнале «Народоправство». В действительности, там находится совершенно другой текст (но под тем же названием), который оказался забыт на целое столетие.

Необходимость в современных библиографических справочниках сегодня восполнена двумя книгами: Б. К. Зайцев: Биобиблиографический указатель / Сост. В. А. Дьяченко, вступ. ст. А. П. Черникова. Калуга, 2001; *Яркова А. В.* Борис Константинович Зайцев: Семинарий. СПб., 2002. Они явились существенным подспорьем и при подготовке данного издания.

Бóльшая часть текстов, вошедших в настоящую книгу, извлечена из периодики русского зарубежья. Это журналы, газеты, альманахи, специальные выпуски газет, среди которых как общеизвестные, так и редкие издания. Работа по их собиранию представляла определенные трудности: до сих пор периодика зарубежья представлена в российских хранилищах выборочно и разрозненно, многие подшивки имеют лакуны. Лишь единичными номерами представлены в России такие крупнейшие газеты, как «Сегодня» периода 1930-х годов или «Русская мысль» конца 1940-х — начала 1950-х годов. Ряд номеров удалось разыскать только в зарубежных библиотеках и архивохранилищах.

В ходе подготовки книги обнаружилось, что и дореволюционное наследие Зайцева не переиздано целиком. На протяжении века неизвестными оставались несколько рассказов 1900-х годов, а также представляющие большой историко-культурный интерес выступления Зайцева 1917-го года в еженедельнике «Народоправство» — протест

против реформы правописания и воспоминания о днях Февральской революции в Москве.



Самый ранний материал данной книги датирован 1902-м годом, самый поздний — 1970-м. На протяжении семи десятилетий протекала насыщенная творческая жизнь, и в каждом периоде были написаны произведения самых разных жанров, оказавшиеся забытыми сегодня. Настоящий том — не только количественное расширение, ряд материалов открывают новые, подчас неожиданные грани творчества и судьбы Бориса Зайцева. Не в последнюю очередь это касается и публикаций 1917 года. Зайцев, юнкер, а затем прапорщик Российской армии, депутат солдатского совета (был и такой эпизод в его биографии) выступает в очерке «Мы, военные» как чуткий, эмоционально отзывчивый свидетель крушения империи и первых дней новой власти; его наблюдения над психологией разных слоев общества — курсантов, солдат, офицеров — ценный материал для русской истории. Яркое выступление писателя в защиту прежней орфографии («Наш язык») — осталось единственной ее апологией, опубликованной в советской России, в тот краткий период, пока цензура не стала еще полновластной. По-своему интересны и примечательны обмен репликами представителя Серебряного века с участниками съезда советских писателей 1954 года, неизвестные заметки о Данте и переводах его «Божественной комедии», забавный лингвистический спор по поводу выражения «купаться в ванне».

Материалы структурированы по жанрово-тематическому принципу. Открывает книгу раздел художественной прозы. Первые, во многом ученические, рассказы демонстрируют становление начинающего прозаика, его творческие интересы и предпочтения. Пять находящихся здесь рассказов были изданы еще до революции, другие написаны в эмиграции, но также посвящены России дореволюционной. Для знатоков зайцевского творчества может оказаться неожиданным забытый рассказ «Скопцы» (1904), где Зайцев отдал дань модной в начале XX века теме сектантства.

Среди зарисовок о детстве и юности выделяется рассказ «Мать» — признательная дань памяти матери, Татьяны Васильевны, чей образ нечасто возникает в автобиографической прозе, а также «Бесполезный Воронеж» — шедевр, где мастерски передана нарастающе-тревожная атмосфера предреволюционной России, сопрягающаяся с ключевой для художественного мира писателя оппозицией духовного и бытового, звездно-небесной легкости и тяжкого гнета земных забот. От лица героини ведется повествование «Вечер Блока», где документально запе-

чатлено чтение Александром Блоком своих стихов в Москве в 1920 году. Найдена интонация, передающая трагический облик поэта, уставшего от окружающей жизни и предчувствующего приближение конца.

Новый штрих к творческой биографии Зайцева — публикация трех глав романа, замысел которого родился у Зайцева в 1930 году, но остался нереализованным.

Современной эмигрантской жизни Зайцев посвящал либо крупные, романные формы («Путешествие Глеба»), либо разнообразные документальные жанры. Редкое исключение — импрессионистическая художественная зарисовка «Подземное свидание», в которой запечатлен облик Парижа: автор наблюдает картины, типажи, образы парижской жизни, большая часть которых предстает перед его взором в «чреве Парижа» — метрополитене.

Читателям хорошо знакомы книги путешествий Зайцева, посвященные Италии, Греции (Афону) и Валааму. В своих травелогах писатель неизменно внимателен к культуре, истории, искусству, к поэтам и драматургам, святым и подвижникам. Настоящая книга знакомит с очерками, посвященными Франции и Финляндии. Новая, незнакомая до сих пор страница творчества — очерки о французских городках Прованса, а также о Шартре, Руане, Ницце, Монте-Карло, которые Зайцев посещал на протяжении 1920—1930-х годов. Французский цикл, насчитывающий 12 очерков, демонстрирует восприятие автором культуры и истории Франции, и, как всегда, сочетает исторический обзор с картинами современной жизни. Он дополнен двумя объемными очерками об исторических районах Парижа, где жили русские эмигранты и сам Зайцев, — «Пасси» и «Отейль».

Но и Италия, вторая духовная родина писателя, снова и снова привлекала его. В эмиграции Зайцев с радостью посещал знакомые земли, запечатленные в книге «Италия» (1923). Свои итальянские травелоги он дополнил очерком «Страна св. Франциска» (1929), а в 1949 году описал новое турне по четырем итальянским городам.

Известная, не раз переиздававшаяся книга Зайцева «Валаам» посвящена монастырю и острову, но в нее не вошли впечатления писателя от «русской Финляндии», где он гостил летом 1936 года. Очерк «К родным краям», записи о пребывании в Келломяки (нынешнем Комарово), о поездке на Черную речку к местам памяти Леонида Андреева составляют цикл финских заметок писателя.

Тематическое и жанровое многообразие наследия Б. Зайцева впечатляет. В нем можно найти автобиографические и мемуарные очерки, очерки путешествий, литературно-критические статьи, рецензии, публицистические заметки, историко-культурные экскурсы, портреты и некрологи, заметки о религиозно-духовной жизни, публицистиче-

ские обращения и письма в редакции газет. «Творчество Зайцева исключительно цельно, оно обладает таким внутренним единством, что произведения разных жанров не только дополняют друг друга по содержанию, освещению реальности, но подчас трудно выделить грань между разными жанрами и даже группами жанров, — справедливо полагает А. В. Громова. — Так, например, бывает зыбка грань между публицистическими и художественными произведениями, литературно-критические произведения (рецензия, статья, силуэт, критико-биографический очерк) не только объясняют движение Зайцева к жанру биографии писателя и литературного портрета, но и раскрывают их жанровые особенности».[15]

На наш взгляд, специфику документально-очерковой и публицистической прозы писателя можно определить словом «отклик». Тексты действительно являются откликами на самые разные события литературной, общественной, религиозной жизни. Объектами авторского осмысления становятся писатели-классики и современные литераторы, философы и ученые, театральные премьеры и выставки, церковная жизнь, русская святость. Цельность всем текстам придает личность автора. Его идеи, концепции, оценки, его мировоззрение и эстетические вкусы остаются неизменными, о каких бы сферах жизни он ни говорил.

Зайцев известен как вдумчивый критик и литературовед. Искусство слова всегда оставалась для него главным и любимым предметом. Несмотря на то, что сотни его историко-литературных статей, заметок и очерков уже опубликованы, удалось обнаружить и поместить в данный том два десятка неизвестных материалов, посвященных литературе. Заметки о Тургеневе, Чехове воплощают сюжеты их биографии, которые не нашли отражения в известных книгах Зайцева; читатель также может впервые познакомиться с восприятием писателем Лескова и Льва Толстого. Представляют интерес оценки художников XX века — Аделаиды Герцык, «Серапионовых братьев», Вс. Иванова, С. Семенова, С. Найденова, заметки о Паустовском и Пастернаке, с которыми Зайцев был знаком и которых высоко ценил. О его неизменном внимании к современному литературному процессу говорят и десять рецензий периода 1923—1954 годов; среди рецензируемых авторов — П. Муратов, М. Осоргин, Ф. Степун, Н. Тэффи, Н. Берберова, Р. Кюфферле и др.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[15] *Яркова (Громова) А. В.* Жанровое своеобразие творчества Б. К. Зайцева 1922—1972 годов. Литературно-критические и художественно-документальные жанры. СПб., 2002. С. 18.

Зайцев обладал несомненным даром не только литературного, но и театрального критика. Об этом говорят главы книги «Москва» — «Начало Художественного театра» и «Надежда Бутова», очерк «Искусство актера» (о Михаиле Чехове и Станиславском) в «Дневнике писателя» и др. В настоящем издании они дополняются впечатлениями от гастролей Пражской мхатовской группы 1926-го года, постановки «Чайки» в театре Матюрен (1939), концертов певицы Нины Кошиц.

Среди классиков Серебряного века Борис Зайцев выделялся особой душевной интуицией, способностью постигать историческую личность, культуру или эпоху путем «вчувствования», что позволяло ему выявлять главное и самое существенное. Мемуарную прозу Зайцева неизменно отличает безупречная форма, тонкая образность, внимание к детали, жесту. Его воспоминаниям присущи свежий, острый взгляд, точность мысли, поразительная память. Живой портрет сопрягается с проницательными оценками творчества. Воспоминания Зайцева о деятелях русской культуры (в настоящей книге это А. Блок, А. Белый, К. Бальмонт, Вяч. Иванов, И. Бунин, Б. Пастернак, А. Ремизов, Н. Телешов, Н. Белоцветов, Е. Замятин и другие) остаются непревзойденными по объективности, спокойному доброжелательному тону и глубине постижения духовной сущности человека.

Отдельные группы составляют очерки, освященные духовной, культурной и даже спортивной («Алехину») жизни эмиграции, лирико-философские эссе, в которых писатель сопереживает безмерным страданиям родины, рассуждает о смысле пребывания русских за границей и возложенной на них миссии. Проникновенные заметки к православным праздникам отличаются той же магией зайцевского слова, задушевной интонацией и глубоким христианским пониманием духовного смысла события.

Если до войны основными площадками для публикаций Зайцева были «Последние новости» и «Возрождение», то в послевоенное время таким органом стала газета «Русская мысль». С этим изданием Б. Зайцев активно сотрудничал с момента его основания в 1947 году. Здесь на протяжении многих лет он публиковал дневниковый цикл «Дни», однако десятки других заметок и очерков до сих пор были не переизданы в России. Треть всех материалов настоящего издания составляют публикации именно из «Русской мысли». Среди них — литературные портреты и юбилейные очерки, приветствия и некрологи, посвященные В. Зеелеру, В. Смоленскому, М. Алданову, С. Лифарю, Е. Рощиной-Инсаровой, очерки памяти А. Ремизова, Е. Замятина, Л. Шейнис, С. Водова и многих других; они представляют несомненный интерес для истории русской культурной эмиграции во Франции послевоенных десятилетий.

Общественная деятельность Б. Зайцева, занимавшего пост председателя Союза русских писателей и журналистов во Франции, отражена в разделе «Обращения, объявления, анонсы». На протяжении десятилетий Зайцев публиковал призывы помочь бедствующим литераторам, ветеранам войны, студентам, шоферам, детям-сиротам, обращался с просьбами посетить благотворительные мероприятия, пожертвовать на строящийся храм или дом призрения. В этих призывах Зайцев находит простые и очень убедительнее, берущие за сердце, слова. Эта сторона жизни Зайцева должна быть непременно освещена в его будущих биографиях.

Зайцева знают как «кротчайшего», «блаженного», умиротворенного художника. Меньше известен Зайцев-полемист, который бескомпромиссно обличал неправду, находя веские и точные аргументы, сохраняя при этом выдержку. В раздел «Письма в редакцию» включены и коллективные обращения, под которыми стоит подпись Б. Зайцева. Ряд признаков, содержательных и стилистических, позволяют уверенно предположить, что Зайцев являлся одним из авторов этих текстов.

Заключают книгу новые материалы к биографии писателя: ответы на анкетные опросы 1920—1930-х годов, выступления на юбилейных вечерах, интервью.

Составитель надеется, что данное издание явится ступенью к будущему полному академическому собранию произведений выдающегося классика русской литературы XX века.

Составитель приносит благодарность М. А. Соллогубу и П. А. Соллогубу за разрешение на публикацию текстов Б. Зайцева. Существенную помощь в собирании и обработке материалов для книги оказали зав. отделом русского зарубежья РГБ Н. В. Рыжак и сотрудник этого отдела А. И. Бардеева; хранитель фонда НБФА А. А. Федюкин († 2012), сотрудники Дома русского зарубежья им. А. Солженицына И. В. Домнин и В. В. Леонидов, сотрудник библиотеки Пушкинского Дома Н. С. Быкова, зав. читальным залом литературы русского зарубежья БАН Т. Н. Климова. Ценные консультации оказали филологи О. В. Коростелев, проф. Манфред Шруба, В. А. Лукина, А. П. Дмитриев, О. Л. Фетисенко, А. Ю. Романов, П. Н. Базанов. Всем этим лицам составитель приносит глубокую благодарность, равно как и директору издательства «Росток» Л. И. Чикаровой, всемерно поддержавшей издание неизвестного наследия Б. К. Зайцева.

А. М. Любомудров

РАССКАЗЫ. ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

НА СТАНЦИИ

I

Было половина четвертого утра, когда телеграфистка второразрядной станции Фекла Григорьевна бросила аппарат и отправилась к буфетчику за чаем. Выходя из аппаратной в красную дверь с дощечкой «Посторонним вход воспрещается», она мельком глянула в маленькое зеркальце у выхода и, увидевши там свое желто-грязное лицо с гладко зализанными назад маслянистыми волосиками и с наполовину провалившимся носом, — сжала руку в плоский кулачок и на ходу поднесла его к бледному стеклу зеркала.

В комнате для третьего класса на полу валялись окурки, пахло махоркой и потом и на скамейках, как поленья, были разбросаны храпевшие и подсвистывавшие мужики; проходя мимо них, Фекла Григорьевна заглядывала каждому в лицо, и ее раздражали эти красные, заросшие волосами, но неклейменые люди, которым незачем показывать зеркалу кулаки.

Буфетчик, толстый, заспанный человек в пиджаке и нечистой рубашке «фантэзи» с шнурочками, угрюмо выставлял на стойку сыр под колпаком, вялую селедку и уравнивал вереницу рюмок на длинном узком эшафоте: ждали поезда; горела одна только лампа, воняла керосином и освещала мрачный накрытый стол с красногорлыми бутылками, стеклянными побрякушками на подсвечниках и искусственными пальмами в кадках.

Скучно было и буфетчику, и стенам, и старому лакею Ионычу, который все ходил и оправлял приборы, даже самим приборам; стол же был похож больше на глазетовый гроб; и Фекле Григорьевне, проходя, даже захотелось запеть: «Пара гнедых, запряженных с зарею».

— Не в тот стакан... ты! — крикнул буфетчик Ионычу и подошел сам к Фекле Григорьевне.

— У них свой стакан есть, не знаешь?

И он налил ей и подал.

Когда она вернулась с чаем к себе в комнатку, аппарат уже стучал что-то, и по бесконечной ленте выползали таинственные значки Бог знает откуда, а через большое, вроде венецианского, окно — ложился отблеск розоватых туманов, встававших далеко за рекой.

Из всего, что было вокруг, Фекла Григорьевна больше всего любила этот аппарат; в его скромном стуке было что-то такое загадочное и значительное, что Фекла Григорьевна даже боялась его; ей казалось по временам, что это дает свои знаки кто-то живущий выше этого мира станций, железных дорог, контролеров и обер-кондукторов; и глядя, как не торопясь и спокойно выползали черточки и точки, она иногда даже волновалась и загадывала, что выстучит людям ее любимец — горе, радость или еще что; а когда в такие минуты приходилось считывать с ленты, что поезд № 27 вышел со станции Лопоухова, — становилось смешно и досадно.

Но такие же неважные черточки и точечки бывали и тогда, когда, сложивши их, она получала:

— Папа при смерти, — и опять он вырастал в ее глазах.

Потом, аппарат был единственным существом, которое глубоко, не по-земному было равнодушно к Фекле Григорьевне; люди, когда говорили с ней, то держались двух крайностей: или брали слащавый, противный тон, каким говорят с больными и идиотами, или не скрывали отвращения; когда она разговаривала с людьми, то ей казалось, что самое ее дыхание — невкусный гнилой воздух — отравлял и пропитывал все живое вокруг, ложился мертвенным налетом на оживленные лица и тусклил их. А аппарат не знал живых и неживых, красивых и некрасивых, умных и глупых, как не знал их и тот, который двигал всем этим и назначал одним одно, другим другое.

И ей казалось, что люди не любят этот таинственный аппарат, а это было для нее еще одним поводом любить его.

Когда на станции бывало много народу, шныряли артельщики, ходил красноносый начальник станции в красной фуражке, толстый обер с пряжкой на животе плыл с подорожной — она вся как-то сжималась и приникала к своему другу; ей казалось, что здесь, рядом с ним и с тем, от которого и он зависит, она в безопасности, она часть чего-то — некоторая положительная величина; а те, что кругом здоровые и хлопотливые муравьи с разными фуражками, кантами, погонами, пиджаками, юбками, — все одинаково враждебны, и страшно попасть к ним.

II

Фекла Григорьевна отхлебнула из своего «особенного» стакана с матовыми разводами два раза и подносила его ко рту в третий, когда дверь на блоке взвизгнула, и в аппаратную вошел Брыкин.

Брыкин ездил контролером на пассажирских поездах, был молод, крепок и слыл покорителем сердец; носил железнодорожную форму с фиолетовыми кантиками и любил прогуливаться по платформе, засунув руки в карманы брюк и особенно аппетитно ступая мягкими подошвами по полу; больше всего ему нравилось тут, что у него низенькие и блестящие офицерские сапоги и коротенькая влитая тужурка, которая сзади чуть-чуть вспользает складками и обрисовывает формы; и он старался повнушительнее покачивать при ходьбе этими формами, потому что выходило похоже на путейского студента или даже на кавалериста.

— Наше вам, — сказал он Фекле Григорьевне и лениво протянул руку; та, не отрываясь от аппарата, пожала ее. — Стучите?

Ответа он не получил и так зевнул, что даже слезы выступили на глаза, а середина носа побледнела.

— Черт бы ее драл, эту новую дорогу... Анафема... Поезда опаздывают, безбилетных все равно сколько угодно, а ты иди, щелкай... Ерунда все это! Да впрочем, все сволочи. Вот ваш аппарат, например, Фекла Григорьевна, и вы сами... Ну, на какого дьявола?

Он сел верхом на стул, навалился грудью на край стола и подпер голову с обеих сторон руками; глаза у него глядели мутно и зло, и сам он был теперь больше похож на какую-то тяжелую, скучную тушу, чем на льва и человека в облитой тужурке.

— Ну, когда седьмой номер придет, знаете? Опаздывает?

— Не прибыл еще на Подколесную, — прогнусавила Фекла Григорьевна и опять уткнулась в аппарат. — Не знаю.

— Не прибыл! Не знаю! Эх вы! Что вы знаете-то? Как романчики разве водить?

— Никакие не романчики, не романчики... оставьте, пожалуйста, — сердито забурчала она, и ее лицо из серо-желтого сделалось серо-багровым, а бесцветные глаза стали еще белей на этом фоне.

Брыкин отвалился на стуле, заложил ногу за ногу и как будто даже подмигнул.

— Как же не романчики? А то что же? Все от романчиков!

Фекла Григорьевна побледнела, медленно отодвинулась от аппарата и молча уперлась глазами в Брыкина. Брыкин насмешливо сопел.

— Это вы про то, что я урод, — сказала она наконец с тихой, блуждающей, почти бессмысленной улыбкой. Потом вынула из ящика стола маленькое ручное зеркальце и поднесла к самому лицу.

— Хм... хм... По-моему, даже лучше так, — гнусавила она все тем же странным, как будто шатающимся тоном. — Так лучше. Я не согласна, я так красивее.

И, медленно подымая голову от зеркальца, она уставилась на Брыкина своими выпучившимися бесцветными глазами и опять бессмысленно усмехнулась.

Брыкин прыснул.

— Ну, Фекла Григорьевна! Ну, удружили! Эх, милейшая, даже сон прошел, ей-богу! Кр-расавица моя! Вон ведь и Подобедов говорит, какая вы красавица — просто восторг, мол.

— Как По-Подобедов, почему Подобедов, — встрепенулась вдруг Фекла Григорьевна, и глаза у ней испуганно заметались.

— Да так, — смеялся все Брыкин. — Очень просто. Так расхваливал мне вас вчера, влюблен, прямо как кот. Так расхваливал...

Фекла Григорьевна, как угорелая, сорвалась с места, заметалась, забормотала, забрызгала слюной и чуть не наскочила на Брыкина.

— Я не виновата, не виновата, — гнусила она, задыхаясь и глотая слова, — зачем Подобедов, зачем вы его сюда... он не говорил так, врете... Это подло, не виновата... чего вы, чего, чего? Я не развратная, я не романчики... я, то есть, да, я уродом родилась, это подло, так, как вы, только мерзавцы делают.

С налету она схватила фуражку Брыкина, поднесла ее к самому носу, потом швырнула в сторону и выскочила сама вон из комнаты.

III

На платформе Фекла Григорьевна остановилась и, как собака на стойке, вытянула голову вперед и вбок, как будто к чему-то прислушивалась, хотя ничего ей не нужно было слушать.

В углу на сырой от росы платформе темнели кучкой мужики на кульках, ждали поезда, зевали и вполголоса разговаривали; поближе, облокотившись на большой поездной фонарь с красным огоньком, дремал кондуктор; на запасных путях безнадежно маневрировал паровоз, и по линии ползали с людьми зеленые и красные огоньки.

Станция была не прямо на пути, к нему вел пологий скат, по которому был разбит цветник с огромными царскими вензелями посредине, а дальше, за линией, опять откос — громадный и длинный спускался уж в луга. Фекла Григорьевна сбежала по ступенькам к рельсам и долго и внимательно рассматривала эти прямые холодные полоски с железным стальным отблеском. Они как будто разделяли мир на две неравные части: здесь, по эту сторону, была только Фекла Григорьевна, станция, телеграф и кондуктора; там, где днем лежали красивые зеленые луга, река и лесистый подъем за рекой, теперь стелился бледно-розовый туман, бесшумно переползал с одного места на другое, выдвигал из себя то кусок леса, то колокольню, разлетался какой-то фантастической лентой внизу, и то казалось, что это появились новые

бледные озера на лугах, то, что белая река течет теперь прямо на Феклу Григорьевну.

Как будто там замышляли что-то грандиозное, не похожее на станцию и телеграфисток, но не знали еще наверняка, как это выйдет, и пробовали разно.

Ровно в три на станции как-то сразу захлопали дверьми, заныл где-то рожок и приполз поезд. Фекла Григорьевна отодвинулась. Один за другим, как тени, проходили перед ней сонные полупустые вагоны, и в капельках серой росы на них лежало еще дыхание смутной, мягкой ночи, молчаливых полей и тишины, из которой они пришли.

Когда подполз синий, задумчивый и длинный вагон первого класса, она решительно вспрыгнула на подножку и вошла внутрь; в длинном коридоре с зеркальными окнами было тихо, пусто и стоял тот особенный, тонкий и глубоко грустный запах безлюдья, который бывает во всех нежилых помещениях. С размаху Фекла Григорьевна отодвинула дверь в купе и так же быстро и сильно задвинула ее за собой, будто в самом деле собиралась ехать.

Окно в купе было задернуто шелковой синей занавесочкой, стоял синеватый полумрак.

Фекла Григорьевна постояла, потом повалилась на диван и лежала долго и тихо, как в гробу; не было ни станции, ни Брыкина и никого, кроме синеватой тишины и тонкого мертвенного запаха.

И она с наслаждением ощущала только одно: сейчас они тронутся тихо и плавно, вагон будет мягко постукивать и под полом будет что-то бежать — и так они поплывут дальше и дальше, через железный мост и реку, Бог знает куда.

— Ваш билетик!

Фекла Григорьевна встала и молча прошла к выходу. Кондуктор ничего не понял, сказал «проходите, проходите, трогаемся» и, когда она соскочила, выругался. Через минуту поезд тронулся, а Фекла Григорьевна опять уж сидела у аппарата; в голове у нее мутилось, щеки опять горели, и одной из них она прижалась к холодной меди машинки; ей видно было, как при каждом ее дыхании желтый металл тускнел, опять делался ясным, когда она вбирала в себя воздух, и опять тускнел.

И ей казалось теперь, что он живет так же, как и она, и что он чувствует ее жизнь, как чувствует свет фотографическая пластинка. Как-то незаметно ее правая рука попала на маленькую черненькую клавишу с ямочкой, и клавиша затрепетала любовью и радостно, как будто ждала этой ласки.

А горло Феклы Григорьевны тискали спазмы, размягчали и растапливали что-то внутри — и это новое, неизвестное раньше, но жгучее и сладкое, душило ее, распирало во все стороны и, как струя под огром-

ным давлением, било через клавишу в аппарат. И аппарат захлебывался; его затапливали эти бессвязные, переплетающиеся слова, а Фекла Григорьевна видела, как слова, казавшиеся ей грозными и великими, летели толпой по проволокам вдогонку за поездом, кружились, сталкивались, обгоняли его и где-то далеко-далеко останавливались перед людьми раскаленными прожигающими письменами.

И не видя, не слыша и не понимая ничего, она стучала и стучала. Капли пота выступали у ней на носу.

IV

Через день, на Троицу, когда Фекла Григорьевна была дежурной, около одиннадцати утра неожиданно к ней в аппаратную пришел Брыкин.

Был ясный, не жаркий легкий день, в комнате было светло и весело, в углах стояли березки, а на аппарат Фекла Григорьевна надела два веночка из незабудок.

Брыкин пришел от обедни, где был с барышнями, чуть-чуть надушенный. Он изящно облокотился на решетку, отделявшую его от Феклы Григорьевны, поглядел, как хорошо вырисовываются сгибы пальцев на ноге из-под мягкой кожи сапога и, стараясь быть элегантным, попросил не сердиться за то, что он сболтнул третьего дня.

Фекла Григорьевна боком, исподлобья поглядела на него и опять уткнулась в аппарат.

— Не сержусь, нисколько я не сержусь, — забормотала она, по обыкновению невнятно. — Что общего? Вы там, вон там вот... а я тут. Вы там все ходите и ходите, говорите... а у меня тут свое. Мне ничего не надо от вас, уходите вы лучше, — прибавила она и усмехнулась, как будто даже насмешливо, хотя опять вся сделалась красной. Брыкин помялся и ушел.

А Фекла Григорьевна, согнувшись и разглядывая своего любимца, еще довольно долго бормотала сама с собой.

— Милый, — говорила она, ласково усмехаясь аппарату, — милый, добрый. Совсем не страшный. Я прежде думала — страшный, а он добрый... Пускай они там себе ходят... Мы с тобой.

В растворенное окно видны были ярко-зеленые луга, река — темно-синяя от молодого, могучего и ласкающего ветра и ослепительно белый монастырь на лесистом подъеме за рекой; резво бежали по синему небу белые облачка, мощно шумели березы в садике у станции, радостно звонили в монастыре.

Бабы и девки в красном, с белыми смешными шариками вместо серег, перебирались через линию от обедни, смеялись и сплевывали подсолнухи; ветер весело надувал их поневы, хлопал ими и подхватывал с собой запах кумача.

ГОРА УГРЮМАЯ

I

Она стояла ко мне вполоборота и поправляла кольцо на мизинце.

— Прощай, — сказала она мне, оглядываясь на вагоны у дебаркадера. — Дыши здешним воздухом, одолевай свои лихорадки, не думай ни о чем.

Я стоял перед ней какой-то весь отяжелевший и неподвижный и действительно не думал ни о чем; знал я только одно — всем своим нутром знал, что сейчас от меня оторвут по живому месту кусок моего собственного тела и заставят жить дальше так без него. И я молчал. А она положила свои руки мне на плечи и долго пристально глядела мне в глаза; иногда у подбитых на охоте куропаток бывает такое выражение.

— Какой ты маленький, чудной, слабый, — говорила она. — Одет ты в крылатку — кто теперь это носит? Ресницы у тебя рыжие... и какой ты мой... какой мой милый! Знаешь, я на три года старше тебя, но мне все кажется, что ты... не моя любовь, а мой сын. Дитенок ты мой, хороший ты мой дитенок!

Она попробовала было улыбнуться, но такая боль трепетала в углах ее чудесных глаз и вздрагивавших губ, что ничего из этой улыбки не вышло; только на левом глазу выступила и остановилась крошечная алмазная слезинка; и мне казалось, что это вышел наружу и блестит кусочек ее прозрачной души.

— Помнишь, — сказал я, — ты на днях рассказывала, как в детстве любила возиться с разными хромыми цыплятами, полуиздохшими кошками... Вот и меня любила... Это самое, должно быть, и есть.

Кажется, она ничего и не успела ответить: где-то, чуть не над самым нашим ухом повелительно и резко зазвонил «третий», сразу задвигались и загомонили вокруг нас и потом, в следующее мгновение, я видел ее на секунду уж на площадке маленького горного вагончика; наполовину она была уже в чужой власти, но у меня оставалась еще влага ее поцелуя и тонкий, быстро растворившийся в противных вокзальных запахах — «ее» запах; а когда тронулся поезд, виден был еще в продолжение нескольких секунд силуэт какой-то тоненькой, в ловком сером балахоне женщины, но все больше и больше набиралось между нами вечерней мглы, и она затушевывала и растворяла в себе этот слабенький, неясный и дорогой рисунок, пока не пропал он совсем. С вокзала я шел медленно, большими твердыми шагами, сквозь знакомые аллеи вязов, ясеней и чинар; не ощущал я ничего, и внутри у меня было пусто и беззвучно, как будто все там было выбито градом.

В аллеях сияли на равных промежутках белые матовые электрические шары, шипели и вздрагивали по временам, и тогда внизу по песку трепетали легкие фиолетовые круги. Попадались люди. Как всегда, они ходили по этим роскошным аллеям хмурые, маленькие, бледные, тепло одетые и, казалось, постоянно считали свои шаги, пульс и постоянно дрожали за температуру.

На усыпанной песком площадке с ресторанчиком, где обыкновенно играла музыка и толкались мы, больные и убогие, было пусто и уныло.

— Сегодня танцы на верхней террасе, на сосновой-с, — сказал мне сторож с бляхой. — Бал-с. Только скоро кончится — позже десяти вредно уж больным на воздухе.

«Непременно пойду танцевать, — подумал я, засмеявшись вдруг глухо и злобно. — Обязательно пойду попляшу».

Всю дорогу я шел и смеялся. Это был совсем ненужный и несмешной смех, я никак не мог подавить его в себе, и он странно отдавался в пустых, холодных аллеях. Скоро я дошел до последнего поворота к верху — к ним, и сел на скамейку; электричества тут уже не было; выше надо мной углом торчала на фоне вечернего неба громада наваленных друг на друга в беспорядке скал, поросших дикими лесами, — знаменитая гора Угрюмая.

Оттуда-то, сверху, сползал к нам этот удивительный живоносный воздух, ради которого сползались сюда мы все — изо всех своих берлог и углов.

Здесь, на скамейке, я сидел долго. Я слушал музыку, игравшую там, у них, я представлял себе пары, кружившиеся под эти звуки, и по краям площадки бордюры из желтых, полузамученных физиономий. Я глядел, как понемножку спускалась беззвездная ночь, как на небе каменели и мрачнели груды серых прежде облаков и нарастала эта черная, бездонная темнота вокруг, как жутче и массивнее, как будто они были сделаны из чугуна, становились купы тихих, замерших деревьев. Ни один листик не смел дрожать, как будто все они были склеены какой-то черной мастикой. Странно было допустить, чтобы в этой глухой темноте могли копошиться и двигаться люди, и звуки оркестра, далекие, извилисто доползавшие сюда, начинали понемногу казаться звуками не людской, настоящей музыки, а музыкой самой этой черной ночи, разъединявшей и погружавшей все в темноту и скорбь. Скоро музыка смолкла. Сверху, оттуда, где был бал, один за другим в ночной темноте поползли красноватые огоньки фонарей. Не видно было людей, несших их, и казалось, что это сами они движутся длинной, унылой вереницей, то обгоняя друг друга, то сохраняя одно расстояние.

Десять, мелькнуло у меня в голове, и сердце защемило: как долго до света! И что нужно делать?

А огоньки, один за другим, медленно и неудержимо проплывали мимо, спускались вниз, как будто погружались в глубь земли, на мгновенья пропадали за невидимыми деревьями, и в одном месте, очевидно, за поворотом, пропадали один за другим, аккуратно и безостановочно, как дни, которые прожиты и вернуть которых нельзя. И стало тяжело, когда скрылся последний из них внизу. Я остался один.

— Ну, — спросил я громко, дрожа, — что же теперь делать?

Голос мой от долгого молчания был нетверд и хриповат. Мне не ответили. Аккуратненькие, тихенькие и бесконечно чужие, они ушли со своими фонариками, залягут сейчас спать, плотно укутаются, крепко заснут и с завтрашнего утра опять начнут всю эту скучную и раздражающую канитель, чтобы выторговать несколько лишних ненужных дней.

Я все стоял и слушал.

— Куда ж деваться? — повторил я громче и резче. Опять молчали, только темнота обступала все плотнее и гуще, и начинало даже казаться, что и сама тьма эта — что-то реальное, какая-то вязкая черная масса, которая облепляет и в которой нечем дышать.

Тогда, в смертельной тоске, не зная, куда себя засунуть, и не соображая ничего, я бросился вверх по тропинке, как будто за мной гнались и мне нужно было спасаться. На одном повороте, наскочивши с разбегу на какое-то дерево, запыхавшийся и вспотевший, я на минуту приостановился, и молнией пронеслось в моей голове, что идти дальше, на дикую гору, где ветры и холод, в темень и ночью — безумие.

— И отлично! — крикнул я тут же со злорадством на свои мысли. — И великолепно! Очень рад.

И даже мне хотелось прибавить, что буду рад, когда подохнут, как и я, те, нижние.

II

Куда, собственно, и зачем я лез, то продираясь сквозь кустарники, то бредя по каким-то неизвестным мне тропкам или даже просто вскарабкиваясь куда-то, — этого я сказать тогда не мог, но не мог и остановиться, чтобы прийти в себя или возвратиться назад: что-то жгучее, как клубок раскаленной проволоки, сидело во мне и неудержимо гнало вперед, в холод и мрак. Когда я, задыхаясь, стиснув зубы, ничего не видя и ни о чем не думая, рвался вперед и вперед, — оно съеживалось и не так мучило, но стоило приостановиться на секунду — и снова начиналась эта грызня... И я лез и лез.

Временами меня схватывал кашель; я знал, что это бунтует и скандалит тот, кто давным-давно засел в моей груди и выел оттуда больше половины; обыкновенно, когда он, как теперь, начинал дергать меня во все стороны, как будто я был игрушечным паяцем с подпрыгиваю-

щими руками и ногами, — я сердился, а то и тосковал, что это он выгоняет из меня жизнь.

Но сейчас это доставляло мне даже удовольствие.

— Ярись, ярись, батенька! — подбодрял я его. — Старайся, работай, набирай жирным шрифтом!

И это панибратство с ужасным врагом было в высокой степени приятно.

Забрался ли я высоко, или погода переменилась, только ветер здесь завывал не по-курортному, а леса гудели мощно и грозно. Не видно было ничего решительно, как будто глаза завязаны платком, но иногда казалось мне, что выше, в темноте, я разбираю вершину, торчащую углом, самую гору Угрюмую, и это она сердится и будит, собираясь сдунуть меня вниз к черту на кулички.

— Вот она какая, гора... — мелькало у меня в голове, — настоящая гора! Отличнейшая, гора Угрюмая!

И этот шум и вой захватывали меня.

Иногда мелькали где-то ужасно далеко внизу огоньки, но некогда было заглядываться на них: голова горела, в глазах прыгали огненные круги, и нельзя мне было разобрать, я ли сам иду куда-то по палубе танцующего на волнах в темноте корабля, или весь этот гул, леса, деревья, стоны и скалы толпой надвигаются на меня и пляшут вокруг.

— Гора Угрюмая! — звонило у меня в ушах. — Гора Угрюмая!

III

Никогда, должно быть, не забыть мне этого пробуждения. Лежал я на узеньком каменистом выступе. Помню, какое глубокое, тихое изнеможение сковывало меня тогда; голова была пустая, как стеклянная: тронь чуточку — разобьется. С трудом перекачнув голову на другой бок, я глянул вниз.

Огромное, пустынное, голубоватое от лунного света пространство было там, на дне и дальнем подъеме этого бесконечно тихого, сонного таза виднелись четыре печальных, седых в лунном свете холма; почему-то земля выдавила их из себя правильными четырехгранными пирамидами, и так они и замерли навеки, будто это насыпаны кому-то гигантские могильные курганы. Белесоватые туманы кольцами обхватили их подошвы. А дальше, над горизонтом, — извилистая, снежно-серебряная лента гор. Какие они далекие, белые... и страшные горы! Как будто расселись рядышком покойники в саванах и глядят — холодно глядят, тускло, и все вокруг леденеет от их взгляда.

Луна стояла высоко в небе и блестела холодно и недоступно. Лес, темнея и серебрясь местами под луной, взбегал над моей площадкой, но взбегать до вершины было недалеко.

— Никого!

Да и кто мог быть тут, на этой заброшенной под небеса глыбе гранита, где нет ни звуков, ни движений, кроме хода луны да светил? Кто в этот торжественный предутренний час мог попасть сюда? Все давно спят на курорте.

Я огляделся.

— Никого!

«Так, — думал я, — так. Это и есть смерть».

Но не было во мне ни страха, ни отчаяния, ни злости, а подымалось что-то смутное и сурово-радостное, как будто мерно колыхали меня строгие созвучия.

— Это они, — думал я про кого-то большого, красивого и важного, — это они собираются и похерят меня. Пускай, — прибавлял я спокойно. — Это они стоят, коченеют, светят, молчат отлично.

Я тоже молчал. Свернувшись комочком и закутавшись в свою крылатку, я лежал тихо-тихо, и жил я или был уж кусочком другого, таинственного и красивого мира — я не знал. Раз встал в моем мозгу слабенький, неясный, как во сне, образ: она, вокзал, курортик, — и сейчас же уплыло все это и рассеялось, как дым, ничего во мне не зацепивши. Как будто не было никогда ничего другого, кроме этой скалы.

Глаз я не закрывал, и в них полно, широкой струей входило все снаружи и в точности доставлялось мозгу. Но что-то особенное, завораживающее захватило меня, как будто тихо и беспробудно заснула моя душа и только по поверхности что-то чуть-чуть бороздит ее.

— Хорошо, — твердил я все про себя, — хорошо умирать.

И мне казалось, что произнести громко этого я уже не могу, потому что не полагается мне теперь голоса и воздуха нет вокруг меня.

Так я лежал, а ночь шла. Я глядел, я все видел, так же покойно и горделиво-радостно видел и все запомнил, но видел и помнил как будто уж не я, а мои глаза и мой мозг.

Бледнела луна, и небо затягивалось серой, предрассветной пеленой; пропадали куда-то белые мертвецы на горизонте, бурели четырехгранные курганы и бесконечные, далекие низы курились туманами; медленно и опасливо, точно их караулил кто, взбирались по темным лесам тумана к нам, наверх, и садились тут серыми, холодными капельками на камнях, на моем лице и крылатке. Бывали минуты, когда совсем и все обхватывали они, и тогда казалось, что нет еще настоящего мира, что только вот-вот вынырнет из этих молчаливых, ползавших и клубившихся облаков что-нибудь определенное и твердое. Потом они расступались, и опять видна была эта пустая, беззвучная бездна внизу. А еще позже растаяли они совершенно, и в четкой утренней

дали тонкими линиями выступили далекие, с красными крышами поселки колонистов-немцев и правее, в темных, чудесных лесах, — маленьким оазисом курортик — мы. Каким он был крошечным, правильным и легкодоступным! Как будто это он начерчен на плане со своими улочками, аллеями и «курзалами».

Смутно помнится мне, как чуточку приподнялось мое тело, и глаза оглядели его. Увидели они крошечную сероватую козявку в крылатке, свернувшуюся на диком утесе и занимавшую не больше места, чем нужно, чтобы поставить кресло, — и струйку красной жидкости, вившуюся змейкой по каменистому наклону ото рта до крутого обреза, где капала эта красная водица вниз. Потом орел, огромный тихий орел все кружил над камнями, спустился на кровь пониже и долго, упорно глядел по направлению, откуда полз ручеек, своим круглым, спокойным взором.

Только и было нас тут — он да я.

IV

Через неделю, когда я мог уж понимать и разговаривать по-человечески, под вечер, мой терапевт сидел у меня дольше обыкновенного и рассказывал, как полуживого, в жару и бреду меня стащили с вершины горы Угрюмой и как все я твердил про какого-то орла.

— А вас бы, батенька, за эту прогулочку нужно этак... чик, чик.

И он с милой усмешкой изобразил ручкой, как надо было выпороть.

— Впрочем, — прибавил он на прощанье, — это так и должно быть. Самый невозможный и нелепый народ — это мы, русские.

Я не возражал. С моей постели в отворенное окошко видна была мне гора Угрюмая, по-прежнему гордо и дико вырезывалась на небе ее неправильная, наклоненная набок вершина. Как мхи, ползли по извилинам горы леса, а голые, каменистые плешины между ними, казалось, так же были влажны и холодны, как тогда, утром. И, как тогда, клубившиеся облака цеплялись за вершину.

Спускались сумерки. Я сидел на постели и думал о том, сколько еще таких сумерек среди больных и чужих людей предстоит впереди мне; и мне жаль было той смерти, красивой и величественной, которая тогда реяла надо мной, жаль было тех одиноких и торжественных часов, тех мрачных утесов, даже, в самом деле, жаль было того орла.

— Почему ты не раздавила меня там, гора Угрюмая? — спросил вслух я. — Разве это было трудно?

Гора молчала и хмурилась.

СКОПЦЫ

Отрывок первый

Мимо нашего дома улица шла вниз под гору; там, у реки, стояла старая тюрьма; половина ее сгорела год назад и чернела теперь неприятным, закопченным остовом. Дальше за тюрьмой, совсем уж у берега, были кожевенные заводы. А за ними тянулась вдаль река, светло-стальная, уводившая Бог знает куда, никому не принадлежащая, задумчивая, опоясанная свежими лесами по холмам. На противоположной моим окнам стороне улицы был старый дом — приземистый, с маленькими окошками, будто задавленными камнем; кой-где они отливали радугой.

Часто в продолжение дня во двор въезжали возы с пенькой; ворота сами растворялись, когда подъезжал передний и так же молчаливо запирались за последним. Ни разу не видал я ни одного живого существа во дворе. Когда смеркалось, везде в других домах улицы появлялись огоньки, только в доме напротив все было по-прежнему глухо и безжизненно, и в аспидно-сером сумраке он тонул неопределенной, темнеющей массой.

А в нижнем этаже в это время самовольно затворялись ставни, плотно-плотно, будто, правда, нужно было оградить кого-то от опасности. И только наверху, в одном окне, краснела лампадка.

По вечерам, сидя на подоконнике, я часто с упорным вниманием вглядывался в этот угрюмый, каменно-амбарный силуэт, и в голове у меня проходили разные, — то мрачные, то нелепые планы насчет того, что же там: и всякий раз что-то щемящее и тусклое наседало на меня. Но еще странней было ощущение, когда в низкой, обшарпанной пролетке, с приказчиком за кучера, выезжали из самрастворяющихся ворот сами хозяева — два серых, безусых и безбородых человека неопределенного возраста. Сидели в пролетке они неподвижно, чинно, тускло смотрели перед собой бесцветными, холодно-водянистыми глазами, точно две строгие лягушки в человеческой одежде. А по сторонам, при их появлении, растягивалось что-то серое, как паутина, и тонким слоем расстилалось по всей улице, окутывая их дом. И только когда они скрывались за поворотом в переулке, свежий порыв ветра с реки разгонял эту затхлую, тягостную полосу.



Был вечер: темный, тихий. То вдруг все затихало на минуту мертвой тишиной, то ветерок порывисто налетал справа и слева. Небо молчало; оно напоминало замерший, вывернутый на изнанку рельефный глобус с неподвижными массами гор-облаков, которые неизвестно чем поддерживались на высоте. А черный мглистый ветерок перепархивал

только чуть-чуть над землей, и до этих великанов, темневших вверху, достать не мог. Я оставался один в квартире, и давно уж мне было пора ложиться, но я бродил полураздетый по комнатам с отворенными окошками, и все прислушивался, стараясь глубже вздохнуть. На реку тоже были отворены окна — целых семь, в двух комнатах; рамы на петлях висели утомленно, параллельными пáрами, как люди, высунувшиеся и вглядывающиеся в темноту. В доме скопцов все было тихо; только где-то в глубине двора сдавленно пофыркивала лошадь, да пыль на улице перед *их* фасадом свивалась временами вертикальной воронкой, как смерч. Потушив свечу, я сел, в тоске, на подоконник и уперся взглядом в окна их второго этажа. Сидел я недолго; вместе со мной в легкий сон и оцепененье впал и ветер и выдалось долгое, упорное молчание... И вдруг боковой фасад их дома, тот, что глядел на реку, стал как-то виднее, стал бледно-синеть, точно освещенный тихим пламенем жженки. И крыша амбара, и еще другие крыши во дворе тоже зафиолетовели.

А я сидел, в тягостной неподвижности, с тяжелеющими руками и ногами, будто припаянный к подоконнику. Наконец, сразу сдернулся и прошел в комнату рядом, с окнами на реку. Теперь они розовели ровными четырехугольниками в черной стене, а там, далеко за рекой, под грузом тяжкого неба полыхало бесшумное, легкое, загадочное пламя; красноватое внизу, оно струилось бледно-фиолетовыми и синеватыми полосами, местами в золотом бордюре кверху по небу, — будто это мрачные колдовские токи играли и тешились над черным горизонтом. И было что-то невесомое, неосязаемое в этом текучем пламени. А внизу изглоданная, скелетообразная тюрьма вглядывалась своим старушечьим лицом в это пламя, и будто чувствовала в нем свое, знакомое.

Ветер совсем стих. Никого, никого не было на пустынной улице; черно-багровыми массами стояли тучи на небе; далеко за рекой что-то слабо шумело — должно быть пламя пожара — не слышанным никогда раньше, необыкновенным шумом.

Опять я сел на подоконник, опять тяжелая истома охватила меня. Хотелось сбежать куда-нибудь, спастись от непонятного, грозного пламени.

Внезапно я глянул напротив, через улицу. Второе с края окно у *них* медленно отворяется, вот оно раскрылось все и бледно-серая фигура до пояса высунулась из него; потом с ним рядом отворяется другое, и такой же другой *он,* с искаженным от ужаса лицом выглядывает тоже. Долго смотрят они, как зачарованные, туда, вдаль, и выступают оба в чертовском, невероятном пламени пожара двумя узкими продолговатыми пятнами. А мне они ясно видны были через неширокую улицу, я тоже не мог оторвать от них взора. Вот они шепчутся о чем-то, —

может быть и не шепчутся, а это у меня в ушах так ужасно скребется и перекатывается что-то; но нет, это они, это шевелят губами бледные, бесполые выходцы с шуршащими руками и костями, два желтых скелета, что прикованы невидимой цепью к дальнему пламени. Хочется о чем-то закричать им, что-то совершается пред нашими глазами, чего мы не понимаем и пред чем только немеем, — но нет голоса, и так тесно, тесно в груди.

Но, что же? Что собственно происходит? И почему так хочется кого-нибудь настоящего, почему так необходимо, чтобы прошла по улице несомненная, подлинная баба или проехал извозчик, но никого как раз нет, и все лезет на глаза эта подозрительнейшая полуразвалившаяся тюрьма там, внизу, да у реки купа черных, крючковатых деревьев.

Отхожу от окна и оглядываю свою комнату: с потолка свешивается трапеция. Снимаю ее с крючьев, зацепляю одной петлей за металлическую ручку двери, а веревку, палку и другой конец веревки выпускаю в окно. Выглядываю. Если там держаться за самый кончик и повиснуть, до земли будет прыжок в сажень.

Подобрав все опять, не зажигая свечи, ложусь в постель; чувствую странное самодовольство, будто кого-то перехитрил и что-то отгадал. Хочется под одеялом жать кулак и погрозить им кому-то.

Серым мутным утром я проснулся от противного шума, гвалта и треска. Скоро стало понятно, в чем дело.

В грязном дыму, с скверною вонью горелой пеньки и легкими взрывами от лопающихся где-то внутри бочек, горела усадьба скопцов. Огонь, жравший десятками лет накопленное добро, был какой-то не очень горячий, в воздухе стояла сырость, по улице текло дымящееся масло и нечистые стекла окон лопались равнодушно.

Хозяева-скопцы, в длинных белых рубахах и босиком, бегали по улицам и в диком ужасе вопили тонкими, высочайшими голосами. Пот градом лил по их тестообразным лицам, странно колыхались каплуньи[1] тела, и все-таки казалось, что внутри у них косточки тонкие, шуршащие и мертвые.

Странный неживой огонь, несмотря на сырость и борьбу с ним, быстро уничтожил скопцов. Днем стояли уже только черные, корявые столбы и перекладины, среди которых дымилось и парило что-то.

А сами скопцы исчезли.

Отрывок второй

Темным вечером, в сырую ветреную погоду, я стоял на мосту. Мост походил на железнодорожный: две висячие, узко-прямоугольные железные сетки, с перилами и тротуарчиком для пешеходов. Река била волной по каменным быкам, а мост гудел и колыхался, как живой.

Ветер как будто был знаком с этим железным скелетом; они все время перекликались друг с другом на своем странном наречии; они понимали хорошо друг друга, они никого не боялись и были рады взвизгивать и кричать металлическими режущими голосами в этой угрюмой тьме. А река и ряды красноватых фонариков далеко по берегу казались тихими и присмиревшими в сравнении с ними.

Медленно, тягучей пеленой спустилась сверху мгла и фонари предместий засветили слабенькими оранжевыми пятнами.

Вечер странных встреч!

Это бывает нечасто, как нечасты томленья и черные сжимания сердца, что нападают вдруг, гоня неизвестно куда, по пустынным глухим улицам.

Из-за поворота показывается знакомая фигура, — человек, о котором думаешь меньше всего, который должен бы быть совсем не здесь, — и смущенные, натянутые фразы только соскакивают с языка — настоящего разговора нет. И снова все пропадает. Как будто натолкнулся на какую-то половинку человека, фальшивую, родившуюся только для этого вечера, а настоящий хозяин сидит где-нибудь в кабинете, далеко в центре, и занят другим.

Силуэты женщин вдалеке... О, они остры. Мрачно-остры неизвестные, темные женщины окраин.

Вот сзади быстрые, четкие шаги; две пары ног. Высокая, плотная женщина, властно двигающая корпусом, и сзади, в десяти шагах онемелый, затопленный похотью *он* неотступно впивается взглядом в это тело.

Но опять берег реки, и прибой черных волн. Вереницей плетутся длинные бочки и вдруг пугаются лошади, подхватывают карьером и все сразу сливается в одну грохочущую, уносящуюся вдаль змею; сзади остается лишь полоса удушья, — но ничего, пусть пронесся бы над этими загнивающими местами настоящий, хороший вихрь!

В закоулках налево, среди мелких красных фабрик, трубастых пивных заводов, среди улиц, отравленных то запахом стеарина, то ядовитыми, кислотными парбми прачечных, — грязные, низкие бани; над ними облако тумана.

Что-то пыхтит сбоку, и чувствуешь запах сыру: внутренний, особый, подленький сыр разложен здесь где-то и подозрительны людишки, снующие пбрами.

Это запахи вечера, слегка загнивающего, ядовито-сладкого; это они отравляют головы всем и туманят зрение. А плесканье черных волн реки, пустынная набережная и высокие трубы сбоку как-то связываются с мрачными и загадочными убийствами здесь, с громким процессом, где упоминались эти места. Будто чувствуешь эти темные,

преступные человеческие страсти, что не однажды кипели тут... Вот полукругом в немом переулке красная днем, — а теперь ослизлая, сталактитово-черная монастырская стена; только кой-где на ней мутнеют пятна фонарного цвета. Почему ни одной живой души нет тут? Почему деревца у тротуара не принялись и засохли? Почему жутко огибать этого каменного мертвеца?

Но вот шаги вдалеке...



И все дальше и дальше. Улицы путаются, уже не знаешь, где находишься, сохнет в горле и странная нервная дрожь гонит все вперед и вперед, а мозг мутнеет и слабнет. Кто-то засел в нем изнуряющий, скверно-сжигающий душу и кровь — и чувствуешь запах тлеющей нечистоты. Пустынный ли это ветер, что носится здесь, — отравленный, сухой и безнадежный ветер тьмы, выжигает все изнутри? Но вот и еще иные места: переулки опять узки, но громадные каменные дома стоят сплошными массами, и железные двери лавок — под замком.

Здесь тоже безлюдно вечером и стоит еще со дня этот запах товаров, денег, тюков. В одном месте полоса света узором бежит поперек по мостовой. Еще не заперто где-то, еще кто-то работает.

Прохожу мимо.

Это они.

Восемь бледно-серых фигур, по двое в окошке. Важные, тихие, безбородые и ветхие, как сухие листья табаку, они медленно шевелят руками, и сквозь круглые железные очки бесполые глаза их упорно уставились в текучие струи золота, серебра, купонов. Губы тоже двигаются, но неслышно, что шепчут они, а спокойные зеркальные стекла меняльных лавок вырисовывают все ярко и бездушно. Желтый свет ламп бежит оттуда сплошной волной, но нету цвета там. Нету возраста и времени дня, будто этим странным существам безразлично, сидеть ли за стеклом пять или сто часов, будто и есть им не надо — и не входит в их лавки свежего воздуха с улицы.

Останавливаюсь и сажусь на тумбу напротив. Что там стучит такое в голове, и куда я зашел? И неужели так неотвратимо тянут они к себе? Встаю, прохожу вперед и назад, но все они сидят, и все безнадежней то, что я вижу, все жестче морщины и складки их щек и лбов, все теснее срастаются они друг с другом, как эти сбитые в кучу меняльные лавки, — образуя затхлый и тяжкий ком, который во все стороны выпускает сухую и мертвенно-жесткую паутину.

И я ушел, конечно. Через несколько переулков тихий и мягкий шорох пролетки на резинах заставил меня обернуться: не было сомнения — это был он, один из восьми. Я сразу почувствовал его, на рас-

стоянии, — обмануть меня он не мог. Он прошелестел мимо незаметно и бесшумно, как летают серые козодои в темные весенние вечера, как сова плывет под уклон к подножию дерев, — и сгинул в темно-серой мгле вечера.

Я сел на извозчика и велел гнать за ним. Вначале казалось, что догнать нельзя, — пролетка мелькала только кой-где на поворотах, но скоро мы сблизились настолько, что можно было совсем уж не терять их из виду. Сворачивая из улицы в улицу и из одного переулка в другой, они забирались куда-то все дальше и дальше вглубь тьмы и слякоти, а я неотступно преследовал их и что-то знакомое мерещилось мне во всем, что было вокруг. Казалось, будто я только что был здесь, бродил у этой набережной, пробирался вот у этой стены, мимо тех бань.

Но вдруг они поворачивают направо через несколько секунд сворачиваем туда же и мы, — и ничего уже нет, все молчит, все тихо и темно. А налево, один среди всех, засел низкий, глухой дом, как четырехугольный нарост. Опять гремят внутри цепями собаки, и лают, и ни одно окно не светится. Что же, мимо. Опять черные, смрадные переулки. Кажутся они уже несколько иными, хотя я узнаю их — это они, они бесспорно. И, может быть, вот там, при повороте в сторону, я опять столкнусь лицом к лицу с этими серыми, — это не будет странным, тут все кишит червями и ядом и немудрено, что растут холодные, безнадежные гнилушки. Так что кажется уж, что мы идем все — гурьбою, ослизлые и бездушные, любящие тьму и подлый сыр, идем и бродим, шарим...

А у железного моста ветер кричит по-прежнему. Он рад и беснуется, он знает — это его час и он тут господин и владыка. Он знает, что в его власти — схватить, загнать к стене и колотить долго, мерно...

И как он радуется! Как он радуется!

Отрывок третий

Он жил от меня недалеко, на окраине города, занимая крошечную душную комнатку. Остроугольный, костистый, он казался болезненным и несообщительным. Чувствовалось, что где-то в дальнем углу, очень глубоко, живет у него кто-то совсем особенный, не любящий при других появляться на дневной свет.

В его неряшливой, тягостной комнатке временами мы говорили по долгу, пока не спускался вечер. Вечера он боялся, пока не спускался вечер. Вечера он боялся, как боялся неожиданных стуков, мышей, пауков.

— Сколько вам лет? — спрашивал я его, — когда он вдруг болезненно съеживался весь от какого-нибудь пустого звука — бледнел и вздрагивал.

— Двадцать один, — отвечал он, — а мне казалось, что больше, и в его умных, утомленных глазах было в это время что-то старческое и печальное.

Но вот сразу лицо его меняется: ноздри вздрагивают, нос заостряется, и в вздергивающихся углах губ — грязный и темный бес. Женщины боязливо сторонятся, как-то конфузятся его холодного, порочного взгляда и торопятся пройти.

По временам на него нападали припадки уныния — сухого, беспросветного.

— Есть сладострастие только и нет любви — слышите? — говорил он тогда. Как будто кто-то беспощадный пил в это время его кровь, и чем-то безнадежным и бесплодным веяло от него в это время. Он бросал работу, беспричинно огрызался на меня, и целые дни, бледный, с помутневшими глазами, валялся на постели. Или, наоборот, на несколько дней пропадал неизвестно куда и возвращался почерневший, худой и опять замолкал.

Иногда мы гуляли с ним. Часто мы выбирались на «плац» — пустое голое место, где по вечерам кучками бродили мастеровые с завода. Дальше темнела подгородная сосновая роща; рядом — вал с мишенями для солдат. С этого вала видно было далеко за рощу, и в просветах между ее темневшими в полумраке стволами желтела к горизонту песчаная, бугристая равнина с разбросанными кое-где красными домиками. В ветреные дни песок свивался по равнине бегущими смерчами, налетал даже на наш плац и проносился над ним, окутывая облаком дымный завод.

В сумрачный, темный день, под вечер, мы лежали на валу. Ветер звенел над нами в телеграфных проволоках; шуршала и скреблась ссохшаяся ботва на картофельном поле наискосок. По направлению от заставы к старообрядческому кладбищу медленно движется что-то; вот все ближе и ближе, вот видна уж довольно ясно процессия: гроб, впереди несут крышку, сзади провожатые, все пешком. Приближаются. Странно, что все они похожи друг на друга, у всех реденькие, развевающиеся по ветру волосы, а лица без бород и усов, в складках, серо-землистого цвета.

Он бледнеет.

— Скопцы, — твердит он, вздрагивая. — Смотрите, скопцы!

Они проходят мимо. В деревянном гробу тоже безусый. Мы молчим. Долго мы сидим в безмолвии.

— Знаете что, говорит он, наконец: это черти, ведь! Право черти! Он хмуро и невнятно бормочет, как будто с самим собой. Разобрать слов нельзя.

❖ ❖ ❖

Проходит несколько дней. Он лежит у себя на постели. Я прислушиваюсь.

— Я ощущаю в себе яд, — говорит он. — Мой мозг отравлен. Еще недавно я не очень ясно это понимал, — но теперь нечего уж прятаться... Мозг отравлен. Ему нужно все новой, новой, острой скверной пищи. А еще... я чувствую *их*. В сумерках появляются они, — бесчисленные *они*, — так же подо все подкапывавшиеся — и теперь бесполые... Стоят, вон там у окошка, и все бормочут...

Так тянется время. Иногда он просит меня не уходить — одному ему неприятно, — и я целыми днями сижу у него, в пыльной, холодной комнатке.

Раз утром прибегает его хозяйка: ночью случилось с ним что-то. Бегу к нему. Он лежит навзничь, с бессмысленными глазами, дрыгает рукой и ногой и почти не в состоянии говорить.

Это был хмурый день. До вечера, у его постели, я выслушивал полубредовые восклицанья, весь день какое-то удушье стояло в комнатке.

— Я хочу любви, поймите вы, я хочу любви! — почти выкрикивает он.

— Да, да, никогда я не буду любить, никогда не прыгну с оранжереи... Видите, видите, они вон там, все вон там гурьбой стоят... А, проклятые, проклятые...

К вечеру он стих значительно. В комнате стоял угар от его полупризнаний и намеков, будто бесплодная, оскопленная его душа выползла, наконец, вся наружу, и темным ядом напитала все вокруг.

Позже, при свете свечи, я отпаивал его молоком и чаем и он опять как будто пришел в себя. Глаза у него теперь были потухшие и печальные:

— Опереться не на что, — говорил он. — Все — в желании... Да-а... А желание голо... бесплодно. В нем нету главного... того нет, без чего все — прах. И оно отрицает, ведь, в конце концов себя. Само себя съедает.

Когда я уходил от него около полуночи, ступени подозрительно поскрипывали на вонючей лестнице. Сердце жалось... А *серые*? Были они тут?



Мы запоздали и возвращались домой: был вечер. Роща темнела сзади нас. Был виден город вдали — бледным, желто-зеленоватым заревом с золотыми точками. Со стального завода временами вырывались полосы света; красные, четырехугольные — они ложились вокруг торжествующе, почти нагло.

Он говорил. Мне не видно было его лица — в темноте силуэтом чернела только угловатая фигура, а голос его, казалось, существовал самостоятельно, рождаясь где-то во тьме, среди порывов ветра.



— Я сошелся теперь с ними. Со скопцами. Их тут много, оказывается, в предместье. Поразительно... «Жги, жги себя, режь ножом, жги железом». А что еще со мной было... На днях...

Я слушаю. До меня долетают рубленые, часто бессвязные, короткие фразы, — с перерывами, с неожиданным хохотом на полуслове, и минутами мне кажется, что все это какой-то бред, больной вздор.

Но нет, выясняется: неделю назад он встретил за городом ее, маленькую девочку, и преступленье висело уж над ним, но неожиданно, на фоне рощи, он увидал троих. Это были *старцы, принявшие огонь и железо*. В средине тот, похороны которого мы тогда видели. Потом все исчезло; очнулся он лежащим весь разбитый.

Некоторое время идем молча.

— Го, — бормочет он... — Вот как, вот как. Вот куда пришел. Да, но мысль есть все же, есть мысль...

Шаги его удаляются.

— Куда же вы, куда? — кричу я ему вслед. Но ответа нет. — Слышно, как он взбегает на вал.

— Куда? — отзывается его голос снизу. — Куда! Га-а!

Я стою и слушаю его гогот.



Утро следующего дня. Сижу у себя дома, идти никуда не хочется. Голова скверная, нелепая. Ночью видел гнусные сны. Гладил безногих калек по округлым ногам-култышкам, которые они выставляют всегда напоказ. До сих пор на пальцах ощущение этой глянцевитой, отвратительной кожи.

Получил от него записку — написано всего три слова, без подписи: «Если дух оскоплен...» Пойду я сейчас к нему, или не пойду, — безразлично. Жив он? Каков он? — Не знаю.

Впрочем, думаю, те серые не выпустят его. Не зря они скрипят у него на лестнице. Цепкие, ведь, они, хитрые серые...

ЛОСЬ <1912>

Вечером к нам приехал губернатор, а на другой день утром была назначена лосиная облава.

Хотя посмотреть губернатора и очень интересно, однако завтрашняя охота, на которую отец обещал взять, занимала гораздо больше. Она волновала во всех отношениях; и главное: уедет ли завтра утром губернатор? А вдруг он заспится — тогда мы опоздаем!

Прощаясь с нами на ночь, губернатор был любезен, и поцеловал меня в лоб, но я думал о другом — хорошо ли мы с отцом приготовили патроны. Я шаркнул, как благовоспитанный мальчик, и пошел спать. В маленькой гостиной встретил станового Никиту Иваныча; он дремал в кресле, не смея войти в столовую, где ужинали.

— Никита Иваныч, — спросил я, — в котором часу вы завтра едете?

Становой зевнул и улыбнулся.

— Приказано к восьми.

— А мы завтра на лосей, — сказал я. — Отец меня тоже берет.

— Да вас лось забодает!

— Ну, положим! (Я был самонадеян). — У меня ружье пулей заряжается!

Я заснул легко, а утром, в полупотемках, слышал суету, мимо окон скакали урядники, звенели тройки, ямщики гикали — и наконец все это, чуждое нашему мирному дому, куда-то умчалось. «Слава Богу», — подумал я и стал одеваться.

Мы наскоро пили чай, мама кутала меня башлыком сверх полушубка, целовала и просила отца ни на шаг не отпускать от себя. Потом сели мы в сани, Тимофеич запахнул полость, и за санями других охотников, сослуживцев отца по заводу, мы покатили по главной слободе села, в направлении к дальним лесам. Ехали мы часа полтора — и добрались до леса. Здесь дорога стала хуже, пришлось ехать почти шагом. Стучали дятлы, белка кой-где шмыгала по сучьям: иней одел все своей ризой, и в лесу было так тихо, что замирало сердце. Иногда дуга задевала за ветку; тогда нас осыпало алмазным снегом. Скрипели полозья, были слышны негромкие голоса ехавших впереди; пахло дымком отцовской папироски.

Около сторожки Якова уже стояли сани. Охотники вылезали, расправлялись, снимали шубы, стараясь говорить тише: лоси очень чутки. Яков, хроменький, ловкий мужичонка, сновал между нами, шептался с загонщиками — толпой парней и девок — и имел таинственный вид: это тот, кто обкладывал лосей и, казалось, был лично знаком с ними. Он ухватил отца за рукав и закивал на меня.

— Сынишку, значит захватил? Значит, за охотой? Так, так, так-с... Дело.

Минут через десять тронулись пешком. Охотников расставляли цепью, по номерам, заранее намеченным. Загонщики заходили с другой стороны и должны были гнать на нас лосей.

Лезть по крохотной тропке было трудно; я старался попадать в следы отца и казаться непринужденным, хотя волновался очень: и предстоящая встреча, и этот лес, такой тихий и бесконечный, в уборе снега, таинственность, шепот охотников — все возбуждало. Было страшно

сделать ошибку, напр<имер>, громко кашлянуть, промахнуться и т. п. Наконец, — что это за лоси? Я видел их на картинках, знал, что они безопасны — но все же, встретиться с ними в глухом лесу, с настоящими лосями...

Яков поставил, наконец, и нас с отцом. Остальные двинулись дальше.

— Стой за этим пнем, — сказал отец вполголоса. — Когда начнут кричать — всматривайся. — Он закурил и прибавил, с видом человека бывалого: — береги эту лощинку. Тут лаз.

Я внутренне перекрестился, осмотрел ружье (у меня была маленькая шомпольная одностволка) и приготовился. Отец стоял шагах в пятнадцати. Что-то прочное и уверенное было в его фигуре — мне казалось, что за него я могу спрятаться от каких угодно опасностей.

Мы стояли так минут двадцать, вдруг вдали слабо бухнуло; гул медленно плыл по воздуху, мягко отдаваясь где-то; как далекое море загудели голоса загонщиков: выстрел был сигналом.

Помню, стало холодно в спине; я взглянул на отца, он взял ружье наперевес — взводимые курки звякнули на морозе. То же сделал и я; пальцы мои прилипали к намерзшему стволу, пистон блестел золотой точкой. Все чувства соединились в одном: не пропустить бы, не прозевать! Тела я не ощущал; звенело в ушах, и все как-то тонуло в крике загонщиков. Но еще я слышал стук своего сердца.

Сколько времени это длилось — не знаю. Помню, что вдруг в лощинке появились странные существа, вовсе не похожие на тех лосей, каких я себе представлял. «Что это, козы? — мелькнуло у меня. — Где же рога, почему они такие маленькие? Может, не нужно и стрелять?» Но ружье уже было у плеча, и на конце ствола я видел серую спину; я нажал курок. Бухнуло, — в первый момент я ничего не понял. Грохнул рядом выстрел отца, молнией пронесся другой лось, отец обернулся и, ловко вскинув ружье, выстрелил еще; мне казалось, что лес наполнен теперь грохотом, выстрелами, что вокруг звери, и я торопливо стал забивать в ствол новый заряд; но пуля застряла, и ее никак нельзя было протолкнуть. Вдруг я увидел, что отец бежит вперед, к тому месту, куда я стрелял. Он тоже был взволнован и кричал мне:

— Что ж ты стоишь? Разве не видишь? Вон какой лосище!

Я что-то хотел ответить, но губы у меня дергались беспомощно, и, продолжая заколачивать пулю, я безвольно двигался вперед и, наконец, увидел огромное тело, бессильно поникшее в снегу. Со всех сторон подходили охотники, и никто не верил, что убил я. Лось дергался ногой, и один кузнечный мастер, по фамилии Дрезе, выстрелил ему в бок. Рана задымилась, и лось смолк. Я смотрел на все это, ничего не понимая, и должно быть сам плохо верил, что ведь я убил. Мне каза-

лось это таким невероятным и геройским, что все остальное померкло: охотники, Яков, отец, лес — все это было ненужным и мелким в светлом тумане одного: я!

— А? Сынишка-то, значит, у тебя молодец, а? — хихикал Яков, хлопая отца по плечу. — Значит, аккурат ему под микитки потрафил, даром что маленький.

Дрезе поцеловал меня и сказал:

— Ну я же так и знал! Он же у нас молодчага!

Рассматривали мое ружье и говорили, что невозможно убить из такой игрушки лося. Но разобрали, что пуля попала в позвоночник — и успокоились. Впрочем, мне не нужны были их похвалы или сомнения. Я сам знал, что совершил нечто великое, и отныне резко отличаюсь от всякого другого мальчика в десять лет.

Лося взвалили на перекладины, разыскали другого, которого ранил насмерть отец, и гурьбой, с загонщиками, тронулись к сторожке. Я както плохо помню, что было дальше. Кажется, у Якова закусывали, и охотники пили водку. Потом отец дал загонщикам десять рублей, они тоже выпили и качали меня. Вообще в тот день я был для всех игрушкой и забавой. Сам же я молчал, был, как говорили, бледен, и, помню, ощущал одно: славу. Я задыхался от нее — и от сознания своего геройства. Не знаю, как подали лошадей, как мы мчались домой, и отец с гордостью кутал меня в свиту. Помню, что дома не хотели вначале верить, но потом сестры подняли визг, и целый вечер отец должен был рассказывать одно и то же: как мы приехали, кто что сказал, где мы стали. Когда доходило до того, как я стрелял, сестры опять принимались визжать.

С тех пор эта история стала у нас в семье домашней легендой, и рассказывалась каждый раз, как к отцу собирались охотники.

УТКИ

I

Отцу запрягали в дрожки: он собирался на Шахту, в рудную контору.

Женя стоял в стеклянной галерейке второго этажа, вдыхал июльский ветер, летевший из-за речки, от Высоцкого заказа, и был счастлив: солнце светило удивительно, был праздник, Магдуша не будет донимать глаголами. После обеда можно сыграть в лапту.

Одно его немного смущало: хотелось увязаться с отцом, а отец не приглашал. Навязываться же он считал ниже своего достоинства.

Женя спустился в палисадник. Под старыми липами пил чай отец. На нем был чесунчовый пиджак, высокие сапоги. Пахло от него табаком и здоровьем.

— Жаль, — сказал отец, — приходится на Шахту ехать. А то хорошо бы уток поискать, нынче Петров день.

Женя вздохнул и задумался. Пригласит или нет? Он отлично мог бы править, а сзади сидел бы отец.

— Петьку берешь? — спросил он.

Отец допил с блюдечка чай, обтер усы и ответил.

— Нет.

Он налил и Жене, но тот взял свой стакан несколько недовольно. Вид его как бы говорил: «Странно, что ты не понимаешь, что и мне хочется на Шахту». Но отец продолжал не понимать, или делал вид, что не понимает: может быть, у него были свои соображения.

А Жене все сильнее хотелось ехать, и все росло недовольство отцом. В нем подымался нервный дух противоречия, который иногда заставлял его говорить глупости.

Так вышло и теперь. Когда отец мимоходом высказался, что в лесу сегодня наверно прохладнее, Женя заявил, что именно в лесу-то и жарче.

— Почему? — спросил отец.

Женя ответил что ему первое пришло на ум:

— В лесу мху много, он нагревает.

— Да нет, в лесу тень, сырость, всегда холоднее.

— А вон в Сосоннике какой горячий мох, или в Ландышевом лесу!

Отец стал объяснять, что мох не может особенно нагреваться, потому что мало проводит теплоту. Разве можно очень нагреть вату или сено?

Женя смутно понимал, что отец прав, но, раз уж он высказал мнение, надо его защищать.

— А все-таки, — сказал он, слегка побледнев и волнуясь, — в лесу гораздо жарче. Посмотрел бы, какая жара в Ландышевом лесу.

В это время Петька подавал «Атласного».

— Когда вырастешь, — говорил отец, — будешь учить физику, тогда поймешь, что мох не может нагревать леса.

В тоне отца Жене почувствовалось пренебрежение. Несмотря на свои десять лет, он привык, чтобы к нему относились почтительно, и любил даже, когда его называли Евгений Иваныч. Отец же, конечно, считает его неучем. Это ужасно. Едва сдерживая слезы, Женя ответил:

— Я и без физики знаю, отчего в лесу жарко.

Отец понял, что Женя расстроился и, чтобы его утешить, предложил ехать на Шахту. Но было поздно. Женя так и понял: это утешение, жалость. Он сухо отказался.

— Как хочешь.

Женя демонстративно отвернулся, когда отец поцеловал его на прощанье. Отец надел картуз, вышел из палисадника и, легко сев на дрожки, покатил. За ним поднялась пыль.

II

Все утро и обед Женя был не в духе. Мать заметила это и, желая развлечь его, предложила ехать вечером с Гришкой на охоту.

Продолжая изображать из себя Чайльд-Гарольда, Женя ответил:

— Теперь и охоты никакой нет, июнь!

— Можешь уток пострелять в Сопелках. К обеду будет жаркое.

Отчасти Женя был польщен, что на него смотрят, как на взрослого, способного содействовать хозяйству, но он продолжал еще иметь небрежный и «независимый вид»: нельзя так скоро закупить его!

Все же к шести, напившись чаю, надев высокие сапоги и запасшись патронами для шомпольного ружьеца, он велел запрягать Козу.

Затем надел картуз, ягдташ и, стараясь походить на отца, вышел в калитку палисадника.

На заднем месте дрожек сидел Гришка, худенький человек неопределенного возраста, тщедушный, кривоногий, замечательный лишь тем, что на деревне у него была удивительно красивая жена. За спиной его болталась двустволка.

Золотистым июльским вечером они ехали по селу, потом среди ржей, серо-сизых, с синими васильками, в том дивном запахе полей, какой есть лишь в России. Дрожки пылили, полынь сшмурыгивала ноги. Гришка трясся сзади, раскорячившись и упираясь носками сапог в заднюю ось. Впереди бежала Норма.

За две версты от села начинался лес — Чертолом и нужно было проехать поляну с часовенкой под Святым Колодцем. Здесь на Казанскую, 8-го июля, бывала ярмарка. Женя с сестрами покупал тут коврижки.

Дальше лес стал серьезнее, сырей и тенистей.

Попадались дубы. Наконец, сквозь просветы дерев засветлело, блеснуло серебро озерца: они выехали в луга по Жиздре, где водились утки. Гришка привязал кобылку, звавшуюся Козой, к березе. Слегка замирая от охотничьего волнения, они тронулись в луга, к озерам.

В заходящем солнце вились комары. По озерцу плавали кувшинки лилии; луга пестрели куриной слепотой; вдали за Жиздрой, синел Брынский лес, внушавший Жене мистическое почтение.

Он забыл об отце, матери, о своих утренних огорчениях — весь был сосредоточен на одном: не упустить бы крякву или чирка!

Норма носилась по лугу, лезла в камышах краем озера, и нужно было поспевать за ней, а то как раз прозеваешь стойку.

По первой же взлетевшей матке Женя смазал. Это его огорчило, — он стал палить без разбору, почти не целясь, в увлечении, знакомом лишь охотникам. Случалось, он дает промах, а сзади, выцелив и отпустив подальше, Гришка кладет ту же утку замертво. Женю выводило это из себя. Кусали комары, мучило сознание, что он еще не охотник, а так, дрянь, и хотелось загладить свои неудачи. Дрожащими руками высыпал он из жестяного патрона порох, заколачивал пыж шомполом, надевал пистон — и опять мимо, мимо!

Наконец, село солнце, луга затуманились; озера стали отливать багровым. Норма замучилась, поцарапала в камышах морду в кровь и плелась лениво. Пора было возвращаться.

Женя был недоволен, но в сумерках не мог уже различить мушки на конце ствола и уныло побрел за Гришкой: в ягдташе лежало три утки, из них он не убил ни одной. «Не надо было горячиться, — думал он: — все оттого, что стрелял на вскидку».

Они подходили к месту, где была привязана Коза в дрожках.

— Кажись, здесь, — сказал Гришка, — у энтой березы... — И растерянно обернулся, — Козы не было, на березке висела оборванная оброть.

— Ах, едять тебя мухи с комарями! — вскрикнул он вдруг. — Ей Богу, ушла! Головушка наша горькая!

Напрасно шарили они по кустам, пробежали с полверсты по дороге, — Козу, очевидно, накусали овода — и она удрала.

Гришка снял картуз и отер пот со лба.

— Сволочная кобылка, — сказал он. — Какая похабная!

— Что ж нам делать? — спросил Женя слегка дрожащим голосом.

— Не иначе — пешком итить, Евгений Иваныч. Это похабная лошадь, я ее давно знаю.

Женя меньше всего рассчитывал возвращаться пешком, ночью, за шесть верст! В лесу совсем стемнело. Он вздохнул, взял Гришку за руку, — и они пошли.

Было жутко — Женя не мог отрицать этого. Казалось, что лес бесконечен, что они заблудятся. Что им может встретиться что-нибудь ужасное — даже трудно сказать, что именно. Женя думал, что хорошо бы зарядить ружье и идти со взведенными курками, и хотел сказать об этом Гришке, но постеснялся. Гришку же лес не пугал; но он считал, что ему попадет от барыни за барчука и от барина за Козу. Он отчасти и сам сознавал свою вину. По временам он вздыхал и говорил:

— Какая похабная кобылка! Знал бы, я б тебя не так привязал, едять тебя мухи с комарями!

На поляне Святого Колодца Жене стало полегче — самый страшный лес прошли. Зато усталость давала себя знать. Он едва волочил ноги, а идти еще было версты три по песчаной дороге. Вся Женина

амбиция соскочила, он чувствовал себя маленьким и беспомощным, и до слез хотелось ехать домой, в детскую, где рядом мать, Дашенька, все мирное и родное.

Они не отошли полверсты от Святого Колодца, когда Гришка предложил ему сесть на закорки — он его донесет до дому. И они скорее дойдут.

Женя был невелик, весил мало. Но принять такое предложение — значит позорно сдаться, поступить не по-охотницки, а как девчонка. Все это мелькнуло в Женином мозгу, но его ноги едва двигались, глаза слипались: он уступил без борьбы.

Всходила луна, когда кривоногий Гришка с Женей на закорках входил в село. За спиной Жени болталось ружьецо, сам он спал, охватив руками Гришкину шею. Гришка несколько устал, но главное его беспокоило — где Коза, и мысленно продолжал он ее ругать, называя похабной кобылкой.

На деревне же, слава Богу, спали и не видели этого возвращения, иначе охотнички были бы осмеяны. Волновалась лишь Женина мать. Но узнав, в чем дело, успокоилась и она; Коза мало ее занимала: Женя цел, а что вернулся верхом на Гришке, — это ничего. Он маленький, а Сопелки далеко.

III

На другой день Женя проснулся сильно не в духе. Конечно, он был смешон и ничтожен, сидя у Гришки на закорках. Какая слабость! Потом — расстрелял все заряды, и не одной утки.

Женя лениво спрягал с Магдушей глагол haben, а задач делать решительно не хотелось.

— Фрейлейн, — сказал он несмело: — позвольте арифметикой не заниматься. Нездоровится мне что-то.

Магдуша, розовая немочка aus Riga, согласилась охотно.

— Вы вчера, наверно, устали? — Она захохотала и сложила тетрадки в стол. — Как это называется, — Сопёльки, где вы были?

«Знает, — подумал Женя, — все известно». И он уныло спустился в палисадник, под липы. Здесь улегся в гамак и стал покачиваться.

На балконе мать разговаривала с кухаркой Варварой.

— Уток нашпигуй, — говорила мать.

— Каких таких уток?

— Ну, что вчера Женя настрелял.

Женя поднялся из гамака и, бледнея, подошел к матери.

— Я ни одной утки вчера не убил, — сказал он раздраженно. — Тех уток, — поправил он мать, обращаясь к Варваре, — которых настрелял Гришка.

— Не все ли равно? Которых они привезли.

Мать не была охотником, она не понимала, какой кинжал вонзила в Женино сердце.

Женя опять пошел в гамак, стал покачиваться, напевать, и теперь ему казалось, что все погибло. Несомненно, его ошибкой воспользуется его враг, кучер Петька, и всячески будет над ним издеваться. Разойдется это и по деревне, и ему не с кем будет играть в лапту. Даже друг Роман потеряет к нему уважение, когда узнает, что он въехал в село верхом на Гришке.

Так чувствовал он себя весь день, часов до четырех, когда вернулся отец, ночевавший на Шахте. К удивлению Жени, отец отнесся к его авантюре равнодушно, назвал только Гришку дубиной, но похвалил, что хоть догадался донести домой мальчика. Коза вернулась — ее привел мужик из Кременок и получил двугривенный.

Отец лег спать и сказал, что вечером они с Женей идут ловить рыбу, — чтоб осмотрел крючки — все ли в порядке.

Перед закатом Женя вышел в парк. Парк этот был огромный, выходил за село в поле. В самом дальнем углу его был небольшой овраг — таинственное для детей место. Валялись полуистлевшие кости и росли особенные белые цветочки.

Женя перелез через забор и сел на откосе канавы.

Солнце стояло невысоко, заливало ровным, мирным светом поля, раскрывавшиеся за парком. Опять, как вчера, пахло рожью. Ветерок ходил по ней, и в плавном волнении ржи было вечное, говорившее о великом покое. Вон, за ржами, леса — Дьяконов Косик, Панькина Пчельня, Ландышевый лес: привольный край, полный свежести, света, пахучего воздуха. Все это его, Женино, хотя ему и не принадлежит. Всюду он может поехать, отовсюду испить радости и поэзии, которыми полон этот широкий кругозор. А впереди далекая-далекая жизнь! Столько еще будет солнечных дней, охот, поездок с отцом, легких и светлых минут!

Женя замечтался. Все, что было с ним раньше, — отошло, и, казалось, его осенил крылом ангел поэзии детства, его беспечальной, райской жизни. То, о чем вздыхают взрослые, неслось над ним легким потоком, дни протекали, как падают с неба дождевые капли в радугу.

Он сидел долго на этом пригорке и видел, как садилось солнце, как закраснела в его лучах колокольня деревенской церкви. Он знал, что пора идти домой пить чай, что наверно проснулся отец. Но не хотелось идти. Так бы всегда и сидел в заходящем солнце, любуясь зигзагами ласточек, их веселым визгом.

ПРИТЫКИНО

В мае 1900 года мы с отцом подъезжали к небольшой усадьбе Каширского уезда. Отец искал «Монрепо», как он выражался — просто ему надоела Москва, он хотел купить именьице и в нем окончить дни.

Мы приехали по газетному объявлению. У кого именно покупали, я забыл. Владелец не жил в Притыкине.

Был полдень, только что прошел дождь, солнце блеснуло, наша тройка влетела в усадьбу, остановилась у флигелька. Между ним и домом яблоневый и вишневый сад залит белым цветением, густой нежный запах плывет оттуда, капли падают и блестят в пестром солнце. Из флигелька вышел управляющий и повел нас по Притыкину.

Он отпер «большой дом» (очень скромный), запущенный, с остатками кое-какой мебели и очаровательно-непередаваемым запахом запустенья. У самого балкона, выходившего на небольшой пруд, так буйно разросся жасмин, так ослеплял и душил бледным золотом своих цветов... Да, все тогда цвело. Разорванные облачка неслись по небу. Мокро, зелено, сияет, дрожит брызгами. Большой сад вокруг двух прудов, террасами расположенных по склону, тоже весь в цвету, цветут и дикие яблони, и черемуха, и груши, все так заросло, полно такой мощи произрастанья и весны, глуши, зелени, волшебной прелести.

Таким осталось в памяти майское Притыкино. Оно прельстило нас обоих сразу — нехитрое именьице, но уютная усадьба с очень милым выражением лица. Сердце отца не устояло. Именно вот сюда мог он «приткнуться», в затишье, на этом склоне, глядевшем на юг, прикрытым с севера аллеей старых берез.

Мы купили Притыкино. Все так и вышло, как хотел отец. Через два года он совсем бросил Москву и службу. Ему было пятьдесят с чем-то лет. Он желал тихой пристани и получил ее — поселился с моей матерью в Притыкине, там кончил дни.[1]



Не могу объяснить, почему пишу об этом. Думаю, всколыхнулась «ностальжи» по родным краям. А повод — книга о Романе Медоксе, «известном авантюристе XIX века», только что вышедшая в России.[2]

Этот Медокс, «сын английского жида», содержателя театра в Москве,[3] прожил жизнь столь же бурную, сколь и странную, в своем роде очень грустную, однако, вызвавшую к себе внимание — и современников, и даже посмертное. Нашелся же писатель, посвятивший ему целый том!

Медокс — смесь Хлестакова с Казановой и Азефом. При Александре I он является на Кавказ с бумагами на имя Соковнина, якобы близ-

кого лица к Балашеву, тогдашнему министру полиции, — и совершенно по-хлестаковски наказывает казенную палату на 10 000 рублей. Попадает за это в тюрьму на 15 лет (предварительно, однако, «погуляв» вдосталь по России). Тюрьма его не сломила. Медокс любил «блеск металла и, краски жизни», любил и самую жизнь, женщин — ему еще дано было развернуться. При Николае I его выпускают. Он устраивает в Иркутске целую романически-провокаторскую историю, в которой замешана княжна Шаховская и живущие на поселении декабристы. Вновь надувает правительство, измыслив фантастический заговор в Сибири (все тех же декабристов!) — под этим предлогом добивается вызова своего в Москву и Петербург, некоторое время и там дурачит начальство, выдавая себя за разоблачителя этого «заговора», наконец, бежит, проделывает опять хлестаковский рейд по России и после краткого триумфа, как Наполеон после ста дней, — попадает если не на Св. Елену, то в Шлиссельбург, на этот раз на 22 года.

Оттуда его выпускают в царствование Александра II, и остаток дней своих он проводит в имении брата, Тульской губернии сельце Притыкине.

Вот в чем и дело. Как необычайно приблизился этот любитель «блеска металла и красок жизни» — его последние годы прошли в нашем Притыкине, рядом с тем флигелем, где живал я в течение двадцати лет! Многое, конечно, было другое, и дом, и постройки, но старые сосны в аллее к пруду, да кое-какие березы, липы существовали и тогда. Все-таки жил опальный Казанова именно здесь. Он умер в 1859 году. На нашем поповском кладбище я не помню его могилы, но наверно он там похоронен, быть может, лежит рядом с моим отцом, в соседстве с надгробными плитами князей Вадбольских.

Я слыхал о Медоксе и раньше, от крестьян, от соседей-помещиков. Но память народа, очевидно, недолга: ничего из его «приключений» не сохранилось. Был и был барин Медоскин, такой же, как другие. Запомнилось, что отличался он крайней бедностью. Вот и все. А Хлестаков, Казанова... этого не дошло. Да и где в скромном Притыкине развернуться? Все там простое. Никогда никто не жил парадно.



Рядом с домом, в тенистой роще, под кустами бузины до сих пор торчат остатки фундамента. Предание утверждает, что тут стоял каменный дом «Медоскина». Медоскин отчаянно играл. А соседом его был Балашев, в Захарьине, лучшем имении уезда. Однажды Медокс проиграл все, оставался только дом. Он и на дом поставил — тоже проиграл. И вот Балашев прислал подводы, дом разобрали по камешку,

все увезли. На что нужны были эти клочья чужого дома Балашеву, вельможе и богачу, неведомо. Теперь одни ужи водятся в руине.

Как многообразны были «краски жизни» у Медоскина в Притыкине, видно из такого рассказа, мне запомнившегося. (По легенде «Медоскин» безбожник и вольнодумец. Единственный намек на действительные обстоятельства его жизни, это известие, что «за некую провинность запретили ему выезжать из сельца»).

Приехал к нему раз священник из соседнего села, по делу. Священник этот не прочь был выпить.

— Батюшка, — спросил Медокс, — не угодно ли вам мадерцы?

— Это можно, — ответил батюшка.

Хозяин встал, долго искал по шкафам, но потом с серьезностью заметил:

— К сожалению, мадеры нет!

Через некоторое время спросил:

— Может быть, красного?

— И красного возможно.

Но осмотрев склады, хозяин сказал меланхолически:

— Как жаль! И красного нет.

Когда батюшка собрался уезжать, Медокс заявил:

— А чепуха все эти мадеры, красные... Выпьем лучше матушки-водченки!

Батюшка согласился. Наведя справки, хозяин задумчиво подошел к окну, поглядел, скромно заметил:

— За водкой можно бы послать на деревню. Отец Симеон, нет ли у вас двугривенного?

Так кончал человек, некогда шумевший и гремевший по России, одевавшийся у лучших портных, сражавший сердца дам. Путаная, грешная и в итоге печальная жизнь. Разумеется. И все-таки есть своя прелесть именно в авантюризме. «Блеск металла, краски жизни»... Вот ведь Казанова за карточным столом, когда уж очень не везло, «помогал своей судьбе», как сам и признается в мемуарах. А рядом — бывал щедр, великодушен. Может быть, и Медокс, выиграв дом у полунищего соседа, не приказал бы разобрать его по камешку. Но Балашев так и кончил дни барином. Закат авантюристов — всегда большая или меньшая Св. Елена. Все-таки к ним лежит больше сердце, чем к Балашевым.



«Хроника сельца Притыкина» — я ее продолжаю. На чердаке нашего дома сохранился засохший лавровый венок. В минуты нехватки кухарка наша клала листики с него в рассольник. Уцелела еще корич-

невая папка. На ней золотом вытиснено: «Дорогому Александру Николаевичу Борисовскому любящие сотоварищи по сцене». В мое время в эту папку вкладывали разграфленную ведомость о том, когда какой корове телиться.

Это уже иной мир. Тоже один из предшественников наших, но позднее Медокса. Значит, везло Притыкину на странных владельцев!

Актер Борисовский некогда (в восьмидесятых годах) был богат. Любил искусство свое, содержал в разных городах России театры, кочевал, прогорал в Калуге, делал сборы в Ярославле, искал славы, увлекался женщинами и актерскими талантами. Несомненно, бросался на шею Андреевым-Бурлакам,[4] обнимал Глам-Мещерских,[5] называя их голу́бой, мамой. Конечно, пил.

В Притыкине он отдыхал летом. О нем помнят, что он был добрый малый, хотя и страдал несварением желудка. С ним приезжали обычно две-три актрисы, которых мужики считали его временными женами. Актрисы, будто бы, тоже пили. Иногда они доходили до предела веселья, в другие дни ссорились, рыдали. В минуты уныния Борисовский разгуливал нагой по саду.



И вот, мы были последними владельцами Притыкина. Мы — это отец мой и мать. Я никогда ничем не владел, в милое мирное время наезжал летом, сидел во флигельке над книгами и писал писания свои. В годы войны и революции отсиживался с семьею, как в укрепленных позициях.

Многое связано для меня с Притыкиным. И хорошее, и дурное. Во всяком случае, Родина, Россия неизменно просачивалась ко мне из окружающего тульско-каширского пейзажа, из людей наших, пейзан и помещиков. Может быть, я в те годы жил слишком книжно, замкнуто (и казался крестьянам тоже в своем роде «чудаком», едва ли не чернокнижником). Все же я бесконечно признателен этому глухому уголку. Все-таки — да будут благословенны наши поля, все Ледовские и Рытовские лесочки, соседние деревушки, разные Копенкины, Мокрые, Поповки. Пусть хорошие весны, жаркие лета, осени благодатные дают добрый урожай нашему краю. Таково искреннее желание последнего из «чудаков» притыкинских.

Я никогда не увижу Притыкина, даже если вернусь в Россию. Мне не хотелось бы видеть заброшенную могилу отца, загаженный дом, флигель, в котором я тихо трудился, обращенный в конюшню (теперь в Притыкине ветеринарный пункт. По последним точнейшим моим сведениям, именно мой флигель — конюшня). Но злобы на Притыкино и притыкинцев я не имею. Собственно, соседи наши, притыкинские

крестьяне, ничего нам дурного не сделали. Отец и мать много страдали во время революции, но именно от *революции*, а не от крестьян. Отец умер у себя в доме, на своей постели, хотя по «закону» должен был давно быть изгнан. Мать провела еще ряд лет в Притыкине, и потревожили ее глубокую старость не крестьяне.

Я никогда не чувствовал Притыкина своим, в нем, как вообще в жизни, всегда был прохожим. Через него видел Россию, но и в мирное время остро ощущал бренность, преходимость нашей барской жизни. Вот что писал я некогда о своем доме:

«Философ же давно свыкся с мыслью о разлуке с земным. Давно привык видеть пустынную, светлую вечность. Все же безмерно жаль земного! Жаль неповторимых черт, милых сердцу, жаль своей жизни и того, что в ней любил.

Возвращаясь в свою комнату, взглянув на дорогие портреты, дорогие книги, тоже с усмешкой подумаешь, что быть может, через тридцать лет твоим Пушкиным будут подтапливать плиту, а страницы Соловьева уйдут на кручение цыгарок».[6]

Это все случилось много раньше. Кобылы и мерины ветеринарного пункта отлично удобрили почву притыкинского флигеля. Это говорит лишь о вечном круговращении, о таинственных и печальных законах жизни.

БРЕМЯ. ИЗ «МОСКВЫ ПЛЕНЕННОЙ»

Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю. Печаль, веселье и трагедия, цена на молоко, очередь в булочной, новый декрет, смех, смерть, пирожные и муки голода — все вижу. Все знаю.

Заповеди счастия:

I. Помни о печке. Сложи каменную. Не забудь о дымоходе, полюби дрова, знай смысл полена. Если нет дыма и тепло, то ты в преддверии.

II. Ешь. Продавай штаны, женину юбку, книги, старые подсвечники и этажерку. только не ослабевай, иначе уж не встанешь.

III. Спи, или ты не выдержишь. Но выдержать ты можешь, должен. Ведь другие же выдерживают.... Да и мудрость, правда, уж не так огромна.

...Летит ворона. Села на крест церкви Николы Явленного, покаркивает. Белый же снежок все посыпает, и меня, и коммуниста, и спекулянта в соболях, и чудака с моноклем, в рваном котелке, опорках, с мешком рухляди и видом элегантно-стынущим — деловито шествует он улицей, близ тротуара.

Бело, пустынно. Ты идешь. Страдал ли ты, был счастлив, строил планы?.. Но тут кланяешься: много на Арбате ведь знакомых.

Так ты живешь, между хозяйством и литературою, Арбатом, книжной лавкой, где торгуешь, средь политики, рушащегося и строящегося. Будь скромен и не заносись, приказчик за прилавком.

Хорошо еще, что можешь торговать.

Вбегает мальчик.

— Есть учебники?

— «Древний мир», Иванова?

Актриса:

— Нет ли книг о театре?

Чуйка:

— Хозяин, азбуку!

Барышни спрашивают Блока, Ахматову. Философы — насчет Гегелей, дамы постарше роются в детском.

В тихий час, когда мало покупателей, ты сидишь на лесенке, поджав ноги в валенках, глядишь, как печка разгорается. Входит стриженая коммунистка в тулупчике, краснощекая. Вокруг шеи шарф.

— Есть портреты вождей?

Сонно, будто не понимая, переспрашиваешь:

— Каких вам вождей?

— Разумеется, вождей пролетариата!

За зеркальным окном, на Никитской, едет извозчик. Мглисто на улице, чуть синеет.

— Вождей пролетариата нет.

Скучно слезать с жердочки. Коммунистка не нравится. И главное, сами «вожди»... Их у нас сколько угодно — ну, пусть полежат.

Фыркает.

— Как странно!

Хлопает входная дверь. Затворяется и отворяется. Потрескивает печка, издатели приходят, философы беседуют — о выдаче пайка. Нуждающиеся в пшенке тащут свои книги, другие оставляют сотни тысяч и выносят связки, дверь все хлопает и затворяется, дамы, мальчики, снобы, студенты, поэты, техники, букинисты....

А за кассою твердой рукою ведет дела ясноокая Паллада. Вспыхнет электричество в четыре. В шесть запираем. Тьма, снежок. Хладные улицы. Зеленоватые огни.



Малые основы жизни:

I. Пайком не брезгай (не гордись). Говори о нем почтительно. Не пропускай буквы своей, записывайся до свету. Бери с собой достаточно

бечевок и мешки. Не позабудь бутылок. Осмотри санки. Терпи в очереди, не кричи, что дали масло горклое и мясо с костью. Не волнуйся и не кипятись.

II. Почитай примус. Он твой домашний лар.

Наблюдай за жизнию его. Чисти иглой. Поршень, если ослаб, размачивай в стакане с кипятком. Делай возлияния ему — чистейшим газолином.

III. Затыкай все щели. Вентиляции ведь хватит. Холод же придет наверно.

Хочешь похворать? Что же, ложись. Сначала это может показаться странным. Жена тоже больна и некому ходить за хлебом, мерять Арбат зимний, ждать у касс, получать сдачу. Не кому отправить девочку в училище, затопить печь, готовить. Ты ложишься, не без удивления. Знобит. Устало тело. Белый зимний день в окне, и снег попархивает. Но покойно в сердце! Что ж, ты невиновен. Сколько мог, трудился. Ставил самовар. Мыл посуду. Распалял примус — человеческое имя у него: Михаил Михайлыч. Но настигли и тебя. Неважно. Даже славно — отдохнуть и ни о чем не думать. А жизнь наладится... наверно. Велика Москва, любвеобильна. Друзья не покинут.

С улыбкой думаешь:

— В Москве, да чтобы дали сгинуть? Вряд ли. И действительно, устроишься. Кто-нибудь пойдет в аптеку, кто-нибудь самовар наладит. Добрая душа уберет комнату, сготовит на печурке, подаст градусник — и ты жив — житель беспечный на волнах хаоса.

И хоть в хаосе — все же протекут как надо дни болезни, и ты встанешь, с кувшином синим из-под молока, с корзиночкой побредешь Арбатом зимним, утренним за малыми делами жизни. Тысячи лет трудилось человечество, изо дня в день. Возьми и ты уголок бремени — чтоб не заносился, не заважничал.



Если проспал, молоко уже раскуплено. Тогда надо к Смоленскому. Свернешь направо, мимо двух лачужек, мимо пустыря, где дом стоял, а ныне дерево одно торчит, увешанное тряпками.

Бродит худая собачонка, разбирая что-то в куче. Наигрывая на гармонике, шагают четверо парней, в тулупчиках, с лицами ясно-веселыми. С душой голубоокою поют:

Вспомню, вспомню, вспомню я,
Как отца зарезал,
А любовницу свою
На дубу повесил.

Старуха с подвязанной щекой кланяется низко, древне-убого-покорно:

— Подайте милостынку...

В конце Толстовского, преддверия рынка, бабы-молочницы с флягами. Тощему интеллигенту, барыне в салопе льют кружками белую жидкость со льдинками — в кувшины, кастрюлечки махотки.

Смоленский рынок! Средоточие Москвы, знамя политики, сердце всех баб, солдат и спекулянтов, родина слухов, гнездо козней, суета, печаль и безобразие. Кишит толпа, вечно кишит, с утра до вечера. Ее разгонят, оберут, кое-кого засадят — вновь собираются, торгуют в переулках, откупаются, но все-таки торгуют, все же норовят друг друга объегорить, где-нибудь сорвать, на чем-нибудь нажиться. Долго разгоняли. Но неутомимый юркий бес одолел — и невозбранная гудит маммона. В палатках продают духи и гвозди, мыло, башмаки и бриллианты, статуэтки и материи; а напротив длинными рядами вытянулись мизерабли, на себе принесшие отребья. На снегу — чернильница и дамские чулки; старинная миниатюра; кружева. Вот женская рука вытягивается, в перчатке черной — на ней кольца. Старенькая дама леденеет над такими же, как она, старыми книжонками. Девушки накинули сверх шубок платья; бритый барин в котелке предлагает тряпочные куклы. И временами все сторонятся — тарахтит Форд, прокладывая путь начальству.

Вновь сомкнулись ряды просящих — сизых носов, глаз слезящихся, вновь ходят по рядам дамы нарядные, скупщики, спецы — без конца и начала орда — сутолка под серым небом с пролетающими галками, снежком, зигзагом реющим. Галдят, торгуются, пробуют материи, едят на лотках ситный, жуют свинину, разбирают сахар краденый, завертывают масло.

Вблизи молочниц на снегу улицы гравюра. Отдых Пречистой на пути с Иосифом в Египет. Богородица уснула. А Младенец тянется к двум ангелам — один протягивает плошку, другой подает еду. Иосиф в отдалении. И справа, за скалой, где приютились путники, спокойный, мирный слон. «Buturum et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum» — подпись.

А внизу:

«Ferdinando III Austriaco Magno Etruriae Duci — Nicolaus Poussin».[1]

Смотрим и молчим, проходим с только что добытым молоком, которое будем аккуратно кипятить, задабривая газолином свежим нашего Михаила Михалыча: чтоб не спесивился, загорался пламенем изжелта голубеющим.

— Забубнил, Михаил Михайлыч!

Но тогда не упускай минуты, путник, мешай ложкой молоко свое, чтобы не пригорело, не ушло, не хлынуло волной кипящей. Этого не

любит наш Михаил Михайлыч. И сам же ты потащишь прочищать его к старичку на Арбат.



Михаил Михайлыч, ты не плох, ты друг. Печь — ты помощница. Дрова — союзники. Стены — защита. Окна — глаза, видим белую улицу, со снегом и зимой, бегом саней, ходом людей, мало-печально-радостной жизнью нашей.

Здравствуй, чистильщик сапог, болгарин жуковидный на углу Кривоарбатского. Пирожницы и дамы папиросные, счастьеискательницы, мерзнущие на морозе. И кассирши в «гастрономиях», и девочка, сбирающая корки за зеркальной дверью булочной. Мизерабли, дрогнущие в очередях к хлебу, и убогие старухи, руки тянущие, и приказчики, и буржуа в своих лавченках — здравствуйте.

Белый снег порхающий, белая жизнь, белая душа. И летит бойкий автомобиль, трамвай гремит. А навстречу ему баба, впряжена в рекламу. На тележке надписи. Там и актеры, пение, и кабаре. Подвалы, радость. Может быть, вино?



Сумерки. Церковь Николы Плотника. Можно бы и зайти. Дверь открыта. Сумрачно тоже, и холодно. Несколько человек — маленький гроб посредине. Весь в цветах. Свечи — но смутно в храме. Двое у изголовья девочки, вечные отец и мать. — Поправила складку на покрове, цветы передвинула, а рука держит свечку, не бросит. И все смотрит Мать на кудерьки черные, на узенький на лбу венчик, провалы глаз. Девушка рядом плачет. Красноармеец у двери. Священник в серебряной ризе, и дьякон.

Долгим лобзанием поцеловала, припала, крестом смертным осенила. Вновь цветы поправила.

А та, на снегу? С Иосифом и Младенцем? Из хладных яслей, может быть, и ушла — украшает спецово обиталище. Зноен Египет в ледяной нашей стране, удивителен слон, тихи ангелы. Тут или там, на снегу или в комнате, не уходит Пречистая. Не уходит — приходит. Всегда с нами.

ЛОСЬ <1932>

Мать не без страха меня отпускала (точно на войну), впрочем, я уж и раньше бывал на охотах, а теперь непременное условие: всюду рядом с отцом. Оленья шапка, ушастая, романовский полушубочек с вышив-

кой на груди, валенки, и весь еще закутан в шубу, услужливые руки усаживают, подтыкают полость: двигаться уже трудно, лишь сердце бьется, да мечта работает.

— Ну, с Богом, — говорит отец. — Кондратий, смотри ты у меня, чтобы Любезный вез, зря бы не болтался.

Запряжка гуськом — отец терпеть не может, чтобы гусевой не вез. — Кондратий с места трогает его длинным змеевидным бичом... и мимо озера (снежная пустыня!), мимо церкви, слободами людиновскими, выезжаем мы в те снежные поля, в дикие жиздринские и брянские леса, что на границе Полесья. Сани кораблем плывут в этих снегах, ветер щиплет щеку, отец на морозе курит — сладок табак в поле! За нами на других санях, на третьих, на четвертых — Брец, Павел Егорыч, разные приятели и сослуживцы отца — все охотники.

Но вот лес... Дорога слабо видна, едем тише: лучше меньше разговаривать.

...Давно ли, кратко ли, то ельником, то среди частого подлеска или вековым сосновым бором добираемся до главного штаба: лесной избушки. Здесь обкладчик, здесь и загонщики — в белых полушубках, зипунах, в лаптях и онучах, те самые древляне, что привязывали Игоря к вершинам нагибаемых дерев, чтобы удобнее его разодрать.

Тут надо вылезать. Разминаем ноги, разбираем ружья, патронташи, всю нашу воинственную снасть. Кузнечный мастер Брец надевает белый балахон.

— И так же мене лось не увидит....

— А бороду куда денешь? Смотри, какая лопата черная.

Брец обижается.

— Ну и какая же у меня лопата. Зверок посмотрит, подумает: кусточек какой-нибудь... так он прямо на мене и выйдет...

Древляне идут в одну сторону, стрелки, — в другую.

Разговоры прекращаются (можно лишь шепотом). Ведет не Сусанин, а некий Филька, лесник и охотник, обкладчик, полугений, полузверь. Маленький, на кривых ногах ковыляет он впереди, по какой-то тропке, лишь ему ведомой. Это его царство! Он невзрачен сам, с лица худ и бесцветен, будто бы и глуповат. Когда мы с отцом приезжаем летом к нему за тетеревами, он собаку нашу зовет «вы» — низко кланяется и бормочет нечто не вполне ясное: «тово, знычит, тово...» Но и глухарей, и тетеревов, и волков, лосей чувствует звериным своим нутром не меньше Нормы. Это он и сегодня лосей обкладывал. Может быть, говорил с ними? Знает, что их двое, знает, наверное, как их зовут, где залегли и куда тронутся от загонщиков.

Нас все меньше. Одного за другим расставляет Филька по номерам. Вот Брец встал у осинки, мы от него шагах в восьмидесяти. Филька

шепчет что-то отцу на ухо, показывает на прогалинку. И — уводить Павла Егорыча с доктором дальше.

Отец ставить меня у пня. Я немного выше пня. Прикрытие превосходное.

— Береги этот лаз — они из осинничка должны выйти, вернее всего — лощинкой...

Мы стоим на опушке. Позади строевой, и могучий, чудесный лес. Впереди частый осинник — по вырубке, очень густой, для движения неудобный, но вот действительно прогалина, будто нарочно к нам выводит... хитрый этот Филька.

Отец отошел несколько вбок и назад — значить, я в первой линии, отец же (превосходный стрелок) — как бы артиллерия, готовая ежеминутно поддержать. Ему смерть хочется закурить, но уж нельзя: не полагается. Опять подходить.

— Пуля-то у тебя дошла?

— Дошла, — шепчу, бледнея, едва держась на ногах.

Он вынимает шомпол, запускает в ствол.

— Так. Пистон? На месте. Курок взводи, как загонщики тронутся. Целься по первому, второй мой. Спокойнее бери на мушку...

Отец низенький, коренастый, и всегда румяный, с небольшой кругловатой бородой, говорит шепотом, быстро, и хотя собой владеет, но волнение его и по мне пробегает.

Опять отошел. Тихо. Какое безмолвие леса заиндевелого! Чуть лишь поет что-то в вершинах сосен, ледяной ток медленно проплывает, по верхушкам, но здесь — не шелохнется. Разве пестренький дятел, милый плотничек леса, вдруг застучит по сосне, быстро взбираясь цепкими лапками — гулкий, пустой звук в пустыне. Да сухая ветка крякнет.



...Стеклянно-морозный воздух, точно налитой кристаллом, разорвался дальним — б-ба-ах! — что то раскололось: — А-у! — А-уу!

Нестройный, таинственный полукруг голосов — загон двинулся. Значить, сейчас между ними и нами — странные эти существа — звери. Чик, чик, сухой звук: отец взводит курки! Я взвожу тоже — свой единственный, у меня ружьецо одноствольное, и перезарядить его — целая история. «А вдруг медведь выйдет?» Как охотник, я отлично знаю, что медведь в лесу похож на неуклюжего пса и бежит от любого шороха. Но как ребенок — все-таки представляю себе его на задних лапах, с диким ревом идущего на меня...

Разбудили древляне лес! Что-то там впереди забеспокоилось, сороки залопотали, сиворонки стали перелетывать. Голоса медленно, то

вздымаясь, то ослабевая, все в нестройной пестроте, дикой гармонии, приближаются. Есть ли вокруг что-нибудь? Неизвестно. Даже крики эти — откуда-то со стороны. Мир весь в судорожно сжатом ложе ружья, в блестящем пистоне... да еще детское сердце выстукивает свою дробь.

Странная вещь — охота! Темная страсть, греховная... Кто ее испытал, знает ее силу. Почему тянет к убийству зверя, к крови даже...

Слабо хрякнула веточка, задрожали осинки, снег осыпался — нечто мохнатое, мягко — коричневое, огромное, но и поразительной легкости, показалось в прогалине. Сзади другое, поменьше, с рогами. Маленький человек за пнем, полный охотницкого безумия, маниак часа этого, медленно подымает ствол. Пистон сияет магически. Мушка идет твердо, уверенно по широкой, мохнатой спине — и когда доходить до вершка под хребтом — р-раз! — тульское ружьецо бухает. Махина, только что, как балетчица пружинившаяся на стройных ногах — безнадежно оседает в снег. Спутник делает молниеносный вольт, — сбоку грохот отцова выстрела, стон, треск ломаемых сучьев, облако снега, смертельный лет, второй удар (левый ствол!), скачет чрез нашу тропку, из последних сил — и где-то вдалеке, средь бора, падение второго тела.



...В руках ружье, из ствола дымок, силюсь вновь его зарядить. Для чего? Все кончено. Огромный лось повержен маленькою пулей — перебившею ему хребет. Он лежит на боку, судорожно подергивает ногой. Прекрасный глаз затягивается. Подходит Брец в белом своем балахоне.

— Ну так это ты и убил, молодчина! Я же и говорил, что это охотничек! Я же и говорил...

Ничего не могу ответить — зубы стучат и лицо дергается. Бессмысленно продолжаю заколачивать в ствол пулю, и она не лезет — видимо, я ее косо наладил. Брец подходит к лосю, снимает с плеча ружье.

— Что же ему биться зря!

Удар — и теплый пар идет из прободенного бока, как бы предпоследний вздох... Древляне появляются из-за кустов, из каждой-то осинки появляется древлянин, все меня обступают. Я ничего не понимаю. Может быть, сейчас в обморок упаду...

Отец раскраснелся, бодрый и веселый. Треплет меня по щеке, горд.

— Молодчина... Не пропуделял.

Загонщики довольны.

— Ишь ты!

— Ловко трафил!

— Даром, что как гриб!

— А теперь с вашей милости на водочку...

Филька тоже меня поздравляет.

КОЗА

Недавно видел я сон. Будто сижу в дальнем углу нашего парка в Устах, где сходились две липовых аллеи — место, знакомое с младенчества. Был тут и небольшой овражек в стороне, весь поросший белыми цветочками. В нем валялись полуистлевшие лошадиные кости, черепа: нам, детям, это место казалось таинственным и слегка страшным. Зато за оградою открывалось блаженное царство! Нельзя объяснить, почему оно блаженно, но уж это непременно так: память сохранила некий светлый кругозор, поля, бегущие вниз, всегда залитые светом и благодатью, окаймленные благодатными лесами — там Козий бор, а правее Ландышевый лес (мы называли его так за обилие ландышей). Чувство рая связано у меня именно с этим глухим и бедным углом Жиздринского уезда.

Сон же в том состоял, что из парка я выхожу в поле. Та же окрестность, нивы, леса вдали, но все чужое. То, да не то. Иду, задыхаюсь, плачу от желания восторга, но это лишь восторг прежней памяти, окружающее никак не прекрасно и на рай не похоже. Тоска, невозможность вспомнить. И все лощины, поля, наконец, каменная скамья — подобие саркофага: неподвижная женщина, вроде инокини, лежит на ней.

Не считаю этот сон вещим. Но он поднял некие пласты древние, ввел в бездну мифа — оттуда и выплыло нехитрое приключение жизни ребячьей, о котором далее речь.

Вспоминая же о нем, ощущаю уже не так, что вот просто это *случилось* в твердой древней действительности: скорее в некоем зыблемом, как детство, легендарном тумане.



— Мы с Гришкой едем за утками!

Мать удивляется. Как это так? Отца нет, он уехал на соседний завод, а они собираются. Но переубедить маленького человека нелегко.

— Ничего не значит, мы и без отца поедем.

Гришка невелик ростом, довольно корявый и кривоногий, живет у нас в доме вроде дворника. Он тоже охотник, да и за няньку: когда кто-нибудь из нас за ужином засыпает (от блаженной деревенской усталости), он забирает в охапку и несет в детскую.

Мать недоумевает: пустить или не пустить? Всегда на охоту я езжу с отцом. Но с другой стороны — Гришка надежен, не выдаст. Впрочем, поздно, кажется, и раздумывать: само собою выходит, что я натягиваю болотные сапоги, забираю ружьишко, надеваю патронташ, сетку для дичи, а в каретном кучер запрягает уже Козу в дрожжи.

Мне мерещится, точно из другого мира, светло-золотой июньский вечер — ранний, солнце еще очень высоко, и у него такой вид, что оно никогда не сядет: так и будет длиться этот зеркальный день. Кобылка Коза потрухивает по широкой улице села Усты (у нас улица называлась *порядок*), мимо каменных деревянных изб, где обитали мои друзья Романы, Савоськи, Масетки. Я иногда пошлепываю вожжей, сбивая у Козы со спины слепня. Дрожки слегка пылят, весело бегут — какой это легенький, почти невесомый инструмент! Рядом, не отставая от нас, Норма. А за моей спиной — Гришка с ружьями, раскорячив ноги, упирая их носками в заднюю ось. Тень от него бежит за нами. Мы разгоняем кур с дороги, за нами тянется какой-то жеребенок, у околицы мальчишки кричат: «Барин, барин, дай копейку!».

И вот катим под горку, среди сизых ржей, к Святому Колодцу, за которым лес Чертолом и Сопелки, где на тяте мы стреляем с отцом вальдшнепов В привозим домой первые подснежники. Там теперь собираемся искать чирят.

Святой Колодец — это действительно колодец на опушке леса, с часовенкой, иконой, разными нацепленными тряпочками, образками, колечками. Сюда мы ездим каждую Казанскую на ярмарку, все это милые, знакомые места (светлый холод воды, запах телег и кумача ярмарки, нарядные бабы в котах к кичках, с утиными пушкамми в ушах, вкус удивительных коврижек ярмарочных — коричневых, медовых, и пухово-нежных).

Название «Чертолом» страшновато. Сначала будто кустики, ельник по полям, но чем дальше, тем сумрачнее: дикий калужский лес, всего намешано: и ель, береза, липа, все запущенное, заросшее, с болотцами, муравейниками, буреломом.

«Это дремучий лес?» — спрашивал я у отца (каждый, впрочем, лес, казался мне тогда дремучим, а вернее — волшебным), «Дремучий» — отвечал философически отец. И в темноте, возвращаясь с тяги, чувствовал я себя за отцовскою оградой крепче. Ну, а одному тут оказаться...

Мы проезжаем его довольно быстро, куда-то сворачиваем, и сквозь поредевшие деревья — зеркально-золотистый свет, как бы раздвигает весь сумрак леса. Коза привязана к дереву, перед нами поемные луга Жиздры, зеркала озер по лугам, осока, курослепы, кувшинки на них... Тут-то вот и водятся «чирки, нырки, кряквы», а за лугами синеет Брын-

ский лес, это уж действительно «дремучий», на десятки верст, с медведями и разбойниками (детского воображения).

Норма, черный наш пойнтер с гладкой лоснящейся спиной, сразу кидается в луга, к озерам — уткам и бекасам, и коростелям. Забив заряды в шомпольные ружья трогаемся и мы. Одна Коза с дрожками остается. Комары колоннами и столбиками над ней танцуют.

Овода липнут к распаренной спине. Коза по временам фыркает и перетряхивает всей шкурой. Но враги всюду жалят. И в раздражении пытается она почесать себе коленом задней ноги под брюхом.



Солнце, однако, и в этот день подчинялось своим законам: медленно опускалось к Брынскому лесу. Золото понемногу краснело. Сияние озер меркло, туман появлялся. И высоко в небе блеял временами бекас-баранчик.

Два человека, — один взрослый и кривоногий, другой совсем маленький, с полудетским ружьем, неизвестно какой азартнее, сновали за Нормой по высокой траве, по болотистый краям озерец, средь осоки и камышей с цветущими коричневыми бантиками. Нос Нормин уже изрезан. Но устали она не знает. И по временам жирная кряква со свистом крыл снимается с затона — охотнички палят, и больше мажут. Дым над душистыми лугами, уже в росе, в запахах разных медуниц, липкой краской «зари», вдали скошенного сена.

Дыму мы напустили порядочно, крови пролили мало: я по младости лет, Гришка по малой практике (не так легко застрелить чирка влет!). Надо прямо сказать — он хоть пару уток убил, а я ничего, «ни пера», и весь только исходил в бесплодном охотничьем возбуждении (очень, как теперь думаю, вредном. Темная это сила).

Мне все хотелось еще пострелять, хоть что-нибудь домой привезти, — о, честолюбие и «любовь любви»! (Напрасно считают детей ангелами: все наше есть уже, пусть и в зародыше, у них).

Солнце село. Я просил «взять» еще озерцо. Мы и взяли, и вновь подымали, и Норма уж вовсе зарьяла.[1] Туман все плотнее стелился по лугам. Быстро темнело, сизело как-то и прохладно стало. Русалкам бы пора уж появляться в Жиздре, разбойничкам выходить на дорогу в лесу Брынском. Гришка заявил, что пора ехать. С сердцем опустошенным, отчасти спаленным неудачами, брел я за ним, уже сильно усталый. Комары звенели. Вода бежала с языка Нормы, и кровь капала с порезанного носа.

Отлично помнили мы место, где оставили Козу. И по росистой траве без труда добрели до опушки Сопелок. Вот и дорожка, следок, осинка, за которую замотали повод.

— Ах, едят тебя мухи с комарями! Никак убегла...

Неизвестно, кого должны были есть «мухи с комарями», но Козы, действительно, не оказалось. Ее-то, очевидно, и замучили овода.

Что же тут делать? Ясно — искать. В тревоге и возбуждении бросаться то на одну тропинку, то на другую, пытаться, наконец, идти обратно, к дому, за Козой, «она, стерва, в аккурат здесь где-нибудь остановилась...» — Все перепробовали. И совсем стемнело. Чертолом показал тишину свою и великий сумрак. Жутко было идти по песчаной лесной дорожке, слабо белевшей, держа Гришку за руку, едва ноги передвигая. Мы потеряли уже надежду отыскать Козу. Мы брели, как остатки разбитой армии, темным и страшным лесом, отступая на родимые Усты. У Святого Колодца я пал духом. Из охотника и честолюбца, собиравшегося поразить мать, Дашеньку и домочадцев количеством трофеев — обратился в самого себя: то есть в дитя, с плачем Гришке заявившее, что идти дальше не может.

Но на то и был Гришка верный мужик. Он философически отнесся к бедствию, без рассуждений взял меня к себе на закорки. С терпением и покорностью заковылял на кривых ножонках к дальним Устам — среди тех же ржей, васильков, что видали днем наше победоносное наступление.

Все это: как он нес меня, а на нем ехал, я теперь лишь стараюсь вообразить, ибо ничего не видал. Скоро я успокоился, обняв руками немудрящую Гришкину шею, положив голову ему на плечо, и заснул сном... — уж не праведника. конечно, а просто стихийного существа, затомленного непомерной усталостью.

Глубокой ночью состоялся наш въезд в Усты. И к счастию, что глубокой: все мои друзья Романы и Масетки; Савоськи, Анютки спали и не могли видеть жалкого позора охотника, с ружьецом за плечами, тихо спавшего на закорках у Гришки и на нем возвращавшегося домой.



Коза проявила нрав причудливый. Естественно ей было бы возвратиться восвояси, но уж очень, видно, заточили ее «мухи с комарами» — она забрела с дрожками своими в деревушку Кременки, где на другой день ее и нашли.

Не помню, чтобы мне от матери попало.

Гришка, разумеется, «получил реприманд», но так как Козу благополучно вернули, а я не заболел и вообще ничего со мной не случилось, то все происшествие не вышло из малой детской хроники. Но и вплелось звеном в ткань нашей жизни. Те трое, кто были его участниками: Гришка, я и Коза, каждый прожил свой положенный срок

в нам данных судьбах. Гришку я потерял из виду лет сорок назад, и не знаю даже, жив ли он. Думаю, что навряд ли.

А я сам... может быть, некогда вновь приснится мне эта маленькая точка ушедшей моей жизни, может быть, и с той особой пронзительностью, раздирательностью, как всегда снится Россия.

Пока же все это для меня сон: но спокойный, только слегка печальный.

МАТЬ

Сасово мы приехали к вечеру, но еще засветло — далек путь из Калуги в Тамбовскую губернию! Отец только что поселился здесь.[1] И впервые спешили мы попасть к нему на Пасху: да несколько запоздали, была уже Страстная суббота.

Станция Сасово — пыльная, неприютная. Все мне казалось тут чужим и грубоватым. И тройка у подъезда, тяжеловесный тарантас, большие лошади, незнакомый кучер... Ну, ехать, так ехать, чего там!.

Надели дорожные свиты, уселись и тронулись. Поля начались тамбовские. Ровные, чуть с прозеленью, в ложбинах сыро, а за тарантасом пыль, и безмолвная эта окрестность казалась дикой, пустынной. Нет, у нас под Калугой лучше!

И лошади не такие, и тарантас тряский. Огромные села — унылые. А одно — просто мордовское или татарское.

Но со мной рядом мать, в дорожном облачении, все в той же черной шляпе, с небольшим страусовым пером, что я знаю уж очень хорошо, — мать спокойная, крепкая. И молчаливая.

— Запоздал поезд ваш, барыня. Успеем ли до темноты через Мокшу перебраться? Нынче разлив сильный.

— Ну, там видно будет. (Когда мать отвечала так, значит, уж сделает по-своему. И нынче мы *должны были* успеть.)

...Солнце не медлит: опускается к дымному апрельскому горизонту, не считаясь с нами, садится, и когда издали начинает тянуть влагой, присутствием большой реки, — уже темнокрасно-пепельный закат гаснет.

Кучер рассчитал правильно. Дорога еще серела средь полей, но уже ночь спускалась, когда мы остановились. В диком поле, близ разлившейся реки, бродили какие-то фигуры. Повозки, лошади. Кусты маячили в звездном свете. Кучер слез, долго разговаривал с мужиками. Потом вернулся.

— Шибко разлилась Мокша, барыня. Луга на многие версты затоплены. Парома подождать придется. На веслах пойдем. Народу уж подобралось порядочно, как еще уместимся...

Парома долго пришлось ждать. Час ли, два, больше? То, что он подошел, можно было определить по возне, гуторению мужиков вправо в потемках, около кустиков. Плескалась вода, гремели вынимаемые весла.

Тройка давала нам право на уважение. Нас уважали не за мою гимназическую фуражку, а за отцовских лошадей, «директорских», с Балыковского завода. Наш тарантас первым пропустили — лошади боязливо ступали по бревнышкам, танцевавшим под копытами. Тарантас прыгал, вода где-то рядом плескалась... — и вдруг тройка уверенно взмахнула на паром — лошадиные морды остановились у самых перил.

За нами двинулись повозки скифов, мордвы, — родной Руси! — пешие мужички и бабы, спешившие к заутрени.



Странное было наше плавание! А уж именно плавание. Ибо паром скорее походил на Ноев ковчег, чем на паромы с канатом, прославленные Толстым, Чеховым. Мокша-то действительно разлилась по ровным лугам! Мы вначале тихо шли на веслах, цепляясь кое-где за потопленные кусты, потом выбрались на простор, но попали в течение и нас понесло — неизвестно куда, вправо...

Лошадей наших выпрягли — они стояли отдельно. Мы сидели с матерью на сидениях тарантаса, перед нами торчали оглобли, кверху задранные. За ними — перила и вода, над ними — небо, по которому чертили они свой путь, задевая звезды. Звезд было много! И вся черная сталь воды вокруг дробилась и змеилась золотыми отраженьями. Иногда являлся сбоку куст, и вновь плыл над нами звездный атлас.

Жутко было мне. Пятнадцать лет! Ничего, ничего, еще не прожито — не пережито. А вокруг тьма, лепет струй, куда-то несущаяся ладья...

Но со мной рядом мать — так же прямо, покойно сидела она, как всегда. Слабый звездный свет давал видеть вблизи прекрасные глаза, дантовский точеный профиль. Она восседала на подушках тарантаса с осанкою императрицы. И ощущая плечом ее плечо, чувствовал я, что за нею и с нею не пропадешь... — чувство, явившееся чуть не с пеленок.

— Скоро мы приедем, мама?

Она улыбнулась. Но сейчас же, проходя мимо глупости моей, тоном непреложного авторитета:

— Скоро, сыночка.

И если мать оказала «скоро» — значит, так и будет, нечего и беспокоиться. Я стал размышлять о том, хороша ли у отца тяга, какой дом в Балыкове, есть ли красивые виды — увлекался тогда акварелью... Хотелось и спать, и помечтать хотелось.

— На стремя вышли! Теперича на самое стремя!

— Ох, батюшки, и доедем ли куды... — бормотал где-то сбоку бабий голос.

Ковчег быстро несло теперь вниз. Гребцы опять ругались, надо было «налегать», а то и вовсе Бог знает куда занесет.

— Мама, а помнишь, как я, когда маленький был, чуть в Жиздре в разлив не потонул?

— Как же, сыночка, помню....

И она погладила мне в темноте руку. «Стремя» было недлинное. Паром ткнулся в какую-то глыбу, описал странный полукруг, так что оглобли прочертили по звездам удивительную кривую, и вошел вновь в спокойный фарватер.

— Да... — вспоминал я. — Еще папа на Шахту ездил, а за ним выслали дощаник, и я увязался...

Это была одна из «страшных» семейных историй — мальчик в пятнадцать лет любит говорить о себе: «когда я был маленький»... Вот занесло под мост на дощаничке, и мы пересчитывали сваи, и дощаник трещал — тогда было, действительно, страшно. Но тогда матери со мной как раз не было. Мы ее обманули, удрали тайком... — ну, и эта «спокойная» мать пулей неслась из усадьбы к Жиздре... что могла сделать бы, если бы дощаник хряснул? Все равно неслась. Все равно *несла себя*, как вообще принесла нам свою жизнь, отдала ее — всю, начисто... а мы и не заметили! Так будто и надо. Так, во всяком случае, произошло.

....А ковчег наш все плыл. Лошади иногда потопатывали, иногда, скаля зубы, ржали — сердились друг на друга, хватали за гривы. Бабы вздыхали. Вода хлюпала. Ночь все чернее, черней казалась. Где Арарат? Разные звезды, созвездия приходили в прямоугольник оглобель пред нами, и уходили. Никто толком не знал, где причалить.

Но вот в этом прямоугольнике, ниже звезд, выше воды появился какой-то свет. Огоньки зажигались, золотистые, и такие далекие... — *там*, на *тверди*. В темноте выступил нежно-золотистый в светлом как бы дыму силуэт церкви: это ее разукрасили иллюминацией.

На ковчеге произошло движение. Весла перестали хлюпать. Голоса послышались. Но уже по-другому.

— Не иначе, как Вознесенское!

— Оно самое и есть.

— Ишь куды занесло....

— Куды, куды... в эту в темь и не туды заплывешь. Теперь вертать надо.

Пошумели, поспорили, кормчий что-то доказывал, и паром правда изменил направление: взяли мы под углом налево почти против течения, чтобы наверстать унесенное стременем.

Шли совсем медленно, будто стояли на месте.

Но теперь над водой, на пригорке совсем явственно видна была церковь. Раздался благовест.

Мать надо мной нагнулась.

— Ну, вот, и Христос Воскресе!

И поцеловала.

Я не очень был предан всему этому, да и она тоже. Но нас несла в себе жизнь тогдашняя, ее склад и обычаи — как бескрайняя вода паром. Я ответил «воистину» без мистического подъема, я был просто гимназист, мальчик, собирающийся перейти в пятый класс, но теперь сразу стало покойнее. Я положил голову на плечо матери. Она гладила меня рукою, как в те времена, когда было мне шесть лет и я увязался со Степаном на дощанике.

— Подремли, сыночка. Поздно, устал наверно...

Я мог устать, она — нет. Я мог дремать, склоняя голову ей на плечо, но ее плечо для того и создано, чтобы к нему склоняться. Она сидела ровная и покойная с дантовским своим профилем и осанкой императрицы. Паром медленно плыл. Звезды текли. И казалось, что уж не собьемся — точно путь правый, верный был в руках Матери.



Мы причалили еще во тьме. Но уж восток бледнел. Мы съехали на этот раз последними — лошадей можно было запрячь, лишь когда паром опустел. И в нетеплом раннем утре, на заре, начали дальний путь к Илеву и Балыкову, пустынными полями — сперва тамбовскими, потом нижегородскими.

Раза два мы меняли лошадей. Мы проехали чрез Дивеево с женским монастырем, приближаясь к стране святого Серафима. Голова моя лежала на плече матери, когда замаячили вековые сосны саровские — Балыково было рядом. Мать же усталости не поддавалась. И такая же, как выезжала из Сасова, въехала со мной в Балыково. И так же прожила всю жизнь. И так же было ее плечо рядом. И так же клал я на него голову.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ВОРОНЕЖ

С. Г. Долинскому[1]

Отец сидел на обычном своем месте за столом, оперев голову на руку, склонив ее немного вбок. Мать раскладывала пасьянс. Он следил за ней и осуждал ее действия, я попивал чай. Всех нас троих, в декабрьском деревенском вечере, освещала висячая лампа. За спиной отца зеркало и два окна на террасу, в занесенный снегом сад.

— Не клади девятку, говорю тебе...

Мать подняла на него строгие глаза.

— Ведь у тебя там двойка заложена, ряд портишь...

Мать молча положила девятку именно туда, куда он не советовал. Отец махнул кистью руки: что поделаешь с человеческим непониманием.

Я смотрел через двойные стекла окна в сад — весь он в лунном свете, начиная со стеклянного шара в цветнике до прудков внизу и взгорья за речкой. И какой мороз! Временами старый наш дом постреливает...

Отец усталым глазом, слегка поддерживая ладонью веко, точно без этого оно закрылось бы, посмотрел на меня.

— Так ты все-таки едешь в Воронеж?

— Еду.

Он глядел на меня спокойно и довольно безнадежно.

— Что же тебе там делать?

Я не мог объяснить точно. Ну, просто, проехаться...

Отец опять поправил ход матери. Она опять поступила по-своему.

— Странные вы люди...

Он хотел, очевидно, этим сказать, что и я, и мать делаем очень нелепые вещи: она заложила двойку, я без дела собираюсь в Воронеж.

Часы пробили одиннадцать. Я поднялся, поцеловал матери ручку, подошел к отцу, полуобнял его. Взял теплую, мягкую руку, пожал. Он другою рукой погладил мою, посмотрел на меня взглядом знакомым, давнишним, который приблизительно говорил так: «Разумеется, ты человек со странностями, но ты мой сын, я принимаю тебя всего, со всеми твоими бессмыслицами».

В передней я оделся и пошел во флигель, мимо маленького сада у дома, с другой стороны. Тут кусты крыжовника сплошь занесены снегом, яблони тоже, и лунный свет начертил узоры теней от них и их веток по зеленовато-сверкающей белизне. Каждое утро и каждый вечер проходил я по этому краткому пути к своему флигелю — в валенках, теплом пальто, шапке, и это было действительное, все это существовало в том году начала войны, как существовали еще мой отец

и мать, мы действительно жили в том именьице отца, которое я теперь вижу лишь иногда во сне, и всего чаще именно эту тропку от «большого» дома ко флигелю, садик с любимым аркадом,[2] амбарчик и каретный вблизи.

Во флигеле у меня много книг, письменный стол, диван. Во второй комнате сплю. Это моя деревенская жизнь. Но почему же безвыездно сидеть здесь? И вот я делаю странный, с точки зрения отца, шаг.



Он дал мне с собою доху, теплую, светлого меха. В ней хорошо ехать, дремать в санях, укрываться ночью в купе вагона, когда за окном тянутся лунные поля, снега разных Ряжсков, Козловых. Это хлебные, богатые и диковатые места России. Московский человек не чувствует себя здесь вполне дома, но не может и не ощутить, как велика, даже грозна громадностью своею Родина. А если взять на восток, за Волгу, за Урал? Жутко подумать.

Ночь в вагоне. На больших станциях суета военных — войска идут, войска идут.

Мы еще едем мирно, а они уж идут. Наш черед впереди.

Тот Воронеж, который кажется бессмысленным отцу, встретил меня утром тихим и серым, в изморози, зимним утром российским. Приятель, московский доцент, выехал на вокзал, вез меня на рысаке в санках, с медвежьей полостью[3] мимо Кадетских корпусов по нешумным, просторным улицам. Глафира, жена его, дочь воронежского мукомола, землевладельца, домовладельца, ждала дома. Они меня и позвали на Рождество в отчий дом, куда сами приехали из Москвы — в отчем доме, у Панкратия Порфирыча всего много. Хорошо живут, богато живут, сытно. «Был человек в земле Уц... — И было скота у него: семь тысяч мелкого скота, и три тысячи верблюдов и пятьсот пар волов, и пятьсот ослиц, и прислуги весьма много».[4]

Рысак подвез нас к большому особняку, одноэтажному и солидному, с рядом окон на улицу, — все будто навеки строено — и быстро мы очутились в прихожей, также немалой. Шатров, впрочем, стад, невольников вблизи не оказалось. В дверь виднелась огромная зала с люстрой и сияющим паркетом, теплая, светлая, с застоявшимся воздухом. На стенах Клевер, Семирадский.[5]

Мой доцент элегантно одетый, отсвечивая лысинкой, познакомил меня с появившимся хозяином. Не сказать бы, что этот хозяин в миллионах. Высокий, худой, невеселый человек с полуседою бородой, в черном сюртуке, суховатый, но вежливый, скорее даже скромный. Вышла и Глафира — темными, бессветными глазами мне улыбнулась, протянула смуглую руку, довольно лениво.

— Очень рада, очень рада...

И началась моя жизнь воронежская.

Меня поселили во флигеле — целый особняк с кабинетом, гостиной, кухней... Здесь разбил я свой шатер — несколько книг да рукописи. Если бы отец видел меня тут, он еще более убедился бы в бесцельности моего путешествия: проехать несколько сот верст, чтобы из одного флигеля переселиться в другой! Но при всем своем здравом смысле отец именно не был бы прав, ибо при подобном флигеле и тех же рукописях мое воронежское бытие не было повторением домашнего — оркестр исполнял уже другую пьесу, из которой нечто слушатель выносил иное.

Каждый день по утрам я работал, а потом шел двором в большой дом завтракать, мимо колодца, о котором не раз вспоминал много позже. Ибо именно здесь, через несколько лет, темной ночью зарыла Глафира со своей нянькой домашнее серебро — остатки — чтобы никогда потом не откопать его, как никогда не увидать и Воронежа.

Но сейчас еще все существовало. Дни в Воронеже были тихие, слегка туманные, без холодов. Иногда даже казалось, что теплом вот-вот повеет с юга. Завтракали не так весело, но торжественно и обильно. Панкратий Порфирыч в своем сюртуке, худой и бесстрастный, жена его Марфа Ильинична, теплая, круглая женщина из Островского — это основы. Мы — наслоения. И вот мы с доцентом неукоснительно выпивали по чарочке, по другой и по третьей. Марфа Ильинична угощала приветливо, Панкратий Порфирыч прохладно, но вежливо. Глафира смотрела карими, небольшими, бессветными своими глазами, улыбалась, ее смуглые руки спокойно передавали тарелку с индюшкой, заливное, закуски. Она была очень сильна. Тяжеловатая кровь, густая, воронежских мукомолов, ходила в ней не торопясь — и никогда не бывало ей весело. Это, впрочем, стиль дома: не весело, и весело быть не может, хотя все полно света, огромные комнаты теплы, пахнет елкой, под потолок вздымающейся в зале соседней.

После завтрака мы играем с доцентом в шахматы, за отличным столиком, около печи в темно-зеленой гостиной. Панкратий Порфирыч медленно ходит по зале, из конца в конец, мимо елки, в молчании и дневном белом свете. Паркет под ним чуть поскрипывает. Он идет, наконец, в кабинет, заниматься воображаемыми делами, а вечером, в девять, уедет в клуб. Трудно себе представить, что через несколько лет этому молчаливому человеку, глубоко верящему в силу своих денег, придется тайком бежать в Москву, бедствовать и скитаться. А затем: вбитый высоко в стену гвоздь, крепкий шнурок, собственною рукой накинутая петля, собственной ногой откинутый стул...

Днем гулял я и один по Воронежу. Нешумный город, и просторный. Доходил до монастыря св. Митрофания Воронежского. Помнит-

ся, от него вид обширнейший. Вниз по скату идут слободы и старинная часть города, домишки петровских времен, низенькие казармы желтые, а за ними мягко сизеет, синеет даль, воронежские вольные просторы, начинающиеся уже степи. Полудикие места. Села редки, огромны. Жители одеваются и говорят не так, как под Москвою. В степи курганы: караулили татарву...

Как богат мир и как мало его знаешь, как быстры дни, уносящие нашу жизнь.

Вечером, после обеда изобильного, ездим и мы с доцентом в клуб, опять играем в шахматы — с игроками местными. Тот же рысак возит нас. С нами Глафира: но она по карточной части.



Так и шагает днем Панкратий Порфирыч по зале, молчалива Марфа Ильинична с вязаньем у окна в кресле, Глафира с полуулыбкой и тяжким взглядом карих глаз. Шахматные фигуры, лысенький доцент, елка с украшениями, кот у топящейся печи...

Мы встретили новый год торжественно, в столовой, с шампанским, в сумрачном церемониале этого загадочного часа. Что готовил нам год? Старые часы тикали, кот мурлыкал, Панкратий Порфирыч был сдержан и молчалив. «Ничего не может случиться хорошего, не беспокойтесь», — как бы говорил вид его.

«Ничего в жизни не может измениться», — будто говорил и весь дом. И ни мы, ни Панкратий Порфирыч, ни отец мой, ни мать ничего вообще не понимали из движения зимних тех дней — в Воронеже ли, под Москвой ли. Мы читали о кавказской победе наших войск[6] и чувствовали себя так, будто из ложи бенуара смотрим на сцену, где играют трагедию.

И в некоторый день кончился для меня Воронеж — побыл я на концерте, в последний раз взмахнул дирижер палочкой и симфония кончилась. В той же дохе, в том же купе вагона по ночным полям, но теперь без луны, проделал я путь назад, в родной дом, бывший еще моим, к родителям, еще не унесенным в вечность.

Отец встретил меня, будто мы вчера и расстались. Как всегда, сидел у стола, оперев голову на руку, и читал. Он меня поцеловал и лицо его выражало ощущение, что хотя я и делаю вещи странные, все же я его сын и он меня любит.

— Хорошо съездил в Воронеж?

— Хорошо.

— Что же ты там видел?

Я рассказывал, как умел. Думаю, отец окончательно убедился, что ничего полезного из поездки своей я не вынес. А как мог я передать то

невесомое и неощутимое, но существующее, что есть след виденного, слышанного? Это остается в душе и питает ее.

После обеда отец, как всегда, пошел к себе в кабинет отдыхать. А я, когда стало смеркаться, взял лыжи и мимо людской, где зажегся уже огонек, мимо берез у выезда из усадьбы взял сугробами вниз, в лощину близ усадьбы. Вся она заросла дубами. Это лучшая наша роща. Я шел без цели, по снегу пухлому и душистому. Сильно вызвездило, сильно морозило. Попадались мне заячьи следки — вроде пунктира сложного, сухенькие коричневые листы дуба шуршали в кустарнике, не поддавались морозу. Надвигалась зимняя, блистающая звездная ночь. Мои лыжи, подбитые мехом, упорно, небыстро вскарабкивались на подъем, лощина кончалась, еще два-три сугроба, и я на опушке. Все дубы сзади, предо мною таинственное мерцание снега, в синеве звездных отсветов. Поле открылось, над ним небо. Лыжи пошли легче, вот и та бездна, что всю мою жизнь играет надо мною золотом и алмазами, огнем Сириуса, семизвездием Ориона — всеми друзьями моими небесными, коими любоваться еще дано мне некое время, но понять — никогда. Как мало я знал и о себе, о своей судьбе, о судьбе Воронежа, из которого только что приехал, о родном доме и своем флигеле, о родителях, так же, как и Панкратий Порфирыч, не ждавших хорошего, но ничего правильно себе не представлявших из будущего.

Я стоял на опушке своей рощи, на границе мировой ночи, которая клубилась и играла звездными полками, отливала бриллиантами в каждой снежинке, и быть может величайшая мудрость ее в том состояла, чтоб, развернув перед нами все плащи свои, все свои великолепия, взять в свое лоно.

Но вот живу, что-то вижу, кого-то люблю, куда-то еду, что-то узнаю, ничего нет ненужного в жизни, каждый след жив, чувство не умирает. И быть может не совсем бесполезно расширить, еще больше расширить этот круг познания.

ВОЛШЕБНИЦА

I

Встав с постели, Ариадна подошла к окну.

— Что за манера не спускать штор!..

Кончилась зимняя ночь. Комната Казмина, в нижнем этаже особняка, смутно голубела под светом луны из сада. Снег в кустах, на небольшой елочке, сиял разноцветно.

— Все равно, — ответил Казмин, — никто не увидит.

Его удивил звук собственного голоса. И вообще несколько минут назад Казмин стал иным. Это случилось потому, что Ариадна заявила, что пришла в последний раз. Она не настолько его любит; все это — минута, опьянение и пр. Казмин поверил, но лишь частью. Он знал, что Ариадна готовится в оперу, у нее есть меценат, к которому она перейдет со всем своим голосом и богоподобным обликом. Он же, молодой человек без положения, живущий у богатых родственников, — ей, действительно, не нужен.

Ариадна, высокая брюнетка с маленькой головой, зеленоватыми глазами и тонким, но могучим станом, стояла у окна в бледном дыму луны. Напоминала она Артемиду-охотницу.

Вернувшись, надела шелковые чулки на свои длинные ноги, накинула капот и вышла.

— Я прямо девчонка какая-то... — бормотала она в дверях. — Любая прислуга может накрыть. Шлянье по ночам!

II

Казмин остался один. Он не засыпал. Лежал на кровати, на спине, смотрел в потолок и курил.

«Значит теперь все по-новому, все по-новому». Засинело утро. Комната показалась легкой, пустынной. Папироса тлела красным.

Когда настал день, он одевался и мылся с серьезностью, спокойствием. Побрился, тщательно расчесал боковой пробор, оделся и вышел наверх в столовую пить кофе перед службой.

Здесь встретила его Катя, восемнадцатилетняя сестра Ариадны. Она пила крепкий чай и читала в газете отдел зрелищ. Декабрьский снег из окон бросал на нее беловатый отблеск, и лицо ее, худое и нервное, казалось еще мучительно-нервнее.

— Вот, — она ударила пальцем по газетному листу, — ты его слышал? Это гений!

Казмин улыбнулся. Он знал, что речь идет о знаменитом пианисте, с которым носилась Катя уже несколько дней.

— Нет, не слыхал.

— Это гений, — повторила Катя, и глаза ее блеснули безумием. — За него можно умереть.

Казмин знал, что она истеричка, и улыбнулся.

— Зачем же за него умирать? Он получает тысячи, у него миллион поклонниц.

Катя разгневалась.

— Ничего не понимаешь. Просто умереть от любви к нему.

— А, вот как!

«Пусть едет она с меценатом на автомобиле, моя Артемида...»

Казмин перестал улыбаться.

Когда через полчаса он ехал на извозчике на службу, мимо запушенных снегом бульваров, по улицам старой Москвы, где бывал счастлив, — ему показалось, что весь он, и Москва, и его жизнь — былое. Одной ногой стоит он на пороге нового: чего, не знал. Тут он вспомнил о Кате.

III

Около четырех начало смеркаться. Катя сидела, запершись в комнатке, плакала от любви к пианисту, с которым не была знакома, и читала стихи Сафо в русском переводе:

О, богиня, с трона цветов внемли мне.
Зевса дочь, рожденная пеной моря!
Ты не дай позорно погибнуть в муках Сафо несчастной!

— Но она все-таки погибла! — бормотала она. — Бросилась со скалы.

Ариадна в это время ела сладкие печенья с чаем и обдумывала, какое надеть платье к меценату.

Меценат давал нынче за городом в подмосковном имении обед для избранных. Там должны были быть художники, два поэта и три актрисы. Ариадне хотелось не ударить лицом в грязь.

Уже почти стемнело, когда она оделась. По двору к малому подъезду легко подкатил лимузин с золотыми глазами. Против сиденья Ариадны были прикреплены красные розы.

Когда она в шубке спускалась вниз, ей навстречу, слегка задыхаясь, вбежал Казмин с портфелем под мышкой.

— Ради Бога! На одну минуту. Дядя еще не приехал.

Ариадна неохотно переступила порог комнаты, где была у него нынче ночью, и остановилась у двери.

— Ну? — спросила она, жуя тянучку.

— Послушай, я хотел спросить... — начал, сбиваясь. — Да, вот что, — сказал он вдруг твердо, — ты сказала мне утром, что... да... Ну... так вот...

— Не волнуйся только, пожалуйста. Да ведь ты даже моложе меня. Полюбишь барышню, женишься на ней, и отлично будете жить. Ну, прощай, мне некогда.

И спокойно, ни о ком и ни о чем не думая, Ариадна спустилась с лестницы, села в автомобиль, поправила розы и в маленький рупор сказала шоферу:

— На вокзал.

IV

Вечером Катя уехала в концерт. Старики были дома, также Казмин.

Он ничего не делал. Никуда не хотелось идти, ни о чем думать. Он знал, куда уехала Ариадна.

Зайдя в комнату Кати, он увидел раскрытую книгу. Это были стихи Сафо. Он прочел то же, что читала уже в слезах она:

О, богиня, с трона цветов внемли мне.
Зевса дочь, рожденная пеной моря!
Ты не дай позорно погибнуть в муках Сафо несчастной!

Но он был мужчина и не заплакал. Ему лишь показалось, что ледяная рука легла ему на сердце. Он взялся за голову и отошел.

В это время подъехала на извозчике Катя. Его удивило, что вернулась она так рано. Еще более удивился Казмин, когда увидел, как через силу сняла она мерлушковую шубу на белом шелку и, бледная, медленно входила по лестнице. На верхней ступени она вдруг опустилась. Казмин бросился к ней.

— Я отравилась, — прошептала она. — Неси меня в спальню.

Прибежали старики. Катя, полузакрыв глаза и дергая рукой, повторяла, что отравилась в концерте. Потом твердо потребовала, чтобы отец привез ей пианиста. Она взглянет на него и умрет.

Бросились за доктором. Старый отец полетел в концерт. С Катей начались судороги. Мать и нянька, вырастившая ее, растирали ей живот, поили молоком и обкладывали горячими бутылками.

Казмин ничего не понимал. Он ушел в свою комнату, стал на колени перед окном, откуда утром ушла Ариадна, положил голову на подоконник; упорно глядел в сад, на искрившийся под луною снег, на звезду, бурно переливавшую огнями на морозе, и твердил: «Господи, Господи, помоги!». Он собрал все душевные силы, все их соединил в желании: чтоб спаслась Катя. Точно жизнь или смерть ее были его собственной жизнью или смертью.

Наконец, отец вернулся. Он привез цветы от пианиста. Сам пианист не приехал. В цветах была его карточка и несколько горестных слов.

Но Катя никого уже не узнавала.

V

Час спустя Казмин подъехал к разъезду железной дороги, где жил меценат. Он взял извозчика — было с версту — и поехал лесом.

Он сидел покойно, но внутри дрожал мелкой дрожью; было ему холодно, хоть мороз не считался большим. И лес, и снег, и луна, плывшая в пустынных пространствах, казались волшебным, и волшебно направлялась его жизнь к Ариадне, величайшей и первой для него волшебнице.

Он оставил извозчика у въезда и прошел к дому. Почему-то взошел на балкон. В окнах был свет, за стенами хохотали. Казмин постучал в стекло пальцем и подумал: «Я пришел, это я пришел».

Голоса затихли. Отворилась парадная дверь, выглянул человек. Казмин сошел с балкона.

— Это я стучал. Мне нужно Ариадну Николаевну по важному делу.

Ариадна вышла в сени удивленная. Она доедала кусочек ананаса.

В голубоватом свете сеней она показалась Казмину мучительно прекрасной.

— Ариадна, Катя отравилась.

Ариадна вздрогнула:

— Что такое? Почему?

Он глухо в кратко рассказал. Ариадна закрыла лицо руками и убежала. Вышел меценат. Он был расстроен.

— Какое несчастье! Вы кузен Ариадны Николаевны?

— Да... — Казмин в изнеможении сел. — Троюродный. Я сейчас отвезу ее домой. У меня извозчик.

— Не беспокойтесь. Я доставлю ее в своем автомобиле, прямо в Москву. Это будет скорее.

— Как угодно.

Казмин вышел, сел на извозчика. «Пусть едет она с меценатом на автомобиле, моя Артемида... — Артемида-охотница, которую опьянила луна».

Но и сам он был пьян луной, светом, инеем. Было чувство, точно сердце за горами и долами, под ледяным покровом снега. Извозчик вез его медленно.

«Около Кати, — думал он, слезая и входя на платформу, — лежат сейчас туберозы и орхидеи пианиста. Но руки ее холодны, как мое сердце».

В это время раздался рожок: из Москвы шел по второму пути экспресс. Казмин медленно двигался вперед по платформе. Дойдя до середины, спустился по боковой лесенке на первый путь.

— Поезд здесь не останавливается, — пробурчал сторож в башлыке.

Но Казмин не обратил на него внимания. Он перешел первый путь и все так же задумчиво шагал по узенькой белой полоске между путями. Экспресс был шагах в двухстах. Золотые глаза паровоза напомнили ему блеск луны и фонари лимузина, в котором уезжала Ариадна.

«Ты не дай бесславно погибнуть в муках Сафо несчастной!» — вспомнилось ему.

— Куда вы?! Поезд! — крикнул кто-то сзади.

Но Казмин медленно шагал, теперь уже по полотну, все вперед. Через несколько секунд они встретились.

РОЖДЕСТВО

(Глава из романа)

Без документов Татьяну не могли венчать. Метрики были в деревне. Да надо и тетушке все объяснить, устроить. Андрею не очень хотелось ехать, но отказать сестре он не мог. «И зачем им венчаться, — думал, подъезжая к вокзалу. — Ну любят, ну и живут вместе... Нет, метрику доставай, тетушку успокаивай...» Андрей был явно недоволен и зевал. Правда, предстояла ночь в вагоне, тридцать верст на лошадях, — и тетушку видеть всего день. Жельня место славное, и тетушка мила, но все же ему было лень.

Он утешился тем, что выпил водки, и пошел в вагон спать.

Когда проснулся, было светло. В окна лепила метель. Андрей встал, пошел умываться. До его станции было еще часа два.

Он приободрился — на него нашло то ровное, спокойное-веселое настроение, какое бывало обыкновенно, — он стал думать о предстоящей езде. Наверно, ему вышлют доху. Он закутается — и продремлет всю дорогу до Жельни, в сумерках ввалится к тетушке, будет греться, есть за чаем горячие баранки с маслом. Ладно! Пожалуй, и не плохо, что поехал.

Поезд, конечно, опоздал, и когда Андрей усаживался в сани, было около двух. Метель не унялась, напротив — разыгралась. Туманно маячила в ней водокачка, а почты, трактиров — совсем не было видно. Основательный человек Федот, в башлыке и рукавицах, полез на козлы.

— Дорога тяжкая, — сказал он, трогая гусевого, — забивает.

Гусевой повел ушами, толкнулся в сторону и резво влег в постромки; серая кобыла в корню тоже взяла — сани покатили.

Вернее сказать, они плыли; снегу было так много, что дорога едва чувствовалась; когда отъехали полверсты, станция, водокачка, строения — все погрузилось в молочную мглу; сани бежали в ней ровно, со слабым шорохом; на ухабах мягко ухали. Андрей знал все это. Не раз приходилось ему ездить так; зиму, лошадей, даже метель он любил с детства. Раздражало немного, что лепит в глаза, нельзя курить, он утешился тем, что запахнулся с головой в доху и стал дремать.

Сколько прошло времени, он не мог бы сказать, но когда приоткрыл доху, было уже полутемно. Ветер усилился. Снег бил в ином направлении.

— Куйтево проехали?

— Проехали, — ответил Федот, — Зыброва что-то не видно.

Зыброво было на полдороге, и считалось, что проедешь Зыброво — тогда уж почти дома. Но Зыброва все не было.

— Я так думаю, — сказал Федот, оборачиваясь, — не иначе мы сворот пропустили. Очень дорогу забивает, не видать, — прибавил он, будто оправдываясь.

— Куда-нибудь выйдем, валяй! — крикнул Андрей и запахнулся в доху.

От нечего делать он стал думать о своей жизни, будущем. Как ни старался он представить себе его ясней, ничего не выходило. Он учится живописи, но художник ли он? Художник, искусство... Андрей покачал головой. Это серьезное, важное, требующее всего человека. А ему ничего не хотелось отдавать. Нравилось именно брать, и то, как легко шла его жизнь, было очень ему по сердцу. Какая же его профессия? Никакая — «милого человека».

Главным образом занимали Андрея женщины. Он был влюбчив — весьма, и непрочно. Сейчас ему нравилась художница, работавшая с ним в мастерской. Приятна была и Нина, и еще кой-кто из Татьяниных подруг — он затруднялся даже сказать, кто больше нравился. И ему казалось, что впереди будет еще много славных женских лиц, и на всех хватит его сердца. «Только не нужно никаких драм, историй. Чего там!».

До сих пор он так и делал. Хотя был молод, но уж любил не раз и, отлюбив, уходил спокойно, без терзаний, — иногда умел внушить это и той, с кем был связан. Когда кончится такая жизнь любви, он не знал и думал: придет конец, значит, придет.

Между тем, Зыброва не было. Понемногу выяснилось, что и дороги нет. Как ее потеряли, уследить было трудно, вероятно, сбились на малонатертый проселок, а метель выровняла его с целиной.

Лошади шли шагом; Федот приуныл.

— Эй, — сказал Андрей, зевая, — дядя! Потрогивай.

Федот хлестнул, лошади дернули, — на минуту гусевой затоптался, точно не желая идти, но Федот вытянул его длиннейшим кнутом, он вздрогнул, рванулся, и Андрей с Федотом почувствовали, как мягко они летят куда-то вниз. Лошади старались выкарабкаться, но тонули в снегу. Они попали в овраг.

— Тпру-у... — бормотал смущенный Федот, — тпру-у...

Отпрукивать было поздно; лошади остановились сами; от них валил пар, и вид они имели безнадежный. Слез Федот, вылез Андрей. Потоптались, полазили в снегу; стало ясно, что из оврага с камнями не выбраться. Сколько ни бились, ничего не вышло.

— Что-ж, — сказал Федот изменившимся голосом, — надо отпрягать.

Андрей был удивлен и немного досадовал. Ехали по-хорошему к тетушке, а тут на вот тебе, какая ерунда. В то, что становилось опасно, он еще не верил. Неприятно было опаздывать.

Из оврага вывели лошадей под уздцы. Когда сели верхом, тронулись, Андрей понял, что дело серьезно. Федота он быстро потерял из виду, и сначала они перекликались, держались вблизи, потом случилось так, что голос Федота послышался справа. Андрей взял туда, и ему казалось, что он едет правильно. Но тут донесся крик с другой стороны. Андрей изо всех сил закричал: «гоп- гоп!», но в ответ ничего не услышал. Тогда он опустил поводья, перестал соображать и предоставил лошади идти куда вздумается. «Может и вывезет». Ему пока не было холодно, но чувствовал он себя странно. Он ничего не видел, и слышал только вой ветра. Минутами казалось — да жив ли он, правда ли, что едет на лошади в этом бездонном мраке?

Он опять стал подстегивать коня, и то ему казалось, что сейчас деревня, что уж собаки лают, то нападала лютая тоска. Он старался отгонять ее развеселыми напевами.

Через два часа убедился, что положение его безнадежно. Лошадь стала, увязая по брюхо; двинуть ее дальше не было возможности. Метель не унималась: как прежде, кругом был мрак, снег, и выл ветер. «Что ж такое, — подумал Андрей, и спина его похолодела, — стало быть...» Он слез, попробовал идти, но мешала доха. Он снял ее, побрел в одном пальто — доху набросил через плечо.

«Ничего, — говорил он себе, — вперед, ничего». Вздохнул, вспомнил о сестре, о художнице, о всех милых московских женщинах, которые любили бы его, если бы он продолжал жить, — вздохнул, — как о навсегда ушедшем, и около громадного сугроба, одолеть который, он чувствовал, не в состоянии, Андреи сел. «Напрасно вы думаете, — сказал он кому-то воображаемому, с улыбкой, — что мы не мужественны, раз у нас нет долга. Мы веселые люди, но мы не трусы-с». И Андрей засмеялся странным смехом, удивившим его самого.

Он завернулся в доху и решил ждать; а там видно будет.



Три дня спустя Андрей в жару лежал у тетушки Анфисы Ивановны. Он не отморозил себе ничего, но простудился. Оказалось, что сугроб, у которого он уткнулся в снег, — была рига, и плутали они на пространстве двух верст между деревнями. Федот выехал более удачно. Андрея же нашел мужик, выбравшийся до свету на гумно молотить овес.

Анфиса Ивановна была потрясена. Она не спала всю ночь, поставила свечи перед старинной иконой Нерукотворенного Спаса, позвала двух докторов, влила в Андрея чайник малины и укутала шубами. Первую ночь он спал плохо: преследовали кошмары, он бредил метелью, ветром, стонал и охал. Но, видимо, тетушкины средства помогли; утром проснулся покойней, умылся и ему захотелось есть.

— Анисья, — сказала тетушка, — кофе барину, да разогрей бараночек, да лепешки, верно, готовы. Подай сюда.

В комнате топилась печь; пахло дымком растопок, за окном синел яркий день. Андрей приподнялся, взглянул на разрисованные морозом стекла, увидел березы, окутанные туманом инея, солнце, — и глубокая светлая радость залила его. Жизнь, жизнь! Молодость, любовь, счастье! Голова закружилась.

— Тетя, — сказал он задыхающимся голосом, — пойдите-ка сюда.

Тетушка подошла степенно, с озабоченным видом, она была еще в белом утреннем чепце, но уже тщательно вымытая. От нее пахло старинными духами.

— Может быть, с калачом лучше хочешь? — спросила она, и у ней был такой вид, что пить кофе с калачом или без него — вопрос серьезный.

— Дорогая, — шепнул Андрей, — и вдруг крепко обнял, захохотал, стал целовать и мять ее. — Вы славная тетушка, вы моя хорошая!

Анфиса Ивановна сначала была смущена, потом увидела слезы, блеснувшие в Андреюшкиных глазах, поняла все, и сама заморгала.

— Ну, слава Богу, слава Богу, — бормотала она, — значит, Он не желал твоей гибели.

Минуту спустя Андрей жадно пил кофе с любимыми горячими лепешками, а тетушка, сидя рядом, говорила:

— Я человек старый, и меня на другой лад не переделаешь. Полагаю, что Таня должна была мне написать о своей свадьбе заранее, так я считаю. Она добрая девушка, но легкомысленная. А я недовольна — забыла меня. Так же и насчет твоей истории: я считаю, что это промысл Божий, урок, который дается тебе в назидание, быть может для изменения твоей жизни.

— Да что менять-то, что? — почти вскрикнул Андрей. — Тетя, ей-Богу, нечего. Ну, я молод, мне жить хочется, это верно.

— То-то вот и есть, что вы теперь не такие, как была молодежь в наше время. Все о себе, для себя...

— Это правда, тетушка, — сказал Андрей, — я для себя живу. Ничего, — прибавил он беззаботно, — как-нибудь проживем! Я ведь другим не мешаю, пусть как хотят устраиваются. А вы взгляните, какое солнце, какой иней замечательный. На салазках бы сейчас, на лыжах.

— Вот именно я и не позволю.

И тетушка проявила довольно большую стойкость: пока окончательно не поправится — никуда.

Андрей провел в ее мягком, теплом углу недели две. Татьяне написали, изложили причины задержки. Андрей же развлекался игрой на китайском бильярде и раскладыванием с тетушкой пасьянсов.

Иногда приезжал молодой сосед, помещик, румяный, свежий. Он очень почитал тетушку, целовал ей руку и сначала немного стеснялся Андрея как человека столичного. Потом привык, и вместе играли в бикс.

— Очень сожалею, — говорил сосед, потирая руки, — что здесь нет настоящего бильярда. Да. Мы сыграли бы с вами пирамидку. Разумеется, без интересу. Так на так. Да, да. Так на так.

Потом он расспрашивал о его приключении.

— Могли замерзнуть? Скажите, пожалуйста. Как жаль! Вот какой опасный случай. Да.

Слово «да» и «так, так», он прибавлял почти на каждой фразе.

Некоторые помещики приезжали даже поздравлять Анфису Ивановну с благополучным исходом Андреюшкиной истории — Андрею все нравилось. И помещики коренные, и прасолы, которых тоже приходилось видеть.

Но больше всех понравилась Марья Львовна, молодая дама, которую не очень чтила тетушка, — из села Серебряный Бор.

Эта Марья Львовна была вдова, жила частью в деревне, частью за границей. В деревне же вела энергический образ жизни, хозяйничала, ездила по гостям и охотилась; у нее была свора борзых, и нередко скакала она по полям на поджаром своем англо-арабе; соседи принимали ее в настоящие охоты. Не дурак была она и выпить, но знала меру; могла рассказать анекдот; когда была в ударе, плясала русскую и неплохо пела под гитару.

С Андрюшей у них сразу пошла дружба. Не прошло четырех дней, как у подъезда снова загремели бубенцы ее тройки. Очень усатый кучер осадил коней, из узких городских санок выскочила Марья Львовна в шубке, берете, с огнем горящими щеками; кучер оттирал оледенелые усы; лошади под синей сеткой объезжали двор шагом. За деревьями парка, изнемогавшими под инеем, вставала луна.

— Ну, — сказала она, поблескивая темными глазами, — выздоровели? Как дела?

Андрей знал, что теперь никакая тетушка не удержит его дома. Но и на самом деле — он был здоров.

Наскоро пили чай со свежим маслом и баранками, разогретыми на самоваре. Анфиса Ивановна, впрочем, была суховата с гостьей: сидела особенно важно, в своей белой кофте, и по временам выходила из комнаты — с значительным выражением.

— Салазки есть? — спросила Марья Львовна, откусывая крепкими зубами хлеб с маслом. — Должны быть; пойдемте кататься с пруда. Тут пруд хорош, я знаю. И вечера такого нельзя упускать.

Ее гибкая фигура, тонкая шея и вздрагивающие ноздри говорили, что ничего не следует упускать в жизни. Чем-то она напоминала скаковую лошадь.

— Голову не сверните себе, — сказала тетушка, когда они встали, и недовольно поправила накидку. — Андрей и так чуть не замерз... Там есть прорубь, на речке, осторожнее.

— Не бойтесь, — крикнула из прихожей Марья Львовна, — целы будем!

Весело было идти в парке под златотканым инеем. Скрипят валенки, скрипят салазки. Золотящийся полусумрак, темные узоры ветвей, стволов на снегу, тихий сон инея. Все это колдовское, необычайное, какое бывает только в русские зимы под Рождество.

Марья Ивановна верхом садится на салазки, Андрей за ней. Легко отталкиваются они, — синие, огненные алмазы снега мелькают все быстрей, и все холоднее дышать: дорожка от прудов к речке наезжена, санки летят быстрей, быстрее, бесшумно тонут за горизонтом заезды и небесный свод — вот она речка. «Правей!» — хочется крикнуть Андрею, да не стоит, — если уж судьба лететь в прорубь, значит судьба, там разберут. Лучше — обнять крепче эту Марью Львовну, чувствовать огненную щеку рядом со своей, глядеть на волшебные пелены снега, на дивное небо в звездах, окристалевшее от мороза. Р-раз! Салазки проносятся у края проруби, дальше идут тихо, мягко, слегка шурша по снегу: это уж целина.

— Я знаю, где прорубь, — говорит задыхающимся голосом Марья Львовна. — Зачем нам в прорубь!

Она соскакивает, — ловкая и крепкая охотница, — подхватывает салазки и бежит в гору.

Андрей за ней. Не убежать ей. Андрей догонит, снова будут лететь они вниз и сердце замирает, дух захватывает: угодишь под лед, свернешь шальную голову, но лететь в лунном сиянии так чудесно. Пусть, все равно!

— Когда уезжаете? — говорит Марья Львовна.

— Не знаю, скоро.

— Поедемте сегодня ко мне. Спою вам цыганские песни. У меня можно. Я одна.

Андреи воображает недовольный вид тетушки, на минуту ему становится смешно, но потом он сразу же говорит, что отлично, едем. Тут нельзя отказываться, это ясно.

И хотя тетушка загрустила, хотя было не очень удобно, чтоб Андрей ехал один к молодой даме, все же через полчаса они катили в Серебряный Бор, и Андрею казалось, что это — все продолжение их сумасшедшего катанья.

В Серебряном Бору Марья Львовна пела ему цыганские романсы. Луна светила сквозь заиндевевшие стекла, когда они целовались.

— Я поеду в Москву тоже с вами, — сказала она, провожая его. — Послезавтра? К семичасовому?

И как тетушка ни уговаривала остаться, через день Андрей уехал. Проезжая со степенным Федотом мимо Зыброва, которого тщетно ждали они тогда, среди бури и тьмы, — он вспомнил о Марье Львовне, луне, поцелуях. Все казалось удивительным, загадочным, и будущее непонятным.

На повороте он оглянулся, сзади донеслись колокольчики. Это мчалась знакомая тройка; вихрем догнала она их, и через минуту Андрей сидел уже с Марьей Львовной, — во весь опор скакали к станции. Федот был недоволен, но никак не мог поспеть. Андрей чувствовал, что его несет вихрь новый его судьбы, и был доволен.

СВАДЬБА

(Глава из романа)

Андрей не возвращался; от него не было известий, дело затягивалось; подходил пост, надо было торопиться.

Все это раздражало, но стоило отдохнуть час-другой от хлопот, стоило повидать Людмилу, и все огорчения разлетались. Оставалось ощущение молодости, крепости, любви.

Наконец, документы пришли по почте, с письмом, где все объяснялось. Это было неожиданно — взволновало, обрадовало. Как бы то ни было, решили Андрея не ждать. В дело вмешался Фаддей Иванович, и все пошло глаже.

— У Знамения? — сказал он, когда узнал, где хотели венчаться. — Пустое дело. Хорошая свадьба должна быть в домовой церкви.

Фаддей Иванович был рад, что может чем-нибудь проявить себя, тряхнуть стариной, своим дворянством и, надев красный жилет, помчался в церковь казарм, к Сухаревой башне.

— Батенька, — сказал он Алексею, — мундир-то у вас есть? Вы студент, — разумеется, фрака не надо, но не в тужурке же вам... Тово...

У Алексея именно ничего не было, кроме тужурки; чтобы утешить Фаддея Ивановича, он достал сюртук у товарища. Сюртук оказался приличен, но длинна талия: пуговицы сзади висели ниже, чем надо.

— Ничего, — сказал Фаддей Иваныч за день до венчания. — Главное — смелость, независимый вид. Вы оба очень милы, — я держу пари, что все сойдет отлично.

Людмила правда была мила, но все же волновалась, хоть и скрывала это, прыгала, козловала. С помощью Нины и других приятельниц она смастерила себе славное платье, впрочем, мало похожее на подвенечное.

Утром в разгаре суеты, когда одни бегали за цветами, другие общими силами доделывали костюм Людмилы — неожиданно ввалился Андрей. Он принес с собой новый запас возбуждения, сил, веселья. Наскоро рассказал, в чем дело, и тотчас побежал к Сергею и Фаддею Иванычу, тоже по делам свадьбы.

Алексею было немного смешно и весело. Жених и невеста не видятся в день свадьбы, но здесь они жили на одной квартире, и поминутно Алексей слышал топот резвых ног. — Людмила забегала к нему «на минутку» что-то сказать, они просто целовались, и розовая, горячая Людмила бомбой вылетала из его комнаты, дрыгая ногами и хохоча.

В три часа явился Фаддей Иваныч, во фраке, белом галстуке. Он был встречен аплодисментами, но не одобрил этого.

— Что же смешного? Чего смеяться? Что ж, шаферу прикажете в блузе быть?

И Фаддей Иваныч взялся за роль церемониймейстера: расписал, куда кому садиться, кому ехать вперед, как возвращаться. Когда он узнал, что карета всего одна, и в нее, кроме невесты, хочет сесть еще человека четыре — было холодно, — Фаддей Иванович всплеснул руками. Нет такую свадьбу в казармах никогда не сочтут за стародворянскую!

Наконец, карета приехала. Фаддей Иваныч взглянул на нее из окна, и толстое лицо его и даже шея покраснели.

— Кто же.... з-заказал это? — спросил он срывающимся голосом.

Алексей сконфузился. Правда, утром на Арбатской площади карета выглядела лучше. Да он и не знал, что одна лошадь хромает.

— Зато большая, — сказал он несмело. Это было верно. Бока кареты выпирало, и возможно, что туда поместилось бы человек восемь.

Фаддей Иваныч вытер лоб цветным платком.

— Ну, дорогой мой, не будь вы жених, я нашел бы для вас выражение... тово... непарламентское. В этакой карете... Фу ты Боже мой! — Фаддей Иваныч шумно вздохнул. Плохо выходило дело с фешенебельной свадьбой!.. Разумеется карета назначалась для невесты. Когда Людмила в коротенькой шубке и капоре, легко сбежав по лестнице, прыгнула в отворенную дверцу, за ней вскочила Нина и две барышни. К полному огорчению Фаддея Иваныча туда забрались еще три студента.

— Дядя, — сказал кучеру студент, — довезешь? Говорят, лошади твои больно резвы, так ты уж полегче.

Кучер обернул бородатое лицо, добродушное, с заиндевелыми усами.

— Доставим, барин. Днище у нас слабое, это действительно: как на ухабах оказывает, много-то народу и нельзя садиться, а то неровен час... — Возница ухмыльнулся. — Постараемся.

Фаддей Иваныч плюнул и пошел за Алексеем. Они должны были ехать на лихаче, чтобы попасть в церковь раньше.

Алексей неясно соображал, какие наставления, укоры читал ему Фаддей Иваныч — легкий туман, веселый, смеющийся, был в его голове. Пускай Фаддей Иваныч говорит вздор, и не нужно церемоний для его сердца, — но раз ездят в церковь, венчаются, он готов, конечно. Разве это трудно? Пускай Фаддей Иваныч волнуется, пусть лихач мчит, значит, так надо, — как надо было, чтобы его путь пересекла блестящая комета, увлекающая теперь его с собой. И Алексей мчался на рысаке, туманно и сладостно мечтал о своей комете, а комета трусцой тащилась к Сухаревой, топоча по временам ногами от нетерпения.

— Ты вообрази себе, — говорила Нина. — Трах, дно вываливается, лошади бегут. Значит, и мы должны бежать, не выходя отсюда же, из кареты.

— Это сцена из синема, — сказал студент, — это невозможно.

— Я и побегу. А вы думаете что? — говорила Людмила, — неужели думаете плакать буду?

В таком настроении плыли они с полчаса.

Но когда приехали в церковь, когда вышли их встречать, Людмила вдруг притихла и побледнела. Все в церкви имели вид сдержанный, серьезный: делается дело, а не шутки шутят. В тусклой мгле храма, прорывавшейся золотом свечей, — их зажигал субъект в теплых калошах, — Людмила увидела Алексея, в ловком, как ей показалось, мундире, с бледным лицом. К ней подошла Маша, потом низко поклонился Сергей. Она разговаривала с Фаддеем Иванычем, почувствовала его присутствие, и, обернувшись, встретилась с его взором.

— Вы мой шафер, кажется?... — спросила она, слегка задыхаясь, поправляя рукой цветок на корсаже.

— Да, — сказал Сергей коротко.

— Я не знаю, я непременно что-нибудь напутаю, навру... вы мне помогайте тогда...

Людмила, правда, начала сильно трусить и смущаться. Церковь понемногу наполнялась. Центром любопытства была она. Сейчас ей предстоит открыто исповедать свою любовь, взять исполнение обета. Словами она не могла бы передать своих чувств; но чувства эти переполняли ее.

Когда Алексей с Людмилой стали позади священника, в смирении, смущении, а он произносил простые и значительные слова молитвы, — Алексей почувствовал, как захватывает у него дух...

Людмила вздыхала, румянец пробегал по ее лицу. Подведя их к аналою, священник обернулся. В его черных глазах, грудном голосе, в камилавке и белой ризе было что-то древнее, восточное.

— Имеете ли твердое намерение вступить в брак? — спросил он у Алексея. — Не обещали ли другой?

Потом его блестящие глаза перешли на Людмилу. Он дал им кольца и, когда Алексей в растерянности стал было надевать свое, строго сказал:

— Погодите, сперва обменяйтесь с невестой.

Певчие, усиленные кое-кем из студентов, громко запели «Исаия, ликуй!» Священник соединил их руки в своей, трижды обвел вокруг аналоя. Над ними сияли венцы, сзади медленно и осторожно двигались шафера. Пел и священник, и золото одежд, икон, свечей, высокое и светлое настроение души как бы возносило их к Богу. Делая круг, стараясь не задуть свечу, которую держал, Алексей одним глазом окинул присутствовавших: все стояли тихо, с влажными глазами, — чувство благоговения и света росло до самого конца. Когда священник, держа перед собой крест, говорил им напутствие, черные глаза его горели по-настоящему. В ту минуту Алексею показалось, что в них присутствует, действительно, высшая сила.

— Всякий человеческий союз, сколь бы ни был хорош, несет на себе пыль и тленность земного. Лишь присутствие и благодатное вмешательство Господа Иисуса очищает его и запечатлевает в вечности!

Священник поднял вверх глаза. Алексей в первый раз слышал с такою твердостью сказанное слово — вечность.

После этого служба скоро кончилась. Первым поздравил их священник и пошел разоблачаться — обращаясь в простого человека, которому Фаддей Иванович передаст деньги.

К Алексею же и Людмиле подходили и целовались. Сергей был несколько бледен, пожал ей руку крепко и ничего не сказал. Маша горячо поцеловала. На глазах ее поступали слезы.

Через сорок минут подъезжали уж к Кисловке и потом ввалились в квартиру. Кучеру по ошибке заплатили дважды, чем он остался доволен. Но Фаддей Иваныч тоже был в добром настроении — он находил, что под венцом новобрачные держались хорошо — и не стал даже упрекать за промах.



У Алексея было очень странное и радостное чувство, когда он поднимался по лестнице на Кисловке.

Вчера они бегали с Людмилой как дети, хохотали, целовались, а теперь его молодым рукам вверена эта девушка; он ее властитель, защит-

ник, рыцарь, любовник — это кружило ему голову, поднимало в собственных глазах.

В дверях встретила их хозяйка с цветами; жеманно поздравила Мальвина, и все имели такой вид, будто тоже очень довольны и счастливы. Нина вытащила из Людмилиной комнаты облезлого тигра; этого тигра очень любил Алексей — часто сидели они на нем с Людмилой у камина. Теперь его бросили им под ноги — чтобы хорошо жилось. Людмила тут же, в подвенечном платье, кинулась к нему.

— Хороший, ты мой, ну, дорогой ты мой, — говорила, она, поднимая его голову и целуя в нос. — Ангел ты мой золотой!

Все были уже в сборе. Фаддей Иваныч заранее организовал цветы и вино. Людмила должна была переодеться, а пока — все толклись в большой комнате, оттирали иззябшие руки, студенты присматривались к закуске. Маша сторонилась немного; ее смущала шумность этих людей. Сергей тоже отделялся от других. Он выждал минуту, когда Алексей вышел к себе, и незаметно пробрался за ним.

В Алешиной комнате горела лампа под абажуром, топилась печь; в момент, когда Сергей входил, Алексей снимал мундир, его юношеский тонкий профиль, бледность лица, темные глаза — все мелькнуло перед Сергеем на фоне ночного окна, как видение молодости, счастья. Он подошел к нему, они поцеловались.

— Желаю тебе счастья, — сказал он серьезно и, как Алексею показалось, растроганно. — От души желаю.

У Алексея на глазах блеснули слезы. Ласка товарища, всегда несколько сурового, которого он привык уважать с детства, тронула его. Он стоял еще без тужурки, в очень белой крахмальной рубашке, как дуэлянт, и обнял Сергея тоже.

Сергей сел на диванчик и улыбнулся.

— Вот мы с тобой и взрослые люди. Я скоро буду отцом.... да и ты, наверно, тоже.

Алексей перевязывал по-другому галстук. Взглянув в зеркало на свое лицо, он вдруг почувствовал, как головокружительно летит вокруг него жизнь, и сам он в этой жизни. Как, казалось, недавно был еще Петербург, Полина, Ольга Александровна, его тогдашние чувства и мысли — как скоро все стало иным. Ему вспомнилась весна, деревня. Да, он как будто был тогда влюблен, — и где все это теперь? На мгновение его точно резнуло по сердцу. Неужели он так легкомыслен, ветрен? Из туманной дали взглянул на него знакомый облик, печальный и нежный. «Никогда я не была счастлива, нигде». Но тут он вспомнил Людмилу и сразу забыл все — он был полон собой и не интересовался другими.

— Позвольте, — сказал Фаддей Иваныч, входя, — это непорядок, должен вам заявить. Супруга давно переоделась, мы ждем, шампанское и прочее, а они тут конверсацию устраивают. Да еще, поди, философскую.

Фаддей Иванович прислонился к Алексею мягким животом, взял под руку, повел к двери.

— Теперь, батенька, не отвертитесь. Вы, так сказать, новобрачный, и вам, надлежит сносить все... inconvénients * данного положения. Это уж что говорить, тогда нечего было венчаться.

В столовой все имело возбужденный, бурный вид. Явно, собирались праздновать свадьбу шумно. Алексей должен был догонять одного «в отношении рябиновой», другого — зубровки. Людмила сидела с ним рядом. Вся она была движение, смех. Любовь и счастье блестели в ее глазах, в нежном румянце, выбившихся золотистых локонах.

— Браво, — кричал Фаддей Иваныч. — Людмила Андреевна, браво! Очень, очень мила. Горько!

На другом конце стола хохотала Нина. Она забралась в самый дальний угол, с ней сидел молоденький студентик, она загораживалась от зрителей букетом.

— А знаешь, где Андрюша? — спросила Алексея Людмила.

— Нет... Правда, где же он?

Людмила засмеялась и шепнула ему:

— Он привезет сюда новую симпатию... У меня спросился. Мне что ж? Хоть три симпатии.

Действительно, не прошло получаса, — явился Андрей. За ним показалась Марья Львовна.

— Ого! — сказал Фаддей Иваныч. — Она не только хорошо одета, но и недурна собой.

Марья Львовна поздравила Людмилу, сказала, что очень жалеет, что не могла быть в церкви. Глаза ее блеснули, и суховатая рука, в которой было нечто мужское — пожала ей руку.

— Очень интересна, — сказал Фаддей Иваныч Андрею. — Ваше здоровье.

И он чокнулся с ним. Андрей имел вид тоже воодушевленный. Он залпом выпил бокал шампанского. На дне осталось немного вина, где играли легкие пузырьки. Андрей молча приблизил бокал к носу Фаддея Иваныча.

— Люблю, — сказал Андрей. — Отлично.

Фаддей Иваныч подумал и вдруг выпалил:

— Как бы символ жизни!

---

* Издержки, недостатки (*фр.*).

Андреи захохотал и хлопнул его по коленке.

— Ах, ты философ!

Потом прибавил:

— Может быть, вы и правы... Мне все равно. Я могу еще выпить за что-нибудь такое....

Он налил себе еще вина.

— За любовь, что ли? — за жизнь.

Первой чокнулась с ним Марья Львовна. Студенты зашумели, все хохотали. Подошла Нина. Чокнулся и Сергей.

— А-а, — сказал Андрей, — вот кто! Ну, вы наверно против меня.

— Чокаюсь, значит, не против.

Фаддей Иваныч подвыпил, нос его покраснел. Он предложил танцы. Марья Львовна должна была сыграть.

Любители потащили с собой вино, все встали из-за стола, и началась кутерьма. Нина вскочила на Фаддея Иваныча, а он галопировал, задыхаясь, багровея.

Сергей стоял в углу и смотрел. Он ничего не имел против них; напротив, они ему нравились, как бывают приятны дети. И лишь когда взглядывал на Людмилу, хохотавшую, носившуюся легким ветром по комнатам, сердце его останавливалось. Хорошо жить для великих целей, но хороша и любовь такой женщины, блаженство разделенного чувства.

«Мне не надо думать об этом», — сказал себе Сергей. Но он не мог унять волнения сердца.

Алексей мало говорил. Разные чувства кипели в нем. Иногда он смеялся на Нину, Андрюшу, но душа его все время как бы летела на известной высоте, куда вводил его сегодняшний день.

ВЕСНА

(Глава из романа)

После свадьбы Алексей с Людмилой поселились в Филипповском переулке. Переулок этот тих и мил, как бывают переулки в Москве, между Никитской и Пречистенкой.

Рядом с их домом был забор; оттуда простирал ветви над всей улочкой гигантский вяз; за ним — маленькая церковь, одна из знаменитых сорока сороков, наполняющих в праздник столицу звоном. Квартира их была старинная, с иконами, образами, мебелью в чехлах, были и птицы в клетках. Они снимали две комнаты. Хозяйка сначала стеснялась, — что студенты — но потом привыкла. Старушка нрави-

лась Людмиле, а это значило, что она могла задушить ее поцелуями и нежностями.

Приблизительно так стояло дело и с Алексеем; их любовь была очень горячей, тесной. В эти месяцы, в Филипповском переулке, Алексей узнал счастье обладания молодой женщиной, любимой и красивой. Действительно, страсть была стихией Людмилы. Иногда Алексею казалось, что Людмила — вообще несколько полоумное существо, опьяненное светом и молодостью. Свет сиял в ее золотистых волосах, в янтарно-молочной коже, в ее поцелуях, глазах. Рядом с ней Алексей казался себе неинтересным и тусклым. Конечно, он любит и предан ей, но он решительно ничем не замечателен, довольно робок и в обществе молчалив. Если бы не Людмила, конечно, к ним никто не ходил бы.

Но теперь на это они пожаловаться не могли. Часто бывало мало денег, но всегда достаточно гостей. Как и на Кисловке, народ толокся больше после обеда, но получалось впечатление всегдашнего праздника.

Это не очень способствовало работам Алексея, но факультет был легок, к римскому праву все равно человека нельзя приохотить, а предметы общественные давались легко. В это время Людмила подарила ему даже Карла Маркса, «Капитал», на книге была сделана ее небрежным почерком надпись, блиставшая любовью, зажигавшая беспросветную книгу.

Хотя в университете друзей у него не было, но чувствовал он себя здесь по-иному, чем в институте. Тут были ученые, известные всей образованной России. В некоторых ощущалось обаяние, которое дается славой, талантом.

Так, слушал он энциклопедию и философию права. Ее читал знаменитый профессор, в которого Алексей был даже слегка влюблен. Ему нравилось бледное лицо, тонкие руки, глаза, казавшиеся глубокими и как бы видевшие Абсолют, Справедливость, Добро. Он говорил ровным, слегка матовым голосом. Алексею представлялся существом залетным, из мира более изящного и возвышенного. Платон, Сократ в его изображении особенно пленяли.

Хотелось по-настоящему держать себя на экзаменах. Хотя наступила весна, и в Филипповском переулке стаял снег, гремели пролетки, солнце заливало комнаты, он урывал все же время и подчитывал. На экзамен надел новую тужурку и тщательно причесался; стало немного смешно, он посмотрел на себя в зеркало, покраснел и усмехнулся.

Когда вошел в другую комнату, где был кофе, Людмила читала газету. Кофе остыл — Людмила не отличалась хозяйственностью — в открытую фортку веял весенний ветер; солнце золотилось в Людмилиных волосах.

— Ты посмотри, какая сегодня реклама к коньяку, — сказала она, слегка зевая, — ужасно смешно!

И стала читать вслух глупые стишки, чему-то смеялась, хотя в стихах не было ничего смешного. Но у Людмилы были две слабости: рекламы и хроника происшествий. Алексей тоже чему-то смеялся за нею; она соскочила с дивана, бросилась на него и поцеловала.

— Бог мой, Бог мой! — бормотала теребя его за уши, за нос. — У-ух ты!

Он задыхался от смеха, щекотал ее, она взвивалась и прыгала, и вообще они вели себя безобразно.

— У меня сегодня экзамен, я провалюсь, — сказал Алеша, — черт ты неугомонный.

— Ну, Господь с тобой! — Людмила вдруг немного струсила и закрестила его. — Хорошо. Мне только хочется тебя еще раз поцеловать.

Когда он вышел на улицу и переходил на другую сторону, она высунулась в форточку и закричала:

— Я сегодня к Маше пойду, у ней ребеночек! Не попади под автомобиль!

Алексей вспомнил, что Маша родила, что не все у нее правильно, но сияющий солнечный день, мысли об университете, экзамене довольно быстро овладели им. Его пробирало легкое волнение. Положим, он предмет все же знал. Были небольшие рифы, но неопасно. Все-таки хотелось показать себя с хорошей стороны.

Пришел довольно рано и до начала экзаменов успел подчитать о Юме и законе причинности — самом трудном в курсе.

Когда профессор вызвал его и своей белой рукой перетасовал билеты, Алексей с тоской подумал: где же здесь проклятый Юм?

Но досталось «об умственных направлениях XVI века». Коперник и Галилей. По недавно читанному роману он мог наговорить много хорошего о Леонардо да Винчи. Алексей так и сделал. Профессор глядел на него темными магнетизирующими глазами, поглаживая черную бороду, и бледность его лица казалась Алексею почти жуткой. Взгляд был благожелателен, но, казалось, проникал насквозь.

— Да, — сказал он. — Очень хорошо. Мне хотелось бы знать, как вы смотрите на понятие причинности по Юму?

Алексей вздохнул и стал рассказывать. Во дворе университета распускались деревья, в окно тянуло славным нагретым воздухом, и солнце блестело в пуговицах студенческих тужурок, нагревало молодые лбы, полные причинностями. Алексей не сдался и на Юме, получил пять.

Это порадовало, но когда он шел домой по Никитской, то думал, что для знаменитого профессора он — один из сотен, знающих о Юме.

Его же, Алексея, с его мыслями о жизни, чувствами, стремлениями, профессор не знает и никогда не узнает. Защемило сердце. Думал о славе, блеске, о том, что некоторым людям поклоняются как героям. Да, но что сделал он такого, за что его могут выделить из толпы?

Алексей любил мечтать, и чаще о таком, что было явно невозможно и к нему не подходило. Так и теперь сел на бульваре на лавочку и, глядя на детей, погрузился в свои фантазии.

Людмила встретила его в расстройстве. Она только что вернулась от Маши, и виденное произвело на нее тяжелое впечатление.

— Да нет, это такой ужас, ты и представить себе не можешь! Она так страдала.... Да это просто что-то ужасное. И теперь чувствует себя странно, говорит, что у ней какие-то нелепые мысли, боится своего ребенка. И нет денег, Сергей бегает по всей Москве, ищет двадцать пять рублей.... Нет, это что-то невероятное, я сейчас бегу закладывать брошку, так же нельзя. Это что-то невозможное.

Она успела его на прощанье поцеловать и умчалась. Алексей же остался в задумчивости. Он знал, что Людмила бескорыстно добрый человек, и если ее разжечь, то она с удовольствием отдаст последнюю юбку. Но все-таки, когда он вспомнил о Сергее, шевельнулось знакомое чувство неловкости: одни целуются, бегают, их жизнь — праздник. Доля других сурова. Как быть? Да, и он сделает для Сергея все, что понадобится, но именно то, что Сергею всегда чего-нибудь не хватает, это и есть самое горькое и печальное для Алексея. Ему просто было несколько стыдно за свое счастье.

И, конечно, вышло так, как он чувствовал: Людмила дала денег, и помогла, и обласкала Машу, и бегала по кормилицам, но все это продолжалось два-три дня и не заглушило их веселой шумной жизни — лишь придало занятный оттенок.

Машу Людмила сначала смущала, но это быстро прошло. Людмила, действительно, была с ней проста и дружелюбна. Больше того: решила, что Маша удивительная женщина, страдалица-мать, и скоро уж тискала в своих объятиях, восторгалась ребенком, и ее стесняло, что она с Машей на «вы».

— У вас чудная жена, чудная! — говорила она Сергею в соседней комнате. — Да это просто какой-то ангел. Нет, она замечательная женщина, какие она перенесла страдания, и хоть бы что!

Сергей покраснел. Ему вообще было трудно с ней. Когда он глядел на Людмилу, ему казалось, что он в чем-то непоправимо виноват. Теперь, чем дальше шло время, тем яснее становилось, что, сойдясь с Машей, он сделал страшную ошибку. Маша родила — он смотрел на ребенка, и его ужасало, что в сердце своем он не находит к нему любви.

Жалел жену, столько намучившуюся, и мучило его то новое, что в ней появилось после родов. Но все это была не любовь, совсем не любовь.

Его радовало и терзало, когда приходила Людмила, и каждый раз он думал, что лучше бы она не приходила, но потом оказывалось, что именно огромное, мучительное счастье, когда запыхавшись, раскрасневшаяся и всегда чем-то опьяненная, влетает Людмила.

А ей и некогда долго сидеть: дома ждет Фаддей Иваныч с какой-нибудь затеей или Лена. Лена непременно с поклонником, новым или старым, смотря по обстоятельствам. Или у Лены недоразумения, надо их улаживать. А еще: в клубе читают реферат, и необходимо идти туда, потому что мала партия молодежи, надо поддержать поэта, когда он будет громить буржуев.

Так сбежала Людмила от Маши, когда явилась Лена с известием, что из Польши приехал пан Кинский и будет читать в Историческом музее о символизме, Пшибышевском и разных любопытных вещах.

— Послушай, — говорила Лена, загадочно блестя черными глазами. — Преинтересный! — прелесть. Мне цветов поднес, с тобой хочет познакомиться...

Потом она присела и захохотала.

— Милая, он в накидке! — страшно смешной, по-русски говорит неважно.

Людмила, конечно, взволновалась — раз приехал из Польши, о Пшибышевском, значит, что-нибудь да есть.

И тотчас они помчались к общим знакомым и оттуда вернулись с паном, который должен был пить у них чай.

Пан оказался человеком европейским, напитанным Мюнхеном, немецко-польской богемой, с двумя десятками страшных слов, от которых замирали дамы, — действительно, в накидке и подкаченных штанах. Он покровительственно пил чай, имел такой вид, что удивить его чем-нибудь трудно, и что наверно он самый умный и замечательный из литераторов.

— Меня известили, — говорил он Людмиле, — что вы сочувствуете идеологиям нового искусства. Весьма доволен с вами познакомиться.

Алексей сидел молча и покусывал губы. Но пан был любезен, со всеми учтив, лишь к себе относился явно восторженно. Его интересовала возможная цифра сбора. Лекцию он свою читал уж в нескольких городах России и всегда «с колоссальным успехом».

Он расспрашивал о Москве, русских писателях, русской жизни. От пана явно отдавало шарлатанством, — но в светлых голубых глазах его было что-то наивное. В нем чувствовалась Европа, чего Алексей не знал еще совершенно. Его рассказы в некоторой мере были занятны.

Пан просидел до вечера, потом уехал с Леной. Условившись, что встретятся в четверг на лекции, а оттуда его привезут в Филипповский переулок, где по этому случаю будет банкет.



В день лекции у Алексея был последний экзамен. Он сдал его благополучно, но задержался, пришел домой к шести; Людмила ждала с обедом и тревожилась.

— Наконец-то! — сказала она, когда Алексей вошел. — Ух, как я рада, я уж думала, тебя задавили.

Она бросилась на него и поцеловала. При этом так ухватила его за ухо, что стало больно.

— Какие глупости, — сказал Алексей морщась. — Кто меня задавит?

Людмила отошла от него.

— Ты, кажется, недоволен, что я тебя поцеловала? — Извини, пожалуйста. Больше не буду.

— Дело не в поцелуях, а ухо мне больно, это верно.

Алексею показалось, что она его даже оцарапала. Он взглянул в зеркало и увидел свою раздраженную физиономию. Никакой крови, конечно, не было.

— Что ты на меня так зло смотришь? — спросила Людмила, вспыхнув. — Я же сказала, что не подойду больше к твоей священной особе.

Алексей промолчал. Но Людмила поняла это так, что его шокируют ее нежности. Отсюда ее кипучая мысль неслась к заключению, что он ее не любит.

За обед сели молча. Молча съели суп, за жарким Людмила не выдержала.

— Я только не понимаю, — сказала она побледнев, — к чему комедия? Если ты меня не любишь, скажи прямо. Не беспокойся, — прибавила она тем, якобы холодным, тоном, за которым скрывалось отчаяние: — Я сумею уйти. Мне милости не нужно.

Алексей был поражен. Его так называемое благоразумие вело Бог знает куда. Нервное напряжение росло. Ему хотелось спорить, доказывать, опровергать.

— Позволь, — ответил он все с тем же злым лицом. — Откуда ты взяла, что я тебя не люблю?

Жаркого не доели. Людмила выскочила в другую комнату; спор разгорелся. Оба волновались все больше. Людмиле вдруг представилось, что он и не любил ее никогда, что их брак — вздор, что надо по-другому устроить все. В пылу препирательств Алексей назвал ее истеричкой, это подлило масла в огонь, Людмила задрожала, лицо ее исказилось, и она закричала:

— Ну, и отлично, ты меня больше не увидишь, не желаю!

Она сорвалась с места, ураганом пронеслась в переднюю, накинула шляпу, и через минуту голос ее с улицы крикнул:

— Ужинать прошу не ждать!

Он остался один, в самом удивительном состоянии. Пробовал думать, лежать, ходить — не помогло. Сначала сердился — все это казалось ему капризами; его раздражало, что сегодня должны быть гости, а она удрала. До чего это нелепо! Но прошел час, два, Людмила не возвращалась; он успел остыть, и самые мрачные мысли затолпились в его голове; правда, Людмила невменяемое существо, — вдруг она бросится в Москва-реку? Или вообще что-нибудь над собой сделает? Он совсем похолодел. Взял палку, фуражку и тоже вышел.

Уже вечерело, до лекции оставалось немного. Солнце село, Филипповский переулок, такой славный и тихий утром, был пустынен, несчастен. Алексей вышел на Пречистенский бульвар: все то же. Он один, жалкий, заброшенный студент, которому некуда преклонить голову. Он прошелся, глядел, как заря гаснет за липами, посидел на скамеечке — но все то же чувство одиночества, заброшенности томило его. Наконец, стал строить планы, как будет жить один: да, общая жизнь, полная света и веселья, не удалась — может быть, это именно указание, что он должен посвятить будущее служению чему-то большому. — Пусть эта жизнь будет горька и одинока, значит, так надо.

Бродил и фантазировал он часа два, а потом устал. У него было смутное чувство, что все же надо идти на лекцию.

Как был, не переодеваясь, отправился в музей.

Кто не знает крутой аудитории, глубоких скамей, запаха чистоты и чего-то, напоминающего физический кабинет, электрического света и фигуры лектора за столиком — сегодня химик, завтра философ, послезавтра декадент? Это Исторический музей.

Во втором ряду, тотчас как вошел, Алексей увидел рядом две шляпы — Лена и Людмила. Лена весело кивнула ему, дружественно поманила пальцем. Людмила сидела, как каменная.

Алексей медленно пробрался к ним. Людмила глядела мимо. Он сел, и ему показалось, что теперь уже все погибло. Вспомнились первые дни их любви, вечер у Лены, поцелуи у дверей квартиры на Кисловке. Неужели это пропало — как дым?

Людмила преувеличенно хлопала Кинскому; тот распинался за Пшибышевского, говорил, что «искусство — это молитва»; налезал грудью на кафедру и изящно отставлял назад ногу.

Алексей вспомнил, что сегодня все будут у них, и этот, поляк во фраке, — и ненависть поднялась в нем глухой волной. Он с радостью заметил, что лакированная ботинка лопнула по шву.

Но тот не обратил на это внимания: как сирена распевал все о новом искусстве, костил реализм, читал плохие переводы из Метерлинка и Тетмайера.

— Вам нравится? — спросил Алексей Лену.

Лена взглянула на него вбок своим черным глазом и сказала:

— Я мало понимаю. — Потом прибавила: — Но он страшно славный, вы не думайте, он страшно милый!

И Лена весело засмеялась. Казалось, этой красивой и приятной женщине как-то все равно было, что лекция, что концерт, что искусство, ей нравилось смеяться своими черными глазами и забавлять свое сердце.

— А по-моему, очень хорошо, — сказала Людмила наставительно, не своим, холодным тоном. — Отлично все понятно.

Алексей знал, что это сказано для него. И сердце его ныло от нового укола.

В антрактах ходили поздравлять Кинского; все это для Алексея было мертво. С Людмилой он не сказал ни слова.

По окончании лектору хлопали, но не особенно, — больше свои. Кинский был не очень доволен, сбор оказался скромным, и вместо «Праги» он не прочь был ехать в Филипповский переулок.

Его окружили — Фаддей Иванович, Андрей, приехавший к концу, дамы. И он, натянуто улыбаясь, благодарил. Тронулись к выходу.

— Надеюсь, — сказал Фаддей Иванович, — что вы не откажитесь от русской водки? Или же предпочитаете коньяк, абсент?

— Я могу пить и абсент, — ответил Кинский, будто делая одолжение.

— Есть, — сказал Фаддей Иванович.

Кинский закутался в венскую накидку, подвернул брюки и, высоко задрав в пролетке ноги, сел с Леной. Людмила сделала вид, что не хочет ехать с Алексеем, но все же вышло так, что они оказались вместе.

Извозчик задребезжал, они поплелись мимо Александровского сада. Алексей сидел уныло, рядом с ним был чужой человек, ненавидящий, казалось, его. Вокруг была весенняя Москва — простая, так располагавшая к счастью, радости. Проехали манеж, университет. На углу Воздвиженки пахнуло свежей листвой: это распустились ветлы в саду Архива Иностранных дел, — их бледно-зеленые купы ясно выступали на небе. Алексей ощутил острую, неутомимую тоску и взял Людмилу за руку. Людмила ее не отдернула. Но и не пожала, только вздохнула. Тогда он стал гладить ее с лаской и нежностью. Ему хотелось выразить в этом всю свою любовь, всю просьбу о прощении, примирении. Но Людмила молчала, лишь стала вздыхать, и фигура ее, доселе преувеличенно прямая, как-то ослабла, опустилась.

— Прости меня, — шепнул он. — Прости, не сердись.

Людмила опять ничего не ответила, но рука ее слегка передвинулась, будто хотела найти его руку и о чем-то ей сказать. Алексей полуобнял ее, и теперь в светлых майских сумерках она стала для него опять своей, родной и любимой.

Извозчик не довез еще их до сворота в Филипповский, как вдруг Людмила велела остановиться — у начала Пречистенского бульвара, где теперь Гоголь. Тогда Гоголя не было. Людмила легко спрыгнула, Алексей ничего не спросил, рассчитался с извозчиком.

— Пускай подождут, — сказала она, кивнув в сторону Кинского и Лены, скрывшихся, за углом. Потом дернула Алексея за рукав. На бульваре было мало народу.

Людмила быстро вытянулась, оглянулась направо, налево и крепко обняла Алексея.

— Милый, — шептала она, целуя его. — Милый, я дрянь, ну, конечно... страшная дрянь, — зашептала она быстро, и страстно. — Конечно, я истеричка. Ну хочешь, побей меня.... Например, я лягу, а ты наступишь мне на голову, и каблуком, каблуком...

Людмила находилась в том счастливом, радостном и как бы творческом возбуждении, которое и было ее стихией. Став на эту линию, она готова была на подвиг, самопожертвование с такой же легкостью, с какой бросалась Алексею на шею.

— Нет, ты меня не презираешь? Ты должен правду сказать. Если да, так я сейчас с Каменного моста прыгну. Нет, верно? Но ведь я тебя ужасно мучаю? Я капризная, нервная дрянь... Неужели ты меня еще можешь любить?

На скамейке бульвара, где целуются по вечерам с возлюбленными модистки, но тою же весной, при тех же распускающихся липах и звездах, Людмила бормотала Алексею о любви, счастье, — том ослепительном, чем была полна ее молодая душа.

Алексей тоже был счастлив. Людмила забыла о гостях, о Кинском, которого сама же позвала.

— Не хочу уходить, — говорила она, прижимаясь к нему. — Мне тут хорошо, больше ничего мне не надо. Подождут.

Она захохотала и слегка укусила Алексея за шею.

— Ты еще не знаешь, какая я мерзавка, — сказала она. — Если б ты видел, как я с этим поляком финтила. Милый, — вскрикнула она как бы в испуге. — Ты не думай, это я все назло тебе — даже и не на зло, я тебя все время страшно, страшно любила, только мне показалось, что ты меня разлюбил... А ты думаешь, мне Кинский нравится? Вот он мне что, тьфу.

Людмила азартно плюнула.

Был двенадцатый час, когда стало уж ясно, что больше сидеть нельзя, дома произойдет смятение.

Дойдя до этой мысли, Людмила быстро сообразила, что надо делать: в момент подобрала юбки и, хохоча, крикнув: «домой», — помчалась в переулок. Алексей едва поспевал, в редких прохожих они вызывали изумление. Но Алексею страшно было весело, как-то необычайно весело лететь майской ночью по переулку за своей звездой.

В полумгле мелькали знакомые стройные ножки. Через три минуты были дома.

ВЕЧЕР БЛОКА

И лишь зарницы огневые
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

Тютчев [1]

Ольга Андреевна, мать Александра, жила еще у себя в деревне, недалеко от Москвы. Мы иногда к ней ездили... — с какими мучениями! Выхлопатывали пропуски, мокли часами перед вокзалом под дождем, во тьме вваливались в вагон с выбитыми стеклами. Что вспоминать! Кто революцию видел, сам знает. Не видевшие — не поймут.

Мы много жили в этой деревне и в мирное время. Бывало мне там хорошо, бывало и плохо. Но тогда вся жизнь вокруг была одного духа, а теперь странными казались книги Александра во флигеле. Петрарка, Уго Фосколо, Вентури. Библиотеку хотели однажды отобрать, да раздумали. И правда, на что «им» книги по итальянскому искусству, итальянские поэты?

Александр уезжал иногда к матери недели да две. Ему нравилось одиночество. Из университетской библиотеки набирал тоже книг, хотелось написать о Елизавете Урбинской и вообще об урбинском дворе.[2]

Он и теперь один уехал. А я осталась в Москве. Жила, как обычно в то время: мечтала о загранице, ходила по очередям, за пайками (мы получали академический), варила пшенку на примусе, навещала друзей — и меня навещали.

В тот весенний вечер я сидела на балконе у доктора Блюма.[3] Рядом, в столовой, красавица его жена разливала чай — были печенье и варенье, торт — блюмовская квартира и жизнь не поддались разрушению.

Да и сам Блюм по-прежнему красив — темные глаза, великолепные седеющие волосы, ласковость с женщинами: модный и даже любимый Москвою врач.

— А знаете, — сказал он, выйдя на балкон, — ведь сегодня в Политехническом читает Блок. Мы собираемся. Идем вместе?

Блюм — интеллигент, любит, разумеется музыку, современен, за всем следит и все знает. Как же ему без Блока?

Я Блока тоже давно знала, лично, он и с Александром моим в добрых отношениях. Отчего не пойти?

— Будет читать «Двенадцать», — объявил Блюм таким тоном, что теперь уж нельзя отказаться. Такая модная и прославленная вещь!

Мне она не особенно нравилась. Именно ею меня трудно было прельстить. Все же решения своего я не изменила. И когда гости разошлись, мы втроем отправились — Блюм, его жена и я.



От Большого Афанасьевского, у Арбата, до Политехнического музея не так далеко. Мы шли пешком. Какие в Москве бывают вечера! Как блестели купола в Кремле, как нежно зеленели вербы в саду Архива Иностранных Дел, на углу Воздвиженки! Блюм разговаривал, я помалкивала. Люблю Воздвиженку, Моховую, много воспоминаний с этими местами связано. Нынче мне стало что-то грустно. Сколько мы тут гуляли с Александром в первое время нашего романа!

Мы подходили к Политехническому, когда вдали бухнул выстрел. Так мне, по крайней мере, показалось: выстрел из тяжелого орудия. За ним другой. Мы и не очень удивились — революция, что уж тут. Может быть, кто-нибудь кого-нибудь взорвал, удивляться не приходится.

Народу на Блока собралось много. Главнейше барышни. Меня это тоже не удивило.

Я прошла к нему в артистическую. Канонада все продолжалась, то громче, то тише.

Блок стоял у стены, заложив руки за спину, разговаривал с кем-то — высокий, со слегка вьющимися волосами, красивыми водяными глазами, лбом высоким. Я давно его не видела. Он очень изменился. Поразил нездоровый цвет его лица, мертвенность холодноватых глаз.

Увидев меня, он слегка улыбнулся, отделился от стены и поздоровался. Ахнул еще выстрел, особенно громкий, потом еще и еще.

Он обернулся с удивлением:

— Что же это такое?

Смеркалось. В небе, сквозь окно, что-то полыхало и вздрагивало. Опять прокатился гул, как бы от меньших взрывов

Литераторы, барышни-поклонницы засуетились.

— Это взрываются артиллерийские склады, — сказал кто-то. — Ну, ничего, под Москвой. Александру Александровичу будет отличный аккомпанемент.

Блок устало, горестно смотрел на меня. Ему будто было все равно.

— А ваш муж?

— Мой Александр в деревне.

— Да, мы тезки...

— Вы сегодня будете читать «Двенадцать»?

Что-то изменилось будто в его неподвижном лице.

Блок медленно посмотрел на меня.

— Вы меня презираете за эту вещь? — сказал он тоже медленно, глуховатым, с носовым оттенком голосом.

— Нет, почему же...

— А я думал...

— Правду сказать, не особенно люблю. Ваши другие вещи ближе.

Он помолчал. Потом сказал сумрачно:

— Я и сам ее разлюбил. Я не люблю ее, — повторил почти упрямо. — Я никогда больше ее не читаю.

Нас прервали. Пора было начинать.

— Ну, желаю вам успеха. Жаль, что нет Александра.

Блок поклонился, просил передать ему привет.



Уж не мечтал о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла.
Твое лицо, в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола...[4]

— наверно, так. И оттого щемит сердце...

Блок читал хорошо. Стоял высокий, мрачный, прислонившись опять к стене, скрестив назади руки. Как безнадежны были его пустые глаза! Я сидела недалеко — Блюм взял дорогие места — и все смотрела на Блока, все смотрела...

Блюм восторженно аплодировал. И девицы, те же, что сиживали у подножия Игоря Северянина, тоже восторженно аплодировали. Блоковский голос, глухой, носовой, раздавался как погребальный звон. И не одни аплодисменты вторили ему. То сильнее, то тише, в виде жуткого оркестра, грохотало за Москвой. Бывали паузы, а зато потом взрывы неслись наперегонки, и на фразе: «твой узорный, твой цветной рукав» вдруг жалобно задрожали стекла — вот-вот из старого мирного музея вылетят они совсем. Блок приостановился. В аудитории стихло. И в тишине этой, готовой вновь прорваться грохотом, раздались одурманивающие стихи.

— Гени-яль-но! — шептал Блюм, проводя рукой по серебряной шевелюре. — Совершенно гени-ально!

Слово он употребил сильное.

Но, конечно, нечто от магического наваждения в этих стихах было. Меня тоже они пронзали. И минутами мне вообще все представлялось фантастическим — наша жизнь, то ужасное, что с нею произошло, этот скорбный, полумертвый человек, произносящий свои колдовские слова, дальняя бомбардировка, грозно ему вторящая... Где сейчас мой Александр? На островке деревенском, среди книг, речей Кастильоне, стихов Рембо... Мне хотелось бы, чтобы сейчас был он тут, чтобы я могла прислониться к нему, как всю жизнь мы прошли друг с другом, иногда в счастье, иногда мучаясь и страдая, но неразлучимые. А вот сейчас как-то стало мне страшно.

...Я даже рада была, когда вечер кончился. Нечто сильное, но и тяжкое меня давило. Барышни и молодые люди Блока без конца вызывали. Требовали «Двенадцать». Он выходил усталый, мрачно кланялся. «Двенадцати» не прочел.

Взрывы прекратились. Толпа разбрелась медленно, путано. Где-то внизу, на повороте лестницы я столкнулась с Блоком. Он был в мягкой большой шляпе, беспомощно нес букет.

— Браво, Александр Александрович. Мы сегодня в вашей власти. Уж такой вы гипнотический человек.

Он взглянул на меня сумрачно.

— Гипнотический... Может быть. Но мне это неинтересно. Я просто больной человек.

Уже на улице, окруженный молодежью, он вдруг сказал мне:

— Вы заметили, что я не читал «Двенадцати»? А ведь обстановка была самая подходящая.

Потом несколько приблизил ко мне лицо и совсем тихо добавил:

— Верьте, все очень плохо. И что нынче было — не напрасно. В высшей степени плохо.



Мы возвращались домой втроем. Было темно, звезды мило мигали над Москвой, иногда их заволакивало тучей, неизвестно откуда и куда идущей. Блюм продолжал восхищаться Блоком, Потом рассказал, что склады взорвали левые эсеры. (Ему кто-то сообщил. Он всегда все знал «из достоверных источников»).

Меня это не заинтересовало. Левые эсеры или правые, мне все равно. Одни других взрывают, о чем говорить.

— Очень жаль, — говорил Блюм, — что Блок не прочитал нынче «Двенадцати». Он так чувствует музыку революции. Это очень бы под-

ходило. Замечательно Блок читает, и такие фейерверки... Он несомненный глашатай разрушения старого мира, хотя и сам им порожден.

Все это я много раз слышала. Разговаривать не хотелось. Блюмовы слова доносились до меня как музыка скучная — и отскакивали. Не могли нарушить таинственности, необычайности московской ночи.

Я особенно это ощутила, когда поднялась к себе на четвертый этаж. Спать не хотелось. Вышла на балкон. Смотрела на родную Москву, на церковку внизу, так мне знакомую. «И что нынче было — не напрасно», — сказал Блок. Да.

Тихо было в городе. В стороне артиллерийских складов чудилось слабое зарево. Может быть, догорало что-нибудь?

А там, где стояла туча, гораздо левее, мелькали, вспыхивали в ней легкие молнии. Зарницы! То, что я всегда любила в деревне. И теперь так же сверкают они в окне флигеля, где сидит Александр. Да, конечно, он главное мое прибежище...



Александр приехал на другой день к вечеру. Неожиданно для меня. Сказал, что соскучился в деревне я что стали осаждать его дурные мысли. Я притворно его укоряла, что он мало отдохнул от города. А сама была рада. Без него мне вообще невесело. Теперь же и особенно.

Блока более я и не видела. Александр тоже. Блок скоро уехал в Петербург, через год там и умер, а революция со своей музыкой преуспевала без него. И когда теперь, в одиночестве мировой столицы вспоминаю я тот вечер, сколь зловещим он мне кажется! Я сама себе кажусь иной — осколок, залетевший Бог знает куда от взрыва... Да и от вечера того лишь одна я еще жива — ни Блока, и ни Блюма, ни его жены нет больше в грозном нашем мире. Самое же страшное для меня: и Александра нет. Я здесь совсем одна.

ПОДЗЕМНОЕ СВИДАНИЕ

Земля, не закрой моей крови,
и да не будет остановки воплю моему.

Кн. Иова, XVI, 18[1]

В городе Париже сиял день. Эйфелева башня угрожала облакам, а в них гудел аэроплан и солнечный луч мягко отблеснул в моторе. Златисто-голубые пятна реяли по Сене, баржам, авеню и площадям. Автомоби-

ли текли, барышни бежали, поезда уходили, расторопные гарсоны шмыгали в кафе.



Съев круассан с чашкой кофе в крошечной своей каморке, русский старичок в поношенном пальто, с клинообразною бородкой, подошел к мосту через Сену. В кармане у него было пять франков. Он остановился у перил. «Говорят, следует выучиться на жаз-банде. Можно заработать. И шоферы... хорошо живут»... Он взглянул на руки свои — старческие и худые, с седоватыми волосиками и узлами вен. — «Нужно покрепче... Нет, не подойдет»

Тогда он тронулся. Медленно пошел далее.

«Однако же, широка Сена. Глубокая, наверно. Очень глубока».

И перешел на правый берег: он надеялся, что бывший фабрикант, ныне банкир, даст ему для переписки главы размышлений о социализме.



Полчаса спустя Анри Мартен, брюнет, французский живописец, в большой шляпе, с бурным галстухом, курчавой бородой проходил тем же мостом. Он надел лучшие свои лакированные туфли. Ветер Сены трепал его бороду, солнце отблескивало в носках туфель. «Если Пишегрю продал картины, он наживет на них не менее меня. Если же не продал, то все равно, продаст... чьи-нибудь... в Париже нас тридцать тысяч, ну мои, конечно... впрочем, он мерзавец».

В кармане у Анри было три франка. Уж месяц он питался хлебом и горячим молоком, которое давала ему в долг молочница — за черную его броду и пламенные глаза. Не доходя до берега, Анри остановился и взглянул на Сену. «А глубока, тут, верно... Наводнения, все наводнения... Да, глубина»



Прошло еще время и был вечер. Все блестело в метро светом электрически-бесцветным и бесчисленные поезда с неутомимостью носились по подземным галереям. Красные, зеленые огни мелькали в них. В полутьме два ярко-освещенных поезда, наполненных людьми, летели в разных направлениях, гремели друг пред другом, — можно рассмотреть сидящих и стоящих, — исчезали в сумрачных и глянцевитых жилах.

Останавливались и послушно дальше мчались.

❖ ❖ ❖

На больших бульварах трудно было уже перейти улицу. Полураздетые дамы в мехах, мужчины в смокингах плыли волной в автомобилях к Опере. Кафе гудели. Блеск реклам резал глаза.

Старичок с клинообразной бородкой сел в метро у Оперы. В кармане у него было четыре франка семьдесят. Очень хотелось есть. Бывший банкир, а ныне фабрикант уехал в Ниццу на два месяца.

У Мадлен в тот же вагон вошел брюнет в большой шляпе и с курчавой бородой. Лакированные туфли у него забрызганы. Сел устало против старичка, поставил на пол, прислонив к коленям, три картины в рамах.

И они неслись. Поезд глубже зарывался в землю — надо было проезжать под Сеной. Фонари тускло освещали коридор, воздух спертый, влага каплями ползет по сводам.

Старичок поднял глаза. Что-то билось и кипело в огненных глазах Анри, кровь бурная и непокойная не умолкала.

«Какое славное лицо. Сколько упорства и молчания. Может быть будущий Курбе,[2] может быть и ничтожество самолюбивое. Картин же он не продал».

Поезд остановился, не дойдя до станции. На полотне стояли лужи — вода просочилась. Анри раздражился:

— Чертово правительство. В каком виде метро... Уж было два несчастья. Над нами Сена, а разбойники скупятся на починку. Вот и хлынет, мы тогда узнаем. Чертово правительство.

Старичок зевнул.

Анри перевел взгляд горящий, вздохнул и замолчал. Заметил пальто выцветшее, шляпу мятую, нечистый воротник рубашки и спокойные, слегка выцветшие глаза. Старость и усталость в узловатых руках на рукоятке трости.

«Иностранец и, конечно, русский. Отставной анархист, аристократ разоренный... Мало их у нас было в революцию».

Поезд, наконец, тронулся.

— Глубока Сена в этом месте, как вы думаете? — спросил старичок.

— Для чего вам это знать?

— Просто интересно, как велика толща воды над нами.

— Сена глубока, — глухо сказал Анри.

Через несколько минут он встал, поднял свои картины. В окнах заплакало: «Монпарнасс», и на стене бело-блестящей облицовки пронеслись две жирные гусыни: «Foie gras. Maire» *. Вагон остановился.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «Фуа-гра. Мэр» (*фр.*).

Анри опять взглянул на старичка. Тот пристально на него смотрел. И спиною, выходя, чувствовал Анри этот взгляд.

Но потом глянцевитые коридоры разнесли их. Старичка к Порт де Версаль, Анри — к Пляс Данфер Рошро.

Оба вылезли, наконец, из вен подземных, и обоих Париж принял вечером туманным и холодным, чтобы никогда вновь не свести.

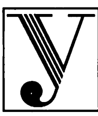
На бульваре Капюсин автомобили развозили дам из Оперы и мужчин в смокингах. Ночные кафе действовали. Реклама Ситроена пылала блеском наглым и квадраты, прямоугольники красно-золото-зеленые пестрили Пляс Пигаль, где только что представление кончилось: люстра из обнаженных женских тел. Но на рю Данфер Рошро все был тихо. И туман. С каштановых деревьев капли падали. Из будок линии подземной теплый пар. Крыса появилась под решеткой вокруг дерева, понюхала, сверкнула, спряталась.

Никого нет.

ОЧЕРКИ О ФРАНЦИИ

ПРОВАНС

Драгиньян

зкоколейка с крошечными вагончиками приятна тем, что напоминает детство и глушь России; скромные люди деревни — торговцы-крестьяне, рассолодевший адвокат с портфелем — сколько таких в Италии, где-нибудь между Эмполи и Флоренцией. Быстрый ход поезда среди холмов и долин в оливках, иногда густо заросших южным колючим кустарником, тощими соснами; заброшенный монастырь на холме, каменное гнездо — городок Флайгек — за ним голубоватые провансальские Альпы. А потом поворот и открылась долина, широкая, светлая, в ней Драгиньян. Сразу притянет взор острая колокольня соборная, да башня часов, как во Флоренции Санта Мария и Синьория. Вообще есть в Провансе похожее на Тоскану. Почему-нибудь нравилось же Петрарке жить около Авиньона. Серо-зеленоватые и коричневеющие тона, тонкость и четкость, и суховатость пейзажа небогатого и непестрого, но как благородно. И долина сама напоминает священные берега Арно: те же воздушность, свет, легкость. Некая благословенность есть в этих местах. Их любят люди, любят здесь оседать и обзаводиться, на столетия начинать пряжу свою — ежедневной и трудовой, мирной и сладостной жизни.

Драгиньян, главный город департамента Вар, очень древен. Первоположниками его были лигуры. А потом появились римляне, как всегда основательные и толковые, тотчас проложили они новую дорогу из Альп через Антиб — Лезарк — до Арля. На ответвлении ее к северу, в долине Нартюби, где жили уже лигуры, заложили крепостцу Антеис. И наблюдали за лигурами. Те и другие на пригорках, почти рядом в разных частях нынешнего Драгиньяна. Наверно сблизилась, перезнакомились, переженились. «Pax romana»* принесла свои плоды.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Римский мир (*лат.*).

И получился сплав, как в большинстве мест Франции: надежная прививка римская, конечно и легенда обняла славные места — о св. Эрмантере, отшельнике, монахе, жившем где-то близко, избавившем драгиньянцев (драсенуа,[1] для русского смешное слово) от дракона.[2] Самый город раньше назывался Dragonian, собор его в честь святого Михаила и целый квартал до сих пор зовется St.-Michel или Dragon. Так что драгоньянцы — люди, кажется, приятные и мирно деревенские — довольно драконического рода.

Св. Эрмантер защитил их от дракона. От вестоготов же, бургундов, сарацин не успели охранить. Драгиньян, как и весь Прованс, очень от них потерпел. Сожительство лигурийского городка с римским вовсе было уничтожено. В горах, что окружают Драгиньян, тогда покрытых густым лесом, целые столетия ютились в шалашах бывшие жители драконьего города. Сейчас эти холмы разделаны уступами под улички в горных складках, виноградники, но, глядя на них, вспоминаешь медленный, жестокий и тяжелый ход истории, вот где «смирись, гордый человек»,[3] вот горькое напоминание изгнанникам, как десятилетия и поколения проходят в торжестве врага. И все-таки врага изгнали. Граф Гийон Прованский в X веке «решил предпринять отчаянное усилие», собрал войско, и под Драгиньяном «поразил дракона». Вероятно, бешено дрались те, кто сто лет глядел на оскверненные очаги свои. Вероятно, не было бы «отчаянного усилия», не было бы воли, мужества, и еще сто лет сидели бы насильники.

С их истреблением новый Драгиньян возник на том же месте, с тем же святым Эрмантером, св. Михаилом, и под тем же светло-благосклонным небом. Жители его работали по склонам в виноградинках, оливках. Осенью с холмов двигались караваны мулов с бурдюками масла поперек спины, и мягко, мирной музыкой позвякивали колокольчики под горлами, а провожатые весело шли впереди, по бокам, с палками. Так же на таких же мулах, тоже в местах козьих везли и вино. В этом окружении ясней видишь «доброго» и легендарного «короля Рене»[4] (XV век), помещика-хозяина Прованса, поэта и заступника целых деревень, любившего присутствовать на сборе винограда, встречать возвращавшиеся из Альп с пастбищ стада, говорившего, что ничего нет выше деревенской жизни. Он славил ее и в стихах. Быть может посещал и ярмарку Драгиньяна — учрежденную в 1320 г. и существующую поныне. (Лишь теперь, с 15-го августа, «Успеньева дня» наших деревень, она перенесена на 1 сентября.)

Тип средневековой жизни, по Провансу, видимо, довольно сносный. Никогда феодализм не висел тяжко — в этом вновь сходство с Италией, Тосканой. Флоренция задолго до Данте была вольной. Села и городки Прованса тоже очень рано получили свободу — по крайности

домашнюю, хозяйственную. Политически зависели от графов Прованских. Но эта зависимость не была велика. В начале графы не облагали их даже налогами, жили доходами со своих имений, лишь итальянские войны заставили перейти на налоги.

Но вот в чем отличие от Италии — это приток поселенцев. После сарацин Прованс обезлюдел. Чтобы его населить, графы Прованские стали поощрять переселение. Итальянцам отводили почти даром землю, по участкам, и вчерашние нищие из Вентимильи, Гети, Альбании становились небольшими собственниками. Италия прикладывала свою руку вечную к изобильной земле: и посейчас это продолжается. Но и еще новая черта Прованса нынешнего — русские. Новые поселенцы, новый металл в вековом сплаве страны. Впрочем, это особый предмет для особого очерка.

Сколько можно понять, Драгиньян дожил довольно тихо до революции.[5] Но и революция не очень буйствовала в нем. Много столетий тут держалась мелкая собственность, так что под Драгиньяном, по-видимому, и грабить особенно нечего было — кроме монастырей. Здесь поживились. Но драгиньянские монастыри к революции находились в упадке. Самих монастырей осталось немного — у францисканцев два, у августинцев три, у доминиканцев тоже три и т. д.

Сильны в Драгиньяне были замечательные учреждения — братства. Объединялись ремесленники разного рода оружия, просто граждане с целью сообща творить дела милосердия, благотворения, проповедовать. Вот высокий стиль жизни в скромном городе. И вот защита против пошлости. Брали имена святых: братство св. Бернарда, св. Себастьяна или Спасителя, Св. Духа. Последнее было очень сильно. У него были даже земли под Лоргом, завещанные неизвестной благотворительницей. Это позволяло оделять очень многих бесплатно хлебом. То же братство занималось постройкой новых дорог, мостов через Дюранс и Рону. Братство Corpus Domini было вполне посвящено помощи прихожанам. О св. Эрмантере, покровителе города, вспомнили довольно поздно, в 1664 г. — заботами его братства о «сельской часовне» и алтаре св. Эрмантера в храме.

В революцию братские содружества погибли, как и многие монастыри. Вероятно, были уже подточены и изнутри — поверхностным веком. Католичество же удержалось и оправилось, частично выкупало даже монастыри, а главное, в гонениях приобрело еще новый закал. Быть может, революция для западного христианства именно и была испытанием силы, жертвенной готовности, — и расплатой за некую порочность духовенства времен Возрождения. Сейчас в эту полосу вошла наша Церковь, тоже выйдет очищенной и закаленной, численно убывшей и отбросившей ненужных и случайных. Именно в правосла-

вии сейчас развитие тех братств, что видели мы (по другому) в Драгиньяне. У нас церкви собирают вокруг себя «морально-воодушевленных» для дел милосердия и просветления жизни. Это пришло после нашей бури. Молодежь составляет кружки, содружества для внутреннего своего роста и борьбы со злом. Зло же — не мало. Но важно, что само оно несет в себе противоядие: жив, значит, человек, и не русским ли страданиям суждено из унижения и убогости родить новую, трогательно-одушевляющую религиозность?

Я сказал уже: Драгиньян не видел особенных зверств во времена свободы. Совсем без «кровушки» обойтись все-таки нельзя, и 7-го сентября 1792 г. «дворянин Жан Дюран де Ламотт с женой были убиты, без всякого повода, солдатами проходившей марсельской фаланги, слишком склонными всюду видеть шпионов». Эту «кровушку» историк Драгиньяна не одобрил — потому что без суда, а это непорядок. О тех же драгиньянцах, что погибли в Грассе по всем правилам искусства, он упоминает просто, деловито. Ну погибли и погибли. Зато ревтрибунал.



А теперешний Драгиньян мягко и приветливо принимает приезжего. На площади перед вокзалом люди без пиджаков играют в шары, все имеет покойный, домашний вид. Никто не спешит. Не шумят. Для южного города даже немного странно, что нет суетни, криков, жестикуляций, что так мы знаем, любим по Италии. Но кажется, во Франции даже южане сдержаннее, более покорны чувству меры.

Не только нет метро, но и трамваев. И отлично. Мы в глухой провинции, гораздо мне отраднее вдохнуть крепкого, настоявшегося ее духа, пройти пешком по главной улице — Эспланаде — под чудесными платанами, мимо магазинов и кафе, где нет ни толчеи, ни возмутительного шума. На полотняной вывеске напечатано «Bourse aux Huiles» *, стоят перед ней торговцы, может быть посредники, и рассуждают о своей прибыли — пусть, это их дело. Проходят женщины в белой кофточке и черной большой шляпе, как носили двадцать лет назад — что же, здесь не Авеню де л'Опера. Едет извозчик, парень, как у нас в Ялте, Севастополе. И свернув направо, мы как бы попали в комнату со спущенными жалюзи: так дивно-пышны густолиственные платаны, что на улице — зеленоватый полумрак, прохлада, то благословение зелени, силы могучих листьев, что узнаешь только на юге. Некоторые каштаны Пюжета, платаны, вязы Лорга и вот эта аллея в Драгиньяне — вызывают «друидическое» чувство. В их безмерной зелени и силе

* Биржа масла (*фр.*).

есть, действительно, священное. Их можно принимать за малые божества.

На платановой улице тихий, хорошего тона отель, комната с балконом прямо в зелень лап платановых. Полумрак, прохлада, освежительное умывание, волнующее чувство новых мест, легкий озноб странничества. Радостная тишина, сень улицы, да запах овощей с рынка недалекого, струйка сигары: запахи Италии.

Вечереет. Солнце мягко светит через золотеющее облако. До обеда можно сделать беглый круг по городу, посмотреть рынок с неизменными осликами в двуколках, со всегдашними рыночными торговками. Пройти мимо собора св. Михаила с острою кампаниллою и углубиться в старинные улочки Драгиньяна, около Tour de l'Horloge*. Грязно и бедно. Дома сложены из неровного грубого камня, ободранные, сумрачные. В Италии не помню камня этого, и мостовая — голый булыжник со скатом к средине — туда льют помои. Запах... У дверей женщины, вяжут, шьют, переговариваются.

Tour de l'Horloge и есть место древнего поселения лигуров, а теперь группа лачужек на небольшой скале с башней времен Людовиков. На ней часы. А вокруг, к средневековым воротам Portaquières — щели прежнего гетто. Это печальное место древности. С XIII по XV век жили тут две с лишним сотни евреев. Их здесь запирали, они были отделены от остального города. Тут же находилась синагога. И подземный ход вел за город, где на своем кладбище хоронили они умерших. Занимались медициной, банковским делом, меняльным и ссужали деньги. Некоторым принадлежали и отличные дома в лучших частях города. Историк утверждает, что они ладили с населением и даже иногда, ссорясь между собой, обращались в монастыри за посредничеством. Но это мало вяжется с тем, что их держали, как зачумленных, обязывали носить желтый кружок на одежде и в конце концов вовсе изгнали (XV век).

Исторически все это интересно, старый Драгиньян живописен, и, как в настоящей старине, есть в нем черты поэзии. Все-таки не позавидуешь ни провансальцам, ни евреям, что ютилось здесь в кривых, зловонных закоулках.

И вот на башне бьют часы, небо потемнело, из-под уступа ветхой крыши вылетела мышь летучая, прочертила неровно в безмолвно — легче вздохнешь, выйдя под знакомце платаны. Снизу залиты они уже золотом и так же тихо-неумолчен лепет листьев. У отеля нашего автомобиль с запоздалыми путниками. Запыленные, вылезают они.

---

* Башня с часами (*фр.*).

И большая его зала — табльдот — вся уже в свете. Приятен блеск хрусталя, чистой посуды, скатертей и салфеток, старомодных, белочистых гардин на окнах. В наших губернских городах такие табльдоты (в меньшем виде) бывали в тех гостиницах, где останавливались «господа дворяне». Здесь тоже есть лица провинциальной знати, и коммерческие люди, и совсем мелкие торговцы — но, конечно, тут же и седая англичанка в белом, путешественница, с сыном — вечные персонажи отелей пилигримских.

Пожив в Провансе, можно чувствовать его вино, как понимаешь и вино Италии. Ни итальянское, ни здешнее не есть «высокое художество» (итальянское все-таки выше). Однако, дают ясный и неповторимый облик стран — и облики эти прекрасны. После бутылки белого «Cavalaire», мягкого и слегка женственного, хорошо вновь, уже ночью, бродить по Драгиньяну. Сияют два-три кафе, тьма на аллеях Аземара, под гигантскими каштанами и вязами. Налетит, зашелестит ветер, звезда выглянет из-за листьев. Летучие мыши ныряют, да поплескивает фонтан в цветнике. Сыч аукает.

Вот этот сыч Драгиньяна ночью охранял наш сон, вернее, мое бессонье. Дверь на балкон отворена. Свет фонаря течет по кисее гардины, по всем ее складкам плавным, и затем мягко, золотыми нитями волнистыми по потолку. Лежа на спине, смотрю. Неплохо на сердце, уединенно, тихо во всем мире. Только драгиньянский сыч аукает — таинственно и мелодично в наших платанах. О, Мудрость с лицом Совы, ночной печально-звонкий голос, говорящий о седых веках.

На башне бьют часы: полночь, половина и без четверти. Выхожу на балкон. Ручей журчит у тротуара... Одинокие шаги. Это драсенуа некий, «ужасно запоздал», спешит домой. Трактирщик закрывает кафе. Выносит ведра, льет из них в кадки с растениями. А потом истово, точно он в церкви, оботрет руки о фартук, уберет стулья и столики, задвинет железные ставни. И ляжет с сознанием: все совершил. На этом ведь жизнь стоит — старый, зажиточный Драгиньян под охраной совы своей. Много веков так же истово накопляли, священнодействовали на виноградниках, в лавках, конторах не хуже, чем в монастырях. Жизнь. У меня же... Вот я лягу и тоже закрою железные жалюзи — может, скорее заснешь... И Бог знает, что не пройдет в голове, и будешь смотреть, как теперь золото света через щели лучами разбежалось по потолку: узкие, яркие у окна, тусклые и широкие надо мной. Ну, кому это нужно.

Но мне почему-то так хочется не забыть и изобразить золотые лучи и узоры. Почему я один и не сплю, и один, может быть, лишь и ощущаю глубину, вековечность ночи.

Милый сыч, охранитель и музыкант, охраняй древний и тихий Даргиньян.

❖ ❖ ❖

Утром свеже-радостное, зеленеющее лопотание листьев, на полу золотая нитяная ткань в зыблющихся кружочках. Будто дно неглубокой реки в солнечный день. Все переливает, играет, вдруг заметется и зарябит, точно ветром поверхность задуло: это и есть ветер, пробежал по верхам платанов.

На прощание с Драгиньяном идем за город, в ярком солнце, по белой дороге к знаменитому древнему камню-дольмену.[6] За заборами виноградники, небольшие виллы, направо холмы — как бы Фьезоле над Флоренцией. Вот старушка голубоглазая, подбородок вперед, вся в морщинах — деревенских и солнечных. Ищет свою собаку.

— Где бы нам тут пройти к...

— А налево, вон мне тоже туда... Приезжие часто ходят. Кто не видал, тому интересно. А мы уже знаем, нам что? Камень и камень. Это на земле мадам Пейрарн. Мадам Пейрарн в прошлом году говорит: «что мне этот камень, ходят его все смотреть, я его уберу лучше». А мосье Сиван, адвокат, — старушка строго поглядела выцветшими глазами, погрозила пальцем, — мосье Сиван, ученый человек, и сказал ей: «что вы, что вы, мадам Пейрарн, это исторический монумент. Что вы, мадам Пейрарн».

Повернули в калитку. На пригорке, под двумя гигантскими дубами, на трех столбах-камнях плоская глыба — тоже камень. И так они стоят — плоский покоится лишь на двоих, над третьим, на четверть — тысячелетия. Вот он, друидизм-то Драгиньяна, вот откуда смутное почтение к платанам, дубам, вязам, вот она, сегодняшняя ночь, алтарь сычу. На этой глыбе некогда закалывали жертву — быка или пленника. А теперь рядом косит чернозагорелый и приветливый драсенуа, мадам Пейрарн живо беседует с голубоглазой старушкой, сидя на табуретке среди мальв, гераней. Куры квохчут, да вдали, слегка от нас в долине, в нежном голубом дыму знакомый очерк Драгиньяна: острая колокольня собора, башня часов.

Старушка снова подошла.

— Мадам Пейрарн в прошлом году говорит: «Зачем мне этот камень? Лучше бы его убрать». А мосье Сиван, ученый адвокат, сказал: «Что вы, мадам Пейрарн, это исторический монумент, что вы, мадам Пейрарн?» И она оставила. Конечно, кто никогда не видел, тому интересно. А мы тут постоянно. Мы привыкли. Стоит камень давно, а ничего в нем нет особенного.

Старушкиной собаки не нашлось на друидической земле мадам Пейрарн. Старушка получила от нас франк и, может быть, подумала, что прав был мосье Сиван, ученый человек и адвокат, что отсоветовал убрать загадочный сей камень.

Мы шли назад с ней вместе и еще раз выслушали все, уже знакомое. Но с ней нельзя быть непочтительным. Ведь в ее выцветших глазах, светлых морщинах, подбородке, скромном платьице и незаметной, трудовой, наверное, честной жизни — та же древность, что и в друидическом дольмене. Сама она — такой же монумент истории, такая же жалкая, но святая капля жизни, что таинственными силами своими создала весь этот Драгиньян — драконий город — и шумит его платанами, звонит колоколами, снует людьми, в ночной час сладостно-меланхолически аукает сычом.

Аббатство Тороне

Если я выйду из под чудесных каштанов Пюжета, спущусь аллеей тутовых деревьев, и, слегка поднявшись из долины, пересекши пыльную дорогу, вступлю тропинкою в глухой, пустынный лес, — сосны да кустарники, под рукой голубоватая лаванда, тмин, дикий укроп, — то, пожалуй, это и дантовский selva selvaggia, ed aspra e forte.[1]

Тропинка огибает овраг полукругом, на ней серые камни, сумрачные и важные. Через овраг не продерешься. Может быть, тут недалеко и вход с надписью. Встречу ли волчицу или барса? До сих пор не приходилось. Но, сойдя к иссохшему ручью, ложу его каменистому, известковому, рвущему обувь, встречу сороку, — недобрую птицу, пустынную. Говорят, здесь видели и кабана. Я не видал. Но, проходя тут, ощущаешь тихий гул в вершинах сосен, их благоухание и особенное чувство одиночества и первобытности,

Тропинка вновь выводит на дорогу. Она вьется мимо выгоревших гор — нередкое в Провансе зрелище. Леса горят здесь каждый август. Пожар был года два назад и в этой местности. Торчат пни, обгорелые деревья, но и молодая зелень — больше мелколиственный дубок, — ползучие растения и колючие — все затопляет и старается исправить. Все-таки пожарища и горы с уцелевшими наверху лесами, полуразрушенная ферма с задичавшим виноградником, — все сгущает ощущение пустынности. Есть ли тут человек? Не ушел ли, не забыл ли края своего, где лишь сороки с длинными хвостами перелетывают да стрекочут? На забытой ферме провалилась крыша. Виноград с выродившимся листом ползет по земле Никто не обрезает древние оливки.

В этой странно-очаровательной стране, любимо-нелюбимой человеком, вдруг появляется над купой мелколиственных дубов узкая колокольня. Удивляет это или нет? Она внезапна, как внезапно приоткрылась дальняя голубоватая гора за нею — новая пустыня. Но если где стоять монастырю, то уж, конечно, здесь.

Перед нами знаменитое аббатство Тороне,[2] одно из трех, основанных в этом краю св. Бернардом Клервосским.[3] Подходя ближе, видишь

суховатую громаду церкви, прямолинейную и мощную, серо-коричневого камня, грубого, простого, точно власяница. Дорога упирается чуть не в колокольню с зеленью в расщелинах. Налево стена под вековым плющом. Направо, перед алтарем полукруг кладбища — ни одной-то могилки на нем... Камни, деревья, ручей размыл его наискось. Унес, быть может, кости. Или якобинцы постарались.

Входишь прямо — во двор аббатства, оттененный старыми каштанами. В глубине его, у дальней стены — фонтан XVIII века, с двумя бассейнами, увитыми ползучей травой, влажной, со струящейся водой. Вот обитель, куда завела нас, прямо в сердце, дикая тропинка из Пюжета и дорога на Кабасс. Вот каменный смысл, высокое лицо эпохи — не ад, а Божий дом.

Св. Бернард не лично строил этот монастырь. Но в этих местах был — проповедывал против еретиков. Он обладал великим даром речи (хотя и был родоначальником молчальников). Под его влиянием графы и владетельные люди отдавали земли, и желающие там основывали, с благословенья церкви, новые обители. Св. Бернард — облик огромный, боевой и наступательный. Недаром настоятель Сито, праобители цистерцианцев, назначил его, юного и неизвестного монаха, — сразу аббатом нового монастыря (Клерво). Значит, в нем было нечто. Пламень, сила, громоносность сопутствовали ему на всем аскетическом и бурно-пламенном его пути. Кто повернул по новому целый монашеский орден, кто всю жизнь громил еретиков, сражался с Абеляром, проповедывал крестовые походы, царственно входил в политику — мирил, наказывал, — оставил по себе след резкий, очертания огромные и строгие?! Не зря аббатство Тороне сложено из дикого камня, но прилежно вытесанного, нагого и сурового. Никаких украшений. Коричневая власяница цистерцианца — вот лучшее, для святого, украшение и человека, и обители. Дух древнего аббатства, дух Бернарда твердо выдержан в постройке. Время налагало свои краски, ослабления и смягчения, но сейчас, когда все это убрано или погибло, аббатство выглядит действительно бернардианским.

Огромная, трехнефная, романского стиля церковь. Переход к готическому чуть намечен. Пусто, голо. Пол в пыли. Свет узеньким столбом падает из розетки. Пусты алтари, только в двух маленьких абсидах сохранились следы живописи. Ее освещают узкие бойницы-окна: церковь ведь в те времена была и крепость.

Из левого нефа дверь и ступени в монастырь, вернее, в монастырский дворик, окруженный галереей. Сколько таких двориков видали мы в Италии! Таких, но не совсем. Здесь все грузнее, строже и мрачнее. Аркады галереи полукруглы, подпираются тяжелой, низенькой колон-

ков, разделяющей главную арку на две меньшие попарные. Как тяжко держать средней массу камня над собой. Как лишено это изящества и тонкости возрожденских «киостро».[4] Но где же Возрожденье во времена Бернарда (XII в.)? Он проклял бы его всей силой дантовского проклятия. Что значили «прелести мира» для человека, который не замечал, сводчатый потолок в его келье или же плоский, три окна над портальцем в церкви, куда ходил ежедневно, или одно. Который «смотрел не видя, слушал не слыша, ел, не ощущая вкуса»? Бог был ревнив и строг к нему, как к избранному. И он безудержно отдался Богу, для него зачеркивая и себя, и мир. Я думаю, что эта жизнь была полна суровой радости, нам, простым людям, недоступной, но гораздо ярче, тверже всяких возрождений и изяществ. (Подвиг!) Нечего и удивляться, что аркады монастырского дворика в Тороне напоминают полукруглые шлемы рыцарей-крестоносцев с крепкою стрелой посередине, защищавшею лицо. Для Бернарда населявшие обитель были рыцарями-крестоносцами, шедшими завоевывать Иерусалим духовный, освободить гроб Господень от нечистых — в ином плане. Для этой борьбы они должны закаляться ежедневно, все вокруг должно иметь вид боевой, подвижнический. Потому и запретил он всякое украшение монастыря.

Однако, жизнь не так сложилась, как он ожидал. Аббатство бледно проводило дело духа. Его история есть более история огромного домена, чем обители. Она полна тяжб с соседями, всяких домогательств и охраны преимуществ и налогов, Тороне выступало на суде в Экс, торговалось, шло на мировые сделки. Проезжая по дороге к Лоргу через древний мост на реке Аржан, среди зелени и луга — редкости для Прованса — вспоминаешь, что вот этот узкий, но могучий каменный мост выстроило аббатство, и за проезд взимало пошлину (droit de peage*) и долго спорило с городком Лоргом из-за грошей сбора.

В пятнадцатом столетии по всем монастырям прошло дыханье «ослабленья». Мир расправлялся после напряжения средневековья. Захотелось жить удобней, и вкуснее есть, и лучше строить, лучшие писать картины — это донеслось в монастыри. Пришлось смягчать строгости прежней жизни. Вместо общежития явились келийки. Вместо строгой скудости еды — разрешение трижды в неделю мяса. Вместо прежней бурой власяницы или рясы — десять ливров в месяц на одежду. Тороне не возвышалось над другими. Наоборот, шло в течении. Все его историки приводят «регистр эконома» из архивов Драгиньяна: «К столу подавали фаянсовые тарелки, графины белого стекла, такие

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Дорожная пошлина (*фр.*).

же бокалы; мясо, птицу всех сортов, дичь, рыбу морскую и речную, сыр, яблоки и груши с гор, апельсины, дыни, фиги из Салерн, каштаны, сливы из Диня, изюм, овощи, репу, лук из Гард Френе, горох, называвшийся "любительским", свёклу». При монастыре кроме пекаря, повара, садовника был ещё охотник. На конюшне седла, тележка, повозка, мулы, лошади. Конечно, не велика роскошь «фиги из Салерн», или «лук из Гард Френе» — ведь это всякий провансалец ест, и сейчас любой фермер стреляет в августе куропаток. Но — стены св. Бернарда. Это обязывает. А затем, и слишком человеческое это чувство: «Вот в святые лезете, а сами рыбу едите, любительские горохи выдумали, приор табак нюхает, трапезную новую пристроили, винный погреб завели». Как радовались малые и великие мещане революции, нажившиеся на чужой крови, что не все монахи на высоте! Сколько издевательств и поклепов, глупостей и пошлостей распространялось и распространяется от Возрождения и поныне! Слабости всем видны. Их преувеличивать приятно. Но и нам приятно сознавать, что начинал цепь клевет великий мерзавец Аретино (почитайте его «Ragionamenti»[5]), а заканчивают ее безграмотные ничтожества «Безбожников».

Когда стоишь на внутреннем дворике монастыря, кругом аркады галерей, перед глазами, прислоненный к галерее северной — шестиугольный как бы баптистерий каменный — знаменитый умывальник на пятнадцать человек. Крыша его пирамидальная, тесаного камня. В середине находилось два бассейна: верхний, нижний. Вода приведена была с гор в верхний и оттуда веерообразно, струйками стекала в нижний. Под струйками монахи умывались.

Далее за умывальником слабо-покатая кровля галереи и стена монастыря, По трем кровлям галерей (восточной, северной и западной) можно гулять. Отсюда видишь ветхие черепицы крыш с кустами зелени, гирлянды плюща, корпус церкви, колокольню, небо, а на север, за стеной, внизу — остатки новой трапезной, библиотеки и гостиницы — в диком теперь овраге, сплошь заросшем вязами и фигами, кустарниками, мрачной глушью. Фиги кладут лапчатые листья на выступ стены, и стволы вязов обвиты ползучими растениями. Меж деревьев виден лес по холмам, и в голубой дали одинокая ферма провансальская с четырьмя кипарисами. А под рукой, на краю вековой стены — плющ, плющ, забвение, забвение...

Великое в монастыре, что заключало дух Бернарда — сохранилось. Келийки же с «гардеробами», трапезная с «морской и речной рыбой», барочные украшения в церкви, гостиница для приезжающих — погибли. С важностью говорит католический писатель: «В Тороне Бернард может показать нам свое творение 1146 года; что могли бы показать

аббаты-управители, занимавшиеся в аббатстве только доходами? Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificanteum *».

Суждение довольно строгое, верующего и церковного человека. Но если просто стоять на кровле галереи, смотреть на этот запустелый монумент — нельзя не признать его великого благообразия, сурового величия. Пусть он не дал святых! Пусть человеческая слабость уклонялась с пути подвига Бернарда! И все же ясно чувствуешь: столетиями здесь молились, каждый день, и все-таки помногу, и служили в этой церкви, ныне голой и печальной. Степенно двигались, степенно умывались из-под струек. Кто-то собирал библиотеку, кто-то занимался в ней. Трудились в винограднике. Ведь если сравнить эту жизнь с грубостью и жестокостью, развратом жизни обыденной, — разница разительная — явственная с первого же взгляда. Ведь всякий скажет здесь: дом Божий, а не лупанар.

(А сохранились ведь от древности и лупанары. Я видел один близ Неаполя, в Помпеи. И *выражение лица* его через две тысячи лет все то же. Нет, то, как жили и что делали, остается в камне. Оно живет и в Тороне и дает имя ему: монастырь и ничто иное.)

В 1793 г. «государство» продало частным лицам чуть что не за даром «монастырь, его двор, лавабо (упомянутый умывальник), залу капитула и древнюю часовню его».

«Некоторые помещения были приспособлены для жилья купивших и для скота, необходимого при обработке их земель». Вот это так. Скот вошел в Божий дом. Мирный четвероногий бессловесно-скромный труженик не обиден Ему, обиден тот двуногий, что привел его. Двуногому наплевать на святыню. Он торгаш и мещанин, дед тех, кто по Европе создал величайший орден лавочников. В Грассе в кафедральном соборе он устроит в 1794 году склад фуража, древнейшее аббатство Сильвакан[6] обращает в ферму (монастырский двор — птичник, трапезная — сеновал, зала капитула — конюшня — *и так до наших дней,* г. Андре Алле видел Сильвакан в 1911 г.!).

Я не знаю, ставили ли ослов в залу капитула в Тороне. Но в 1854 г. при Наполеоне III безобразие, наконец, прекратили, монастырь выкупили, и когда сейчас заглянешь из тяжело-гулкой галереи в полуподземную залу капитула, где две коренастые колонны поддерживают своды, арками и дугами в виде пальм — средневековье вновь встает свободно. Свет чуть пробивается сквозь узкие щели-бойницы. Каменные скамьи по стенам — в полутьме. На капителях колонн высечены листья, сосновые шишки и рука, сжимающая посох, — вот он где, свя-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строители (*лат.*).

той Бернард! Аббатом Тороне он не был никогда, но не его ль это рука, как легендарная рука Шарлеманя с мечом из озера — грозит мечом духовным с каменного барельефа?

Мимо могильной залы, нескольких упокоений у стены, через голую громаду церкви пройдем вновь на ту площадку, что обсажена каштанами, полюбуемся фонтаном века восемнадцатого — тень, ниша, водяные травы, плеск струи — и выйдем из монастыря в другую сторону. Подымемся немного вправо и тропинкой выйдем в лес. Тропинка быстро переходит в высохшее дно потока, приноровленное для ходьбы. Вот древняя дорога в монастырь — и вновь средневековье. Здесь не поедешь рысью, в экипаже. Здесь ведут мула в поводу, и хорошо, если есть седло Бернарду или тому кардиналу, с кем он приезжал в Прованс громить генрисиан. Поток размыл известняки. Они то гладки, то покаты, иногда уступчаты, порогами, будто нарочно так устроены, чтобы мешать езде. Опять сороки. В чаще сосен зайчик промелькнет, бескрайно гудит ветер. Мул здесь должен был так осторожно нести всадника.

Когда я шел однажды этою дорогой в монастырь, мне захотелось пройти ближе, целиком. Свернул, пошел по направлению, где считал аббатство. Раздвигал кусты, проходил полянками, наконец, от одинокого кипариса увидал знакомую площадку, колокольни. Ну, вот, совсем уж близко — пошел на нее. Начались уступы, стены с некогда подсыпанной землей, заглохшие оливки, спуск в овраг. Как дико разрослись здесь непролазные колючки! Пришлось бы прыгать со стены в объятия каких-то искривленных, всецарапающих, путаных, сухих и крепких... Вот лес душ самоубийц у Данте. Отломи ветку, потечет кровь, и печальный дух расскажет тебе свою жизнь. А за оврагом близкий, неподвижный и безмолвный, монастырь — сухая колоколенка, тяжкая громада церкви, стен... Над ним лесистая гора с плешинами — оттуда и проведена вода. И — ничего. Молчание, непроходимость, зачарованность!

Приближался вечер. Солнце скрылось. Чтобы не заблудиться окончательно, надо было возвращаться — тоже на глухую, каменистую, дантовскую — все же тропу.

1 сент. 1925. Пюжет

Тулон

Деревенское путешествие

Утренняя заря, благословенный час. В лиловом небе бледным хрусталем луна. Юпитер едва брежжит, полусумрак, тихо и прохладно. Белая дорога. Идешь, кажешься себе скромным Ивиком, из детства,

другом журавлей.[1] С обеих сторон лес сосновый, а потом отходит. Заросшая травой поляна с кустиками можжевельника, разрушенная ферма, виноградник, вдалеке лысые горы с красными пятнами копей. Попадаются охотники. Толстый идет по шоссе, двое с собакою целиком, по лаванде, сухому тмину— что Бог пошлет. Хоть бы овсянку. А если уж куропатку... Но кто же из здешних собак сумеет сделать стойку? Они все на голос подымают птицу.

Каменное Тороне только проснулось. Посреди улицы старенький автобус, под ним ползает сам курье[2] — человек крепкий, молчаливый, огромные усы с подусниками. Долго будет возиться. Ждать можно на лавочке, и смотреть — вечно новое зрелище, вечно древнее. Скрипнула дверь, вышла старушка в белой наколочке. Окно хлопнуло — голова девушки. Пробуждение! Матери, деды и прадеды так же вот подымались с зарей, в этом же Тороне, такие же заспанные, выходя на пороги серых домов дикого камня. Такие ж были толстяки в синих штанах, рыжих ботинках на огромных гвоздях. Жирный лавочник катил бочку, гремя. И собаки не иначе бежали, косо, на легких ножках. Кофейная, с острою мордочкой, подбежала ко мне, поскулила, поглядела круглыми и прозрачно-рыжими глазками, вздернула хвостиком — нет, дальше, некогда.

Перед отъездом трубим. Никого, кроме меня. Дребезжат стекла, едем тихо, молчим. За дальними Альпами встает солнце, золотой его привет неизъяснимо-нежен. Горы и туманы вдалеке — мягко дымится все и золотеет, давняя, детская радость, волнение неизвестно пред чем... Бог знает куда уедешь в мире так сияюще-прекрасном.

Первая остановка Пон-д'Аржан, деревушка, древний мост через серебряную реку, хладно-прозрачную и шумливую, чистоводную, будто бы ключевую. Мост узенький, очень высокий, на могучем быке: в него упираются две правильных арки. Шестнадцатый век, и постройка монастыря Тороне. Как спокойно, и прочно, и вечно! Напомнило мост Амманати на Арно — Флоренцию.

Курье вынимает письма из ящика. Под виноградным трельяжем стоит тонкая девушка, узенькая, изящная, с глазами огромными, выпукло-карими. Вся в солнце, еще не умыта, но молодость в ней — вот где свежесть. Гладит собаку. Куры квохчут, пылят. В железной клетке возятся кролики, ярко горят герани над ними, в горшках. — Вновь курье за рулем, и снова безмолвный Прованс — сосновый лес по утесам, оливки да виноградники. То подымаемся, то опускаемся, огибаем глухие лощинки. Кусты мелкого дубняка по бокам так густо запудрены. Так вьется и золотеет за нами пыль.

В старом городке Лорге под столетними платанами главной улицы пересаживаюсь. Новый автобус полон. Приходится с итальянскими

рабочими лезть на крышу и сидеть на чемоданчике. Руками держусь за перила. Неудобно, все же весело, навстречу летит новый край, вдали нежно-лиловые горы Мор, и пейзаж весь развернулся, как-то озарился ими, стал величавее. Полусидя, полустоя проношусь на высоте, спускаясь над крутыми и глубокими лесистыми долинами. Мелькнула башня на скале, внизу открылась низменность — тот древний путь через Лезарк, которым Рим шел в Галлию.

На остановке в Тарадо нашлись места внизу. Сижу рядом с худым и горбоносым, в черной бороде аббатом. Большие серые глаза под очками очень усталы, тонки, аристократичны. Через плечо коробка, будто для гербария. Кроме него: черносливная дама с черным пухом на подбородке, при ней девушка, охотник с собакой и несколько торговцев. Все повседневное, что видишь постоянно. Автобус потряхивает. Сосед приоткрыл усталые веки. Глаза смотрят серьезно и покойно. Привычной рукой достал маленькое Евангелие, читает прилежно, строку за строкой, сквозь очки, и не видит гор Мор, плодородной долины, голубого света и воздуха.

На станции неторопливой рукой прячет книжку. Значит, опять выплыл наружу.

Прибрежье

День — в Сент-Максиме, на белом пляже, в синих волнах, в ресторане под пальмами — в раме лазури и дальних, туманно-заголубевших над Сен-Тропезом гор.

А под вечер еду в Тулон прибрежною узкоколейкой, испытательницею терпения. Трудно представить себе, чтобы где-нибудь кроме латинской страны был такой путь. Он все-таки действует. Мой вагончик вовсе открытый, с поперечными лавками, свернутой парусиной у стоек, как дачный балкон.

Под ногами колеса — в жестяных кожухах. Но зато сколько свету и воздуха! Да, солнце и провансальский ветер все пять часов до Тулона ласкали меня. Слева шло море — сначала совсем близко, потом пересекли мы низменностью полуостров Сен-Тропеза, пошли дикие и чудесные леса: пробковый дуб. Изредка станции. Долго стоим, море — то рядом, то мы подымаемся, а оно внизу, мы же выделываем петли, в туннели, под гору, на гору... Леса, горы, пустыня. А слева все море, какие-то острова в нем туманные.

Впереди на скамеечке два красавца-матроса. Здоровые, сильные, молодые и черноглазые. Ненавистные. Это Тулон. Это к нам приближается город — посмотрим.

Долго он приближался. На одной «горке» поезд наш вовсе остановился. Паровозишко жалко пыхтел, набирал пару, наконец сдвинулся,

и зато, когда начался уклон, то совсем обо всем позабыл и помчал нас, как бешеный. В сумерках мы вдыхали запах каких-то равнин, вдалеке горы; потом болота и соляные озера Иера, на скале город, на кровавом закате средневековые башни и стены, далее мрак, лиловое небо в звездах, грохот, дым, отчаянные свистки (мы пугаем встречных: если кто попадется на полотне, то ведь первый слетит под откос наш поезд).

Наконец, в темноте, с огнями предместий, семафорами и пыхтящими паровозами, блеском по рельсам, золотом света — Тулон.

Город

Трамвай идет длинною, узкою улицей, хорошо освещенной. Магазины, на каждом шагу бары. Все как один. Маленькие, облицованные внутри кафелем, со стойкой — за нею хозяин. Два матроса в белом, с синими воротниками, девица, которую хлопают по плечу, спине. Так с правой стороны, так же и с левой. Пересекаем площадь всю в платанах, полную гуляющих. Новыми, более тихими улицами доезжаем к отелю.

Вот еще город, куда занес случай и дух странничества. Никого в нем не знаешь, никто и тебя не окликнет. Сегодня приехал, завтра уедешь, и никогда, вероятно, не будешь здесь больше, и это волнует. Пестра жизнь! Сколько мелькнуло в ней улиц, соборов, людей, запахов — и сокрылось. Сколько еще неизвестных. Сколько — никогда не увидишь!

После ужина выхожу на прогулку. Южная ночь все синей. Тепло, звезды в платанах, знакомая тьма, шорох листьев. На большой улице светят кафе. Толпа и за столиками, и на мостовой. Яркий зал дансинга — движутся пары. На небе бархат, налево гора, с редкими огоньками — слава Наполеона.[3]

Но сейчас слава Тулона — матросы. Город белых штанов с раструбами, белых блуз, бескозырок и ленточек. В одиночку и парами, трезвые, пьяные, скучные — но матросы. Здесь стоянка военного флота. Тою же площадью, под платанами, вновь спускаюсь к порту и старому городу, все смотрю. Захожу в кафе, бары, присматриваюсь к морякам. И опять — просто слоняюсь.

Вот огромный дом с надписью «Abri des marins»*. Верхние окна с решетками. Матросы толпятся у входа, видимо, это приют для загулявших, место и протрезвления, может быть, и тюрьмы. Через улицу бар, рядом вывеска: «Chambres pour la nuit»**, опять бар, снова притон. Чем дальше идет время, тем пустей становится: только матросы

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «Приют моряков» (*фр.*).

** «Номера на ночь» (*фр.*).

бродят. Жители сухопутные разошлись по домам и ложатся спать, а морские, со всех крейсеров и броненосцев, бродят, стараются нализаться где только возможно. Веселятся ли они? Не чувствую. Тепло, звездно, чудесно. Много здоровых, красивых, у всех деньги, все здесь «развлекаются» и «наслаждаются», но... какой мрак от них, какой тяжкий дух!

Темным проулком с яркими вывесками притонов выхожу к набережной. Резко-грустное воспоминанье — в низменной карикатуре Riva Schiavoni[4] и венецианский вечер. Камень плит, и воды, тьма каких-то зданий, красные, зеленые огни, двоящееся змеями в воде, пустынность, гулкие шаги, да звезды... Венеция — в руках «сознательных товарищей-матросов». Вместо гондол — шлюпки с возвращающимися на корабль. Вместо палаццо Дожей — грубые кафе, за водами не S. Maria della Salute — а какие-то казармы или склады. Даже памятник на набережной. Конечно, не объединению Италии. Стоит моряк, а у подножья его спят, зевают, курят и икают разные Дыбенки, Баткины.[5] Вдали светят огнями их уродливые корабли. Глядя на скучающая лица, где ни скромности не прочтешь, ни чистоты, подумаешь, что с них-то, в сущности, и тоже спросить нечего. Какая жизнь их? Что видали, и чему их учат? Служба, пьянство, и бессмысленные плавания, и снова пьянство, кабаки, притоны Азии, Европы, Африки... Где их религия, семья, нежность к ребенку? Где вообще любовь?

И в такой вечер, сидя под звездами в кафе набережной Тулона, с остротой почувствуешь, как гибнет любовь в этом городе. А ведь Прованс, светлая и веселая страна... Где тут Петрарка, где Мистраль,[6] чем им дышать? Лаура продается, Мирей не собирает коконов на ферме. Но ведь Петрарка был в аббатстве Монтрьё, в горах вблизи Тулона. Мистраль не так далеко жил на север, к Авиньону. Жили вольно, на природе, в мире-храме... А вот если бы святой прошел через этот город?..

В переулке в баре женщина, одетая в мужское платье, зазывает проходящих. Но их мало. Близко полночь. На длинной улице, где ехал нынче, — никого. Ее пересекают переулки и совсем глухие, темные, лишь фонари у входов в глубине, — надпись: Rue de la République*. Куда-то она приведет меня? Иду все прямо, а трамвай свернул направо. Да, одни притоны! Чуть не в каждом доме. Так и дойдешь до конца улицы Республики, одной из главных в городе, ничего больше не увидишь... А вот надпись: Bar Toussaint et chambres pour la nuit**. Ах, мой аббат-Дон-Кихот, за чтением Евангелия в мирной долине, поглядели бы сюда!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Республиканская улица (*фр.*).

** Бар «Праздник Всех святых» и номера на ночь (*фр.*).

И может быть надо смахнуть и вовсе отменить весь этот город? Лучше б не стоял здесь флот французский, не было б домов, купцов, военных, просто в бухте провансальской рыбаки ловили б рыбу, разводили виноградники, в ноябре собирали оливки? Да, но тогда за что один Тулон? Может быть, и Марсель, Париж, Лондон, Берлин?

Где же, однако, крест над этим городом? Разыскать не так легко. На небольшой площади против какой-то «Музыкальной Академии» между домами сжата, загнана небольшая церковь. На углу надпись: «Улица Луи Блана».

Без нескольких минут двенадцать, некоторое оживленье: матросы вдруг заторопились, наскоро швыряют мелочь в барах и почти бегут по тротуарам. У входа «Abri des marins» целая толпа: видно, в полночь запирают! Да, пора, после такого трудового, освежительно-возвышенного дня. Кое-где пьяные еще орали. Но город угасал. Печальный, сумрачный вечер под чудесными звездами.

Я проходил еще по улице с надписью: «Жану Жоресу, борцу за всеобщий мир»[7] — два пьяных матроса шли в обнимку, кино чередовались как всегда с притонами, девицы хохотали. Эта улица вывела на небольшую площадь. В кафе два посетителя, и к удивленью моему — не в форме. Посреди площади водоем. Ползучие травы, скользкая, милая зелень, фонтан журчит. Над ним могучий и спокойно-величавый вяз. Какая свежесть, тишина! Какой безбрежный, благородный голос у воды! Кто это сделал? Вероятно, тот Жорес, который именем своим освятил улицу? Подхожу, читаю на старинном камне. Нет, не то. Скульптор Пюже, наш, старый провансалец, жил двести лет назад.

И так приятно, освежительно вдруг вспомнились все бесчисленные фонтаны, платаны и вязы множества провансальских городков, где у живых струй женщины на стульях вяжут, чинно разговаривают, а столетние деревья, дедами посаженные, чинно дают тень, священно охраняют маленькую жизнь простых сердец. Да, наконец, Прованс, угол Прованса!



На другое утро солнце, синий воздух и зеленый лепет листьев на платанах. В глубине улицы гора, с плешинами, в голубом воздухе прелестная — слава Наполеона. Прозрачно, и слегка прохладно, влажны даже тротуары под платанами. Матросов не видать. Открылись лавки, пахнет кое-где овощами, девичьи лица черноглазые за прилавками. Все-таки юг, Франция! Не все презренно в этом городе. Нынче другим он дышит — той же обыденной и житейской сутолокой, что и везде, трудом, спокойствием, приветливостию Прованса... В огромном книжном магазине все же книги, и хорошие; по улице идет священник; око-

ло собора продают цветы, на рынке зелень, рыба, южное оживленье, солнце. Нынче море блещет такой синью, и так сверкает золото в ряби, так легки, колеблемы лодки на его стекле, так горит свет на плитах набережной за тентом ресторана — так полно все света и солнца. Это же дар, как вино Прованса, как морские рыбы в южном кушанье «буйабес»,[8] как оливки, масло, виноград, как блеск черных глаз и звук непонятно-мягкой речи.

Вопреки многим городам днем Тулон проще, милее, чище, солнце выручает его, выручают жители, море и горы, воздух.

Смягчается вечерний гнев. И когда в пять часов вылетишь в пустынную, голубоватую долину, что ведет к Сен-Рафаэлю, с мирной каймой гор направо и утесами, лесистыми и выжженными, слева; проносясь в поезде мимо одиноких ферм, виноградников и посевов, с пролетающим над тобой, на скале, древним гнездом-городком, вновь почувствуешь: ах, благодатный край!

И вновь поймешь идиллию Прованса.

Арль

Первые кипарисы в Виенне,
первые оливки в Валенсии.

Водуайе[1]

Утро

Всю ночь лил дождь. Утро оказалось прохладным, в борьбе солнца с туманами. На дорогах стеклянные лужи. Холмы за Роною то блестят в свете, то погружаются в облако, и сама река хмуро кипит зыбью — мелководная, быстротекучая.

Пролетел знакомый, и как-то уже осененный силуэт Папского дворца в Авиньоне, — глаз острее, жадней всматривается в окружающее. Ведь это «сердце Прованса», страна «доброго короля Рене» и великого Мистраля. Облик земли не сразу ранит, как Тоскана, Лациум. Может быть, надо вжиться в подробности, полюбить каждый желтый дрок на каменистых берегах Роны? Каждый пучок голубой лаванды, мелкой мяты, каждый кустик дикого укропа? Общее же — суховатый и прерывистый пейзаж, перебитый небольшими холмами, каменистыми, довольно голыми, не весьма выразительными. Слева в равнине — фермы, с каемочкой кипарисов — защитою от мистраля. Все хорошо возделано. Много разводят цветов (для семян), овощей; виноградников меньше. И вдруг, из-за поворота — Альпиллы. Это прославленные небольшие горы. Сейчас, в полусолнечном более позднем утре, они выделяются сероголубеющим, тонким рисунком на облачном небе. Не Аппенины, не Альпы — нежная и прихотливая работа чьего-то резца,

они высятся над полями замкнутою и одинокой группой, космическою игрушкой некоего Бенвенуто Челлини. Легкая игра, очаровательный убор страны арлийской...

Все больше ощущаешь в окружающем строгой и тонкой выделанности, суховатой геометрии возделанной земли — образ античности. Да и сами Альпиллы сравнивают с горами Аттики. Здесь, в Майане, на предгориях, жил деревенскою жизнью Мистраль. Недалеко Сен-Реми, со знаменитыми древностями времен Рима.

Делаем полукруг, Альпиллы видны теперь с новой стороны. Новые дали открылись на юг, к Камаргу, где пустыни, болота да табуны... Мимо мелких зарослей, при переменном блеске солнца, пестрых тенях по равнине въезжаем в Арль столь же незаметно, бесславно, как в Авиньон, Тараскон: древние города не хотят пышно себя подавать.

Охотник за жизнью

Одна из больших радостей путешествия — ощущение некоего иного, наступившего для тебя бытия. Все новое! Не встретишь знакомого, никто тебе не поклонится, ты не знаешь своего дома, постели, хозяев в гостинице. Пойдешь по тебе не известным улицам, и возбужден неожиданностью: что за храм, за развалины, мосты, реки, люди, краски и запахи... Все лови.

Приезжать надо вечером. Город, особенно древний и благородный, вечером лучше откроется. У мест, простоявших столетия, что-то есть нерассказуемое и ночное. День их слегка упрощает, и без ночи Рим не Рим, не Верона Верона, Авиньон не Авиньон. Так и Арль в этот неопределенный день, полусолнечный, полусерый, предстал бедновато, почти неказисто. Впрочем, прелесть Арля как города вообще не так велика. (Замечателен он памятниками). Стоит на равнине, на берегу Роны и очень уж скромен, сер, очень уж «деревенский». В довольно бесцветных домах живут мелкие лавочники и ремесленники, торговцы, в кафе на площади Форума толпятся крестьяне. Жизнь как в любом провансальском Лорге или Люке. И к удивлению, меньше обычного очарования провансальского города — непробудно-темной тени платанов, каштанов и вязов, и игры вод в фонтанах.

Верный давнему обыкновению, я поселился в «местной» гостинице — каких-нибудь купцов из Бокэра или нотариусов из Салона. Хозяин объяснил, что ранее тут был монастырь. Дух пустынного величия несомненен в этой ветхой громаде, с лапчатой смоковницей во дворе над колодцем, гулкими коридорами, старыми запахами, холодным полом комнат, влажно-ледяной постелью и безмолвием, безмолвием... Лишь остался один в комнате (окно прямо на черепичную крышу, проросшую давней яркой зеленью; кот разгуливает по ней невозбранно,

а со двора слышно, как качают воду из колодца) — сразу ощущение немого царства. Нет, уж ни дозвониться, ни дозваться никого нельзя.

Вечером, в постели — беспредельное молчание ночи Арля. Тишина и темнота комнаты, двора, города и мира столь непобедимы, что спина холодеет: в огромнейшей постели, под сырыми простынями — точно в саркофаге. Ужаснулся бы, закричал, захохотал — никто в слепо-могильном мире не откликнулся бы. Но и это жизнь, особенная, тьма, отдых, выпрямление — и это благо.

Древность

Совсем недалеко от моей гостиницы Арена Арля. Еще далее, тоже безлюдными улочками — древний театр. Арена грандиозна и груба. Суровые и мрачные аркады, темный камень, коридоры, все вызывает в памяти Колизей, Веронскую арену — то тяжеловесно-римское, в чем меньше дышит Аполлон. В шесть часов вечера на этой Арене я слушал оперу «Мирейо» (на сюжет мистралевой поэмы)[2] — зрелище глубоко провинциальное. Было воскресенье. Весь свободный люд Арля и окрестностей сошелся сюда, в пиджаках и шляпках и в старинных арлезианских наколках-чепчиках. На украшенной зеленью сцене скромные певцы скромно пели. Не хватало только, чтобы публика лущила семечки. А вверху по стене разгуливало несколько котов — вот, вместе с совами, символ древности! Оранжево-зеленоватые размывы неба стали нежно-розовыми, мы, слушающие, в сумерках и разошлись, а коты старого амфитеатра при луне выйдут на охоту, будут видеть смутный лет летучей мыши да меланхоличное, глубоко-провансальскоеауканье сов.

Театр (т. е. его развалины) мне показался более человечным и греческим, он как-то легче и изящнее, и как всегда уязвляют сердце две оторванные уцелевшие колонны, одиноко вздымающиеся над печалью рухнувшего. Удивительной красоты немолодая женщина показывала мне его. Ее благородная голова, хорошо высеченная из мрамора, отлично бы украсила самый театр.

Арлезианки

Вечером на больших новых аллеях Лис было гулянье и как бы народный праздник. Под черным провансальским небом танцевали. Из кафе вынесли на воздух не только стулья, но откуда-то целые скамейки — вокруг скромных деревянных столов за ними заседали добрые граждане. Фейерверки взлетали зеленым золотом, красными, тающими в высоте звездами, трескучими шумихами, похожими на кометы с золотою пылью в темном небе. Стреляли в тирах, вертелись карусели — все столь знакомое, как и везде. Но под вековыми платанами,

освещенными снизу, под яркою их, в электричестве, зеленью чинно ходили с мамашами, тетушками или же группами, под руку, как у нас в Туле, Кашире, девицы Арля.

Красоту человеческого лица не опишешь. Что можно уловить в этом древнем арлезианском типе? Тоненькие и изящные фигурки совсем простых девушек, вероятно, даже крестьянок (одна из деревень под Арлем считается питомником мировой красоты женщин), фигурки, похожие на танагрские статуэтки.[3] Нежные, легкие профили, очень правильные, античные, того же типа, что у гоголевской альбанки Аннунциаты.[4] Газельи глаза, всегда тёмные, влажные, в большинстве с очень милым выражением. Ничего замысловатого. Это внучки героини Мистраля «Мирейо», краса деревенской и благословенной страны. Просто они рождены этой землей, полусознательны, очаровательны в самой своей провинциальности, имеющей, однако, герб всемирности: ведь в этих девушках смесь кровей Греции и Рима, кельтов, галлов, финикиян и лигуров.

Они одеты по-современному, но не знают дансингов Парижа и на них нет пыли столицы. В черных глазах отражаются еще звезды Прованса. Они чинно ходят под крылом наседок, из которых некоторые украшены знаменитыми, историческими наколками Арля... и, чувствуя себя в безопасности, иногда постреливают глазами, из-под шляпки, пока мамаша разводит канитель с какой-нибудь другой старушкой.

Солнце

Следующий день был для меня особенно счастлив. Солнце залило Арль. Свежий, трепетный ветер, небо вошло синевой прямо в город, на улицы, и листья платанов на площади Форума, веселая болтовня тени и солнечных кружков по земле — все так полно и густо, так насквозь прохвачено ароматом, влагою, что сладостно задохнешься. И это — утро чудесных встреч.

На площади Городской Думы сижу в тени фонтана против портала св. Трофимия — храма романского, лучшего, что я видал в этом роде. Синие тени, пыль налетает, солнце печет, все так глубоко и остро. Как чудно лепятся скульптуры портала! И когда войдешь в монастырь св. Трофимия, до чего богато и разнообразно кажутся изукрашенными все колонки и капители их на монастырском дворике. Я видал много монастырей Италии. Видал древнее Тороне в суровых, голых аркадах. Монастырь Арля соединяет величие романского со сложностью и изощренностью скульптур позднейших времен. Дворик св. Трофимия есть просто то, что называют «украшением короны», каким-нибудь «голубым бриллиантом» Средневековья.

Мистраль

Когда везет, то уж везет. В то же пахучее утро (действительно, «солнцем пахло»), я попал в Музеон Арлатен,[5] музей любви к Провансу, дело рук Мистраля.

Всякого, у кого есть чувство земли, родины и кровной связи с нею, этот музей пронзает. Он особенно трогает русского на чужбине. Вот жил Мистраль, в нескольких километрах от Арля, и всю жизнь отдал родной земле. Создал новый язык и поэзию, и написал эпопею Прованса. Собою выразил всех. Как и Данте, Мистраль — энциклопедия своей страны: люди, пейзажи, обычаи, воздух, солнце Прованса... — все у него. Получив Нобелевскую премию, он и ее отдал — на устройство музея, — на прославление родины.

Музей Арля подобран теми, для кого все любимо и все священно в Провансе: и скромная мята, и древняя прялка, и сбруя камаргской лошади, и посуда с фермы, и чучело смешного Тараска, и крестьянский наряд, и модель древней арки из Сен-Реми. Сколько музеев я видел! Но этот, небольшой, скромный, где кроме меня бродило еще два-три человека, вызвал чувство почти религиозное: вот она, связь с землей, с родными богами, таинственная пряжа, называемая нами культурой, *уважением* (новое определение культуры: культура есть уважение).

В полной тишине весеннего полудня, свернув в коридор, я попал в комнату с цветными стеклами, где изображалась (в манекенах) целая семья на ферме в день сочельника. Тот же очаг, что я видал не раз у крестьян Вара, вертел, стол, с блюдами этой земли — бараниной, оливками, сельдереем, козьим сыром, кувшином вина. Хозяйка у прялки, молодежь вокруг, бабушка, вероятно, что-то рассказывающая, отец семейства. Все неподвижное и застывшее, под пестрым светом разноцветных стекол — вроде наваждения.

Но наваждение это светлое. Оно дает образ чистой и благообразной жизни и сыновней любви к ней. Мистраль любил все крепкое, здоровое, веками слаженное. Вот в ком уж не было неврастенизма, жалких трепыханий! Нянька учила его, когда он был ребенком, ходить — у церковного алтаря. «Avvene*, — говорила она, оставляя его на минуту на колеблющихся ножках, подзывая к себе, — avvene!». И Мистраль с детских уроков в церкви выучился прямо и твердо идти в жизни. Все, что он создал (как и музей этот), есть дело спокойных и мужественных рук, полных добра и света.

И когда в заключительной комнате вы видите колыбель самого Мистраля, его бархатную курточку (которую, вероятно, мать надевала

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Иди сюда! (предположительно, диалект окситанского яз.).

ему по воскресеньям в церковь), прядь его волос, рукопись знаменитой «Мирейо» — то действительное волнение охватывает: да, достоин, так и надо, и его портреты, бюсты кругом — тоже надо, и конечно, как прекрасно жить на *своей* земле, ее любить и для нее трудиться — так много сделать!

Меланхолии

Я уже говорил о ночи Арля. У него есть и вечер. К вечеру идут Елисейские поля этого города — Алискан, путь гробниц.

Некогда это кладбище было так знаменито, что по Роне издалека привозили на особых траурных барках тела усопших. Как и многое тут, Алискан — римских времен. Но и в христианскую эпоху могилы окаймляли дорогу вблизи Роны, вероятно, так же осененную платанами и кипарисами, как и сейчас. Теперь от некогда роскошной усыпальницы осталось несколько пустых саркофагов да две-три часовенки. Но в предвечерний час, когда солнце золотом еще бьет из-за тихой тучки, когда столбом вьются над соседним каналом мушки, когда скромная двуколка проезжает мимо саркофагов из тени запыленных, густолиственных деревьев, — ощущение «Елисейских Полей», страны забвения и вздоха, очень сильно. Как будто чтобы показать, как все печально, бренно, самая аллея Алискана упирается в развалины церкви св. Гонория. На лужку пасется коза. Дети лазают через забор, и, растянувшись, отдыхает женщина — все это в позе безразличия, неуважения к руинам беззащитным некогда «преславного» храма, от которого торчат стены и абсида, да полуразрушенные окна и решетки увиты ползучими растениями.

Отсюда недалеко Рона. Если через мост ее перейти на другой берег, то Арль виден неким общим видом, — грудою древних, тяжело-каменных построек, остовами Арены, Театра, острыми колокольнями церквей.

...Набережная этого предместья, Тринкетай, в час после захода солнца. Небо красно горит, розовые струи быстротекучей и здесь полноводной реки невесело отражают его. Арль в фиолетовых сумерках. Под платанами, у реки, где сижу, совсем мрак. Зажигаются огоньки. С севера свежий ветер. И хладно-несущиеся струи, быстро из розовато переходящий в стальное отблеск их, одиночество, тьма дерев и непередаваемое, внятное давление древности, разрушения, ветхих могил — все слилось в вечное ощущение странника на чужбине, вечером, при первой звезде — то, о чем Данте еще говорил!

Арль уходит в ночь. На том месте, где стоял он, больше и больше огоньков.

Надо возвращаться. По старому поверью, на мосту, по которому мне идти, 8-го июня, в ночь св. Медара,[6] особые тайные духи, по названию трэвы, ведут загадочные свои хороводы, блистая и сверкая наподобие летающих светляков.

Я трэвов не видел. Но еще раз ночная Рона, старый Арль, проросший малой жизнью на античности, дохнули на меня хаосом.

Авиньон

...Празднества Роны. Со всех концов съехались «представители реки». Днем были банкеты, ходили процессии, девушки бросали с моста св. Бенезета[1] венки в воду. Вечером главная улица иллюминирована. Поперек нее висят гирлянды фонариков. Вся в огнях и площадь, замыкающая эту улицу. Нехитрые авиньонцы и авиньонки слушают оркестр под открытым небом — тоже немудрящая музыка. И с башни ратуши древние часы-колокола в хитрой резьбе, тонких и сложных отделках мелодично и немного грустно отзванивают четверти.

Все это отзывает Италией. И небольшая изящная площадь, окаймленная дворцами, вся выложенная светлыми плитами, и веселая толпа, по ней снующая. Огни и столики кафе, черноглазые авиньонки, дух праздника, наконец, прелестные для любящего юг запахи — смесь сигар с овощами, цветами, затхлостью старых домов. Если же пройти дальше, узеньким проулком, сразу попадешь в еще иной мир: темная, слегка подымающаяся немощеная площадь в неровных камушках, на ней памятник, и во тьме вдалеке сливаются здания с купами дерев. Направо же вдруг появились громады башен, стен, контрфорсов, галерей...

Если высоко поднять голову, стоя у башни, то увидишь небо, настоящее, темно-синее в звездах. Башня влезает в него кособоким исполином. Где-то рядом журчит вода, глухая улочка, огибающая Дворец Пап,[2] черна и нема. Великая немота, сумрак и в циклопических этих постройках. Так что когда над углом башни в небе увидишь Вегу с ее светлою Лирой, то даже приятно: что-то знакомое, более привлекательное и человечное, чем эти махины.

Пересекая площадь, сажусь на каменную скамью под деревом. Отсюда виден весь причудливый, многобашенный, сурово-крепостной облик Дворца. Тот Авиньон, с говором толпы, иллюминацией, мирными горожанами, удалился. От его блеска ничего не осталось. Меланхолические четверти на городской башне доносятся сюда особо явственно. А вообще все молчит, вековечным молчанием.

Но как сладостно дышится! Это слабый мистраль несет из-за Роны запах лугов, цветов, меда — всех благоденствий Прованса.

Понемногу глаз привыкает к синему, звездному сумраку. Созвездия нежно мерцают. Левее дворца силуэт Собора, увенчанного статуей Богоматери. Ниже, пред храмом, огромное Распятие, под открытым небом — помню его еще по прежнему посещению Авиньона. И тогда, и теперь так странно, пронзительно-волнующе оно действовало....

На площади появились две-три фигуры. Убогая, бесспорных занятий, женщина, мужчины весьма подозрительные.



В первый раз я был в Авиньоне под Пасху. В темноватом нефе Собора полулежало тоже Распятие. Дети приходили поклоняться Ему. Я хорошо помню детей с цветами — они становились на одно колено, крестились и целовали Распятого. Они ласкали и Его израненные ноги, один простенький, небольшой мальчик даже как-то приник к потемневшему древу, гладил его, разложил по нем свои цветы — часть к голове, часть, к стопам — удивительным показалось мне это отношение детей к Богу. Они Его не боялись, а любили. Почти что играли с Ним, но с лаской, с состраданием... Благоговение, конечно, было, но изумительно просто то обращение: как будто бы хотели доставить Ему удовольствие, сделать приятное. Кто как может: один получше положит цветочек, другой погорячей поцелует. В тот прохладный, ветреный авиньонский день в храме Богоматери Бог как-то был среди детей, и дети воистину были в Боге.

Гигантское же Распятие перед папертью обращено прямо к городу, смотрит на самую жалкую, самую позорную часть его, на ту сеть улочек и переулков под площадью, где почти сплошь притоны, где по вечерам горят красные фонари над дверями и бродят голубые солдаты от одних «нимф» к другим.

Вот потому и запомнилось, и пронзает: Господь устремляющийся, Господь зовущий.... Дети слышат Его. Взрослые...



Очень приятное, чистое утро в садах рядом с Собором, над Роной. Милая голубизна далей, легкий и светлый пейзаж — виноградники, фермы, оливки, луга, извив Роны, остров Бартеласс. Вдали гора Ванту в голубовато-сияющем тумане — на нее еще Петрарка восходил. Благоуханный ветерок, свет, безлюдие... Пахнет соснами и пригретой зеленью. Во времена Мистраля было здесь кладбище, а вот теперь разросся чудный сад. На башне отдаленно, грустно бьют часы.

Так беззаботен, нежен и безгрешен мир отсюда! Не хочется вспоминать об ином. Спускаясь к Собору Богоматери, гляжу на бледнотон-

ную, кроткую фреску Мемми в портале. Сиена! Благородный, столь высокий облик.

Старомодный кучер взвозит на благообразном коне двух старушек к садам Авиньона. В сияющей дали, над коричневатыми крышами — Воклюз, где жил Петрарка.



Внутренность Папского дворца поражает. Как чуждо все это русскому сердцу, православному человеку! Впрочем, может быть, и католику тоже не близко. Ибо вообще далеко от христианства. Гигантская крепость бежавших из Рима владык. Она насквозь проникнута светским духом. Папы жили в Авиньоне еще до настоящего Ренессанса, но в духе слишком ренессансном. Сейчас их фантастические покои стоят ободранные и голые, скорее напоминая огромнейшую тюрьму. Как были отделаны эти парадные лестницы, залы аудиенций, вмещавшие сотни людей, «капеллы», превосходившие хорошие храмы! Что в этом размахе: желание поразить, предстать в блеске и славе, скажем, римских цезарей? Странным образом именно со дворцами цезарей есть у дворцов Авиньона сходство. Здоровое ли воображение создавало их? И что общего в этих пышных громадах с Распятым, с детьми, Ему поклоняющимися?

После гигантских зал, винтообразных подъемов, спусков, переходов попадаем в «рабочую комнату папы Климента». Это одно из немногих мест, где сохранилась стенная живопись. Маттео Джованни да Витербо[3] писал фрески.

Живопись приблизительно того же времени, что и Испанская капелла во Флоренции (XIV век) или пизанские примитивы.[4] Во Флоренции изображены учителя Церкви, блаженство праведных, наказание грешных. В Пизе «Триумф смерти»... В кабинете властителя всего западного христианства — охота на оленей, рыбная ловля, купание женщин. С тою же милою наивностью, очаровательною угловатостью и изяществом, что и флорентийский собрат Маттео Джованни да Витербо пишет охотничьих собак, рыб, людей с сачками на берегу пруда и полногрудых женщин — позже это будут Сусанны со старцами.

Окно комнаты открывает чудесный далекий вид в том же направлении, что из садов Авиньона — к горе Ванту. В той стороне Châteauneuf-du-Pape, летняя папская резиденция, знаменитая виноградниками — вино это славится и поныне.

В том же направлении и Воклюз, где в тридцатых годах жил и писал Петрарка. Этот удивительный человек, родившийся в изгнании, лучшие годы в нем проживший, провел в Авиньоне бурную молодость. И вот, сам полный чувственности, эроса, славолюбия, даже тщесла-

вия — все же из Авиньона бежит. В Воклюзе он живет один, с собакою и фермером. Редко друзья его навещают. Да и не так это нужно. Он целыми днями бродит в горах, лесах с книжкою. Или дома работает. Из всех женщин осталась Лаура — мечтание, «прелесть». По своей двойственности глубоко-религиозный Петрарка и любит ее, и самую-то любовь считает грехом — изменою. В одиночестве он воспитывает себя. томясь, страдая, завоевывая огромную славу и одновременно, ежевечерне ложась в постель, цепенея от страха смерти.

Двойственность Авиньона унес его сын и в уединение, но побежден не был — может быть, именно потому, что в жизни двора, света и знати не погряз.



По случаю праздников на главной улице выставка художников Роны, кое-какие базары, деревенская лавочка «Mas de Misosoulies»[5] (название взято из Мистраля). Отец, мать и дочь в провансальских народных костюмах продают за прилавком пред входом в их «хижину», отделанную тростником, всякие мелочи. Я купил двух провансальских цикад, довольно ловко сделанных. Девушка в бархатном корсаже, в белом платочке, из-под которого скромно и очаровательно глядели бархатные глаза, завернула мне цикад в бумажку. Эти лица и эти милые деревенские глаза видел я и в Арле: плод древней, благородной земли, чистые и покойные, как пейзаж Воклюза с башни Папского дворца.

Поблагодарив девушку, взяв этих цикад, ощутил я острую горечь, почти зависть — к людям, живущим в *своей* стране, любящим ее и возделывающим. К таинственной связи человека с *его* нивою, его селом, его церковью.



Остров Бартеласс образован двумя рукавами реки, весь он в растительности, зеленый и пышный. Есть тут и виноградники, огороды, аллеи тенистых дерев. Кое-где фермы.

Я решил здесь пообедать, в последний вечер поглядеть Авиньон.

Терраса на самом берегу, столики под огромными вязами и платанами. Я был почти один, мало чем нарушалась тишина и уединенность места. Благоуханный ветер, пахнувший медом и покосом, налетал сбоку, шевелил листья, подымал беглую пыль по дорожке, клонил прибрежные травы. Воды Роны бежали быстро. Вообще река в эти дни была многоводна и сейчас имела вид даже мощный. Какие-то струи, передвигающиеся водовороты клубились и неслись в ней. Если свалиться, то вряд ли и выплывешь.

Прямо за рекой, на скалах, укрепленных стенами, воздымаются зеленые купы садов, крест и купол Собора со статуей Богоматери, дворцы. Пятно густой зелени и серо-коричневые громады, лишь слегка отепленные закатом, да мелкая дребедень крыш, черепиц, узеньких труб. Ниже — аркады древнего моста св. Бенезета, знаменитого «авиньонского моста». Будто бы некогда на нем танцевали фарандолу — вечерами. Во всяком случае, строил его святой пастух Бенезет, смиренный и упорный, собственными руками, из любви к Богу и с помощью других таких же чистых сердцем.

За обедом я пил вино «Châteauneuf-du-Pape». Мне казалось, что закат удивительно расцветит Авиньон и дворцы. Но особенно пышным он не оказался. Из кирпичного Авиньон перешел в смутно-карминное, река зато приняла яркий, сине-стальной тон, и когда стали зажигаться огоньки, то вода бурно крутила их отражения, поминутно топя — они вновь выныривали, дробились, мерцали.

Потом наступила синяя ночь, слегка ветреная. От Авиньона осталась одна россыпь огоньков, танцевавших в черных струях. И скорбное Распятие, и веселые фрески Дворца, и Богоматерь, и черные глаза девушки с цикадами, и красные фонари в грязных улочках, и голубые солдаты, и мост святого, и Петрарка, и виноградники Климента... Все это укрылось тьмой.

Письмо об Экс

Милый друг, вот и пишу тебе, как мы условились, уж из других краев, но по свежему воспоминанию.

Я остановился в Экс в немолодом, почтенном отеле. Было в нем очень тихо. Бюст Гомера в вестибюле особенно подсказывал, что город это ученый, спокойный, ничего легковесного в нем нет. Гостиница так же медлительна и старомодна, так же добротна, как и все вокруг. Приезжих мало. Провинциал с дамою, аббат да я. В положенное время завтракали и обедали внизу в зале — кормят так же усердно, как и живут. Экс некогда был столицею Прованса. Как все очень древние города, много пережил, опустошался, разорялся разными войсками, разными грабителями, наполнившими бедную «историю» кровью своих дел. Он расцвел при Людовиках. Революция кончила его. Теперь Экс — воспоминание.

Тут собирался в свое время Парламент. Первые президенты, прокуроры, интенданты, советники тех времен были и гуманистами, и антикварами. Они настроили море дворцов. Основывали академии, учреждали библиотеки, собирали коллекции. Один из них, маркиз де Межан, смотрит сейчас на меня с гудоновского бюста — лицом тон-

ким, изящным и сколь современным! Глядя на него, думаешь, что вот с ним и нетрудно, совсем просто было бы разговориться о милых вещах — литературе, художестве... Он оставил по себе добрую память: двухсоттысячную «Библиотеку Межан»,[1] где есть собственноручные миниатюры короля Рене, редкие рукописи, уники.

От «королевских» времен Экс сохранил особенный стиль, склад и повадку. Вообще говоря, провансальцы «тише» своих итальянских соседей. В Экс обще-французская сдержанность и воспитанность еще сильней. Хоть это и юг, но как нешумны здесь люди, как легки и скуповаты в движениях, как мало в них «тартаренского». Даже в простых своих сынах Экс сохранил достоинство, барский тон. Французы считают, что невредно учиться хорошим манерам именно здесь. «Добрая старая Франция», приятные разговоры, хороший стол, хорошее вино, большое число образованных людей «гуманистического» направления (пятисотлетний университет, лицей, музеи, библиотеки...). Вообще же в этом городе не так много жителей. Точно бы дворцов больше, чем людей, и точно бы это не так уже плохо. По крайней мере в двухдневных моих там блужданиях скорее люди являлись фоном или музыкальным сопровождением городу, чем наоборот. Сознаюсь: не особенно это и горько! Не потому чтобы люди были плохи. Наоборот, жители Экс вызывают сочувствие. Я с приязнью смотрел на простой народ рынка пред Ратушей, на старика в прямых воротничках, с розеткой Почетного Легиона, выходившего из университета, на лицеисток, шедших гурьбой, весело и не распущенно болтавших, — но никогда «человечество» не затопляло, как в столице, где иногда надо делать над собою усилие, чтобы его не возненавидеть. В Экс жизнь и живое есть, Но оно пробивается из старых камней.

Все-таки усыпальницей этот город тоже не назовешь. Ни к чему исключительному, подавляющему он не склонен — черта латинства. Экс глубоко латинистичен. Все в нем мера, порядок. На той же площади Ратуши я подымался на старую башню, где часы бьют с обычною прелестью провансальских колоколен. В просвет башни глядит на площадь деревянная резная фигура — символ времени года. Лето, Осень, Зима, Весна поворачиваются по солнцу. С площадки этой башни, возвышающейся над дворцом бывшего парламента и библиотекою Межан, виден весь небольшой город с окрестностями.

Черепицей коричневых крыш, строгостью линий, остротой колоколен и пейзажем, замкнутым невысокими горами, — пейзажем оливково-виноградного царства с фермами и черными кипарисами напоминает он Флоренцию и ее мир. Здесь видна его изящная простота. Такой же голубой, благоуханный ветерок налетает, такая же (proportions gar-

dées *) светлая солнечность долины, радость воздуха, мира, пространства.

Французы любят сравнивать Экс с Флоренцией. Соблюдая очень строго «меру», можно не возражать, особенно если брать город в пейзаже. Но город как город, его уличная жизнь, внутренний облик — все иное.

Мне Экс, когда бродил я в нем, скорее напоминал Пизу, где когда-то — так давно! — протекал светлый май нашей с тобою жизни. Я так же прохладно, прозрачно, не без грусти воспринимаю бытие на этих мостовых. В Экс есть меланхолия и пустынность Пизы. Может быть, в незадачливом гибеллинском городе, знавшем одни несчастья, это выражено и сильней. Но былое величие рядом с современной заурядностью всегда несет черту печали.

Экс богат водами. Я не видал в нем акведуков. Но воду все-таки приводят и с соседних гор, ее много, есть и минеральная. Экс знаменит фонтанами, что усиливает его своеобразную задумчивость.

Я любил Cours Mirabeau**. Провансальская приверженность к платанам и водоемам доведена здесь до высшего. Широкая улица, очень внушительного вида. Образована двумя рядами дворцов XVII и XVIII вв. Два соответственных ряда платанов по краю тротуара так сплетаются верхушками, и так тщательно подстрижены, что получается положительно зеленый свод, темно-зеленая густая тень, всегдашняя полутьма и прохлада. Четыре фонтана украшают Cours Mirabeau. Вот статуя короля Рене, короля-поэта, донжуана и охотника, древнего благодетеля Прованса. Он стоит в короне, с длинными, под скобку остриженными на затылке волосами, и держит в руке мускатный виноград, введенный им в Прованс. Рене играл на лютне, был художником, писал стихи. Любил встречать возвращавшиеся с горных пастбищ провансальские стада. Теперь он безмолвствует над водоемом. Прозрачная слава бежит у его ног.

Дале идут еще два небольших, немолодых фонтана. Их чаши, горла обросли водорослями, мхами, особой фонтанною флорой — один струится теплой минеральной водой. И сквозь зеленый туннель платанов виден на дальней оконечности огромный водомет Ротонды с искрящимися и пересекающимися струями. Серебряное царство! На закате на фоне розовеющего неба, заливающего сиянием своим светлый выход из-под Cours Mirabeau, Ротонда играет и радугою, и легким блеском алмазов — воздушно, светло и живо завершает собою улицу сумрачных дворцов.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Соответственно (*фр.*).

** Бульвар Мирабо (*фр.*).

Я жил недалеко отсюда. Уединенность моя была полная. Я покорно обедал и завтракал с молчаливым аббатом, читал письма Петрарки, его размышления об одиночестве и дружбе, о меланхолии и о жизни. Ты знаешь, что в тяжелые времена наши в Москве, в голоде и холоде, я любил читать его «Canzoniere» — коричневый томик с белым пергаментовым корешком, который некогда я купил у букиниста во Флоренции. Петрарка связан для меня с печалью. И навсегда я сохраняю к нему благодарность.

Я добросовестно бродил в Экс по улицам, рассматривая церкви, дворцы, нередко любуясь ими. Видел древний собор, с еще более древним баптистерием, колонны которого взяты из храма Аполлона. Видел сиеннские примитивы в музее, прелестное «Благовещение» Симоне Мартини[2] и в той же зале несколько небольших русских икон неважного, как мне показалось, письма.

Своею прохладною грустью Экс несколько меня заразил. Да ведь я был и один! Нечто «елисейское», от елисейских полей, вошло и слегка точило сердце. Все равно, я рад, что видел этот город — пусть наши юные скитания в Италии были и счастливей.

Заканчиваю все-таки фонтанами. Мое окно выходило на небольшую площадь — разумеется, с фонтаном. Днем он плескал и болтал что-то под своим обелиском — я не обращал на него внимания. Одну ночь я спал довольно плохо... Пробудившись до рассвета, в совершенно темной комнате, был удивлен шумом дождя. Ночной дождь в Провансе, летом? Когда вечер был безоблачен?

Подойдя к окну и приоткрыв жалюзи, я увидал, конечно, молчаливое небо в звездах. Город был совершенно безмолвен. Только фонтаны старались. И мой, маленький, оказался ночью живучей, и даже с Ротонды, как тихий водяной оркестр, доносился слитный и путаный рокот, плеск тех струй, что хлестали и днем. Вот он, дождь!

Помнишь ты Via Veneto, пансион Франчини, осень, ночную тишину Рима, плеск небольшой струи в поздний час — против нашего дома? Вряд ли забыла!

Все это было давно, а в пустынную ночь в Экс вспомнилось. Я постоял у окна, посмотрел на звезды и снова лег. «Дождь» преследовал меня и в елисейском сне — но не мучил.

О Грассе (Письмо)

Горные вершины
Спят во тьме ночной...[1]

...Я жил довольно высоко над городом. С террасы нашей виллы виден был весь Грасс и далекий, покойный, полный воздуха и голубизны

пейзаж, замыкаемый перед глазами морем, справа горами Эстерель, слева холмами — по ним разбросаны чисто-тосканские виллы с виноградниками, оливковыми рощами и кипарисами. Этот вид сопровождал все мое бытие на вилле. Он давал ему некий зеркальный тон. Для меня Грасс и остался обликом очень тихого города, «с высотой». Вспоминая его, вспоминаешь воздушные моря, дальнюю страну, у горизонта с морем сливающуюся, — иногда своей туманной бездной и сама она может сойти на море. Иногда же ее волнистые складки, кряжи и долины напоминают выпуклую географическую карту.

В нашем саду росли — пальмы, фиги, апельсинные деревья. Какая-то неведомая мне серебряная трава и синенькая милая лаванда.

Я не видал здесь апельсинных дерев ни в цветения, ни с плодами. Я любил только срывать их листики, томно-пахучие, в самой зелености своей несущие уж золото, и, жуя их, ходить взад-вперед вдоль обрыва террасы, часов в шесть вечера. Присматриваться, как в голубом свете, таком удивительно прозрачном, синеют и фиолетовеют похожие на огромные складки слоновой шкуры горы Эстерель. Как тонко и обласканно рисуется в свете, уж наливающемся златистою медвяностью, соборная колокольня и башня коммуны над милой нагороженностью крыш. Благозвучен здесь бой часов! Вот бьют одни, через минуту другие, третьи с ними сливаются в скромную музыку.

Эта музыка так же прекрасна и пред рассветом, когда проснешься, чтобы закрыть жалюзи, увидишь сиреневое небо, на нем опрокинутый бледный месяц, лиловые горы, неземную чистоту флорентийских линий Грасса.

В полдень на террасе можно сидеть лишь под пальмой, бросающей на гравий короткую сине-стрельчатую тень. Все полно такого напряжения света, так сияет, блестит и вблизи, и в светлом тумане у черты моря, так насыщено невесомым, божественным счастьем солнца, точно весь мир трепещет в некой световой любви. Это и есть очарование юга, лета.

Жизнь на такой вилле, ширина кругозоров, красота светло-серебряных оливковых рощ, одевающих эти склоны, простота, благородство города внизу и тишина, не смущаемая ни автомобилями, ни пешеходами, — все располагает к творчеству. Здесь можно покойно жить, покойно работать. Быть ли счастливым, или страдать — зависит от сердца. Над этим не властен никакой пейзаж. Но есть места в мире, где особенно стыдно *плохо* работать, скажем, плохо писать. Например, во Флоренции, Риме, в Париже на улице Лилль. Грасс принадлежит к подобным же благословенным краям. В своей как бы незамысловатости он очень требовательный город, как и пейзаж его требовательный. Чище, крепче других городов Ривьеры сохранил он суховатость и бла-

городство своего тона. Его колокольни средневековые башни и черепицы домов встают перед жителем виллы ежедневным очарованием, ежедневным укором.

В Грассе нет ощущения молодости. Грасс для зрелости. Тот созвучно с ним чувствует, чья рука уж окрепла, в чьих волосах седина. Молодости может он показаться чрезмерно важным и однообразным — как не для юности монастыри.

Я подымался иногда тропинкой вверх, обыкновенно тоже пред вечером. В соседней, выше нас, небольшой вилле-ферме простой провансальской стройки, дверь комнаты нижнего этажа всегда завешена. Сквозь дерюжку видна большая кровать. Пахнет креозотом. Монашенка в белом чепце копошится около лежащего. Иногда она степенно прогуливается на свежем воздухе тут же под оливками: значит, тот спит. Здесь умирал молодой человек, неизвестно зачем завезенный в этот ослепительный край.

Несколько выше разбита площадка, называемая Бельведер. Некогда привозили сюда любоваться видом сестру Наполеона, жившую в Грассе (кажется, в нем и скончавшуюся).[2] Сейчас тут проложены дорожки, сделан каменный парапет над кручею, и с боков поставлено по каменной же скамье, вплотную к стенам. За день они сильно нагреваются и даже вечером хранят тепло. Я помню их еще с прежнего посещения. Еще тогда я обратил внимание на тоненькие кипарисы, попарно окаймляющие скамьи. Это очень изящно. Сидя теперь здесь, я тоже подолгу, как и некогда принцесса Луиза,[3] рассматривал пейзаж Грасса. Что было при ней и чего не было? Были — даль, горы, море, кампаниллы. Сам город Грасс несколько изменился. Городок же Орибо, едва виднеющийся в дымке у подножия Таннерона, правей остроконечной верхушки Напуля — он не только при ней совершенно так же маячил башнями, колокольнями и стенами, но и в пятнадцатом, а может и четырнадцатом веке все был такой же.

Не было «Гранд Отеля». Не было двух-трех высоких труб фабрики духов, цветы для которой разводят внизу, в долине План де Грасс (фиалки, резеду, туберозы, от этих цветов летом воздух Грасса так духовит).

На этой самой площадке, глядя на тоненькие кипарисы (они, показалось мне, несколько выросли за два года) — я поймал себя на смешной мысли: вдруг ясно и так убедительно представилось, какими они будут через пятьдесят лет, и главное, что вот так же, сидя на этой серокаменной нагретой скале, я буду видеть их уже могучими, черно-зелеными, с каменно-крепкими стволами... Через пятьдесят лет!

Когда смеркалось, мы нередко ходили гулять — по верхней пыльной дороге, слева от которой громоздились горы в лесах, а направо

расстилалась сиреневая бездна ночи с огоньками Грасса, ферм, городков равнины. Летали светляки. Шелковый ветер налетал. Таинственно бледно и трепетно мигал маяк в стороне Антиба. В доме на повороте горланили каменщики-итальянцы, днем работающие по прокладке шоссе.

И описав полукружие вниз, пройдя по ниццской дороге, мы все в том же дыхании теплых бездн ночи возвращались наверх тропинкою через сад соседней виллы. Я любил в ней огромный куст лавров, украшающих полуиссохший водоем — что-то античное, от таинственных рощ Палатина и римских вилл мне в нем чувствовалось. В темноте, наугад я срывал листок лавра. Как сладостно-крепок его аромат!

Сквозь лапы сосен мигали, как звезды, переливались внизу огни Грасса. Иногда они как бы садились на ветви, точно рождественские свечи елки. Странным образом в этом безмолвном ночном Грассе с игрою огней не одному мне мерещилось дальнее напоминание о Востоке: например, и Тифлис в этот час может таким казаться.

Повторяю: можно быть в Грассе счастливым и несчастным, веселым и грустным, но сквозь все это «гений местности» будет просвечивать. Счастье и горе имеют здесь особое выражение лица, так представляется мне, на себе же я этого не испытал и вряд ли придется испытать: Грасс отошел в отдаленность времени, как горы уходят в ночь.

ШАРТР

До Версаля пригороды, теснота, зелень, мелкие дома. За Версалем есть уже чем вздохнуть — в апрельском нежном утре зелень по полям, дальние горизонты. Но Париж еще за спиной. А проедешь Рамбуйе с сухим весенним лесом, поблескивающим в солнце, с дубовым коричневым листком, просеками, валежником — начинается деревня... Она просто приходит: бесконечными зеленями, кругозором воронежским, лентами дорог в платанах и каштанах — на горизонте маячат они подобно нашим большакам. Мир развернулся. Считаем мы Францию страною загородок и ограничений, но тут, совсем и недалеко от Парижа, удивляет бескрайность... и пустынность. Мало людей! Просто их нет. Бесконечной аллеей несется автобус. Сквозь зеркальные стекла поля, поля, нежно-зеленого размыва, переходящего в голубой размыв небесный. Кое-где подымают на огромных лошадях крестьяне пар. Ни помещичьих усадеб, ни даже ферм (есть они, но где-то спрятаны). Это древняя галльская область Карнутия, позже провинция Ла-Бос, с давних времен хлебороднейшее место Франции. При Цезаре сплошь были

леса — раздолье для друидов, дикие, таинственные края. Сейчас таинственности нет, но вольный простор, свет, голубизна в зелени. Воздух, воздух...

И вдруг в сельской этой пустыне, при бурном вылете автобуса на изволок — слева вдали, в синем светлом тумане две башни над огромным телом, диковинный двурогий зверь, давно знакомый по рисункам (одна башня выше, другая ниже), — Шартрский собор.[1] Еще довольно долго будем к нему лететь, но уж он появился, в нашу жизнь вошел подобно колокольне Комбре многоречивого Пруста.[2] Двурогое существо будет перемещаться — влево, немного вправо — по заворотам дороги, и все расти. Но не уйти ему теперь.

И когда надо, бойкий шофер влепит всех нас в небольшую площадь у собора. Он теперь, вблизи — серый, острый, не громоздко фантастический, как издали: правда, виден лишь его фасад — узкий.



Всегда предпочитаю в скитаниях гостиницы и рестораны местные — какой-нибудь «Albergo Commerciale», «Albergo della Posta» * — где увидишь людей земли, не путешественников с гидами. «Отель де ля Пост» — во всем мире это одинаково.

Большая светлая комната ресторана с невероятными цветами на обоях, маленькие столики, чисто, прилично, неказисто: все дешевенькое и простое. Столики полны карнутов. Вот она, французская деревня! Шартрские фермеры. Сколь иной мир после Парижа — а всего восемьдесят верст. Крепко, грубовато скроенная раса. Это не Прованс, не Арль. Интересно бы найти хоть одно изящное лицо. Четырехугольные головы, бобрики, низкие лбы, маленькие глазки. Бурые костюмы сидят по-медвежьи, костяк здоровенный, лица красные, обветренные — правда, здоровые. В огородах, в садах под яблонями закопаны кубышки — теми же огромными ручищами, что умеют пахать и сеять и при случае задушить вора, ежели осмелится тронуть священную собственность. (Как подмывало бы Сталина вырезать всех этих «кулаков»! — дабы древняя Ла-Бос выписывала хлеб по почте из Парижа).



И в этой пустынной мужицкой стране такой собор! Немцы, англичане, американцы, художники, антропософы, историки приезжают смотреть его. Всякому он что-то скажет. И вряд ли кто осудит его.

Для меня он как будто двойной. С площади, куда глядит фасад, остроугольный, сухой и благородный, такой простой и такой неотра-

---

* Коммерческая гостиница, Почтовая гостиница (*ит.*).

зимый... — *мой, друг.* Это узнанное, знакомое лицо, как колоколенка над флорентийской Синьорией, как угол Лоджии Ланци и Уффици. Мой и Христос на портале, со знаками Евангелистов, мои иудейские цари и царицы, запеленутые в колонны, с неожиданно выразительными лицами. Мой ангел солнечных часов, выказывающий на углу из-за кадрана[3] головку — тоже XII века! И мои два каменных осла — старый, жалкий, и молодой, веселый. Их возраст тоже XII век.

За ослами же дальше, когда обходишь собор, начинается другой его облик — музей. Южный портал XIII века, абсида, готическая часовня с хитрою лесенкой, южный портал (тоже XIII в.) — вся сложность крыш, скатов, контрфорсов, галереек, целая роща статуй в обоих порталах (и тоже первый сорт!) — это уже не то, от какой-то громады и восьмого чуда света. Замечательное, но другое. Фасад кажется мне живым. Не святой ли это Георгий (Донателло) — юный рыцарь, опирающийся на щит, с тонким, благородно-удлиненным лицом?

Войдешь внутрь, опять все изменилось. День очень ярко-солнечный, и в раскрытую дверь на плиты под порядочным углом льется свет, прямо реками. И все-таки световые эти реки не могут одолеть сумрака — до чего же темно вокруг, как только отойдешь от солнечного квадрата! Можно ли рассмотреть что-нибудь здесь в зимний, обычный наш парижский день?

Эта тьма — цветная, и зависит от одной из слав собора — витражей. Странное, очаровательное зрелище: по холодным, голым стенам фейерверки, фонтаны красок! И все это на стеклах. Из средины собора прямо, справа и слева три гигантских розетки — не то куски темно-лиловой, черно-лиловой шали с нежно-зелеными пятнами-прорывами, не то куски павлиньего хвоста в музыкальных кругах... Что изображено? Как изображено? Проводник расскажет что-то о Бланке Кастильской,[4] о том, что одна розетка лет на десять старше других и он замечает уже разницу стилей. Но по правде сказать, тут не до стилей и десятилетий: просто поразительная декорация.

Такие же декорации и витражи узких окон — целая галерея священных сюжетов, маленьких медальонов, более крупных сцен, но снизу все это сливается в игру драгоценных камней: рубинов, яхонтов, сапфиров. На одном окне фиолетовей тон, на другом красней, синей, а все вместе — удивительная полнота...



Крипта — подземная, первобытная церковь, с девятого века там культ Богоматери, Ее статуя, таинственный целебный колодезь. Древнейшая статуя La Vierge devant enfanter — корни свои имеет, как будто, в друидическом культе.[5] Сохранилась лишь копия. Легенда же говорит

о некоей статуе Девы, поставленной до Рождества Христова, среди языческих изображений. Она как бы пророческая, предвещающая пришествие Христа. В облике даже копии этой усматривают сходство с древнейшими галло-римскими изображениями богини земли. Так бесконечно глубоки подземные корни собора. Связан он и с друидами, и с дыханием стихии, Матери-Земли — над нею поднялся.

Да и вырос органически. Все понемногу его строили. Епископы, герцоги, горожане, крестьяне, паломники. Сама страна как-то строила. По витражам видно — дары сапожников, суконщиков, ювелиров, мясников, каменщиков, булочников. А паломники являлись и из дальних стран: Испании, Германии. Они тоже жертвовали.

Странный, и замечательный средневековый уклад! И корпорации, и художники были люди простые, вроде тех же карнутов,[6] с которыми завтракали мы в гостинице. Но сколько вкуса, чувства красоты и возвышенного! (Это и в Италии всегда поражает). О, конечно, и они были во многом грубы, неказисты, но ведь понимали нечто и помимо мелких своих дел. Нынешние шартрцы устроили недавно чуть не революцию из-за каких-то двусмысленностей с налогами — и это их право, нельзя осуждать. Но что останется от земной их деятельности? А вот от тех осталось...

Исследователи удивляются своеобразию шартрской школы скульптуры (средняя Франция), творчеству безымянных людей — неизвестно даже какого происхождения. Красоте, пышности витражей. Движению истории, от одного портала к другому и третьему: на северном Ветхий Завет, на западном Спаситель, на южном учители Церкви и мученики — как бы по часовой стрелке... И все это родилось точно бы само собой, в синеющей, пустынно-хлебородной равнине Франции.



Тишина на площади перед собором, солнце склоняющееся, и воздух, воздух... как напиток. Это дело полей. И в вечереющую их легкую бездну унесет пред закатом зеркальный автобус. Долго еще будешь оборачиваться, смотреть на диковинную двурогую громаду: одна башня выше, а другая ниже.

РУАН

Много лет назад явился предо мною этот город. Не как имя, а как некий облик. Можно еще не видеть, но уж иметь представление — оно входит и живет.

Чрез «Бовари», чрез жизнь Флобера в Круассе,[1] столь одинокую и тихую, чрез его письма стал для меня Руан не просто городом («древняя столица Нормандии, центр хлопчатобумажной промышленности»). Если чувствую солнечную осень в саду Круассе, где Флобер громко читал свои периоды, если в Соборе есть витраж с изображением легенды о св. Юлиане Милостивом, если в меня вошли и улицы, и набережные с запахами реки, барж, смолы — по ним катала в закрытом фиакре Эмма со своею любовью, — то Руан не только слово из учебника. И о Соборе что-то знаешь, тоже что-то дошло. Чуть ли не у Щукина, в знаменитой московской галерее и висел «Руанский собор» Клода Моне — туманно-ажурная розетка фасада... Казался он нежным каким-то кружевом.

Еще из дальней России (тульские поля!) хотелось побывать в Руане, в Круассе. Жизнь фантастически переменилась. Пришлось стать жителем французским. И после десяти парижских лет впервые посетить Руан.



Два часа дня. Из благословенных полей Нормандии, ее буковых и дубовых лесов автокар влетает в долину, чуть не ущелье, делает повороты, зигзаги. То там, то тут мелькает впереди острый и тонкий шпиль Собора. Начались и предвестья: мелкие домишки, пыль, шум. Служащие и барышни на велосипедах возвращаются на службу. А там река, баржи, пароходы, набережная, по которой уже катим. Камионы, гудки, свистки, городовые в белых шлемах. Вдали в смутной, не чистой голубизне холмы, вблизи сумрачные дома тяжеловесного города, не так-то радующего. И над всем раскаленная, тяжкая муть — чего только не вдыхаешь в этом воздухе! Руан в котловине, знаменит летом жарами, зимой дождем.

Устроившись, обосновавшись, начинаешь руанские дни — погружаешься в чуждую, будто не новую для тебя, но по-иному открывшуюся жизнь. В воображении, сквозь искусство и молодость, все получало несколько иной оттенок, как легкой радугой тронуты края предметов сквозь хрусталь призмы. Действительность и проще и грубей. Из сельца Притыкина, по Флоберу и Клоду Моне, да и по снимкам монографий казался Руан городом-музеем. Старина, красота, поэзия. Остальное — там где-то на задворках.

Но вот именно Руан не музей, — и может быть, это даже неплохо! В нем есть музейное, но и стихийно-жизненное. Не так цельно, не так возвышенно (как Флоренция, например), — зато пестро, временами резко, временами неприятно — что поделать! — Жизнь.

Когда идешь к Собору — узенькою ли улочкой с кислыми запахами, выпирающими боками домов ренессансных, или улицею нарядной, торговой, с магазинами, зеркальными стеклами, цветами в корзинках на столбах — нельзя забыть, что это древний, тучный, очень грешный, очень плотский город. «On mange bien à Rouen»*. Непрозрачность и материальность есть в нем. Крепкая, тяжеловесная раса его создала и задает тон. Не так велика слава нормандцев. Их не весьма любят во Франции — за черствость, грубоватость, жадность.

Мы видим за рекой рабочее предместье, трубы, фабрики, бесчисленные краны подъемные на реке — все это давняя, упорная деятельность стяжания. Сама Сена помогает накоплению. Из дальних стран приходят корабли, баржи, все с «добром» и отсюда «добро» вывозят. (Видел я на водах этой Сены грязный пароход, груженый досками, на корме надпись: «Riga» — не советский ли лес?).

Когда сидишь на набережной под платанами < в> кафе, то удивляешься движению, грохоту, гулу, озабоченности снующих. Обилию нищих. Обилию негров. Арабы все те же, что и в Бийанкуре. Это грузчики — люди тяжелой, пьяной и грязной доли. Много приезжих из деревень фермеров: тоже крепкое, здоровенное племя, с тугими мозгами, мошнами тугими. Здесь они по делам и по развлечениям. (Развлечений достаточно. Есть целые улицы с какими-то звездами у домов!..)



Руан — город поздней готики. В знаменитом фасаде Собора наиболее яркое — пятнадцатый, шестнадцатый век. Тоже и в замечательной церкви Сен-Маклу, во Дворце Правосудия. Строили еще в готическом стиле, но мирочувствие готическое уже отошло, сменилось ренессансным. Готика — героизм. Этого-то как раз и мало в духе ренессанса, в духе Руана.

Как бы то ни было, фасад Собора не забудешь. Несколько раз приходилось оказываться перед ним внезапно, выходя из полутемных, прохладно-пахучих улочек, всегда сложным музыкальным аккордом бьет он по глазу — каменнобелеющей, невнятной, но очаровательной путаницей украшений, статуй, треугольников, колонок, мелко-выточенных завитушек. Удивительно прошлось по нем и время, и дожди, побелившие головы святых, карнизы, верхушки углов — фантастичная рябь бело-черного.

Это построено все, конечно, «во славу Господа», но сколько «слишком человеческих» ухищрений, вкуса к нарядности, ювелирности. Главное — разукрасить! Попышней, позатейливей.

* Хорошая еда в Руане (*фр.*).

Внутри Собор очень прост, изящен и величествен. В абсиде шартрские витражи — несравнимого и неподделываемого бархатно-лилового тона. Вот он, налево, и св. Юлиан Милостивый![2]

Выходим в боковую дверь на чудесный Cour des libraires*. Здесь некогда торговали букинисты. Боковой портал Собора с двориком — игрушка готики. Улыбаемся на маленькие медальоны, высеченные из камня, в нишах портала: демоны, карикатуры на людей — забавный, не совсем понятный гротеск. Сколько выдумки, находчивости! Были все же странные черты в ушедшем мире.

Такие уголки — церквей, переулков, домов, пожалуй, главное очарование Руана. С удовольствием вспоминаешь улицу de la Grosse Horloge** с удивительными часами, до сих пор бьющими couvre feu*** (в девять вечера тушить огонь! — средневековье). Фасад дома в скульптуре по дереву (ренессанс). Герб Руана под часами: овцы, бараны, Добрый Пастырь. Закоулки вокруг Сен-Маклу со старинными домами нормандского стиля — черные крестовины по белому полю. Но поражает бедность, грязь, убожество в домах этих, столь мило выходящих на туристских снимках и в роскошных увражах.[3] По небольшой площади Сен-Маклу, пред церковью редкостного варианта готики и удивительной гармонии, бегают рваные, нестриженые детишки, худые, иногда в парше... *беспризорные!* — вот советское слово, с горечью нам припомнившееся на «музейной» площади.

Там же, недалеко, довелось попасть в удивительное по грозности и мраку место (о нем нигде нет у Флобера, а оно в его духе) — монастырь Сен-Маклу.

Непроходимым закоулком, под провисшими балками, при дурных запахах мы подходим к какой-то двери, стучим. Меньше всего похоже это на вход в монастырь, хотя бы и упраздненный! Тихая, довольно убогая женщина (как и все в этом квартале) отворяет. Другими закоулками выводит на квадратный дворик, окруженный застекленной галереей. По плану — как будто итальянский киостро. Приблизительно так и есть... но в средине нечто вроде колодца, над ним Распятие. Это братская могила. Кости умерших от чумы в четырнадцатом веке. Вообще же было кладбище, при нем монастырь... Одно время кости хранили наверху, на чердаках. Прежде жили монахи, потом был приют для девочек.

Не без жуткости проходишь под каштанами вблизи могилы. Вечереет. Сухие листья, коричневые, под ногами. Железное Распятие как-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Двор книготорговцев (*фр.*).

** Больших Часов (*фр.*).

*** Комендантский час (букв. «Туши свет», *фр.*).

то пронзительно извивается. На притолоках вырезаны черепа, кости, заступы могильные, кирки и факелы.

— Вокруг всех галерей был на этих колонках изображен танец смерти, — говорит тихая проводница. — Видите, еще сохранилось: смерть танцует с епископом. Но большинство уничтожено.

Весело было здесь жить девочкам из приюта!



Все, что в Руане связано с Жанной д-Арк, для меня неприятно. Я и не очень смотрел. Сожгли ее на площади Рынка. Площадь обезображена теперь новым зданием. Остался кусок древней мостовой, где сидели тогдашние Каиафы и Пилаты. На месте костра гладкая плита. Да два лучших ресторана смотрят на эту Голгофу. (Если бы сейчас жгли новую Жанну, столики были б раскуплены за бешеные деньги — американцы постарались бы!).

Не так-то украсила Руан Орлеанская Дева. Жгли ее, правда, англичане. Но подличали, видимо, все — епископы и короли, и полководцы, и нотабли[4] — один другого лучше. Продавали, перепродавали, зарабатывали на «комбинации»... — Не виноват Руан, что на его площади загубили героиню. А все-таки: именно здесь она погибла! И не Руан ее породил.

А когда (в Столетнюю войну) англичане его осаждали, то ведь руанцы выгнали за стены стариков, женщин, детей — двенадцать тысяч! — чтоб освободиться от ненужных ртов. Рты так и погибли с голоду на глазах мужей, отцов, сыновей между стенами и английским лагерем.

Белые, сизые голуби толкутся по карнизам, вспархивают, садятся на мостовую перед рестораном «La Couronne» *.

— On mange bien à Rouen.



Один праведник руанский стоял недалеко от нашего отеля, на мосту. Мост из двух колен, слегка под углом, сходящихся на островке. С него подымается гигантский платан, и зеленый бронзовый Корнель[5] остановился под тем древом — тот Корнель, чьи стихи зубрят теперь в школах, и кто умер в свое время в нищете.

Мимо Корнеля ходили мы каждый день. К другому праведнику пришлось ехать на автокаре за город.

Круассе на самом берегу реки. Берег нагорный, весь в лесах, прекрасный. Чудно было тут во времена Флобера!

* Корона (*фр.*).

К месту этому не без волнения приближался. Двадцать восемь лет думаю я о Круассе, с жаркого лета в Тульской губернии, когда читал «Correspondance»,[6] и год за годом раскрывалась жизнь художника.

Автокар остановился у кафе деревенского на набережной: «Quai Flaubert» *. Толстая женщина благодушно указала — туда, дальше. Фабрика. Огромная труба. Слева Сена, за ней заводы, подъемные краны. Аэроплан в голубом небе. Блеск солнца. Где Флобер?

Стена фабрики кончилась. Сад. На самую улицу выходит зеленоватый павильон, увитый жимолостью. Дощечка с надписью о Флобере. Встречает сторож-инвалид с грустными глазами. Ведет через садик, по гравию, в павильон-музей.

Павильон простой, старомодный, с огромными окнами, весь в свету — какой благородный!

— Это ведь часть дома Флобера?

— Рабочий кабинет. Дом был рядом, где теперь труба фабрики.

Сомневаюсь, чтобы рабочий кабинет. Просто флигель, куда летом приятно было зайти, как в беседку, поглядеть на Сену. О, если бы хозяин встал из гроба! С отвращением взглянул бы на подъемники, крыши, фабрики того берега. И великое безобразие — Société des papeteries ** — увидал бы на месте своего дома.

...Но тут, в одинокой комнате-музее, полном света, сохранился тихий, благородный след ушедшего. Пошлость его не коснулась.

Ружье с огромным курком, шомпольное. Палочка — совсем простенькая, с ней гулял. Готическое кресло для работы — вытертое, но хорошей кожи. Портреты — и его, и близких. Луиза Коле, которую променял на литературу и отшельничество. Друг Луи Буйе, руанский литератор и поэт, лишь дружбою с Флобером и известный. Наш Тургенев. Чучело попугая (птица старушки Фелисите из «Простого сердца»). Книги, рукописи... (Почерк похож на тургеневский, но страстней и нервней. Вот она, «гармония»-то прозы флоберовской!

Довольно долго побыли. Потом сидели на скамейке под деревьями. Солнце светило. Жарко. Белый пароход с экскурсией прошел по Сене. Тишина — забвенье.



Кладбище руанское высоко над городом — место чудное. От каменных ворот аллея тощих елей, прямо в гору. Деревья, памятники.

Очень жаркий день. Сухо, хвоя. Надписи на могильных камнях. Обернешься назад — в синей дымке Руан — колокольни пронзают пей-

* Набережная Флобера (*фр.*).

** Общество писчебумажных магазинов (*фр.*).

заж, залитый смутностью бездны воздушной. Напоминает сады Джусти над Вероной.

Нескоро нашли могилу. Вот он, Густав Флобер, скромная белая плита.

Рядом с отцом, матерью. Через несколько шагов брат Ахилл с женой — все кучкой, на родной земле. У брата памятник побольше, написано, что был этот Ахилл кавалером Почетного Легиона. А у Густава одно имя. Ничем город Руан не удостоил его отметить! И в жизни, и в смерти равен себе Флобер.

Поклонился ему земно. На могилу, где лежат три убогих веночка, положил веточку туи. Да жена бросила мелких цветов.

...Можно в еловой аллее и задержаться, присесть, обтереть со лба пот. Вот он, внизу, город Руан... Настоящий Руан — не музей. И не выдумка. Под таким солнцем с высоты кажется он привлекательней. Расстелил свою скатерть по голубоватым холмам, сгустил над собой испаренья, ведет жизнь свою, сумрачную и веселую, важную и неважную, родит купцов и святых, трактирщиков и Флоберов, ростовщиков и строителей Собора. Как его судить? И откуда на это право?

НИЦЦА

Самое название располагает. Странным ли, своеобразным звуком? Может быть. А затем — с давних лет связано с Ниццей особенное. В Ниццу из наших столиц — Петербурга, Москвы уезжали зимой самые нарядные люди, в северных экспрессах, прямо на южное солнышко. А оттуда корзинами присылали живые цветы. «Если хорошо осенью урожай продам, то твердо решил на месяц в Ниццу, — говорил сосед наш, помещик из “средних”, соблазненный рассказами. — С предводителем дворянства. Да. Он каждую зиму ездит и говорит: приятный городок. Да. Так, так. Да».

Кум и сосед каждую осень собирался. Предводитель и вправду ездил, Иван же Андреевич только мечтал.

Ницца ему, как и мне, казалась городом блеска, солнца, цветов и роскоши.

Сосед тульский так в Ницце и не бывал — стреляет теперь кабанов, диких гусей в Туркестане. Я же, в движениях своих эмигрантских, не раз ее видел.

Ницца себя оправдала. Не один лишь приятный звук. Далеко не город «блеска и роскоши», как из Тульской губернии казалось. Но все же место праздничное. Один русский так сказал на днях о Ницце:

— В ней есть нечто отвечающее нашему складу, душе. Излучение, для нас весьма подходящее: смесь поэтичности и безалаберности, какой-то смягченности и красоты с бестолковостью... Или в подобном роде.



Ницца полна морским дыханием. В любой ее улице чувствуешь это — и ее воздух нежный, несколько опьяняющий духовитостью своею, частью расслабляющий. Ницца очень женственна по общему ощущению от нее.

Меблированные комнаты на углу Бюффа и Мейербер, в двух шагах от моря и отеля «Вестминстер» на набережной — микрокосм Ниццы приезжей и вместе: облик давних моих итальянских скитаний.

Первое дает повод к некоторым наблюдениям. Второе молодит.

В комнате с зелеными итальянскими жалюзи, с огромной кроватью, столом, на котором надо и есть, и писать, чувствуешь себя вновь помолодевшим, почти студентом, разбившим нехитрые свои шатры на новом месте, с итальянским гамом за окном, божественным светом и солнцем, нам светить не устающим, как не устаешь любить свет этот. Живуч человек! И когда после долгого отрыва от природы попадает он на юг, где даже в большой город вторгается природа безудержно, сразу по-иному начинает дышать. Ведь достаточно перейти улицу, с каким-нибудь кувшинчиком для молока, в молочную, чтобы вдохнуть и море, и услыхать остро-пьяный стрекот ласточек, и вспугнуть стайку голубей, которых кормишь из окна крошками хлеба, и увидать густую зелень платанов, и дальний замок на холме Монборон — все это в летящем, нежном солнечном свете, с запахами овощей, старых домов, моря, иногда цветов.

Я всегда любил Променад дэз Англе.[1] В разные часы по нем бродил. От утреннего розовеющего тумана до полдневной синевы моря, до сиреневого вечера с бледномерцающим морем, и ночи в золоте цепей побережья, в золотых уборах по Монборону — при меланхолическом кивании маяков.

Жизнь природы и «природность» южных людей хорошо видишь именно на пляже ниццском — пляже неважном, но со всеми необходимыми плотами, лестницами для прыганья и разноцветными резиновыми шарами.

Юное, полунагое человечество... Оно частью вызывает улыбку, частью и надоедает, но все-таки худощавые, иногда богоподобно сложенные ниццары и ниццарки, непрерывно плавающие, ныряющие, летящие с мостков кометами, головою вниз в воду, вызывают иногда мысль: да может, это действительно «морские жители», древние существа, полу-

греки, полуфиникийцы, полутритоны и наяды, только на то и годящиеся, чтобы омывать свои коричневые, блестящие маслами тела в Средиземном море?

Море и все «приморское» в Ницце вносит языческий дух, в его лучшем облике: красоты и стихии. Красивы тела, радостна молодость, гибкость, стройность. Прекрасна сама голубая влага. Можно подолгу сидеть под шатровым зонтом в легком кресле на набережной, будто читая книгу, и все на море поглядывая. Удивительно действие света, и вечной синевы моря, и вечного плеска! Человек ни о чем не думает. Он просто дышит и радуется. Даже черные мысли, «черные мухи» души растворяются — великою голубизною: небо, море... Может быть, это и есть истинный отдых, успокоительное действие «лучей Истины» (голубой цвет не предаст! Недаром голубое — небо).

И незадолго до полдневной пушки, а то и после нее видишь влево, близ маяка и входа в порт, по трепещущему в световом золоте морю белый — и знакомый уже — силуэт: изящный пакебот «Ile de Beauté» *. С невысокой трубой, острый и быстрый, режет он зыбь и скоро скроется за горизонтом. Корсика! Вот его путь. Дальняя Корсика, а при его быстроте и близкая: всего пять часов.

Я любил этот стройный корабль и считал его своим другом.



Меньше всего жизнь похожа на идиллию. И когда в ниццском солнце или под зеленою тенью платанов, под пальмами видишь живую и веселую толпу, отлично знаешь, как обманчиво ощущение, будто все довольны и благополучны. Голод, драмы, преступления и смерть в этой сияющей Ницце таковы же, как и везде. «В вашей колонии, — сказала мне русская дама, — не так много плохих. Но очень много несчастных».

В этом я нисколько не сомневаюсь. И не только среди русских — достаточно их найдется и у немцев, и средь местных. (Немцев сейчас в Ницце небывало много.) У меня за стеной жил чахоточный юноша-француз — полумертвый, с загробными глазами: мать привезла его с севера лечиться. В другой комнате немка замужем за изгнанным социалистом. В третьей одинокий еврей-беженец из Германии.

А русские! Русская Ницца велика и довольно разнообразна. Есть и старые, и молодые, знать и офицерство, и купечество, и церковь, и сановники бывшие, и интеллигенты, и литераторы, и художники. Большинство, разумеется, в трудностях. Я видал и встречался и с русскими просто в горестном положении, ведущими жизнь фантастическую,

* Остров Красоты (*фр.*).

безнадежную и голодную. Вообще, многое пришлось и узнать, и услышать... — и все-таки, все-таки Ницца радостна, жива и поэтична, и очень многие именно русские любят ее и не хотят менять на другое. Правда, некоторые считают, что как сам пряный, слишком влажно-женственный климат ее, Ницца расслабляет и затягивает. Все-таки меня не раз звали в Ницце остаться. А барышня-аристократка, смиренная иконописица[2] (тем и живущая), на вопрос — хорошо ли ей в Ницце, ответила: «Разумеется. Город прекрасный, красота. Рядом со мною наша церковь, наш владыка.[3] Вокруг наши, русские, у меня есть хорошие друзья. Чего же больше?»

Да, есть в «выражении лица» Ниццы нечто располагающее. В светлом этом городе, раскинувшемся гармонично по бухте, с гармоническим окаймлением гор, чувствуешь некую радость бытия, пусть и бездумную и младенческую. Самое «одеяние» жизни, ее повседневность получают здесь изящный оттенок. Приятно идти по улице, дышать воздухом, видеть зеленый храм платанов — длинный их неф над бульваром — выйти в слепительный зной к морю, любоваться на цветочном рынке горами гвоздик, тюльпанов, роз, лилий. В вечерней толпе на Променаде, среди блеска огней, автомобилей, светящихся фонтанчиков наблюдать вечно-неустанное движение — неиссякаемую жизнь.



В пять утра просыпаюсь — сосед за стеной протяжно, задыхаясь и захлебываясь, кашляет. Вспоминаю его огромные серые глаза, красивые, замученные. Иногда он выходит в коридор, в туфлях, в какой-то курточке — кротко и беспомощно глядит (не французским взором. Не то отрок Варфоломей, не то царевич Дмитрий).

Да, рядом со мной, по каким-то таинственным велениям, погибает жизнь, совсем еще юная. Я ничего не могу сделать. Я спрошу его мать, крепкую французскую фермершу:

— Comment ça va? *

И она грустно ответит:

— Mieux, mieux **.

(Замечательно с нами говорит: малад, трэ малад, ви трист *** — считает, что иностранцу так понятнее.)

Завтра они, наконец, уезжают. Домой, в Пикардию. И ненавидят же эту сияющую Ниццу!

* Как поживаете? (*фр.*)

** Получше, получше (*фр.*).

*** Болен, очень болен, так печально.

Ловлю себя на том, что рад их отъезду. Мы уж не дети, и о смерти тоже кое-что знаем. Мне очень жаль юношу, ведомого на заклание. Выхожу из дому, пересекаю опьяненную светом улицу, вслед мне глядят потусторонние глаза из-под приподнятого жалюзи — с укором? Нет, он робко улыбается. Но вот мой эгоизм: сердце мое сжимается, опять жалостью, но я не хочу его. Я радуюсь на голубей, которых кормит крошками из окна жена, на ласточек, во все концы чертящих воздух, остро его пронзая визгом. А царевич Дмитрий... — пусть бы уезжал скорей в Кале.

Такова пестрота жизни и одиночество страдания. А я сейчас выйду к морю и увижу всех своих тритонов и наяд. Я забуду о соседе и не хочу о нем думать, и как можно больше буду вдыхать этот светящийся воздух, пропитанный свежестью, солью, йодом морских пространств. Расстояние от меня до тех, кто лобызал прокаженных, неизмеримее моря. И со своей «радостью бытия» иду до бульвара Гамбетта и назад, сажусь в легкое кресло под зонтик.

Я увижу много за этот день в блистающей Ницце — и нежничающих юных пар, и богоподобных торсов, и Диан с выцвеченными золотыми волосами, в мужских панталонах-пижамах с крошечными щитами для грудей. И шерстистых сатиров, и бессмысленных юношей, днями играющих в мячи, — а потом на том же Променаде бородатого русского. Он сидит в кресле, с письмом. На серой советской бумаге каракульки. Из интеллигентских глаз, из-под очков интеллигентских капает на бумагу слеза. Что же, продаст штаны и близким голодающим пошлет в страну благополучия пятнадцать франков.

В полдень над зеленым холмом старой крепости, где теперь парк, взлетит белое круглое облачко, клуб разорвется и через секунду лишь долетит звук: бах-х, полдень, пушка. Прохожие сверят часы. Купальщики, не из весьма бешеных, станут собираться (а иные и завтракают на пляже).

Белый друг мой, рассекая носом волны, скоро выйдет из ущелья порта к Корсике.



Грустно было мамаше уезжать до конца месяца — за комнату часть су пропадает. Сына тоже жалко, ну а денежки... Но приехал веселый пикардийский дядюшка, громогласный и самодовольный, — и соседа увезли. Одна из немок наших, хитлеровка, утверждала, что Германия спасена. К удивлению нашему, и подруга ее, жена изгнанного социалиста, была того же мнения, хотя и оказалась эмигранткой и разделяла взгляды мужа. «Конечно, нам с мужем очень тяжело, но если бы не было событий, то наша страна была бы теперь в том же состоянии, что ваша».

Не знаю, как смотрел на это заросший волосами еврей из дальней комнатки. В удивительный лунный вечер я встретил его на Променаде. Он сидел один, на той же скамейке, где плакал бородатый русский. Во всем блеске, оживлении, ночной прелести Променада, в сиянии бара «Фрегат» и средь звуков оркестра лицо его, худенькое и некрасивое, выражало предельное одиночество — и скорбь.

Затратив два франка, доставив радость бродячему астроному с плохоньким телескопом на набережной, я рассматривал Юпитер и поверхность Луны. Планета сияла в окуляре ровным, зеленовато-позлащенным светом. Какие-то пояса я на ней заметил, слабо означенные. Она была так же от нас далека, как среднее мое человеческое сердце от сердца тех, кто всех страждущих может прижать к груди.

А поверхность Луны — золотистая могила. Да, побывал я быстро «на том свете».

Как шумно, пестро... — и летуче показалось в карнавальной сутолоке Променада!



Я люблю в старой части города скромную набережную с рыбачьими лодками и сетями, с одноэтажными домиками, знаменитыми рыбными ресторанчиками, со старой башней и зеленой шапкой пиний.

Под вечер мы идем по ней. Поворачиваем направо, мимо старомодного отеля «Suisse», где останавливались некогда московские писатели. Обогнув скалу, выходящую в море, заходим в старый порт.

Мой красавец и друг, слегка дымя белой трубой, нарядный, блестя зеркальными иллюминаторами, стоит у пристани. Сходни выкинуты на берег. Взойди, садись, уйдешь в море бескрайнее, весело будет резать белый нос средиземную волну, чайки станут сопровождать. Ветер и солнце, огненная морская зыбь в блеске... Жизнь! Ее дыханье.

МОНТЕ-КАРЛО

Возвращаясь домой по улице Bel Respiro, в прозрачном июньском вечере, чувствуешь удивительную ее, как бы спиритуальную тишину. Отчего это зависит? Может быть, сочетание ясной перспективы вилл, садов, пальм — с замыкающей вдали горой? Безмолвию светлых домов как будто дает она последнее успокоение.

Отворю в комнате своей окно, посмотрю на гору. Верх ее сухо сереет расщелинами, ниже — зеленые пятна соснового леса, кое-где домики. Над вершиною неподвижно — златистым шитьем мелкие облачка —

на самом дальнем плане небесном! Ближе к земле, не в таком чертоге заоблачном — раковинами темноватые тучки.

Вот вновь это прельщающее Монте-Карло. Странное, странное место! По взгляду обычному — толпа международная, роскошь, безделие, экзотическая красота, рулетка.

Несколько позже, когда бледно зажгутся шары электрические, в высоте, над лысою моей горой Tête de Chien *, над укреплениями ее появится совсем нежный и робкий месяц. На весь этот древний, прекрасный край бросит отсвет застенчивый.



Жизнь рулеточную можно наблюдать и в залах, можно и с «камамбера» — так называются здесь кругообразные скамейки перед Казино, где с утра до вечера сидят бездельные люди, глазеют на вход в «капище». Занятие любопытное, хотя с течением дней осаждает в душе грусть и усмешку.

Отсюда можно видеть «весь мир».

Монте-Карло населено монегасками[1] и итальянцами — это коренные жители, больше из простых. Затем идут англичане, американцы — баре здешние. И немцы — промежуточное. Но у Казино потому видишь мир, что тут уж и все решительно — со всего света, до японцев, австралийцев, бразильянцев и мулатов.

Одни подкатывают в роскошных машинах, другие выходят из «Hôtel de Paris» в вечерних туалетах, пересекают небольшую площадь и туда же. А там молоденькие туристы из Германии или Эстонии, Чехословакии. Если есть на рейде английский пароход, то вдруг появляются с него путники-экскурсанты — их завезли сюда, надо же показать рулетку. Пара за парой появляются они. Смокинги, бальные пестрые летние платья: клерки и приказчики Великобритании с дамами.

Чувствуешь себя отчасти и в театре. Наблюдаешь входящих, выходящих. Вот выбежали молодожены, веселые, хохочущие. Может быть, выиграли? А если и проиграли немного, — то им так еще весело друг с другом, что и смешон проигрыш. Выходят два полуседых господина: один что-то записывает в книжке, стучит карандашиком, доказывает. Система «на этот раз» не оправдалась. А навстречу им, привычными, слегка дрожащими худенькими ногами худенькая старушка в грибообразной шляпе восходит по ступеням Казино, как Парка древняя, вот войдет, будет у стола вить кудель малой игрецкой судьбы: изо дня в день, в один и тот же час, изо дня в день...

* Голова собаки (*фр.*).

Одиноких монструозных старух особенно здесь много. Есть среди них жирные и худые, большие, маленькие, все одеты фантастически — нафталин и гроб — у всех одна душа, заколдованная. Каждый день, каждый день...

А подальше, на знаменитых террасах Монте-Карло, сейчас оркестр Марка Скотто[2] исполняет под звездным небом и у раскрытых окон игорных зал симфонию Гайдна. Если есть пароход на рейде, с путниками, то весь освещен и иллюминован, весь прозрачно-златисто сияет, как призрак светящийся — там тоже слушают Гайдна. Но Скотто, взмывающий над оркестром, кидающийся то на виолончели, то на трубы, то роющий землю магическою своей палочкой — будто завинчивающий ее туда в дирижерском азарте — поправляющий прядь на лбу растрепавшуюся, лысоватый и круглолицый, горячий Скотто с парохода не виден.

Концерт его в десять закончен. К одиннадцати мало народу останется на террасах.

Останется же пред вами море, над ним звезды. Этим уйти некуда, как и вечности, над вами отсчитывающей ваши минуты.

Справа таинственный в темноте утес с редкими огнями, змеевидными их отражениями в воде порта — Монако, город и дворец принца здешнего, крепость генуэзских времен.

Слева россыпь огней побережья чаще, веселей и лучистее — Рокебрюн, Кап Мартен, и направо, совсем вдали, огоньки чуть струящиеся: Бордигера — Италия.

В дальнем море две слабых звезды, идет корабль. В Геную или из Генуи? Если долго следить, то конечно различишь, вправо ли, влево. Но во всяком случае скоро он вовсе исчезнет. Олеандровый куст цветущий за твоею скамейкой. Кратко все, кратко! То летейское чувство, что есть и в Венеции.



Спускаясь мимо почты вниз, выходишь к старому порту Монако («порт Геркулеса»). Направо, в узком и крутом живописнейшем ущелье Гомат за аркадами, по которым проходят поезда, стоит изящно-остроугольная церковка св. Девоты, покровительницы Монако и Монте-Карло.[3] Место удивительное. Справа и слева чуть не отвесные скалы, на них дома, ступени лестницы возводят ввысь, темно-лиловые бугенвиллии[4] коврами украшают скалы.

Церковка всегда открыта. Полутьма в глубине входной двери, ряды сидений, статуи святых, над главным алтарем сама Дева-мученица, св. Девота. В правой руке держит пальмовую ветвь, на левой сидит голубка.

Сюда можно придти — и особенно в тяжелые минуты — посидеть в тишине, молчании. Вот уж где нет летейского! Не только ничто не проходит, но все вечно. «Бог есть любовь», — сказал Апостол. Здесь излучается она. И она вечна.

Тысяча шестьсот лет тому назад была на Корсике замучена, в гонении Диоклетиана, девушка — почти девочка — Девота, за бесстрашное исповедание этой истины: «Бог есть любовь», «Христос есть Бог». Ее житие рассказывает, что священник Беннат и диакон Аполлоний выкупили тело ее, набальзамировали и в ладье старого рыбака Грациана решили вывезти в Африку. В море поднялась непогода. Грациан сколько мог боролся, наконец, истомленный, задремал. Ему явилась во сне Девота и велела изменить направление. Проснувшись, он взялся за руль, повернул на север. Белая голубка, вылетевшая из уст Девоты в момент смерти, тотчас появилась впереди ладьи — повела ее к берегам Галлии.

Остальное понятно. Ладья причалила в том самом голубом порту, где стоят теперь английские и американские яхты, лодочки белеют рядами по лазури и с утра до вечера прыгают из купальни в воду, плавают, плещутся монегасские мальчишки и девицы, являя все изящество своего финикийско-греческо-итальянского происхождения. Останки мученицы погребли в устье гоматовского ущелья и чрез века, чрез ряд сменявшихся строений дошла до нас и эта (новая) церковка.

Дева Девота — покровительница Монте-Карло. Не той толпы международной, что приливает-отливает в Казино, не подозревая о святыне. Но ведь тут есть и народ, местные жители, не из одних же полоумных старух и рулетки состоит Монте-Карло. Много здесь тружеников, тружениц, поколениями возраставших в этой сияющей полутропической стране — для них нужна и близка святыня. Девота родная им. И заходя в церковь среди дня ли, к вечеру, всегда видишь несколько молящихся, из здешних.

26 января, накануне дня св. Девоты, после утренней мессы в присутствии княжеской семьи и властей с паперти церкви св. Девоты дается отпущение всем жертвам моря, всем в нем погибшим — святая почитается и покровительницей мореходов. Вечером с тем же торжеством совершается служба. После нее князь Монакский поджигает символическую ладью на площади перед церковью. Палят пушки, музыка исполняет монегасский гимн. А на другой день богослужение в соборе и крестный ход с останками Девы в золотой раке.



На скамейках камамбера много примелькавшихся лиц, но вечерам это вроде клуба. Пожилой невеселый человек с огромно-разросшимся

носом — вечный облик печального уродства. Итальянская дама — всегда в разговорах. Упитанный немец в коричневой фуфайке без рукавов, похожий на колбасника. Ирландец с дьяболическим профилем, истомленным лицом, стеклянными глазами. Мало ли еще других... Сидят-сидят, разговаривают, зайдут в Казино — поиграют. Ирландец изобретет еще одну систему. Но главное — разговоры.

Монте-Карло притягивает одиноких. У кого есть возможность жить не трудясь, хотя бы и скромно, кто все видел в жизни, ко всему охладел, тот может, действительно, создать себе здесь некое летейское бытие, бесплотно-беспечальное. Вертится рулеточный шарик, ловко двигаются по столу лопаточки с рукоятками, загребающие жетоны, маленький выигрыш, маленький проигрыш. Деньги приходят, деньги уходят, люди являются — исчезают. Днем солнце, пальмы, кактусы, горы и синяя скатерть моря, днем газета, бар, вечером болтовня со знакомыми на камамбере, легкие знакомства с приезжими, ничем не обязывающие, нетрудно, навсегда обрывающиеся.

Только монструозные старухи ни с кем не разговаривают. Молчаливо приходят, молчаливо уходят. Под открытым небом рядом в кафе «Де Пари» музыка играет ламбет-уок, танец этого лета, и всегдашние пары вытанцовывают свое — тоже вечная человеческая карусель.

Двенадцатый час ночи. Трогаемся домой. От Казино вверх два ряда пальм и мелколиственных дерев. Между ними цветник. Аллеи обсажены зелеными кустами. Нынче изнутри сияют они золотом электричества — зеленовато-золотистые кусты, очень красиво.

Впереди на тонких ногах старуха в пестрой шляпе. Медленно будет она вползать к себе наверх. Одну такую два года назад убили у самого ее дома, в глухом переулке — надеялись поживиться выигрышем... Взяли, кажется, пятьдесят франков.



Если идти вниз по бульвару Пейрера, то направо сквозь решетки будет мелькать внизу голубая чаша порта — удивителен цвет воды его, темно-голубовато-зеленый, с белой россыпью лодочек по нем. Бульвар Пейрера молчалив, аристократичен. Вся левая сторона в виллах миллионных, в пальмовых садах, рощах фикусов. В одном месте фикусы эти с двух сторон улицы соединяются верхушками — в светлоогненный день Монте-Карло проходишь под навесом их в защите. Вообще фикусы, их глянцевитые, жирные и тяжелые листья, гладкие стволы — иной раз снизу тянутся еще какие-то подсобные трубки, сращаясь наверху с ветвями главными, — это тропическое древо изобильно здесь. На всем Монте-Карло лежит отблеск лакированных его листьев. А кактусы! Гигантские уроды в саду Казино, где так хорошо

сидеть в солнечный полдень, любуясь из-под тени медленною, ослепительной и замирающей жизнью вокруг, и подняв глаза — увидать над собой и эдемом сразу горы, в эфирном куреве.

Красота разлита здесь повсюду. Она заливает странное место это, где всегда несколько бываешь возбужден, где легко быть и почти в восторженности, и глубоко горестным.

«Прельщение» златисто опоясывает рай усталых и одиноких, но и угол древнейшей благородной страны с великими духовными традициями. Не только св. Девота — в нескольких верстах от Монте-Карло, в горах, среди дивного леса и аббатство Лаге[5] с чудотворною статуей Св. Девы — тысячи верующих только что совершили туда странствие в дни сентября. А в городке Рокебрюн с 1467 года каждое 6-е августа знаменитые Пассии, Страсти Христовы, разыгрываются на средневековых улочках жителями городка, по обету предков, во избавление от чумы.



Сухой жар. Часа в четыре, спускаясь к порту, видишь в легком свете, стеклянно-дымном реянии монте-карловские разноцветные дома, повисшие над оврагом Гомат и св. Девотой почти мозаичным ковром. Так все круто! Дом над домом, издали кажется, что все они в одной плоскости, на гигантском стоячем полотне многоцветно раскрашены.

Набережная порта — ряд низеньких остро-зеленых сосенок, полукругов. За ними второй полукруг цветущих розовых олеандров — двумя гирляндами этими опоясан порт, полный детского визга купающихся, света, белых парусов, баканов[6] на лазурной воде, где греются забронзовевшие монегаски. Чертогообразная гора над портом и пестрой крутизной домов — в тончайшем златистом эфире.

Из туннеля не торопясь выбегают в положенное время поезда, отсчитывая нам часы. Один в половине пятого, другой в шесть — «и куда-то вдаль уходящие поезда» — как уходит ежеминутно обольщающий этот мир.



Одиннадцать вечера. Сад гигантских фикусов, пальм, кактусов, с лилиями посреди, в озерце. Никого уже нет. Из кафе «Де Пари» долетает ламбет-уок. Под его напев пары, целые шеренги раскачиваются, слегка приплясывают, в некий момент под музыку хором вскрикивают.

Это все сзади. Пред глазами же темнота сада ночного и над ним странное зрелище: розовато дымится вершина горы. Иногда огонь ярче вспыхивает, перебегает блестящей искрою дальше — занялись новые сосны — потом опять тише.

Горят леса над Монте-Карло. Знаешь, что огонь не дойдет, ну, а если бы дошел да попалил? Вот неподходящее для Монте-Карло дело! Но и для Помпеи было мало подходящее... Может быть, тоже долго курился Везувий дымно-розовым, а потом как ахнул...

Мне отшельник один говорил, сиреневым, предгрозовым вечером, глядя на гору Афон:

— Люблю, люблю! Прямо скажу. Вижу всю красоту, прелесть... Удивительная красота... Знаю, что рухнет, завтра в огне Господнем, может, сгорит, по трубе Архангела... а люблю. И жалко.

Завтра место это на вершине, где сейчас пожар, станет голым, лиловым, с догорающими пнями. Но сейчас зарево его таинственно... Леса горят над Монте-Карло!

ПАССИ. ЗАМЕТКИ

...Хозяина не было. Он запоздал. Я прошел в довольно большую гостиную, светлую комнату. Тихо, тепло, по ковру ступаешь бесшумно. Приятно такое безмолвие... Приятно, что много книг на библиотечных полках. В этом простенке немецкая литература, там итальянская.

Какие знакомые книги! Будто часть прежней жизни. Вентури, Вазари в белых пергаментных переплетах, Петрарка, Скартаццини.[1] Бедный Скартаццини, он на этой энциклопедии своей, кажется, потерял глаза. И под конец с горечью признался — всю жизнь кумиру своему отдавший! — что «задыхается под бременем литературы».

Сиамский кот подошел сзади, потерся мордочкой о руку. Какой азиат! Шерсть упругая, лоснящаяся, мышиного цвета и удивительные топазовые глаза. Он подошел к двери на балкон и тоже рассматривает Париж с этого холма Пасси. В бледном окне и для кота, и для меня равно туманен обелиск Эйфелевой башни. Верхушка ее в облаках, то выплывает, то уходит. И совсем ушел в теплую молочность дальний Париж, заречный.

Но полка книг... Смотрю на нее с нежностью, грустью. Хвала миру далекому, юношески-идиллическому! Все это читано. Италия, свет, красота, искусство... всегда хвала. Милый туман, сквозь который не видели мы жизни. Или, пожалуй, счастье ее, высшая прелесть так представлялись: сидеть в солнечный день на бессмертных высотах Фиезоле, вдыхать голубую Тоскану. И ничего больше нет.

А потом все перебуравилось. Ну что же, может быть, и нас заново перепахали.

Но Тоскане, *тому, прежнему* — память всегдашняя. Нежная память.

❖ ❖ ❖

Я был впервые в Париже юношей, довольно робким и «деревенщиной». Мы жили в отеле-пансионе на rue Notre Dame des Champs. И сейчас, проходя мимо этого особняка, всегда вспоминаю те времена.

Мы ездили от Одеона на верхушке омнибуса, четверней. Метро было только круговое да поперечное. Дамы носили длинные платья, плоские большие шляпы. Красноносые извозчики в цилиндрах переругивались с козел, хлопали бичами. Почти не было автомобилей. И Париж все-таки подавлял и пугал. Place de la Concorde в сущности была пустынна. Проезжал фиакр, дама, подбирая подол платья, переходила ее, изредка пыхтел и дымил смешной для теперешнего глаза высокий автомобиль.

А казалось все это после Притыкина и Москвы каким-то адовым пеклом, Левиафаном. (Впрочем, в Москве уже существовали молодые урбанисты, выработки покойного Брюсова. В воображении у них по родным Козихам, Вшивым горкам, «мчались омнибусы, кэбы и автомобили»[2]).

Пасси в то время очень отличалось от теперешнего. Мало было новых домов. Rue du Colonnel-Bonnet неузнаваема, Avenue St.-Philibert также. На rue Renoyard в старомодном отеле жил Метерлинк.[3] И сама rue Renoyard, которую вернее было бы назвать «рю Бальзак», была еще тише, глуше, чем теперь. В Пасси и сейчас есть такая «несовременность». Отблески закатов на rue Renoyard напоминают арбатские закаты — тоже молодость нашу.

Недалеко от Метерлинка, на rue Singer обитал Бальмонт. Мы бывали у него на шестом этаже, я помню из окон кабинета голубой майский Париж, высоты Медона, леса и Париж вечерний, в мягких, переливающихся огнях.

А рядом с нами, на rue Notre-Dame des Champs, угасал Гюисманс.[4] Символизм ровным и, казалось, незыблемым облаком стоял тогда над Парижем, Пасси, над Латинским кварталом... и даже над деревенской Москвой. Долго ли простоял — неизвестно. Во всяком случае, война грянула. Мир изменился. Новые люди пришли вместо Метерлинков, Верхарнов, мечтательных Роденбахов.[5] Покрепче люди и погрубее... Сады Пасси застроились. Еще уединенно это место, еще есть в нем оттенок сороковых годов, но недалек час, когда камень окончательно победит зелень.

Сожалеть о прошлом, вздыхать? Мы попали в особенную эпоху. Любить ее трудно. Бояться не следует. Надеяться — также. Спокойно жить, стараясь не потерять мужества в потоке поднявшегося «среднечеловека», идущего сплошною массой. Он хочет жить, радоваться, раз-

влекаться. Его идеальный представитель, представитель зашевелившихся миллионов, не желает высшей математики. Он прав, конечно.

Высшая же математика не может ему сдаться. Да и никому не сдастся. Но не побоится одиночества.



Впрочем, французская литература держится с упорством удивительным. Латинский мир крепок. Всегда он отчаянно сопротивлялся варварству. Это приятно видеть. Порядок и мера, воспитанность, вкус, — то, чего мало у русских, не может не радовать в бесконечно нам чуждом латинце — правда, радостью холодноватой. Спасибо на всём, что не хам.

Бальзак, казалось бы, несколько особенно, не французского склада писатель. Какая мера? Где вкус и воспитанность? — Тем не менее, Бальзак очень коренной человек во французской литературе. Самоновейший Мориак считает его основателем «логического» романа, внешне-психологического — и противопоставляет Достоевскому.[6] (А у нас-то всегда подчеркивали, что Бальзак влиял на Достоевского!) Поль Бурже — вот, оказывается, детище Бальзака.[7]

Не стану в это вдаваться. Вспомнил Бальзака сейчас потому, что он жизнью своей связан с Пасси — там и музей его,[8] где только что пришлось побывать.

Музей занимает квартирку, которую некогда Бальзак снимал. Она во дворе, по-нашему флигель. (И Флобер жил под Руаном в таком «павильоне», и Чехов работал в мелиховском флигеле... и у кого еще их не было!)

Первая комната, куда входишь, спальня. Затем салон и кабинет. Окна в садик. Там, в зеленой нише, бюст Бальзака. Как во всех таких музеях — фотографии, книги, реликвии одежды, обстановки. Музей очень беден. Куда больше собрали провансальцы в Арле о Мистрале! Но там *областной* герой, у провинциалов всегда больше любви к своим сынам. Париж громаден, равнодушен. Во времена Бальзака он уже был равнодушен и для мира того времени — уже Левиафан, хотя тогда в Пасси, конечно, пели соловьи, в Бальзаков кабинет, одним углом глядящий на Сену, шло утреннее благоухание садов прибережных, и за рекой не громоздились еще ни Эйфели, ни Ситроены. Надо признать: тихо, поэтически-романтично (а зимой холодно!) было в этих трех комнатках, за которые хозяин платил шестьсот франков в год, и откуда узеньким коридорчиком (его, улыбаясь, показывает и сейчас смотрительница) удирал в трудную минуту от кредиторов.

В кабинете стол, кресло, книжные шкафы, Распятие над камином. Все старое, благородно обветшалое, такое простое. В шкафу куколки —

тоже нехитрые: их Бальзак любил класть на письменный стол при работе. Основатель «логического» и «разумного» романа был, конечно, величайший фантасмагорист. «Je suis né pour l'amour impossible»[9] — он молился Распятому и одновременно верил в благоволение малых фетишей. Вместо Рембрандта, купить которого не был в состоянии, повесил в кабинете рамку и на пустом месте в ней написал: «Рембрандт». Мечтать о несуществующем Рембрандте никто уж не мог ему запретить.

Музей небогат, но его воздух настоян прошлым, вводит в сороковые годы и в «бальзаковское», т. е. в ту странную и для Франции вообще неподходящую стихию, которую несмотря ни на какие «логические» романы, следует назвать романтизмом. Бедность, гордость, одиночество, мечтательность... — домик в Пасси. Кому из пишущих все это чуждо?

ОТЕЙЛЬ

Годы и годы, чужая земля. Каштаны на улице Клод Лоррен, уединенность Буало, сады Шардон-Лагаш — все длинней полоса жизни в Отейль. Радости малые и большие, горести большие и малые уже связаны с этими тихими краями. Что-то они в нас вносят. Что-то и мы им даем. Может быть, от ежедневных наших прохождений не совсем уж те улицы, и мы не совсем те — от них. Друг на друга влияем, как влияли на эти края целые поколения до нас живших, как на них некогда влияли свежие рощи и виноградинки Отейля.

Почитание прошлого! Не слепое ему подражание, не путы. Чувство движения, но и вечной правды каждого времени, «преждепочивших отцов и братий» — всегдашнее единство бытия, текучего, плывучего, «реки времен».

И вот не спеша развертываем летописи благородных мест.



Леса по холмам Сены — дубы, буки, вероятно, липа и осина. На теперешней rue La Fontaine алтари друидов. Гигантские плоские камни дольменов, камни, лежащие горизонтально на подставках, как шапки грибов, может быть на том самом месте, где живет сейчас московская Надежда Андревна.

Июнь. Жары, ливни. Бритый Лабиен, лучший военачальник Цезаря, останавливается лагерем у Шатле. Он послан завоевать Лютецию. На Сен-Мишель, за рекою, седобородый Камулоген со своими галла-

ми. Открыто перейти Сену Лабиен не решается. Во время ночной грозы римляне незаметно от галлов идут берегом по течению реки, мимо теперешнего Трокадеро к нам в Отейль. У моста Мирабо переправляются — на «линтрах», плоскодонных дубовых ладьях из цельного дерева.

Утром на равнинах Гренелль, где живет сейчас, скажем, калужская Мария Яковлевна, Лабиен разбил Камулогена, несмотря на придуманный стариком треугольный строй, несмотря на всю храбрость, на весь порыв галлов. Бритые одолели небритых: за ними шел Рим, культура.

Рим вытеснил друидические дольмены. Он их не разорял — никогда не боролся с местными религиями (дрогнул лишь перед всемирною) — они ушли сами.

Рим открыл железистые воды в Отейль и провел акведуки по берегу Сены, вдоль теперешнего Cours Albert I, где тоже поселились сейчас русские. Акведуки шли в город Лютецию у С.-Мишель — там римляне завели первое в Париже водолечебное учреждение.

Но самая деревушка Отейль появилась в VI веке, уже при христианстве, после Св. Женевьевы.

В Лютеции становилось тесно. Вырубили лес, где Трокадеро, основали селение Нижон, а из Нижона еще на юг выделились некоторые, образовали выселки Authueil (от слова altitude — высота, а не от латинского altare — алтарь друидов, как раньше полагали). Вот какая древность за нашей деревней! Уже в двенадцатом веке образовался приход отейльской церкви. Монахи ордена св. Женевьевы владели склонами виноградников и рощ к Сене, изготовляли в изобилии вино, снабжали им капитул Нотр-Дам и даже вывозили в Данию. В середине тринадцатого века они отменили у себя крепостное право. Воспитывали детей. Призревали стариков, старух. И сейчас на avenue de Versailles можно прочесть: «A Dieu dans ses pauvres» * — надпись на благотворительном учреждении. Все это связано со стариной. И проходя по Шардон-Лагаш мимо тенистых садов, где изящные корпуса полны богаделенками, не будем забывать, что корни этих дел в веках, в благочестивом милосердии далеких «женевьевцев». Также школы по левой стороне, в садах — отзвук тех школ, что в незапамятные времена насаждала Церковь.

В столетнюю войну Отейль разоряли и грабили сколько хотели. Леса вокруг кишели шайками разбойников. Тот самый Дюгеклен,[1] кому поставлен сейчас памятник, и в чью честь назван ресторан на Монпарнассе, знаменитый устрицами и лангустами, — этот почтенный Дюгеклен освободил окрестности от банд, водворил мир.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Богу — в Его бедных (*фр.*).

И вот в средние века, к Ренессансу, Отейль таков: центр его — церковь с романской колокольней и при ней сеньериальный дом. Рядом нынешняя rue d'Auteuil, тогда «Большая улица». Avenue de Versailles называлась «Прибрежной», а rue Boileau, на углу которой пишутся эти строки — route des Garennes, она вела к кроличьим садкам и к Суду прежнего Отейля. Суд был неласковый, вблизи него виселица (недалеко от дома, где еще в прошлом году жил парижский палач).

Генрих IV имел некое отношение к Отейлю. Людовик же XIII приезжал сюда, как на дачу. Его врач записал в дневнике: «Король сел на коня... ловил рыбу в садке г. де Броэ, на Большой улице... разорял гнезда дроздов у него в саду... купался на острове Макерель... обедал у г. Куанье, в Отейль... убил двух волков в лесу».

Одним словом, провел веселый день.



В семнадцатом веке Отейль оказался весьма литературным местом. Тишина, красота, дешевизна, видимо, привлекали писателей. «Я хотел бы, чтобы вы увидали Отейль во всем его блеске, т. е. при солнце, достойном июня», — писал Буало президенту Ламуаньяну.[2]

Люди нашей профессии издавна ценили спокойствие. Горацию Меценат подарил виллу под Римом, и поэт охотно жил там, воспевал природу. Петрарка любил уединение Воклюза. Бембо[3] писал стихи близ Падуи, в неплохом поместье, украшенном античными статуями, фресками и редкостными манускриптами. Да и наш Тургенев процветал в Спасском, где в его библиотеке было пять тысяч томов.

Мольер, Расин и Буало прославили Отейль. На доме номер 2 по rue d'Auteuil прибита доска с надписью: «Тут жил Мольер». Здесь, как признавался он Буало, читал Мольер вслух только что написанные комедии своей кухарке, и по ее впечатлению судил, как примет публика. Тут принимал и друзей — через улицу, на месте, где сейчас школа Жан Батиста Сэя,[4] поселился Расин, несколько далее — Буало. У Мольера собирались, кроме упомянутых, Люлли,[5] Миньяр,[6] Шапелль[7] и др. Он устраивал обеды с обильной выпивкой. Деревня, солнце, чудесные сады, местное неплохое вино... — обеды бывали веселые.

В то милое время отейльский священник мог еще запрещать бражничать в бистро и кабаках во время мессы. Церковь была рядом. Но выбирали часы поудобнее, и иной раз так напивались, что однажды, среди ночи, когда сам Мольер лег наверху отдохнуть, гости вдруг решили все скопом идти топиться в Сене. Мольер уговорил их, однако, подождать до утра.

Рядом с Мольером жила актриса Шаммеле,[8] подруга Расина. И она, и знаменитая Нинон де Ланкло[9] заседали не редко с поэтами в кабачке,

сохранившемся и поныне (25, rue d'Auteuil) — сейчас это скромное бистро, и среди мелких служащих, торговок с рынка, каменщиков, заходящих сюда выпить un coup de blanc*, вряд ли кто знает, что некогда тут сиживали и играли в карты люди познатнее. Дом, двухэтажный, маленький, сохранился — он зажат, как бы затерт соседями, и смотрит почти прямо в rue des Perchamps — древнейший закоулок Отейля, с убогой булыжной мостовой.

Несколько далее по rue d'Auteuil ресторан «Mouton Blanc» — тоже место высоколитературное. Входя в помещение, заново отделанное (но сохранившее на вывеске и на меню векового барашка), сразу видишь, налево, старинную картину: Мольер читает друзьям вслух «Мизантропа» — в этом же самом учреждении. Картина подновлена, дом подновлен, и все-таки в быту, в столе его сохранилась традиция — солидности, хорошей кухни, давней культуры.



Из трех литературных знаменитостей XVIII века наиболее подходил для Отейля Буало. Расин оказался слишком сложен, сумрачен и пронзителен. Лишь молодые годы его, полные двусмысленностей, проведенные «в безумстве гибельной свободы», в страстях, грехе — отчасти связаны с Отейлем. Позже он удалился отсюда. Вторая, наиболее скорбная часть его жизни, резиньяция и отказ от поэзии — прошли в других местах. Мольер слишком странник и слишком человек кулис, театра, чтобы укрепиться тут. Но вот Буало для Отейля — истинный genius loci**. Когда из «Mouton Blanc» неторопливо идешь домой по rue Boileau и поравняешься с домом номер 26, где сейчас пансион для девиц (жилище сохранило, несмотря на «освежение», некий давний уют), — ясно представляешь, как пристало жить на этой тихой улице «учителю» литературы.

Небольшая калитка в стене ведет во двор. Плющ украшает ее, в глубине тоже видны его трельяжи. Все, разумеется, было не так при хозяине, но трельяжи, наверное, существовали. Прямая лестница вела в первый этаж; в глубине большой сад, где жил Рике, садовник, и росли знаменитые каштаны. Их только что ввезли тогда во Францию из Индии. Каштаны в саду Буало были первые по времени в Отейле.

Нешумный дом, нешумные места, жизнь уединенная, но обеспеченная, мещански-правильная, без особой углубленности и не без педантизма — чего больше и нужно для Буало? Он был далек от страстей.

* Глоток белого (*фр.*).

** Гений места (дух-покровитель) (*лат.*).

Любовь не играла в его жизни роли. В литературе, как в саду, наводил он порядок, чистил, подметал, сооружал разные заборы, через которые перелезать нельзя. Единство времени, места и действия — попробуй написать пьесу в формах Шекспира — школьный учитель Буало поставит неудовлетворительную отметку.

Здравый смысл, рассудочность, латинская геометрия в литературе. Душа небольшая и подстриженная. Сам он поэтом не был, хотя стихи писал. Обладал безукоризненным вкусом, мерой, насмешливою толковостью. И современную ему литературу очищал. Впоследствии из его правил сделали школьный катехизис. А при жизни он поддерживал и выдвигал кого следует — того же друга своего Расина. А кого не следует, претенциозных «малых сих», — топил. Все замечательные критики всегда так поступали.

Он прожил тут лет двадцать. Был женат, но жена бесцветно прозябала при нем и бесцветно угасла. Кажется, он и сам не заметил ее смерти: некогда было. Отвлекали книги и рукописи. Он любил поесть — но в меру. Выпить — но не как Мольер и его друзья. Оттого, может быть, и пережил их. Очень любил Расина, и когда тот умер, сильно ощутил одиночество и горестность.

Вообще, старость этого записного словесника была холодна, печальна. Никем она не согревалась. И опять — зеленый Отейль, его сады, каштаны, меланхолический звон отейльской колокольни так убедительно и подходяще говорили о медленной, неотвратимой проходимости.

Но умер Буало в Париже. Он был уже академиком, как и Расин — историографом короля. Начинался новый, XVII век, которому не был он близок.

Этот новый век оказался не меньшей, а гораздо большей славой нашего Отейля.



Позавтракав в «Mouton Blanc», выйдя на rue d'Auteuil, полную сейчас весеннего трепета, отсвета облаков, с пролетающим нервным ветром (говорящим об улыбке, о счастии...), увидишь наискосок дом номер 45—47.

Это старый отель Отейля. Выстроен в виде покоя, боковые его павильоны более новые. Решетка в плюще, в отделке гирлянды цветов и фруктов. Маленькие колонки по крыше.

В начале XVIII века принадлежал он мадемуазель Антье,[10] оперной певице, примадонне, не имевшей соперниц за все тридцать лет своего пения. Она вышла замуж за «инспектора соляных промыслов» Дорва-

ля, и в своем отличном доме завела первый настоящий салон Отейля, появлялись знаменитости артистического мира, финансового, света. В парке за отелем задавала весною и летом грандиозные балы — танцевали до рассвета.

Затем отель купили актрисы, сестры Деверриер, Женевьева и Мария.[11] Они продолжали блестящую и нарядную жизнь Антье. Тоже салон, тоже балы и праздники. В саду устроили отличный театр на несколько сот человек. Подземный ход соединяет его с отелем, так что в дурную погоду можно было проходить под парком, чуть не во всю его длину, этой галереей.

Ставились пьесы Калардо,[12] Мариво.[13] С большим успехом шла «Охота Генриха IV»,[14] которую запрещали играть в открытых театрах. Президент Салабери,[15] исполнявший главную роль, поражал сходством с королем. Составилась и целая труппа любительская, неплохого состава: Мориц Саксонский,[16] Вольтер, маркиз дю Шатле.[17] Лагарп[18] писал для них комедии, а Мария Деверриер разводила романы — сперва с Мармонтелем,[19] но затем предпочла Морица Саксонского (трудно писателю соперничать со знаменитым полководцем и немалого богатства человеком!). Здесь же написал Латур[20] портреты Морица Саксонского, королевы, Бюффона,[21] Вольтера: с давних времен мог гордиться наш Отейль знаменитостями.

Дом и усадьба маркизы де Буффлерс[22] находились тоже вблизи, у теперешней rue Raffet и Porto d'Auteuil (вся эта местность в то время — сплошные сады!). Маркиза, вдова, любительница поговорить, трижды в неделю устраивала большие ужины, а к обеду ежедневно собиралось у нее десять, пятнадцать человек. Она была умна, остра, капризна. Графиня Амелия,[23] ее невестка, не менее подходила для салонных занятий — особенно отличалась она остроумием. Маркиза прожила долго — даже ослепнув, продолжала разговаривать, и наговорилась, вероятно, за свою жизнь досыта. В семьдесят три года сохраняла еще бодрость. И она, и невестка, обе попали прямо из салонов в революционную тюрьму. Их спас от гильотины знакомый аббат, добившийся у Фукье Тэнвилля[24] затяжки дела до конца террора.

Буффлерс-мать умерла в 1800 г. Амелия пережила ее. В революцию вполне разорилась, должна была снимать дешевую квартирку на rue d'Auteuil (номер 14, небольшой старинный дом, хорошо сохранившийся), у прежнего своего повара. Испытала все, что полагается в такие времена: тюрьму, угрозу, смерти, разорение. Старость ее согрели две верные горничные, «дамы Морта и Мартен», ухаживающие за некогда блестящей госпожой: кормили, одевали ее из своих сбережений и плодом скромных своих трудов.

✣ ✣ ✣

Рядом со старинным отелем Антье Деверриер теперь кинематограф «Mozart-Palace». На тротуаре перед выставленными его афишами глазеют дети, барышни. Вечером очередь к кассе. Подъезжают такси. Слышна русская речь.

Ничего не осталось от отеля Латура, стоявшего на этом месте! — да и вообще вокруг все другое. Небольшая площадь в платанах, на ней рынок. Платаны не те, широкозадые торговки в шерстяных вязаных шапочках, с загорелыми лицами, поражающие здоровьем и силой, в коротких юбках и грубой обуви — тоже не те. Даже фонтан Отейля, куда приезжал из Мюэтт сам король, — и фонтан по-другому сейчас обделан. И бистро не было, куда заходят торговки глотнуть аперитивчика.

Дом, уступивший место театру теней, сам стал тенью: но знаменитою. На большой славе поднялся «Mozart-Palace».



Эта слава связана с именем Анны Гельвециус,[25] сменившей Латура, жены известного философа-материалиста. Барон Гельвециус[26] сначала служил, потом бросил службу, занялся литературой. Женился на Анне де Линьивилль. Вел жизнь скептического мудреца, но человек был (как и жена) достойный, ясный, исполненный благожелания. В Воре, деревне, где они провели ряд лет, супруги Гельвециус оставили добрый след: помогали бедным, заступались за них, лечили. Веря в бессмыслицу мироздания, бессознательно влеклись именно к смыслу, к добру. В Париже открыли салон. Все светила тогдашние встречались у них. А когда умер барон, Анна Гельвециус перебралась в наш Отейль. Купила дом живописца Латура и перенесла сюда весь дух парижского своего салона.

Салоны бывали разные. В одних дамы занимались рукоделием (выщипывали золотые нитки из парчи), в других сплетничали, в третьих принимали по одним дням художников, по другим писателей и т. д.

В некоторых усиленно флиртовали. У г-жи Гельвециус — беседовали, не педантично, но и не о пустяках. «Вчера мы разговаривали в Отейле об искусстве, поэзии, философии и любви.. о пространстве, о времени... о смерти и жизни». То время не знало публичных лекций. Их заменяли чинные, по очереди произносимые рассуждения в салонах. Может быть, это напоминало маленькие дворы итальянского ренессанса, плавные и велеречивые излияния где-нибудь в Урбино перед герцогиней Елизаветой. Г-жа Гельвециус не походила на легкомысленную

даму XVIII века. Напротив, царя в своем салоне, вносила в него порядочность и скромность, ум, образование, изящество. Была несколько сентиментальна. Спальня ее выходила в сад. Над балконом этой спальни склонялась белая акация в цветах. Здесь любила она кормить птиц, играла с отейльскими детьми, заставляла их читать басни Лафонтена. Возилась с ангорскими козами. Разводила в парке рододендры, гортензии, гранаты. В глубине шла аллея старых лип, там в небольшом павильоне жил приемный ее сын, хрупкий Кабанис.[27]

Если сказано про Отейль, что нигде во Франции не собиралось в небольшом месте столько знаменитостей, то к отелю г-жи Гельвециус больше всего это относится. Кто только не посещал ее! Вольтер, Даламбер, Тюрго, Кондильяк, Дидро, Мальзерб, Гудон, Франклин, Шатобриан (тогда юный офицер), Кондорсе, Андрэ Шенье, мадам Ролан, Мирабо[28] — и сам Наполеон.

Прелестны черты ее отношений с Франклином.[29] Ему шел уже семьдесят второй год. Он жил в Пасси, на теперешней rue Raynouard. Несмотря на возраст, питал к ней нежные чувства — два-три раза в неделю выходил из дому, с тростью, степенно спускался на rue La Fontaine, беседовал с детьми, со встречными крестьянами — Франклин отличался удивительной обходительностью и деликатностью — и направлялся к обеду г-жи Гельвециус. За столом, приходил ли он или нет, его всегда ждал прибор. Г-жа Гельвециус сама была уже немолода, за пятьдесят.

Ей приходилось сдерживать его признания — и все-таки он сделал ей предложение. Ответа ждал с юношеским волнением. Ответ оказался отрицательным. У него хватило благородства и любви тихо стерпеть поражение, нанесенное милыми руками той, кого он называл «Notre Dame d'Auteuil» *.

Эта amitie amoureuse ** тянулась долго — и так не подходила к веку «прямого действия» в любви! Франклин, выполнив государственную свою миссию, должен был уезжать. Он чувствовал, что никогда больше не увидит г-жу Гельвециус. Оба плакали, расставаясь. Франклину нездоровилось. Королева предложила ему собственный паланкин — в нем он и совершил путешествие до Гавра. В первом же его письме Вольнею[30] из Америки есть строки: «Напишите мне об отейльской Академии изящной словесности, о нашей милой Даме, которую все мы любим, и память о которой я благословлю до последнего своего вздоха». А ей он писал так: «Простираю к вам руки чрез безмерность морей, разделяющих нас, ожидая минуты, когда, твердо надеюсь, я поцелую вас на небе».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Дама Отейля (*фр.*).

** Любовь-дружба (*фр.*).

❖ ❖ ❖

Салон г-жи Гельвециус до некоторой степени подготовлял революцию — там зарождались и зрели ее идеи. И г-жа Гельвециус довольно спокойно пережила террор, — ее не тронули. Ее «приемный сын» Кабанис, молодой врач и ученый, живший у ней в парке, и с которым у нее были нежные и полуматеринские отношения, занимал даже должность отейльского мэра. (Надо думать, что разгром приходской церкви произошел без его участия). Но Кондорсе,[31] один из друзей ее, не уцелел. Он тоже жил в Отейле (№ 2, rue d'Auteuil). В некую минуту ему пришлось бежать, он укрывался одну ночь у г-жи Гельвециус, кое у кого из друзей в Париже. Тщетно Кабанис пытался спасти его. Из Парижа Кондорсе бросился в Фонтене к академику Сюару,[32] прося укрыть его. Сюар отнесся к нему холодно, и Кондорсе ушел в Кламар. Там ночевал в каменоломнях, там был арестован. Умер он с достоинством, как подобает — отравился в тюрьме в Бурларене, принял яд, который дал ему Кабанис (хранил его в оправе перстня).

Г-жа Гельвециус пережила революцию, но не вошла в новый век: умерла в 1800 г. Ее могила близко от меня, на кладбище Клод Лоррен.

Это тихое, небольшое и аристократическое кладбище как раз основано на пороге XIX века мэром Отейля Бенуа. Г-жа Гельвециус легла на нем одной из первых. На могильной, серой плите названа она милым франклиновым именем «Notre Dame d'Auteuil». Недалеко от нее, в тени кипарисов соседнего погребения, могила семьи Кабаниса (г-жа Гельвециус женила его) — жена погребена рядом с сердцем изящного, слабого и болезненного Кабаниса. Деревцо с колючими листьями, вроде терновника, посажено в ограде его могилы. И как-то хорошо, что они все лежат вместе. Быть может, только Франклина недостает, ждущего загробного поцелуя.



«16 ноября 1793 года церковь закрыли, священные сосуды взяли со всеми украшениями, и всё вплоть до деревянной резьбы вынесли из ризницы», — так горестно записал аббат Вашальд, настоятель отейльского прихода. Незадолго до того он сам подвергся оскорблениям во время похорон. (От потрясений революции заболел нервно и умер в больнице.)

Отейльская церковь заложена в 1319 году, романская ее колокольня окружалась четырьмя меньшими колоколенками. Вокруг вековые деревья, кладбище, дом священника, виноградники по склонам к Сене. Революции трудно было стерпеть все это. Церковь захватили, обратили в клуб, затем в овин. Все, что смогли, разграбили, картины и богослужебные книги сожгли на площади. (А папский нунций вел в это

время жизнь бродяги, скрывался в Булонском лесу, а иногда заходил в Отейль и в холодное время ночевал из милости в танцульке.)

Все это имело свои причины. История шла обычным ходом.

К концу XVIII века ослабел и как-то охладился католицизм. Возрождение сыграло свою роль. Монастыри стали пустеть, в оставшихся часто водворялись нравы полусветские. «Веселый» век (кончавшийся трагически) гасил религиозный пыл. Появились скептические аббаты, политиканы и разговорщики по салонам, любители древности, иногда знатоки классической поэзия. исследователи «местоположения виллы Горация» и т. п. Долго так продолжаться не могло. Политический строй Франции оказался совсем непрочным. Пришла революция — некая расплата, некое напоминание — и начали страдать отейльские церкви и папские нунции. Пролилась кровь. В церкви появились мученики. Церковь поотвыкла от этого. Чаще сама становилась в положение карающей. Но теперь кровь убитых по тюрьмам, утопленных, все насилия и издевательства над храмами — встряхнули, оживили. Западное христианство после революции физически обеднело, нравственно поднялось. Дух католицизма XIX века совсем иной, чем XVIII. (И литература нового века, послереволюционная, началась с христианского Шатобриана.)

Церковь и приход Отейля пережили унижения, какие надлежало, но уцелели. И — сравнительно с нынешней Голгофой православия — бедствия эти оказались кратче.

В 1795 службы возобновляются, в 1800-м кладбище перенесено на улицу Клод Лоррен. А в тридцатых годах отейльский священник показал уже пример духа героического: погиб, бесстрашно навещая холерных. И молодой Мюссе,[33] возраставший в отцовском доме на rue Boileau, мечтательно бродивший по Булонскому лесу, слагая стихи, над готическим шпилем именно этой древней церкви видел луну и хорошо о ней выразился: «как точка над i». Позже церковь, к сожалению, перестроили. Ее теперешний облик мало радует, отдает безвкусицей Виолле ле Дюка.[34] Свадьбы же, крещения и погребения идут не прерываясь — церковь внушительная. Проходя по небольшой площади перед ней, видишь нередко катафалк и темень траура, или автомобили и веселую толпу, на паперти вечно-смущенные (и простоватые) новобрачные, цветы, светлые платья, фраки, потные лица, блестящие глаза — заранее заказанное счастье.



От площади пред церковью с памятником д'Агессо[35] идет покойная улица — Шардон-Лагаш, затененная платанами, в зеленой полумгле, но с другим выражением лица, чем улицы Прованса (где сычи аукают).

Тут сыч не аукнет. Это Париж. Машины с гладко зачесанными людьми в роговых очках у руля, проносясь, оставляют синеватый туман и ощущение летящего ядра.

Некогда в этих краях жил врач Шардон, «врач бедных», доктор Гааз того времени. Бескорыстно рыскал он по лачугам Отейля наполеоновского и эпохи Луи Филипа. Зарабатывал, конечно, мало — не имел возможности держать прислугу. Из двоих сыновей лишь старшему смог дать высшее образование (тоже медицинское), младшего пришлось взять из учебного заведении и «пустить по коммерческой части». Но как раз младшему и повезло.[36] Женившись на некоей девице Лагаш, открыл он в Фобур Сент-Оноре магазин всяких новинок «Aux Montagnes Russes» * — почему вспомнилась ему Россия, неведомо, но принесла она удачу. Баронесса Барант, жена французского посла в Петербурге, заинтересовалась «Русскими горами», ввела их в моду среди света — и молодые Шардон-Лагаш зацвели: стали получать заказы и от европейских дворов. Богатство их возросло. Они поселились на теперешней rue d'Auteuil в чудесном старинном отеле (№ 16; в парке его и сейчас можно видеть перенесенные остатки древней церкви — колонны, капители и т. п.). Не имея детей, чета Шардон-Лагаш пожертвовала городку два миллиона на дела благотворения — отцовская кровь передалась и увековечила скромные имена отейльского Гааза и его сына.

Вблизи церкви, начиная улицу Шардон-Лагаш, названную в честь благотворителя, стоит старинный отель, купленный на его деньги для бесприютных престарелых. Замечательно, что здесь же находились в средние века убежища и школы ордена св. Женевьевы. Давняя традиция как бы освящает это место — молчаливое, несколько меланхолическое. По той же стороне, тоже в парке (но еще большем) — St.-Périne, женская богадельня. Рядом благотворительное учреждение для артистов имени Россини. Сады этих убежищ огромны, выходят на Avenue de Versailles — вряд ли долго им просуществовать. Пока их не разбили на участки и не продали, их тень и свежесть так чудесны. Под каштанами, акациями, вязами сквозь решетку часто видишь старушек на скамейках. Доживающие век! Нет ничего грустнее самых благоустроенных Елисейских полей... И мы, «жизнь», не без ужаса на них взираем.



Воздух Отейля отличается от парижского. Цветение каштанов под окнами всегда приятно. Во влажно-душные вечера тянет липами зацветшими — сладкая волна наплывает из Булонского леса (только пчел

* «На горах России» (*фр.*).

нет!). И проходя по какой-нибудь rue Michel Ange, или Erlanger, с двумя дворцами и садами-парками, видя цветы за изгородями, ясность зеркальных стекол, тяжелые чугунные калитки, чувствуешь, как медленно и основательно заселялся наш край людьми со средствами, со вкусом и желанием неброской, но изящной жизни — в тишине и зелени. Здесь хорошо собирать библиотеки, мебель, картины, марки, фарфор...

Пятидесятые, шестидесятые годы — время расцвета средне-высшей Франции — укрепили Отейль. С тех пор идет усиленное внедрение сюда людей известных средств, вкусов и возраста (очень молодым Отейль не подходит).

Есть разряд жителей, особенно Отейль возлюбивших, — это писатели. Очевидно, самому нашему занятию отвечает обрамление Отейля. Уже упоминалось о Расине, Мольере и Буало. Девятнадцатый век (и двадцатый) тоже полны писателями. Кто только не жил здесь! Виктор Гюго, Дюма, Мериме, Бальзак, Альфред де Мюссе, Гонкуры, Мопассан, Анатоль Франс, Пруст — называя лишь знаменитейших. Из живых — Андре Жид, Мак Орлан, Клод Фаррер, Анри Бордо[37] и др. — в большинстве тип писателя из Отейля «солидный», резко отличающийся, как и сам квартал, от «монпарно» и «Ротонды».[38]

Довелось, однако, и зажиточному, медленному Отейлю видеть дни бурь — даже оказаться в передовой линии тяжелых дел.

В 1870 году батареи пруссаков стояли в Сен-Клу и на Мон-Валерьене, довольно ловко маскируясь, и оттуда били по Отейлю. Отейль был полон беженцев. Булонский лес вырубили, на укреплениях стояли пушки, неудачно отвечавшие пруссакам. Благоустроенные Гонкуры[39] на бульваре Монморанси начинали чувствовать неудобства жизни, но добросовестно все заносили в дневник. «Пелагея достала нынче у булочника хлебец величиною в су». «Бомбардировка продолжается: снаряды попадают на рю Буало, Лафонтен... в убежище St.-Périne...» «У вокзала мальчишки в военных кепках продают национальным гвардейцам кусочки снарядов, которые они собирают у кладбища». Это наше кладбище, Клод Лоррен. Вся местность, начиная от виадука, была изрыта — готовили баррикады. А за виадуком, между теперешними рю Эрланже и Микель-Анж, стояли артиллерийские парки осажденных.

Когда настала коммуна, весной <18>71 года, Гонкурам пришлась выселиться из особняка. Опять начались бомбардировка — на этот раз еще сильнее, и тихий наш квартал увидел настоящие бои: версальцы Тьера наступали к Порт С.-Клу, и взяв их, быстро продвинулись по бульварам Мюра, Монморанси к отейльскому вокзалу, в Мюэтт, как только эта линия укреплений оказалась в их руках, началось наступление вглубь города по рю д'Отейль к Трокадеро. А на Сене шла доволь-

но странная битва: канонерка коммунаров перестреливалась из-под моста у Point du jour с батареями версальцев в Медоне.

Так Отейль оказался первой брешью, чрез которую вошли правительственные войска. Коммуна удержалась ненадолго. Но если на кого особенно зарилась она, то уж конечно на Отейль — в его особняках и виллах можно было поживиться вдоволь. Сделать этого тогдашние большевики не успели.



И вот теперь, в послевоенные времена и послереволюционные, новое, странное племя появилось в Отейле: русские.

Наш язык слышишь здесь на каждом шагу. Иногда вагон метро кажется русским. Русские дети, русские няньки на улицах, русская публика в «Mozart-Palace», русские ученицы в Лицее Мольер. Тут некая странность, иной раз и сам себя спрашиваешь, почему это мы, перекати-поле, ведущие жизнь самую «случайную», оказалась в таком количестве в таком «серьезном» месте?

...Как бы то ни было, все-таки оказались, и живем, и можем быть даже несколько русифицируем местность (и сами, конечно, принимаем ее черты). В истории эмиграции займет Отейль значительное место.

...Нынешнею весной мне пришлось зайти в кафе на площади пред церковью, у памятника д'Агессо. В нижней комнате этого кафе («Au bouquet d'Auteuil» *) собрались... русские писатели, шло целое заседание. Рядом с домом Мольера и кабачком Расина, недалеко от усадьбы Буало обсуждались особенности языка Лескова. (Русские принесли-таки свои святыни в латинское место, без этого мы не можем, и надо порадоваться, что принести *есть что*.) Хорошее это было собрание. Оставило своеобразный след: русско-отейльский.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «Букет Отейля» (*фр.*).

ОЧЕРКИ ОБ ИТАЛИИ

СТРАНА СВ. ФРАНЦИСКА

После нелегкого пути от Римини я оказался вечером на станции Ассизи. Болела голова. Неопределенное раздражение, признак усталости, овладевало. Казалось, не к чему ехать. Не хотелось двинуть рукою, шевельнуть мыслью. Все не по тебе. Все бы осудил. Первая же насмешливая улыбка — отелю «Джотто».

— Ну, конечно, итальянцы всем воспользуются. Самого Франциска вытащат, не то что Джотто!

Так садился я в крытый небольшой экипаж с надписью: «Hôtel Giotto» золотом. Экипаж покатил. Огни станции остались сзади, шоссе медленно поднималось. Мы поворачивали вправо, влево, ехали мимо темных садов, виноградников, каменных оград, и золотые огоньки внизу, где свистели паровозы, становились меньше, а огни небесные — звезды, ярко горевшие на осеннем небе — выше. Легкий туман заволакивал землю.

Подъехали ко рву, перебрались через него по мосту. Угрюмые громады нависали сверху, с боков — городские стены и башни. Кое-где светились в них окна. Мы погрузились в недра древних ворот, и через минуту шагом подымались в гору среди темных, сонных домов, улицей узенькою и кривой.

У подъезда с ярким светом остановились. Помню, ступенька вела вниз. Почему-то сразу мне это понравилось. Может быть, тут была некогда лавка суконная, и вот так же покупатель, входя, слегка спускался. Облик старого дома сохранился здесь, в отеле «Джотто» в толщине стен, в арках, в особенном запахе, хотя, конечно, молодой англичанин болезненного вида возлежал в вестибюле на плетеном кресле, пил кофе и читал книжку.

В комнате, мне отведенной, я отворил дверь и вышел на балкон.

Открылся край, казалось, бескрайный. Ибо туман легким, невесомым пологом завесил все, и лишь слегка, едва мерцая, светилась вдалеке внизу станция. Но глубокое, громадное пространство было за этим туманом, полное тишины безмерной! Сверху звезды. Вблизи, у самых ног, крыши, зубчатые башни да готическая кампанилла. И еще — нежный и слабый, неизвестно откуда плывущий перезвон, двухнотный: та-та, та-та, голос церковного колокола из тумана.

Это была страна святого, безбрежная и кроткая тишина, что составляет душу Ассизи; что вводит весь строй человека в ту ясность, легкость и плывучесть, когда уходят чувства мелкие и колющие — дальнее становится своим, любимым. Позабудешь все надломы, — только смотришь, смотришь.

С этой минуты, открывшей мне Ассизи, я его полюбил навсегда, без оговорок, без косых взглядов на отель «Джотто» — хотя в тот ночной час и Ассизи, собственно, не видел. Я его познавал.

Утром его нежность, сверхземное успокоение открылись и глазам моим. Теперь с высоты того же балкончика я увидел то, что так таинственно *молчало* вчера... Я увидел деятеля этого молчания, это была воздушная бездна, утопавшая в бледных, перламутрово-сиреневых тонах, замкнутая глубоко вдали грядою гор. Священная долина Умбрии! Тонкий туман стелется в ней по утрам, заволакивая скромные селения, из которых узенькими струйками восходит дым: те как бы библейские Беттоны и Беваньи, близ которых святой проповедывал птицам и возвещал миру новую радость, обручаясь с бедностью. На дорогах этой долины, среди этих же посевов, яблонь, виноградников лобызал он прокаженного, молился, плакал.

Первое паломничество в Ассизи — храм св. Франциска, где покоятся его останки. Храм этот недалеко. Надо пройти немного вниз по улочке, выложенной крупными плитами, и подняться, сразу попадая к монастырскому двору. В глубине его остроугольное, тяжкое, но столь близкое сердцу здание готического San Francesco. Время его создания 1228 г. Это — одно из основных творений готики итальянской. Грузность, мешковатость не страшит — ни зрителя, ни художника именно оттого, что это *героическое*. Храм поставлен во славу святого. Здесь не место мирскому, легкому изяществу. Как целен святой, так же целен, в величии своем, и памятник ему. И пожалуй, что San Francesco готичнее самих Santa Croce и S. M. Novella.[1] — Он скупее, и строже. В храме Франциска цель единая — св. Франциск.

Все ему служит и все, в сущности, одного стиля, одного времени, одного настроения.

Это чувство *густоты* францисканско-готического особенно испытываешь в церкви нижней, более древней, чем верхняя. Нижние церк-

ви всегда имеют несколько катакомбный характер. Есть он и здесь. Низкие своды, крестообразными дугами, все расписанные древними фресками, темная синева фонов, золото, узкие окна с витражами, полумрак, сдавленность некая, сияние свечей. Крипта, где покоятся останки святого — все это иной мир, куда сразу окунаешься со света дня.

Эту церковь украшал Джотто. Он написал здесь аллегории добродетелей, сцены из жизни Христа и св. Франциска. В его творчестве Ассизи не самое важное. Но он задал тон. Росписи его учеников и подражателей дают ту цельность, о которой говорилось выше.

Верхняя церковь светлее, обширней. Тоже чисто готическая, но здесь уже более дневное, трезвое. Стены ее целиком расписаны сценами из жизни святого, начиная с Франциска-юноши до посмертных явлений и чудес.

Когда выходишь из священных дверей S. Francesco и по каменной лестнице спускаешься вниз, теплый ассизский день обнимает мягкостью, тишиной. Два монаха идут, бредет благообразная англичанка, голуби воркуют, веселятся воробьи. Им здесь же мог бы сказать св. Франциск: «Сестры мои птицы, многим вы обязаны Богу, вашему Создателю, и всегда, во всяком месте, должны славословить Его: за то, что Он дал вам свободу летать на просторе, а также дал вам двойную и даже тройную одежду... вам не Нужно ни сеять, ни жать, и сам Бог пасет вас, и дает реки и источники для питья, высокие деревья для ваших гнезд...»[2] Птицы, как известно, выразили великую радость, вытягивали шейки, топорщили крылышками и внимательно смотрели на него. Он благословил их, и они улетели.

Средневековый городок Ассизи в этот час предобеденный так же покоен и благообразен, как, верно, был и много лет назад. Так же вздымается над черепичными его крышами древняя крепостца, так же желтеет и коричневеет за ней гора Субазио, где сохранилась пещера святого. Так же голубой, светлый воздух Умбрии овевает это скромное место, и немногочисленные горожане постукивают каблуками по плитам улочек — неровных, то спускающихся, то идущих вверх, то круто заворачивающих. Не знаю, чем теперь занимаются эти жители. Но по облику их жилищ можно думать, что не весьма далеко отошли они от *святой бедности*, какую проповедывал учитель.

На небольшой улице заходим в лавочку с нехитрою стеклянной дверью: там продаются священные книги, реликвии, изображения св. Франциска. Мы тут достанем Fioretti, знаменитые «Цветочки Фр. Ассизского». Издание бедное, напечатано в самом Ассизи.

А вот небольшая капелла S. Francesco il Piccolo, над дверью надпись:

Hoc oratorium fuit bovis et asini stabulum.
In quo natus est Franciscus mundi speculum *.

Здесь, по преданию, родился св. Франциск. Мать его, Дама Пика, никак не могла разрешиться от бремени. Вдруг странник постучал в дверь и сказал открывшей служанке, что родильница тогда родит, когда из роскошной комнаты ее перенесут в конюшню. Там, на соломе, все произойдет благополучно. Так, будто бы, и случилось. Мы же стоим сейчас пред местом, где находился отчий дом Франциска, дом, который он так неожиданно и безвозвратно бросил.

Близится полдень. Можно взглянуть еще на портик Минервы, на монастырь св. Клары, первой сподвижницы святого из женщин, первой жены Мироносицы его: и неторопливо — Ассизи не располагает к спешке — мы сойдем пониже, к нам знакомой уже двери отеля «Джотто».

Табльдот[3] в покойном и степенном отеле — большая светлая зала с окнами на долину Тибра.

Два полнокровных французских аббата беседуют кругло, вкусно — и основательно пьют красное вино. Вчерашний худосочный англичанин с дамою рассеян, смирен, видимо, полубольной. Да изящный поляк, не лишенный элегии, с двумя барышнями. Белые стены, негромкий разговор, позвякивание посуды в руках камерьере; за окном бледно-голубеющие горы и великая долина Умбрии... Время идет тихо и беззвучно.

Под вечер встречаемся с аббатом в читальне. Сквозь очки деловито и прочно он читает. Открываю свои «Fioretti». Св. Клара является вкушать трапезу в св. Марию Ангельскую, ко Франциску. «И когда пришел обеденный час, садятся вместе св. Франциск и св. Клара, и один из товарищей св. Франциска со спутницей св. Клары, а затем и все другие товарищи смиренно подсели к трапезе. И за первым блюдом св. Франциск начал беседовать о Боге столь сладостно и столь возвышенно, и столь чудесно, что сошла на них в изобилии благодать Божия, и все они были восхищены в Боге. И когда они были так восхищены и сидели, вознеся очи и воздев руки к небу, жители Ассизи и Беттоны и окрестностей видели, что св. Мария Ангельская, вся обитель и лес, окружавший ее, ярко пылали, и казалось, что великое пламя охватило сразу и церковь, и обитель, и лес. Поэтому ассизцы с великою поспешностью побежали туда тушить огонь, в твердой уверенности, что все там горит. Но дойдя до обители и найдя, что ничего не горит, они вош-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Эта молельня была хлевом быка и осла, в котором родился Франциск, зеркало мира (*лат.*).

ли внутрь и обрели св. Франциска со св. Кларой и со всеми сотрапезниками, сидящими за той смиренной трапезой и поглощенными созерцанием Бога».

Окно библиотеки открыто. Ветерок налетает, чуть веет светлым благоуханием. Там, внизу, эта самая Беттона, жители которой бежали тушить огонь. А св. Мария Ангельская — и совсем близко, у станции. Сейчас св. Мария Ангельская не пылает. День мягкий, слегка облачный. Бесконечная долина в синевато-опаловых, нежных тонах. Над горами, вдалеке, лиловеет облако, и под ним беззвучной сеткой висит дождь, изливающийся за десятки верст. А правее солнце, выбившись из-за облака, золотисто выхватило возвышенность, где, короной, красуется далекая Перуджия, заволокнутая легкой дымкою, жемчужной. «Однажды в зимнюю пору св. Франциск, идя с братом Львом и сильно страдая от стужи, окликнул брата Льва, шедшего впереди, и сказал так: брат Лев, дай Бог, брат Лев, чтобы меньшие братья, в какой бы стране ни находились, подавали великий пример святости и доброе назидание. Однако, запиши и отметь хорошенько, что не в этом совершенная радость». Из дальнейшего видно, что совершенная радость состоит не в том, чтобы изгонять бесов, исцелять, и т. п. А вот если в бурю и непогоду, промоченные дождем, придут они к св. Марии Ангельской и рассерженный привратник выгонит их, приняв за бродяг и воришек, на холод, и схватит за шлык, и швырнет на землю в снег, и обобьет об них палку, они же терпеливо и смиренно перенесут оскорбления — «о, брат Лев, запиши, что в этом будет совершенная радость».

Как просто, и по-человечески! Как трудно зимой голодным, холодным, оскорбляемым! Сколь это древняя и вечная история. Здесь она лишь возведена на высоты христианского смирения.

Так читаешь в тихой читальне отеля «Джотто», выходящей на долину Тибра. Невидимо идет время, очень легко, светло, но это вообще свойство Ассизи — давать жизни какую-то музыкальную мечтательную прозрачность. Поистине, дух монастыря, самого возвышенного и чистого, сохранился здесь. Кажется, тут трудно гневаться, ненавидеть, делать зло. Здесь нет богатого, яркого зрелища жизни. Тут если жить, то именно как в монастыре: трудясь над ясною, далекой от земной сутолки работой, посещая службы, совершая прогулки по благословенным окрестностям.

Среди вечерних прогулок Ассизи хорошо посещение крепостцы разрушенной, Rocca Maggiore, куда взбираешься по дикой круче среди камней и чахлых кустиков. Rocca господствует над Ассизи. Отсюда еще шире вид, еще безмернее воздушный, тихий океан, еще ближе небо, столь близкое святому. Ближе орлы, парящие над горою Субазио, где у Франциска была пещера. Вид пустынной и голой горы Субазио гово-

рит об отшельничестве, о каких-то отрешенных, отданных одному Богу часах святого.

Другой путь из Ассизи вниз. Когда садится солнце, выходишь из ворот S. Pietro, и мимо виноградников, возделанных полей спускаешься в долину. Справа монастырь св. Франциска. Отсюда видны огромные столбы со сводами, на которых покоится здание. Они напоминают несколько аркад римских акведуков. Бледно-лиловеют и розовеют в закате дальние горы. Долина начинает чуть туманиться. В монастыре и в S. Pietro мелодичный слабый перезвон, столь знакомый предвечерний «Angelus».

Встречаешь по дороге крестьян, воз вращающихся с работ. Они имеют утомленный вид, но с отпечатком того изящества и благородства, какой покоится на земледельце Италии. Почти все они кланяются. Я не вижу в этом отголоска рабства и боязни. Некого здесь бояться. И не пред скромным пилигримом, странником по святым местам унижаться гражданину Умбрии. Мне казалось, что просто это дружественное приветствие, символ того, что в стране Франциска люди друг другу братья.

Так идут дни в Ассизи — легко, бездумно — и так же невозвратно уплывают. И в одно солнечное утро у отеля «Джотто» появился веттурин,[4] наши вещи погружены, и пощелкивая бичом, итальянец везет нас вниз, по неровным плитам Ассизской мостовой, завинчивая слегка свой тормоз. Наш путь — мимо знакомой нам св. Марии Ангельской, через полотно железной дороги, по плодоносящей, фруктообильной долине к Перуджии. Ассизи остается сзади. Прилепилось к своей горе, издали видны его кампаниллы, стены, огромные субструкции[5] монастыря. Солнце сегодня яркое, и яркие, голубоватые тени облаков бегут по рядам яблонь, спелой пшенице и гирляндам виноградников, по белому шоссе. Ассизи окунается в светло-голубеющий туман.

Невдалеке от Перуджии, когда легко катил нас возница, есть этрусский ипогей.[6] Мы заезжали туда. Древние этрусские гробницы в холме, темные пещеры, которые проводник освещает факелом. Там белые каменные саркофаги, на их крышках возлежат умершие. Они в спокойных, важных позах, полуоблокотясь. Иногда это целые семейные группы. Вот где античность. Весь этот мир ушел уж для этруска, нет надежды, остается каменное изваяние, слабая попытка задержать вечность. Отсюда строгость, и печаль. Для Франциска же смерть, сколь ни горька она (сам святой умирал мучительно), есть лишь приобщение мирам светлейшим, высшим.

Хорошо жить в Ассизи. Смерть грозна, и страшна везде для человека, но в Ассизи принимает очертания особые — как бы радужной арки в Вечность.

ИТАЛИЯ

Подыши ж еще немного
Сладким воздухом земным...

Ф. Сологуб[1]

Для многих из моего поколения Италия не просто страна: «лучший мир», куда можно уйти от серости, обыденности или ужаса, и освежиться.

Много лет назад, в одиночестве русской деревни, в снегах, бедствиях революции спасали видения Флоренции. В мелочах вспоминалось и записывалось все прекрасное, виденное и пережитое там «в дни счастия». Первая встреча с Европой затем тоже прошла под знаком Италии. И двадцать пять лет парижских не потушили любви. Но и не дали возможности побывать: лишь иногда, из Ментоны, голубела Италия в белом дыму прибоя.

А на двадцать шестом случай и дружеское участие, все необыкновенно и непредвиденное — помогли хотя бы бегло, в полете пронестись по родным местам.[2]

Генуя и Чертоза

Мы въезжали в Италию со стороны Ниццы. Вдоль моря в вечернем золоте дня итальянского неслись пальмы Оспедалетти,[3] кампаниллы[4] над городками в горах, небольшие гавани — и сразу же в прелесть Италии ворвался иной, страшный мир: обстрела, разрушенных зданий, мостов. В знакомом пейзаже подошла вечером Генуя, столько в войне претерпевшая! Огромный вокзал, наполовину отстроенный заново, кипучая площадь, огни, велосипедисты, новые здания — в свете и мраморе. Каррара вблизи, мрамора сколько угодно, на отделку скупиться не следует, но вот сколько угодно и силы, и труда, воздвигающего новое, лечащего старое. Генуя, как всегда, лишь преддверие — порт Италии, кипела, шумела, как полагается ей, но в блеске утроенном — отелей, зданий, трамваев, автомобилей.

Утро встало в такой голубизне золотой, тишине неба и в свете, как и надо в апрельской Италии. Розоватый кастелло, с зубчатою башней, воздымался на горе — все здесь гористо, неровно, раскинуто, сложно. И это утро осталось утром блужданий почти бесцельных по закоулкам Генуи, щелям ее народных улиц с вековечным развешенным бельем — всегда казалась мне по белью Генуя первым городом мира — и все в гору, в стихийной жажде увидеть сверху и город, и море. Оно так и вышло. Главное в Генуе — ее пестрота и народность, некая простоватость,

но и дыхание моря над всем — оно, наконец, засинело пред нами в дальнем тумане, в мачтах и трубах, дыму океанских пароходов.

Друзья, уходившие тоже, в другую сторону, встретили нас около полудня в отеле.

— Знаете, сколько домов выстроено в Генуе после войны?

— Нет.

— Мы сейчас были в новом квартале. То есть таком, где почти все разрушено, а теперь вновь отстроено, только в большем размере.

— Ну, сколько же?

— Тысяча девятьсот. Трудно зажечь новыми домами. Но это есть «жизненный порыв», творчество, усилие. Проходить мимо тоже нельзя.

Когда же в золотом полдне поезд медленно, как бы неуверенно, выходил из Генуи, слегка подымаясь по пути к Милану, и холмы стали сменяться нежно-зеленеющими, напитанными теплотой и светом полями Ломбардии, вот тогда дома эти, и творчество, и усилие — все позабылось. Был апрель, сияющий мир, кое-где по предгорьям кастеллы и монастыри, лиловое, белое цветение дерев средь райски-неповторимой зелени.

Встреча с Италией художнической произошла в Павии, не доезжая Милана. Предводитель поездки, наш друг и любитель Италии Р.,[5] решил непременно показать нам с женой и спутнице нашей, прелестной испанской артистке Аните М.,[6] Чертозу Павии.[7]

Часов около четырех автомобиль, широко вынесшись из Павии, пролетев низменными, сыроватыми лугами и полями в обрамлении тонкоствольных топольков, высадил нас перед входом в монастырь, который начат был постройкою Джианом Галеаццо Висконти, в конце XIV века, в пятнадцатом расцвел, позже достраивался и наслаивался. И фасадом храма своего, со всей сложностью, богатством украшенности ломбардской, не подавляющей, однако, является он памятником первоклассным: ранний ренессанс северной Италии, в общем творение больше мастеров-орнаменталистов, нежели архитекторов. (Как непохоже ни на Брунеллески, ни на Леон Баттиста Альберти! — но ведь это и не Тоскана.)

Мы бродили довольно долго пред фасадом этим и внутри храма — отчасти усыпальницы миланских герцогов. (В холоде нефа мраморные изваяния на спине возлежащих друг с другом рядом Лодовико Моро и худенькой супруги его, Беатриче д'Эсте. Надмогильный памятник остробородому Галеаццо Висконти – и на фреске коленопреклоненный Франческо Сфорца — воин, гуманист, антиквар... — как и все, «тиран»).

Из капеллы в капеллу, среди круглолицых и милых «Мадонн» Боргоньене, удивительных интарсий[8] ренессансных перед алтарями, от-

дельных монашеских апартаментов (три-четыре комнаты, с рабочим кабинетом, садиком, гостиной), среди теплой красноты терракот во внешней отделке храма, греющихся в солнце и лазури, вышли мы на огромный двор с портиками. Почти жарко. И вот тут, в утомлении и от слабости сердца поникла на парапет юная наша спутница. Полуобморок! Но везде жизнь, везде люди. А ведь это Италия с ликом приветливым и отзывчивым. Чрез минуту едва ли не единственный уцелевший монах, подобрав полы одеяния своего, мчался к себе в келию и к Аните вернулся с бутылочкой подкрепляющего. А ее грело апрельское солнце, поддерживали дружественные руки. Молодость взяла верх. Выпив глоток, вздохнув, стала она возвращаться к своей юной, еще расцветающей в красоте, даровитости жизни, которой при всей сдержанности, скромной замкнутости испанской хочется так еще много вобрать, взять от окружающего. (Позже, в конце путешествия скажет она: «Италия для меня как бы удивительный сон».)

Пока же маленькая ящерица пробегает по краю. Две пчелы золотисто несутся над огородом и цветником монаха.



Позже, в вагоне к Милану: предзакатное небо, поезд остановился в поле. Райской нежности зелень, всходы пшеницы. Тонкий строй топольков — юношеское изящество. Вдали По, медленное, сейчас мелкое и извилистое, с песчаными отмелями. И блаженная тишина. Жаворонок, все тот же, вечный, в вечно-золотом небе, не прерывает ее.

Через Милан

Мы остановились в Милане случайно, из-за небольшого дела, да и чтобы вздохнуть.

Никогда не был он моим городом и не стал им. Как в молодости не везло здесь (зима, слякоть, возвращение через Германию), так и теперь Милан принял невесело, не меня одного, а всю маленькую нашу труппу.

Попали мы в него в пятницу на католической Страстной, да еще в городе ярмарка, очень в Италии известная. Это значит, все переполнено, цены особенные. Кому интересна выставка земледельческих орудий, автомобилей, авионов[9] (весьма замечательная), тот в Милане мог бы оценить Италию современную, вот эту полную жизненных сил тысячелетнюю страну, сохранившую удивительную юность и порыв творчества.

Миланский собор... — все тот же теплый мрамор фасада, с какими-то тенями и изгибами, над ним затейливость бесконечных фигур святых с крестами, нимбами, воинов с копьями, все устремляются прямо в небо, — а вокруг площади точно поле сражения. Собор цел, окрест-

ность полуразрушена (для чего? Понять трудно. Заводы гораздо дальше). Но все та же сила, неоскудевающая в Италии, вновь возводит поверженное, да в каком облике! Удесятеренном.

Собор вовсе не тронут, и когда подъемник возносит на его высоту и бродишь средь населения мраморных статуй, химер, как в белом лесу, в распростертом внизу городе видишь ужас войны и силу восстановления. Но Стендаль не узнал бы любимого своего города.

Как будто ошиблись в чувствах, Милан не хотел отпускать нас. Наскоро обежали мы после завтрака Castello Sforzesco (явно напоминающий башнями и зубцами наш Кремль), совсем уж расположились уехать в Венецию... Но не так это просто: в четырехчасовой поезд из-за дней Пасхи и приблизительно войти было нельзя.

Всегда почти в путешествиях выпадают нервные паузы, мелкие неудачи. Как и в странствии жизни, их надо преодолевать. Как подобает, легче это сказать, чем сделать. Как и обычно, терпение женское, русское и испанское, оказалось выше мужского.

Ненужная ночь... Зато утром, с семи часов, плавный полет к Венеции по полям все той же тихо-зеленой Ломбардии, с дальним видением гор, подступающих ближе и ближе. Нежное, чуть затуманенное зеркало озера Гарда. День разгуливается. На станции фиасочка кианти, сандвичи. Милая Верона, где некогда бродил я по Piazza delle Erbe и ночью, когда на пустынной площади сидел близ памятника Данте, голубиное перышко, виясь, слетело на меня из мрака — теперь все, наоборот, в солнце, а дальше Виченца во дворцах палладианских. Еще же дальше, за Падуей, в синем тумане лагуны Венеции.

Венеция

Полдень чудно-золотого дня. Р., предводитель наш, многоопытный путник, исколесивший весь мир, водворяет нас в небольшой отель близ вокзала.

Раскрываешь окно — все то же перед глазами, как и нужно в Венеции: черепичная крыша, белье на веревке, кустик зелени, кот, выгибающий спину, влажный воздух морской и мелодичное перезванивание колоколов. Приятный, первый в Италии настоящий колокольный звон. «Ничего, все в порядке. Мир стоит еще на своем месте». И Венеция оказалась тем городом Италии, где ни войн, ни революций совсем не почувствовалось. Как веками стояла в сторонке, лагуной своей прикрытая и живя собственной жизнью, так и осталась. Дворцы, кампаниллы, каналы, этот звон благословенный...

Все отлично, все как и надо. Радость света и золота на Пьяццетте, толпа, голуби, сияющие мозаики и священно-выхоженные, покосившиеся полы св. Марка, тоже в мозаиках.

Часы над Мерчерией и два бронзовых мавра, отбивающих молотками по колоколу летучесть дней наших. Венеция не поддается ничему. «Господь дал мне сияющий мир, мрамор, каналы, художество, мой простой и приветливый народ, изящество моей женщины, певучий диалект языка... Я хочу жить в мире и уединении».

— Ваш город ни разу не обстреливали?

— Нет, слава Богу. От одной бомбы все рухнуло бы.

Вероятно, и правда бы рухнуло. Хорошо, что не дожили еще до этого. Но дожить можно до чего угодно. А сейчас, в противоположность Милану и Генуе, видели мы в Венеции всего один перестраивающийся дом: дворец на Большом канале.



Утром, в блеске солнца, свежести приморской, синеватых тенях от домов, через мост мимо отеля «Germania», пробираемся к Scuola di S. Rocco.[1] В двух этажах древнего Братства св. Роха Тинторетто окончательно обессмертил себя — двадцативосьмилетним созданием: бурю и гром свой вложил в десятки картин из Св. Писания. Гигантское «Распятие», во всю стену последней комнаты, все завершает. Подумать, что это написано венецианским художником! Вот вам и созерцательность Беллини, золото Тициана, зеленые шелка Веронеза. Но чрез Тинторетто вышла живопись Венеция из родного города, чтобы стать мировой. Может быть свое, домашнее он убил в нем. Это уж соперничество с Микеланджело. А какие же силы, страсти, ураганы жили даже в благословенной Венеции, уединенной и будто лениво греющейся в шелках, золоте, летучих радостях жизни!

Зато эта Венеция показана в Академии. Целая комната тихого и задумчивого Беллини с голубою Мадонной, над всем главенствующей. Религиозные процессии, венецианские праздники другого Беллини (Джентиле), цикл «Путешествие св. Урсулы» Карпаччио — сюда прошли мы тоже пешком, это недалеко.

Здесь встретили Р. и испанскую нашу спутницу. Анита сидела на бархатной скамейке. Огромные глаза ее как будто затуманены.

— Что с ней? Опять, как в Чертозе, плохо?

Р. слегка улыбнулся:

— Нет, все в порядке. Ей просто очень понравилось. Над Беллини она чуть не заплакала. А вы посмотрите Карпаччио! Святую Урсулу. Пожалуй, тоже заплачете.

Мы не заплакали, но бродили, в медленном очаровании, в том чувстве, что вот тобою завладевают, ты отдаешься таинственной, будто невидимой, но прелестной власти. Мы соприкасались в то утро, наверное, с величайшим, что есть в Венеции.

А чрез <так!> час встретились снова с Анитой и Р. пред <так!> св. Марком, под огромным пасхальным яйцом, воздвигнутым ради праздника на площади триумфально — флаги на трех древках тихо над ним реяли. Лев св. Марка завивался и развивался на одном из них, и мавры над голубым с золотом циферблатом не уставали отбивать часы.

В небольшом ресторанчике за завтраком я спросил Аниту:

— Что же вам больше понравилось в Академии?

Она назвала Беллини. И разговор, на приблизительном франко-русско-испанском наречии зашел об искусстве. Испания, все сохраняя молодую свою серьезность и как бы меланхолию огромных темных глаз, выразилась так, что для нее самое дорогое в искусстве то, что непередаваемо и необъяснимо, а само излучается — и чему научиться нельзя. Многому можно, но не этому. Она знает, по собственной театральной работе.

С этим Россия вполне согласилась и завтрак закончился разговором о Кальдероне и Тургеневе, который любил Кальдерона и для него учился испанскому языку. Тургенев и все тургеневское оказалось близким сердцу юной Испании.



Некогда, в легендарные времена до войны, проживал в Москве художник Первухин[2] — тощий, высокий, с выпуклыми глазами, длинными нервными руками. Преподавал живопись, жил скромно, тратил как можно меньше и на сбережения каждое лето уезжал с женою в Венецию. Там снимал комнатку и с утра, подымаясь с зарей, с верной спутницей своей Софьей Алексеевной, мольбертом, складным стулом и красками, уходил «на этюды»: писал чаще всего церковь S. Maria della Salute. Софья Алексеевна, тоже со стульчиком, что-нибудь вышивала или читала.

Константин Константинович был близорук, словоохотлив и добродушен. Приближая лицо к самому носу собеседника, для убедительности срезая одной рукой вдоль вытянутой горизонтально другой, говорил:

— В Москве я учитель и коплю сольди. Здесь живу как художник. Это и есть моя настоящая жизнь. Я Москву и Россию люблю, но там я тень, а здесь человек, ибо художник. Я обожаю Венецию.

И упирался глазами вам в лицо. Говорил не пустое. Он действительно был энтузиастом Венеции: все прельщало его в ней. Кончив работу, заседал по кафе. И все знали «signore Costantino» в берете, легком и широком костюме, белых штанах — все камерьере ресторанчиков, мальчишки, цветочницы, гондольеры, трактирщики. Уж неведомо с кем не был он знаком, с кем весело не разглагольствовал.

В наших юных венецианских днях являлся проводником, советником и покровителем. А теперь, когда ни его больше нет, ни смиренной Софьи Алексеевны (за веру Христову живот свой в революцию положившей), тень, его, которой низко кланяюсь, сопровождала нас в церковку S. Giorgio degli Schiavoni: когда-то он водил нас туда смотреть Карпаччио.[3] И церковка и Карпаччио все такие же. И такой же старенький кустод, показывающий св. Георгия.

— Eccolo... San Girolamo con leone... guardi che bello...*

— и со всегдашней простодушною улыбкой итальянской радуется, что бл. Иероним привел с собой в монастырь льва, а монахи в ужасе разбежались. (В этом же тоне рассказывал некогда о. Милий, в Никольском скиту Валаама, о подвигах Николая Чудотворца.)

Да, снова Карпаччио, снова не только улыбка на монахов, но и радость искусства (сейчас даже лучше воспринимаешь: церковка темновата, это мешало видеть, а теперь все милые эти сцены освещены электричеством, выступают так ярко)...

Был бы жив Константин Константинович, сейчас же бы подружился с кустодом этим. Отыскались бы общие знакомые.



В Венеции мало растительности. Тем приятнее видеть огромнейший нежно-зеленый платан в углу Campo S. Zaccaria,[4] близ церкви. В половине четвертого она еще не открыта. Мы сидим перед ней, греемся на апрельском солнце, любуемся удивительным ее Фасадом — раннего ренессанса, но в несколько ярусов и с волютами по углам. Зелень платана дает сеть тени по плитам площади, легкую, реющую. Вода журчит в водоеме.

Подходит старик, подставляет ладонь, пьет.

— Хорошая вода?

— А-а, signore, это не из лагуны. С гор, acquedotto. Acqua molto buona**.

И улыбается загорелым, здоровым лицом — венецианское солнышко прогревает отлично.

Церковь открыли, наконец, в ее сумраке и прохладе встречает нас снова Беллини, важный, спокойный и музыкальный — глубоко задумчивый. Мадонна на троне, святые вокруг. «Главное произведение Беллини» — и как всегда пред такими, некая зона благоговейного молча-

* Вот он... Святой Иероним со львом... посмотрите, как красиво... (*ит.*).

** ...из акведука. Очень хорошая вода (*ит.*).

ния. Несколько стульев, посетители стоят, сидят, безмолвствуют. И странно было бы болтать пред Беллини.

Далее, по пути к S. S. Giovanni e Paolo,[5] обратились мы к двум простым женщинам — одна несла на руках ребенка:

— Как пройти?

Все лицо ее стало улыбкой.

Передала младенца другой, воодушевилась, пальцем стала показывать — направо, налево, канал, мост. Вид и тон такой, что это мы ей делаем одолжение, направляясь в ее церковь... — Все тот же народ, та же Италия! Война, новый режим, еще война, еще мир — и все то же, что при signore Costantino.

Тот же Коллеоне Вероккиев на бронзовом коне перед церковью. А внутри храма-усыпальницы те же дожи в каменных изваяниях — торжественные воины, великолепные Дандоло, Мочениго, Брагадины. Холодно и пустынно. Все-таки не напрасно едет на вечном своем коне Коллеоне, возлежат дожи. Военная слава Венеции.



В юности нашей мы ее принимали меланхолически. «Летейские воды», озаглавлена глава замечательных «Образов Италии» Муратова, посвященная Венеции. В таком же духе и я писал. С этим и теперь въезжал, и как раз наиболее оказалась она солнечно-радостной. Даже вечером, когда мы бродили в простонародном квартале, было легко и весело — заражало светлое музыкальное веселье самого народа этого (были праздничные дни, Пасха): фонарики, блеск скромных кафе, танцы, столики прямо на улице — все в природно-благопристойном, изящном духе...

Флоренция

В. А. Зайцевой

Я увидел впервые Флоренцию около полувека назад. С первого же дня, с первого взора оказалось — «это мой город». Почему? Объяснить бы не мог. Итальянской крови во мне нет, умственной и духовной подготовки почти не было. Но «мой город» — осталось на всю жизнь. Прелестно самое имя «Флоренция». Достаточно увидать на открытке башню Палаццо Веккио или купол Собора, чтобы вздрогнуть от радости: «наши».

Флоренция дала лучшие дни жизни. Молодости — свет и восторг. Зрелым годам, отрезанным бедствием войн, потрясений, — утешение воспоминаний (второй мир, рядом с непереносимым).

И теперь, в обстоятельствах почти невозможных, надо было вновь увидать ее — бегло, едва ли не сквозь сон: но увидеть и поклониться. Наверное — попрощаться.



И новый мир создать в слезах,
Во всем — подобие былого...

В. Ходасевич[1]

Не надобно думать, что жизнь повторяется. Не надо полагать ее бездвижной. Сколько ушло со времен молодости, что еще удивляешься — Флоренция все-таки на своем месте.

Но дорога не та ведет теперь с севера. Аппенины прорезаны, электрический поезд летит по линейке туннелей, а прежде мы из Болоньи Бог знает куда забирали на Пистойю, тащились не торопясь.

Как бы то ни было, полночь, Флоренция. Поезд настолько огромный, что вылезши из вагона не узнаешь, где находишься: не за городом ли, где-то на железнодорожных путях? Нет, в городе, добираемся все четверо до вокзала благополучно... И ни вокзала не узнаю, — новое огромное низкое здание, — ни площади перед ним. Автомобиль устремляется к давнему нашему альберго, где всю жизнь останавливались, на via Nazionale. Нет ни того ресторанчика, где обедали, ни синема против альберго, от шума и звонков которого, от хлопанья бичей извозчичьих жена иногда плакала у себя в комнате. Сам альберго, однако же, цел, только расширен, более современен, сияет электричеством. Но сразу отказ: все переполнено.

Были пасхальные дни. Если бы не Вергилий наш, многоопытный друг Р., мы с женой и испанкой Анитой заночевали б на улице.

После ряда неудач все-таки по знакомству Р. устроились в самом центре Флоренции, на via Calzaioli.

— Не удивляйтесь, — сказал он мне. — Первую ночь придется провести в странных условиях. Но завтра дадут хорошую комнату.

Я ночевал в закоулке огромного коридора, за ширмой. Старенький камерьере водворил меня туда с вечным благожеланием итальянским, неизбывной приветливостью и в тоне как бы извинения. Я благодарил. Я был доволен и счастлив, только взволнован. Жене и друзьям дали каморки в других этажах, я хоть устал, но заснуть долго не мог, отворив окно, смотрел вниз в темную даль улицы. Направо за углом, шагах в полутораста, родился и до тридцати пяти лет жил Данте, первый великий эмигрант Европы. Наискосок через улицу — Or San Michele со статуями святых в нишах, выходящих на улицу, Вероккио,

Донателло... Сам я ходил молодым и счастливым по этим улицам с тою, кто сейчас в узенькой верхней комнатке тоже, конечно, не спит, тоже глядит в опустевшие улицы Флоренции, где была и ее радость.

Ветерок начинается. Петухи кричат. Они должны ободрять ищущих ночлега, бродящих внизу с чемоданчиками.



Галерея Уффици как была мировой, так и осталась, даже как будто повысилась: очень уж хорошо все теперь в ней устроено — развеска картин, размещение их, свет. И когда вы проходите по ряду зал в незабываемом здании, созданном Вазари, перед вами в спокойном порядке развертывается история живописи флорентийской, частью и сиеннской, все великое Кватроченто, которым и ныне еще мы живем. И даже истоки его, примитивы от Джотто, Чимабуэ через Симоне Мартини вводят в разгар всех флорентийских Учелло, Анжелико, Полайоло и Гарляндайо, Пьеро делла Франческо и самого Боттичелли, — заканчивая немногими Леонардо, Рафаэлем и Микеланджело.

Волнение начинается с первых шагов и не отпускает. Вот — знакомое с юности, сопровождавшее жизнь, ставшее, в воображении, частью ее, теперь снова поданное. Жив ли человек? Не ослабело ли восприятие, не потускнело ль казавшееся прекрасным? Человек еще жив и каков бы он ни был, любви его и волнения те же, только болезнь искусства стала острей, и в комнате Боттичелли, перед Мадонной, Венерой и Примаверой мог бы он вспомнить, как Анита заплакала перед Беллини в Венеции. Трудно сказать, что прекраснее объективно. Но одно больше пронзает сердце, другое меньше. Было время, когда Боттичелли ничего людям не говорил, может быть и впоследствии многим не скажет, но вот мы, на нем вскормленные, его нежностью, светом, грустью пронзенные, так уж с ним и уйдем. Расставаться поздно и не к чему.

А портрет герцога Федериго Урбинского кисти Пьеро делла Франческо встречен был тоже как давний друг — профиль с горбатым носом на фоне светлого итальянского пейзажа — все это чистая и верная рука того, кто одиннадцать лет своих отдал Собору в Ареццо, написав там главный труд жизни. (А герцог был самый настоящий: кондотьер, воин, владелец лучшей в Италии библиотеки. Печатное считал пустяковым. Собирал только рукописи, уники с миниатюрами).

В прежние времена из Уффици длинными коридорами, пересекая мост Понте Веккио, можно было пройти прямо за Арно, в Палаццо Питти. Теперь нельзя. Понте Веккио цел, но квартал за Арно разрушен, почти вплоть до Питти, как погибли и все другие мосты через Арно (один из них, Trinita — драгоценный). Война задела-таки Флоренцию

и этого нельзя простить. Но еще Бога благодаришь, что главное уцелело: хотя разрушено и в двух шагах от Уффици, и та церковь Сан-Стефано, где Боккаччио шестьсот лет назад впервые комментировал Данте, стоит средь развалин, доходящих до Меркато Нуово. (Там из морды бронзового кабана до сих пор льется струйка воды, — некогда жена моя подвязывала ему ленточку, а теперь мы тоже приласкали его и попрощались).

Нам объяснили, что разрушенное не столь быстро восстанавливается, потому что был спор, как восстанавливать. Ныне он разрешен: сделают в стиле погибшего.



Флоренция нашего времени была городом хоть и живым, но несколько провинциальным, простым. Теперь, как и большинство городов Италии, стала гораздо блестящей, наряднее и населенней. (Изобилие людей всюду в Италии чувствуешь).

На via Calzaioli вместо скромных магазинчиков — великолепные витрины. Движение такое, что углы улиц обнесены загородками, перейти можно только по сигналу. На Piazzo Vittorio Emmanuele вместо простенького кафе с красными фраками, где некогда по вечера читали мы газету «Речь», ныне роскошное «Gigli», очень дорогое, с прославленным мороженым. Какие пирожные, какой белизны хлеб, булочки, какое кофе! — не только тут, но вообще во Флоренции. А наряды, одежда, обувь? Та ли это Италия, которую принято было считать чуть не последней, захолустной и отсталой страной?

Времени у нас было мало, мы старались обойти все любимые и святые места. Каждый час и минута наполнены. Нельзя сказать, чтобы во Флоренции мы ленились.

В ледяном великолепии капеллы Медичи так же прекрасна «Ночь», в вечной грусти уснувшая, полуушедшая. Тут прошел Микеланджело.

А рядом на голой, сухой площади С.-Лоренцо все сидит кондотьер Джиованни делле Банде Нерее, на мраморном пьедестале. Но вокруг, на нехитром рынке, нет тех красных шуб с собачьими воротниками, за тринадцать лир, что висели рядком на вешалках — их покупали извозчики. Нет и ларьков букинистов, откуда увозили мы Петрарку и Сакетти, Дино Компаньи.[2] Теперь больше съестное.

Так же тяжеловесно-великолепен за Арне дворец Питти, полный Рафаэлем. В музее Барджелло такой подбор Донателло и Вероккио — они помещены теперь рядом — что дух захватывает. (Но надо спешить, спешить!) Давно знакомая зелень во дворе монастыря С.-Марко, кедр еще вырос, осеняет ренессансные портики и св. Доминика Беато Анджелико, и трагическую келью Савонаролы.

Видели и сияющие высоты Фьезоле с кипарисами, голубоватым безмерным видом на Флоренцию и долину Тосканы, как бы одетую светлым дымом, в котором блистают извивы Арно — расплавленным серебром.



Вечером были все четверо у о. К., настоятеля нашей церкви[3] — русская старинная приветливость, гостеприимство... — Р. хотел непременно показать Аните православный храм. Было довольно поздно, службы нет, все уже заперто. Превозмогая некоторую усталость, о. К. достал ключи. Тихим проулочком вышли мы к саду, где за оградой подымались к флорентийским звездам в синей ночи главки и кресты храма. О. К., высокий, сухощавый, с огромными серыми глазами и легкими полуседыми волосами, погромыхивал связкою ключей, тяжелых и основательных. Наконец, — как бы вратарь царствия вышнего, — распахнул нам дверь. Вспыхнуло электричество. Анита переступила порог нового для нее мира.

Храм во Флоренции — некоторое наследие Демидовых (Сан-Донато).[4] Основа его — домовая их церковь, над которой позже возведена верхняя. Тихо, легко и светло здесь. Анита надела платочек, внимательно рассматривает иконостас, замечательные царские врата, иконы. Пред <так!> тем как уходить, смиренно встала на колени, посреди церкви, долго молилась.

— Ну вот, и хорошо, и хорошо, — шептал о. К., и сам перекрестился. Его, как и нас, радовало, что дошло нечто от его храма в сердце иностранки.

Он не ошибся. На обратном пути, в автомобиле, Анита была задумчива. Потом обернулась ко мне:

— Boria, мне ваша церковь очень понравилась. Мне в ней было покойно и тепло. Даже теплее, чем в наших.

Мы подъехали к площади Синьории — кафе Орканья ярко освещено. Сколько раз, некогда (в ином мире) мы сидели после дня скитаний за скромнейшим столиком этого кафе, рядом с Лоджией Ланци, где нищие дремали у подножия мировых статуй и голуби вели вокруг них незатейливую жизнь. Проезжавшие веттурины останавливали своих кляч, слезали с козел и за соседним столиком пили кофе за десять чентезими.

Ныне веттуринов вовсе нет, десять чентезини цена смешная. Отличные столики выставлены на площади, декоративная зелень в кадках, первоклассные вермуты и пирожные, благоухающий кофе. В семидесяти шагах место, где сожгли Савонаролу. На зубцах Палаццо Веккио

не раз покачивались повешенные. В этом Палаццо заседал Данте, отсюда же был изгнан, этот же Дворец поставил ему позже памятник.

Откуда-то снизу освещают суровую стену, тонкую башню на синеве ночи. Все кажется прекрасной театральной постановкой.



По давнему нашем обыкновению перед отъездом из Флоренции надо побывать на Сан-Миниато.

Мы это исполнили. Трамвай довез только до Арно, мост разрушен. Перешли пешком по жердочкам, на той стороне новый вагон, повизгивая на поворотах, вознес нас на Viale Dei Colli, с площадки которого открывается вид на Флоренцию. Давид (копия) Микеланджело стоит на площадке, сзади храм и кладбище Сан-Миниато (где так хотелось бы найти могилу Амалии Ризнич[5]), пред глазами, за Арно, Флоренция в обрамлении невысоких холмов.

Вид этот знаменит, его наизусть знаешь, он часть твоей жизни. Пред ним вновь стоишь, как пред вечным зеркалом, отображающим ее. Нет в ней бездвижности. И сама она, и все что было в ней уходит, — прощай, прощай! Но все, что было пережито, да будет благословенно. Да будет благословенна молодость и незаслуженное счастье.

Вновь в Риме

В. А. Зайцевой

Связь с Римом столь же многолетняя, что и с Флоренцией, но более спокойная. Рим тоже часть жизни, но входил медленнее. И в нем дольше довелось жить.

В этом последнем нашем странствии Рим оказался заключительным городом — на него выпало немного более дня — есть от чего придти в ужас тому, кто хорошо знает, как сложен, пестр Рим, как он неторопливо, иной раз и нелегко доходит (и завладевает).

Выбора, однако, не было. Не уезжать же из Италии, не побывав в Риме! И мы заранее решили, что это будет, собственно, не посещение а мгновенный безвестный привет. Вот так и высадились на Stazione Termini, которую так же не узнали, как вокзал во Флоренции. Остановились неподалеку в отеле «из скромных» — в новом семиэтажном здании с сотнями номеров и в тот же вечер отправились на Монте Пинчио.

Мчал нас туда переполненный автобус. (В нынешнем Риме все переполнено и все мчатся.) Придерживаясь за ремни и покачиваясь, мы не узнали в синеватых сумерках Piazza Barberini, так кишевшую наро-

дом и автомобилями, что фонтан Тритона, гордость Рима, совершенно потонул. Да и дома такие понастроены...

На Монте Пинчио запоздали.

Синеющая ночь уже приближалась, знаменитый закат пропустили. Теперь перед нами лежал, поблескивая кой-где золотом огней однообразный темнеющий вдаль к Яникулу полог крыш Рима, прерываемый иногда колокольнями. Купол Св. Петра едва виден. Налево громада нерадостного королевского памятника

Возвращались по Villa Sistina. Дом, где жили Гоголь, цел. Он старомоден и затерт новым. Здесь, в скромной комнате, на раскладном столе посредине, писались «Мертвые души». За стеной Анненков переписывал их. Доска с надписью на доме, прикрепленная русскими в начале этого века, цела. Что-то радостно-грустное при взгляде на нее.

И опять Piazza Barberini, и веселый дружеский ужин в траттории «San Basilio» неподалеку, и в условленном месте Р. и Анита. Рим приветствует нас превосходным фраскати — мы тоже его приветствуем.



...Колоннада Бернини перед Св. Петром показалась просто гигантской. Что за колонны, сколько их в гармоническом полукружии, — проходя под ними, кажешься муравьем. Недаром съела эта колоннада дом Рафаэля, некогда стоявший тут, как сам Собор съел прежнюю базилику Св. Петра, а ведь и она была замечательна и украшена первостатейно. (Из всех фресок Джотто уцелела одна).

Вход в музей теперь иной. Надо обойти чуть не весь Ватикан, и опять поражает громадность и налет современности: подъемник вроде пассажирского вагона возносит очень высоко, идет плавно и быстро, высаживает в бесконечные коридоры и залы, галереи, все блестит чистотой, новизной отделки, все кишит посетителями.

Сколько анфилад, паркетов, мраморов, ваз видов из окон и открытых лоджий промелькнуло, прежде чем добрались до Сикстинской капеллы, до Микеланджело, а потом, в Станцах и Лоджиях — до Рафаэля.

Жизнь идет, ни Микеланджело, ни Рафаэль измениться не могут, несмотря ни на какие фашизмы и коммунизмы, политику папы, современность и американизм, в Рим просачивающийся. Рафаэль и Микеланджело все те же. Их так же благоговейно рассматривают в Сикстинской капелле, задирая головы кверху, чтобы разглядеть потолок. Посетителей теперь еще больше. Не только иностранцев, но и своей молодежи сколько угодно — и это приятно видеть: экскурсии из провинции, да и Рима, под началом аббатов для юношей, монахинь для девушек. (В Сикстинской капелле какой-то мальчишка прикорнул даже на скамье, верно устал.)

Часы, в Ватикане проведенные, незабываемы. Прямая сила Микеланджело здесь сгущена до ощущения громоносной тучи. Оттуда, с потолка, от Сивилл, Пророков, Дней творения, твари и Отца исходит она, как стихия. Микеланджело тут очень открыт, показал себя весьма ясно. «Вот я такой. Хотите любите меня, хотите нет, но сопротивляться мне вы не можете».

Задумчивости, меланхолии капеллы Медичи нет. А уж особенно в Страшном Суде, старческой и действительно грозной, ветхозаветно-беспощадной вещи.

Но вообще в нем меньше таинственности, чем раньше казалось. Рафаэль со своей вечной юностью и гармонией, такой уравновешенный и спокойный, с той музыкой внутренней, которой проникнута каждая его «строка» в художестве, более загадочен, более залетный гость в мире сем — рано, таинственно ушедший, не все договаривавший, весьма расположенный к туманам символизма, почитатель Платона и Данте.

Но, впрочем, что же говорить о том, чему посвящены томы разве что о своих бедных, малых и мгновенных впечатлениях: больше врезалось на этот раз «Преображение», предсмертная его вещь (с беснующимся внизу отроком, символом мятущегося во грехе человечества), да поразительные ковры по его рисункам («Чудесный улов рыбы...» — что за очарование!).

Эти два-три часа в Ватикане, когда бегло еще взглянешь на Пинакотеку с первоклассными примитивами, наскочишь на Мелоццо да Форли и на замечательные его фрагменты, недавно сюда перенесенные головы ангелов, — все это нагнетает душу давлением стольких атмосфер, что чувствуешь себя опьяненным.

Да и есть от чего. Дышал воздухом величайшего, что дала бедная наша земля (быстро, быстро несущаяся к концу. Увидим ли его сами, уйдем ли раньше, все равно вздохнешь и о Рафаэле, и о Микеланджело).



Завтракали в простеньком ресторанчике близ Ватикана. Жена непременно хотела заехать к Вячеславу Иванову.[1] «Мы его всю жизнь знали, может больше никогда и не увидим...» Я тоже хотел, но колебался: уж очень стеснены временем, успеем ли? Но она настаивала...

Via Leon Battista Alberti... Где это? В спешке путешествия нашего не посмотрел даже на плане.

Тут мы поступили по-детски, но для Италии оказалось отлично: просто спросили у камерьере, где живет Вячеслав Иванов? (т. е. где его улица). Он не знал. Но вопрос слышали двое каменотесов — они сиде-

ли за столиком без скатерти, тянули красное винцо с козьим сыром, заедали собственным хлебом. Где эта улица, тоже не знали, но делом заинтересовались. Через несколько минут вся operaria * ресторанчика, все мелкие торговцы и матроны, рабочие, приказчики, здесь завтракавшие, уже знали, какой улицей озабочены иностранцы. Поднялись разговоры, потом заспорили, одни стояли за одно, другие за другое, поднялся гвалт, но и улегся — все выяснилось: это на Авентине, надо объехать пол-Рима. Зато автобус circonvallazione ** проходит совсем близко, прямо и довезет.

Авентинский холм, один из семи холмов Рима! Я любил его светлые задумчивые вечера, когда звонят Angelus, прощально золотеют окна Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсинных дерев с яркими плодами, как на райских деревцах старинных фресок.

Странное это было место. Тут некогда жили родители Алексея Божия человека (отсюда и ушел он в нищету, безвестность, и сюда же вернулся неузнанным).

Во времена моей молодости здесь тянулись сады, огороды, заборы. Рим, но как будто никто не живет. Среди кочнов капусты, брокколей попадались низины, сплошь заросшие камышом. Меж этих камышей и огородов — руины циклопических стен Сервия Туллия, сложенных из гигантских глыб туфа. Повыше монастырь Св. Саввы, а вдали вздымались остовы Терм Каракаллы. Все влажно, безмолвно... все необычайно.

Теперь известный поэт и философ, столп русского символизма, доживал дни свои на этом Авентине. И вот в Страстную пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что я повстречался в Ватикане, автобус нес нас к еще живому Вячеславу Иванову, с которым чуть не полвека я знаком, который много лет назад слушал моего «Рафаэля» в саду московского особняка покойной Лосевой,[2] в первые годы революции. Все это казалось странным, знаменательным.

Но Авентина я не узнал. Новые дома, кирпично-коричневого цвета, очень модерн, воздымались на местах прежних камышей. Какие уж там огороды! Автобусы да автомобили. Непохоже на Алексея Божия человека.

Мы целовались с Вячеславом Ивановым после тридцати лет разлуки у него в кабинете в одном из этих красно-рыжих домов. Годы суть годы. Но родственное и Момсену,[3] и Тютчеву в его внешнем облике так и осталось. Он сидел в кресле, кутаясь, в шапочке и очках — из-под шапочки полуседые пряди, прежде золотистого отлива. Ему восемьде-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Работники (*ит.*).

** Кольцевого маршрута (*ит.*).

сят четвертый год, и, несмотря на слабость, он менее изменился, чем Авентин и Рим, хотя мог уже сделать всего «сорок, пятьдесят шагов по квартире».

— Я, когда бежал в двадцатых годов из Баку, то так и говорил: еду умирать в Рим... Да, в Рим.

Он остановился, перевел дыхание.

— Сначала жил в Павии, а потом попал сюда... читал в Римском университете. Когда стал слабее, студенты ко мне ездили, а уж теперь не ездят... не могу. Только духовник приходит, причащает.

Сзади жена разговаривала с его сыном, а я слушал отца. Он стал рассказывать о своей поэме, грандиозной и таинственной, первая часть которой написана, «а вторую уж не знаю, успею ли, как Богу угодно».[4]

Все так же не быстро, слегка задыхаясь от слабого сердца, рассказывал довольно долго, все такой же Вячеслав Иванов, каким знал я его всю жизнь, такой же возвышенный и блестящий собеседник, как некогда в Петербурге, так же сразу подымался и подымал над обыденностью, и начиналось плавание в верхних слоях атмосферы, где «медогласный» его голос звучал так же мажорно и плавно, будто плывете вы с ним в спокойной воздушной ладье, которой правит он неторопливо.

Странное чувство: прощаться с человеком, зная, что никогда больше его не увидишь.



Шумите, волны, спешим, спешим,
Прости, прекрасный, милый Рим!..

М. Кузмин. «Алексей Божий человек»[5]

Автобус быстро мчал нас по Риму. Промелькнул круглый храм Весты, похожий на гриб, церковь Санта Мария ин Космедин. Потом пьяцца Венеция, Корсо, пьяцца Колонна. Здесь когда-то давно мы бросали с женой картошки в окна палаццо Киджи (тогда австрийского посольства) — была демонстрация итальянских студентов против Австрии — вся площадь кишела молодежью, конечно, не могло обойтись и без русских.

Анита и Р. не дождались нас в Эксельсиоре, мы запоздали. Теперь нам пришлось ждать. Пошли пройтись. Поднялись вверх по Via Vittorio Veneto: пансион Франчини, против виллы Боргезе и стены Аврелиана, вот он сохранился, тут мы жили, тут платили по шести лир с человека за полный пансион — готовил нам превосходный повар, служивший в Ватикане. Отсюда раз мы ушли на Аппиеву дорогу и так увлеклись, что отмахали пешком двадцать пять километров, возвращались вече-

ром при луне, в незабвенном очаровании... Впрочем, все это было, было и осталось лишь в воспоминании.

И в то время место это читалось нарядным, но куда же сравнить с теперешним. Побродив, поглядев на витрины, вспомнив желтые листья платанов и запах пронзительной свежести — мы тогда жили осенью — возвратились в Эксельсиор. Поджидали друзей в hall'е в безличной роскоши и суете карусели входящих, выходящих. Шляпы, дамы, меха, туалеты, иностранцы, синеасты...[6] Как дым проходит это лицо мира. Ничего не остается.

Наконец подошли Р. и Анита. Пути наши, столь удивительно сошедшиеся в Италии, теперь расходились. Мы возвращались в Париж, они, через несколько дней, в Испанию.

— Je vous embrasse*, doroguiya Vera et Boris, — сказала Анита, пожимая нам руки.

На другой день рано утром при чудесной погоде поезд уносил нас из Рима. Странным образом, он его огибал. Рим показывал нам в последний раз свои стены, ворота С.-Себастиано, откуда начинается Аппиева дорога, Тибр, Трастевере... Купол Св. Петра поглядел на нас, да и скрылся.

Вячеслав Иванов скоро скончался.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Обнимаю вас (*фр.*).

ОЧЕРКИ О ФИНЛЯНДИИ

ФИНЛЯНДИЯ. К РОДНЫМ КРАЯМ

Шесть утра. Пятые сутки режет нос белого «Балтика» воды морей — Северного, Балтийского. Мы видали Антверпен, мощно-зеленые берега Голландии, Кильский канал (тоже весь в зелени), датский остров Борнгольм, ночью шли мимо Готланда. И теперь, на носу, под сумрачными, в беловатых краях тучами, при свежем ветре всматриваемся вдаль. Где Гельсингфорс?

Не видать. Влево низкая кайма берега, темно-синеющие леса. А впереди, вдалеке на горизонте льдисто-серебряная, узенькая полоска моря, да над ней белыми завитками и клубами фантастические облака. Север! Вот куда мы заплыли. Как-то все будет в этих новых местах? — Ветер, точно бы подтверждая, что это действительно иной мир, приносит запах странный, полузабытый... а какой простой! — дальних хвойных лесов. Здесь, в диком море кажется он особенным и волнует — дыхание тысячеверстной страны, выходящей к Ледовитому океану.

В свой момент Гельсингфорс появился, конечно, именно как-то «всплыл» — изящным очертанием шпилей, куполами соборов, мелким узором домов, трубами фабрик. И медленно приближается. Узким проливчиком, мимо Свеаборга ветхого входим в порт Гельсингфорса, небольшой, но уютный, такой укрытый, что добредший сюда корабль должен бы чувствовать себя как в колыбели.

Еще издали длинный шпиль над низенькой церковью напомнил Адмиралтейскую иглу. Вид набережной усиливает родство с Петербургом — это старый Гельсингфорс, с невысокими, в колоннах, серого камня и красноватого гранита дворцами (президента, шведского посольства и др.) «Балтик» причаливает. Ни суеты, ни крика, ни бегонии южных портов. Встречающие толпятся у сходней. Едет по набережной извозчик. На базаре торгуют торговки. Даже такси медленно катится — все как в замедленном синема.

Впечатление неторопливости лишь усиливается по дороге к вокзалу. Здесь более новая часть города, в архитектуре модерн, сильно выражен он и в огромном вокзале. Много гранита в постройках, все основательно, сдержано и добротно. Чувствуешь, что попал в страну небыструю, неговорливую. «Спешить некуда» — вот ее девиз. «И шуметь нечего» — все можно довольно порядочно сделать и без крика. Золота из гранита не добудешь, сказочных богатств не создашь, но культурной и изящной столицей обзавестись можно (вся в зелени) — можно завести чистоту и порядок, хорошие жилища для «труждающихся», школы, больницы, дороги и прочее.

На вокзале в огромнейшей зале, напоминающей чуть ли не церковь протестантскую, чистота: ни соринки на полу. Молчаливо проходят люди, в большинстве скромно одетые. Финские барышни — такой естественной белокурости, какой бы позавидовали парижанки с выцвеченными волосами — барышни мало накрашенные, более простого, естественного и человечного вида. Старушка с совком и веничком неторопливо бродит — заметает малейшую бумажку. Сидят с вещами женщины в платочках. Проходят люди в высоких сапогах.

Перрон пред скорым поездом полон пароду. Такая же тишина, размеренность, как и на пристани. Будто никого и нет. В вагоне места нумерованы, никто не торопится, чистота и легкий поток мелодического, загадочного языка.

С началом движения поезда, с развертыванием страны — что говорить! — русского человека волнует и занимает более Россия, чем Финляндия. Да, это финский край, но и наш север, это наши ели, сосны, дачи и березы, тощие посевы ржи, скудость и дикость, а главное — запахи. Так не пахнет нигде в Европе, и соскочив пред вечером с подножки вагона, при минутной остановке на захолустной станции, вдруг вдохнешь... — попросту Россию! — в горьковатой и очаровательной хвое, во всегда весенней березе, во всегда летнем благоухании покоса (здесь еще только убирают).



Мы живем в большом, немолодом доме с крытою стеклянною террасой, с маленьким, тоже крытым собственным балконом в цветущих настурциях.[1] Большая лужайка перед домом, а за нею сосны и дорога. Сквозь них видно море.

Некогда это было известное дачное место. Русская столица наполняла его собою. Нет ее, все и затихло. Сколько пустых дач! Сколько разрушающихся, с выбитыми стеклами, а то и совсем сгинувших, вот подлинно уж «порастет травой забвенья!» Но кайма чудесного соснового леса у моря осталась. Остался песчаный «брег», кое-где утлый

финский «челн», бедные сети, бедные камни, сиротливо из мелких вод глядящие. Вечером, после заката, при кисейном тумане, огромной луне, выбирающейся над сиреневым горизонтом, по сиреневым водам ведущей золотую дорогу, пустынный берег этот, с заколоченною избенкой под соснами — не то из «Медного Всадника», не то из «Кащея» — до Бабы-Яги и совсем недалеко.

В часы более ранние, когда солнце ярко, на пляже кое-какие фигуры: дети купающаяся, дамы. И... некто с биноклем.

Если с биноклем, значит русский. Финну неинтересно глядеть вдаль. Русский же видит ни больше ни меньше — родину. В крайнем левом углу Сестрорецк — здания курзала, дома, леса. Прямо же перед глазами подымается из моря на далеком горизонте собор.[2] Это Кронштадт. А бинокль наведя, различаешь и здания, трубы, колокольню той церкви, где служил о. Иоанн Кронштадтский.[3] Все это будто совсем «на воде», как Венеция, в голубовато-лиловом, светлом мрении. Не пришлось видеть Кронштадта, когда можно было сесть на пароход и съездить туда, и не без странного, волнующего чувства смотришь на него теперь. (Надводный призрак, восстающий в бледности лиловой, в легеньком тумане и неясности...)

— Голгофа России, — сказала дама, взяв бинокль.

А во всяком случае: место явления о. Иоанна, одной из духовнейших фигур России до-голгофской. Появился он как раз на мрачнейшем, наполненном ядами (во многом наследие прошлого!) и взрывчатыми веществами островке. Островок скоро прославился первою местью, первой пролитой братской кровью — и первым знаменем революции.[4] А потом... — здешние жители помнят, как на финский берег спасались по льду те же самые бунтовщики, ныне от своих же, шедших из Петрограда, спасавшиеся.[5] О. Иоанн являл царство Духа. Нечто и иное явлено было в этом Кронштадте.

Левее его, много к нам ближе, ясно вижу островок-форт Тотлебен. Видны белые грибки по острову — прикрытия орудий? Взволнованному глазу кажется, что различает он и темные дула.



Да, Россию чувствуешь здесь не так, как на Западе. Совсем рядом она, видна, слышна — днем орудия палят в Кронштадте, на вечерней заре слышишь иной раз дальний рев гудка в направлении Петрограда: вероятно, пароход.

Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня![6]

Что за Мессия, и какого дня, и когда он настанет? (Неужели все страдания напрасны?). — А пока что сумрачные дуновения идут отту-

да. Совсем недавно, в марте месяце, множество старых людей, из бывшей буржуазии и интеллигенции, выселены были из соседнего этого Петрограда в *пятидневный срок.*[7] Нищих стариков и старух отправляли в Оренбург, Вятку. По приезде некоторые жили в палатках, на станции. Неудивительно, что в трех, лично мне известных случаях, двое из высланных умерли в первый же месяц.

Неудивительно, что и русские здесь (у кого мать *там* осталась, у кого отец, у кого брат) с такой остротой ощущают все тамошнее. В пансионе нашем приезжие из Гельсингфорса, Стокгольма, отдыхающие у моря после трудовой зимы — все испытывают тягу к этой черте, отделяющей два мира.

Барышни после завтрака уезжают на велосипедах.

— Куда вы?

— В Райаиоки, на границу.[8] Посмотреть Россию.

И возвращаются задумчивые, привозят цветы, открытки: железнодорожный мост через Сестру-реку, эта половина моста белая, та красная, и за рекой арка с пятиконечной звездой. Там русский пограничник, здесь финский солдат.

На пляже у бревна полулежит хозяин пансиона,[9] оперев локти на бревно, наводит огромный морской бинокль.

— Ну как, рассматриваете?

— Нынче хорошо виден Тотлебен. Не угодно ли? Только чтобы бинокль у вас не дрожал.

В нагруженном дамами, детьми автомобиле выезжаем и мы к границе, но в другое место.

За Куоккалой[10] сворачиваем. Песчаный проселок, сосенки, заброшенное кладбище. Машину потряхивает. Наконец, у крайней избы селения останавливаемся. Автомобиль — в ельник, идем дальше пешком, дорогою меж огородов. Опять бинокли.

— Видите большой дом с красным флагом? Это уже они, за речкой, — говорит бывший белый офицер, привезший нас сюда. — Мы пройдем направо, вон к той горке, оттуда лучше видно.

Меж посевов тощих, огородов, мы идем. Полдень теплого, но в тучах, дня. Ни души. Пролезаем под колючей проволокой, выходим па холмик. Внизу речка, лужок, густые ольхи на той стороне, и на взгорье «блокгауз». Антенна радио, красный флаг. Баба в белом гуляет с девочкой. Два пограничника на скамейке. За ними избы, а дальше леса, и над ними хмурые тучи.

Горка эта была раньше русской дачей. Теперь тут пни, елочки, остатки фундамента. Вся наша пестрая ватага смолкает. Все *туда* смотрят, кто в бинокль, кто простым глазом.

— Видите, вдалеке налево, это их наблюдательная вышка. Большие дома — это их колхоз.

Дамы, дети порываются вниз, к речке. Никаких заграждений, нет людей! Кажется, взял и перешел — постоял минуту на русской земле.

Офицер хмурится.

— Нет уж, пожалуйста... Туда не ходить. Мало ли что. Вы уверены, что там никого нет, в ольхах?

Странное, острое, смутное чувство — не из легких. Вот она и страна, наша родина, и на самой ее окраине чуем мы уже наших врагов. Точно на войне! Русские мужики, там покуривающие, белая баба, вечером будет доить корову — это враги? Будто бы и смешно... — а вот лучше все-таки к речке не подходить. Да и сама горка, сами мы здесь — в полной беззащитности. Достаточно двоим из них, вооруженным, выскочить из кустов — и любого из нас, как будто, можно увести.[11]

Возвращаемся не торопясь. У машины нашей стоит финский мальчик, лет пятнадцати. Спутник мой заговаривает с ним — на тихом языке с шестнадцатью падежами.

— Что же он вам рассказал?

— Говорит, что всю ту сторону выселили. Там жили карелы, их отправили в Сибирь, а сюда посадили своих, коммунистов, красноармейцев.[12]

Леса очень хмуро синеют. Тучи клубятся. Почти жарко, тихо. За синими лесами — дальние края России. Левее, севернее — Ладожское озеро, Валаам, а там — безмерные пространства... — заселенные теми, кто обречен в лагерях концентрационных, кто рубит лес, роет каналы, удивляющее иностранцев.

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.[13]

Перевернулся бы в гробу старомодный Некрасов, вычитав у Солоневича, сколько тысяч русских мужиков стонет в этом краю каторги.[14]



Автомобиль опять тронулся. Потряхивает на колесах проселка. Тепло, тихо. Вновь спокойная и мирная страна. На большой дороге встретим девочку с ягодами, солидного человека в таратайке — лошадка его не торопится, сам он покуривает трубочку уверенно: гражданин небольшого, но крепкого государства. Вновь началась Финляндия.

ВАЛААМ

Мне перечесть не хватить силы
Святых подвижников твоих.

Монастырская песнь

На бурной и дикой Ладоге, в северной ее части, небольшой остров. Гранит и луда его образуют. По каменным этим породам, Бог весть когда созданным, тонкий слой земли — как бы осадок вековой пыли. На нем выросли чудесные леса. Остров изрезан заливами, глубоко в него входящими, соединяющимися между собой, образуя проливы. Кое-где вокруг главного острова мелкие, на небольшом расстоянии. Тоже скалисты и заросли хвойным лесом.

Преподобные Сергий и Герман считаются основателями здешней монашеской жизни. На бесчисленных иконах Валаама изображены два старца-инока, в темных одеждах, со свитками письмен в опущенных руках. Их облики древни и легендарны.

Считается, что пришли они «от восточных стран». Сергия называют «изобразителем», видимо этот монах-священник был и иконописцем.

Кажется, жили они в веке четырнадцатом. Но возможно, что сам Валаам даже древнее, и до них было там иночество. В историю же перешли их имена, очевидно, они закрепили и навсегда упрочили монашеский быт острова.

Глубокой поэзией полны давние дела необыкновенных людей, как Зосима и Савватий Соловецкие, Сергий и Герман Валаамские, Арсений Коневский, пешком или на лодках пробиравшихся в самые суровые углы Севера, еще вполне языческого, приносивших туда новый мир, новый свет. Это фигуры героические, победители в смиренном облике. Валаам чтит своих святых и в их духе ведет многовековую историю. Она полна трудов, борьбы, лишений. И хотя мало сохранилось в монастыре древностей — из за разграблений, катастроф, суровых войн — все-таки посетитель ощущает цепь традиции, соединяющей теперешний довольно новый монастырь с дальними веками.

Остров со своими скалами, лесами привлекал всех, ищущих в труде и созерцании более высокого типа жизни. Крестьянство русское, ремесленники, купечество не только северной, но и средней России шло сюда. Валаам — монастырь простонародный. Обновитель духовной его жизни знаменитый игумен Назарий был сын причетника. Еще более прославленный Дамаскин, целитель и строитель, сорок лет правивший Валаамом в XIX в., сын крестьянина. И на низших ступенях

иерархии именно земледелец русский сковывал внутренно и держал на высоте обитель — молился в церквах и келиях, в скитах, пустынях, но и трудился неотступно в лесах, на тощих пажитях, на огородах, ловя рыбу, строя здания, занимаясь иконописью, — создавая место святое и поэтическое: недаром один из его основателей был святой художник.



В тихих игуменских покоях на стене картина: зима, обрывистый берег, сизые волны бьют в него, образуя ледяные сталактиты, превращая всю скалу в ледяную глыбу. Наверху, закинув голову в рогах, стоит олень, обращенный к бушующей Ладоге.

Это образ зимней суровости Валаама, бурь поздней осени, силы Севера и его ветров. Озеро замерзает в январе. И есть время, когда остров и вовсе отрезан от суши.

Наверно, красив и величествен Валаам и зимой. Я его видел летом, открылся он мне стороной неожиданной даже — светлой, приветливой, как в природе, так и в людях.

Самый монастырь, с огромнейшим собором, тысячепудовым колокольным звоном, приземистыми корпусами келий, белеющих среди зелени, с чудным садом, кладбищем тенистым, с многокомнатною гостиницей — все это мощь старой России. Александр Благословенный здесь бывал, и Царь Освободитель, и великие князья, митрополиты, московские и петербургские купцы. Но и крестьяне, бабы, лавочники — Русь сермяжная — являлись приложиться к раке св. Сергия и Германа. И те, и другие питали обитель, поддерживали ее и налагали свой отпечаток. Поистине немалая страна создала монастырь. И во всем облике, духе и складе его, чем более всматриваешься, яснее видишь соединение силы с духовностью, чистотой, тишиной.

Помимо служб, колоколов, хоров, молений всегда влек паломников в русский монастырь воздух благожелания. «С любовию, с любовию» — часто слышит посетитель слова, столь в миру редкие. Валаам ими пронизан, и это важнее даже его грандиозных строений, всего великолепия фасада его.

Особенно это ощущаешь в скитах, пустыньках, часовнях и лесах острова, дальше от политики, хозяйства, управления.

В блужданиях по вековым борам, прорезанных стеклянно-зеркальными заливами, куда опрокинуты прибрежные сосны и скалы, остро и с подымающей радостью чувствуешь свет Валаама. Он разлит и в природе, и в людях. В тихий вечер июльский Ладога мирно голубеет, покой ее удивителен и прелестны холмы, дальним миражем ее окаймляющие. Беззвучны, зеркальны воды внутренние — залив и проливы. Много светлых лужаек с травою, цветами, удивительным благоухани-

ем хвойных лесов. Заяц выскочит из под ног и смешно, но непугливо закостыляет в чащу. Белка взберется цепкими лапками на сосну с золотистыми шкурками коры, треплющимися в ветерке. И когда, притомившись, зайдешь в часовенку — их много здесь, уединенных, тихих, но в порядке содержащихся, — Лик Богоматери с Младенцем на тебя взглянет.

Перекрестишься, посидишь в тишине, быть может, прочитаешь тропарь, тут же лежащий, и отдохнув, освеженный, под покровом сил благодатных, двинешься далее, к какому-нибудь скиту.

Может быть, встретится воз сена, два старика-монаха, раскрасневшихся, в белых подрясниках. Они истово поклонятся, а наш путь дальше, лесною дорогою, с запахом хвои, грибов, озер, к какому-нибудь скиту.

Там примут изборожденные морщинами пустынножители, все с той же улыбкой, в простоте и ласковости. Угостят душистою земляникой, самовар закипит, чашки с цветами появятся. И не надо думать, что поучения начнутся. Просто разговоры. Но в них что-то благодатное, вливающееся и дающее радость.

Питаясь репками, общаясь ежедневно с Высшим Благом, не боясь ни жизни, ни природы и прикармливая лисиц, старцы дают нам образ духовного мира, некий намек на Царствие Божие.



Революция миновала Валаам. Он отошел к Финляндии и уцелел. Все же России нет больше за ним, как нет и за Афоном. Финны относятся к монастырю с уважением. Он принадлежит финской православной церкви и в огромный собор на праздники собираются окрестные карелы-паломники. Очень много и финских туристов. Посещают монастырь англичане, немцы и шведы. Но мал приток русских... — не паломников, а таких, кто склонен был бы принять монашество. Прежде давала их Россия. Теперь она отрезана, русским же в Финляндии, эмигрантам, это не под силу, слишком их мало. А финны православные не склонны к монашеству.

Монастырь оскудевает людьми. В цветущие времена братии было более тысячи, теперь около двухсот пятидесяти, и число это в будущем должно понижаться. Уже сейчас большинство монахов — старцы. Убыль в их рядах все сильнее.

Несомненно, велика угроза вымирания. Но в истории многовековых созданий, как Афон, Валаам, надо мерить мерою крупной. Афон в свое время пострадал от крестоносцев и «латинян», но все это прошло и он возродился. В начале семнадцатого века Валаам был разграблен и разрушен шведами до основания. Игумен Макарий и часть братии

убиты. Остальные монахи ютились целое столетие в монастырях вокруг Ладоги. Но в подходящий момент, при Петре, вновь водворились на остров. Пребывание свое в Васильевском монастыре у Волхова они считали временным, а истинным домом — Валаам, где оставались и при шведах мощи свв. Сергия и Германа («почивали во глубине могилы»). Победили, таким образом, воля и упорство.

Ничего мы не знаем о будущем Валаама. Пока надо быть благодарным, что и вообще-то он сохранился, в России бы уже погиб. А дальнейшее будет зависеть от судеб Родины нашей, судеб самого православия. Сейчас, когда смотришь на немногочисленных молодых валаамских монахов, думаешь, что вот им-то и предстоит одинокое хранение святыни русской. Доживут ли они до времени, когда Россия перестанет быть врагом религии и оттуда придет смена, или не доживут — неизвестно. Русские люди в изгнании могут только пожелать им сил и Божьего благословения во все растущем подвиге.

<У ЗАВЕТНОЙ РОДНОЙ ЧЕРТЫ>

Популярный русский писатель Борис Константинович Зайцев прожил несколько месяцев в Финляндии. В беседе для «Зари» он поделился своими чрезвычайно интересными впечатлениями о жизни в этом уголке — под боком у России.

Я посетил, — рассказывает он, — могилу Леонида Андреева. Он похоронен на маленьком сельском кладбище в Вамельсуу — близ Териок.[1] Могила находится в крайне запущенном состоянии. Деревянный черный крест покачнулся, на нем нет ни таблички, ни надписи. Вся могила заросла шиповником. Когда хоронили Андреева, на его могиле было посажено несколько кустов шиповника с символической целью. Ведь покойный поместил целый ряд своих произведений в популярных тогда в России сборниках «Шиповник». Лишь недавно организован сбор для приведения могилы Леонида Андреева в должный вид. Уже собрано три тысячи финских марок.

Мы с женой хотели также посетить знаменитую виллу Андреева, — продолжал Б. К. Зайцев. — Но, оказывается, вилла, принадлежавшая писателю, снесена до основания! Ее кто-то купил и почему-то разрушил. Не осталось никаких следов.[2]

Посетили мы также и дачу Ильи Репина в Куоккале — знаменитые «Пенаты». Дача превращена в Репинский музей и им заведует дочь художника Вера Ильинична[3] — очень любезная старушка. Она ревностно наблюдает за музеем. Музей часто посещается иностранцами, — главным образом финнами и шведами. Дочь Репина устраивает выставки

в Гельсингфорсе, принимает посетителей музея, дает исчерпывающую информацию всем тем, кто интересуется Репиным...

Писатель продолжает:

— Мы побывали в Гельсингфорсе, Выборге, Териоках, Райволе. Везде я читал лекции на тему «Русский человек в современности»,[4] а также отрывки из моего нового романа «Путешествие Глеба». Лекции делали полные сборы, на них являлись наши соотечественники из местных русских колоний, в которых сильно развита интеллектуальная жизнь.

Везде много читают, интересуются литературными новинками, везде существуют русские библиотеки. Многие провинциалы состоят абонентами русской общественной библиотеки в Гельсингфорсе, где имеется свыше двухсот тысяч томов. В дореволюционной России существовало правило: один экземпляр всякой выходившей в России книги должен был посылаться в Императорскую Публичную библиотеку в Петербурге, а другой в Гельсингфорскую библиотеку... Провинциальные абоненты получают из Гельсингфорса книги по почте и относятся к ним бережно, любовно.

В русских колониях Финляндии наблюдается очень любопытное явление. Это, если так можно выразиться, «путешествующие лекции». Лектор приезжает, предположим, в Куоккалу и читает лекции на частных дачах, куда его приглашают. Собираются там знакомые, 20—50 человек. Хозяева взимают небольшую плату в пользу лектора. И лекции имеют успех. Например, в бытность мою в Финляндии лектор И. Е. Орешин[5] выполнил целый цикл таких лекций по истории русского искусства XIX века и истории современной литературы.

В Гельсингфорсе имеется два русских клуба: «Купеческий»[6] и «Эмигрантский»[7] и литературный кружок «Светлица».[8] Членами «Светлицы» состоят любители литературы и местные литературные силы. Издается там литературный ежемесячный журнал: «Журнал содружества».[9] Средства скудны, и журнал печатается на гектографе и только обложка напечатана типографским способом. Лишь в последнее время «Содружество» прибегло к сбору пожертвований.

А жизнь в Финляндии очень дешева — по крайней мере в сравнении с Европой. Мы жили в Келломяках, — закончил Зайцев. — После Парижа нас поразила дешевизна!.. У нас были две комнаты с балконом, выходящим в сад, и мы с полные пансионом платили на французские деньги 10 франков в сутки. Курица стоит в Финляндии три франка, в Париже около 25 франков...

Жизнь спокойна, тиха, можно отдохнуть от всяких треволнений. О Финляндии приходится вспоминать, как о рае, после Франции, где поход на иностранцев измотал нервы русских вконец...

ФИНСКИЙ КРАЙ. В ЛЕСАХ

...От станции к нам надо спускаться по широкой дороге-просеке. Она прямо сходит вниз, в конце ее море, а над ним, в дальнем тумане, русский берег залива. Какие-нибудь Ораниенбаумы, Петергофы... Россия!

Дом пансиона деревянный, довольно старый, обжитой, с огромною стеклянною террасой. Мы наверху. От меня видна лужайка, дорожка в цветах, узкая полоска леса вдоль шоссе и море. Из спальни — дворик, огромная плакучая береза, ель, опять лужайка и за нею лес. Какой воздух! Можно сидеть на сквозняке и нюхать его, как духи.

Жизнь равномерна. Утром остаюсь один за письменным столом. На комоде розы в майоликовом кувшинчике — из сада наших друзей. Они бледно-палевые, тугие, нежной шелковистости, но и матовость их тронула. Встанешь, понюхаешь, погладишь, и опять за дело. Или выйдешь на балкон, сядешь в кресло среди цветущих настурций. Солнце бледно греет. Финн складывает копенки — второй покос, атаву убирают. Пахнет сеном. Тихо, мирно на душе.

Около полудня надеваешь шляпу, берешь палку, ножик и корзинку, идешь по грибы. Можно ли думать о таком занятии в Париже? Но вот тут оживает давнее — не детское ли? Таинственная связь с природой, глохнущая в городах!

Грибы — странные существа, подземные. В них нет «прямой» красоты, как в розах на моем комоде. Но влажная и духовитая мощь земли выражена. И как они уединенны! Всегда будто бы прячутся, даже не любят шума, он не идет им, а нужна сырая почва, перетлевшие листики — из под них вдруг с загадочною силою, из какой-то споры пробьется тугой, крепкий, пахучий боровик в коричневом шлеме, на нежно-златистой подкладке. Или красноголовый подосиновик. (В подберезовиках что-то рябенькое, более будничное, да и силы меньше. Но хороши и они, именно своей русскою скромностью.)

Грибы любят или не любят место. Что особенного в этом уголке нашего сада, вдоль шоссе? Ели, сосны, канавка с водой, длинная, мятая трава у ней... — а это грибное место. С него и начинаешь. Оно не обманет. А потом калитка, дорога, и идешь к другой верной полянке.

Выдавались тихие, серенькие дни, с сиреневым морем справа. Камни у берега, мели, сети рыбацкие. Прокатит на велосипеде финночка, худенькая, белокурая, на другой машине юноша, долетят какие-то слова на непонятном языке, улыбки, и опять тишина. Кое-где слева пустые дачи.

Подхожу к одной из них — двухэтажной. Когда-то здесь отдыхали. Может быть, танцевала молодежь, хохотали. Сейчас стекла выбиты,

окна полузабиты досками. Заколочена и входная дверь на крыльце. С крыльца этого в боковое окошко видна лестница во второй этаж — пыль, паутина, безмолвие. Печальное место! Раз застал тут меня дождь, я пережидал его на крыльце, среди осколков стекол. С крыши капало. Жалобно, но и зеркально-пронзительно барабанили капли по стеклышку на земле — оно как бы пело под ними. А когда сумерки сойдут, сосны зашумят, не вспомнится ли тень Гапона: где-то в этих местах, на пустой даче его и повесили.[1]

Одна жизнь отсюда ушла, а другая явилась, подземная, Прозерпинина: пред развалиною полянка всегда полна грибов.

И трудно не сказать слова о лесе, что тут же и начинается — глухой, дикий лес, с елями, темнотою, с мертвой сухой хвоей внизу или зеленым бархатом мхов, с пнями, болотцами, с тем молчанием и величием, какие присущи настоящему лесу. Тут какая-то грусть и радость детских лет, красота, важность русского леса. Да, может быть нечто и гамсуновское, из «Пана» — «первая железная ночь», «вторая железная ночь» — любовь, тоска, скитания лейтенанта Глана в лесах Норвегии...[2]

...Можно стоять или сидеть на пеньке, вот так, одному, в этом лесу, с корзиночкой грибов у ног, в сумраке и благоухании.



Под вечер подымаемся от своего дома к станции, заходим спросить почту, и по платформе, где как в чеховские времена гуляют барышни, поджидая поезд, идем вдоль рельс к друзьям на виллу К<ауше>.[3]

Одноэтажный дом, затейливой постройки, увит диким виноградом, вокруг сад с бассейном перед окнами, розы, голубоватая сосна, кусты стриженых хвойных пород и за забором линия железнодорожная. Там и закат. А вокруг лес — мелкий сосенник по песчаной почве.

Этих вечеров на вилле К<ауше> не позабудешь, как не позабудешь и привета, дружеского внимания хозяев, людей русских, давно тут осевших, в тихом и основательном убежище. Всё здесь довоенное, солидное и как бы навсегда уставленное, в однообразном, правильном обороте дней. Огонек лампадки под образом, кресло у портрета Владимира Соловьева, цветы на столе, осенняя пестрота дерев в зеркальных стеклах окон. Краснеющий закат.

Сами хозяева — уже часть истории этой местности. В доме их служат финские девушки, с детства ими взращенные — отсюда и замуж выйдут. Многих молодых русских в окрестности знали они тоже детьми, и кто вокруг в трудную минуту не находил помощи, внимания, участия. Разумеется, были жизни, связанные с этим домом.

— На кресле, где вы сейчас сидите, — говорит хозяйка, — часто сидел барон.[4] Приходил ровно в четыре, уходил ровно в шесть. Барон!

Особенный был человек. Джентльмен. Со старыми замашками, по Петербургу. Здесь он жил бедно, но смотрите, как с достоинством нес эту жизнь... Все-таки, при нем был человек. И хотя готовил барон сам, но когда садился за завтрак, говорил: «Степан, подавай!» Ах, он был и чудак, конечно!

Она засмеялась, все лицо ее наполнилось светом и улыбкою, сквозь которую скользнула грусть. Она быстро встала, легкою, как бы летящею своей походкой вышла и вернулась с тростью. Небольшая трость, с позолоченной, в резьбе, головкою времен начала века, как носили герои Анри де Ренье, маркизы и виконты.[5]

— Я вчера по рассеянности чуть было вам ее не отдала, когда вы вечером в темноте уходили. Нет, эту не дам... это память. Он с нею к нам и зимой, и летом, и осенью в грязь являлся — всегда чистый, аккуратный. И читал том за томом Соловьева. Барон...

А в другой раз, показывая дом, все сложные его закоулки вверху и внизу, когда мы забрели в нижний, полуподвальный этаж и вошли в уютную комнату с окном, затянутым кисеею, сказала:

— Тут жил мой брат Филадельф.[6] Тут и умер.

Брат Филадельф это тоже Россия, но не барон, род московский, купеческий, некогда тоже богатейший человек, закончивший дни на земле финской, у сестры.

— Он все про дачу нашу говорил: тесный у тебя домик, Нина! Что это за дом! Он тоже к широкой жизни привык... и много последние годы приходилось смиряться. Не так ему было легко... Ну, а вот Бог и привел здесь свое убежище найти.

Я уже слышал об этом Филадельфе, человеке горячем, по-видимому, и мечтателе, строившем планы один другого грандиознее.

— Да, так, так, — сказала она вдруг быстро, быть может, с той же возбужденностью, какая была и у Филадельфа, — я давно хотела сказать, надо нам к Щучьему озеру сходить, в той стороне и кладбище, могилку барона и Филадельфа я вам покажу.

Мы и пошли, через несколько дней, в ясное солнечное утро. Опять с нами корзиночка — первые числа сентября, грибное время! Хозяйка вела нас, быстрой, легкой своей походкой.

— В этой даче зимой иногда собираются, по вечерам, читают вслух русских писателей. Да, да, это наш лесок, а там выходим на дорогу.

Мы углублялись в глушь, за дачи, а потом торной, но пустынной дорожкой, кое-где с песком в колеях, зашагали среди мелколесья Финляндии, сразу отдалившись от жилья. Вот идем втроем, слева железная дорога, справа леса без конца, чуть не на тысячу верст к Ледовитому океану, и все, вероятно, такие же вырубки, болотца, остатки крупного леса, все под таким же бледным, негреющим солнцем.

Хозяйка радовалась каждому ветерку, облачку, каждому грибу, мною найденному по дороге. Ее белая накидка легко и радостно нас вела все дальше.

— Там домик в лесу, мать с дочерью живут, тоже наши, русские. Как трудно на работу на лесопилку отсюда ходить зимой! Ведь заносит все, вы бы видели... Да, а это начинается кладбище... но мы на обратном пути зайдем. Нет, нет, с этой канавки грибов не берите, это кладбищенская земля, с нее нельзя брать.

Мы прошли мимо скромного кладбища за изгородью — русские лежат, под финскими соснами, обитатели дач, домиков нехитрой местности. Тут и барон, и Филадельф.

Начался крупный лес, чудный, весь пронизанный солнечными потоками, с темнотою внизу, прелью, влагой, местами зелеными лужайками мхов, а то черно-сказочной глубью.

— Белый гриб? Хорошо! Ах, как хорошо!

И слегка щурясь, стараясь разглядеть и посодействовать, она указывала рукой:

— А там что? Тоже, кажется, боровик?

В этих лесах было уже большое молчание и серьезность. Лишь мы оглашали их нашими дружескими разговорами, быть может, и оживляли.

Пустынно оказалось на озере — столь северном, столь финском! Все оно как-то тонуло в лесах, одиночестве, безмолвии. Мелко переливало на средине серебром под солнцем, точно говорило беззвучно. Ни ястреба, ни чайки. Кой-где рыбка плеснет.



И мы побывали на кладбище. Видали могилки барона и Филадельфа. Близко они лежат друг к другу...

Хозяйка была взволнована.

— Да, вот им цветочков... таких, простеньких, да. И сама тут же лягу, тут уж все приготовлено. Они такие были разные. А обоим Господь легкую смерть послал: прямо к Себе взял, без страданий. Ну вот, ну и хорошо, поклонились, и пошли, и пошли домой.

Мы и на самом деле пошли, все так же оживленно разговаривая, тем же мелколесием финским. Мертвые тихо лежат. Мы еще живы, заняты малыми нашими делами: не опоздать к завтраку в пансион, успеть вечером съездить в Териоки, написать письма, мало ли что. Наша жизнь идет еще равномерной своей колеей, с тою же будничной таинственностью, которая мало чем понятнее тайны смерти. Мигнет этот светлый, неповторимый день, утром буду сидеть за своим столом уже немного другой, буду нюхать розы и пойду собирать грибы. Жена уйдет на вил-

лу К<ауше>, и в каждой соседней вилле, в нашем доме, во всем этом крае русские жизни, разбросанные тут, незримо будут сплетать свои узоры.

— Вы ведь знаете, Филадельф был очень, очень верующий человек. Мы когда с ним по Италии путешествовали, то нарочно, по желанию его, заезжали в Сицилию, там разыскали местечко Лентини, где когда-то замучен был св. Филадельф.[7] Поклонились его мощам.

Да, вот и это. И это вошло в мою жизнь, и завтра, идя за грибами, я буду уж я, плюс Филадельф, плюс барон, плюс Лентини.

ФИНСКИЙ КРАЙ. НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

В большой белой териокской церкви[1] кончалась литургия. Мы стояли несколько впереди, сзади друг наш Нина К<ауше>. Обернувшись, я увидел ее взволнованное, с блестящими влажными глазами лицо. К кресту подходили вместе.

— Ну вот, ну вот и хорошо, —говорила она уже на паперти, под бледным солнцем сентябрьским. — Очень хорошо, что вы едете на его могилу. Это был близкий вам человек, тоже писатель... и умер здесь, в изгнании. Отлично. Вот и машина ждет, шофер этот — верный человек, давно его знаем.

Мы сели. На коленях жены лежал букет красных роз.

— Значит, помните, в два часа поезд. Не опаздывайте.

Машина тронулась. Нина махнула платочком, высокая и быстрая, в белой своей накидке зашагала вверх по улице Териок.

Наш же шофер взял влево, вниз. Сделав несколько поворотов, вынеслись мы, в мягком и почти беззвучном лёте, на приморское шоссе. Сосны, дачи, слева всё виднее сиреневое море. Чуть туманится воздух и приятны в него нисходящие, как в подводное царство, лучи небогатого солнца.

Некогда мы гостили тут, ночевали. Знаю, что в Териоках, в этой их стороне. Но где именно? В какой даче? Да и вообще, было или не было? Машина мягко катит. Сосны то чаще, то реже, дачи то обитаемые, то заколоченные, то просто остатки фундаментов.

Несомненно, здесь жил и писатель Чулков,[2] и издатели Гржебин, Копельман — из «Шиповника»...[3] Но найдешь ли вот след минутных этих кочевий?

Быстро кончились Териоки. Остался один лес да море, да песчаный его брег, вместе с нами летевший, желтоватой каймой отделявший от моря.

Наконец, и его нет. Море ушло, мы повернули, выемкой вылетели на открытое место. Это и есть «Черная речка», где жил Леонид Андреев.



Нина К<ауше> верно сказала, что Андреев был близкий нам человек. С ранней юности я его знал, многим на первых писательских шагах был ему и обязан. В памяти моей он остался другом и доброжелателем.

Летом 1908 года мы из Тульской деревни собрались в Петербург и Финляндию. Леонид был в разгаре славы — шумной, непрочной, опьяняющей. Только что сыграли «Жизнь человека» в Художественном и в Петербурге у Мейерхольда. Деньги шли самотеком, но и не задерживались. Дачу на Черной речке, наскоро выстроенную, не напрасно назвал он «Аванс».

Дача была огромная, в стиле модерн, с башнею и балконами, сумрачная, нескладная.[4] Население в ней немалое. Леонид только что женился, вторым браком, на Анне Ильинишне Денисевич.[5] С ними жила его мать, старушка Настасья Николаевна,[6] сын Леонида от первого брака,[7] дочь Анны Ильиничны от ее первого мужа,[8] еще какие-то родственники. Но всем места довольно. Спальни, белые детские, Леонидов огромный кабинет с горизонтальными окнами, все это в разных этажах, и везде своя жизнь, просторная, привольная и безалаберная, как в довоенные времена России полагалось. А сколь русак, коренной, орловский, был и сам хозяин, несмотря на весь свой международный уклон!

По вилле северного модерн расхаживала Настасья Николаевна, охала, вздыхала, просто потому, что старушкам русским полагалось вздыхать.

Есть любили по-русски — в доме часто пахло щами. Без конца ставились самовары, толклись гости, приезжали, уезжали. Леонид курил, пил крепкий чай — подавали ему и ночью. Поздно ложились, поздно вставали. Обсуждали, конечно, все мировые и неразрешимые вопросы.

Два-три дня, проведенные на этой даче, в дружественном воздухе, остались пестрой, но приятной памятью приветливости, суеты, русско-деревенской бестолочи. Лазили на башню смотреть море, гуляли, катались в лодке по самой этой Черной речке — действительно темна ее лесная вода, с омутами и корягами. Ярко светило солнце, зеленели ольхи, белело легкое платье Анны Ильиничны. Леонид, бритый, несколько пополневший, в морском картузике, но с теми же прекрасными, горячими глазами, возил нас на моторе и на взморье. За рулем нравилось ему иметь вид капитана, застарелого морского волка. Он был в расцвете сил, любви к красавице жене и опьянении успехами писа-

нья. Все-таки прочности в нем не чувствовалось. Он только что написал «Жизнь человека»...

Нам отвели угловую комнату. Помню, проснулся ранним утром. Из-под темных занавесей било солнце за окном, на зыбком сооружении сидел маляр, что-то докрашивал, и напевал. Великорусский, скромный напев! Меланхоличный и однообразный, но что-то выражавший, не модное, а коренное, взросшее на полях Орла и Тулы, столь далекое от «Царя Голода» или «Океана».

Маляр пел негромко. Грустное и роковое было в его напевании.



Машина замедлила ход. Шофер озирался. И мы глядели... — пустынное место, справа крутой спуск, там и течет, видимо, эта Черная речка, по которой катал нас Леонид. За ней деревня и дальние леса. Что-то знакомое, как бы сквозь сон, в пейзаже. Да, будто мы тут были. А вилла? Ничего не видать. Впереди, налево, из-за мелколесья — купол церкви. Это и есть кладбище, так нам говорили в Келломяках (но тогда ничего этого не было).[9]

Шофер взял с шоссе влево, узкою дорожкой средь посевов. У околицы остановились.

— Я вас тут подожду, идите тропкой, там увидите церковную ограду и кладбище.

Мы тронулись. Жена несла свой букет. Мы знали, что это уединенное кладбище, запертое, но есть и сторож, его отпирающий. Где он?

Тропинка шла мимо фермы. Девушка развешивала белье в огороде. Мы спросили ее о стороже, о могиле Андреева.

Она обернулась, неохотно отрываясь от дела.

— Сторож внизу. С моря ближе бы было.

— А отсюда далеко?

— Поболее километра. Сейчас вряд ли он дома.

— Тут ведь Андреев похоронен?

Она не сразу ответила. Потом сообразила.

— Да, целая семья. Они все тут.

— Как семья?

— Ну так, — сказала она почти недовольно. — Они и на постройку церкви дали, и на кладбище. Купцы были богатые, Андреевы...

— А писатель Андреев?

О нем она не знала. И с усердием занялась своим делом.

Мы же через несколько минут подошли к ограде. Видимо, строили люди солидные. Ворота заперты, сквозь решетку их видны кресты да прекрасная небольшая церковь, строгая, в стиле древних храмов новгородских, с одним лишь позлащенным куполом.

Идем вдоль стены вправо, потом поворот, дорога слегка спускается — и вдруг открытое место, у третьей стороны кладбища, глядящего здесь на далеко вниз идущие леса. Как хорошо! Совсем пустынно, вниз пологим скатом ельники, сосенники, за ними в перламутровой туманности беловатое море финское, легкий душистый ветерок. За оградою, с этой стороны, более низкой, сразу узнали мы могилу Андреева — Леонида, настоящего.

Но как раздобыть сторожа? Неужели вниз идти, искать его, да застанешь ли еще дома... — мы решили сделать проще: подойдя к ограде, выбрал я место пониже, вспрыгнул на стенку. Помог и жене. Розы она перебросила.

И вот мы у могилы, и мы поклонились ей. Она проста и благородна, но печальна: нет любящей руки, о ней заботящейся. Деревянный черный крест, без надписи. Никакой плиты, вокруг кайма густого, невысокого шиповника. «Шиповник» — название модного тогда издательства, это молодость наша, шумные успехи Леонида. «Шиповники» были Гржебин и Копельман, издатели Андреева, да и других. Правильно не забыт скромный шиповник, и у места Леонидова упокоения.

Жена раскладывала свои розы по земле могилы. Украсила ими и крест, вставляя стебли в трещины его. Крест хорошо расцветился темно-красным.

И пока потихоньку мы копошились около могилы, набирая здешних цветиков, подбрасывая их Леониду, или просто сидя близ ограды и любуясь, красотою, тишиною места, из тугих роз Нины К<ауше> потекли по кресту капли росы: мы с собой привезли эту кристальную влагу, в глубине венчиков.

— Смотри, — сказала жена, — точно слезы. Ну, пусть это и будут слезы по тебе, Леонид.

Да, подумать только — через сколько лет, из-за дальних морей оказались и мы у его могилы.



Время, когда мы гостили на Черной речке, было едва ли не последним благополучным в жизни Андреева — далее шли неудачи, охлаждение публики, а там война, революция.

Я в последний раз видел Леонида в Москве, думаю, в 1913 году. Шла его пьеса «Тот, кто получает пощечины». Мы были на премьере вместе. Леонид очень изменился со времен молодости, или даже с Черной речки. Много накопилось ядов, горечи. Да и здоровье расшаталось (сердце у него всегда было плохое). Спектакль оказался полу-успех, полу-провал, но в пьесе при всех явных недостатках — нечто пронзительно-андреевское. Постановка доставила ему много страданий.

Было же это лишь вступлением к горестям войны и революции. Он их мучительно переживал: чего-чего, а возбудимости, фантазии и нервности Андрееву не занимать стать. Только теперь, в Финляндии, попались мне его записки этих лет, вплоть до кончины. Сколько в них тоски! И надо же было судьбе до последнего дня преследовать этого выдающегося человека. Осенью 1919 года, когда совсем был он разбит сердечною болезнью, его мучили аэропланы, пролетавшие здесь, бросая бомбы. Со своей дачи он уехал. Жил то в Райволе, то в Мустамяках, задыхаясь от припадков сердца. И в один день сентября не выдержал — совсем ушел, навсегда.[10]



Мы довольно долго побыли у его могилы, побродили и по кладбищу. День прояснился, было тепло, мягко-солнечно, может быть, как и в тот сентябрьский, последний его день.

Золотой купол церкви сиял. Облака проходили в нем. Средь могильных плит без труда мы нашли многих Андреевых, именно тех, кого знала девушка. Они так же лежат в вечности, как и Леонид, и не виновны, что их слава в местности этой больше, чем Андреева Леонида.

Шофер дремал, когда мы подошли. И снова оказались в пейзаже сновиденья — младости ушедшей, — а когда машина тронулась, я указал жене направо, неожиданно для меня выплывший, на изволоке недалеко от кладбища четырехугольник елочек. В нем остатки фундаментов, построек — все, что осталось от виллы, где маляр напевал свою песенку.

ДНИ
<Келломяки. Кирьола. Гельсингфорс>

В Финляндии довелось побывать дважды: до Великой войны и четыре года назад.

Раннее путешествие было кратким, след его бегл. Мы дышали тогда невозбранно Россией, великим изобилием тульских, московских мест. Родина вскармливала нас. Финляндия — только небольшая часть безмерного отчества — не так особенно и возбуждала.

Она понравилась, но средне. Главное, не удивила. Запомнилась Иматра — снежное кипение среди валунов, туман над ним, леса, белый огромный отель. Сайменское озеро с пансионом Рауха — бледно-розовый вечер, сребристые воды, слега даже прозрачные. Сосны, гранит, мхи. Дико, располагает к поэзии. Но не скажешь, чтобы так уж лежало к этому сердце.

Во второй раз мы попали в Финляндию с чужбины — не сынами Империи, а так, бесподдаными.

Жили в нескольких верстах от границы, на берегу Финского залива. С песчаного пляжа виднелся Кронштадт, стеклянно рея над водами. Сердце тяжело билось, когда ездили на самую границу и в нескольких шагах от себя видели Родину — вот она, рядом, а не достанешь.

После страны латинской не только Валаам, но и скромные наши Келломяки, Териоки, Куоккала — все оказалось Россией. По станционной платформе гуляли чеховские девицы, за обедом в пансионе на стеклянной веранде собирались русские из Гельсингфорса, Выборга, отдыхающие летом здесь. Хор церкви Куоккала[1] дал нам концерт. Сено на лужайке перед домом мы сами помогали убирать, благоухало оно как в России. Иногда нам запрягали нехитрого конька в тележку. Заседая на козлах, сгоняя кнутом слепня со спины меринка, чувствовал себя уж никак не в Париже. Руки пахнут ременными вожжами, конек не торопясь потрухивает к Териокам или в церковь Куоккалы.

Эти сосновые леса «песчаный берег», небыстрый, но достойный обиход жизни вокруг давали чувство мира, уклада хоть и не богатого, но налаженного и оседлого.

«Ну, конечно, мы странники, без роду-племени, а здешние сидят прочно, домовито».

По утрам иногда случалось уходить в лес с корзиночкой, на безмолвных полянках как в детстве собирать целые семьи боровиков. Ели, сосны, хмурь, сыроватое благоухание. Тихий стук дятла, выковыривающего из дерева червячков... — был у меня даже друг-дятел. Он меня не боялся, подпускал близко. Я ходил его слушать и любил скромную его работу, хотя удивлялся крепости головы дятловой. Он неустанно постукивал — вносил мягко-дробную ноту в звуки леса.

Вечерами мы подымались наверх к станции встречать поезд из Гельсингфорса (труба у паровоза — конус основанием вверх, топят дровами. Какой вкусный дымок! — все как в России полвека назад).

Туда же выходила с мужем друг наш, г-жа К<ауше>, белая ее мантилья, легкая походка издали видны. Она ведет к себе на дачу, рядом по полотну дороги.

Память о вечерах келломякских связана с этой дачей среди некрупного соснового леса, в месте сухом и песчаном. Доброе излучение не уходит. Оно и осталось — чрез все то лето проходит Нина К<ауше> в белой накидке своей светлым «гением местности». Дача ее затейлива по постройке, удобна, изящна. Розы в саду, голубые сосенки, водоем, в доме зеркальная чистота, основательность: как было до войны, так и сохранилось. Все прочно, удобно, с комфортом и простоит, пока живы хозяева. Век будут дремать вещи на своих местах, тихая молодая

финка, в их же доме выросшая, так же бесшумно станет обметать почти и не запыленные этажерки, столики, лампы. Паркет так же идеально будет сиять, как и три, четыре года назад. И хозяйка любовно срежет друзьям туго-нежные розы.

На одной из прогулок наших, довольно далеко к озеру, проходя мимо кладбища, она сказала:

— Здесь лежит наш приятель-барон. И брат мой Филадельф. Я тоже сюда лягу.



В Выборге старинная крепость, широкие улицы, великолепный бульвар, приземистые и благородные русские церкви Александровских времен.

Это более чем полурусский город. Швеция и Российская Империя дали ему своеобразный оттенок. В актовом зале Лицея можно чувствовать себя как бы в веке наполеоновских войн, Александра, Бернадота.[2]

Около Выборга замечательный замок семьи Нобель.[3]

Была осень. Возвращаясь во Францию, держали путь на Гельсингфорс — двое суток в замке Кирьола прошли под знаком осени и спокойствия. Сквозь зеркальные стекла салона нашего, с мраморною Дианой, виднелось озеро. Утки носились над ним, взлетая из камышей. На островке удивительные оранжереи, образцовый питомник хозяина,[4] где выращивал он необыкновенные груши, сливы, виноград (в Финляндии!). Утром возил нас туда на моторной лодке. Журавли высоко, уединенно-таинственно неслись на юг — клектали нам судьбу, но темных их прорицаний мы не понимали. Бедный хозяин наш вскоре погиб в том самом озере, а края эти через четыре года потеряли мир. Но тогда были просто леса вокруг, тишь, мелкая рябь озера, даль, синеющая к взморью, где всякие Бьерке, шхеры, Койвисто.[5]

В замке шла покойная, несколько и торжественная жизнь на шведско-русский манер. За обедом чокались «скооль», загадочно глядя в глаза друг другу,[6] и хозяин говорил приезжим небольшую приветственную речь.

Все это пришло и ушло в беззвучности. Неожиданно появилась Кирьола, проследовала своею башнею, замком, приветом хозяев, озером и лесами — и удалилась, чтобы никогда более не возвращаться.



Гельсингфорс — уже дальняя Финляндия. Русского языка почти не слышишь. Но и там Россия... временами чувствуется. Дворцы набереж-

ной отзывают Петербургом. На одной из старинных площадей памятник Александру Второму. Русский собор, университет — библиотека его знаменита: наравне с Императорской Публичной и Румянцевским музеем она обладает *всем*, вышедшим в России за девятнадцатый век — со времен Александра Благословенного. (В безмолвных ее залах встретил я профессора Сорбонны, работающего по истории русского просвещения).

Гельсингфорс новый очень современен, «модерн» в неплохом смысле, культурен и демократичен. Но при этом тих, как нешумны финны, малоразговорчивы, небыстры, лишены ненужных движений. После Парижа поражает в Гельсингфорсе беззвучие и чистота.

Чрез Гельсингфорс мы въезжали в Финляндию, из него же и уезжали. Сумрачный и туманный день конца сентября. У пристани белая узкая «Ариадна», на борту, у перил рядом с нами — митрополит Александр, приезжавший сюда из Эстонии.[7] На набережной — знакомые недолгих дней Гельсингфорса. Рев сирены, шум блоков, лебедок. Грузят последние ящики.

Под кормой забурлил винт — медленно отходит вбок от пристани нос «Ариадны». Корма еще на месте, но растущий угол воды все более нас отдаляет от суши. С берега машут платочками, шляпами. Митрополит благословляет оставшихся широким крестным знамением. Вдруг что-то сзади освободилось, перебросили кольцеобразный канат, «Ариадна» тронулась. Она идет медленно, лишь понемногу прибавляя ходу. В Гельсингфорсе собор и церкви мягко гудят трезвоном — привет отплывающему митрополиту. Под колокольный звон финской столицы шла «Ариадна» довольно сложной дугой мимо барж, пароходов, парусников порта. Призрачное было в скольжении чуть содрогавшегося, но, как финны, малошумного корабля, под голоса колоколов России. И — прощальное. Гельсингфорс тихо кружил в отдалении, то в одну сторону проплывали дома, набережные, то в другую. Прошли хмурый, старинный Свеаборг, замыкающий вход в залив. Гельсингфорс присел к земле, стал сливаться с береговою чертой. Длинный шпиль церкви какой-то прорезал низменность вертикальной иглой, вновь напоминая Петербург.

Вышли на простор. Стало весело и печально в пустынном море. Холодная сталь, белесоватое небо к Ревелю, легкий бег белой «Ариадны» — впереди возвращение домой. Сзади прохладная страна, друзья, с которыми жизнь и свела, и разлучила.

Можно было и вспоминать, и думать о будущем и быть может вздохнуть о текучести, мимолетности всего. Мало ли что проносилось в душе, только не то, что в действительности произошло.

Человек всегда должен быть готов к страшным испытаниям. Но ему хочется радости, а не беды — неужели же незаконно это? И всех бед все равно не придумать.

В быстром лете «Ариадны» мы никак не ощущали грозного часа, всем нам — и этой Финляндии — назначенного.



Трудно себе представить, что на том побережье, где мирно мы проводили лето... — просто ничего сейчас нет! Море, лес, скалы, озера остались, люди ушли. Дома их сожжены. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!»[8] Какой, однако же, Вавилон — Келломяки? Райвола, Куоккала? Что вавилонского в вилле за станцией, где висел в гостиной портрет Владимира Соловьева, на полках стояли русские классики и энциклопедия Брокгауза? Или в том пансионе, где жили мы у шоссе в Териоки?

Вся эта полоса, почти вплоть до Выборга, теперь пустыня. Все наши русские или в войсках, или в глуби страны. Все произошло мгновенно и, вероятно, с финскою основательностью. Некогда русские жгли свою Москву пред Наполеоном. Теперь финны выжгли перед Красной Армией то немногое, что ей отдали.

Можно без затруднения представить себе одинокие дачи в лесу вокруг Келломяк, пылающие ночью: тишина, лес в инее, та полянка, где осенью гнездились боровики — все в огненно-розовом зареве, в таинственном полыхании, пред мертвым небом, лишь золотые искры в него летят. А потом рухнет костер — целый фейерверк золота вверх.

Зайцы бегут, звери уходят, птицы улетают. Так — от финских прибрежий мимо Ладоги со знаменитыми монастырями, на сотни верст к северу, страной лопарей до Ледовитого океана и древней обители св. Трифона Печенгского.

На тысячеверстной полосе лесов, тундр, северных сияний, оленей, скал и гранитов гонит изверг несчастных русских на гибель. Лопари, олени уходят. Петры и Иваны, против воли, неизвестно зачем идущие разорять чужую страну, ложатся костьми. Горы замерзших русских. Раненых, больных, погибших. В тылу — сожигаемые бомбами финские города, погибающие женщины, дети.



Вот она, «тихая» Финляндия наших путешествий. Вот и оседлость, домовитость жизни, удивлявшие нас. Что осталось от нашего пансиона? От изящной виллы за станцией? Выборг полуразрушен налетами

и тяжелой артиллерией. Не знаю, что сталось с замком Кирьола. Александр Второй все еще стоит в Гельсингфорсе на площади, люди же живут месяцами в убежищах под домами, как кроты.

Неизвестно, где упокоится в свое время владелица келломякской виллы,[9] но только не на том кладбище, о котором думала, гуляя близ виллы. Думала ли хозяйка Кирьолы, что над замком будут носиться советские аэропланы?

Значит, только леса, да грибы, да озера, а теперь снега, иней, по насту следы убегающих зверей.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

НАШ ЯЗЫК

Знакомая девочка Маша, прилежная труженица, вернувшись из школы, сказала: «А у нас-то что! Мы теперь без твердых знаков пишем, и без ять. I с точкой тоже не нужно. Учителя велели. Смешно как! Мы все ошибаемся, и сами учителя ошибаются!»

Трудолюбивая Маша, разумеется, привыкнет, если ей «прикажут». «Привыкнут» и учителя — им приказали чиновники из министерства. Вероятно, привыкнет и безграмотная, бессловесная Русь. Может быть, даже родное нечто почувствует: надписи мелом и углем на заборах и в демократических уборных — с детства знакомая картина — давно приняли новую орфографию. В этом смысле они национальны.

Ее охотно примут и те многочисленные люди, которые сочтут ее раскрепощением языка от «царизма». Число лбов твердых всегда было очень значительно.

Образованное русское общество посмеивается, слегка будирует, называет реформу «глупостью», но в общем тоже, конечно, безучастно. Где там рассуждать о несчастном ѣ, когда на носу немцы. Впрочем, если бы и не немцы, и не революция, тоже мало кто заинтересовался бы: кому какое дело до языка! Ужасно интересно. Мало ли что говорил умирающий Тургенев о «великом и могучем» русском языке. На то он писатель, это его и дело. Есть, действительно, люди, для которых вопросы языка небезразличны; верно и то, что это в первую голову писатели-художники, те, кто полжизни провел в общении со словом, для кого слово есть жизнь и воздух. К реформе языка они не могут быть равнодушными.

Думаю, что в вопросе о новом правописании есть две стороны: филологическая и эстетическая. Не будучи филологом, не стану распространяться о первой, укажу лишь на следующее: допустим, что после

Петра ѣ стали писать не там, где надо, и в некоторых словах, где по корню *следовало бы* его писать — писалось е. (Так говорят филологи.) Следует ли из этого, что ѣ должно быть выброшено вовсе? Казалось бы, вывод один — надо восстановить в некоторых, искаженных словах их прежнее правописание. Само же ѣ есть, несомненно, отголосок древнего некоего звука (иотированное е или другая долгая гласная — безразлично). Знак долготы существует в греческом языке. Во французском accent circonflexe,[1] с ребячества знакомый нам «домик» над гласными, указывает на древнее благородство звука, его как бы именитое родословие (от происшедшего Бог знает когда слияния). Пусть в произношении он яснее нашего ѣ. Надо оговориться — для французов яснее; мы же, русские, в произношении его сплошь и рядом не улавливаем. В нашем ѣ есть тоже звуковое отличие от е, правда, очень тонкое — наш язык и вообще очень тонкое и сложное орудие. Ять острее, я бы сказал — ядовитее по звуку, чем е. Горячее его. Оно почти всегда вызывает на себя ударение и смягчает предшествующую согласную. Отзвук древнего і в нем не утерян.[2] Выбрасывать его — значит упрощать язык в дурном смысле, лишать его оттенка.

Тут мы подходим, по-видимому, к сердцу реформы, к ее эстетике, на что в особенности я и обращаю внимание. Ее эстетика ничтожна. Все сделано из утилитарных соображений. Утилитаризм и плебейство — вот основы «преобразования».

О каких «оттенках» можно говорить, когда никто из реформаторов ни о каких красках в языке не думал; ни о какой красоте языка — речи не подымалось, и подняться не могло, ибо реформа исходит не от художников слова, а от бухгалтеров его. Не поэты, а учителя гимназий и университетов хлопочут над созданием обновленного языка, который должен стать лучше прежнего. Явно, что дух учителя гимназии веет над попыткой обратить русский язык в эсперанто *.

Прежде учитель гимназии молчал, хотя и был либерален и «благороден». Теперь заговорил. О, у него свои, домашние дела. У него ученики, которые делают много ошибок на букву ѣ. При Кассо[4] он ставил им двойки и оставлял на второй год. Теперь он гуманнее, и делает ученикам облегчение, «упрощает» язык, не им созданный, драгоценное наследие прошлого. Язык приспособляется для низшей школы, для ее удобства. Приспособляют его также для торговых контор, банков, промышленности, для газет, большевистских воззваний. Тут упрощение есть — экономия сил, рубль, в конечном счете. Практика, Америка.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Во Франции недавно была попытка реформы орфографии, но провалилась под ударами французских литераторов (см. напр. Remy de Gourmont, статью в его «Promenades Philosophiques»).[3] (*Примеч. Б. К. Зайцева*).

Один горячий писатель,[5] прославившийся тем, что книги Пророков отнес ко временам после-евангельским, прямо писал о «ненужных» буквах: их надо изъять из типографий и перелить в пушки для защиты родины. Не все ли равно для человека «практического», как набирать пушкинское стихотворение:

Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда

или

Редеет облаков летучая гряда.

Что дешевле, и что «передовее», то и лучше. Разве флоберовский аптекарь Омэ,[6] бессмертный здравый смысл, заинтересуется магией слова? Он ее не видит, не слышит — и не воспринимает.

Для тех, у кого нет ни уха, ни глаза, реформа протекает вполне благополучно. Сегодня отменили три буквы, согласование прилагательного с существительным во множественном числе.[7] Почему бы завтра не отменить *видов* глагола? К чему там оттенки, столь трудно дающиеся иностранцу и осложняющие дело, — «отставить» их. А уже там недалеко и до самых глагольных форм. «Сократить», «упростить», сделать так, чтобы всем стало понятно. Ведь работают же эсперантисты над своим языком, по-своему — небезуспешно. Правда, он отзывает гомункулюсом, химической ретортой... Ну, что поделать. Зато удобно.

Безобразие, нетворческий и мертвенный характер реформы особенно ясны тогда, когда в руках держишь страницы, напечатанные на этом гнусном волапюке. Надо быть или ослепленным фанатиком, или вообще ничего не понимать в языке, чтобы это нравилось. Дух Пушкина, Толстого, Гоголя передается теми же приемами, какими безграмотный хулиган пишет на заборе. На великих словах является налет чужого, скверного. Сочетания ие, ия вместо іе, ія определенно напоминают Малороссию, т. е. опять-таки простонародный говор. Пушкин как бы переводится на некоторый плебейский жаргон. Я не хочу задевать украинцев, но нельзя же отрицать, что их язык есть язык крестьянства; и насколько он хорош для народных песен, настолько же убого звучит на нем, например, Ибсен («Лялькина хата»[8]).

В редакции журнала, несколько номеров которого печатались по новой орфографии, против нее заявили протест сотрудники-живописцы. Они единогласно утверждали, что зрительно, графически новая письменность отвратительна. Она губит всякий, даже лучший шрифт. Упоминаю об этом потому, что голоса художников не считаю возможным обойти. От этой орфографии пришлось отказаться.

Из всего изложенного ясно, я думаю, что реформой язык не *повышается*, а *понижается*, не толпу намерен поднять за собой реформа-

тор, а сам спуститься до уровня толпы. В этом и есть плебейский оттенок реформы.

Характерно и то, как это нововведение вводилось: вполне игнорировали людей искусства, художников слова. Это уже древне-чиновничья русская закваска. Русская литература, прославившая Россию на весь мир, чуть не единственное наше незыблемое достояние, — русская литература была на дурном счету как у Николая I и всех дальнейших, так и у нынешних хозяев. Русским художникам, которых при жизни все ругают, кому не лень, можно ставить иногда памятники (если кости вполне истлели). Но считаться с ними, признавать их голос влиятельным — это для аптекаря Омэ чрезмерно. Он лучше заложит свой проект съезду «преподавателей в городских училищах»[9], чем Мережковскому, Бунину, Вячеславу Иванову... Что же, русские писатели привыкли.

Я думаю, все-таки, что некоторым организациям, например, клубу московских писателей, следовало бы высказаться. Среди поэтов, беллетристов и философов я не встречал еще ни одного защитника нового письма. Все смеются, и говорят неизбежное: «глупость». Но быть может, одного смеху мало. Конечно, жизнь находится целиком в руках дельцов, политиков и чиновников; практического значения слова наши, горсточки непрактических людей, иметь не будут. Все же нынешняя русская литература может и должна подать свой голос в вопросе, близко ее касающемся. Не надо забывать, что лет через пятнадцать не только дети наши начнут писать на эсперанто, но и нашу прозу и стихи станут печатать на иностранном жаргоне, в угоду кучке чиновников, при безгласии безгласной России. Если нам это не понравится, нас спросят: «почему же вы молчали»?[10]

ЗАВЕТ

От ликующих, праздно болтающих
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Некрасов[1]

Голод — русский стон! Как все знакомо, как привычно. Малыми детьми слыхали мы и про Самару, Волгу, про какие-то места, далекие и страшные, где люди мрут, где ходит голод, тиф, холера, смерть, куда нужна подмога. Сестры и кузины говорили, тайно от родителей, что туда надо

ехать и кормить народ в столовых. Ехали — студенты, барышни, курсистки в страну беды, и жутко, но и радостно нам было провожать их: ведь не на прогулку едут, не для развлеченья — голод! Некоторые не вернулись.

И мы помним, были люди, чьи писания уже мы знали, кто для нас стоял уже в тумане легендарной славы — Лев Толстой и Короленко, позже Чехов. — Эти все твердили неизменно: да туда, не забывайте! Там несчастие, там братья гибнущие.

И годы тянулись. Временами Русь дышала вольно, а потом опять: холера, голод, тиф. Возрастали мы уже студентами, и снова молодежь тянулась помогать, и снова те, любимые, свое твердили. Но не только говорили. Сами отправлялись и работали, столовые налаживали, деньги собирали, отдавали силы, нервы, душу делу. Выпадали иногда минуты горькие: врачей громили, били на холере. Тех самых, что работали, народ леча. Тьма, дичь! И юношами, в возмущении, волнении, читали мы у Вересаева о зверстве людей темных.[2]

С тех пор прошло довольно времени. Россия испытала две войны, две революции, гражданскую войну — и снова голод. Все знакомо, все свое, как серый русский день, овины, лошади на зеленях, босые дети.

Кто жил в деревне, видел и доныне — в весну прошлую и позапрошлую — картину, родине привычную: скитальцев с сумками в полях, седые головы, лысые, низко склоняющиеся, длинные палки страннические, давнее уныние в глазах, обдутых ветрами полей. — «Подайте, матушка-барыня, Христа ради! Помираем». И матушка, библиотечная помещица, отрежет ломтик; посетители же тянутся к деревне, длинной палкой отбиваясь от собак. Но на деревне пусто. Все давно уже съедено. Девчонки по лугам рвут оконятник, конский щавель; на нем матери хлеб замешивают; едят зеленую мастику, видом, да и вкусом премерзейшую. Ждут мучительно, когда нальет немного колос, и когда хоть полузрелый, можно срезать, подсушить, цепом обмолотить и съесть. Пока же — тощие все, мрачные и раздраженные. Но это в Тульской ведь губернии, где нет неурожая, где просто не хватило <хлеба> после той разверстки, что блестяще выполнила тихая губерния.

Толстой уж не подымется из Ясной Поляны в рост исполинский, и не крикнет на весь мир, так, чтобы все услышали — и правые, и левые, и красные, и черные, и белые, и еще какие-нибудь голубые: «не могу молчать!» Не скажет слова Чехов, скромно на носу пенсне поправив. Но вот раскрываю лист печатный... Короленко. Жив, и говорит.[3] И вновь, как много лет назад, все силы, слабнущие и неверные уже, но силы, но любовь, но дом свой, но подарок, сделанный ему союзами, — все снова туда, кому и жизнь-то отдана, из-за кого в Сибири был, — для родины. Болеет, мучится в родах, в крови, насилии и спазмах мать

Россия. — Так и старый сын ее, паладин верный, sans peur et sans reproche *, в беде с ней снова, дряхлеющую голову не постеснится ставить под удар. Да как же иначе быть может. Он — писатель русский. В стране, где нет еще культуры политической, общественной, и мало — личной, где чуть не все продажно, где нет предела грубости, есть, однако, и великое, и незапятнанное, и всему сияющее миру: Русская Литература. «Даже и маленьким писателем приятно быть», — говорит кто-то у Чехова.[4] Приятно, но и жутко, ибо за плечами мощная традиция, ибо ведь не безответственно быть русским литератором.

Русская Литература никогда и никому не кланялась — ни государству и ни власти, ни богатству, знатности, успеху, и мало было дела ей до каверз политических, интриг, хитросплетений. Если шла против государства и томилась в ссылках, то во имя истины, любви, добра. Выше и выше! La politique c'est une sale chose **. Правительства меняются, уходят люди, рушатся системы — братство человеческое остается, и любовь, и сострадание останутся, кто б кем ни правил. Пророчественный и жизнеучительный, и жертвенный характер был всегда присущ литературе русской, и такой дай Бог ей пребывать вовеки; как такая, не могла она ответить иначе устами патриарха своего, чем отвечает: «Снова с вами, униженные и обиженные, обездоленные, гибнущие, отчаявшиеся. Вам — слабеющие мои силы. Вам — неоскудевающая моя рука».[5]

Выше и выше! Мимо злобы и мелких расчетов, мимо ничтожества, тьмы, насилия и безобразия — к делу добра, к давнему, вековому завету Русской Литературы, к вековому поклонению христианских народов, к заповеди незыблемой: «возлюби ближнего твоего, как самого себя».

ПУШКИН

Старый Тургенев тонким, дрожащим голосом читал «Последняя туча рассеянной бури...» и заплакал. Достоевский захлестнул огнем всю залу. Незнакомые обнимались, барышни рыдали, давние враги прощали друг другу. Об этом помнят наши матери, тогда еще девушки, от них слыхали мы о «чудном, удивительнейшем дне».[1]

С этого дня встал на Тверском, лицом к Страстному, новый человек — причина тех волнений и восторгов. В нем нет восторга. Он без-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Без страха и упрека (*фр.*).

** Политика — дело грязное (*фр.*).

молвен под дождем и снегом, в утренней заре, в дыму луны! Он прост, велик. Он — Пушкин.

Идут года. Ушли Тургенев, Достоевский, барышни обратились в старушек. Он стоит, все смотрит и все видит. Меняются костюмы, люди, флаги. Кортежи коронации, герольды и войска, и красные знамена, митинги и свист снарядов, перебежки по бульвару, зарево пожара...

Пушкин — с пушкинскою шляпой — чуть опущенною головою, взглядом на Москву — все тот же. У подножия его играют дети, мальчик иногда качается на цепи. На скамьях барышни и молодые люди.

Спокойна горестно-задумчивая вечность.

1 июня 1926

ЯВЛЕНИЕ ПУШКИНА

Чудом кажется для России Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский — естественные произрастания нашей земли. Как и Тургенев, Тютчев, выражают они сердцевину русской души, каждый в меру отпущенного. Нельзя не восхищаться Толстым, но достаточно взглянуть на его лицо, прочесть главу «Войны и мира», чтобы все стало ясно.

Толстой насквозь пророс Россию и она обняла его нерасторжимо.

Но нельзя понять, откуда в небольшом задорном человеке с курчавой головой и бакенбардами, детище русской знати с примесью «арапской» крови, в стране тяжеловесной, невеселой, при ее снегах, просторах, сумрачном величии — мог появиться укрощенный Аполлоном Дионис? Почему вышло так, что Россия показала, на заре нового своего бытия, средь «топи и блат» видение совершенной гармонии, возникнувшей над «бесстыдным бешенством желаний»?[1] Рафаэль с Ватиканскими станцами над огнем страстей? — ко всему приникающий, со всего «берущий», претворяя в стройность? Такой стройности, как и такого «лишь — художнического» в чувстве бытия наша литература не знала, ни раньше его, ни позже.

В Италии Возрождения не удивляешься Ариосто или Рафаэлю, но наш Пушкин в Николаевской России...

Его значение больше местно-русского. Мир мало его знает из-за невозможности внимать на непонятном языке «пенью сладкозвучных строф».[2] Но сам «звук» Пушкина имеет некоторый всемирный тон, как и у Рафаэля, и Моцарта. Толстой — всесветный выразитель «русского». Пушкин на русской почве носитель всечеловечески-ариелевского.[3] Он очень русский, но залетный гений. Он так кометою и просверкнул в России. Рано пришел, рано ушел.

И вот новая загадка: самый личный, самый безудержный «художник», Пушкин вдруг стал *сейчас* кумиром той России, которая чуть было вдребезги не разбила самую его лиру и все, с нею связанное. Но — опомнилась...[4] Как будто более других дошел он вновь до родины.

В добрый час. Если и не одной России он принадлежит, то да будет ей вновь светлой утренней звездой. Пора бросать потемки. Пора стать скромными, умыть лицо, следить звезду.

ПУШКИН

(Перечитывая его)

Каков он, если взглянуть на него неотуманенным взором? То есть представить себе, что нет ему памятника, что это не кумир, а живой поэт, сто пятьдесят лет назад родившийся?

Основное впечатление тут будет радость. Радуешься излучению легкой светлости, простоты, прямодушия. Стремительному полету стиха, приобщающего к музыке, все вокруг делающего облегченным. Вот уж духа тяжести-то нет в Пушкине! Как бы насквозь мы ни знали деревню русскую, помещичий быт — ритм и беглый блеск слов «Евгения Онегина» обращают все это в нечто реющее и кружевное. Пушкин не был ни мистиком, ни мечтателем, наоборот, это страстно-жизненная натура, но в художестве своем обладал он волшебством одухотворения, «поднятия» и просветления (а значит, было это и в нем самом). Вот этот дух стройности и дает радость — бездумную. Почерк без нажима, быстрый, суховатый, рисующий всегда как будто силуэт, это и есть Пушкин.

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь.

Так говорит Сальери о Моцарте, но и неизменно вспоминается тут Пушкин. «Залетность» некая в нем, разумеется, была: нежданно появился, рано просиял и скрылся. О бесполезности его серьезно говорили в шестидесятых годах. Но на херувима он совсем не похож и «райских» песен не заносил. Пел всегда о земном. Земное знал, любил, отдавался ему с необузданностью даже жуткой, но действительно, как и в Моцарте, было нечто во внутреннем ладе его всегда возводящее к стройности и гармонии (замечательно, что даже трагическое никогда

не было у него хаотичным, и как трагический поэт, ничего не разрешая, он давал ту же радость — чистого художества). Лермонтовское «звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли» — совсем не его мир. Песни земли скучными для него не были. Все их он брал жадно — отдавал с отблеском высшего. Не рая, но музыки, — даже в трагедии. Он музыкально, т. е. разрешительно, говорил о самых страшных страстях человеческих — видел мир во всей пестроте, но ощущал его как тему художества. Сам грех и совесть («когтистый зверь»), само «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю», — все это становилось поэзией и музыкою, как и рыцарь бедный, и пророк. Все Пушкин знал, все понимал. Но принимал лишь как художник. «В священном ужасе» внимал у него «арфе серафима» не просто человек, а поэт, чтоб написать дивное стихотворение.

Волшебный пушкинский инструмент, разумеется, напев и стих. Достаточно ему стиха коснуться, чтобы сразу выйти за пределы всех сравнений и соперничеств. Это его природа, он действительно «таинственный певец», Арион, выброшенный волнами на берег. К нему без опасения можно отнести весь — для других уже и устарелый — словарь: «лиры», «бряцаний», «певца», убегающего «на берега пустынных вод, в широкошумные дубровы».[1] А можно взять и проще, тоже будет хорошо, он сам о себе так сказал:

Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.[2]

Это уж совсем живой, настоящий Пушкин в Михайловском. Все в том, что именно сладкозвучные строфы в нем и пели. Как романист записывает свои галлюцинации, так поэт «изливает» эти строфы, а тут вот еще сам и декламирует.

Поэт не только музыкант, но и «нарекатель имен», первым поэтом был Адам, давший имена птицам и зверям, — сколько блистающих «названий» разбросано по пушкинским стихам, метких и острых сравнений, эпитетов, рожденных из стихии поэтической взволнованности!

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем.[3]

Повесть и рассказ не давали ему так расточать свои дары. В прозу не укладывалось его богатство. Проза пушкинская тоже событие: «Капитанская дочка» — одно из начал русского романа. Все же проза его, при всей высоте ее, легкости, благородной сухости, сравниться с обольщением стихов не может. Проза вообще другой мир. Пушкин, появившись здесь, и здесь оказался эпохой, но не сюда было направлено основное в нем. Он не родился романистом, как Толстой. Он просто с гениальною естественностью сказал нечто на получуждом ему языке повести, внес туда всю свою прямоту, жизненность, чувство правды и простоту, всю беглую четкость своего артистического почерка («Пиковая дама», «Путешествие в Арзрум»).

Как первенцу художества российского дано было ему испробовать все роды литературы. Коснулся он и драмы. Не ставя театр целью, дал высочайшие образцы поэзии трагической, — тут удача его предельна, и насколько в «Евгении Онегине» до конца он русский, столько же в «Моцарте и Сальери» наднационален. В том-то его и удивительность — помимо легкости и стройности, — что с ранних лет, со времен «Руслана и Людмилы» он органически соединил русское со всемирным, народную сказку с Ариосто, «Бориса Годунова» с «Моцартом», «Евгения Онегина» и «Капитанскую дочку» с «Каменным гостем» и «Скупым рыцарем». Из его писания всегда глядит Россия, за Россией же простирается мир. Знаменитая пушкинская «всеотзывность», о которой столько говорилось! Свойство действительно добровольно загадочное, особенно если помнить, что о чужеземном он «пел» не только не хуже, но иногда лучше, чем о русском.

Чем более к нему присматриваешься, тем поразительнее кажется само его явление в России тех времен, стране, казалось бы, тяжеловесной, сумрачной и полурабской, средь неосвоенных просторов, «топи блат». И вдруг такой Арион...

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

«Таинственный певец» сродни и Моцарту, и Рафаэлю, и Орфею, но голос у него русский, слово русское, по-новому найденное, по-новому и в великой гармонии зазвучавшее — над страною, еще безгласной. Но поэт, вместивший в себе и мир, и родину, не может появиться зря. Он обещание, прообраз — им говорится, что за сила, что за дары даны родившему его народу. Сам «певец» знает свою фатальность, чует огром-

ность родины, силу ее истории, силу ее Петра — тут опять удивительность его натуры: даже Петра берет он поэтически.

Художник моцарто-рафаэлевской меры, почти непостижимой для русского ренессанса гармонии (как и ренессансного отношения к жизни) находит редкостный по величию тон и слова для «Медного всадника», для героя — Петра.

Пушкинская судьба во всем необычайна. Необычаен самый приход его, блеск появления юноши на заре литературы нашей, сверкание всеми цветами радуги. Быстрый рост и развитие дарования, в высшей точке его — убыль успеха литературного. Как у Рафаэля — ранняя смерть. Как у Моцарта — одинокая могила. Переход в потомство в ореоле вечной юности, — трудно и представить себе Пушкина старцем, как Гете. Нельзя отделаться и от ощущения, что, несмотря на блестящие опыты в драматической поэзии, Пушкину *изнутри* чужда тема страдания, ставшая чуть ли не основной в порожденной им русской литературе и взывавшая к религиозному разрешению. Это все не его мир. Пушкин благословлял первые опыты Гоголя (но не вполне его угадал), и Достоевский восславил Пушкина на торжестве открытия памятника, но и они, и Толстой, изнемогавший над вечными вопросами бытия, принадлежали к совсем другому потоку духовной жизни России. Пушкин же, Арион, так и остался лучезарным любимцем столетия.

Его, как первую любовь,
России сердце не забудет (*Тютчев*)[4] —

именно не ожидая никаких «разрешений», просто любуясь им — легким, таинственным, цельным, величественным...

Любование это, на минуту лишь затемненное в шестидесятых годах, к удивлению, выдержало и революцию. Пушкиным в современной России зачитываются, устраивают паломничество в Михайловское, ему поклоняются как величайшему писателю России, несмотря на то что он барин и аристократ. Значит же не иссякло в России тяготение к красоте, поэзии, к простоте, прямодушной жизненности и человечности. Доходит пушкинское свободолюбие, пушкинская любовь к родной земле. Это радостно слышать — тем русским, для кого Пушкин есть знамя свободы, культуры духовной, любви к родине в высшем ее виде: не как презрения и отрицания чужого, но как гармонического сочетания разных цветов радуги, из которых свой, русский, ближе всех сердцу.

То, что Пушкин победил в той России, которой годами вколачивали противоположное, — есть великая наша надежда, победа нашего духа, в некоем смысле и наша победа. Кто любит Пушкина, тот за свободу. Кто с Пушкиным, тот за человека, родину и святыню.

ТУРГЕНЕВ И МОРУА

...На бульваре Сен-Жермен, около Географического Общества, толпа. Вернее, очередь. В большинстве хорошо одетые, сытые и веселые дамы. Пришли слушать модного о немодном, Моруа о Тургеневе.

Моруа знают здесь все. Книги его расходятся превосходно. И его любят. Некоторые даже превозносят. Пожалуй, это один из любимейших сейчас. Тургенев известен по имени. Жил был такой Ivan Tourguéneff, grand écrivain*, что-то почтенное написал и любил певицу Виардо. Все это происходило давно. И кажется, в Париже.

...Сижу на эстраде, почти рядом с лектором. Сзади почтенные седые французы, литераторы, профессора (как г. Мазон,[1] знаток Тургенева и Гончарова). Впереди большая, переполненная зала. Облеплены ступеньки, стоят в проходах. Огромная географическая карта на стене показывает нам мир.

Моруа сухощав, изящен, остроуголен. Сидит за небольшим столиком, перед ним рукопись. Говорит, заглядывая в нее. Несколько сутулится. Очень литературная спина, сразу видно, что профессионал. Ранняя седина, нервные руки. Глаза красивые и умные. И вообще во всем облике нечто тонкое — деликатной выработки. Ровная, матовая приятность. Голос — тенор, тоже приятный, — вообще весь он, Моруа, — тенор. Не хочу этим сказать плохого. В нем капли нет слащавости, вульгарности. Но метить в самую гущу публики просвещенной он умеет. Сразу, без борьбы принимается. Не больше, и не меньше читателя.

...Этого читателя разглядываешь с дружелюбием. Моруа может сказать, что у него есть читатель-друг. Друг держится покойно, держится сочувственно и простодушно. В нарядной дамской толпе много англичанок и американок. У многих «проникновенное» выражение лица. В конце концов, все это человечно, и неплохо.



Человечным можно назвать и самый тон Моруа. Нельзя сказать, чтобы в этих лекциях давал он новое — особенно о жизни Тургенева. Моруа иностранец. Русского языка не знает. Кое-какие отрывки из русской документации ему перевели, он их использовал. Но дальше очень общеизвестного (для нас) не ушел. Облик Тургенева наметил чуть-чуть, совсем слегка — серьезно в него не вникал, не жил с ним и его не переживал. Искусство же Тургенева знает хорошо, подход к нему умный, простой, тонкий. Любопытно видеть вкус и чувство

* Иван Тургенев, великий писатель (*фр.*).

иноземца к русскому. Круглоту, вольность тургеневского языка оценить он, конечно, не может — надо самому быть *очень* русским, вырасти из чистейшей русской стихии. Но вот «Первую любовь» верно определил (и очень высоко), «Рудина» поставил выше, чем мы ставим, и пожалуй, прав: слишком для него нов и необычен сам Рудин. Из-за него он прощает несовершенства романа в постройке, некую сыроватость и неяркость: главное есть, сам Рудин, который столько объясняет собою в русском характере.

Очень превознес Моруа «Отцов и детей», вещь совершенную и зрелую, но для русских прохладную. В «Дворянском гнезде» многое одобрил, но чего-то самого сокровенного, нежно скрытого и застенчивого недоглядел. Не остановился как следует и на Тургеневе-мистике (но «Клару Милич» упомянул). Очень хорошо рассказал о конце Тургенева, страшной его болезни, Буживале — о том беспредельно грустном, чем тургеневская жизнь заключается. И когда привел знаменитую фразу умирающего о Виардо: «вот царица из цариц»[2] — зал очень серьезно притих.

Некое со-звучание получилось. Русскому сердцу приятно было искреннее, умное и душевное отношение иностранца модного и нарядного к России, русской литературе и большому русскому писателю — беззащитному.

А Тургенев именно беззащитен. Из него не выудишь ничего для момента, и никаких бездн, никакой темы для религиозно-философских разговоров. Нет и того острого «стиль рюсс», который легко и не без дешевки усваивается Европой. Беззащитность Тургенева есть беззащитность чистого художества, никому, в сущности, не нужного. Он делит судьбу Пушкина, и, вероятно, был бы горд этим. Тургенев —неблагодарная и немодная тема. Современность слишком остра, груба, быть может и трагична для спокойных красок чистого созерцателя. В наше время мало кто оценит станцы Рафаэля — гармонии «Парнаса», «Диспута», «Афинской школы». Слишком изящен, меланхоличен, «сребрист» и Тургенев. В нем совсем нет пряностей и приправ — меньше всего подходит он и литературным снобам.

Тем больше заслуга Моруа. Он как-то прямо направил Тургенева мимо литературных лавочек и котерий[3] — к сердцу читателя. *К человеку.* (Так же, как к английскому и американскому просвещенному *человеку* пришел сейчас Чехов.) В некотором роде Моруа идет против течения, ибо не считается с модой. На пропаганду Тургенева в «кружках» и в уличной публике рассчитывать не приходится. Но *интеллигентному* слою Европы французский писатель открывает новую фигуру России: старого, прекрасного поэта. И мы не можем не быть ему за это признательны.

ТУРГЕНЕВ НА СЪЕЗЖЕЙ

В 1852 году Гоголь жил в Москве у гр. Толстого, на Никитском бульваре.[1] Старинный барский особняк — дом Талызина — покоем, с обширным двором и сейчас цел. Сколько раз приходилось проходить мимо него, сидеть на скамеечке бульвара, вспоминать Гоголя, проводившего здесь тяжкие, последние дни краткой жизни!

Сюда привозил к нему знакомиться Тургенева Щепкин.[2] Гоголь Тургенева заочно знал. Считал главнейшею надеждой молодой словесности. Тургенев относился к нему с благоговением и хорошо описал в воспоминаниях.[3] Вот стоит Гоголь с пером в руке у конторки, в пальто, зеленом жилете, коричневых панталонах. Острый профиль, длинный нос, губы слегка припухлые, неприятные зубы, маленький подбородок уходить в черный галстух — глаза небольшие и странные, как и весь он странный, болезненный, и «умный».

Гоголь чудесно говорил о призвании писателя, о самой работе, удивительно читал и изображал, но нелегкий дух шел от него. Тургенев приблизительно так и почувствовал его — гениальным монстром.

Знакомство получилось беглое. Да Гоголю недолго оставалось и томиться в нашем мире. Известно, как были ужасны его последние дни. В феврале 1852 года он умер.

Смерть Гоголя Тургенев принял остро, как впоследствии восхождение и успех Толстого. Он написал о Гоголе статью, пытался напечатать ее в «С. Петербургских ведомостях», но цензура (та самая, которою так восторгался Гоголь!) не позволила. Тургенев выказал упорство — отослал рукопись в Москву Боткину и Феоктистову.[4] Те напечатали ее в «Московских Ведомостях».

Чем огорчила и раздражила эта статья власть? Непонятно. В ней нет решительно ничего неприятного. Восхваляется покойный Гоголь как писатель. Говорится, что это великая потеря для России. И только. Но вот показалось обидным. Как так, хвалить какого-то писателишку! «Лакейского» писателя, как выразился гр. Мусин-Пушкин.[5] Придавать его смерти такое значение! Да еще иметь дерзость напечатать в Москве, когда в Петербурге уже запретили.

Тургенева арестовали. «Вчера Тургенев, автор "Записок охотника", по высочайшему поведению посажен на *съезжую* за статью, напечатанную им о Гоголе в "Московских Ведомостях", где Гоголь назван *великим*. Тургенева велено продержать на съезжей месяц, а потом выслать из столицы в деревню, под надзор полиции», — так записал в дневнике своем А. Никитенко.[6]

В первые минуты Тургенев смутился: времена были суровые. Но уже Языкову, тотчас явившемуся к нему в «тюрьму», заявил:

— Я спокоен, потому что не мучаюсь неизвестностью. Мне сказано все, чему я должен подвергнуться, и я уже не опасаюсь, что меня будут истязать.[7]

Ничего не получилось драматического из этого сиденья. Великим преимуществом Тургенева оказалось то, что был он не только «писателишка», но и барин. И большой барин. На самой «съезжей» к нему так и отнеслись. Дали отдельную комнату, он мог там заниматься, писать, читать. «Все-таки, я должен сказать, что со мной поступают очень милостиво, — писал он Виардо. — У меня хорошая комната, книги; я имею возможность писать».[8] Правда, впоследствии эта комната обратилась (в письме к Флоберу) в «маленькую камеру», где была «удушливая жара». Тут же сообщено о забавном времяпрепровождении «узника»: «Два раза в день я переносил 104 карты (две игры), по одной, с одного конца комнаты на другую. Это составляло 208 концов — 416 в день — каждый конец по 8 шагов — составляло около 2 километров».[9] Делал он это, чтобы поразмяться, иначе «у меня вся кровь бросалась в голову».

Тургенев иногда сгущал иностранным друзьям «экзотику» России и собственной в ней жизни — очень уж это заманчиво, и само напрашивается. Действительно ли частный пристав, которого он напоил шампанским, чокнувшись и подталкивая его локтем, поднял бокал «за Робеспьера» — это еще Бог знает, во всяком случае Гонкур записал так у себя в дневнике.[10] Бесспорно лишь то, что относились к Тургеневу на съезжей хорошо, и сама отсидка принесла ему пользу (как и последующая высылка в Спасское).

У него бывали Некрасов, Панаев, Языков, вообще в начале столько посетителей, что пришлось эти посещения пресечь. Он много читал, сосредоточился. Написал знаменитое «Муму». Днем гулял во дворе участка, где сторожил его рослый суровый старик-унтер. Этого нельзя было взять ни улыбками, ни почтительностью — но нельзя же, правда, требовать, чтобы место заключения обратилось в отель-пансион.

Что действительно было для него плохо, это соседство с экзекуционной, где «наказывали» крепостных слуг, присланных за разные провинности владельцами. Их крики Тургенев слышал... Его самого много секла в детстве мать. У него было сердце мягкое и жалостливое — всегда противна зверская жестокость.

Его выпустили в мае. Останки Гоголя покоились в это время на кладбище Даниловского монастыря в Москве. Цвела сирень, черемуха. Он прочитал «Муму» на вечере у А. М. Тургенева в Петербурге[11] и укатил в Спасское по новооткрытой Николаевской дороге. Там наслаждался русским летом, охотился и перечитывал того же Гоголя, из-за которого «претерпел».

Кому нужна была комедия ареста Тургенева и его высылки?

Писатель на этом выиграл. Окреп, возмужал в одиночестве. Николай I, лично всем руководивший, проиграл.

УТЕШИТЕЛЬНИЦА

В середине пятидесятых годов Тургенев жил в Петербурге после Спасской ссылки. Он имел большой успех в обществе. Его приглашали нарасхват — по вечерам надевал он фрак, белый галстук и ехал к светским друзьям занимать дам рассказами, удивлять чистотой и блеском французской речи. Виардо не близко. Пять лет прожил он в России без нее, его сердце не было вполне свободно в это время — сердце слабое, несмотря на дальний магнит, склонявшееся и по сторонам, впрочем, не так сильно склонявшееся, всегда далекое от решительных шагов. Но магнит оставался магнитом. К <18>56-му году, при почти заглохшей переписке с Виардо Тургенев почувствовал, что необходимо вновь встретиться, проверить и себя и «тамошнее» — некая тревога овладевала им. Ему шел тридцать восьмой год; он начал седеть, а жизнь сердечная никак не устраивалась.

Во время Крымской войны за границу пускали неохотно. Во Францию совсем нельзя было попасть. Но вот война кончилась. Как раз время хлопотать о заграничном паспорте.

Хлопоты оказались не так просты. Тургенев все-таки считался на подозрении. Пришлось искать поддержки влиятельных светских друзей. Тургеневу помог егермейстер Иван Толстой и графиня Елизавета Ламберт. Егермейстер Толстой не сыграл в его жизни никакой роли. Графиня Ламберт — очень большую, неблагодарную, но благородную.



Она была дочерью графа Георгия Францевича Канкрина, министра финансов — очень скромная, образованная и религиозная девушка. Замуж вышла за графа Иосифа Ламберт, светского человека, адъютанта цесаревича Александра. Жили они в Петербурге, на Фурштадтской. Елизавета Георгиевна не так уж любила свет, шум и условности его: предпочитала небольшую свою комнату на Фурштадтской, книги, благотворительность, просвещенных и изящных друзей.

В странный момент сошлась ее жизнь с тургеневской: в минуту *его* тревоги — да и не ее ли? — Тургенев был ей представлен как известный писатель. Мог бы являться иногда в гостиной, в мягких креслах, с седеющей шевелюрой, заговаривать все общество и украшать собою гос-

тиную. Но вышло иначе — гораздо лучше и значительней: он стал посетителем ее личной тихой комнаты на той же Фурштадтской.

В Елизавете Георгиевне была немецкая кровь. Ее можно представить себе женщиной бледных, неярких красок, не весьма красивою, но изящной, слегка болезненной, склонной к задумчивости и меланхолии. Одевается скромно. В борьбе, интригах света участия не принимает. Церковь, благотворительность — вот ее область. Может быть — музыка. Духовная литература. Тургенев отметил ее душевную чистоту и благородство. Она не из тех, кто мог его «взять». Это скорее Диана, чем Венера. Но в ее негромких словах, прекрасных глазах и прекрасных руках было излучение, ему благосклонное. В его повестях, в его «тургеневских девушках», в его уме, мягкой барственности и меланхолии нечто ей отвечало.

Между ними возникла дружба, не роман, но нечто нежно-неопределенное, Тургеневу вообще подходящее, то полу-чувство, полу-привязанность, что называется старинным именем amitié amoureuse*. Отношения тянулись годы, оставив чистый и прекрасный след в так называемых «Письмах Тургенева к графине Ламберт».[1]

В мае 1856 года графиня уехала на некоторое время в Ревель. Там получила первое письмо от Тургенева из Спасского. В Спасском еще холода начала русской весны. Но уже зелено, собаки на ярко освещенной солнцем траве производят «картинное впечатление». Тургенев один, собирается за границу. От письма его пахнет деревней, Россией, его тон —благодарность за помощь в отъезде, но и уже некоторые душевные откровенности, связанные с «тревогой».

«Ах, графиня, какая глупая вещь — потребность счастья, когда уже веры в счастье нет! Однако, я надеюсь, все это угомонится, и я снова, хотя не вполне, приобрету то особенного рода спокойствие, исполненное внутреннего внимания и тихого движения, которое необходимо писателю, вообще художнику».[2]

Он собирался в Париж, проверять свои дела с Виардо, которую не видал несколько лет, и надеялся от этой проверки приобрести какое-то «спокойствие». Как улыбнулся бы, если бы это касалось кого-нибудь другого! Но на себя не улыбался. А графине на лето советовал перечесть Пушкина — ему хотелось немножко «встряхнуть» ее, вывести в жизнь, оторвав от самоуглубления.

«Извините, я вас еще мало знаю, но мне кажется, что вы с намерением, может быть, из христианского смирения, стараетесь себя суживать». И прибавляет: «Кстати, какие у вас добрые и милые глаза!» — вот

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Любовная дружба (*фр.*).

этого он никогда Виардо не писал... Глаза Виардо были замечательные, но не «милые», а «доброты» от нее никто и не ждал.

Через месяц, в июне, он получил уже паспорт. В июле собирается ехать. И вот беспокойство берет... что-то будет *там*! «В мои годы уехать за границу значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни». Т. е., иначе говоря: здесь, в России, еще можно было чуть-чуть не жениться на дальней родственнице своей, молоденькой О. А. Тургеневой, но уж там — Виардо все собой заслонит. Другое дело — графиня Ламберт. С нею легко, безопасно, приятно. С удовольствием думает он о будущих с нею встречах. «В жизни мужчины наступает, как и в жизни женщины, пора, когда более всего дорожишь отношениями тихими и прочными. Светлые осенние дни — самые прекрасные в году. — Я надеюсь, что тогда мне удастся убедить вас не бояться чтения Пушкина и других. Или вы еще страшитесь "тревоги"?» (Как это похоже на Ельцову из «Фауста» — тоже боявшуюся «тревожной» литературы.)

А о себе: «Я не рассчитываю более на *счастье* для себя, т. е. на счастье в том опять-таки *тревожном* смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами. Нечего думать о цветах, когда пора цветения прошла».

Не обманывали ли они, бессознательно, себя и друг друга — и Тургенев, и графиня? О, конечно, и он, и она (несмотря на ее пиетизм) счастья хотели. Тургенев прямо за ним гнался. Графиня почему-то писала же Тургеневу (а не мужу!) нежные письма. Обоим грустно. Оба стараются убедить себя, что надо смириться, принять «жизнь без счастья». И оба еще — в плену.



Поездка Тургенева оказалась, конечно, великим поражением. Ему хотелось все «выяснить», установить. Он выяснил нечто бесконечно для себя горькое. Погрузился в страдания любви неразделенной, отравленною ревностью. Зима 1856—57 гг. в Париже была для него ужасна. Он ничего не мог работать, письма его той поры — скорее стоны. Как все несчастные, он пытался путешествовать. Летом жил в Зинциге, небольшом немецком городке близ Рейна, а осенью с Боткиным уехал в Рим.

От парижской зимы сохранилось единственное письмо к графине — там интересны строки о их собственных отношениях: из них видно, что в Елизавете Георгиевне была некоторая учительность. В своей маленькой комнатке наверху она иногда «наставляла» его «уму разуму» и поясняла «недостатки» его воспитания.

В Риме он жил хорошо — в умственном и духовном отношении. Рим пустил в ход все свои прельщения. Все синеющие небеса, всю рос-

кошь испанской лестницы с красноватыми башнями Trinita dei Monti, весь грандиоз Ватикана, задумчивость базилик, тишину Кампаньи, безмерную прозрачность далей, все фонтаны, всю таинственную прахообразность своей земли... И хотя болезнь иногда мучила здесь Тургенева, все-таки Рим его врачевал. «Рим именно такой город, где легче всего быть одному, — пишет он графине в ноябре 1857 г. — ...Великие следы великой жизни... не подавляют тебя чувством твоей ничтожности перед ними, как бы следовало ожидать, а напротив, подымают тебя и дают душе настроение несколько печальное, но высокое и бодрое».

«В человеческой жизни есть мгновения перелома, мгновения, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать — и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело».

Очень Тургеневу подходит *так* писать именно женщине — не той, кого он любит мучительно, а кого любит по-товарищески и о ком знает, что всякое его слово до ее сердца доходит, вызывает сочувствие, отклик.

«Размышляя о моей прошедшей жизни, я не могу, несмотря на многие пятна в ней, не признать себя счастливым. Я, Бог ведает за какие заслуги, пользовался расположением двух-трех прекрасных женских душ, и поверьте, не последним счастьем моей жизни считаю я расположение вашей ко мне...» «Вы сами знаете, как дороги и близки вы мне стали».

Он писал правду. Ему действительно с ней было легче. Думал ли он о ней? Занимала ли его ее жизнь? Вряд ли особенно. Он наполнял *ее* своею. И от всего сердца, искренно делился планами литературными: в Риме в начинавшемся истинном уже смирении он задумывал и начал писать «Дворянское гнездо». Быть может, ему приятно было, что христианнейшая Лиза понравится меланхолической и тоже христианнейшей Елизавете Ламберт.

О «Дворянском гнезде» можно сказать, что оно орошено кровью Тургенева, пролитою из-за Виардо. Но в неких звуках этого романа, в его тишине и резиньяции есть еще влияния — Рима, деревенской России, которую он вдыхал летам 1858 года... и графини Ламберт. Какие-то ее уроки — сердца, жизни — не пропали даром.

❖ ❖ ❖

<18>58-й и весну <18>59-го Тургенев провел в России. В Петербурге часто встречался с графиней. Дружба их возрастала. Верно, он много бывал на Фурштадтской с ее «целебными водами», раз мог пи-

сать Елизавете Георгиевне в апр<еле> <18>59-го, уезжая за границу: «Я мало знаю мест на свете, где бы мне было так хорошо, как в вашей комнатке. С мыслью о ней связано много воспоминаний о тихих вечерах и хороших разговорах».

Дальше идет фраза, уже нечто приоткрывающая в самой графине: «А помните, как вы плакали однажды? Я напоминаю вам это вовсе не для того, чтобы подтрунить над вами, что ли, нет, сохрани Бог.

Не слезы ваши меня трогали, а то, что вы могли и не стыдились плакать...»

О чем плакала она в «тихий» вечер на Фурштадтской? Не скажешь. Но то, что могла при нем плакать, уже говорит о многом. Не ему одному было грустно. Она тоже знала горькие вещи. Сближала их как раз родственность пережитого.... «И, смею думать, мы привязались друг к другу не в силу наших надежд, а в силу воспоминаний и общих жизненных опытов». «Я очень рад тому, что вы прямо высказываете мне все, что у вас на душе; мне только жаль вас, когда у вас на душе темно, и хотелось бы быть с вами, чтобы помочь вам немножко и рассеять этот мрак». Он надеется вновь на милые встречи, в Петербурге, у нее, когда они будут «хорошо вести себя, тихо, покойно, как дети на Страстной неделе. За себя я отвечаю».

Это письмо из Куртавенеля*, где в <18>47—<18>49 гг. прошла первая его, молодая и более счастливая любовь к Виардо. Теперь все по-другому. «Здоровье мое хорошо, но душа моя грустна». «Я знаю, что во мне умерло; для чего же стоять и глядеть на закрытый гроб? Не чувство во мне умерло, нет... но возможность его осуществления».

На свое счастье (былое) он может смотреть лишь как на чужое счастье, на чью-то чужую молодость. В таком настроении особенно ценная дружба графини. «Остается одно: держаться пока на волнах жизни и думать о пристани, да отыскав товарища дорогого и милого, как вы, товарища, по чувствам и мыслям, и главное — по положению (мы оба с вами уже немного ждем для себя) — крепко держать его руку и плыть вместе, пока...»

Эти письма <18>59-го года вводят в самый расцвет их дружественно-нежных отношений (и совпадают с самым тяжелым временем романа с Виардо). Переписка очень оживленна. Тургенев то благодарит за тонкие и высокие похвалы (вероятно, по поводу «Дворянского гнезда»), то ходатайствует за какого-то офицера Беленькова, то сообщает о своей дочери.[3] Проведя часть лета <18>59 года в Куртавенеле у Виардо, где вокруг него «правильная семейная жизнь», а он сам в ней ни при чем, Тургенев осенью попадает в Россию. Можно думать,

* Замка Виардо под Парижем. — *Примеч. Б. Зайцева.*

что наступил момент, когда графиня чуть не перешла черты, отделяющей amitiй amoureuse от... большего. Но ее голоса никогда не слышно. В этом отчасти очарование переписки. Графиня всегда за сценой, скромная и глубокая, таящая какие-то силы, неизрасходованные и обреченные. Лишь по словам Тургенева угадываешь ее облик, как бледный дагерротип.

«Какое странное, милое, горячее и печальное письмо — точно те короткие, нешумные летние грозы, после которых все в природе еще более томится и млеет. Если бы я был муж, и моя жена часто писала такие письма, мне бы стало чуть-чуть жутко». Хотя предыдущие письма его отстояли совсем недалеко и были нежны, ей кажется, что он «начинает скучать» с нею — кажется совершенно напрасно, но самая эта «требовательность» не есть ли уже «признак»?

Тургенев в ответ пускает легкую, тонкую эротику: «Когда я целую руку, мне приятно, чтобы рука мне давала чувствовать, что она знает, что мне приятно ее целовать». (Руки графини Ламберт очень ему нравились.)

И в заключение — точная обрисовка места графини в сердце: «Я только два существа на свете люблю больше вас: одно, потому что она моя дочь, другое потому... вы знаете, почему».

Да, о Виардо графиня знала многое, если не все. И если б могла теперь встать из глубины гроба, жизнь и сердце Тургенева нам предстали бы много и много ближе.



Осенью 1859 года Тургенев жил в Спасском, писал «Накануне». Он возлагал на эту вещь большие надежды. Ему хотелось, чтобы она понравилась графине Ламберт. «Вы знаете, что повесть моя вам посвящена, но я не хотел написать это посвящение, пока вы ее сами не прочтете, особенно 28-ю главу». Двадцать восьмая глава по тем временам могла считаться смелой: Елена, тайком от близких навещавшая Инсарова, сама признается ему в любви. («Так возьми же меня...» и т. д.) Тургенев опасался, что набожная графиня не одобрит таких дел. Он оказался прав. Не только эту сцену, но и весь роман Елизавета Георгиевна забраковала: он не понравился ей вовсе — очевидно, в той мере, в какой порыв Елены, ее восторг, утверждение земного (даже «беззаконного») счастья — далеки от смирения Лизы «Дворянского гнезда». Когда позднее Тургенев попал в Петербург, на Фурштадтской ожидали его не лавры, а тернии. Укоры графини так на него подействовали, что он собирался даже уничтожить «Накануне».

Роман набирался у Каткова в «Русском Вестнике». Тургенев отправился в Москву держать корректуру. Поселился у своего приятеля

Маслова,[4] управляющего Удельной конторой, на Пречистенском бульваре — в том прекрасном особняке, который хорошо знают люди Москвы. В его письмах отсюда есть московская зима, морозы и ухабы, он сам — кашляющий, занятый своею хворью, опекаемый верным Масловым, со всегдашней толчеей посетителей и друзей, среди них Фет, Борисов,[5] Николай Толстой.[6] Несмотря на нездоровье, все-таки успел Тургенев присмотреть «две-три женские личности» (что, конечно, не весьма одобряла графиня). Во второй половине зимы он уже в Петербурге, обменивается коротенькими записочками с Елизаветой Георгиевной, все хворает, иногда немного этим играет, она называет его «балованным ребенком». По-видимому, она жаловалась на прохладу его писем. Он защищается.

«...Никогда не соглашусь в том, чтобы что-нибудь от меня к вам могло быть холодным». «Я знаю, очень твердо знаю, что люблю вас крепко и неизменно». За всем тем успел он и познакомиться с какою-то милой русской, 18-ти лет, рожденной в Италии, которая плохо знала по-русски. Предложил ей читать вместе Пушкина... Радовался, как она славно при этом краснела. Заодно тут же ходатайствует пред графиней то за старушку — в богадельню, то за девочку Ольгу Згурскую — в институт. (Хлопотами за разных лиц была полна его жизнь). Этому в нем графиня очень сочувствовала, поощряла всячески и в весеннем парижском письме он прямо благодарит ее за своих protégés*.

Лето Тургенев провел то в Содене, то в Эмсе, Висбадене, побывал в Англии, встретился с графиней в Париже. Познакомил ее с дочерью своей — но не с Виардо. О дочери отозвался так, что хоть она прекрасная девушка, но общего у них мало. «Она не любит ни музыки, ни поэзии, ни природы, ни собак, а я только это и люблю». О Виардо две строчки, но знаменательные: «...а над другими, вам известными отношениями, лег какой-то печальный туман».

Зимы в Париже были для него всегда тяжки. Нерадостно заканчивался и 1860-й год. Он просит графиню писать чаще. «Мне непременно нужно хоть два раза в месяц увидать ваш симпатический, правильный почерк. (Заметьте, я говорю: правильный, а не спокойный — а у вас душа правильная, а не спокойная)». Вот в этой правильной душе, не весьма счастливой, но имевшей устои незыблемые, и чувствовал он некое прибежище, он, у кого именно якоря не было, носило его ветром туда и сюда, но носило невесело. «Да, сверх того, на днях мое сердце умерло. Сообщаю вам этот факт. Как его назвать, не знаю. Вы понимаете, что я хочу сказать. Прошедшее отделилось от меня окончательно, но расставшись с ним, я увидал, что у меня ничего не осталось, что вся

* Пользующихся покровительством (*фр.*).

моя жизнь отделилась вместе с ним. Тяжело мне было, но я скоро окаменел. И я чувствую теперь, что так жить еще можно. Вот если бы снова возродилась малейшая надежда возврата, она потрясла бы меня до основания. Я уже прежде испытал этот лед бесчувствия, под которым таится немое горе... Дайте окрепнуть этой коре, и горе под ней исчезнет».

О том, как он тосковал в неустроенной своей, почти разгромленной жизни, вот свидетельство — декабрьское письмо: «Главное, не желайте никогда и ни в чем ни высказать, ни выслушать *последнего* слова, как бы оно справедливо и искренно ни было: эти последние, окончательные слова большею частью бывают началом новых недоразумений. Будьте приблизительно довольны приблизительным счастьем... Несомненно и ясно на земле только несчастье».

Это несчастье для него в те годы имело и определенное имя: Полины Гарсиа-Виардо.



В утешении нуждался не один Тургенев. Как и всякой душе, было оно необходимо и графине Ламберт.

Для некоего укрепления и очищения она собралась в январе 1861 года в Тихвинский монастырь под Калугой. Там жила среди тишины, благообразия, в калужских снегах. Начинался особенно тяжелый для нее год — захворал сын, брат, жизнь надвигалась самыми мрачными своими угрозами. К великому сожалению, не сохранилось ее письмо к Тургеневу из монастыря. Но по ответу видно, каким высоким настроением оно проникнуто — и одновременно, сколь был далек Тургенев от собственно-церковного:

«Какой тишиной, холодной, печальной и в то же время приятной повеяло на меня от вашего письма, начатого в Тихвинском монастыре! Как отрадна мне показалась эта жизнь, занесенная снегом, вся проникнутая заранее неподвижностью смерти!»... «Я уверен, что самый стук башмаков монахини, когда она идет по каменному полу коридора в церковь молиться, ей говорит что-то. И это что-то, если не убивает, не душит человеческое, нетерпеливое сердце, должно дать ему невыразимое спокойствие и даже живучесть». (Он совсем не представлял себе, какую радость и какой свет может дать монастырь. Но чувство смирения уже становится ему в каком-то отношении понятным.) Возможно, что и в собственной душе, после долгой борьбы с любовью-страстью, ощущал он некоторое умиротворение — в отречении.

«Я чувствую себя, как бы давно умершим, как бы принадлежащим к давно минувшему существом...» «Глядя на какое-нибудь прекрасное молодое лицо, я так же мало думаю при этом о себе, о возможных от-

ношениях между этим лицом и мною, как будто бы я был современником Сезостриса[7]».

Сердце его до самого конца не успокоилось, но в то время ему казалось, что он обращается в мумию, и это давало известное равновесие. Самое горькое с Виардо, самое острое уже прошло. В этом, <18>61-м, году ему пришлось даже отчасти поменяться с графиней ролями: теперь *она* многим делится с ним, и все более явным становится, что он ей нужнее, чем она ему. Чаще он должен оправдываться в неаккуратности ответов. Их отношения имеют уже некую *историю*. Вновь пишет он ей из Спасского, и тоже в мае, — с оттенком самооправдания: «Милая графиня, я получил ваше небольшое, печальное, но все-таки дорогое письмецо и пишу вам ответ в той же комнате и на том же столе, где, лет шесть или семь тому назад, я вам написал первое мое письмо... Многое с тех пор переменилось, но чувство мое к вам осталось то же, или нет, оно выросло и окрепло, потускнев немного, но это было неизбежно: кора на 6-летнем дереве грубее, чем на молодом отпрыске, но зато она прочнее». Тут же есть строки, которые говорят, как печальны были письма графини: «Я много гуляю по саду и вспоминаю... Я заметил, что теперь только те воспоминания мне приятны, о которых я уже прежде вспоминал, знакомые, старые воспоминания. Жизнь вся в прошедшем, и настоящее только дорого, как отблеск прошедшего.... *В этом я с вами согласен*». А июньское письмо совсем раскрывает карты: Тургенев сожалеет в нем о семейных осложнениях и затруднениях графини — и вместе радуется, что она так с ним откровенна («Только перед близким человеком хочется и можется так излиться»).

Графине было что изливать: тяжко заболел ее брат и сын. Уже осенью упоминает Тургенев об этом брате, из Парижа, куда тот приехал лечиться: «он очень плох, кажется, безнадежен». А в следующем письме горячо настаивает, чтобы она тотчас везла и сына за границу, «в более теплый климат, поезжайте сюда для вашего сына, для вас самих, для вашего бедного брата».

Но было уже поздно. Через несколько дней она сообщает ему о смерти сына — и «утешитель» пишет прежней своей утешительнице полные волнения и чувства строки: «Что я могу сказать вам — матери, потерявшей единственного сына! Если бы я был в Петербурге, я бы плакал вместе с вами; а теперь я только протягиваю вам обе руки и крепко и молча жму ваши».

С этого момента резче очерчивается разница их душевных складов: Тургенев почти с завистью говорит о вере, которой у него нет, а ее она поддерживает и помогает перенести удар «с христианским смирением и верой в Бога, который все ведет к лучшему».

«Имеющий веру имеет все и ничего потерять не может; а кто ее не имеет, тот ничего не имеет, и это я чувствую тем глубже, что сам я принадлежу к неимущим! Но я еще не теряю надежды». Это повторяется и в дальнейшем (в связи со смертью брата графини):

«Счастливы те, которые верят». «Одна религия может победить этот страх» (смерти).



Несчастия как бы еще сильнее замкнули графиню, погрузили в мистицизм. Странным образом, она стала требовательней, ревнивей к Тургеневу. Ей теперь начинает казаться (несмотря на очень дружественное и горячее приведенное выше письмо), что ее печаль «стала стеной» между ними. Она и сама довольно долго не пишет, и вообще ее недовольство Тургеневым возрастает. Тургенев представляется ей слишком «преисполненным земною жизнью», слишком вросшим в нее. (Вера Сергеевна Аксакова, тоже глубоко православная, также считала его человеком ощущений и в лучшем случае душевным, но не духовным). Это несколько Тургенева задевало. Он возражает: «...Если я еще не успел приникнуть мыслью к неземному, то земное все давно ушло от меня, и я нахожусь в какой-то пустоте, туманной и тяжелой, и уже нисколько не расположен отворачиваться от картин разрушения; черных покровов, горя». И он радуется, что графиня может уже встретить жизнь «лицом к лицу».

А в его собственной жизни, между тем, назревало событие, тоже его отводившее от графини: Виардо, заканчивая оперную свою карьеру, переселилась в Баден — там занялась преподавательской деятельностью. Тургенев переехал за нею из несчастливого для него Парижа. Что-то изменилось в их отношениях. Утихали ли страсти? Смирился ли Тургенев окончательно и принял любовь-дружбу? Или вообще его любовь перешла в более высокую, *незаинтересованную* сферу: во всяком случае, он нашел некий образ мирного и нежного бытия с Виардо (не лишенного, разумеется, грусти и страданий, но окрашенного в иные краски). Когда ему приходилось уезжать из Бадена, он уже вновь, как некогда, писал пронзенные любовью письма Полине Виардо. «Утешительница» становилась излишней.

Замечательно, что первый же его, временный приезд в Баден (осенью 62-го года) связан с тем, что в письме к графине он извиняется за долгое свое молчание («я все еще ласкаю себя надеждой, что вы его замечаете»). И дальше: «Мне было бы очень горестно, если б между нами прекратились те живые сообщения, к которым я привык, и которыми так дорожу». Значит, «вопрос поставлен на очередь». И дей-

ствительно ли эти «сообщения» так ему дороги, или он более к ним «привык»? Главное же, теперь не так они ему нужны.

Окончательной радости, окончательного удовлетворения жизнь *при* Виардо (а не *с* Виардо) ему, конечно, не дала. Но утешительница заметно отходит. Его писание того времени («Отцы и дети») не может быть ей близко. Его отдаленность от церкви — также. Переписка временами становится почти спором — хотя Тургенев всегда держится тона высокой почтительности, даже преклонения. «Ничего не хотеть и не ждать для себя и глубоко сочувствовать другому — это и есть настоящая святость. Не хочу сказать, что вы ее достигли, но вы на дороге. Это уже великое дело». И вместе с тем: «почему вы полагаете, что Полинька» (дочь его) «не ходит в церковь? Я не только “не отнял Бога у нее”, но я сам с ней хожу в церковь. Я бы себе не позволил такого посягательства на ее свободу, и если я не христианин, — это мое личное дело, пожалуй, мое личное несчастье».

Теперь графиня упрекает его и за общее направление его писательства. Ей хотелось бы, чтобы он написал какую-нибудь «простую и нравственную повесть для народа». Тургенев, слава Богу, этого не сделал и в защите себя, своей художнической вольности, силен и красноречив. «Вот где именно и высказывается самая слабая сторона самых умных людей *не*-художников: привыкнув всю жизнь свою устраивать сообразно с собственной волей, они никак не могут понять, что художник часто неволен в собственном детище — и готовы обвинять его в лени, эпикурействе и т. п. Поверьте: наш брат, да и всякий делает только то, что ему дано делать, а насиловать себя и бесполезно, и бесплодно».

Что тут прибавить? Эти слова — из катехизиса художника, великая хартия его вольностей, великая ограда от всяких посягательств: политических, общественных, даже религиозных. Странным образом, графиня Ламберт впадает здесь в некое православное толстовство — и внезапно оказывается ниже Тургенева.



Баден развел их окончательно. Никогда графиня Ламберт не могла соперничать с Полиною Виардо, но теперь победа старой (двадцатилетней уже!) великой любви над прохладно-тонкими чувствами оказалась бесповоротной. Письма становятся реже — с обеих сторон. Попадаются такие фразы: «...из некоторых ваших выражений я должен заключить, что вы сами почли за лучшее умолкнуть». И далее, уже в <18>64-м году: «Я вам очень благодарен за ваше письмо, хотя вы и браните меня и прощаетесь со мной...»

Грустно следить за умиранием долгих, прекрасных отношений. Переписка увядает — ничто не может уж восстановить ее. Утешительница

необходима, пока Тургенев вполне одинок. А когда полу-одинок, и она полу-нужна. Да еще утешительница ставшая строже, суровее, требовательней...

Вот строки одного из «предсмертных» писем: «Не хотите ли вы, особенно после последних поразивших вас утрат, вообще покончить с прошедшим, из глубины которого к вам приходят одни горестные воспоминания? В таком случае, вы мне не ответите, и я пойму вас. Во всяком случае то, что я вам предлагаю, очень скромно и не тревожит и не поднимает ничего *со дна*: это простой обмен дружеского привета, сообщение немногочисленных жизненных фатов».

На этом удержаться было нельзя. Диана стихает. Быть может, в своей строгой, холодноватой чистоте она несколько недовольна Тургеневым. Переделать его, обратить — не удалось. Она навсегда вышла из его жизни: нигде далее нет о ней слова. Но ее печальный, чистый облик навсегда с ним связан и сквозит в каждом его письме к ней.

Графиня Ламберт не пережила Тургенева: скончалась в том же 1883-м году.

НОВЫЙ ТУРГЕНЕВ

После неудачи «Нови», в конце семидесятых годов, Тургенев находился в особо- мрачном настроении. «...Как бы то ни было, *я положил перо и уж больше за него не возьмусь*», — писал 9 февраля 1878 года редактору «Правды».[1] Мучила его и подагра, и горечь любви — ему исполнилось шестьдесят, он по-прежнему глубоко был привязан к Виардо, но нуждался в «молодости».... сознавая, конечно, что из увлечения баронессой Вревской ничего выйти не может. Жизнь явно кончалась: литературно, сердечно. Он предчувствовал и физический конец. Считал, что умрет в 1881 году (родился в 1818 — перестановка двух последних цифр).

Но писать не бросил. К счастью, средства позволяли делать это, не печатая написанного, — и вот он попробовал новый жанр, «Стихотворения в прозе». В <18>78 году написал тридцать шесть пьес, в <18>79-м — двенадцать.

Жанр оказался очень соблазнительным: было в нем нечто интимное, тайное, грустное. Можно под минутным впечатлением сесть и написать ранящие самого себя строки. Можно в эту миниатюру излить лирическую струю (иногда прорывавшуюся и в прежних повествовательных его писаниях). И затем — спрятать все это в письменный стол (даже и от Полининых глаз подальше).

Там они и пролежали некоторое время — а потом были все-таки напечатаны по желанию Стасюлевича в «Вестнике Европы» (1882 г.).[2] Тут и оказалось, что жанр не только привлекателен, но и труден. «Стихотворения» вышли пестрые, не все удачные — хотя все важные как душеизъявления. Все-таки лиризм безудержный многое в них затопляет.

Он ведет к неглубокой и для прозы чрезмерной музыкальности (довольно упрощенной). Появляются и многоточия (женская манера), и декламация, сентиментальность («мне холодно... Я зябну... и все они умерли... умерли...». «Как хороши, как свежи были розы»[3]). Актрисы охотно декламировали эти «розы» — но они не стали от того лучше.

Лучшими «стихотворениями» оказались те, где Тургенев вновь проявил удивительный свой дар *рассказчика*, вновь коснулся народа, простых, чудесных русских людей. (Поразительно, как этот «западник» любил самое коренное русское!). «Деревня», «Щи», «Два богача», «Повесить его!», «Христос» — превосходно. Замечательна и роль снов. «Конец света», «Насекомое» — ужас всеобщего конца, смерти в этих визионерных писаниях так выражен... чего уж больше!

Общий же тон: горечь, безнадежность, старость! Нет в «Стихотворениях», даже неудачных, случайного. Все говорит о самом важном, грозном, о важнейшем, и даже то, что по внешности будто слишком «литература», в действительности — жизнь, подлинная. И страшная.



Тургенев, однако, напечатал не все из «Стихотворений». Г. Мазон нашел в архиве Виардо еще ряд пьес — они опубликованы теперь, с французским переводом г. Саломона, в издании Шифрина.[4] Эти «Неизданные стихотворения в прозе» захватывают большее время, чем прежние: с 1877 по 1882. Они очень интересны для биографа — в этом главное их значение — гг. Мазон и Саломон оказали нашей литературе несомненную услугу.

Появившиеся «Стихотворения» еще более *личны*, еще более «Жизнь Тургенева», чем прежние. Внешне-изобразительного в них еще меньше. (Наверно, и автор больше считал их своею жизнью, чем литературой: и предпочел *не* печатать).

Любопытно, как эта «жизнь» просочилась в одну из самых поздних пьес («У-а, у-а»[5]), написанную в ноябре 1882 года, когда Тургенев был уж безнадежно болен. Тут вспомнил он как раз о самой ранней юности — о путешествии в Швейцарию (после Италии) — о настроениях своих тогдашних:

«Я проживал в Швейцарии: я был очень молод, очень самолюбив и очень одинок. Мне жилось тяжело и невесело. Еще ничего не изве-

дав, я уже скучал, унывал и злился. Все на земле мне казалось ничтожным и пошлым — и, как это часто случается с очень молодыми людьми, я с тайным злорадством лелеял мысль... о самоубийстве. "Докажу.... отомщу...", — думалось мне... Но что доказать? За что мстить? Этого я сам не знал. Во мне просто кровь бродила, как вино в закупоренном сосуде.., а мне казалось, что надо дать этому вину вылиться наружу, что пора разбить стесняющий сосуд... Байрон был моим идолом, Манфред моим героем».

Что Тургенев и в юности был подвержен романтической меланхолии (с язвительным, «демоническим» оттенком), это известно. Все же раньше казалось, что путешествие его по Италии и Швейцарии в 1840 году — наиболее светлая полоса молодости. Но вот сам он говорит, что как раз тогда мечтал о самоубийстве...

«Однажды вечером я, как Манфред, решился отправиться туда, на темя гор, превыше ледников, далеко от людей, туда, где нет даже растительной жизни....»

Он хотел ощутить одиночество, смерть. «Быть может, покончить с собой.» Шел долго и действительно забрался очень высоко, где уже не было жилья, веял холодом близкий, но еще невидимый снег. Надвигалась ночь. Вот оно — безмолвие, мрак, смерть.

Внезапно он услыхал крик младенца («У-а, у-а!»), с чувством задыхающейся радости побежал на него и добрался до хижины, служившей по целым неделям убежищем для альпийских пастухов. Там сидели у огня муж и жена — женщина кормила грудью ребенка. С удивлением глядели они на ворвавшегося юношу. «Но я ничего не мог промолвить... только улыбался и кивал головой». Крик — горячий, человеческий, исцелил его — соскочил байронизм, ожило сердце. Жизнь, жизнь! Свет, тепло, любовь. Все это померещилось и вспомнилось шестидесятичетырехлетнему старику, поедаемому раком — на что надеющемуся? Какой крик мог вернуть его к жизни?

«Крика» не найти в этой книге, но стоны есть: предсмертные, подлинные. «Голубое небо, как пух легкие облака, запах цветов, сладкие звуки молодого голоса, лучезарная красота великих творений искусств, улыбка счастья на прелестном женском лице, и эти волшебные глаза... к чему, к чему все это? — Ложка скверного, бесполезного лекарства через каждые два часа — вот, вот что нужно» (1882, июнь).[5]

На своем веку много Тургенев охотился, много настрелял дичины — много крови пролил. Теперь, умирая, вспомнил горестно о куропатках, о страшной «несправедливости» смерти.

Стайка молодых куропаток роется в рыхлой земле, на жнивье. Они веселы, беззаботны. «Вдруг их вспугивает собака — они разом дружно взлетают; раздается выстрел, и одна из куропаток, с подбитым кры-

лом, вся израненная падает, и с трудом волоча лапки, забивается в куст полыни.

Пока собака ее ищет, несчастная куропатка, может быть, тоже думает: "Нас было двадцать таких же, как я... Почему же именно я, я попалась под выстрел и должна умереть?.. Это несправедливо!"».[7]

Такой же стон в «Попался под колесо»: там прямо сказано, что именно стоны-то никого и не разжалобят — это такие же звуки, как плеск ручья, так же немые и безответные в великом равнодушии мира. «Ты не удерживай их — но помни: это все звуки, звуки, как скрип надломленного дерева. Звуки — и больше ничего».



Тоске любви посвящено самое раннее стихотворение «Дрозд», 1877 г. («Я любил тогда безнадежной, горестной любовью...»). По-видимому, дело происходит в Спасском. Июльское утро, пред рассветом. Чуть брезжит. Роса. Человек не спал всю ночь — мучили тяжелые мысли (о поздней, ненужной любви). «А в этой росе, в саду, над самым моим окном уже пел, свистал, тюрюлюкал — немолчно, громко, самоуверенно — черный дрозд». Пройдет тысяча лет, развеется жизнь, от любви ничего не останется, от милой Вревской, а вот этот дрозд так же будет приветствовать солнце. «В его песне не было ничего своего, личного; он был тот же самый черный дрозд, который тысячу лет тому назад»... и т. д. — обычная тургеневская философия: безжалостная и безличная природа, равнодушно рождающая, равнодушно губящая... Но юность, свежесть песни вызывает иной образ. «Ах! и то существо — не так же ли оно молодо и свежо, как твои ликующие звуки, предрассветный певец».

Встает солнце. «На разгоревшихся щеках» освещает оно слезы.

Уже весной этого года в отношениях Тургенева с Вревской (туманно-разговорный трехлетний роман — безрезультатный) произошел перелом, тот роковой момент, когда все выяснено и надежды нет. Она молода, он стар. Что-то он в ней разбередил. Может быть, будь он смелей, решительней, предложи ей *всего* себя, жизнь, брак — все по-иному повернулось бы. Но над ним была власть возраста и... Виардо. Давний роман, «всей жизни», хоть и потерял остроту, но сохранил власть. Собственная седина и магнетические глаза Виардо остановили. В мае Вревская уехала на войну сестрой милосердия — там и сложила вольнолюбивую головушку — а вот в этом июле очаровательная ее тень всю ночь мучила, под дрозда, Тургенева.

Баронесса Вревская была блестящая, редкостно красивая и пылкая молодая женщина. Порыв ее в служении ближним привел к смерти — воистину можно сказать, что она «за други своя положила душу

свою». Но в июле <18>77-го года была еще жива. На смерть ее, весной <18>78-го года написал Тургенев знаменитое «Стихотворение» (из ранее напечатанных: «На грязи, на вонючей сырой соломе... умирала она от тифа»[8]). А в августе <18>78-го опять в деревне, опять в бессонницу и опять слушая дрозда вновь ее вспоминает («Дрозд II»[9]). Правда, тут оттенок иной. Вспоминаются все гибнущие на полях сражении, в битвах и болезнях. Есть даже некий «общественный» привкус в пьесе (проф. Мазон связывает это с недавним пребыванием Тургенева у Толстого) — все же «милая тень» и тут присутствует (...«И опять, под окном моим, поет черный дрозд, *и в сердце горит та же рана*»).

Кажется, это последний след Вревской в жизни Тургенева.



Смерть (размышления о ней, видения ее), столько же занимала Тургенева, сколько Петрарку. Он был как бы «специалистом» по ней. Появляется смерть и в новых «стихотворениях» — то в облике традиционном, «костлявая», с песочными часами в руке, то в более «тургеневском» — остром и несколько даже эротическом («Встреча»). Во сне он идет по каменистой степи, под низким черным небом. Вдруг на тропинке, как бы из тонкого облачка, появляется женская фигура, «стройная и высокая, в белом платье». Он спешит за ней, но не может догнать. Не может рассмотреть ее лица. Но «она казалась мне прекрасной, дорогой и милой». Наконец, поперек тропинки камень — широкий, плоский. Медленно, не сгибаясь, ложится она на плиту. Он тоже — лежит на спине с ней рядом, «вытянутый весь, как надгробное изваяние». Так длилось несколько мгновений — потом она поднялась, встала и пошла. Он вновь хотел идти за ней, — но не может. Она обернулась, улыбнулась, и он увидал «светлые, лучистые глаза». «Но я все не мог шевельнуться. Тогда она засмеялась еще раз, и быстро удалилась, весело покачивая головою, на которой вдруг ярко заалел венок из маленьких роз.

А я остался неподвижен и нем на своей могильной плите».

Женщина-смерть оказалась даже привлекательной, у нее лучистые глаза...

И она уводит в иной мир. Что там — неведомо. По Тургеневу — ничто. Но и «оттуда» не оставляет его мысль о здешнем («Когда меня не будет»...) Это уже явно направлено к Полине Виардо. Какие бы ни были Вревские, Савины, но вот «ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня — не ходи на мою могилу».[10]

Он хочет, чтобы в минуту грусти, когда вспомнит она о нем — взяла бы одну из любимых их книг, нашла бы любимые места — и прочла.

Прочтя, закрыла бы глаза и протянула руку... отсутствующему другу. «Быть может, ты на твоей руке почувствуешь легкое прикосновение».

Делала ли так Виардо? И плакала ли от таинственного прикосновения? Но перед смертью — уже не в литературе, а в полубреду назвал ее Тургенев «царицей из цариц» — и его уход пережила она тяжело: горько оплакивала друга, который столько страдал от нее при жизни, но — и столько любил.

СМЕРТЬ ТУРГЕНЕВА

Всю жизнь боялся Тургенев болезней. Всегда ему казалось, что он захварывает. Особенно преследовала его холера. В <18>49 году, летом в Париже он совсем решил, что умирает, с ним были припадки — не то от мнительности, не то и настоящие (в городе эпидемия валила людей!) — так что Герцену пришлось его выхаживать. Позже — и в Петербурге, и у себя в Спасском при одном слове «холера», при известии, что она появилась в Брянске или на Волге, он бледнел и впадал в мрачное настроение. Тургенев знал за собой эту слабость, но бороться не мог. Видел холеру и во сне, она сложилась в душе его в страшный, отвратительный образ. Грозные и костлявые старухи стихотворений в прозе — это облики, где холера и смерть слились. Для Тургенева они как бы равнозначны.

Петрарка, верующий человек, всегда мучился страхом смерти. Он о ней думал ежедневно, и ложась спать, ложился как бы в гроб. Тургенев не был верующим (и считал это своим несчастием), но с Петраркой имел много общего — между прочим, и в чувстве смерти. Надо сказать, что являлась она ему с ранних лет. Мальчиком он чуть не погиб в Берне, где с отцом смотрел знаменитых медведей (свалился к ним в яму, его насилу вытащили). Юношей попал в пожар на море, близ Любека... Там дело тоже кончилось благополучно, все же пережил он много. С сорока же лет, когда появились признаки каменной болезни (от которой умер в этом же возрасте его отец), Тургенев стал «систематически» готовиться к концу. Тут опять произошла ошибка: каменной болезни у него в действительности не оказалось, с судьбой отца, великого Дон Жуана, рано сгоревшего, его жизнь не имела ничего общего — и умер он шестидесяти пяти лет. Но последние двадцать пять из них носил смерть в сердце — с горечью поистине петраркическою.

И судьба его оказалась сложнее (но не менее горестна), чем он думал. Боялся погибнуть от пожара — не погиб. Напрасно боялся камен-

ной болезни, холеры. Сумрачно, и тоже неверно высчитывал, что умрет осенью 1881 года — так ему чудилось и суеверно поддерживали его цифры: если переставить две последние, получится 1818 — год рождения.

Но вот когда в апреле 1882 года по явились у него «невралгические» боли в руке и лопатке, он не обратил на них особого внимания. Боли и боли. Неприятно, но пустяк. Все-таки обратился к Шарко,[1] тогдашней знаменитости, у которого только что лечилась Савина. Шарко определил «angine de poitrine» * и «не велел выходить из комнаты дней десять».

В то время рентгенизации не существовало. Рака позвоночника определять не умели (может быть, и к лучшему: хороша радость определить и не суметь вылечить!). Тургенев начал последнее свое, страдальческое странствие.



«Опасности болезнь не представляет — но заставляет лежать или сидеть смирно, так как не только при всхождении на лестницу, но даже при простом хождении или даже стоянии на ногах делаются очень сильные боли в плече, спинных лопатках и всей груди — а там является и затруднительность дыхания», — так писал он Жозефине Антоновне Полонской в Петербург.[2] В том же письме звал ее с мужем в Спасское: пусть собираются, не дожидаясь его, он подъедет, как только сможет. Полонских, друзей верных, болезнь его взволновала. Да и сам он, чем дальше шло время, серьезней о ней задумывался. Как больной «просвещенный», обо всем расспрашивал врачей, всем интересовался. И вот уже знает, что ангины бывают 1) essentialis — от нее умирают, и 2) cardialgia nervalis — это именно у него. Она затяжная, хроническая. Для жизни не опасна.

И ему методически прижигали плечо, как будто дело было в бедной коже Тургенева, а не в тайном страдании позвоночника. Ходить он совсем не может. А когда прибавляется еще «междуреберная невралгия с правой стороны», то и лежать нельзя: ночью надо сидеть.

В таком виде — недвижного, страдающего, перевезли его в Буживаль. Думали: весна, природа, воздух — оживят. Но в майском Буживале, при всех бабочках, цветах, при всем дыхании голубизны и света лишь острей чувствовал он, что дело плохо. «Человек я похеренный, — пишет Жозефине Антоновне, — хотя проскрипеть могу еще долго».[3] Надежд на Спасское и встречу с ними летом мало. Он рад, что Полонские согласились ехать в Спасское и без него (после долгих уговоров;

* Грудная жаба, стенокардия (*фр.*).

Ж<озефина> А<нтоновна> собиралась даже лететь в Париж ухаживать за ним). А о себе вот что: «когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу».[4] Полонские прислали ему в письме цветы и листья Спасского сада (он просил «сиреневый цветок»). А дома врачи приделали к плечу машинку, надавливавшую на ключицу — с ней как будто легче: мог сделать несколько шагов. Но как! «Всякая черепаха меня обгонит».[5] Еще одно нововведение: по совету другого знаменитого врача стали его лечить *молоком*. За все хватается измученный человек: молоко так молоко! По двенадцати стаканов в день выпивал он его. А в промежутках впрыскивали от болей морфий, обкладывали горячими салфетками.

И все-таки Тургенев живет — и достойно даже. Озлобления нет. Нет и ропота. Он кое-что ухитряется и писать (из «Стихотворений в прозе»), много переписывается. Тон писем неизменно ровный, быть может, становится несколько «надземней» (хотя всегда пишет он о мелочах жизни своей, болезни и т. п.). Савина вышла, наконец, замуж за Всеволожского.[6] За ласковые письма Тургеневу в болезни зачтутся ей разные ее грехи — она давала ему улыбку, да и нежность. (Думаю, писала правду — своеобразное чувство к нему сохранилось у ней навсегда). «Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже, *что я тогда перечувствовала*!»[7] (Может быть, и плакал Тургенев на своем мученическом ложе, читая это...) Случалось и так: она обронит нежную фразу — и сама о ней позабудет. А онто уж не позабудет — за тысячи верст напомнит. («Не считая меня обожающей без границ чудного Ивана Сергеевича»... — Он, в ответ: «Вы понимаете, что за такие слова надо по меньшей мере стать на колени. Одна беда: коли вы забыли эту фразу, стало быть, писали ее не совсем серьезно»).[8] Вот это действительно беда. Но не впервые так случается с Тургеневым. Бывало, он и Полине Виардо говорил, еще до болезни, в Париже: «А помните, мы гостили тогда у Жорж Занд в имении, еще Шопен играл, такая же туча стояла над садом, и дождь только что отшумел, в буре...» «Где?» «У Жорж Занд». «Ну, как давно это было. *Не помню*». Помнил-то всегда он. А женщины, кого любил, — те забывали.

В болезни рядом с ним была эта Полина Виардо, друг и мучитель, некогда полубожественное (для него) существо, ныне живая, огнеглазая женщина в седых буклях. Думаю, что ходила она за ним добросовестно, как и дочери ее. Думаю также, что тепла, ласки эта неласковая душа дать не могла. Она, что называется, «стояла на посту». Но не грела.

❖ ❖ ❖

Чем все-таки объяснить, что молоко помогло ему? Июль, август шли легче. Будто надежды даже появились. Он мог немного вставать, ходить. Написал «Клару Милич». Врачи упорно твердили, что опасности нет, надо терпеть: болезнь нервная, ей подвержены на склоне лет многие артисты, писатели, художники. Тянуться она может долго — надо пить молоко да ждать.

Но облегчение, разумеется, оказалось временным. Болезнь, которая «опасности не представляла», возобновилась зимой в Париже — с силою удвоенной. Теперь не только плечо и лопатка — вся спина, грудь болела, все вообще болело, двигаться совершенно нельзя, и ни молоко, ни уколы, ни машинка не помогали. Действовал один морфий. Шарко и тут изобрел утешение: это воспалились нервные оболочки, потому так и больно... Тургеневу сделали операцию — ничего не помогло. Весна и последнее лето в Буживале были ужасны. Муки доводили его до исступления, до мольбы прикончить. Кажется, находился он и на границе безумия. То казалось, что отравили. То Полина мерещилась в виде леди Макбет.

Но в смертный час, когда уж никого не узнавал, той же Полине сказал («которая придвинулась к нему ближе, он встрепенулся»):

— Вот царица из цариц, сколько она добра сделала!

А потом — всем, кто его окружал:

— Прощайте мои милые, мои белесоватые![9]



Так настиг Тургенева злейший его враг, всегдашний кошмар: смерть. Не в тот год, и не той болезнию — но поразил. Страдания последних месяцев, необычайная *тяжесть* его ухода как бы и объясняют, задним числом, многое в ужасе Тургенева перед смертью. Это понятно. Но не это вызывало у него ужас мистический. Великое горе Тургенева была *вера в бессмысленность* жизни, в жестокость и неумолимость Природы — а выше Природы он ничего не хотел знать. (По крайней мере, разумом. Внутренние, смутные тяготения были, но проявлялись лишь в художестве). И все-таки этот (устами неверующий) человек умер смиренно, быть может, в самых страданиях что-то узнавши. Страдания его кажутся незаслуженными, и как-то не идущими к ровной его, в общем *тихой* жизни. Но тут не нам судить, как и не нам судить о дальнейшей участи этого тонкого и возвышенного духа.

Можно только сказать: в гробу стал Тургенев необычайно прекрасен. Следов мучений не осталось на лице, и кроме красоты, по-новому в нем выступившей, удивляло выражение того, чего при жизни не было: воли, силы — мягкой, даже ласковой, но силы.

Его смерть вызвала какую-то всеобщую горесть — тихую и глубокую, горесть любви. Сильная женщина Полина Виардо две недели не выходила, не давала уроков, не жила. Савина навсегда сохранила его культ. Были тронуты друзья, умолкли враги. Французские писатели произнесли взволнованные речи. Священники в Париже и России с любовию говорили надгробные слова о человеке, который жалел, что не был христианином.

Его останки медленно, триумфально шли по родине. На больших станциях встречали их толпы, служились панихиды. И весь Петербург вышел проводить его на кладбище: чувствовали, *кого* лишаются.

ТУРГЕНЕВ

(К 50-летию кончины)

За год до смерти, уже больной, окончил Тургенев «Клару Милич». Зимой отбирал для «Вестника Европы» те стихотворения в прозе, где было менее личного. А весной 1883 г., когда стало ему уж совсем плохо, неотрывно держал корректуры собрания сочинений. «Несмотря на боль в лопатке перечитывает, правит, чистит свои строки (свою жизнь!). «Записки охотника», «Рудин», «Отцы и дети», повести, пьесы и рассказы — сорок лет бытия, лучшее, что в нем было».[1]

«Тот не писатель, кто не думает о посмертной славе», — говорил Гоголь.[2] Слава или не слава, вечная или не вечная — разно можно судить. Слова Гоголя громки, правда же в них бесспорная: не настоящий писатель тот, кому изо всех сил, из последних, не хочется *покрепче* написать, подлительней, не на минуту и мгновенный успех у невежд, а прочно. Если не навсегда, то уж надолго.

Тургенев понимал, кто он. Две главных линии было в его жизни: любовь и литература. Любовь он проиграл. Литературу выиграл. И знал, что тут должен стоять до конца, не подаваться. Слабый, «безвольный» — проявил же упорство, на одре смерти борясь за совершенство.

Настоящее дело! Все из себя выжать и опустошенным, нищим предстать пред Богом.

— Больше во мне ничего нет. Бери, суди!

Тургенев мало верил в Бога. Но пред кем-то в самые тяжелые минуты всё<-таки> ответ готовил.



Наследство его велико. Не потому чтобы он много написал. Напротив, как раз немного. Но ничего не делал зря. И потому нет воды в его писании.

Писал же он Россию, и себя в ней. Природу, любовь, смерть, и себя в них. Можно сказать, что Тургенев пророс собою, как огромным древом, всю российскую жизнь с сороковых по восьмидесятые годы. Его корни еще глубже, но вся видимая часть древа выражает Россию и ее жизнь в крепостную и после-крепостную эпоху.

Без «Записок охотника» не понять зеленой тишины России полурабской (и одновременно «Святой Руси!»), сопоставленной с Россиею господской — с темным в ней, но и приветным, грубым, бесшабашным, но и поэтическим. Тургенев будто бы «воюет» с крепостничеством — да и действительно не гладит его по головке, но и господскую Россию любит. Да и как не любить? Ведь не из одних же самодурств, насилий состояла она. Ведь Лизу и Лаврецкого, Елену, Асю, Рудина тоже она создала. Усадьбы, пруды, парки, мечтательную восторженность молодежи, нежность женщин, высокие, смутные чувства? Поэты, художники и музыканты, писатели русские — откуда они?

В народном же слое своя прелесть: Тургенев, «западник», как ее чувствовал! И любил. Он о России мог иногда резко говорить, но... — Касьян с Красивой Мечи, Лукерья из «Живых мощей», разные охотники, мельничихи, дворовые, Калиныч, наконец («Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо»), — чтобы написать это, надо все принять в сердце, вплоть до самого вечернего неба.

Рудин и Лаврецкий первые наши интеллигенты. Из них вышло три четверти «чеховских» людей. «Рудин», первый роман Тургенева, не Бог весть как и сделан. Толстой крепче воплотил бы Дмитрия Рудина. Но сам этот Рудин, Дмитрий Николаич, со всеми своими высокими разговорами, бестолковостью и неудачничеством, обязателен для русской литературы и жизни. Левин ярче написан, но нет категории «левинского», а категория «рудинского» существует. Ибо в нем есть обобщение. Как и в Лизе.

Обобщение дано и во всем «Дворянском гнезде» — самом полном, насыщенном и благоуханном из тургеневских романов. Дом Калитиных в Орле с детства помню, наискосок дома моего дяди — но сквозь калитинский дом видна вся барская Россия пятидесятых годов.

Не смущаясь никакими снобами, занимающимися разлагательством, надо прямо сказать:

— Заступница Лиза за русскую женщину. Чудесная наша икона.

Как легко посмеяться над ее старомодностью! Ногтей не красит, в дансингах не танцует, грехом считает, что полюбила женатого (даже ведь и не знала, что женатый!).

Ушла ли она совсем из нашей жизни? Очень жаль, ежели ушла. Но не думаю. (Недавно, на пороге храма увидал я ее и в Париже. Стройная молодая женщина в белом платье вошла в церковь легкой поход-

кой, перекрестилась, стала на колени. Потом поднялась. Но во всем: как смотрела карими глазами, как изящно скромна, как шепнула что-то старушке — и была она Лиза).

Редка, но жива. И в России жива, лишь под спудом. Незаметная там и здесь праведница.



Дореформенная Россия кончилась. Наступало новое. «Шестидесятые годы» — век действия, а не поэзии. В этом веке слава Тургенева еще возросла, но шумнее, грубее, стала общественной, а не чисто-художнической. И появлявшаяся улица приняла в ней участие.

«Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь» — вот как будто главнейшие, наиболее его знаменитые вещи в России дореформенной. Из них удача — «Отцы и дети» с фатальным их человеком, первым большевиком русским Базаровым. Полная неудача «Новь». И промежуток — два других романа.

Когда писал «Рудина» и «Дворянское гнездо», не гнался Тургенев за современностью. Получилось же так, что из глубин поэзии современная жизнь приобрела вечный отблеск. Романы 60-х и 70-х гг. менее связаны с недрами, со стихией России. Они оказались поверхностней. Любовь, влюбленность, женственное и в них прекрасно. Публицистика же, сарказм, легковесная современность ослабляют их.



В искусстве Тургенева всегда было две линии. Как бы дневное и ночное, явное и тайное. Иногда в произведениях его линии эти сливаются или переплетаются — случалось, что как раз в лучших («Первая любовь», «Дворянское гнездо»). Иногда существовали совсем порознь. В дневном — всегда учáствовала Россия, изображение жизни, людей, характеров. В эзотерическом — отображение души, очень интимное, свое, больше всего связанное с любовию и смертью. Это наилучше выразилось в мелких произведениях, и неизменно отличается мистическим духом. С очень ранних лет чувствовал Тургенев «иной мир», и особенно грозное в нем, сумрачное и страшное. Оттого некая тень всегда над ним веяла. Как печален «Бежин луг» — первая небольшая, будто бы и «объективная» вещица, но полная уже смерти и горечи привидений. Дальше идут «Фауст», «Призраки». Нечто от этого же мира есть и в «Первой любви». Светлое открывалось Тургеневу лишь в женских образах (Лиза, Лукерья). Данте считал свою Беатриче Божественною Премудростью. Тургенев мог Беатриче чувствовать, но она заслонялась от него чем-то другим — рядом с ней всегда есть и женщина-повелительница, губительница. Как и рядом с кротким Касьяном

или Калинычем страшный и безнадежный мир «Поездки в Полесье». Данте верил в верховное благо, Тургенев... лишь хотел бы поверить. Перед ним появлялись иной раз «видения райские», но он не мог удержать их. Вся его философия, все мировоззрение и некие темные, почти болезненные тяготенья душевные заслоняли их как бы тучей. (Вообще Тургенев гораздо болезненней, чем обычно считают!)

Замечательно, что «потаенное» и мистическое росло в нем с годами. Вот он, уже в классическом серебряном обрамлении, обедает с французскими писателями, покупает картины в «Отель Друо»,[3] водит знакомство с Лавровым и дает деньги на революционный журнал...[4] — а что сокровеннейшее пишет в эти годы? Не «Сон» ли, или «Рассказ о. Алексея»? Или «Живые мощи»? «Стук... стук»?[5]

Русская жизнь шла совсем в другую сторону. 60-е—70-е годы — время Базарова, позитивистов, народников. «Чуткая молодежь» требовала героического изображения «передовых» людей. Отчасти Тургенев и сам очень бы хотел дать нечто «созвучное» времени, что могло бы найти отклик и успех. А выходило иначе.

Писал тайные, мало кому понятные и вовсе несовременные вещи. Это ему более чем удавалось. А «Дым» и «Новь» шумели, но безрадостно.

«Песнь торжествующей любви» и «Клара Милич» — предсмертные, горчащие, самые колдовские его произведения. Отблеск неудачной любви — в поэзию. Если нет от любимого сердца ответа — его надо взять силой, магией! Или отомстить из загробного мира.

В ужасном состоянии духовном находился Тургенев перед смертью!



...Все отошло — и его время, люди, и его приемы. Тургенев стал писателем старинным. Не вчерашнего дня (как Чехов), а дня давнего.

Теперь можно судить о нем покойно, беспристрастно, отводя место в золотом веке нашей литературы. Оно будет в числе четырех, пяти первых.

Ясней видно сейчас и то, что лучше сохранилось в писании его, что потускнело.

Навсегда написаны «Записки охотника». Их поэзия, простота и скромность, правда и круглота вольного языка неувядаемы. Неувядаемы, затем, в его творении некоторые облики, женские и мужские, России дореформенной. Неувядаемо изображение влюбленности — Тургенев первый в нашей литературе поэт эроса. Место его в этом отношении рядом с Петраркой.

Гораздо более отошли романы — особенно второй половины жизни. Даже «Отцы и дети», не говоря уже о «Дыме», «Нови».

И те небольшие произведения, о которых говорилось как о «потаенных», которые при его жизни не делали шума и не давали славы — эти и оказались бриллиантами («Первая любовь», «Фауст», «Живые мощи», «Клара Милич» и др. Но странным образом «Стихотворения в прозе» не удержались. Кажется, в них слишком много напряженного лиризма и чрезмерной для прозы музыкальности).

...Тургенева не так много сейчас читают. Это понятно. Для грубой, смрадной современности он слишком аристократичен. Чтобы его любить, надо любить поэзию и тишину. Это несовременно.

Но Бог с ней, с современностью. Тургенев выше ее и лучше — не ей его судить. Она пройдет, а он останется, пусть для не столь многих.

Не для толпы же и Флобер, и Гете, и Петрарка!

ТУРГЕНЕВУ

Мне было одиннадцать лет. Отец управлял чугунолитейным заводом в Людинове Калужской губернии. Мы жили в огромном директорском доме, моя комната наверху, тоже большая, выходила на озеро, синеватое и огромное. Справа — заводская плотина, каскады ее приводили в движение машины. Два пламенных языка вечно полыхали над домнами.

Пред этим озером, в свете майского утра 1892 года я взял давнюю книжку, принадлежавшую матери (шестидесятые годы), в переплете того времени, прочел, лежа на диване, повесть, называлась она «Первая любовь». Имя автора знал: Тургенев — всегда в доме произносилось почтительно.

Читал неотрывно, кончил, сбежал вниз. Парк в двух шагах. Май сиял. Липы нежно-зеленые, все свежо, радостно, блистательно. В душе тоже нежно-зеленое, распускающиеся листочки, милый весенний цвет, весенний свет, весеннее полоумие. Хочется не идти — бежать, с этой Зинаидой (светло-серебряное имя). Всё ею полно, может быть, я именно тот мальчик, что с оранжереи спрыгнул к ее ногам, а она его в слезах поцеловала (но любила-то другого, собственного его отца)... все может быть в этом волшебном утре — совсем другой мальчик, и без всякой Зинаиды, и без всякой цели, просто в опьянении, кружит по аллеям старого людиновского парка.

И вот это было и осталось. Ни того Людинова, ни парка, ни ребенка нет, «Первая же любовь» пребывает, и Тургенев пребывает. Можно то, другое меньше у него любить или же больше, но Тургенев остается, старинный писатель и не модный, а стоит как прежде и об авангард-

ностях не думает. А в родных краях, в Орле, новый памятник ему ставят[1] (один там уже есть. Пора бы до Москвы добраться). В Спасское же Лутовиново ежелетние паломничества молодежи. И Академическое издание в двадцати восьми томах теперь закончено.[2]

Сто пятьдесят лет. (В свое время мать записала: «1818 года 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра».[3])

Жизнь невероятно изменилась. А вот он стоит, спокойный, скромный... — и краса нашей литературы. В Орле, в Спасском — конференции, съезжаются со всей России, и читают, и ведут молодежь по аллеям парка, и юношество приобщается к великой мирной силе — слову русскому художественному.

Да будет так.

ТУРГЕНЕВ

«1818 года 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра» — так записала в памятной книжке Варвара Петровна, его мать. Меньше всего думала, конечно, что родила будущую славу России.

Значит, произошло это 150 лет назад. Поэтому мы и собрались здесь нынче — поклониться славе этой.

Не знаю, много или мало для новоприбывшего 12 вершков, но вырос он огромным. Был очень высок ростом. Однако не за это чествует его сейчас необъятная Россия в столицах и провинции, в родном Орле и в скромной эмиграции Парижа.

В огромного писателя вырос младенец двенадцативершковый. Многих из нас, думаю, сразил с юных лет.

В 1860 году Тургенев написал рассказ «Первая любовь». Сам считал его чуть не лучшим своим произведением — во всяком случае очень любил его.

Позволю себе кое-что вспомнить из прошлого. С детских моих лет имя Тургенева произносилось у нас в доме почти благоговейно. В 1892 году, в мае месяце мне попалась книга Тургенева — давнее издание, шестидесятых годов, времен юности моей матери. Я прочел в книге эту повесть «Первая любовь», прочел залпом, не мог оторваться. Сбежал в парк и в майской зелени, среди лип нежно-зеленеющих, как полоумный кружил по аллеям, изживая волнение. Это я был влюблен в Зинаиду, а не тургеневский юноша, это я прыгнул с оранжереи в пар-

ке к ее ногам, поздним вечером, когда шла она на свидание с отцом юноши этого.

И кажется теперь, что не совсем зря явился именно *так* Тургенев, в майском дне, ранней зелени лип и очаровании весны русской — не только мне, безвестному мальчику, но и вообще литературе русской. России взрослой — в светлом и тихом излучении, начиная с «Записок охотника», чрез «Асю», «Дворянское гнездо», эту «Первую любовь», «Вешние воды», «Живые мощи».

Конечно, не весь он в этом. Конечно, был он и пессимист, и скептик, и томился по высшему, к которому тянулся.

Оно только отчасти приоткрывалось ему — в любви, поклонении *женственному*, женскому началу. Это и есть эрос, наджизненное в жизни.

Тургенев был поэт, а не зеркало сменяющихся форм общества. И вообще, я сказал бы, не весьма романист. Не в романах главное его, неумирающее (за исключением, пожалуй, «Дворянского гнезда», да и то *не* всего).

Его юность и первая половина жизни прошла в суровые времена России — николаевский век, крепостничество в самых тяжелых обликах его. Но это был век Пушкина и Гоголя, Лермонтова, Тютчева. Первые шаги Толстого и Достоевского. В жизни той много отвратительного и невыносимого, но нельзя скрыть правды: звук лиры необыкновенной! Золотой век литературы нашей начался.

Тургенев крепостничества не выносил, как не выносил вообще насилия и деспотизма. «Записки охотника» справедливо считаются тихой миной под рабовладение. Только это не пропаганда, а искусство — разница огромная. Поэзия, а не журнализм. Александр II, воспитанник Жуковского, эти «Записки охотника» читал и не зря прочел. Они ему и литературно нравились, и крестьян он все-таки освободил и дал землю (удачна или неудачна реформа технически, другой вопрос).

Началась новая эпоха, великая в общественном отношении и очень странная в литературе. Расцветали величайшие творцы наши, Толстой и Достоевский, а «прогрессивные» критики тогдашние, типа Писаревых и Добролюбовых, говорили Бог знает что про разные там «Войну и мир», «Анну Каренину», «Идиота», позже «Братьев Карамазовых». Достоевского-то просто с грязью смешивали («Бесы» долго были под запретом и при нынешних властителях России). Но и про «Войну и мир» писал тогдашний видный критик, что роман этот реакционный и хорошо еще, что автор не *обладает* большим дарованием. *Очень* повредить эта книга не может.[1]

«Первая любовь» Тургенева тоже попала под обстрел. Как оценил ее Добролюбов, лучше не вспоминать.[2] Стыдно и неловко повторять.

Тут процвела полоса романов Тургенева — шестидесятые, семидесятые годы — Инсаровы, Базаровы, Неждановы. Шум, грохот, успех, поношения, все вперемежку — именно то, что Тургеневу вовсе не идет.

У него не было мощи Толстого и Достоевского. Те ни с кем не считались, кроме себя и ни пред чем не останавливались. Ломили напролом. Тургенев, несмотря на рост свой огромный, был как-то робок и нерешителен. И в делах любви, и в литературе. В любви играл роль страдательного залога, в литературе почти тоже. Себе не доверял, прежде чем печатать читал вслух друзьям. Для «Дворянского гнезда», произведения замечательного, не во всем шедевра, но внутренне ярко-тургеневского, для этой повести о неудачной любви и удивительной *девушке* Лизе (не шестидесятнице, православной, глубоко верующей) — вот для «Дворянского гнезда» друзья оказались особенно вредны. Характер Лаврецкого, видите ли, недостаточно очерчен. Надо что-то добавить. И Тургенев вставляет совершенно ненужную, замедляющую вставку о предках, родословной, воспитании Лаврецкого.[3]

Слава Богу, о «Первой любви» и «Записках охотника» он как будто ни с кем не советовался. А в романах всегда колебался, боялся отстать от времени, случалось даже — объяснялся печатно, как бы оправдывался. (Стал бы Толстой объясняться! «Сик воло, сик *юбео*»,[4] — как и надо художнику). Вообще же все эти шестидесятые годы, замечательные своими реформами, мало подходили к духу тургеневского писания. Базаров отлично написан, но Бог с ним, только смерть его трогательна. Про Инсарова из «Накануне» и говорить не приходится — это тень, как и более ранний Рудин мало воплощен (но Рудин выражал собой все же целую романтическую эпоху).



Верующим Тургенев не был. Но дару веры завидовал. Лизу в «Дворянском гнезде» написал особенно любовно, может быть, даже с тайной грустью — завистью к цельности и органичности ее. И в переписке с графиней Ламберт [5] (документ выдающийся) есть эта черта: графиня всю себя отдает религии, для нее колебаний нет, а он вечно у порога, но переступить не может. И из задушевных разговоров наедине ничего не вышло. Как и из переписки. Графиня Ламберт не сдвинула его.

Мистические же настроения, особенно в конце жизни, у Тургенева были («Клара Милич», «Песнь торжествующей любви», «Сон»). Но это не-благословенная мистика, не идущая от Света, близкая к колдовству и заклинаниям. Не могла она дать мира его душе.

А вот простая Лукерья «расслабленная» в его же «Живых мощах», одном из украшений «Записок охотника», эта крестьянская девушка ждет кончины в спокойствии и свете — с ней высшая благословенная сила.

Конец самого Тургенева горестен и вызывает глубокое сочувствие.

Почему этому одареннейшему и достойнейшему человеку дан был такой тяжкий исход? Не нашего ума дело. Тайн Промысла мы знать не можем. Но можем сострадать, жалеть, любить.

Всегда с глубокой грустью вспоминать <о> чуть не полуторагодовых страданиях предсмертных этого чистейшего человека. Рак позвоночника! А лечил его знаменитый врач Жакку[6] молоком — десять-двенадцать стаканов в день. Так успешно облегчало страдание это милое, беззащитное молоко, что Тургенев временами кричал от боли в Буживале своем под Парижем, где и скончался. Скорбь о его страданиях всегда сопровождает, и никогда нет ответа.

Все, что мы можем теперь сделать, в стопятидесятую годовщину его рождения, это низко, почтительно поклониться ему — прекрасному художнику, утренней звезде литературы нашей.

Н. С. ЛЕСКОВ

(К столетию рождения, заметки)

Лесков — век минувший, но и «вечный век» — насколько можно говорить о вечности большой русской литературы. Многое написал он об ушедшем и неповторимом, но написал *навсегда.* Слава же его поздняя: мало вкусил меду при жизни. Да и теперь его недостаточно знают — не говорю уж о России советской, но и здесь (особенно в молодежи).

Изучена ли его жизнь? Поэтика? Переписка? Единственное издание Лескова — даже без дат произведений.[1] Последняя работа о нем (П. Ковалевского) — на французском языке[2] — русскому читателю почти незнакома. (А из вступительной статьи к собранию «Нивы» даже не узнаешь, в котором году Лесков умер...)

Очень уж *щедра* была Россия. Такие урожаи, такие богатства — не к чему считать, собирать и как следует преподносить. Произрастает, — что Бог пошлет, а специалисты-надсмотрщики за литературной нивой такие были, что уж лучше бы их и вовсе не было. Но Лесков оказался слишком живуч, могуч, слишком возрос на удивительном черноземе российском, чтоб окончательно могли его изничтожить. С начала же нынешнего века находится в некоем даже восхождении. Его литературную судьбу можно отчасти сопоставить с тютчевской: наше время оказалось для обоих решающим, возносящим. Пусть Лесков все еще в стороне и не стал пока хрестоматийным, но замолчать его теперь уже нельзя. На молодую русскую литературу он оказал известное влияние. И не будь сейчас в России того, что есть, он занял бы там место истинно народного писателя.

Лесков имеет на это все права. Именно Россию как стихию, как народ, как великое дитя принял он в душу и отобразил.

Эпоха

Лесков начал в тяжкое для художника время: в шестидесятые годы, когда заушался Пушкин, Тургенев, Толстой, Фет, Достоевский — т. е. решительно всё *настоящее* в литературе. Да и литература сама считалась ни к чему.

У Лескова же такая закваска (личной жизни): «Еще шести лет я с бабушкой отправился в первый раз в Л-скую пустынь на рыжих ее кобылках и с тех пор сопровождал ее каждый раз, пока меня десяти лет не отвезли в губернскую гимназию. Поездка по монастырям имела для меня много привлекательного.

...Едем, бывало, рысцой: кругом так хорошо: воздух ароматный, галки прячутся в зеленях; люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу, бывало, идем пешком, бабушка рассказывает о двенадцатом годе, о своем побеге из Москвы...» А потом — монастырь, приятели игумены, казначеи («Отца казначея я любил от всего моего маленького сердца. Это было добродушнейшее создание в подлунном мире...»).[3]

Детское остается на всю жизнь. И навсегда понял Лесков, сердцем взял в себя простую, православную, *чудесную* Россию. Как это подходило к шестидесятым и семидесятым годам! Восхищаться ароматами, лесами, казначеями во времена Базаровых и Волоховых!

Надо сказать: и Лесков не взлюбил тогдашних большевиков. Как и всем нашим писателям того времени, они доставили ему много огорчений: просто неблаговидностью своей, неблагообразием — уродством. Что поделать, это была современность. Ее почему-то надо было писать. Все эти поклонники Бюхнера и Молешотта, потрошители лягушек, отрицатели Рафаэлей прошлись по «садам» нашей словесности. Ни сады не выиграли, ни Базаровы не преуспели. Поэты на них осекались (ибо ни с какого конца — ни художнически, ни по-человечески нигилистов не полюбишь, а без любви нет художества). Лесков тоже попался, наряду с Тургеневым, отчасти Гончаровым. «На ножах», «Некуда», некоторые главы знаменитых «Соборян» — все какие-то «выступления». Надо сказать, они не удались, и если бы от Лескова остались только первые два (огромных) романа, то о нем не много пришлось бы говорить.

Литературной славы эти произведения ему не дали, жизненно же напортили чрезвычайно. Его определили «реакционным» писателем. Писарев полагал, что едва ли найдется в России хоть один журнал, который «осмелится» напечатать что-нибудь лесковское. Клички при-

растают надолго. Над Лесковым так всю жизнь и провисела репутация «реакционера». Это оттолкнуло от него публику. В печати создало непоправимое предубеждение. Впрочем, для таких критиков, как Писаревы, Шелгуновы, позже Скабичевские и Протопоповы, Лесков и вообще не по зубам. (Протопопов озаглавил статью о нем — самом здоровом и любвеобильном из русских писателей — «Больной талант»![4])

Возрастая именно как «здоровый» талант, Лесков прожил одинокую жизнь, вдали не только от передовых болтунов своего времени, но и от украшений его: ничего не слышно о его связях с Тургеневым или Достоевским (которому он во многом мог ответить). К концу жизни привлекал его Толстой — но и тут прочного ничего не вышло.

Впрочем, Лесков настолько своеобразен, что пожалуй и всегда ему место «в сторонке».

Лесков и Россия

С родного детства и молодости питался он Россией — поездки по монастырям сменились разъездами по Киевской губернии (он служил в казенной палате), а далее — пять-шесть лет странствует Лесков агентом англичанина Шкота — с целью коммерческой. Так что пятидесятые годы ушли на «впитывание» российских соков. Юность Лескова не книжная — жизненная. И сколько он набрал! Кого, чего не видел, с кем не беседовал, каких говоров не наслушался! Печататься начал поздно, к тридцати годам, и очень скромно: корреспондентом газеты. Никакой «поэтической» амбиции не было у этого крупнейшего писателя. Ни о чем он не думал, а вот так, сам собой вырос, сколько следует.

...Вернее — о себе не думал. А о том, что видел, слышал — очень много и думал и, вероятно, записывал. И чем больше узнавал, более в родину свою влюблялся.

Кого любил в ней этот «реакционер»? Простых, трогательных людей народных — преимущественно. Какого-нибудь Луку Кириллова (старообрядец, глава артели каменщиков из «Запечатленного ангела»). «Несмертельного Голована», во время чумы не боявшегося ухаживать за больными в Орле. Бродягу Ивана Северьяныча — полумонаха, полуавантюриста; смиренного солдата Постникова, карлика Николая Афанасьича, дьякона Ахиллу, протоиерея Туберозова, вечно теснимого православными канцеляриями... В сущности, почти все любимцы Лескова — из тех, кто «идет против мира» (и «мир идет против них») — мир сытых, грубых, формалистов, бессердечных. «Овцебык» — странствующий семинарист-проповедник, восторженный учитель Коза, смело обличающий неправду, — это все любимцы автора — но уж именно скорей революционеры (только, понятно, без «партбилетов»). «Горе сытым, горе богатым, горе заимодавцам», — говорит кто-то у Че-

хова.[5] *Все* писание Лескова дышит этим. Анархист ли он? Вряд ли. Россию он желал бы <видеть> (с внешней стороны) «середняцкой», хозяйственной, личной — уютной, *теплой*. Никакие «феодализмы» его не влекли. Сам из дворян, но с примесью купеческой и «духовной» крови, Лесков не любил *барства*: вернее, заносчивой и кичливой его стороны. Россия сельская, православная и непременно *добрая* — вот область Лескова.

Он живописал эту Россию с яркостью изумительной. Замечательно общее ощущение этой картины: в ней нет никакого сентиментализма, фальши, сахарина. Ничто страшное крепостной жизни не замолчано. Показаны и темные стороны православия. Но перечитывая его книги теперь, в зрелом возрасте и вдали от родины, — всегда думаешь: Боже, что за чудесная страна! Что за народ!

Для многих, однако, из нас это тема тяжелая. Можно сказать, даже больная.

В самом деле, почему *крепостной* русский народ давал Львам Толстым Каратаевых; Тургеневым, Достоевским, Гончаровым, Лесковым целые вереницы очаровательных лиц, почему еще у Чехова есть «сияние» над некоторыми фигурами, и *все* эти писатели, рожденные русским барством и средним, зажиточным классом, *народолюбивы* (хоть и никогда не принадлежали к народническим партиям). А с Максима Горького идет уже какое-то проклятие народу. Народ иной и у Бунина. Что-то случилось, что-то надломилось и оборвалось в русской жизни. Говорят, в старости Толстой тосковал, что народ «стал портиться». Достоевский, слава Богу, не дожил до своего «богоносца» в полный его рост. Те черты — разрушительные, безудержные, богохулительные, — которые видел он, взяли верх: повели Россию по пути крестному (но только не по захолустному!). Умирая, воскреснет ли она в новой, необыкновенной мощи, мы не знаем. (Надо верить). Но что путь ее, трагический и ужасный — необыкновенен, это уж и сейчас можно сказать.

В России лесковской нет прямых предвестий будущего. Она слишком домашняя, патриархальная, мирная. Сам Лесков даром предчувствий вряд ли обладал. Впрочем, *беспокойство* в нем было. Он никак не идиллический писатель, свищущий на пейзанской флейте. Кажется, впрочем, это беспокойство сильнее было в нем молодом, когда он лицом к лицу встретился с шестидесятыми годами, с разными Термосесовыми и Препотенскими.[6] В дальнейшем — как будто позабыл о враге. Намотавшись в нелегкой жизни, с удачами невеликими, — ушел в старинное свое русcолюбие, в православие (с оттенком действенности, англо-саксонского практицизма). Судьбы России меньше его занимали.

«Соборяне»

Нельзя сказать, чтобы это был «роман». Не то поэма, не то поэтическая хроника, не то несколько монументальных фресок. Написано в «средней» манере мастера, не юношеской, но еще без той полной густоты и благоухания, какие появились у него позже и дают иногда радость от *каждой строчки.* Вероятно, если бы писал позже, то весьма сократил бы (полунужные) страницы о нигилистах: произведение выиграло бы.

Но это неважно. Важно, что «Соборяне» благословенное творение — живое, радостное, полноводное. Вот уж действительно могучая река! Лишь только касается Лесков духовенства, тотчас как-то *сам себя перерастает,* не потому ли, что в духовных русских самый облик «Руси» особенно чист и ярок?

Протоиерей Туберозов, добродушный гигант диакон Ахилла — совершенство. Если у Толстого знаменит языческий дядя Ершока («Казаки»), то Ахилла в некотором смысле «христианский Ерошка» — но не в пример привлекательней. Всюду, где является он, нельзя не улыбаться и не веселиться (очень легким и высоким веселием). «Сколь детски близок этот Ахилла к природе и сколь все его в ней занимает!» — писал о нм в своих «нотатках» Туберозов. («Видя, что я в болезни скучаю, и желая меня рассеять, привел ко мне собачку Пизонского, ублюдечку пуделя, коему как Ахилла скажет: "собачка, засмейся!" — она как бы и вправду, скаля свои зубы, смеется. Опять сядет перед нею большущий диакон на корточки и повторит: "засмейся, собачка!" — она и снова засмеется»).

Купанье Ахиллы, его любовь к Туберозову, Ахилла верхом на коне (богатырь), его стихия, бурный гнев, бурная незлобивость, открытость, доброта... — все это так показано, что, закрывая книгу (как у Толстого), — знаешь, что с Ахиллой был знаком, просто годы жил вместе. Зрительно его видишь с ясностью какой-нибудь фрески Кастаньо («Фарината дельи Уберти»).[7]

Туберозов сложнее, глубже, но выписан с тою же силой — жизнь и дела этих людей с «поповки», никак не «исторических», принимают характер чего-то особо значительного, более важного, чем иная история. Живут, проходят, умирают... Плач Ахиллы над умершим Туберозовым и ко мне, и к любому читателю имеет какое-то отношение.

Нужно быть особенно огнеупорным, чтобы «Соборянам» не поддаться.

Скитания

Если писатель тот, кто вечно сидит и вечно пишет, то Лесков не типический писатель. В нем нет комнатного. Все в нем движение, на-

блюдение, странствие. Родился он в Орле, но действия его произведений происходят и в Петербурге, и на Украине, в Мценске и Сибири, на Кавказе, в среднеазиатских владениях, а то и в Париже. Толстой, Достоевский связаны с *центром* России. В них есть *физическая*, да и психическая оседлость. Их представляешь себе *сидящими*, это великие *сидни* русской литературы. (Может быть, отсюда глубокая дума и созерцание). А Лесков путник. И его творение как-то разносоставно, разноплеменно, как сама «Российская империя»: если применять к нему модное слово, это весьма «имперский» писатель. Его занимала *вся* Россия, под разными широтами, долготами — Польша (в то время — Россия) и Якутская область, Север и Киевский край. Он для всего находил слова и краски — вплоть до Ревеля, Эстонии и дикарей Дальнего Востока.

К сожалению, мало известна его жизнь. Думаю, не очень ошибусь, если скажу, что странствия в *физическом* смысле более выпали на молодость Лескова. В зрелых годах больше он путешествовал духовно, в истории, житиях, апокрифах (тоже любил перемещаться, погружаясь в новые миры). Его, разумеется, привлекало и бытовое в жизни — кое-где у него можно даже найти этнографический привкус (но не в этом, конечно, дело, писание его имеет *внутреннее* содержание).

Скитание же лесковское вытекает не просто из любопытства («grand reportage»), а как бы связано с самою его судьбой: такое было ему в жизни скитальческое задание. Толстой, Достоевский обросли семьями, пустили какие-то корни, создали вокруг себя штат поклонников. Лесков при всей, по-видимому, богатой и пестрой сердечной жизни — семейной оседлости не получил. Значит, ему так и надо было: свобода и одиночество. Он и вообще больше любит одиноких (и холостых), разных скитальцев — Овцебыка, бездомного учителя Козу, странника Ивана Северьяныча. Холост и дьякон Ахилла. Одиноки все любимые им монахи и архиереи. (К этим у него даже особое пристрастие.)

Одно из лесковских произведений, связанных с духом скитальчества, прямо названо «Очарованный странник». Тут дана некая судьба, метафизика странствия. Мальчик-форейтор из озорства хлестнул спавшего на возу монаха. Лошадь понесла и убила старичка Ночью он явился во сне мальчику и предрек ему жизнь, полную приключений и странствий — как бы во искупление.

«...Будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы». (Мать *обещала* его при рождении Богу.) И вот начинается жизнь — нечто вроде странствия Вечного Жида (по яркости, увлекательной густоте рассказа «Очарованный

странник» — одно из лучших лесковских созданий, рядом с «Запечатленным ангелом»). Куда-куда ни бросает Ивана Северьяныча загадочная судьба, чего только с ним ни происходит, но он действительно в огне не горит и в воде не тонет. И добирается, наконец, до монастыря, но и там нет покоя: сражается с бесами, ощущает в себе «вещательный дух», и вот (чтобы от него избавиться) отправляют его на «богомоление» в Соловки...

Беспокойный, неудобный человек этот Иван Северьяныч. Очень уж он своеобычен. Но и самому Николаю Семеновичу Лескову всегда приходилось быть «неподходящим». Он это положение отлично знает. Потому так и близок ему «Очарованный странник».

Любовь

Писал о любви Лесков мало — надо напрягать память, чтобы привести примеры («Леди Макбет Мценского уезда»). И не любовь увенчивает его. Но из того немногого, что дошло о его жизни, видно, что «женское» занимало в ней место большое.

Почему же в писании это не выразилось?

Покойный Волынский[8] приводит один разговор с Лесковым. Он пришел к Лескову с концерта, где видел одну высокопоставленную даму.

«Лесков сразу оживился:

— Какая же она?

— Довольно полная, рыжая.

— Ну? — нетерпеливо перебил Лесков,

— С зелеными кошачьими глазами.

Лесков нервно рассмеялся.

— Я таких знал, — проговорил он и замолк.

На мгновение лицо его помертвело, глаза вспыхнули, потом он сказал:

— Они вот говорят — чувственность. Это тоже шутка сказать! Чувственность! А что она такое? Тоже ведь она в нас. Что же с ней делать? Это загадка. Откуда она и зачем?»[9]

Что Лесков был плотский, чувственный и горячий человек, это ясно и без Волынского: в самом лесковском слове есть какой-то *зной пола.* Лесков был, конечно, «душа чистилища».[10] (Самые его *слова,* прелесть, острота их — не имеют ли корень эротический? В этом смысле в художнике всегда ведь есть некий «грех»).

Итак, стихия пола, сжигающая и (как всегда бывает) мучающая (но и дающая чрезвычайную остроту бытию) — это все полною мерой Лескову отмерено. На огненном хаосе взошло многое в его искусстве.

...Ну а сама любовь? То, что из *этого* исходит, но *над этим* возносится? То, что знали Данте, Петрарка, Гете, Тургенев — и о чем говори-

ли — Лесков *не* говорил, и, кажется, ему тут мало что было сказать. Он обрывался на полудороге. Как бы стеснялся своей любви — это понятно, если предположить, что она была собственно не любовь, а *чувственность.*

Лесков был верующий, православный человек. Никакого «языческого» отношения к любви и чувственности, наподобие розановского, допустить не мог. Противоречиями натуры своей (и сознания) очень раздирался, бурно каялся, бурно грешил... Но важного, значительного в этой области как-то не смог сказать. Любовь не прославил. Точно это у него какая-то темная, «стыдная» область — и только.

В том, как Тургенев любил Виардо, каяться ему не приходилось. Эта любовь могла давать (и давала) великие страдания, но в ней не было ничего «стыдного», и он бы никогда от нее не отрекся (на смертном ложе назвал же Полину «царицею из цариц»). А вот Толстой любви стыдился и женщину *не любил.* В старости дошел до женоненавистничества, написал ужасную по грубости и слепоте «Крейцерову сонату». В ней любовь *равна* зверской чувственности. Лишена нежности, умиления, всего возвышенного и поэтического.

Лесков мягче Толстого. До его крайностей никогда не мог дойти. Но из двух типов отношения к любви — увы! — ближе стоял к толстовскому, чем к тургеневскому.

Поэтика

Как Лесков писал? Отрицательное определение: менее всего это похоже на благообразный, прилизанный и «литературный» роман. Можно даже вообще спросить: романист ли он? И ответ будет тоже скорей отрицательный. Романы удавались ему всего меньше. Это и понятно. Хотя он любил фабулу, и фабула у него иногда очень сложна, затейлива, повествование увлекательно — но фантазии романиста нет. Вряд ли было и чувство композиции. И затем, может быть, главное: его почти вовсе не привлекала психология. Это все резко отделяет Лескова от типа Бальзак-Толстой-Достоевский. Думаю, что главная сила его заключалась в *даре рассказчика,* даре изумительном, в нашей литературе первостатейном. Рассказ у него сплошь и рядом ведется от первого лица, всегда он пышен, цветист, касается яркого и сильного, никогда не углубляется в душевные извилины, всегда дышит народным складом — не без лукавства, добродушия, сметливой бойкости. Простонародная Россия, в обаятельном обличии, говорит устами Лескова — а перо его еле успевает записывать.

Тут уж не до композиции и не до самокритики. Столько хочется сказать, и столько есть жарких, сияющих слов, оборотов, такой гово-

рок, что и длинноты жалко урезать. И действительно, *дыхание* Лескова все на себе выносит: и отступления, и громоздкость.

Как у всякого настоящего, *органического* художника, манера его текучая — с годами меняется. Она подчинена общему правилу роста; в зрелости крепнет, густеет. Ранние его вещи («Овцебык») — жиже, с большими длиннотами. «Запечатленный ангел» написан уже как шедевр (равно «Левша» — сказ о тульском косом Левше и стальной блохе). К зрелости и старости у Лескова стал появляться в языке завиток столь цветистый, что за это нередко его корят. Прежде я разделял это мнение. «Левша», например, казался, мне слишком лубочным. Но нет, при повторном чтении, в более зрелые годы, Лесков не только выдерживает испытание, но и растет (и пусть будут у него разные «вероящии», «ажитации» и прочее, чего у другого нельзя было бы вынести — ему все сходит с рук).

Росла с годами и музыкальная сторона его прозы.

Очень характерны христианские повести (позднего периода) — написанные с той *прокованностью* и безупречным ритмом, какие напоминают Флобера. (Над этими вещами он и работал по-флоберовски!). «Гора», «Скоморох Памфалон» — образцы русской «свободной» исторической повести (из времен первохристианства). В удивительной музыке слова удивительно русифицирован в них Египет.

Но «романа» и в зрелости Лесков не написал. Даже, кажется, попыток не делал. Может быть потому, что как умный художник, за собой наблюдающий, верно понял свою *особенную* область: вести, хроники, полурассказы, «сказы» и т. п.

Облик

О Тургеневе, Толстом, Достоевском можно сказать, прочитав их писания, что с ними как бы *лично знаком*. О Лескове этого не скажешь. Кто был он сам? Именно Николай Семенович Лесков? Мало психологии, «душевных образов» в его творениях — так же мало чувствуешь и человеческий облик самого Лескова. Он писатель (по преимуществу) внешне-изобразительный. Очень *личными* приемами дает нечто лежащее вне него. Это парадокс, но Лесков, субъективнейший художник в одном — сверхличен в другом. Он единственный у нас героический писатель. Ему чрезвычайно нравилось писать «жития» в жизни, изображать героев — и мало того, что нравилось, но и *удавалось*. Целый отдел его писаний назван «Праведники». Это сплошная удача. Но сам автор за своими героями спрятан, как благочестивый агиограф. Можно, конечно, узнать, что он любит и ценит в них, но *себя* нет. (Может быть, и тайна его удачи состояла в прятании *себя* для таких тем.)

Случай Лескова в литературе редок. Что не удалось Гоголю, Лескову давалось легко. И обратно: ни одного «свиного рыла» Лесков, если б и захотел, не смог бы написать. Замечательны свет и доброта его творения! Может быть, при таком духовном устремлении и должно господствовать сверхличное...

Свет и доброта Лескова — христианской природы. В «Запечатленном ангеле» он так изображает святого отшельника Памву (напоминающего св. Серафима Саровского), что для чего говорить о «личном», когда человеку дано так ощутить и отобразить самое высокое!

Был ли Лесков мистик? Несмотря на образ Памвы, я в этом сомневаюсь. По писанию его видно, что более всего ценил он деятельную любовь. (Рука, протянутая человеком к человеку во имя Бога). В этом у него нечто англо-саксонское. Он и любил англичан. С ранней молодости они оставили в нем известный след. Ему нравилось в них практическое направление христианского духа.

Светлый, веселый, оживляющий писатель. Столетие рождения — вечная ему память.

ТОЛСТОЙ

В раннем детстве, во времена, кажущиеся теперь мифическими — небольшие книжки в пестрых переплетиках, тоненькая бумага, кой-где просвечивающая. Неказистые двенадцать томиков: Толстой, собрание сочинений конца восьмидесятых — начала девяностых годов.

Томики эти физически ушли в бездну времен, войны, революций. Но то, что содержали они, так навсегда и осталось, не только в единичной памяти, но в памяти России, а потом, позже — и всего мира.

Толстой таинственно увеличил население земного шара: по нем разгуливают теперь Наташи, Болконские, Безухов, Ростовы, князь Андрей, Анна Каренина со своим сыном и разные еще другие вызванные из небытия колдовством художества. Не только люди, но и отдельные фразы. «Атака 6-го егерского обеспечила отступление левого фланга». «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских».[1]

Призраки воплощены. Литература стала частью бытия — по силе этого воплощения не имеет Толстой равных, как и вообще в титанизме своем с кем может равняться? Странным образом вспоминается Микеланджело. Будто и очень разные, а вот вспоминается. (И другая пара, тоже неожиданная: Данте и Достоевский.)

Загадочна человеческая судьба. Толстой в Ясной Поляне. Великий художник, «Война и мир», «Анна Каренина», слава, любимая молодая жена, семья, обеспеченность, если не сказать богатство, здоровье, страстная любовь к жизни — и вдруг после «Анны Карениной» полоса, когда надо удерживаться, чтобы не покончить с собой. И не какие-нибудь беды извне. Все отлично и гладко, поверхность зеркальна, а внутри вулкан. Что такое? Да все не так. Все надо переделать, как-то изменить по-толстовски, и с вопросом о смерти решить, иначе жить не стоит. «О Льве Толстом... слышно, что он совсем помешался» (Достоевский — жене, перед открытием памятника Пушкину).[2]

Толстой не помешался, но находился в величайшем и мучительном брожении. И удивительно, что вызвал фразу с «помешался» у эпилептика Достоевского, кончавшего великую, закатную свою книгу «Братья Карамазовы». Два великана — в разном своем роде — прошли по русской земле и даже не встретились. Но искусство Толстого совсем в ином плане, чем Достоевского. Одно дело три измерения и Эвклидова геометрия, другое дело четвертое измерение и Лобачевский, которого параллельные линии не то, что у Эвклида. И вот «здоровый» Толстой со своим величием изобразительности плоти и душевного начала оказался в тупике, а болезненный Достоевский как раз к концу жизни вышел из Свидригайловых, подполья, бездн падения Ставрогина под крыло Каны Галилейской.

Толстой стал переделывать Евангелие, Достоевский ему поклонился смиренно. Толстому были отпущены великие дары, но *не все* было ему доступно, а он с потрясающим упорством ломился в ту дверь, которая фатально была для него закрыта.

Старость и конец Толстого жутки. Эта вечная борьба дома, враждебные партии в семье, некие гвельфы и гибеллины не Флоренции, а Ясной Поляны, жизнь в *нелюбви* (если не сказать в сдерживаемой ненависти), попытка самоубийства полувековой подруги жизни,[3] бегство из дому человека на девятом десятке, вечные угрызения совести, старческие слезы великого писателя, мучительные попытки «простить», «стать лучше», титаническая борьба с собою и желание *собственными силами* возгреть в себе добро: чем не трагедия?

Толстой не был первобытным дядей Брошкой.[4] Но его подавляла все-таки его плотскость. Он чувствовал и любил Христа, но брал его только как моралиста. Мистическое в христианстве, его четвертое (или пятое) измерение были ему чужды. Но не только чужды, а вызывали гнев. Ему казалось, что он *сам* может все понять, решить и почувствовать. А что далеко и непонятно (для него), то пустяки. При силе его темперамента это приводило Бог знает к чему. Строки его о христианском богослужении полны такой злобы, что становится страшно за ав-

тора. Какой же мир, свет и любовь могли быть вокруг него? Жизнь его необычайна по силе и горестности. Не нам судить Прометея. «Ренан в чем-то отошел от Бога, — сказал Мориак, — но мы не знаем, отошел ли Бог от Ренана».

В поминальные эти дни мы должны поклониться лучшему и величайшему, что было в Толстом.

РУССКАЯ СЛАВА

Чехову было бы теперь под семьдесят. Умер он двадцать пять лет назад, в сущности молодым: что такое сорок четыре года! А когда его вспоминаешь, нет ощущения, что он молодой. Чехов вошел в литературу и остался в ней зрелым, и так много сделал за короткую жизнь, что кажется, будто прожил очень долго.

Трудно сказать, что было бы с ним, доживи он до наших дней. Как писал бы, тоже не знаем. Но уж так получилось — жил в своей эпохе, в ней и умер. Искусство его не потускнело, вполне живо, а эпоха отошла. Настолько, что «чеховские» люди кажутся сейчас более далекими, чем даже тургеневские, ибо те уже глубина истории, а эти — вчерашний, но ушедший день иного мира.

Нельзя Чехова забыть, нельзя разлюбить, как и нельзя теперешней молодежи и теперешним нам следовать за ним. Совсем иной тон души — я говорю не о плохом, что есть в эпохе, а о хорошем, но совершенно не чеховском. Повторять сейчас «чеховское» невозможно.

Да, Чехов как художник даже вырос. Он находится в Пантеоне. Вошел в русскую духовную культуру классиком, он наша слава. Наши дети в школах должны читать и знать его вещи, как образцы. Чехов вне споров, партий, течений. Он отошел к «золотому веку» литературы и канонизирован. Придет время, и недолго его ждать, — поставят ему в Москве памятник,[1] и как почтительно, как любовно поклонимся мы этому памятнику!

Двадцать же пять лет назад, в светлое июльское утро, мы выносили, со слезами на глазах, гроб Чехова с Николаевского вокзала на Каланчевскую площадь, и дальше шли за похоронною процессией по Домниковской. Через всю Москву Чехов проследовал в последний раз, до Новодевичьего монастыря. Народу было не так много, но все — искренне его любившие. На кладбище, однако, собралась толпа. Прошумел легкий дождь, отслужили, мокрая листва блестела и трепетала — осталась чеховская могилка, с лампадою на памятнике и надписью.

Вот эту далекую могилку, в Москве далекой и вспомним нынче, вспомним, кто лежит в ней — скромную в жизни и прекрасную славу русскую. И — кто вздохнет, кто, перекрестясь, назовет имя Антона, кто просто помолчит минуту. А все должны вспомнить.

ЧЕХОВ В ИТАЛИИ

Для поэтов, писателей пушкинской эпохи все в Италии было близко, все легко и свободно входило, воодушевляло. Пушкин Италии никогда не видел, но и для него она

...волшебный край
Страна высоких вдохновений.[1]

Батюшков написал поэму о Тассо, переводил Петрарку. Боратынский оставил строки о башнях «Ливурны»[2] и в Неаполе умер. Гоголь Италию обожал, вместе с Жуковским без конца зарисовывал в 1839 г. руины Рима, коз на Форуме, аббатов, простых итальянок. С Тютчевым Жуковский встретился в Киавари. Последним на этой линии был Тургенев — «Дворянское гнездо»задумано, частью и написано в Риме.

Первая половина XIX века в верхах русской культуры — это веяние Европы, глубокая непровинциальность. Даже славянофилы, на Европу ополчившиеся, были культурнейшими людьми, знали иностранные литературы, иностранные языки.

Время молодости Чехова, 80-е годы, совсем другое. Россию этой эпохи можно принять за гигантски разросшееся захолустье.

Чехов сам был во многом провинциал, но с таким острым даром, умом, природным вкусом, что застрять в провинциализме не мог — одиноко и мужественно из него выбивался и в литературе, и в жизни.

Впервые заграницу выехал весной 1891 г. с Сувориным после долгого, тяжкого путешествия на Сахалин. Теперь все было другое, это как бы отдых и освежение.

Поездка началась с Вены и Венеции. Именно Венецией и открылась ему Италия — удачно во всех отношениях. И погода была чудесная, и сам город таков, что завладевает сразу. («Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел».)

Чехову шел тридцать второй год. По-тогдашнему не так уже мало. Да и созревал он быстро, темп жизни его ускоренный — двадцати восьми лет он написал очень немолодую «Скучную историю».

Италия молодит его. В письмах из Венеции есть звуки восторженные. Чехову восторженность несвойственна, здесь, однако, она про-

явилась. «...И такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь». «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга». «Хочется здесь навеки остаться».[3] «Хочется плакать, потому что со всех сторон слышится музыка и превосходное пение».[4] «Если когда-нибудь тебе случится побывать в Венеции, то это будет лучшим в твоей жизни»[5] (брату Ивану).

Об Италии мало он знал, подготовки у него не было, потому в отзывах его о ней есть иногда наивность (во Дворце Дожей поразила его «картина, на которой изображено около 10 тыс. человеческих фигур»). Иногда отражаются вкусы того времени. («Великолепны усыпальницы Кановы и Тициана».[6])

Но дело не в этом. Италии такой, какая позже вошла в душу нашего поколения, Россия тогда еще не знала. В нее вводил, среди других, тогдашний случайный спутник по Венеции — Мережковский. Время полного открытия Италии русскому сердцу было еще впереди. Однако Чехов, при всех своих малых познаниях в этой области, сразу Италию почувствовал и полюбил — навсегда.

«Я тоже скучаю по Венеции и Флоренции и готов был бы еще раз взобраться на Везувий»,[7] — пишет он Суворину в мае, уже вернувшись в Россию. Через две недели, из того же Богимова под Алексиным, с явным неудовольствием: «Надо быть быком, чтобы, приехав в первый раз в Венецию и Флоренцию, стать “отклоняться от Запада”. В этом отклонении мало ума. Но желательно было бы знать, кто это старается, кто это оповестил всю вселенную о том, что будто “заграница” мне не понравилась?»[8]

Видимо, тут замешан тот старый, очень словоохотливый Григорович, который в <18>86 году восторженно приветствовал Чехова. В свое время Чехов называл его «горячо любимым благовестителем», но потом к нему охладел. Думаю, случай с Италией имел тут тоже значение.

Чехов не мог удержаться от шуток и острых словечек. Конечно, есть у него «Венеция напоминает Луку»[9] (имение его друзей Линтваревых в Харьковской губ.) и др., — по таким изречениям судить нельзя. Григорович же, вероятно, именно такое и разглашал. Надо сказать: в наших литературных кругах долго держалось мнение, что Чехов был равнодушен к Италии. Теперь, когда все письма его напечатаны, хорошо видно, что это неверно.



Дело не в шуточных словечках, а в том, что для Чехова Италия была благословенным краем, некиим Эдемом художества. Это мало замечалось и отмечалось, но теперь нельзя не отметить. («Очарова-

тельная страна. Если бы я был одиноким художником и имел деньги, то жил бы здесь зимою. Ведь Италия, не говоря уже о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство есть в самом деле цель всего, а такое убеждение дает бодрость».[10])

Бодрости русскому человеку, сидевшему осенью или зимой в каком-нибудь Мелихове, весьма не хватало. «Сегодня я гулял в поле по снегу, кругом не было ни души, и мне казалось, что я гуляю по луне». «Будь время и деньги, поехал бы опять в Италию...»[11] (1892 г.).

В 1894 году осенью он опять в Италию и попал — время запутанной и неудачной для него истории с Ликой Мизиновой. Побывал в Милане, посещал театры. «Удивительные также актеры. Этакая игра нам, россиянам, и не снилась».[12]

Что миланский собор «так красив, что даже страшно» — это не удивляет. Более удивительно, что ему так понравился облик Ломбардии. «Пейзажи в Ломбардии изумительные — пожалуй, как нигде в свете».[13]

Это говорит уже о своеобразии его вкуса. Пейзаж Ломбардии не может «поражать», как восьмое чудо света. Но вот Чехову пришелся по душе тонкий его узор, незатейливый, но изящный, украшенный дальним окаймлением Альп. Это как бы его собственная манера видеть и писать мир — мелким, почти кружевным почерком. Альпы для него хороши, когда смягчены, успокоены далью, как бы прекрасный аккомпанемент равнине с легкими рядами топольков, болотцами иногда, волами, тащащими плуг, крестьянами около ферм.

Январь 1901 г. Чехов проводил в Ницце. В Москве шли последние репетиции «Трех сестер» — премьера на 31 января. «Как волновал Антона Павловича первый спектакль "Трех сестер", можно судить по тому, хотя бы, что за день до спектакля он уехал из того города, где нам был известен его адрес, неизвестно куда, чтобы таким образом не получать никаких известий о том, как прошел спектакль».[14]

Может быть это было так, а может быть и иначе. Чехов с начала января собирался в Африку, в Алжир и Сахару. Об этом говорит в январских письмах из Ниццы — хочется посмотреть новое. («Мне здесь уже надоело жестоко», 7 янв. 1901 г.).

Но море бурно, ехать неудобно, и 26 января он выезжает в Италию (вовсе не «за день до спектакля»). Постановка волновала его, конечно, но адрес свой, вопреки Станиславскому, он сообщил О. Л. Книппер (Неаполь, poste restante*). Да и когда думал, что едет в Алжир, дал тоже адрес до востребования в Алжире, просил, чтобы телеграмму прислали обстоятельную.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* До востребования (*фр.*).

Во всяком случае 27 января он уже был в Пизе, городе, менее всего для Чехова подходящем. Через день Флоренция. «Однако скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил». И это несмотря на то, что «в комнате у меня холодище такой, что надел бы шубу». «Номер, очень хороший, здесь стоит 3 франка, еда тоже дешевая, а вино при обеде дают даром».[15] На этот раз меньше понравилась актеры в театре. Играли тогда во Флоренции Ибсена, «Доктор Штокман».

2 февраля он уже в Риме, в «Hotel de Russie», под Монте Пинчио, где на южном склоне греются и благоухают апельсины на своих райских деревцах. «Ах, какая райская страна эта Италия! Удивительная страна! Здесь нет угла, нет вершка земли, который не казался бы в высшей степени поучительным».[16]

Теперь Рим ему показывает проф. Модестов.[17] «Сегодня же с одним русских семейством и двумя барышнями осматривал древний Рим. Объяснение давал проф. Модестов, а барышни очень милые».[18]

Но не повезло из-за погоды. Уж очень сурово завернуло, пошел даже снег. Не побывав, как предполагал, в Неаполе, он просто уехал в Россию.



Италии Чехов больше не увидел. Вспомнил о ней предсмертно, в июньской жаре Баденвайлера 1904 года.

«Меня неистово тянет в Италию». Но уже было поздно. «Хочется отсюда поехать на озеро Комо и пожить там немножко; итальянские озера славятся своей красотой».[19]

И в последнем письме: «Хотел я в Италию на Комо, но там все разбежались от жары».[20]

Через четыре дня он скончался.

ВЕНОК (1904—1964)

Шестьдесят лет тому назад, 2(15) июля 1904 г. скончался Антон Павлович Чехов. Через несколько дней Бунин верхом выехал на станцию за почтой — дело было в деревне — получил газету с известием этим, опустил поводья и плакал чуть не до дома. Это сам он рассказывал. Бунин плакал! Не Карамзин, не Жуковский. Значит, было о чем. Не он один впрочем. Еще через несколько дней и студент, выносивший с другими гроб Чехова с Николаевского вокзала в Москве, выносил тоже с заплаканным лицом. И юные дамы, и барышни, молодежь окружавшая, провожали Чехова как своего, родного, не только как чудесного

писателя. Через всю Москву шли в Новодевичий, где лежал отец его, куда в <18>97 году, после болезни, любил ходить Антон Павлович — слушал пение новодевичьих монашек, скромно к стене прислонившись.

И вот шестьдесят лет. Почти никого и не осталось из тех, провожавших. А сам он ушел и не ушел. Лежит в Новодевичьем, памятник все тот же, скульптора Браиловского. Чехов же живет и разрастается, на наших глазах обходит мир. «Меня забудут через семь лет», — говорил при жизни.[1] А прошло шестьдесят, имя стало мировым. Европа, Америка, все взято. Мирно, без войны. В скромности чрезвычайной, без рекламы и гвалта, как и подобает истинному величию.

Вспомним и мы, русские на чужбине и русские на Родине, гордость, славу Литературы Российской, обратим сердца к его облику. Некой чертой это нас самих приподымет, луч благородства скользнет. А кто может, пусть и помолится о нем.

15 июля 1964

СУДЬБЫ <С. СЕМЕНОВ, С. НАЙДЕНОВ>

В простеньком пиджачке поверх синей рубашки, скромный с виду, малоразговорчивый, незаметное, русско-мужицкое лицо с небольшими глазами, серо-зеленоватыми, но внимательными. Немудрящая бородка, волосы назад, слегка примасленные, — черты облика С. Т. Семенова,[1] писателя-крестьянина, толстовского устремления. (Но, кажется, не «толстовца».) Таким помню его ряд лет, на «средах» Леонида Андреева, Телешова, Голоушева в Москве. Являлся из угла своего деревенского — под Москвой недалеко — прислушивался к столичным писателям и больше помалкивал. Все знали — это Сергей Терентьич, пишет для крестьян, народник, человек хороший, а что именно пишет, мало читали. Глядя на него, казалось: вот спокойная и мирная жизнь. Человек пишет, скородит,[2] вывозит навоз. *Все* умеет сам сделать. Никаких личардов[3] ему, как нам, барам, не надобно. Ездил ли он с нами в Москве по «Прагам», «Эрмитажам»? Понимал ли в вине? Мог ли проглотить устрицу? Нет, конечно. Он никак уж не был тою *пеной* на поверхности народной жизни, как «иные прочие».

Помню его в революцию. Так же, как и некогда на «среде», приходил он к нам в Союз писателей, где рваные, полуголодно-полухолодные, слушали мы поэтов, беллетристов, сами читали. Он — в тулупчике, такой же молчаливый, незаметно скромный. Революция. Но, что же, белоручкам туго, а ведь он крестьянин (да и не «кулак», настоящее «трудовое крестьянство»). Наша «голубая кровь» худела и тощала

в жизни более суровой, а для него тулупчик ведь все тот же, в каком всю жизнь ходил. Нас могли выселять из квартир, из усадеб, забирать вещи разные, — но его сдвинуть из какой-нибудь Осовки или Телякова — разговор другой...

Кажется, буду прав, если скажу, что кроме хозяйств своих занимался Сергей Терентьевич в деревне культуртрегерством: по части школ, библиотек, народного театра и т. п., — под знаком Льва Толстого. Делал ли он что-либо дурное деревенским! Вообще был безобидный человек, и невозможно думать, чтобы он вредил деревне. Дом народный — не есть вред; и не дурна библиотека и т. д. Что-то из своих писаний продал Госиздату. Но разверсток не развертывал, продналога не собирал и коммунистом, сколько мне известно, — не был.

Так что за него как будто бы покойнее, чем за любого из писателей можно бы быть. Ненарядным и покойным своим шагом он пройдет в любую непогоду.

А оказывается... Трудно даже и понять, в чем дело, но Сергея-то Терентьевича и убили, и свои же, мужики. Будто бы он колдовал, зло какое-то напускал на деревню. Значит, ни народные дома, и ни библиотеки... Свой, и своего как раз убили.[4] За то, что книжки в Госуд<арственном> Изд<ательстве> печатал? Или, что — крестьянин — писал их? Или же на сходках выступал за обездоленных? Странные уроки жизни и судьбы. Я, Борис Зайцев, прожил те же годы в деревне, в имении покойного отца. Ничего я мужикам нашим хорошего (да и плохого, кажется) не сделал и писал тоже книжечки, но для мужиков малопонятные, и никто меня пальцем не тронул. Из дому меня не выселили, обращались почтительно; приходя в кухню, снимали шапки. То что, барин пишет, тоже не удивительно, это его барское дело.

Я не обижаюсь, что меня не обижали и оставили в живых. Но вот, вспоминая о тишайшем Сергее Терентьевиче, чувствую несправедливость: почему же все-таки его, свое, благожелательное? Значит — вышло так ему. Понять же ничего нельзя.



Судьба иная у другого отошедшего писателя Сергея Александровича Найденова,[5] как у нас звали его в Москве — «Дети Ванюшина». Помню его не так живо, как Семенова, видел давно, на тех же словах. Осталось: человек в коричневом костюме и пенсне, многоволосый, розовый, сутулый, с несколько закинутой назад головой, и от этого кадык вперед. Странное впечатление производил, будто топорщится. На самом деле — вовсе не топорщился, и с индюковской гордостью ничего общего не имел. Напротив, очень тоже скромен, тоже малоразговорчив, думаю, самолюбив весьма, но как-то для себя, никогда на других

он самолюбие свое не изливал. Мягок, почти застенчив, но, мне кажется, мог и вскипеть, вспылить: таким, впрочем, его я не видал.

Странен жизненный путь его. Сын богатых родителей (кажется, из купцов). После отца получает большие средства — совсем еще юным. Средства быстро спускает. И он нищий работает в Москве приказчиком, на совесть (тогда еще восьмичасовых дней никаких не было). Но уж тайно пишет. Не было ли даже это лучшим временем — надежды, скрытность, самолюбие. Мечтания о славе и грошовый номеришко на Тверской, меблирашки московские. Ни связей, ни знакомств с писателями. Сергей Найденов, приказчик (кажется) галантереи. В газете, за три копейки купленной, вычитал, что в Петербурге конкурс пьес, в театре Суворина. Вынул из рыжего чемоданчика рукопись и с волнением снес на угол Газетного в почтовое отделение. Время идет, — вдруг в газете (верно, той же самой трехкопеечной) читает: «Первая премия пьесе "Дети Ванюшина" под девизом... По вскрытии конверта автор оказался Сергей Найденов»!

Никому ничего не сказал, уложил скарб свой в чемоданчик и уехал в Петербург. Пьесу поставили. Премьера — триумф.[6] Кто видал славу, из писателей известных, не один год пишущих? Не так уж многие. А к Найденову пришла она с первого же шага — слава всероссийская, с шумом, деньгами, отворяя всюду двери к лучшим и прославленнейшим русским людям.

Я не знаю, как он выносил ее. Но вторично вознесла его судьба — вторично иронически, коварно. Знакомство с Горьким, Буниным, Андреевым, Художественный театр — в то время высший центр для драматурга. Но в Художественном неудача. Пьеса (имени ее не помню) не прошла. И дальше — еще пьеса, и еще... «Дети Ванюшина» идут по всей России, а другим — удачи нет. Театр ведь есть театр. Может быть лотерея, может быть рулетка. И другие пьесы у Найденова вряд ли слабее были... но публика не шла, успеха нет, а для театра касса — всё.

Я знал его в период неудач. Жалоб и раздражения не помню, только замкнутость какая-то была и сдержанность, но благородная. Всякий писатель несет раны недооценки (как ему кажется). Но Найденову ноша выпала многопудовая. Что же, он шел с ней честно. Ни к кому не приставал, был диковат, застенчив, а что сердце перечувствовало, о том теперь уж не рассказать.

Последнее десятилетие он жил в Крыму. В последний раз я видел его в Севастополе, знойным летом, в панаме, в белом костюме. Там он держал театр, так и не мог уж от театра отойти — одурманился им.[7]

Последние о нем известия имел от Сергеенки летом 1921 г. Найденова устраивали в санаторию имения гр. Паниной (Гаспра) в Крыму.[8]

Был он уже серьезно болен — перенес годы эти страстотерпческие в страстотерпческом Крыму. Ныне из газет мы узнаем — он скончался.



В конце концов, я мало знал того, мало другого. Но как-то облики их скользнули вблизи жизни моей, какие-то слова, жесты и взгляды, и какой-то уголок литературы от всего остался. Помню мартовский вечер встречи с Найденовым в Годеинском переулке,[9] веселый смех барышни, нашей приятельницы, шедшей с ним. Помню его на чтениях Леонида Андреева — серьезного, добросовестного. Помню простенькую фигурку Сергея Терентьича в углу кабинета Телешова, — и захотелось вспомнить о их судьбах, столь суровых, но по-разному, — судьбах сотоварищей по роду оружия, ушедших в дальней России, о которой не забудешь, с горечью, присущей русскому писателю.

БЕСЕДА О ПИСАТЕЛЯХ

Может быть, мы слишком нервны, неустойчивы, нет крепости и некой мужественности душевной: поэтому мы быстро возжигаемся и быстро тухнем. Полюбим — бросим. Может быть, и сам принадлежишь к таким. Факт остается: хочется нового писателя, хочется кого-то полюбить в литературе, не минутно, а как следует, спокойной, чистой, ясною любовью.

Кто он? Откуда б ему взяться? И не рановато ли еще?

Возможно — это человек простой, не очень даже ухищренный в книгах, как мы ухищрялись в молодости. Очень юный — и не наглый. Много уже видевший, жизнь знающий (а мы в такие годы ничего еще не знали, жили барственными мечтателями). Пусть будет он интеллигент, рабочий ли, крестьянин — не существенно, но только скромный и серьезный. Пусть к жизни сможет отнестись художнически, скажет о ней просто, но своим складом речи: чтоб читая, я не знал заранее, в какой литературной кухне («студии») он изготовлен, но чтоб и не перепевал любимцев старых. Хотелось бы, чтоб говорил о самом важном, и с пленительностью мужественною — но без мужланства и без самогонки. Пусть по рождению не титулованный, духом же — рыцарь. Ведь художники кваттроченто итальянского были простые люди, в большинстве: но на жаргоне, *говорком* не говорили. Неужели так уж нам нужна *порода?*

Другое дело, может быть, такому еще рано? То есть жизнь еще не усмирилась, не сошли — мрак и волнение? Нет благообразия?

❖ ❖ ❖

Официальные претенденты на любовь — Серапионы.[1] Где-то было даже напечатано: появилось двенадцать талантов. Это очень приятно, что так много, сразу: в свое время радовались и одному Достоевскому, одному Тургеневу. (Ведь и вообще наше время «титаническое» и т. п.).

Но любовь капризна, к ней рекламой не загонишь. В данном случае — далеко до любви. Некоторые из Серапионов даровиты (Зощенко, мне кажется), свежи, остры, но нету шарму. Борьба с залощенностью прозы, угловатость, резкости quand même *, говорок довольно однообразный, иногда фольклор, иногда гофманизм. В общем, указка, петербургская выучка, и еще, самое главное: нет душевной (уж не говорю о духовной) значительности. *Поверхность* времени нашего — противодуховна. Пока они на поверхности. Что будет дальше — неведомо. Станут ли «спецами» по описанию разных случаев из советской жизни, большею частью мрачных (то расстреляли, то изнасиловали), или же в романтизм повернут — это посмотрим. Пока одно можно бы посоветовать: поменьше автобиографий. Они малоинтересны и все похожи друг на друга удивительно: однообразием «подвигов» и однообразием позы авторской.



Конечно, хочется России, русского, но чтобы взять зрелое и движущееся, не ученичество и не академию, вновь прибегаешь ко Франции (в который раз! Гюстав Флобер, да звучит имя твое крепко, трубно).

Имя теперешнее — Жорж Дюамель.[2] Книга его — «Confession de Minuit».[3] Очень изящно, тонко. Повесть о молодом человеке, мыслями владеемом. Мысли приходят, он не может с ними справиться — с этого и начинается рассказ. Служащего в конторе вызывают к принципалу для каких-то справок. Тот сидит, а этот стоит рядом. Вдруг приходит ему дикая идея — поласкать пальцем ухо хозяина. Касается. Скандал, конечно. (Сделало не так, как в «Бесах» укусил Ставрогин за ухо. Но все же, думаю, Достоевского Дюамель знает. И вообще его книга — не без русских).

Молодого человека выгнали; и он живет в Париже у своей матери, на него работающей — бродягой, шляющимся за местом. В одиночестве, тоске проходят дни. Всюду толкается, ничего не выходит. Внезапные восторги и внезапные отчаянья. Главное — мысли, по-прежнему. Идет по тротуару и считает, как бы наступить каждый раз на шов меж плитами. То представляет, что с обеих сторон — пропасти, и ему

* Все же, все-таки (*фр.*).

можно пройти лишь ленточкою тротуара. У его матери рента маленькая: вдруг он воображает, что умерла мать, и он тогда один на эту ренту проживет — впроголодь, но не погибнет. И сейчас же ужасом охватывается: значит, он убийца? Мать он любит, а сантимы всё считает. Так же, в воображении, насилует жену приятеля, а в действительности нравится швея, милая девушка, к матери приходящая — вместе с ней в маленькой столовой они работают. Но и от живого чувства уносят его мысли: он опять на улице. Первому встречному в кафе рассказывает полуночную свою исповедь — впереди мрак, голод, но домой вернуться он уже не может.



Какая ненарядная и «нешикарная» книжка! Где занимательность? Где «действие», «сюжет» — в отсутствии чего обычно укоряют именно нас, русских?

Ничего этого у Дюамеля нет. Есть живой человек — беспредельно замкнутый и одинокий в беспредельном городе. Есть и Париж — не будуарный, а такой, как меньше знаем мы его — беднота, работа, мизерабельность — но как все интересно! Все будто бы болезненно (по психологии) — а написано пером сухим, твердым, самообладающим. Про полубезумца говорит мужчина, не истерик. И умеет показать. Я знаю, я знаком уж с этим молодим скитальцем. Вижу его комнату, бывал на лестнице у него, ощущаю улицы, по которым он идет. Сколько-то — как во сне — но пробыл в той клоаке, где полуголодные писцы строчат за убогое су. И мать знаю, и ее котлетки, и швею Маргариту. А как Париж все-таки изящен и великолепен даже в мизерабельности всей своей!

Какими средствами осуществил художник это все? Простейшими. Старая ли это проза или новая, и чья школа? У кого в студии автор обучался? Я не знаю. Выкроено все по тем же правилам, что и до Дюамеля были. Значит, старая? Нет, новая — потому что это *его* проза, я *его* сквозь нее вижу, и молекулярное сложение ее *свое*. Не прием, не схема (фасон платья), а своя манера видеть, чувствовать, то неуловимое *свое*, что и есть *настоящее* в искусстве.

Читая, видишь: для того, чтобы быть *новым*, надо прежде всего быть *собой* (старый ибсеновский завет!). А язык — настолько сложный инструмент, что — чтобы он извлекал звуки новые, вовсе и не нужно разбивать его или вгонять в прозе в ритмы стихотворные — нужно видеть, чувствовать и быть поэтом: он и затрепещет дрожью новой (т. е. именно *вот этой* и ничьей иной).

❖ ❖ ❖

Новая проза, старая — это отводит несколько от любви и отводит от литературы французской, — снова мы у себя дома. Снова видим кандидата из «официальных».

Мне хвалили книжку Всеволода Иванова «Цветные ветра».[4] Иванов тоже «Серапион», считается «стихийным», «могучим», представитель новой прозы. Первый крупный его рассказ, мне попавшийся, назывался «Партизаны». Сибирь, тайга, борьба красных партизанов с белыми войсками. Начато круто, сочно, язык насыщенный, даже перенасыщенный словечками сибирскими — но к концу повесть слабнет, разбухает. Впечатление от нее среднее.

«Цветные ветра» — вещь дальнейшая. Вновь Сибирь, леса, горы, озера, красные, белые, кровь, зверство, насилие и опять насилие, мордобой, непечатные слова и т. д. Автор ушел вперед. Он находится в полосе восходящей ярости, ему нравится лезть круче, диче, чтобы выходило все злобнее, сладострастнее. Больше всего не по сердцу ему — слово нежных и мерцающих оттенков, сдержанность и мера. Как у человека молодого, сильного (это чувствуешь), у него горят руки, когда он пишет. Может быть, приятно было бы вытесывать топором вещь свою — чтоб удар каждый посильней, поглубже. Это манера крайней молодости, чувств неукрощенных — ведет к нагромождению одежд (словесных). Несколько похуже то, что есть ярлык: имажинизм. Нечто в Москве измышленное, прошумевшее, ушедшее — теперь добралось до сибирского писателя. «Чиликитинская долина — грудь волосатую, потную на солнце выставила — душно». Эти груди долин, скатерти солнца, штаны луны, коровы облаков — все изобретено в Соболевом переулке,[5] с объяснением, что идет из великих истоков Вед. Веды неплохи. И неплохо — остро, первобытно-грубо мир почувствовать. Но хуже то, что этот арсенал легко становится и театральной бутафорией.



О ком написана эта книга: о человеке или о животном? Скорее о животном, признать надо. Духовного в ней нет. Душевного — весьма мало. Звериное почувствовано и изображено порою метко. Конечно, автор знает своих мужиков сибирских, и уж в сентиментализме трудно укорить его. Он попал в складку тяжелую. Что видел в молодой жизни своей? Винтовки, комиссаров, самогонку, сквозь весь этот дым и зарево — природу — самое еще лучшее во взоре его. За это укорять его нельзя. Через Голгофу все ведь молодое поколение российское прошло. Где тут спиритуальничать, когда сегодня могут расстрелять одни, завтра другие, когда жизнь — волчья, где же услыхать Бетховена, почитать Пушкина, посмотреть Микеланджело?

И приходится все писать не с гетевской, а с иной точки (иногда — самогоночной) и читательскую душу отягчать элементарным.



Мы ждем нового писателя, и хочется его любить. Гадаем и навязываем ему то, иное. Быть может, жизнь на нас поулыбнется и предложит что-нибудь такое, о чем не думали мы вовсе, скажет: «вот, берите, поклоняйтесь».

Поклонимся мы, не поклонимся — дело наше, но заранее должны уж знать, что некоторых черт в новом писателе, любви достойном, — *наверное, уже не будет*. Скажем так: барственной мечтательности. Думаю, что не только в русской, но и в европейской литературе. Наше время крещено суровостью. Кто пережил войну, пережил революцию, у того лицо обожжено и в копоти — так ведь и Данте выходил из Ада и омыл лицо в светлых росах Чистилища. Неизвестно, выбрались ли мы уже в долину этих рос, и уж наверно, долго будем отмываться.

Мне очень нравится Дюамель, но когда я был очень молод, то читал и Верлена, и Роденбаха, и Метерлинка. А теперь вряд ли Роденбах[6] явится. У себя же дома мы заквашивались на Тургеневе, ждали с Чеховым «всего неба в алмазах», и последний, прозвучавший меланхолией и романтизмом, был Александр Блок. Роденбах мечтал в своем Брюгге, за зеркальными стеклами, — Дюамель проделал всю войну (кажется, санитаром?), видел величайшее истребление людей, какое было где-либо, когда-либо — вышел, по-видимому, крепким, ясным, суховатым — но печальным. Наши молодые тоже виды видели невообразимые. Они моложе, среди них нет еще такой определившейся фигуры, как французский писатель; и возможно — их позиция еще труднее, жизнь над ними еще больше измывалась. Пока они целиком в ней. Но тем из них, кому будет дано с честью продолжать, придется рано или поздно вспомнить о священных росах Чистилища.

Современный человек выйдет из омовения этого все-таки не таким, какими были Тургенев, Роденбах. Стонать об этом не приходится, особенно нам, русским. Ибо мы как раз страдали (говорю о классе образованном) — слабостью воли, фантасмагоризмом и беспомощностью. Жизнь нас очень подтянула, «подморозила». И пусть новый писатель (как и новый человек) будет мужественным, крепким — хорошо, мы это примем.



Если Серапионы и не так уж прельстительны, если Иванов не так восхитил, как иных, — то с удовольствием называю два имени моло-

дых, но имеющих, думаю, все основания быть полюбленными: Борис Пастернак и поэт Казин.[7] Но о них после.

Хочется только сказать, что юноша Казин, как раз пролетарский поэт, пишет нежно, негромко. Не Блок, но и не Маяковский. Так что схемы о поэзии пролетарской можно б и бросить.

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

(Памяти А<делаиды> Г<ерцык>)

Ниже мы печатаем «Подвальные очерки» умершей в прошлом году замечательной русской поэтессы А. Г. Друзья покойной просили не называть ее полного имени, ограничиться лишь инициалами — из опасения за оставшихся в России родственников.[1] Итак, над могилой поэтессы-святой, вполне далекой от политики и борьбы, мы не можем даже назвать ее имени. Позор за это да ляжет на правителей сегодняшней России.

А. Г. родилась в 1874 г. в Москве. Ее отец был военным инженером, а потом строителем Моск<овско>—Яросл<авской> ж<елезной> д<ороги>. Детские годы ее прошли в г. Александрове Владимирской губ<ернии> и в Крыму, в Судаке, где у них на берегу моря была своя дача с виноградниками, большими орешниками и фонтаном. А. Г. получила хорошее образование, рано полюбила литературу, вкусила того сладкого яда, от которого никогда уже не может отделаться человек. Молоденькой барышней вместе с сестрой[2] путешествовала по Италии, особенно полюбила Ассизи и св. Франциска, сильно вошла в дух раннего Ренессанса — в те годы (1890-е), когда русская интеллигенция была еще вполне провинциальна. Увлекаться живописью Джотто[3] и книгами Рескина[4] — значило стоять много выше среды. Первый печатный очерк А. Г. был «Религия Красоты» (1897 г.). Затем она с сестрой перевела «Прогулки по Флоренции» Рескина, позже Ницше (первые в России переводы его), дала несколько статей по западной литературе, главное же — писала стихи. В 1908 г. вышла замуж, путешествовала по Франции, Италии, Германии. В Вюрцбурге у нее родился первый ребенок, она вернулась в Россию, и с 1910 по 1917 гг. прожила с мужем в Москве.[5] У нее собирались поэты и поэтессы, молодые и старые критики и философы. В 1909 г. вышел сборник ее стихотворений, а перед тем часть стихов вошла в альманахи «Оры» и «Кошницы».[6] Полусафические строки А. Г. «Из круга женского» были помещены в разных московских альманахах того времени. Эта мирная жизнь прервалась революцией. Весной 1917 г. А. Г. уехала в Судак, не думая, что никогда

уже ей не увидать Москвы. Будучи вообще небрежной к своему писанию, она оставила в Москве много ценного и важного, между прочим дневники, рядом со стихами — наиболее для нее важная и удачная форма самовыражения.

В Крыму ей предстояло пережить все ужасы голода и революции. Вот строки о тогдашнем терроре в Крыму близкого А. Г. человека: «...по ночам их выводили голых, в зимнюю стужу, далеко за скалу, выдававшуюся в море, и там, ставя над расщелиной, стреляли, затем закидывали камнями всех вперемежку — застреленных и недостреленных... А спасавшихся бегством стреляли где попало, и трупы их валялись зачастую у самых жилищ наших, и под страхом расстрела их нельзя было хоронить. Предоставляли собакам растаскивать их, и иногда вдова или сестра опознавали руку или голову».

И брат, и муж А. Г. были арестованы, их долго держали в подвале и тюрьме, но, к счастию, не убили. Самой А. Г. пришлось три недели высидеть в подвале. На ее счастье попался молодой следователь, любитель поэзии. Он заставил на допросе А. Г. записать ему ее «Подвальные стихи» и попросил сделать надпись, что она *посвящает их ему*, и отпустил домой. Тому, что она сидела сама в подвале чеки, и тому, что следователь, *заставляющий* посвящать себе стихи, выпустил ее, мы обязаны появлением на свет «Подвальных очерков», которые без колебания надо отнести к лучшим литературным произведениям последних лет.

За террором наступил голод. А. Г. с распухшим, мертвенно-серым лицом бродила по знакомым и незнакомым домам «сытых» и вымаливала детям хоть бы кухонных отбросов. «Из картофельной шелухи готовила она “котлеты”, из кофейной гущи и старых заплесневевших виноградных выжимок пекла “лепешки”. Варила “супы” из виноградной лозы, из необделанной кожи “посталов” (татарск<ие> сандалии). Радовалась, когда из Феодосии привезли кусок жмыхов — их жевали и находили “вкусными”...»

И самое страшное — у А. Г. голодали дети. Особенно трудно переносил голод старший мальчик. Он иногда по ночам, не будучи в силах спать, выбегал на двор, в зимний холод, и там «выл»...

Как же переносила все это А. Г? Как жила, чем питалась внутренно?

Недаром, юною девушкой, поклонялась она св. Франциску Ассизскому. А. Г. была натурой глубоко религиозной, и чем далеше шла жизнь, чем суровее становилось, тем страстнее и жарче экстаз души. Он поддержал, и он дал силы жить и творить в это страшное время.

В сущности, она всегда была поэтесса-святая. Невидная собою, с недостатком произношения, недостатком слуха, А. Г. была — великая скромность, чистота и душевная глубина. Во все века бывали подоб-

ные праведницы. Одни погибали на аренах. Другие украшали мир в келиях монастырей. А. Г. своеобразная разновидность: праведница-поэт. Ее поэтический путь обратен пути Блока. Его в ранней молодости посещали «виденья, непостижные уму», а потом он впал во мрак. У нее, напротив, силен пессимизм молодости. Ранние стихи говорят о томлении, о *ненайденном* еще. Для этого времени характерно «я только сестра всему живому» — мир еще как будто «сбоку» для нее. Второй перюд (1910—1917 г.) характеризуется как попытка романтизмом, героизмом, пафосом эстетическим преодолеть «сестринство». И наконец последний, важнейший и поэтически, и внутренно, совпал с самой бедственной частью жизни А. Г. — Вот где «спасительность страдания»! Вот где видно, какою ценой покупается *большое*.

В воздухе, напоенном кровью и расстрелами, голодом, стонами детей, в ужасающие дни, когда одни матери в Крыму отравляли своих детей, другие убивали их и солили тела в кадке, — А. Г. вступила в последний, лучезарнейший период *поэтической* работы. Да, поэтической!

«В такие ночи (когда "выл" от голода ее сын), дрожа в лихорадке от голода и холода — эта неугасимая душа слагала свои стихи, пела свои гимны и славила Бога».

Мне присланы некоторые ее стихи этого времени. Это религиозные гимны. Это великое *приятие* всех бедствий и страданий, величайшее утверждение смирения и любви к Богу — в минуты таких испытаний, которые возводят к древнему Иову. Эти стихи не столько «литература», сколько свидетельство о душе, памятник скромного величия невидной, «незаметной» русской женщины. Как далеки, ничтожны кажутся все «богоборчества» разных литераторов рядом с экстазом и любовью. Блок с горечью сказал о себе:

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец...

Меньше всего «модной» была покойная поэтесса, и никаких кощунственных слов она не говорила. Бог послал ей жизнь нешумную, лишенную славы и широкого поклонения. Медленно восходя, она испила полную «чашу с темным вином», но страдания и ужасы последних лет не только не погубили душу, но зажгли ее новым огнем.

Покойная А. Г. — яркий и прекрасный пример одоления зла добром. А. Г. испытала все мучения революции. Умерла она в прошлом году от усталости и надломленности тела, не так крепкого. Революция прервала ее жизнь. Но она победила революцию, ибо никакие страдания не сломили ее души — они возвысили ее, очистили.

Так, растерзываемые на аренах, побеждали христианские первомученицы.

<ПРЕДИСЛОВИЕ К «ПОВЕСТИ О ЖИЗНИ» К. ПАУСТОВСКОГО>

К. Паустовский – один из самых выдающихся писателей нынешней России, едва ли не лучший. Он немолод, пишет довольно давно. Принадлежит к просвещенному слою русского общества. Долго был в тени, ибо совершенно не шумен, не боевик, не пропаганда. Любитель странствий, природы, русских лесов и озер, народных русских людей. Возрос на великой нашей классической литературе. Но в простоте его и правдивости, в стремительной суховатости стиля, кратко выражающего иногда и глубокие душевные волнения, есть нечто свое: это не повторение пройденного.

Ниже печатаем мы часть его «Повести о жизни», вещь автобиографическую, написанную с той прямотой и заразительностью, которые ему свойственны.

<ВОСПОМИНАНИЯ О Б. ПАСТЕРНАКЕ>

Пастернака помню еще в Москве 1921 года.[1] Большой, нескладный, несколько угловатый, с крупными чертами лица. Не весьма они правильны, но мужественны, слегка даже грубоваты – оставили в памяти хороший след: простоты, подлинности, чего-то располагающего к себе. В стихах его тогдашних никакой простоты не было. Напротив, скорее хаос. Наворочены глыбы, а что с ними делать – и сам автор, может, не знает. Но все это рождено стихией, подспудным, не всегда находящим выражение. Отсюда некое косноязычие.

Сам он мне нравился как раз нескладностью своею и «лица необщим выраженьем». Держался скромно. Принадлежал к более левому крылу писателей тогдашних, типа Маяковского. Но ко мне приходил. При большой разнице возрастов некие точки соприкосновения были. Касались они прозы, а не стихов.

Он приносил кое-что из своих писаний, в рукописи. Про Урал, воспоминания детства на заводе – очень интересная проза, ни на кого не похожая, но совсем не заумная. Крупнозернистая и шершавая, и сам почерк ее широкий.

По-видимому, это были главы из «Детства Люверс»[2] – книга вышла в России много позже, я ее не читал и даже никогда не видел.

Годы же шли. Ничего я о нем не знал здесь, в эмиграции, то есть что он там пишет «для себя». Для заработка – переводы, это я читал.

Из Шекспира. Отлично по-русски выходит, видно, что писал художник. И от прежнего косноязычия — ничего. После войны кое-что стало появляться: стихи, перепечатывались и здесь. Совсем не то, что писал раньше. Конечно, это Пастернак. Но манера другая, хотя широкий внутренний почерк и остался. Развитие классическое: буря и натиск молодости, с годами большее спокойствие и равновесие. Из раннего хаоса, часто невнятного, выходит более ясное, однако вполне своеобразное.

Но главное-то оказалось — роман, обошедший теперь весь мир «Доктор Живаго». В нем тоже есть и стихи, эти стихи просто замечательны, стихи на евангельские темы, из советской России. И с великим благоговением к Евангелию и Христу! Возглашено зычным голосом, трубным. Или колокольный звон, но умиляющий (по глубине чувства, внутренней взволнованности автора). Мы давно такого не слышали.

Роман по-русски я только что получил, успел прочесть несколько десятков страниц. Впечатление хорошее. Ни на кого не похоже. Иностранцам некоторым кажется, что «в русле Толстого». Неправда. Прием свой, силами изобразительными с Толстым никто меряться не может, о сравнениях говорить нечего, но наверно роман выдающийся.

Получил Нобелевскую премию. Вот это отлично. Пастернака приветствую сердечно, рад, что русское свободное художество получает мировое признание. Так и надо, так и надо.

ПУТЬ

(О Пастернаке)

Давно, во времена, кажущиеся теперь легендарными — еще в Москве (но уже в революцию, 1921 г.), в переулок близ Арбата ко мне пришел молодой писатель по фамилии Пастернак. Высокий, с крупными чертами лица, какой-то особенный. Держался скромно, несколько стеснялся больших своих рук. Пришел не зря. Принес рукопись — не стихи, а прозу.[1]

Имя его я знал, а самого почти не знал. Он водился тогда с футуристами, Маяковским, имажинистами — народ мне далекий. В стихах его — нечто хаотическое и нагроможденное, но мне он принес прозу, отрывок из крупного своего писания. Этот отрывок мне понравился. Было там что-то из детства, на Урале, точно ничего не помню. Осталось только впечатление свежего, своеобразного, но без кривлянья. У Чехова проза мелкозернистая, у этого была крупнозернистая.

Прочел, одобрил, на этом и кончилось все. У него был свой путь, у меня свой, и принадлежали мы к разным литературным лагерям: он к крайнему левому, а я не к крайнему.

Бегло встретились в 1923 г. в Берлине — и опять пути разошлись: он уехал в Россию, я остался в эмиграции.

Тут пошли долгие годы молчания и незнания ничего друг о друге.

И вот странная встреча на закате наших жизней: вышел «Доктор Живаго». Я начал его читать вслух жене своей, да и прочел в течение полутора года два раза. Но это был не тот уже Пастернак. С Маяковским давно разошелся, и в душе что-то сдвинулось — в душе горячей, живой и «честной». Многое видел, конечно, и перестрадал в революцию, «тайно-образующе» изменилось в существе духовном нечто, привело к яслям Младенца, Гефсиманскому саду, Голгофе. Да не одно религиозное инакомыслие. И писать стал по-другому. Видимо, и любить стал в литературе другое (хотя следы имажинизма остались и в «Живаго»).

Меня этот роман сразу покорил. Пусть есть там недостатки (строения, отголосок словесного излишества иногда) — в общем это замечательно, и пусть со мной не спорят.

Из его автобиографического очерка я узнал, что мы родились с ним в один день, только он на 9 лет позже меня (а Жуковский на 98 лет раньше, но тоже в этот день). Совпадение это подтолкнуло написать ему. Я написал весьма дружественно. Его ответ — дружественность в квадрате.[2]

Оказалось, что письмо мое пришло в очень тяжелую для него внутренне минуту. «Не могу Вам передать... как Вы обрадовали своим письмом. Наверно, никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражений, которой наверно нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти — спасибо Вам».

«Чрезвычайно дорого, что Вы мне говорите о моей книге. Что бы Вы мне ни сказали, я все принял бы с величайшей благодарностью. Но еще дороже Ваших слов сознание, что Вы книгу знаете (как я мечтал об этом!) и что Вера Алексеевна слышала ее в вашем чтении.. . Как все сказочно, как невероятно! Не правда ли? Пишу Вам, мысленно вижу перед собой и глазам своим не верю. И благодарю и обнимаю» (15 марта 1959 г., Переделкино).

В письме следующем, 28 мая 1959 г., есть такие строки: «Я послал Вашей дочери "Фауста". Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим

работам предисловия. А может быть, только для этого я переводил Гете, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом и как (!) всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для... "работы мысли" у нас есть другие специалисты, наше дело подбирать рифмы» (Вот «специалист» в предисловии к его переводу Фауста и предупреждает читателей, что слово «Бог» у Гете надо понимать... как-то особенно, чтобы Бог не был Богом...[3]) *.

Одно его письмо ко мне не дошло. Это был ответ на мое, где я писал ему о Петрарке.[4] Выходила некая параллель — вот в чем: Петрарка писал из Авиньона в Рим друзьям. Письма отправлял «оказией», с купцами, ездившими в Италию. Иногда купцов грабили под Флоренцией разбойники. Особенно оставались довольны, если в добыче оказывались письма Петрарки — их дорого можно было продать. Но некоторые письма доходили в Рим. Тогда получивший устраивал обед, угощал друзей, а на десерт, как высшее блюдо — письмо Петрарки вслух.

Обедов я не устраивал, но друзьям письма Пастернака, по просьбе моей жены, действительно читал вслух, и всегда с успехом (они очень своеобразны и весьма «дают» его). Вот это, конечно, Пастернака воспламенило. Думаю, в увлечении он сказал в ответ что-нибудь неосторожное, письмо перехватили (но это лишь предположение).

Привожу выдержки из его письма моей дочери (29 июля 1959): «Папа Ваш спрашивает, дошли ли до меня его строки о письмах Петрарки. Я не только получил их, но ответил ему восхищением по их поводу. Раз он об этом спрашивает, значит, мои восторги пропали по дороге».

В том же письме, далее: «Мне выпало большое и незаслуженное счастье вступить к концу жизни в прямые личные отношения со многими достойными людьми в самом обширном и далеком мире и завязать с ними непринужденный, задушевный и важный разговор. К несчастью, это пришло слишком поздно. В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить. Как страшно и непоправимо грустно, что не одну Россию, а весь "просвещенный мир" постиг этот распад форм и понятий в течение нескольких десятилетий...»

«Успех романа и знаки моей готовности принять участие в позднем образумлении века повели к тому, что везде бросились переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда я не только не умел еще писать и гово-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «Господь и архангелы, Мефистофель и т. п. не более как носители извечно борющихся природных и социальных сил...», стр. 15. — *Примеч. Б. К. Зайцева.*

рить, но из чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему этому не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то ни было кроме чистой и совершенно ненужной белиберды!»

...«Среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение».

А вот отрывок из письма от 4 октября 1959 г.: «Пожелайте мне, чтобы ничто непредвиденное извне не помешало ходу и, еще очень отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким подходил я к мысли о пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становится заветным желанием или делается страстью.

Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет установившимся и надежным. И никак нельзя по-другому ни жить, ни думать».

Наконец, последнее, предсмертное письмо его (11 февраля 1960 г.). Поздравляет с днем рождения, пишет всякие нежности, добавляет: «Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону, ничего нельзя будет узнать, работа закипит и сдвинется с мертвой точки».



Жизнь и путь этого выдающегося писателя оказались особенными. Душа пламенная, горящая и летящая не для того в мир явилась, чтобы спокойно проходить спокойный путь. Слишком в нем много было увлечения и порыва. И вот даже в последний этот «баснословный», как он выражался, год, приближавший его к семидесятилетию, давший мировую славу, он внутренно оставался юн, в мчащихся словах с длинными росчерками, в восторженных восклицаниях и объяснениях в любви — пожалуй и детское нечто — в самом высоком смысле слова. И какое изменение писания! Я уже говорил о религиозных стихах в «Живаго» — это замечательно и совсем не так написано, как полагалось «по Маяковскому» или Марине Цветаевой (с ней он тоже когда-то дружил). А теперь в письмах его есть выражения: «...чего можно достигнуть сдержанностью слога», или в другом: «...спокойную и чистую цельность», «прозрачному слогу позволяет становиться как бы собственным языком положений и вещей, которое он изображает».

Конечно, сам он слишком кипуч, чтобы придти к спокойствию и прозрачности. Но вот в конце жизни начал с любовью читать Чехова. Что сказал бы Маяковский?

Что сказала бы и Цветаева о стихах доктора Живаго «Рождественская звезда», «Магдалина», «Гефсиманский сад», «Август»?

Но не таков был Борис Леонидович, чтобы с кем-нибудь или с чем-нибудь считаться. Писал как хотел. Ибо истинный был поэт. Во всероссийской и позорнейшей травле его в этом «баснословном», последнем году его жизни, ничтожный «товарищ Семичастный» осмелился сказать, что он «хуже свиньи».[5] Пусть говорят. Пусть Бог знает что говорят. Поэт поэтом был, им и остался.

Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Да читал ли когда-нибудь этот Семичастный Пушкина?

ФРАНСУА МОРИАК

(К избранию в Академию)

Высокий, сухощавый человек с огромным лбом, прекрасными глазами, тонким горбатым носом. Вид несколько надменный — и меланхолический. «Отойдите от меня, я сам, один. Такова моя судьба».

Мориаку сорок восемь лет. Родом он из Бордо, принадлежит к старинной родовитой семье — буржуазной. (Но не подходит ему, чтобы у *него* была семья, дети...) Вырос в католицизме и считает это великим счастьем. «Благословляю Тебя, Господи, — молилась некогда его мать, — за то, что Ты дал мне сердце, способное познать Тебя и полюбить», — это мог бы сказать и ее сын Франсуа. Слабый, мечтательный, неловкий мальчик учился в католическом коллеже. Трудный ребенок. «Плачет неизвестно отчего». Горд, уединенен, замкнут. Кажется себе «последним из всех» — по внешности. Неважно учится. «Все задевало меня, ранило: ужас перед учителями, тоска из-за недоученных уроков, сочинений, экзаменов; невыносимость жизни вдали от того, что я любил, в разлуке, хотя бы на один день, с матерью». (Благоговение к матери и «прекрасная мать»: типическая черта высоких натур.) «Все, что имело к ней отношение, принимало в глазах моих священный характер, носило отблеск ее совершенства, вплоть до прислуги, вещей. Когда при мне сказали, что у тетки некрасивое платье, я был поражен, что у сестры моей матери может быть некрасивое платье».[1]

Суровое детство в сумрачной школе, в сумрачном доме Мориаков в Бордо! Ни капли *веселости*, улыбки. Даже сама религия столь серьез-

на, столь требовательна. Страстный, глубокий и скорбный человек слагался там.

Мориак начал со стихов — поэт никогда не отошел от него, всюду в романах он чувствуется. Может быть, и очарование его прозы связало с неким музыкальным духом — суховатым и строгим. Кристально само слово Мориака, о каких бы мрачных вещах он ни говорил.

Бордо, Ланды, имение среди лесов и виноградников, запахи порта и земли в деревне, летние жары, смола, одиночество, чувство особенной мориаковской породы, томление страсти, ощущение греха и мрака в человеке и в себе, и во всем этом кровно впитанном мире — рядом с потрясающим величием Бога: таков Мориак. Мир изумителен. Но он и страшен. Страсти и грехи терзают его. Это «прокаженный». Он нуждается в поцелуе.

Нет у Мориака тишины, света, идиллии. Душистые Ланды, сытое Бордо полны человеческих язв и убожеств. В благоустроенных (внешне) семьях — тайные трагедии. Зло, грех и слабости не знают устали. И без устали изображает, их художник. Клеймить нельзя. Надо показать, понять... а тогда где-то из глубины души созреет «поцелуй». Мориак как бы врос в свой заблудший мир. Терезу Декейру, отравительницу, героиню знаменитого своего романа, он положительно любит.

Все произведения его населены темными, погибающими людьми. Он следит за их судьбами всматривается и изображает их. (Творчество и есть *всматривание.* Художник старается лишь разглядеть, в некой волшебной камере-обскуре, что делают и как живут его детища.)

Мориаку близок Достоевский. Писатель латинский, южно-француз с оттенком испанским, воспитанный на Расине, представитель величайшей и чистейшей формы (архитектуры, даже геометрии), Мориак прямо признает влияние на себя Достоевского. Он ему близок, когда приходится спускаться в адские круги души. Он считает Достоевского первым, сказавшим о человеке неслыханное.[2] И роман после Достоевского вступил, по его мнению, в другую полосу. Линия Бальзак-Бурже закончена. До Ньютона была одна математика, с дифференциальным исчислением открылась другая.[3]



Мориак — католический человек и католический писатель, но не из благоустроенных. Для слишком благоустроенных он даже опасен. Вряд ли особенно любят его некоторые жирные кюре. И не могут любить чиновники и мещане католицизма. В известной степени он enfant terrible — но светские писатели в католицизме нередко попадали в это положение — с очень давних времен: девятнадцатую песнь «Ада» в Испании разрешили лишь в прошлом веке. А Бодлер? Леон Блуа?

Мещанство, середину, фарисейство ненавидит Мориак в религии. Она для него связана с крайним устремлением, порывом, подвигом. «Ни то ни се» он не выносит. Лучше уж тогда грех, падение, но и какой-то вопль к Богу. В предпоследнем, едва ли не лучшем из его романов («Клубок змей») вся нелюбовь направлена на поверхностное, показное и *теплое* (в плохом смысле — «ни холоден, ни горяч») в христианстве. И все сочувствие отдано нелюбимому, одинокому, мучительно тяжелому — и для себя, и для других, человеку. К его тоске и ужасу от мерзко проведенной жизни как-то скорей спускается Господь у Мориака. Старый адвокат, неверующий, якобы сухой делец и деспот в семье ближе к поцелую, чем католические мещане-дети.

Это позиция, разумеется, максималистическая. Есть максимализм в Мориаке. Но он предохраняет его и его художество от слащавости.

Про него можно сказать: католический писатель, в том смысле, что его искусство истекает из души-католички. Но не найти ни «нравоучений» для приходских дам, ни сентимента, ни агитки. Можно встретить неожиданное, но всегда острое и глубокое. Если Бог любит преданных себе, но смелых сынов, то Он любит Мориака.



Четверть века занимает этот писатель отличное место в литературе французской — за последние годы выдвинулся и на одно из первых. Ряд романов — как верстовые столбы на пути. Он окреп, углубился, достиг большей яркости и сухости в рисунке. Утвердил за собой «класс» литературы. Вся жизнь его заключена между Бордо и Парижем, да и жизнь обитателей его творения. В нем нет экзотики. Навеки связан он с родной землей. Не любит и не понимает путешествий. Они ему не нужны! Жить и дышать может лишь Ландами. Вот как говорит, обращаясь к нему, родное Бордо: «Я, твой город, излил все сразу в твою колыбель. Всюду носишь ты с собой плоть твоих книг. Благодаря мне ты улыбаешься, когда тебя спрашивают: “Есть у вас тема нового романа?” У тебя лишь одна тема, и это я и ты в слиянии. Она неистощима: твои книги выделяются из нее, как из млечного пути солнца».[4]

Он обожает город и страну — спиритуально. Но и ненавидит их — в реальности. Любит и ненавидит — вновь вспоминается Данте и Флоренция.

...На днях выбрали его в Академию, ныне он «бессмертный». Выбрали почти единогласно, с триумфом, равным, кажется, только Клемансо и Фошу.[5] Академия — дело житейское и небольшое. Она дает мундир, статьи в газетах и обязанность составлять словарь. Зрительно Мориаку мундир пойдет. Внутренне ничего не прибавит.

По-человечески, житейски, можно, конечно, поздравить Мориака с успехом. В высшем же смысле — этому прекрасному писателю, так странно связанному с Россией и с *великим* в ней, надо пожелать дальнейшего духовного и художественного роста: единственного пути к вершинам литературы.

ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРЕВОДАМ «АДА» ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

<Песнь третья. 1928>

Не без волнения беру и перелистываю пожелтевшую рукопись... На ней даты — 1913—1918. Чего она не видела! Начатая в мирном Благовещенском переулке у Тверской, побывала в Тульском Притыкине, слышала раскаты мировой войны, зарева революции, набат деревенского восстания, весь холод, голод, казни, тифы и мешочничества проклятых лет.

Может быть, великая грусть поэмы, сочась из ее строк, помогала жить. Бессмысленная, по тем временам, работа поддерживала — надеждою на дальнее. Надежда не обманула. Манускрипт в деревенских розвальнях выехал из разоренного гнезда, голодал со своим хозяином в Москве, путешествовал в Петербург, переправился оттуда в Берлин — и добрался, наконец, до Парижа. Здесь, на земле латинской, которую попирал в начале XIV века и сам Данте, выходят на свет Божий сумрачные строки «обрусевшего» флорентийца. Жутко, но и радостно вспомнить, что Данте в Париже, слушавший лекции знаменитых схоластиков на рю Де ла Фуарр, сидя на соломе, тоже был именно «эмигрантом». Дантовская легенда говорит, что по вечерам, на закате, он любил выходить из дому и, сидя где-нибудь уединенно, смотреть в сторону Флоренции. Как пламенно он ее проклял! И как пламенно любил!

Данте принадлежал к партии «белых», враги его были не красные, а «черные». Ныне новый перевод его творения, отрывок из которого печатается ниже, выходит не у «красных», а у «белых» — как и должно быть. «Божественная Комедия», заключающая в себе «Ад», «Чистилище» и «Рай», величайшая книга христианской поэзии, не появится в стране, где запрещено писать слово «Бог» с большой буквы.[1] «Божественная Комедия» есть трепет, восторг и благоговение перед Богом. Нечего с ней делать богоотступникам.

Она написана терцинами. Я избрал для перевода форму ритмической прозы; думаю, так могу лучше передать смысл, дух и тон произведения. Особенно хотелось мне найти по-русски отголосок тона. А также — выразить словорасположение.

Никакого соперничества с подлинником здесь быть не может. Нет вообще перевода, заменяющего «Inferno». Я буду рад, если в труде моем найдется отзвук Данте. Если читающий через мои строки что-то полюбить у поэта, и захочет его читать, тогда пусть он возьмет подлинник и воспользуется переводом как пособием. Ибо цель этой работы — прославление Данте, расширение круга его влияния и круга любви.



Третья песнь начинается знаменитою надписью над вратами Ада, к которому подошел Данте в сопровождении Вергилия (олицетворяющего в поэме «человеческий» разум).

<...>

Нелегко войти в Ад, но не такой был человек Данте Алигиери, чтобы дрогнуть, испугаться. Железной поступью прошел он, вслед за Вергилием, по всем кругам, рвам, болотам, огненным и ледяным областям, чтобы, поднявшись в гору Чистилища, воздушно лететь по кристальным сферам Рая.

Но это дальше. А пока — мы среди грозных глухих ревов Ада, в его «воздухе без звезд», «воздухе без времени» — в безнадежности и скорби.

<Песнь третья. 1958>

Полжизни провел Данте в изгнании, вел полунищенское существование учителя литературы. Умер 56 лет от роду в Равенне, где и похоронен, в 1321 году. Флоренции, откуда изгнан был в 1301 г., так и не увидел. Пешком переваливал через Аппенины, с сумкою за плечами, где лежала неоконченная еще рукопись величайшего творения — «Божественной Комедии» — находил пристанище в глухих монастырях, питался крохами со стола мелких итальянских тиранов, и продолжал писать. Закончив последнюю песнь «Рая», скончался.

«Божественная Комедия» («Ад», «Чистилище», «Рай» — поэтическое и морально-очистительное видение загробного мира) выражает собой целую эпоху, все католическое средневековье. По силе и первозданности слова может быть сопоставлена только с Библией. Является одним из величайших, если не величайшим произведением мировой литературы.

Все три части ее разного характера, разного и цвета. Ад — мрак, Чистилище светло-зеленовато, Рай сверхчувственно-прозрачен. Ад — отчаяние, Чистилище — надежда, Рай — отрешенное блаженство. По роду искусств есть о «Божественной Комедии» давнее мнение: Ад — скульптура, Чистилище — живопись, Рай — музыка.

Посмертная слава Данте, скитальца и изгнанника при жизни, непреходяща. Число изданий поэмы в Италии — свыше четырехсот. В одной

Германии полных переводов (всех трех частей) было к началу нашего века пятнадцать, неполных множество. Переведена «Божественная Комедия» на все европейские языки. Литература о Данте необозрима (в ней чувствовал себя «задохнувшимся» сам великий знаток всего Дантовского — Скартаццини). С горечью замечает он, что даже общей Дантовской библиографии нет, а есть только работы по отдельным странам.

Изучены истоки поэмы, все предшествующее в области писаний визионерных. До мелочей изучена историческая, бытовая, географическая, астрономическая и космографическая сторона произведения, равно философская и теологическая. Написаны книги путешествий по местам, упомянутым в ней. Про так называемые «темные места» «Комедии» ничего и говорить: есть строки, вызвавшие целую литературу. Разработана лингвистика, грамматика, синтаксис, метрика, характеристика метафор. Есть и статистика: мы знаем, сколько в поэме слов, существительных, глаголов, прилагательных. Не сосчитаны еще запятые.

Предлагаемый ниже отрывок есть знаменитая 3-я песнь «Ада», переведенного мною ритмической прозой, строка в строку с подлинником. На мой взгляд таким приемом можно передать внутренний дух произведения, точнее выразить самую плоть слова Дантовского и вообще это ближе к подлиннику, чем русские терцины, неизбежно натянутые и искусственные.

Соперничать с оригиналом никакой перевод не может, — говорил Бианки. Все же отголосок звука и тона, помимо смысла, дать возможно.

<**Песнь пятая. 1928**>

Кто бывал в Римини, помнит, разумеется, замок — сумрачную громаду, полукрепость, полутюрьму, вздымающуюся ободранными стенами, полуразвалившимися квадратными башнями над мелководной рекой. Свирепые Малатеста владели некогда им. Ушли их дела, войны, грабительства и меценатства: глубокого следа ни в истории, ни в культуре не оставили. Осталась — благодаря Данте — нужная и пронзительная память о любви и гибели Франчески и Паоло, жены хромого тирана Ланчиотто Малатесты и ее деверя. Франческа да Римини! Кто не слыхал о ней, хотя бы смутно, из десятых рук?

Данте написал свою поэму с целью грозной: судить мир и в суде над ним судить себя — судом очиститься. Среди многообразных грехов его грехи любви и чувственности занимали огромное место. И указания древних, и тот облик Данте, какой знаем мы из его творений, говорит внятно, что в нем была горячая кровь, душа любовно-страстная, могучая плоть, очень далекая от безразличия или вялости. Места поэмы, где он касается любви, полны скрытого огня. В конце «Чистилища»

Беатриче, которая прошла через всю жизнь поэта, все же упрекает его в неверности, в слабости к женскому.

И вот человек, так мучительно-остро чувствовавший любовь, наталкивается на историю Франчески и Паоло, в его время очень известную. Как проста и печальна она! У хромого тирана Ланчиотто, жившего в Римини, жена Франческа. Она любит его брата Паоло. Эта любовь — возвышенного характера. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю».[1] Вот сидят влюбленные в комнате Франчески; Паоло читает ей вслух Ланчелота, знаменитый роман из цикла «Круглого стола».

Ниже описано, как именно они убедились во взаимной любви. Но... «в этот день мы больше не читали» — их зарезал на поцелуе подстерегший муж. Трагедия однако только начинается. Франческа ведь изменила мужу. Ее ждет ответ. Убийца попадает в самые нижние круги Ада, но и любовники не избегают наказания. Знаменитая пятая песнь, описывающая *второй* круг (один из самых легких), все говорит о жертвах любви и чувственности. Наказание не очень велико — ураган непрерывно мчит души кругообразно, сталкивая, ударяя о выступы скал и утесов. Здесь Дидона, Семирамида, Прекрасная Елена, Парис, Тристан, но главная пара, центр — Франческа и Паоло. Суровы времена Данте! За измену, даже, вернее, полу-измену отвратительному мужу Франческа, полная любви высокой, нежной осуждена на вечное мученье. Как и другие обитатели этого места, она несется с Паоло в беспредельной и вневременной буре, не остановиться им, не отдохнуть, не утолить любви...[2]

<...>

Их свела, сблизила книга о любви Ланчелота — подобно тому, как для самого Ланчелота посредником был Галеотто.

Рассказ Франчески кончен. «Нет большей горести, чем вспоминать о времени блаженства в несчастье»[3] — вновь она, рядом с Паоло, понесется в туманных адских безднах.

А сам Данте?

В нижнем, «глубоком Аду», он в ярости сам бросается на изменника — Божественное правосудие кажется ему недостаточным. Здесь, перед Франческой, в первый и последний раз за все странствие, он плачет... Мало того. Оглушенный грозностью кары за грех столь понятный, Данте падает.

E caddi come copro morto cadde *. Таков заключительный удар пятой песни. Глухого гула этих слов наш язык не передает.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «И я упал, как падает поверженный» («Ад», песнь 5, 143; перевод Б. Зайцева).

<Песнь пятая. 1955>

Осенью 1913 года в Москве мой друг Муратов предложил мне однажды заняться Данте: пусть я буду переводить «Божественную комедию» ритмическою прозой, строка в строку, колонною как в подлиннике, а он напишет вводную статью и комментарий.

Данте мы оба любили, полюбили еще с ранних наших странствий по Италии. Удивительного в его предложении не было ничего, скорее всё естественно. Все-таки пришлось пораздумать. Жутко было. Однако я согласился. А он быстро нашел издателя, К. Ф. Некрасова,[1] племянника поэта Некрасова, тот издавал книги очень серьезные.

— Стихами, терцинами выйдет по-русски плохо, — говорил Муратов. — Надо ближе к тексту и стараться сохранять ритм, сколько возможно, конечно.

У меня был перевод Мина[2] в трех томах с комментариями, труд целой его жизни (он переводил двадцать пять лет все три части «Божественной Комедии»). Перевод этот считался лучшим, достоинства его бесспорны, но бесспорна и такая тяжесть, темнота, громоздкость славянизмов, что иногда русское непонятнее итальянского: чтобы вышла терцина, ему приходилось проделывать головоломные вещи.

Я решил быть проще, точнее, естественней. Ямб и терцины пропадают, остается неопределимый, всё же явный ритм и дантовская первозданность.

Появились словари, большой комментарий Скартаццини,[3] необъятный Краус.[4] На утлой своей лодчонке выплыл я чуть ли не в океан.

Плавание началось. А житейское море, по которому тоже свершался путь, независимо ни от каких Данте, было накануне великих бурь.

Весной 1914 года люди понимающие уже чувствовали нечто. Я занимался литературой, от политики был далек, внутренне находился в некоем смятении, но не знал отчего. Писал свое, начал переводить «Ад» и до конца июля вообще ничего не видел.

Но наконец увидел — теперь не увидеть уж нельзя было. По деревням выли бабы, провожая мужей, сыновей на войну. Поезда шли на запад с войсками. Газеты полны наступлениями, атаками и отходами.

В Москву на зиму, как обычно, ехать теперь не пришлось. Мы остались в Тульском именьице отца: я, жена, маленькая дочь.

Из Москвы в мой флигель переехали все Скартаццини, Бианки,[5] Краусы, словари, как и все современные мои книги. Получилось вроде библиотеки. А на столе стоял бронзовый, зеленоватый Данте, подарок соседки-помещицы. Неведомыми путями забрел он к ней в глушь каширскую, долго жил в доме в двух верстах от нас, где понятия о нем не имели (получен был по наследству) — украшал, кажется, старинные

часы. Но теперь водворился в подходящее место. С края моего письменного стола бесстрастно-задумчиво глядел он, как у его подножия, черкая и переделывая, мучась иногда день над строкой, выводил некий писатель что-нибудь вроде такого:

Я увидел над вратами более тысячи
Тех, что дождем скатились с неба; они злобно
Говорили: «Кто этот, что не умер,
Но проходит через царство мертвых?»[6]

Удивительно был равнодушен бронзовый обитатель флигеля. Вокруг него шла жизнь в бурях и трагедиях. Месяцы проходили, зимой в стареньком флигеле было холодновато, приходилось работать в валенках, теплой одежде. Выли ветры, метели заносили подъезд так, что приходилось прокапывать к нему траншеи. В день одолевал я двадцать, тридцать строк. А в пространствах России в это время армии наступали и отступали, люди умирали и мучились, старая и великая Империя трещала, охала, как мой ветхий домик. Как ему, ей подходил конец.

В этом же флигеле встретил я революцию, за тем же Данте.

Долго отсиживались мы в окопах, теряя близких, страдая, видя торжество страшной силы, постоянно слыша об убийствах, злодеяниях, насилиях.

Данте смотрел отдаленным бронзовым взором.

— Все это мне известно. Все не ново. Всегда были войны, всегда гражданские распри. Сам на себе испытал я это шестьсот лет назад. Умер вдали от родины, но вот продолжаю жить, и ты, скифский писатель, у моего подножия продолжаешь искать нужных тебе созвучий, когда убивают последнего Императора твоей страны, вместе со всею его семьей. Все это было, все это и будет.

Не помню, какую именно песнь «Ада» я переводил, когда дошла летом весть об убийстве Государя. Но думаю, песнь была из последних. Их было много. На одной убили моего племянника, на другой пасынка.[7] Но «Ад» хоть и медленно, а подвигался. В 1920 году, перед Рождеством, пришлось спешно отступать в Москву — в деревне удержаться было уже невозможно. Рукопись ушла со мной в столицу, чтоб сопровождать в дальнейшем. Данте же на столе и остался, как и книги на полках — ничего этого больше я уже не увидел («твоим Пушкиным будут подтапливать плиту, а страницы Данте и Соловьева уйдут на кручение цыгарок» — так я сам когда то предсказал себе[8]).

От издательства Некрасова тоже следа не сохранилось. Муратов попал на войну, ему было не до Данте. Ни статьи, ни комментариев он не написал. За полтора года, что мне предстояло еще провести на ро-

дине, вступительную статью написал я сам, а комментарии взял главнейше у Скартаццини.



Первой пришла мне в Москву виза из Италии. В 1922 г. «Ад» находился уже в Германии, у моего давнего издателя и друга Гржебина. В Италию еще не так скоро пришлось попасть, но в Берлине мы были уже в то же лето, тогда же я стал получать корректуры своих книг, выходивших у Гржебина.[9] Последним, седьмым томом предполагался «Ад».

Время шло, томы появлялись. Пришла пробная страничка «Ада». Оказалась она, однако, и последней. Издательство прекратилось.

Рукопись же побывала со мной в Италии, водворилась в Париже. Вместо бронзового на меня стал смотреть со стены Данте Рафаэля, в красном головном уборе и лавровом венке — деталь ватиканской фрески. А годы продолжали идти. Жизнь складывалась по ей данным законам. В третий раз «Ад» должен был появиться в печати, опять некая рука отвела. Со стены же все смотрел, выделяясь горбатым носом, могучим подбородком, первый эмигрант христианской Европы, неизменный патрон изгнанников.

Его не удивишь ветхой рукописью. Некогда с подлинником ее в мешке за спиною пробирался он тропинками в горах Казентина, где-нибудь вблизи Поппи или Биббиены. Утреннюю зарю видел с высот Пратсманьо и долину Флоренции — если б туда возвратился, был бы «сожжен огнем, так, чтобы умер» («igne comburatur sic quod moriatur»). Но пронес рукопись через все бедствия, стал славой родины и покровителем бездомных.

Он явился в моей жизни еще раз во времена, о которых не приходилось думать раньше.

Если молятся об избавлении от «голода, мора и нашествия иноплеменных»,[10] то слова эти кажутся из других веков. А вот случается и в наше время. Парижу, «люмьеру» мира, пришлось на себе это испытать.

Иноплеменные отлично себе вторглись, завладели им, даже целой страной, правили и устраивали по-своему, а жители стали вдруг эмигрантами в собственной стране, вроде нас. Мы многое уже в жизни видели, нас удивить нелегко, все-таки удивляться приходилось. Казалось, войн на наш век достаточно, но пришла и еще война, и чужое войско, и глад. Мор можно было заменить хладом. Страшные две зимы в Париже — 41-го, 42-го года. Редкостные по холоду, при жалком топливе. На родине, в революцию, мы не такое еще видели. Все же в Париже, питаясь рютабагой[11] и картофелем, потеряв по десятку кило, греясь у скромных печурок, мы походили на дантовские Тени. И когда ран-

ним зимним утром, еще во тьме, стояли на улице в хвосте к молоку, ожидая открытия лавки, то напоминали вереницу грешников — мы были тогда мизераблями[12] адских долин, как мизераблями жались друг к другу в подвалах при бомбардировках.

И вот вновь выступает Данте Алигиери Флорентинец. В 1942 году вновь вынимается рукопись, видевшая Москву и деревню, Берлин и Италию, Париж.

...Кто этот, что не умер,
Но проходит через царство мертвых?

Вот мой ранний почерк, остроугольно-готический, первая страница им написана. Дальше на машинке, потом почерк жены, тоже изменившийся (переписывала она с черновика, не сохранившегося). Самый формат бумаги — огромные листы желтоватого уже цвета, кой-где обтрепанные края, потертая обложка — папка голубого цвета — всюду патина времени.

Из всего этого Данте глядел по-прежнему.

И как в глуши России пред бронзовым его изображением, в холоде, бедствиях революции, так пред фреской Рафаэля в городе Париже близ печурки снова засел я за эту рукопись. Тогда была пшенка, теперь рютабага. Но теперь никакие очереди уже не удивляли. Все-таки, чтобы увеличить сходство, весь январь лежал снег в Париже, по утрам из моего окна открывался вид на побелевшие крыши, напоминая Москву.

Я занялся вновь сличением текста с подлинником, строка за строкой, и новой отделкой. Дантовской энциклопедии под рукой не было. Не было и того издания Скартаццини, с которого переводил в России. Но у букиниста раздобыл я старое, верное издание Бианки, в отличном переплете с золотым тиснением <18>40-х годов. Этот Бианки немало над Данте потрудился. Еще с России я ему сочувствовал. О переводах, переводчиках и комментаторах он сказал хорошо: molta e fatica, poca gloria* — плод жизненного наблюдения и, конечно, собственного опыта. Во всяком случае, комментариями своими он мне здесь помог. Главное же, обрабатывая теперь, я старался придавать больше ритма самой речи.

С этим «Адом» прошла вся зима. Летом я кончил просмотр и однажды, в сильную бомбардировку, спускаясь вниз в подвал, захватил и его с собой: теперь все доделано, жаль оставлять наверху в опасности.

И он увидел адские коридоры в подземелье, всех нас, обитателей, мизераблей, жавшихся по стенам, в то время как наверху бухали взры-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Много труда, мало славы (*ит.*).

вы и основы огромного нашего дома содрогались. Мы поистине были похожи на отряд грешников из нижних кругов ада.

И вот, все-таки, мой «Ад» выжил. Помогая мне переносить жизнь, сам меняясь слегка под моей рукой, он все так же лежит, ожидая срока. Придет ли час выйти ему на свет Божий, неизвестно. Данте умер в 1321 году. Списки «Божественной комедии» ходили по рукам еще при жизни его — впрочем, только «Ада» (может быть, и «Чистилища»). Кончив «Рай», просто он умер. Поэма появилась через полтораста лет — да еще надо было, чтобы Гутенберг изобрел книгопечатание. Так что с Данте торопиться не приходится.

Тогда, в <19>42-м году, мне казалось, что просмотр этот последний. Я ошибся. Верно было то, что обрабатывая через четверть века, обрабатывал уже другой рукой, чем та, которая писала в 1913—18. Но конца нет, пока есть жизнь. Прошло еще двенадцать лет, и если взяться сейчас за чтение, вновь кое-что изменишь, как меняешься сам, как меняется — в частностях, конечно, — с годами понимание и чувства слова.

Только Данте не меняется. Он отошел уже в края, где нет движения.

ДАНТЕ. СУДЬБА

Волшебный налет обращает фигуру Данте почти в легенду. Но все-таки Данте был, живой, настоящий. Только похожий на выходца из запредельного.

Когда в сумерки, со знаменитым своим профилем — нос с горбинкою, нижняя челюсть вперед — в длинном одеянии, в колпачке со свисавшим назад концом, задумчивый и нелюдимый, проходил он неторопливо по улочкам какой-нибудь Вероны, матери хватали своих Бенно, Джильдо, заслоняя от таинственного странника.

— *Этот* побывал в аду!

Вряд ли приветливо смотрел он на таких детишек и матрон. И они не без ужаса на него глядели.

В сущности, это было и верно. Физически не спускался, но душою и воображением побывал. Да так убедительно рассказал о виденном, что и сейчас, через несколько веков, может показаться, что действительно видел адские реки, демонов, пылающие могилы, Люцифера и всю бесконечную вереницу грешников, расположенных по нисходящим кругам с математической закономерностью.

А кроме Ада видел, однако, и Чистилище, и Рай. О них тоже написал.

Но изгладились ли скорбные морщины на его лице после зеленоватого Чистилища, Рая хрустально-музыкального?



Вот Данте юный. Так же профиль, только тонкий, нежный — и не грозный. Юноша очарователен. Влюблен в соседку, Беатриче Портинари, любовию возвышенной, мечтательной и неосуществимой. Дружит с юными поэтами Флоренции, разными Гвидо Кавальканти, Гвиничелли, как и сам он, «нового направления», dolce stil nuovo *. Иногда с ними бражничает, ведет жизнь рассеянную (внешне). Внутренне же — жизнь *поэта*: время создания «Vita Nuova»[1] — стихи и проза, все обращено к Беатриче. Весеннее и светлое, голубое апрельское небо.

Но идет время. Не вечно быть апрелю и голубизне. В самой натуре юноши есть и другое — кипучий темперамент, чувственность, гордость и властолюбие. Одним мечтательным обожанием Беатриче не ограничишься, да и земные пути расходятся: ее выдают замуж, он сам женится. «Жизнь как она есть», а не канцоны «Vita Nuova». Джемма Донати рожает ему детей, ведет хозяйство. Нигде в писании своем не обмолвился он о ней словом! А Беатриче едва знал, да и умерла она рано (в 1292 г., совсем еще молодой), но ее прославил на весь мир, слил девический ее облик с образом Премудрости Божией. «Действительная жизнь Беатриче приобрела второе, таинственное бытие в душе и воображении поэта».[2]

Бурность и сила чувственности приводили ко греху, юность и властолюбие — к участию в общественных делах, политике. В 1299 году он уже посланник Республики Флорентийской в Сан-Джиминиано, а в 1300-м, 35-ти лет отроду, один из шести приоров, высших магистратов Республики — собственно, министр. Тут — трагический поворот его судьбы. Из-за раздоров партий (гвельфы и гибеллины, белые и черные — а он был белый и приор) Данте чуть не погиб. Власть захватили черные. 27 января 1302 года был обнародован декрет об изгнании Данте и его товарищей.

Но их уже не было во Флоренции. Перед Рождеством все они бежали, и великий поэт стал *собратом* нам, не-великим, по изгнанию. «Данте — патрон всех изгнанников», — сказал в книге о нем Мережковский.[3] Это так. И можно добавить лишь, что оказался первым эмигрантом христианской Европы (эмигрантом прославленным).

Декрет подписал Канте да Габриэле да Губбио, печально прославив этим свое имя. А в марте новое распоряжение, еще более грозное: если кто-нибудь из осужденных (заочно!) появится на флорентийской зем-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Новый сладостный стиль (*ит.*).

ле, будет сожжен живьем — igne comburatur, sic quod moriatur*. «Для величайшего из своих людей флорентийцы не нашли ничего лучшего, чем осудить его на смерть», — сказано о нем через шесть столетий. Да, в этом есть нечто «бесконечно трагическое и высоко-поучительное».[4]



«На половине странствия нашей жизни...» — так начинается «Божественная Комедия» («Ад»). Действительно, на половине. Данте приближался к тридцати пяти годам, когда сознание и своих грехов, и зрелище горестной жизни вокруг — распрей, насилий, злобы породили в нем гигантский замысел: дать картину мира загробного, провести грешную человеческую душу через три царства потустороннего: Ад, Чистилище, Рай. Провести с целью урока ко спасению себя самого и вообще человека. Посмотри, *что* тебе грозит и как можешь вкусить блаженство.

Но, чтобы осуществить задуманное, надо самому в этой несчастной земной жизни не погибнуть. Данте отлично понимал, что ему несдобровать, если останется на флорентийской земле. И вот он, как другие сотоварищи, бежит.

Если стоять весенним флорентийским вечером на Сан-Миниато, возвышенном берегу Арно, у статуи Давида, то перед глазами вся Флоренция, с бессмертным куполом Санта-Мария-дель-Фиоре, тоненьким силуэтом башни Палаццо Веккио — в голубоватой дымке, уходящей к чуть белеющему на высоте Фиезоле и горам над ним.

Через эти горы Prato Magno в декабре 1301 года пешочком, с сумкою за плечами уходил с родины Данте Алигиери Флорентинец. Уходил вовремя. Сумрачно и горестно было зимой в горах. Но только бы уйти с земли флорентийской (где все-таки осталась и жена, и семья!), там *всякий* может его схватить, отдать властям и... — остальное всем изгнанникам известно. А в котомке за плечами кроме хлеба, сыра да вина во фляге находились уже некоторые песни «Ада», написанные еще во Флоренции.

Не знаю точно, где была тогда граница земли флорентийской, где начинались владения Ареццо, города враждебного Флоренции, против которого сам Данте сражался в молодости простым пехотинцем (в битве при Кампальдино в 1289 году). Но это все прошло. Теперь тут как раз «брег спасения».

Какая охрана границ могла быть в те времена? Дикою тропинкой горною, мимо каких-нибудь пастухов при стаде коз или овец вышел

* Жечь огнем, пока не умрет (*лат.*).

Данте из родной страны. Правда, это была все же Италия, но тогда вся она состояла из кусочков разных земель — республик, герцогств, княжеств. Вот и началась для него новая жизнь, воистину vita nuova, только без сонетов и канцон, с дальним видением милой и ненавистной Флоренции, давшей и жизнь ему, и юношеские воздыхания, и мучения.

И посмертную славу.



Tu proverai si come sa di sale
Lo pane altrui e come è duro calle
Lo scendere e l'salir per l'atrui scale *.

Нелегко было ему всходить и спускаться по чужим лестницам, и горек хлеб изгнания.

Он обратился в нечто среднее между странствующим учителем и полу-приживальщиком у разных мелких и не мелких властителей. Выслушивал иногда грубости зазнавшегося тирана, но умел и ответить.

Было нечто в нем, что магически осаживало хамоватого хозяина.

Где-где не побывал он за девятнадцать лет изгнания! Верона, Падуя, Равенна, разные монастыри, города, замки, горы, долины, утесы и реки Италии гордятся им, все он выходил и видел, позже упомянул в поэме. И втайне продолжал «Божественную комедию». Была минута, в ранней полосе изгнанничества, когда казалось ему — вот-вот вернется во Флоренцию. Вечная ошибка изгнанных, полагающихся на «иностранное вмешательство».

Тут будто все удалось. Король Генрих VII, германский, взяв некоторые крепости северной Италии, дошел до Рима. Там Папа короновал его Императором. Этот Генрих VII был в союзническо-дружественных сношениях с Данте (тогда одним из вождей гибеллинов, сторонников Императорской власти).

Но когда все, казалось, было выиграно, все и погибло. Где-то сказано было: «нет». Генрих VII внезапно умер. (По преданию, его отравил ядовитой остией[5] доминиканский монах.)

Как бы то ни было, политическое дело Данте пропало. Жизнь скитальца продолжилась. И только в 1316 году, за пять лет до кончины, обосновался он более прочно в Равенне, у молодого, культурного

---

* Ты будешь знать, как горестен устам / Чужой ломоть, как трудно на чужбине / Сходить и восходить по ступеням («Рай», песнь 17, 58—60. *Перевод М. Лозинского*).

и образованного «синьора Равенны» Гвидо да Полента. Тут засел окончательно за «Божественную комедию». Тут ее и закончил.

В каком душевном состоянии? Века молчат. Ход произведения умиротворяющий. Ад позади. Воздух Чистилища, прозрачность Рая как бы несут мир и благодать. Несомненно, в Равенне Данте спокойней и просветленней. Стерлись ли однако морщинки к подбородку — «морщины скорби», как их называют? Слишком много пережито, слишком тяжек груз.

Никто ничего не знает, но вернее, как будто, что и в Равенне дети прятались за подолы матерей, когда проходил мимо них по улице Данте Алигиери Флорентинец.



Слава — неторопливое светило,
Как своенравная луна, ясная и печальная,
Восходит над могилами.[6]

Это не Данте сказал, но к нему подходит. К судьбе его. Думал ли какой-нибудь Бартоломео делла Скала из Вероны, что приживальщик его (может быть обучал детей латинскому языку?) столь будет прославлен чрез века, что как раз Бартоломео этот окажется при нем прихлебателем?

Да, неторопливое слава светило. Мало освещала она Данте при жизни, но чем дальше шло время, больше и более разгоралась. С конца XV века начали уже *печатать* «Божественную комедию» — сначала в Венеции: через полтораста лет после кончины поэта. А потом, мало-помалу, по всей Италии и по всему свету. До наших времен переиздавалась «Божественная комедия» в одной Италии четыреста раз. Чем дальше, тем больше росла слава. Книга переведена на множество языков. Десятки людей отдавали жизнь на комментирование ее. Сменялись целые направления в ее понимании. Для многих, особенно в Италии, поэма эта нечто вроде Евангелия.

Проделана огромная работа — особенно постарался XIX век. Изучены источники, сличены образы с литературными образами древних. Изучена до мелочей историческая, бытовая, географическая, астрономическая сторона произведения, равно философская и богословская. Написаны книги путешествий «по святым местам» — самым обыкновенным горам, ущельям, стремнинами, городками Италии, упоминаемым в поэме.

Про «темные места» ее нечего и говорить: есть истоки, вызвавшие целую литературу. Лингвистика, грамматика, синтаксис, метрика, характеристика метафор — все как на ладони. Знаем также, сколько в книге слов, существительных, глаголов, прилагательных.

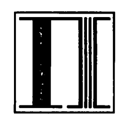
Литература о Данте безмерна. Даже общей Дантовской библиографии к началу нашего века не существовало (были только по отдельным странам). Но есть подробнейшие словари к Данте, Дантовская Энциклопедия.[6] В Америке, Англии, Германии, Италии, Франции существуют общества Данте.

И началось все это с того, что нищий странник с котомкою за плечами пробирался горною тропинкой подальше от родного города.

Но в котомке этой лежали первые песни «Ада».

СТАТЬИ О ТЕАТРЕ

ПРОЩАНИЕ

оследним спектаклем Пражского Художественного театра[1] шел — «Вишневый сад». Не без волнения идешь на эту постановку. Чехов! Как дорого, и как бы не хотелось подорвать, ослабить прежнее.

И вот иду, сижу и... радуюсь. Чему? Я радуюсь тому, что есть прекрасные писатели, пишущие не на моду и не на халтуру. Радуюсь, что у нас такой язык. Радуюсь на отличный наш театр и с гордостью смотрю вокруг себя на англичанок, тронутых и взволнованных, на плоские лица японцев в очках, и уж совсем хорошо видеть на Чехове, в русском театре в Париже, симпатичную, кофейного цвета, личность. «Да, смотрите, читайте свои переводы, слушайте наш язык, вбирайте большое, что дала наша культура, это не баловство и не глупости, это все настоящее: первый сорт»...

«Вишневый сад» понимается сейчас несколько по-иному. Он вырос и углубился. Антон Павлович, худой и бледный, каким помню его тою зимою (1903—1904 г.г.), когда в 25-летний его юбилей ставилась эта пьеса, — Антон Павлович с порога смерти написал о вырубленном саде — и в то время нравственный и всероссийский смысл произведения казался меньшим. Пьеса о расплате за «беззаботную жизнь», пьеса о грехах, и ответственности, и о горечи мелких жизней, пьеса о торжестве хама — более современная тогда по действующим лицам (все Раневские и Леониды Андреичи были еще в жизни), по внутреннему своему устремлению более поразительна и поучительна теперь. И вот мы, дети того чеховского поколения, мы эстетически любуемся (ибо то, что есть искусство, переживает все перемены, остается), жизненно же настроены совсем иначе.

Видя вырубаемых и вырубающих, мы радуемся созерцанию искусства, но мы не желаем быть ни Раневскими, ни Лопахиными. Кто мы?

Быть может, мы скорее те странники, кто, как Варя, покидают вишневый сад для нового пути, где нужна вера, бодрость, мужество в отстаивании своей правды. Жизненно «Вишневый сад» нас учит, *какими нам не быть.*

Я думаю, что и театр иначе чувствует теперь «Вишневый сад», иначе исполняет его, что и дает спектаклю свежесть.

Острей, трагичней как-то звучит все. В самой музыке исполнения менее расслабляющих нот, больше сгущенной горечи. И зрители, и театр много пережили с тех времен. На легкой чеховской ткани вышиты новые узоры. В благодушной мягкой Москве, довоенной, может быть Крыжановская[2] не осенила бы себя так крестным знамением, как она делает здесь, покидая вишневый сад для новой суровой жизни. Так поступают и Раневская, и Гаев. Скорбней Епиходов (Серов), трагичней замечательная гувернантка (Греч), поразительней Павлов (Фирс).[3] Надо сказать, что вообще прекрасно исполнение, начиная с Германовой, Шарова, Коммиссарова, Вырубова[4] (поразительна по значительности — Крыжановская), — пришлось бы всех перебрать.

«Вишневый сад» был прощанием Чехова с жизнью, — написав его, через несколько месяцев он умер. «Вишневый сад» есть и прощание с Россией того времени, и пророчество о грядущем. (В одном лишь пророчество не дохватило: как мягок, какой чеховский человек сам Лопахин. Нет, в ту вьюжную московскую зиму 1903—1904 гг. не мерещился еще Чехову настоящий Лопахин. Его увидали только мы).

С горечью надо сказать, что спектакль 28 ноября был прощальным и для театра. Три недели на авеню Монтень стоял русский говор, и «наша» толпа толклась в метро. Художественники развернули ряд прекрасных спектаклей. Германова дала незабываемую Медею, отличную «Женщину с моря»[5] и Раневскую. Шаров, Вырубов, Павлов, Греч, Асланов, Крыжановская, Серов, Токарские, Полуэктова, Левицкая[6] и др. показали себя с «лучшей стороны». Почему же прощальный спектакль? Почему театру не пустить в Париже корней, не войти прочной и светлой нотой в эмигрантскую жизнь? Почему десяткам тысяч русских не вбирать по вечерам духовного освежения и не воспитывать своей молодости на *большой* русской культуре, вместо того, чтобы ходить в кинематограф? Почему, почему... Потому что театру, именно чтобы пустить корни, нужны деньги, надо завоевать не одну русскую, но и состоятельную иностранную публику, надо иметь силы выждать, а, может быть, просто и быть поддерживаемым. У театра есть замыслы новых постановок, новых работ и достижений, но ведь надо делать затраты и содержать труппу. Ведь мы не дома, и если говорить о национальном русском театре за границей, то кто-то его должен любить, поддерживать, опекать. И если есть у нас здесь свои церкви, духовные академии,

университеты, гимназии, журналы, газеты, консерватории, больницы, общежития (на днях — торжественное открытие общежития для мальчиков), приюты для девочек и т. п. учреждения, то кажется единственно не хватает своего *русского национального театра.*

Пражский Художественный театр — единственный и неоспоримый кандидат на эту роль. Богатая часть эмиграции должна поддержать его непосредственно, мы «народ» тем, что предпочтем «Женитьбу» или «Село Степанчиково» Джеки Кугану и Родольфо Валентино.[7]

Думаю, не одно мое мнение выскажу, выражая глубокую благодарность театру и его артистам-художникам, в тяжких условиях благородно отстаивающим Искусство и Родину. Дай Бог, чтобы прощание с Художественным театром в Париже было ненадолго.

НИНА КОШИЦ. К ЮБИЛЕЙНОМУ КОНЦЕРТУ

Пятнадцать лет тому назад молодая девушка в зеленой кофточке, консерваторка по классу Мазетти, явилась в театр Зимина[1] на пробу голосов. Через две недели ей дали дебют — в том самом «Евгении Онегине», которого до сей поры так любит знаменитая певица.

В следующем году Кошиц окончила консерваторию. Ее приняли к Зимину. Одновременно она выступала и как камерная певица. Окончательное «cachet» * дала ей Фелия Литвин.[2] Ее отметил и учил тайнам художества глубокомысленный Танеев. Совсем молоденькой артистке поручил он весь концерт в память Чайковского. Она пела и в его собственной кантате партию сопрано-соло (у Кусевицкого). Там услышал ее Рахманинов, и она стала исполнительницей его произведений. Ей аккомпанировал сам автор. Блестящий «дуэт» давал концерты по всей России. Продолжая оставаться в опере, Кошиц проявила себя наивысше в «Онегине», «Кларе Милич», затем в «Дон-Жуане», «Жидовке», «Отелло», «Пиковой Даме» и др.

Революция ломает ее жизнь. Она заброшена в Тифлис. Там из Америки от С. Прокофьева заочно получает она ангажемент и уезжает за океан.

Четыре года провела Кошиц в Америке — первый из них дался ей нелегко. Но успех пришел прочный и глубокий. И вот три года назад она появилась в Париже, и как писал известный критик Виллермоз,[3] «в две недели завоевала Париж». Превосходный дар ее знал и раньше

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Отличительный знак (*фр.*).

успехи, овации, поклонение. Кажется, все же, что триумф Парижа превзошел все — и отсюда, как бы лучами гигантских прожекторов, слава ее разносится по свету. Завоеван Париж — завоеван мир.

Когда смотришь на Кошиц, слушаешь ее, то кажется — это с детства знакомая нам по картинкам «Россия», в руке у нее меч, опирается она на щит, на голове корона, а сама могуча и вольна, как песня. Кошиц и есть песня — песня русская. Она певуча и музыкальна вся, полна тепла и света, золота и темперамента. Златистая легкость есть в ее голосе и светлый огонь. В этой мощной женщине голос как-то «летит». Самый звук его, даже когда она говорит, дает чувственную радость. Кошиц соединила в себе русский юг с глубоко московским духом. Ее музыка есть «музыка сердца», музыка всего музыкального существа ее, вольная и безграничная. «Формальное», «прием» — не ее область. В ней все течет и изливается, в некоем стихийном дыхании. Фелия Литвин в одном и Танеев в другом обучили ее изощрениям художества. Но ни они, никто другой не могли дать ей теплой и златонасыщенной игры стихий. Это Божий дар, он делает ее единственной.



Сегодня знаменитая певица дает в зале Гаво концерт из сочинений композиторов, посвятивших ей свои произведения. Кого только нет в этом победоносном списке! От Америки и Уругвая, чрез испанцев, англичан и французов, разумеется, — до русских! Россией дело кончается, но с России и начинается. «Россия» — Кошиц поет нынче в пользу русских учащихся, тех, кто с кочки на кочку, усилиями неутомимого своего покровителя М. М. Федорова[4] и разных русских и иностранных сочувственников, кой-как перебирается чрез жизненную трясину.

В среду Нина Павловна уезжает в Америку, на новую русификацию мира, ныне уже в облаке парижской славы. Сегодняшний ее концерт — юбилейный и прощальный. Русский Париж явится на него, поклонится блистательной артистке, пожелает сердечно ей новых триумфов — и присутствием своим посильно поддержит молодежь.

ЧАЙКА

Было бы несправедливо сказать, что «Чайка» — лучшая вещь Чехова. Она лишь начало высших, последних годов его писания, и конечно, «В овраге», «Архиерей» — крепче, совершеннее. Но судьба «Чайки» особенная.

Утверждают, что в ней есть нечто от самого Чехова. История с девушкой, которую любит молодой, малопризнанный писатель, а ее тут же

соблазняет писатель старший, преуспевающий, считается взятой из жизни Чехова. Называют и имена. Чехов, будто бы, равен здесь Треплеву.

«Неудачливый любовник в моих писаниях это всегда я», — говорил Тургенев.[1] Чехов помалкивал. Насколько известно, незадачливым вообще он не был, но применительно к «Чайке» это, по-видимому, верно. Так что можно считать, что «Чайка» особенно задевала его. Он много с ней пережил: горечь провала в петербургской Александринке, триумф в Москве (Художественный театр).[2] Замечательно, что странная эта пьеса погибла в Петербурге с превосходною Чайкой — Комиссаржевскою, а в Москве удалась с очень слабой Роксановой (в той же роли).[3]

Юношей, сорок лет назад, я московскую премьеру видел. Мы были спектаклем очарованы. Когда занавес опустился, зрительный зал вначале молчал. За сценой участвующие умирали со страху. Одна из актрис упала в обморок. Но молчание оказалось драгоценным. Оно разразилось радостной бурей.

Сила успеха была настолько велика, что театр внутренне стал под знак «Чайки». Внешне он выразил это тем, что на занавесе поместил чайку, чайкою украшались и все, неизменно, его афиши. Московские люди помнят, что и вообще Художественный театр считался театром Чехова, вплоть до времени, когда в революцию был он постыдно переименован в театр Горького (и показал нам в Париже такую «Анну Каренину», которая не порадовала бы театр Чехова). Молодежь того времени приняла «Чайку», как некое знамя (то же было с писаниями Гамсуна). «Кто за “Чайку”, за “Пана” гамсуновского, те свои, наши».

Но вот странность: оказывается, что пьеса, определившая лицо и стиль театра, нашедшая и в обществе такой отклик, выдержала гораздо меньше представлений, чем другие пьесы Чехова (там же). «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» прошли сотни раз («Вишневый сад» близко к тысяче), — «Чайка» лишь десятки — кажется, не перевалила за шесть этих десятков.

Однако живучесть ее *во времени* оказалась немалой: недавно писалось, что возобновляется она в Москве. Шла в Нью-Йорке И еще более удивительно для пьесы, с первого представления которой на родине сбежал автор, что теперь она идет — и с каким успехом! — по-французски в Париже.[4]



В Англии Чехова давно знают и любят. Насколько можно судить, нечто от Чехова дошло до сердца английского, это успех не только литературный, но и жизненный. Да и в Америке высшая похвала русскому произведению: «Приближается к лучшим вещам Чехова».

В Париже прохладнее. Академически Чехов признан. Но знают и понимают его мало. «Запад лишь начинает знакомиться с Чеховым» (Дюамель).[5] И как будто всему складу французскому Чехов соответствует мало. Так что самая мысль о «Чайке» для театра, т. е. для широкой публики, казалась поначалу смелой. Но Питоевы,[6] очевидно, рассуждали иначе, и выиграли.

Странное чувство — через сорок лет после премьеры в Москве сидеть во французском театре «Матюрен»,[7] ожидая поднятая занавеса — в семидесятый раз — над «Mouette»!* Равнодушным нельзя остаться.

Небольшой, кирпично-коричневого цвета, зрительный зал заполняется — не так бурно, но основательно. Публика не нарядная, довольно скромная и культурная. Дамы, барышни. Очень много мужской молодежи. Интеллигентные юноши в роговых очках, с зачесанными назад, блестящими волосами. Всюду программка с портретом Чехова (Браз)[8] — облик его сразу вносит мягкую, приятную ноту: ну, вот Россия настоящая, та, что без крика и бахвальства что-то действительно дает — мирная наша слава.

Чайки на занавесе, как в Художественном театре, нет. Но гонг за сценой Москву напомнил.

На московской премьере Чехова не было. У него в это время обострился туберкулез. Приезжала Мария Павловна (сестра его) и даже просила об отмене спектакля, чтобы возможной неудачей не ухудшить болезнь. Спектакль, однако, не отменили, но автор увидел его много позже. Кажется, он отнесся к нему прохладно. Во всяком случае, очень не понравилась сама чайка (Нина Заречная — Роксанова) и... Станиславский (Тригорин).

Роксанова просто оказалась плоха, тут спору нет. При всей мягкости своей Чехов настаивал даже, чтобы у ней отняли роль. Со Станиславским сложнее. Тригорина он дал очаровательного — но автор видел его иным. Чехову хотелось Тригорина попроще (провинциальней, что ли? — и с меньшим обаянием. Станиславский мало был похож, действительно, на русского беллетриста 90-х годов. Он оставался Станиславским).

Питоев — совсем уж не русский писатель Тригорин, но Чехову он, может быть, и понравился бы, пришлось бы только признать, что вся «Чайка» приняла французский оттенок и показала себя стойким произведением, т. е. общечеловеческое ядро осталось, изменился национальный костюм: можно представить себе ее не только «французской», но и «английской», «немецкой». У Питоева получился очень интересный образ. Сомнамбуличность, вялость, некоторую болезненность

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «Чайка» (*фр.*).

Тригорина при физической крепости (и меньшей элегантности, чем у Станиславского) он дал отлично. То, что Тригорин говорит, это тихий и вежливый бред, он одержим, безволен и вовсе не так прельщает, как Станиславский, но по-своему убедителен.

Любопытно это облечение «Чайки» во французскую одежду. Начать с языка.

Ритм прозы чеховской передать, разумеется, нельзя. Все же прозрачность ее, легкость, чистота остались. Юмор бледнеет. Шамраев со своей западней — «запендей» и: «Браво Сильва! — целою октавой ниже» ответного смеха в театре не встречает (хотя вообще Жан Флури совсем неплох). Самая же «французская» фигура «Чайки» это Сорин. Покойный Лужский играл его рыхлым и слабым, довольно трогательным русским... — скорее барином-интеллигентом, чем судейским. Луи Салу дает сердитого француза, старомодного, бородатого, с причудливыми «клочковатостями» в шевелюре, резкого (но тоже несчастного), — не то профессор, проваливающий студентов, не то желчный рантье. Фигура замечательная и настолько же нерусская, насколько не-итальянцем был Станиславский в комедии Голдони и не-французом в Мольере.

Людмила Питоева (Чайка) очень хороша — тиха, задумчива, будто в себя погружена, с особенной, непередаваемой питоевской чертой-интонацией... — трогательна и вполне себе располагает. Пьер-Ге — Треплев — тоже французский, собрат молодых людей зрительного зала в роговых очках, но прост и убедителен. Мейерхольд был резче, болезненней, неудачник сильнее из него выпирал и — странно для Художественного театра! — Мейерхольд театральней и крикливее. Этот «круглее» (внутренно), человечней. Более вызывает к себе сочувствие.

Доктор Дорн (Эмиль Дрен) превосходен, конечно, выше Вишневского.[9] В нем есть, однако, то же, что не удовлетворяло Чехова в Станиславском: слишком он обаятельно-изящен (русский деревенский врач! Но и на французского не похож).

Маша — Элен Мансон — очень мила. Самая «русская» фигура во французском спектакле *.



Сорок лет назад нас привлекала в «Чайке» новизна, свежесть, невиданность форм — то, о чем тщетно заботился Треплев. Спектакль представлялся новаторством и делили зрителей на молодежь (сочувственную) и «старших» — те ворчали.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* К сожалению, я не видел М. Н. Германову[10] в <роли> Аркадиной. — *Примеч. Б. К. Зайцева.*

Теперь формы новыми не кажутся, налет Ибсена, символизма, эпохи — уже история. Само сопоставление девушки с чайкой, случайно застреленной (Нина: «Я — чайка...») не укрепляет, а скорее ослабляет пьесу. Время диких уток, чаек отошло.[11]

В целом же пьеса не проигрывает, живучесть ее (а значит — внутренняя правда) очень велика, и некоторые стороны воспринимаются сильнее. Другие люди смотрят ее, в другую эпоху, другое более доходит до души. Художнически — радуют вечно живая живопись фигур, чеховские словечки, чеховский голос, всегда в пьесе звучащий. А человечески? Больше *жалеешь* сейчас людей — и тех, кто у Чехова изображен, и (чрез них) всех вообще. Когда-то говорили о Чехове, что он «безыдейный», без руля и без ветрил, чуть ли не холодный. Время показывает, как это неверно. Он один из самых добрых в литературе нашей. В «Чайке» он милосерден ко всем своим подданным — и тем более милостив, чем более они несчастны. Это чувствует русский зритель, это ощущает и французский. «Чайка» есть ветвь мира. Мир так нуждается в милосердии! И так нуждается в духовной поддержке! Когда мы были моложе, то воспринимали «Чайку» (преимущественно) артистически. Теперь у мира больше ран. И сами мы, и ближние наши, хотя бы другой национальности, — все мы острее и *моральнее* воспринимаем эту пьесу.

В четвертом действии — последняя встреча Треплева с Чайкой. У обоих разбитые жизни: он — неудавшийся писатель, она — полузадавленная жизнью актриса.

— Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем, — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.

Театр молчит — золотым молчанием волнения, сдержанных слез — слова Людмилы Питоевой доходят, это не «в гроб» сыграно.

Хорошо! Очень хорошо. Пусть парижские люди слышат настоящий русский голос. Бьющиеся с жизнью французские юноши, незадачливые писатели, ненужные интеллигенты, обманутые девушки, отравленные жизнью женщины — им дает «Чайка» глоток свежего воздуха.

❖ ❖ ❖

«Меня забудут через семь лет», — говорил Чехов.[12] Мы его хоронили тридцать пять лет назад и забвения не замечаем.

После спектакля выходишь на улицу Матюрен. Луна над Парижем. Толпа разбредается. Проходя мимо сквера у бульвара Осман, где Cha-

pelle Expiatoire*, по меланхоличности места этого, в теплой весенней ночи вспоминаешь Чехова, могилу его в Ново-Девичьем монастыре. Вспоминаешь, что всего несколько месяцев назад в землю парижского кладбища легла та, кто для Чехова была в жизни Чайкой.[13]

ПОЛВЕКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

(Слово на юбилейном вечере Союза писателей)

Пятьдесят лет назад, во времена юности людей моего поколения, возник этот театр из духа любви и энтузиазма — того, чем только жизнь и «живится». Возник скромно, на клубной сцене. И скоро прославился сперва в Москве, потом в России, потом в Европе. Стал мирной славой русской. Так что сейчас нельзя уже, говоря о национальной нашей культуре, в большом отделе ее — «театр», не полюбоваться Художественным театром.

Мы и любуемся, издали, даже вот из чужой страны. Мы, русские писатели в Париже, устраиваем скромный праздник, посвященный этому театру.[1]

Собственно, ведь театр не совсем наш мир: литература и театр связаны, но в театре есть нечто и далекое литературе, как литература иногда стеснительна для театра. Литература чаще всего «нетеатральна», а театральность трудна, иной раз и невыносима в литературе. Самый облик писателя — человека уединенного, связанного со своей книгой, бумагой, пером, «нетеатрального», часто неловкого и не-артиста действия, почти противоположен блеску художника сценического: нерв, движение, голос, фигура...

Но вот Художественный театр как раз оказался особенно связанным с литературой. Писателю он поэтому ближе. Дело тут не в одном том, что возник этот театр рядом с неким литературным цветением того времени — Чеховым, главнейше даже, Горьким, из иностранцев Ибсеном, Гауптманом, Гамсуном. Он питался, конечно, «большой» литературой, зависел от нее и был полон к ней уважения — культурностью своей резко выделяясь из собратьев. Но с литературой была связь, коренившаяся и в самом подходе его к искусству.

Начинал Художественный Театр с натурализма (иногда впадая в крайности, шедший тоже из энтузиазма: борьба против дешевой условности в постановке). На *поверхности* и это давало успех. Но не в этом оказалась душа театра и его «душа» — Станиславского.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Часовня Искупления (*фр*.).

Реализм постановок, даже «настроение», даже оркестровая слаженность спектакля — все это очень хорошо, но Станиславский добивался большего: ему нужна была правда сценического переживания, глубина вживания в слово и образ, сила галлюцинации и перевоплощения. «Нет, ты не прикидывайся, а войди в шкуру изображаемого, переживи и воплоти то, что дал для тебя в слове художник слова — тогда и хорошо будет». Это, в сущности, перенесенный в область театра завет всем нам, пишущим, Льва Толстого. Тут Станиславский с ним совпадает: правда художнической галлюцинации. Художник слова не может приказывать своему герою в романе, пьесе. Он должен всматриваться в него, видеть его и слышать. Быть одержимым им — это и есть галлюцинация. Гениальнейшие галлюцинации русской литературы — «Война и Мир», «Братья Карамазовы». Но и Чехов насквозь видел и слышал своих людей и записывал воображаемо-слышанное за ними. А Станиславский учил впитывать галлюцинацию литературную, претворять ее в сценическую. Отсюда «психологизм» его. Он ненавидел позу и условность, ненавидел декламацию (последнюю даже настолько, что это становилось и слабостию Художественного театра. Стихов читать они не умели, разыгрывали их «внутренним переживанием»).

Но ничего не поделаешь. Станиславский был фанатик и энтузиаст. Если во что верил, сдвинуть его было невозможно.

Этот незабываемый, высокий, худощавый человек, с чертами странного очарования, иногда несколько отсутствующий, с блуждающею улыбкою, монах и деспот своего театра, вызывавшей поклонение в своих войсках, восторг и иногда ужас, неутомимый и одержимый, одаренный почти гениальным прозрением сценическим и способный грубо ошибаться в актере, реалист, психолог, для которого «касание мирам иным» далеко, — Станиславский был ведущею силой Художественного театра. Способом работы артистической сближал он свой театр с литературою, но сам по части чисто литературной крепок не был; другой «лик» Художественного театра, обращенный уж прямо к писателям — В. И. Немирович-Данченко. Сам драматург незначительный, обладал чутьем литературным, для театра замечательным (если не ошибаюсь, ему и обязана «Чайка» появлением в Художественном театре. Станиславский не сразу ее принял. Но раскусивши, играл уже сам и весь его оркестр).

В соединении славы писателя Чехова со славою Художественного театра сразу и проявилась, закрепилась связь театра с русскою литературою, русской культурой начала века. Простота, скромность, правдивость — устои литературы нашей, отцов наших — так чудесно осуществились театром, которого внутренним, истинным девизом именно и была скромность, простота, правда. И любовь к своему делу! То, без

чего и вообще шагу нельзя ступить в жизни — в художестве же особенно. Станиславский сам был — увлечение и заражал свой отряд. Нельзя, чтобы выходило «приблизительно», «кое-как», — раз тебе, по-евангельски, даны пять талантов, ты должен вернуть их удвоенными, а не закапывать в землю. Это и есть жизнь художника: труд, борьба, достижение. Станиславский не считал времени, когда репетировал. Полночь или три часа утра? Дело не в этом, а надо добиться правды, верно воплотить созданное поэтом. Пятьдесят репетиций — ничего. Сто понадобится, будет сто, участники лучше войдут в роли. А не добились, так и вовсе спектакль снимем. Станиславский считал свое дело важным, первостатейным, требующим всего человека. Так и надо. Это и есть настоящее. В одной пьесе Гауптмана старый художник говорит об искусстве, о занятии им: «...ряд одиноких часов, одиноких дней, одиноких лет» — его играл Станиславский, облику этому сообщая возвышенную значительность.[2] Играл, как никто больше не играет. Это навсегда ушло.

При таком отношений к делу могло ли быть, чтоб актриса не знала роли, чтобы суфлер лепетал из будки, а актер считал бы текст писателя своим собственным: нынче говорю так, завтра по-другому... — «нутро» вывезет. Нет, у Станиславского так нельзя: знай, понимай автора.

Литература и театр неразделимы.

❖ ❖ ❖

Помнящих те времена все меньше и меньше. Время уходит. Его ход известен.

> Заметает быстро вьюга
> Все, что в мире я любил... (*Г. Иванов*)[3]

Заметает, а всего замести не может: душа, память хранит. Что из юности просияло, то остается, всегда радует.

Для тех, кто был молод при начале Художественного театра, кто был на первом представлении «Царя Федора» или «Чайки», на Ибсенах, Гауптманах ранней полосы, кто по-юношески переживал «Дядю Ваню» и «Трех сестер», у того все живет и сейчас, как само чувство молодости и раннего энтузиазма. Радость искусства не уходит. Радость волнения театрального, позднего возвращения домой и заново переживания виденного, юношеские споры и разглагольствования о Москвине, Книппер, Станиславском, Лилиной, об «увидим все небо в алмазах», «мы отдохнем, мы отдохнем...» — все осталось и все не уйдет, как не уходит любовь, красота — в здешнем мире видение лучших миров. Как же нам, в облике на этот раз не писательском, а просто русских людей, не склониться с приязнью к милому прошлому? Ведь Художе-

ственный театр являлся частью — высокою, благородною — жизни тогдашней. Сам он был орден-монастырь, порождавший орден поклонников, он давал новизну истинную, некрикливую. Молодость отвечала ему любовью и поклонением — от старших за это иной раз претерпевала. «Только психопатам могут нравиться эти Ибсены, Чеховы», — говорили «солидные» люди. А восторженный поклонницы по тринадцати раз ходили на «Трех сестер», несмотря ни на что, — на то даже, что из родственного, серьезного дома можно было быть изгнанным за пристрастие к этим «Трем сестрам» или к Гамсуну — Гамсун особенно раздражал старых интеллигентов («Только сумасшедшие могут этим восторгаться»).

Сейчас видишь улыбку при словах таких, но то был иной мир. Те, кто тогда считались странными, частью и полоумными, прожили целую жизнь, и вот зрелость и старость проводят не на московской земле. Могут, поэтому, вспомнить о прошлом не только как русские люди, но и как эмигранты. Под этим углом воспоминание и переживание имеют особую силу и остроту. Ибо сама память о Художественном театре и его полувековой юбилей возводят к России, Москве, что мы любили и любим и что навсегда ушло.

Здесь есть прелесть личного: неповторимо-молодых чувств, некоторого «потонувшего колокола», но есть и более общий план, нашу безродинную жизнь подкрепляющий.

План этот — русская духовная культура, шедшая многообразно, многими гранями сиявшая (в светском облике от Пушкина до начала нашего века), и одна из последних во времени граней, этих — именно Чехов и Художественный театр. Это и устанавливает преемственность. Связь детей с отцами, возможность «безродинным» держаться за конец цепи, уходящей далеко вглубь — в Россию духовную и художническую. Это не mongol, не kalmouk, как по невежественности и высокомерно судят нередко теперь о России на Западе.

Мы сейчас внероссийские дети России. Но за нами великая культура, у нас есть предки. Непомнящими родства нас никто не посмеет назвать.

О МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

...Лишь о первых, юношеских годах его — о самом чистом, свежем, связанном с таким далеким временем, когда ставили «Царя Федора», «Чайку», «Дядю Ваню», когда самый театр помещался в Каретном ряду в доме Мошнина.[1]

Как определить действие на нас тогдашних Художественного театра?

Не просто это был театр, и не простое зрелище его спектакли — часть духовной жизни того времени, остро-возбуждающее и живое, то, что всегда «делает эпоху» — в литературе ли, музыке, театре.

Новое чувство жизни, новое ощущение искусства. (Искусство всегда себе равно, но высшее в нем связано с единственным, неповторяемым артистическим ощущением).

Искусство не выносит *утомления*. Художественный театр как раз тогда явился, когда по русскому театру прошло веяние вялости. Он — освежил воздух. Сам он — и жизнь, и художество. А также Москва.

Вот это замечательно: конечно, Москва, давшая Малый театр, должна была дать и Художественный. Ибо Москва — язык России (в прямом смысле и в косвенном). Удивителен был русский язык актеров Малого театра. Но и в Художественном говорили отлично. Москвин есть Москвин. Станиславский возрос в Замоскворечье.

Москва родила Художественный театр, и Художественный театр дал духовному пейзажу Москвы свою черту. Москва без него не вполне Москва, как не Москва она без Университета на Моховой, без Арбата с тремя церквами Святителя Николая, без коней на фронтоне Большого театра.

Актеры Малого театра были потяжелее, покрепче художественников, говорили певуче, к пожилым годам сильно полнели. Островского играли замечательно, а он при жизни своей заседал в трактире Егорова в Охотном ряду — трактире московских купцов, знаменитом и расстегаями, и канарейками в клетках, и ерофеичем, и владимирским говорком услужающих «человеков» в белых передниках («упокойнички», как их звали московские остряки). Малый театр бытовым своим климатом примыкал к Островскому и Егоровскому трактиру, — а отчасти это был «Эрмитаж» восьмидесятых годов.[2] Художественный создан поколением Чехова, Москвой, прошедшей сквозь интеллигентское влияния, но связь с «землей» сохранившей. Славу ему дала интеллигенция, большая и малая, от писателей и профессоров до сельской учительницы, приезжавшей из глуши.

В быте же Художественный театр — это Литературный Кружок и «Прага»...[3]

К. В. Мошнин,[4] владелец дома в Каретном ряду, был приятелем моего отца, — знаменитый охотник и веселый человек старой Москвы. На премьеры мы приезжали прямо к Мошниным, их квартира находилась в самом доме театра, у них раздевались, пили чай, а потом коридорами шли в литерную ложу Константина Васильевича. И он, и отец всегда подтрунивали над артистами. Но мы, молодежь, горой за них стояли. Раздвигался занавес с «чайкой», и начинался нервный, острый

спектакль какого-нибудь «Дяди Вани», или густой полновесный — «Царя Федора». Нередко отец с Мошниным уходили домой до конца спектакля. Дядя Ваня плакался на жизнь, и Лилина собиралась увидеть все небо в алмазах, а они уж заседали за водочкой и холодными закусками, поджидая нас, угощаясь охотничьими рассказами. Старая Москва не так-то любила новшества.

Можно ли забыть молодость, ощущение, что вот присутствуешь на прекрасном явлении искусства, что вот пронизан волнением, что долгий путь домой на завод Гужона (которым управлял отец) все будешь думать о виденном, а когда приедешь, у камина в отцовском кабинете с сестрами и гостями вновь начнутся бесконечные перемывы спектакля.

Станиславский, Москвин, Ольга Книппер, на которой особенным ореолом лежала близость к Чехову, Лилина, Качалов, Савицкая, праведница Бутова,[5] сам тайный советник и машиностроитель театра Немирович-Данченко — разве не вспомнишь их и сейчас с волнением, с любовью?..

Театр прогремел. Он ушел из Каретного ряда, перебрался в Газетный переулок и стал прочною славою Москвы, «достопримечательностью» ее. Юность его однако, вспоминаю с особенной нежностью. «Чайка» и «Царь Федор», «Когда мы, мертвые, проснемся» и «Три сестры» окружали наши золотые годы радостью беспримерной...



Эти слова вряд ли дойдут туда. Всё-таки говорю их, хочется сказать, — да и обязывает.

Москва обязывает и примечательность ее — Художественный театр.

МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ

«МЫ, ВОЕННЫЕ»[1]

Очерк первый

I

28-го февраля, около трех часов дня, было довольно тепло. Мы, в «милой жизни» бывшие студентами, учителями, адвокатами и просто людьми, шагали от Кудрина по Поварской — в папахах, придававших нам несколько казачий вид, и в солдатских скатках; через плечо болтались папки с глазомерной съемкой. Мы знали, что в Петербурге — военный бунт; но знали смутно. Утром видели за Пресненской заставой, как завод Земского союза[2] прекратил работу. Волнений среди нас не было. Москва имела еще вид обыденный, и мы сами не вышли из обыденных забот: срисовать друг у друга съемку, поскорей удрать в отпуск.

На Арбатской площади пришлось остановиться: с бульвара летел на нас автомобиль, в нем — градоначальник.[3] Я очень хорошо помню, что фуражка его была надвинута на самый лоб, и верх ее странно вздымался сзади. Лицо землисто-желтое, глаза опущены. В нем было нечто столь особенное, что приходилось сказать: «*Да, началось*». Градоначальник на своем красном автомобиле проносился в последний раз. Он летел в бездну, и об этом читалось на его лице. Однако в этот день мы покойно содрали друг у друга съемку, обедали в четыре, отдыхали до пяти с половиной; как всегда ревела труба в половине шестого, мы слезали с кроватей и начинали юнкерский весенний вечер — малую, бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен. Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале, где висели портреты царей, слушали Бетховенскую сонату: ее играл «бывший человек», ныне в военной куртке с белыми погонами, такой же эмигрант из мира живых, как и мы.

Звуки Бетховена в казармах горьки. Так же, быть может, как туманный и пустынный месяц над квадратным плацем, где днем мы упражняемся во взводных учениях; как блеск дивного Ориона, когда вечером «вздвоенными рядами» ведут тебя в баню.

И не только этот, но и следующий день, когда, кажется, все уже было решено в Петербурге, мы дремали в своем мрачном palazzo. Я покойно спал в ту ночь, как в Петербурге ни за что убили юного моего друга.[4] Я узнал об этом 1-го марта утром. По странному случаю в этот день выразил я желание идти на панихиду по Александре II в домовой церкви; вышло же так, что панихиду я слушал, стоя в шеренге, «в положении смирно», по безвинном мальчике. Был светлый день. Помню, слезы застилали мне глаза. Из угловых окон на площади было видно — проносились автомобили с красными флагами.

И вот, в четвертом часу, когда мы собирались в своей роте — роскошном зале с полукругом колонн — идти на обед, вдруг забил барабан. В первую минуту мы не обратили внимания: мало ли барабанов, труб, криков, команд слышишь. Но барабан не умолкал. Что-то было в нем беспокойное. И как ветер пронеслось среди нас: тревога. Это именно она и была. Нас звал ancien régime*. В несколько минут мы выстроились в шинелях, с подсумками, винтовками. Вышли офицеры в походном снаряжении. Все были бледны. «Куда нас ведут?» — спрашивали мы. Они ничего не знали. «Сейчас будут раздавать патроны». Принесли патроны, поднялась сутолока, стали рвать пачки, прилаживая их в подсумки, спрашивали друг у друга о пустяках, но было видно, что ужасное, поднявшееся над нами, пред каждой душой стоит во весь рост. «Неужели стрелять?» Офицер опять пожал плечами: «Ничего не известно. Сейчас осадное положение. Вы знаете, что бывает за отказ подчиняться?» — «Все равно, стрелять не будем». Офицер отошел. Это лучшее, что мог он сделать, ибо за один такой ответ из строя должен бы был арестовать. «Не стрелять, не стрелять», — шептали по шеренге. «Братцы, — вскрикнул высокий чахоточный юнкер, — держитесь, помните, ребята, не стрелять». Прошли слухи, что уж выехали пулеметы наши, лазаретная линейка, обоз, что третья рота выступила. Бледный юнкер, командир 1-го отделения, говорил: «Меня первого. Я на правом фланге». Ему сказали, что заколют офицера, который подымет на него руку.

Так говорили, но никто не знал, что будет. Разве можно поручиться за всех? Кто уверен, что на роту не нашлось бы десятка слабых? Мы чувствовали себя на грани непоправимого.

---

* Старый порядок (*фр.*).

Мне этих минут не забыть. Помню, садилось солнце. Маленькая церковь, видная из окон роты, мирно в свете сияла. Голубел кусок неба. Я опирался на винтовку, прислонив лоб к холодному штыку. Умирать мне не хотелось. Покоен я не был. Но все-таки умереть так, как следует, я мог. Я одно знал наверно, что не допущу позора и не пойду ни на какое дело, с ним связанное. Справа и слева от меня стояло по одному знакомцу, с кем я был ближе, — мы нарочно стали втроем, чтобы вместе идти, куда придется.

Офицеры опять вышли. Наши ряды несколько смешались. Пол был усеян обрывками бумаги из-под пачек. Проходя мимо меня, мальчик-лицеист, забава всей роты, вдруг сказал: «А знаете, какая история... Ведь нас могут и убить». Я улыбнулся: «Да, могут. И даже очень».

Я смотрел вокруг себя: все были очень молодые люди. Мне встречалось много молодых тоскующих глаз, не желавших смерти. Быть может, им даже это было труднее, чем мне.

Мы простояли так полчаса. Потом велели нам снять шинели, положить винтовки с подсумками и папахами на кровати, — идти обедать. Но по первому зову быть готовыми.

Стало несколько легче. Все же отсрочка. Мы шли на обед без оружия, привычными длинными коридорами. Привычно разместились, стоя за столами, пели молитву, сели. Помню, ярко-красное солнце било последними лучами в столовую; как всегда, низки и тягостны казались ее своды, было душно, но милые солнечные лучи как будто из другого мира заходили сюда. Глупая мысль пришла в голову: как бы там ни было, а вот сейчас я пообедаю. Очень хотелось есть. И если, может быть, через час меня убьют, зато сейчас нельзя запретить обедать.

Так обедали мы 1-го марта 1917 года в те часы, когда решилась революция в Москве. Был взят Манеж, Арсенал. Именно в эти минуты стояли революционные войска (очень малочисленные) пред Думой и Манежем и тоже ждали, когда же мы на них пойдем. И многие бородачи там, как юнцы у нас, тоже думали о конце, ибо нас было больше, у нас отличное вооружение, пулеметы, бомбометы, молодость и проч. Но судьбе не угодно было так повернуть дело. Мы вернулись в роту, сидели на кроватях со своими винтовками, с тяжелыми сомнениями, но уже в лучшем состоянии: мы больше сговорились, к нам пришли из других рот, и оказалось, что настроение везде, приблизительно, равное: не на кого было опереться старому порядку.

В одиннадцать нам разрешили лечь. Мы до сих пор ничего не знали. Смутно доносилось к нам, что в Москве революция, но что именно, неизвестно. Вечером горнист подал мне записку. Знакомым, давно своим, ставшим частью меня, почерком[5] было написано: «Не беспокойся.

Я жива. Все очень хорошо. Мрозовский арестован[6]». Это известие рота восторженно встретила.

Я, кажется, все же отлично спал в ту ночь. За темными огромными окнами была Москва с пустынными улицами, где произошли уже невиданные дела. Последний день старого ушел вместе с тем солнцем, что освещало церковь, что кровавило столовую. Утром мы встали в другом государстве. Внизу у окна была толпа, колыхались красные флаги. В газете, которую торжественно читали вслух, в курилке, среди тумана папирос, черным по белому стояло: «*Падение старой власти*». Мы обнимались. У многих были слезы.

Началось то, что называют новой жизнью.

II

В одиннадцать утра собрали нас в зал. Пришел генерал[7] — сухим бодрым шагом. Ему поставили стол, он влез на него — и, верно, в первый раз в жизни, открыл речь в такой обстановке. Было ясно, что ночь он не спал. Но вид имел еще военный, обычный. Он говорил резко, почти пронзительно. Сказал, что вчера нас не вывел несмотря на приказ начальника охраны. По его объяснению выходило, что он — человек очень гуманный и тонкий; мы же поняли, что потому нас не водили, что к тому времени пал Манеж и Арсенал. Он заявил, что после долгих размышлений решил ехать представляться новому командующему войсками.[8] Мы зааплодировали. Генерал вдруг рассердился. Прежнее, «военное» сверкнуло в его маленьких острых глазах.

— Я оскорблён вашими аплодисментами.

Он — наш начальник, а не митинговый оратор. Начальникам не аплодируют. На заявление о том, что и мы хотим пройти Училищем по городу, с музыкой и знаменем, он ответил, что узнает об этом у командующего войсками: «Если это будет удобно, я вас сам поведу».

Он уехал. Мы остались. По улицам все время проходили группы — солдатские папахи, барышни с красными значками, простой народ. Мы все же, делая вид, что соблюдаем дисциплину, маршировали во дворе. Оставшиеся в роте выкинули в толпе красные флаги. Снизу спросили обо мне. Товарищ выставил плакат: «Жив».

Чрез вызванных портупей-юнкеров генерал сообщил, что командующий войсками просит на улицу не выходить, дома продолжать занятия. Мы подчинились, но неохотно. И часа два-три держались. Но к пяти все резко изменилось. Под окнами шли войска; росла толпа; наш вестибюль был полон барышень, студентов; явно звали нас высказаться — за кого же мы.

Как нередко, думаю, бывает в этих случаях, вдруг явилась у нас мысль: генерал нас обманывает. Может, вовсе он не был у командую-

щего; может, вовсе тот не говорил, чтоб мы сидели дома. Мысль эта, как быстро зародилась, так же обнеслась по всему огромному зданию. Здесь видел я зарождение мятежа, того, что называется восстанием. Дело это состоит в том, что каким-то электричеством пронизываются души; психический ток, пробежав по ним, поворачивает всех их в одну сторону, как бы раскрывает их туда; следующий момент — воли сливаются, и уж тогда идет одна волна, с которой нельзя бороться. Такой же ветер пронесся по ротам; вдруг по длинным чинным коридорам забегали юнкера, из рот высыпали кучки; кто-то крикнул: «одеваться!». В несколько минут все у нас были в шинелях. И я бежал, на ходу застегивая пояс с подсумком. Встреченный офицер с дрожащим от волнения лицом крикнул мне: «Кто вам позволил одеваться?» Наверно, в таком же искажении и я ответил: «А кто мне запретил!», — и уже меня не было, мелькали другие, кто в папахе, кто хватаясь за винтовку. Везде творилось то же самое. Своему ротному мы объяснили, чего хотим. Мы к нему хорошо относились. Он горячо убеждал не брать винтовок. Мы колебались. Мимо по коридору тяжелым мерным шагом проходила рота. В это время сообщили, что приехал помощник командующего войсками. Он просит нас в сборный зал. Построившись, мы тронулись.

В огромном зале юнкера выстроились в каре, с пустотою посредине. Сумрачный день кончался. Взад и вперед ходил под люстрой бритый полковник — в форме военного юриста.[9] Первый представитель революционной власти. Мы очень волновались. Когда утихли, полковник начал: «Господа, старое правительство свергнуто...» Рев и стон, «ура» не дали ему продолжать. Он знал, что этот рев будет, и спокойно выждал. Затем с подъемом, не без аффектации сообщил, что нас благодарит командующий войсками за порядок, дисциплину. «Революция произошла. Врага пока нет. Ваш выход на улицу не нужен, даже вреден, так как везде и так возбуждение. Когда вы нужны будете, я за вами приеду, — выкрикнул патетически полковник, — и вы за мной пойдете?».

Он опять знал заранее, что мы заорем, опять стоял с поднятой фуражкой, слегка помахивая ею над головой, пока нервы наши разряжались в криках. Затем на вопрос, можно ли все-таки выйти, подумав, ответил:

— Можно, если вы хотите принести нам вред.

Аргумент не из плохих. Он подействовал. Кроме того, полковник дал нам возможность поорать еще в честь революции и свободы, что значительно упрощало дело. Начинало темнеть. Было ясно, что выходить уже поздно. Толпе и войскам он обещал рассказать, что мы «с ними», т. е. в дурном нас не могут теперь заподозрить. Мы расстались дружественно. Входя в свой автомобиль, тоже красный, как вчера

у градоначальника, полковник говорил речь и «народу». «Народ» тоже кричал и тоже разошелся. Наш вестибюль опустел. Наступил вечер. Мы вернулись в роту — возбужденные, усталые, но веселые. Мы считали, что присягнули революции; мы — опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе его величества — ныне «мы военные», nous autres militaires * — Революции.

Очерк второй

I

По законам военного монастыря перед сном мы должны были складывать одежду на табуретку в таком порядке: гимнастерка, брюки, кальсоны, носки. Пакет застегивался поясом, пряжкою вверх. Дежурный ответствен за правильность построений; и когда свет потушат, в одиннадцатом часу, дежурные нередко проверяли нас — ибо в двенадцатом являлся офицер и проверял их. Когда был я еще «фараоном» (новичком) — раз, около двенадцати, и меня разбудили:

— Подтяните ремень, — сказал дежурный, — слабо затянут.

В эту ночь, с 3-го на 4-е марта, дежурный офицер вошел к нам ранее, чем полагалось. Было уже темно, но многие еще не спали — отзывалось волнение пережитого.

— Зажечь свет, живо одеваться и строиться, — заявил офицер. — По приказанию командующего войсками...

Под ярким светом полтораста молодых и среднего возраста людей вскочили с постелей, оправили их, натянули нехитрые свои ризы и минут через семь выстроились, в шинелях, с винтовками. Быстрым шагом, сдвинув брови, вошел генерал:

— Я получил сообщение, — начал он резко, почти патетически. — В Москве анархия. Начались грабежи, поджоги. Банды хулиганов грозят городу. Идите! Водворяйте порядок. Вы — единственная дисциплинированная часть. Вас зовет новое правительство — вы тотчас двинетесь для охраны штаба.[10]

Генерал повернулся и вышел. Видимо, был он возбужден, не хотел понижать настроения. Нам принесли патроны. Опять стали мы рвать пачки, опять пол усеялся бумажками, но сейчас настроение было иное: мы шли защищать революцию! Этим все сказано. Нервный ток, но иного качества, вновь пробегал по нам; он прибавлял сил, обострял впечатлительность; близость опасности опьяняла.

Другие роты спали; выходили 2-я — от 1-го батальона и от 2-го — 12-я; мы шли темным коридором училища, спустились в темный вес-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Мы, военные (*фр.*).

тибюль; на улицу были распахнуты двери, оттуда врывался морозный воздух огромными клубами. Выйдя, мы выстроились. Нас вел ротный командир, обликом напоминавший великого князя Николая Николаевича. Он был в папахе, очень высокий, с неизменным отпечатком изящества.

— Отделения, стройся влево, шагом марш!

Команда была негромкая, но спокойная, *бывалая*. Мы чувствовали себя в надежных руках.

Капитан шагал впереди и несколько влево. Мы взяли винтовки «на плечо» и стройными рядами, в колонне по отделениям, тронулись.

Москва была глубоко-пустынна. Снег чудесно пел под ногами. Большой Лев сиял над памятником Гоголя. Рота шла легко, возбужденно, в том нервном подъеме, когда, думаю, ничто не остановило бы ее от атаки.

Все это было неожиданно, необыкновенно. Мы сдавали репетиции по тактике, учили знаменитый параграф «обязанности стрелка в цепи», упражнялись в рассыпании и перебежках, — но все это «нарочно», как говорят дети, а не «настоящее». Тут же шли, правда, кого-то защищать или оборонять, Мы должны были применить свои знания *в бою*.

На Арбатской площади горели костры. «Прага» была темна. Зато у штаба в «Художественном электротеатре»[11] — всё в свету, стоят конные разъезды, автомобили, грузовики с солдатами. Улицы Москвы безмолвны. Пронесется разъезд, автомобиль прохрипит. Кажется, что в этой морозной тьме что-то замышляют, кроются враги; говорят, наша двенадцатая рота уже пошла брать «Унион».[12] Там будто бы засели с пулеметами. Мы же — «резерв».

В строгом порядке мы прошли через вестибюль в зрительный зал. Был он полон света — и солдат. Тут стояла полурота 251-го полка и рота школы прапорщиков. Солдаты, юнкера сидя дремали; винтовки торчали вверх штыками. Было накурено. Пахло военными. Мы прошли, тоже сели.

Я в последний раз был здесь несколько лет назад — в «вольном» платье, вольным русским писателем на лекции Поля Фора, короля французских поэтов.[13] Где теперь он, я не знаю. Может, где-нибудь в Аргоннах, под Аррасом или еще в каких трущобах — ничему не удивлюсь. Этой зимой сам я ходил по двадцати верст в метели, на двадцатиградусном морозе маневрировал, в солдатском облике, с винтовкой на плече мерил улицы Москвы — места дорогие и даже священные. Такие уж времена.

Молодые прапорщики поговорили с нами. Они в среднем моложе нас, лише,[14] более залихватски-военного направления, но с меньшим образованием; мы ученее. Один из них тут же рассказал, как они брали

Арсенал; выходило — очень храбро и геройски. Этот рассказ я потом слыхал неоднократно; всегда рассказчик был главным действующим лицом.

Мы сидели, курили, выходили в комнаты, где работал штаб — там машинки стучали, нам казалось, что делается какое-то спешное дело, днем и ночью, для спасения России. Здесь, через час-другой по нашему приходу, прошло из уст в уста известие: «Наши взяли “Унион”». Юнкера школы прапорщиков важно говорили: «Александровцы взяли “Унион”». Скоро появилась весть, что даже «ходили в штыки», есть потери, взяты пулеметы. Я вспомнил, что ведь я — «старший в звене». Надо знать команды. Неужели правда, через полчаса их придется применять? Я прорепетировал с нашим взводным, оказалось — плохо помню. И у меня было странное чувство, — что вот я готовлюсь к охоте на людей, к уничтожению их по правилам военной науки.

Все, что рассказывали о двенадцатой роте, оказалось, понятно, вздором; но в ту романтическую ночь, в «революционном» штабе, на который из глубины бессветных улиц Москвы кто-то злоумышлял, — все было хорошо. Некоторые из наших, даже очень мирные, так воодушевились, что сам я слыхал разговоры: если идти на черную сотню, то пленных не брать. Подумаешь, ветераны Брусилова!

По временам в штаб привозили с улицы каких-то «личностей». Я помню одного: шпион, охранник, из тех, на кого, предполагалось, мы выступаем; его стерегли четыре солдата; он сидел в углу, на коленях его лежала студенческая фуражка, зимнее пальто расстегнуто: он вспотел, волосы слиплись, и маленькие глазки бегали мучительно. На вопросы старался отвечать бойко; но — видимо трусил. «Так, вероятно, — думал я, — на войне берут шпионов. Таю, же они сидят, затравленными зверьми, а потом где-нибудь за углом их приканчивают». Между прочим, этому субъекту вменялось, что где-то на улице он «не одобрял новый строй». Тут я не мог не улыбнуться. Значить, я уж *обязан* непременно одобрять его! Ну а если мне не понравится? И меня посадят под охраной тех же самых четырех солдат, которые, быть может, две недели назад так же охраняли арестованных социалистов. Новое государство! Новые боги пришли, но бог силы не скоро уйдет еще от людей. Меняя виды, одеяния, долго будет он грозить «инакомыслящим». Потом, я видел, привели раненого офицера. Его волокли под руки, а ногами он едва перебирал; и этот офицер — вовсе не был офицер, а переодетый парикмахер, пытавшийся в кого-то стрелять, — его самого подстрелили. Тоже «контрреволюционер». И еще разных доставляли: эти мизерабли были «меньшинство», мы — «большинство» — потому мы и могли их сажать, караулить и пр. Если бы были жесточе — так и расстреливать.

К четырем часам все наши притомились; многие клевали носом, другие спали откровенно, откинувшись на спинки кресел. Машинки в штабе попримолкли. Становилось ясно, что до войны далеко.

В пятом часу нам на смену пришла первая наша рота, самая рослая, по прозванию «ишаки». Мы же назывались «извозчики» — почему, неизвестно, но так завелось исстари.

Проходя мимо нас, они говорили:

— Странно, что «извозчики» сонные. На перекрестках привыкли, небось, ночью дежурить.

Наши острословы ответили:

— «Ишаки», проголодаетесь. Здесь вам сена не дадут.

Взрослые люди с университетскими значками спокойно говорили друг другу: «ишаки», «извозчики».

Конечно, с вечера генерал все нам преувеличил. Никакой особенной анархии в Москве не было. Может быть, два-три пожара. «Унион» действительно взяли, но там никого не было. Наш заряд, наш романтизм и на этот раз был заготовлен впрок, без немедленного примененья.

На другой день мы спали вволю, с сознанием исполненного долга. А затем нас пустили в отпуск. В три часа дня, когда с товарищем я выходил, на улицах было шумно, оживленно; Арбатская площадь вся кишела людьми. Зная, что это мальчишество, я не удержался все же и зашел в магазин за красной ленточкой. Барышня прикрепила мне и товарищу красные бантики. Полные впечатлений, возбужденные, почти веселые, мы разошлись.

II

Еще несколько дней назначали нас в наряды по охране Училища, в штаб, но вполне мирно. Мне пришлось быть «докладчиком» при начальнике штаба, т. е. докладывать о каждом посетителе, посетителя же приглашать; должность, по-моему, — для швейцара, а товарищи говорили — флигель-адъютантская. Так как мне выпала ночь, и никто не приходил, то я ничего не делал. Вся моя роль свелась на то, что утром я разбудил своего «барина» и дал ему газету. Тут я выступал как камердинер.

А в дальнейшем стал общественником. Рота выбрала меня делегатом; с этого дня получил я привилегию: в то время как товарищи проделывали «ротное ученье» или еще какую прелесть, я мог заседать, с глубокомысленным видом решать вопросы училищной жизни в маленьком классе под парикмахерской. Там собирались мы, как некий комитет. Надо сознаться, что временами комитет наш очень разрастался: являлись личности, не желавшие идти на гимнастику или на

лекции, скромно занимали задние парты — так называемые «ловчилы». Здесь они были в безопасности. Мы покрывали их авторитетом коллегии.

Мне пришлось тогда бывать в Совете солдатских депутатов в качестве члена его. Видел я море солдатских папах, шинелей, бородатых лиц, бойких вольноопределяющихся из евреев и представителей «окопов» — людей действительно видавших виды. Все они получили возможность говорить. Серое человечество долго молчало; много терпело всяких бед и зол, грубостей, мордобитий и несправедливостей — и однажды проснулось свободнейшим из человечеств. Говорить захотелось. Косолапо, нечленораздельно заговорили. Но все казалось мало. Бесконечно подымались на трибуну Политехнического музея «товарищи», десятки раз повторялись, с наивностью утверждали общеизвестное, но так и быть должно, ибо ведь *в первый раз*, впервые! О своих, кровных, мучительных делах. Являлись делегаты с разных фронтов, от всяких гарнизонов, все приветствовали, все заявляли, что у них не хуже, чем где-нибудь, что они не плоше революционеры. Случалось, что впадали в искреннюю экзальтацию, например, из-за того, что приходилось избрать депутатов для встречи поезда с политическими. Были и трогательные минуты. Приехал командующий войсками. Говорил он вещи нехитрые. Потом вызвал к себе на эстраду солдата и поцеловал. «В его лице всех вас целую, товарищи». Я сидел довольно высоко. Среди грома рукоплесканий чувствовалось, как взволнованы солдаты, В дальнейшем во время речи многие сморкались. Обернувшись назад, я увидел рыжего солдата, который положил голову на барьер и плакал. Когда командующий войсками кончил, встал бородач, какой-нибудь воронежский «дядя», землероб, и сказал: «Г<осподин> командующий, благодарим вас за добрые слова. Кланяюсь вам земно, г<осподин> командующий». И как сидел у прохода, тут же опустился на землю, зарыдал. Немолодой мужик, наверно видавший виды, он лежал и плакал, от волнения не мог больше ничего сказать, И должно быть, правда впервые услыхал он от начальства слова ласковые, «добрые». Очень он по ним стосковался. Его речь была самая сильная из слышанных мною.

Этот командующий был тогда героем дня. Он ездил верхом, в коричневой папахе, имея вид атамана, говорил слегка театрально, но в меру. Его автомобиль встречали восторгами. А потом его звезда пошла на убыль; с той же легкостью, как вознесла, толпа его низвергла,[15] тотчас забыла, и на руках носит теперь других, чьи триумфы, как всегда полагалось в революциях, тоже наверно недолги.

Приближался наш выпуск. Мы, т. е. делегаты, к этому времени успели провести свои «реформы»: отмена обязательных нарядов в церковь, ночной отпуск, контроль над кухней и т. п. Мы работали для младшего

поколения, чтобы им легче было жить. Наши заветы приняты были с пылкостью, свойственной русским; и теперь даже, сколько я знаю, надлежит уже сочетать там дух свободы с духом дисциплины — дабы не победил столь всем нам близкий дух простого беспорядка.

За несколько дней до выпуска мы чувствовали себя барами: ничего не делали, мечтательно валялись по кроватям, непрерывно уходили в отпуск и примеряли — то шинели, то фуражки. В последний день притащили из Экономического общества все свои новые аппараты[16] — устали ужасно, но занятно было надевать новенькие френчи, новые брюки. Весь вечер, следующее утро зеркала работали непрерывно; мы фигурничали пред ними. Младшие с завистью на нас глядели; им еще два месяца сидеть тут, вставать по барабану, ходить вниз обедать и вечерами сидеть в чайной. Мы же сразу стали нарядней, чище, с наслаждением сдавали в цейхгауз свою старую чешую. Все казалось безобразным.

В той же зале, где мы присягали новому правительству, нас и произвели.[17] Разумеется, командующий войсками говорил речь, а мы орали «ура». Так уж заведено. И вечером, получив деньги, документы, попрощавшись друг с другом — надолго, если не навсегда — со скромными прапорщичьими сундучками мы разъехались — кто куда. Помню, был тёплый серый вечер. Извозчик быстро гнал по Знаменскому переулку. Мне отдавали честь встречные солдаты. Было такое чувство, будто мне не тридцать шесть, а семнадцать, и только что я кончил гимназию, в первый раз еду свободным человеком. А куда, и что ждет — неведомо.

КРЕСТНЫЙ

(Из литературных воспоминаний)

В августе 1900 г., молоденьким студентом Горного института, я приехал в Ялту. Было суховато, сиренево, и солнца мало. Я впервые видел юг. Жил в гостинице с балконом на море, и подолгу сидел, смотрел, как вдалеке белели паруса. Мечтал, конечно — мало ли о чем мечтают в девятнадцать лет?

Но кроме Крыма, шашлы,[1] моря был у меня и еще тайный интерес, его я очень тщательно скрывал от близких: я написал некую штуку и отправил ее Чехову, еще из Москвы. А теперь хотел увидать его и поговорить. Да, легко сказать! Поговорить с Чеховым.

Сколько себя помню, я был очень робок. Но вот тут что-то случилось: вынь да положь Чехова.

И наступил некий день, когда в гостинице своей, в телефонную трубку я услыхал низкий и покойный голос:

— Да когда хотите. Хоть сейчас.

Погибать так погибать. Именно сейчас. Но у меня не было ощущения гибели. Напротив, восторг заливал. Дело все в том, что Чехов назвал меня по имени и отчеству. Он помнит, как меня зовут!

Боже мой, что за блеск!

И вот ялтинский извозчик, парный, с белым верхом, везет по Аутской улице, вверх, какими-то заворотами, мимо садов, дач, останавливается у решетки.

Чехов сам отворил дверь. Молодой человек с трубкою рукописи, похожий на меня, выскользнул на пыльную дорогу.

А я через минуту был на его месте, в том же кабинете. Большое окно выходило в горы. Чехов сел на диван в нише — на такой турецкий диван, как у всех нас бывали, красно-пестрый. Над ним, и по всей комнате, всякие картинки, много Левитана, фотографические снимки, группы. Комната полна разных мелочей — и тоже будто пестрая.

Облик Чехова так сохранился в памяти: умные и приятные серые глаза, пенсне, путаные и легкие волосы на голове, сидит бочкомм, нога за ногу, несколько лениво прост, спокоен и прохладен. Малоразговорчив. Вынул рукопись.

— Дневник... Очень уж легкая форма. Все, что угодно сюда всаживаете.

Я смотрел на рукопись. В одном месте на нее капнуло стеарином. Значит, он читал ее при свече... Опять идиотическое волнение влюбленного.

— Повести-то трудней писать. Вы вот мне повесть напишите.

Сколько теперь вспоминаю, прислал я ему нечто «меланхолическое», заметки от первого лица, подражание Мопассану и ему самому, Печатать, конечно, нельзя было: я и не рассчитывал. Но то, что в немногих, спокойных его словах была очень коротенькая фраза — ободрительная — это и решило дело. Вот она, внесознательная, как чувство пола, сила, что занесла в эту Аутку, к знаменитому, прохладно-скромному человеку в пенсне: что-то в «натуре» ждало благословляющего слова. Ну, и вот, начинай.

Главное сказано. Чехов и замолчал. Чтобы «поддержать разговор», я спросил — и мне казалось, что это я очень неглупо спрашиваю, — пишет ли он «с натуры», или «воображаемое». (Ведь мы теперь были «сотоварищи по ремеслу!») О таких вещах его спрашивали, очевидно, не впервые. Лицо стало сумрачнее. Приблизительно это могло значить: «Господи, опять какая чепуха!» Он кашлянул и ответил:

— Если у меня на руке пять пальцев, то я не могу написать, что шесть...

Из такой ямы я не мог уже выбраться. Разговор «об искусстве» закончился. Чехов проще, приветливей спросил меня, сколько мне лет, кто родители, какой губернии. Кажется, из всего моего посещения он больше всего одобрил, что мне нет еще двадцати.

Все равно, пусть прощал кое-что и за юность, пусть свое ободренье сказал по привычке, при виде молодого человека с рукописью» — я от него иным вышел, чем входил. Отступления не было. Яд вошел, и надо мною, как над будущим инженером (на плечах моих были вензеля Екатерины, основательницы Горного института) — надо было поставить крест.

Через год появился мой первый очерк в Москве, в газете «Курьер».[2] Затем я встречал Чехова, бледного и больного, у Телешова на собраниях литературного кружка «Среда». А июльским утром 1904 г. на Николаевском вокзале, с мокрыми от слез глазами, нес на руках тяжелый гроб моего крёстного, и долог, горек был для меня этот день, этот путь к Новодевичьему, чрез всю нашу Москву.

Теперь крёстный далеко. Не знаю, носит ли сегодняшняя молодежь веночки на его могилу. В наши времена носили. Но сейчас он не в фаворе. Пусть. Каким был, таким и остался, настоящий, прекрасный русский художник. Если доведется Москву увидеть — снесу ему цветов в Новодевичий, поклонюсь могиле.

МОСКВА. ЧЕХОВ

> Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою Дамку.
>
> *Ан. Чехов. «Свирель».*

Небольшой театр в Каретном ряду принадлежал Константину Васильевичу Мошнину,[1] охотнику, барину, инженеру-механику, читавшему курс в Александровском училище. Он был тезкой и приятелем моего отца. На премьеры «Дяди Вани», «Трех сестер», «Одиноких» (Гауптмана) мы приезжали с дальнего «завода Гужона» к К<онстантину> В<асильевичу> — пили чай и какими-то переходами шли прямо в театр, в литерную ложу рядом со сценой.

— Ну как, тезка, — спрашивал отец, — когда на облаву соберемся?

Константин Васильевич, красивый сероглазый барин, еще в детстве моем приезжавший к нам охотиться, отвечал, слегка заикаясь:

— Да ка-акая же, тезка, обла-ва, когда мне моих се-еттеров в Александровском надо экзамен-новать?

Почему юнкеров называл он (добродушно, необидно) сеттерами, я точно не помню: кажется, в механике не так далеко они ушли, потому.

— По-ойдем, по-смотрим, чего нынче будут играть.

И из старомодной, насиженной квартиры с портретами, фикусами, пальмами, с охотничьими книгами, рогами и ружьями, сразу попадали мы в другой мир — нас, молодых, очень пронзавший. Занавес с чайкою на ней раздвигался, Треплевы, Тригорины, «сестры» начинали перед темным залом свои бессильно-нервические ламентации.

Охотникам, людям мажора и активности, это совсем не нравилось. Сидя в глубине ложи, они острили, как острила тогда вся «старая» Москва:

— «В Москву, в Москву!» Ну, захотели в Москву ехать, так и пускай билеты покупают!

После второго, третьего акта, Константин Васильевич шептал отцу:

— По-ойдем-ка, поищем дома, там у меня ко-оньяк есть охотницкий...

И они исчезали. Мы же этим возмущались, сидели честно до конца и выходили взволнованные, что называется, «выносили» нечто из театра.

Но Мошнины кормили еще на дорогу разными холодными блюдами, сладостями, тортами — на «завод Гужона» возвращались мы поздно, плетясь на громыхавших по московским мостовым извозчиках немало. Все же и дома, в одноэтажном особняке отца, чуть не до рассвета пережевывали и переживали виденное...

Такой был Чехов для тогдашней молодежи: его пьесы — не только искусство, а и часть жизни, как и самый Художественный театр. И театр, и драматург делили людей на два лагеря: «за» — «против». Некоторые энтузиастки смотрели «Трех сестер» по тринадцати раз. Одна старая дама отказала молодой от дому за то, что та слишком увлекалась этими же «сестрами».

Чехов нами владел, управлял, но мы его почти не видели: молчаливо и замкнуто кашлял он в Ялте, ходил по вечерам в городской сад, приближаясь к ранней смерти.



Отец собирался купить под Москвою имение. Иногда мы с ним выезжали на осмотры, по газетным объявлениям. И вот однажды я вычитал, что продается имение Мелихово, г. Чехова, близ ст. Лопасня. Оно,

видимо, нам не подходило, но какой соблазн! Имение Чехова! Я прикинулся заинтересованным. В жаркий июньский день зашел по указанному адресу на Малую Дмитровку, в Дегтярный переулок — с бьющимся сердцем позвонил у дверей Чехова.

Вышел человек в пенсне, с очень умными и приятными серыми глазами, легкими путаными волосами, несколько сутулый, в интеллигентском пиджаке — по-домашнему у него был поднят воротничок.

— А-а, насчет Мелихова, пожалуйте, пожалуйте...

Говорил он низким баском, пригласил в гостиную. Пустота, гулкость жаркой летней квартиры, полной света, за окном горячая пыль Москвы, грохот извозчиков...

В своем пенсне с черною ленточкой Чехов держался просто, лишних слов не говорил, было в нем что-то сдержанное и благородное. Если в Толстом «мужицкое», то в Чехове «крестьянское».

Из разговора выяснилось, что имение неподходящее, все-таки я решил его осмотреть — Чехов как раз туда уезжал, значит...

Лопасня — по Курской дороге, верст семьдесят от Москвы. Поезд идет мимо Царицына с дворцами и прудами знаменитыми, мимо белоствольно-березового Бутова, веселыми и разнообразными краями подмосковными: хорошая улыбка есть в них. Дорога ведет в Крым, на юг к морю, в те времена много свету и прелести было с ней связано. Сама Лопасня — тоже березовые лески, поля, колокольни сел, все мерное и приятное, разнообразно-человечное. В Мелихово меня вез какой-то парень в картузе и пиджаке, парой в тележке. Чеховский пейзаж, чеховский «душевный климат». Да и Левитану тут неплохо, эти рощи осенью зазолотятся совсем под Левитана. Разумеется, и печаль русская в них. Может быть, в этом лесочке и слушал меланхолический Мелитон свирель Луки Бедного.

Мелихово оказалось таким же невидным и внешне незамечательным, как и сам Чехов (его-то как раз дома и не было!). Небольшая усадьба на ровном месте, с плохеньким прудом, одноэтажным домом, темноватым садом. Какая-то липовая аллея, флигелек, где работал, отдельно от семьи, Антон Павлович. Меня принимала сестра его, Мария Павловна, очень на брата похожая (позже, в Москве, я признался ей, как тогда разыгрывал «покупателя», и мы вместе смеялись). Может быть, за мою хитрость и было мне послано отсутствие Чехова (а его, за простоту, Бог избавил от начинающего «собрата») — все-таки я ощутил очень ясно склад, стиль и облик Чехова. Домовитые интеллигенты в деревне. Старенькая матушка, сестра Мария Павловна, художница Хотяинцева.[2] Дом небогатый, но обжитой, с уютом и теплотой не старо-помещичьего, но более просвещенного рода, с книгами, журналами, фотографиями писателей, со следами всех Гольцевых и Лавровых,[3]

с этюдами Левитана... Похоже и на постановку все той же «Чайки». И сад, и беседка, и липы напомнили первое действие («садовое») «Чайки», да и не без «Дяди Вани» тут было.

Разумеется, мой извозчик чуть не полдня кормил лошадей, а меня приветливо занимали и угощали на балконе барышни — в тех летних платьицах конца девяностых годов, в тех высоких прическах, которые сейчас на фотографиях вызывают улыбку и грусть — «все проходит»...

Разумеется, мне показывали имение. И, как полагается в этих случаях, — всем я восхищался. В действительности же в самом Мелихове решительно ничего не было замечательного, кроме хозяина с его «Чайками», «Мужиками» (только что тогда вышедшими) и др.

Мелихово было хорошею декорацией к пьесе «Чехов».



Осенью того же года я видел Чехова более прочно в Ялте, где жил он, распростившись навсегда с Мелиховым, на своей небольшой вилле с таким же «чеховским» устройством и окружением, как под Москвой. Здесь оставался он все тем же задумчивым и молчаливым московским человеком. Не уходила из него Москва! В Москве жила, выступала на сцене О. Л. Книппер — в его же пьесах. Там в Каретном ряду был театр, давший ему славу. Наконец, там просто была сама Москва, где он окончил Университет, о которой столько писал, и с которой так сросся. Чехов любил московские улицы, извозчиков (как они грохотали железными шинами! Трамваев еще не было), московские рестораны: в его время «Эрмитаж», «Тестов», «Большой Московский» особенно славились. Звезда «Праги» позже взошла. Москва была полна и родственников, и разных литературных приятелей.

В Ялте я был, разумеется, в Чехова влюблен, с благоговением слушал его краткие, глухие реплики, бледнел, раскланиваясь в городском саду, — впрочем, в Ялте многие были в него влюблены.

Помню, раз ночью, в юношеской тоске бродя по набережной, зашел я довольно далеко, на какой-то пустынный променад в сторону Ливадии. На скамейке, совсем над морем, сидел, слегка кутаясь, одинокий человек в пальто с поднятым воротничком и шляпе. Чехову было сорок лет, а оставалось ему жить четыре. Внизу шумело море — древнее, вечное, по нем еще Аргонавты плыли — он на него смотрел безмолвно.

Таким и остался в памяти.



Чеховские люди, психология их, быт — ушедшее. Для *нашей* жизни, трудной и сложной, *послегрозовой*, «чеховское» не подходит. Иное

в порядке дня. Но, вспомнив героев Чехова, вспомним о том, что в их неврастенической нетвердости, в их тоске и томлениях, несильных чувствах и нехитрых делах было глубоко-человечное. Главный грех чеховских людей — слабость и отсутствие воли. Но слабость не есть смертный грех. Люди Чехова ушли вместе со старой, милой, несколько рыхлой Москвой. Часть нашей души ушла с ними — другая строится сейчас заново. С новых, укрепленных позиций не будем суровы к минувшему.

Искусство же Чехова, как искусство, живет всегда.



Наездами Чехов в Москве бывал. Появлялся у Телешова на «Среде», у Андреева. Стал еще молчаливее, — чем знаменитее, тем слабее и замкнутей. Его уже и выводила супруга, О. Л. Книппер, под руку, почти как икону. Но все то же пенсне, легкие путаные волосы, серые глаза.

В последний раз я его видел на премьере «Вишневого сада», 19 января 1904 года[4] — уже не у Мошнина в Каретном, а в новом театре Камергерского переулка.[5] Это был двадцатипятилетний его юбилей. Чехов едва стоял на сцене, в обычном своем пиджачке, среди цветов, актрис, актеров — утомленно кланялся, утомленно слушал юбилейные речи, которые глубоко ненавидел (а речи тогда говорили такие же, как и теперь, не лучше. Один покойник Гольцев сколько мог сказать об «огоньках», «светлых идеалах» и т. п.).

Юбилей кончился, Чехов уехал с Ольгою Леонардовной весной за границу. Летом жил в Баденвейлере, тяжко хворал там. И тем же летом, в июле, в семь часов утра нанимали мы с женою извозчика со Спасо-Псковского на Николаевский вокзал — встречать прах Чехова. Извозчик вез по Воздвиженке, через Кутафью башню. Шагом подымался в голубом, златистом утре летнем к стенам Кремля, погромыхивая железными шинами колес. У седоков его глаза были в слезах. Потом медленною рысцой трусил мимо соборов и дворцов, снимал шапку в Спасских воротах и неторопливо разворачивал нам утреннюю и простонародную Москву.

С большим волнением держал я край гроба своего любимого писателя. Было много народу, много цветов, молодежь очень долго несла гроб на руках. На Домниковской взлохмаченный сапожник вылез из подвала, с удивлением взглянул на толпу, спросил:

— Это кого ж это хоронят? Генерала?

— Писателя, — ответили ему.

— Пи-са-те-ля! Вот так так!!

И с изумлением он почесал в затылке.

Медленный ход через всю Москву, литии, панихида у Художественного театра, путь к Новодевичьему монастырю, туманно-золотой блеск его куполов, легкая летняя гроза на кладбище, нежный запах листвы, бесконечные букеты, цветы, слезы, раздирательная, клубящаяся печаль юношеской души — та печаль, которая, однако, явно будет преодолена — вновь служение, речи и, наконец, небольшой холмик над Чеховым — вот облик того пронзительного, остро-сладко-печального дня. Какие-то ландыши и сирень, душевные ландыши, и душевная сирень. Изнеможенная усталость к вечеру.

...Позже на могиле Чехова поставили крест с лампадкой. И всегда были цветы. Было паломничество молодежи в чудный монастырь Новодевичий. Что теперь — не знаю.

МОСКВА. <«ТРИ СЕСТРЫ»>

«Три сестры» в России

Пожалуй, лучший чеховский спектакль Художественного театра были именно «Три сестры». Уж очень хорошо разошлась пьеса — и сама троица сестер,[1] и Станиславский, и Артем, и Лилина.[2] Да и тон, ритм. Но успех не от одного этого зависел. Искусство искусством, а было тут нечто и в жизнечувствии. Некий звук произведения пришелся по душе тогдашней, и ответ шел не только в направлении художества. Вообще Чехов, а особенно «Три сестры» стали не одним лишь предметом созерцания эстетического, но и частью жизни.

Как при всяком крупном успехе, общество разделилось. Одни за, другие против. Одни сестрам сочувствовали, другие на них сердились.

— «В Москву, в Москву!» Взяли бы, да и купили билет.

— Нет, это ведь в смысле таком... знаете... символическом.

Странное было время (для литературы хорошее): если человек любил Гамсуна, Чехова, Ибсена, он как будто принадлежал к некоей партии. Одним свой, другим чуть ли не враг.

Вот пылкая молодая дама московская тринадцать раз видела «Три сестры». Но за это и поплатилась. Дама, другая, немолодая, знавшая ее с детства, была о пьесе иного мнения. Когда в гостиной у немолодой молодая начала восхищаться, та не выдержала.

— Удивляюсь, как это можно тринадцать раз смотреть этот вздор.

— Замечательная пьеса...

— Вздор!

Через несколько минут разговор уже был такой:

— Как? В моем доме? Восхищаться этими развратницами?

Почему бедные сестры оказались развратницами, понять не так просто, но молодая не уступала, слово за слово, так рассердила хозяйку, что пришлось «пострадать за свои убеждения» — из давнишнего дружеского дома на несколько времени вылететь.

Сколько было таких перепалок! Сердились на сестер обычно старые, и ворчливые: чиновники, судейские, нововременцы, полные дамы в высоких корсетах (опора общества, устои), помещики в фуражках с красным околышем, из числа тех, кто кричал в ресторанах: «Чэ-а-эк!», заказывая холодного поросенка с хреном.

На стороне сестер была более юная часть: курсистки с «Островом мертвых»[3] над постелью, «чуткая молодежь» непартийного характера, интеллигенты средних лет, артистическая богема, учительницы, наконец, просвещенная часть провинции — все приезжавшие в Москву шли непременно в Художественный театр.

А вот и влияние пьесы на тогдашнюю жизнь: в «Трех сестрах» учитель Кулыгин сбрил себе усы, чтобы походить на директора. В городе Серпухове, в начале этого века, когда гремели «Три сестры», учитель латинского языка, некий ut consecutivum,[4] которыми полна была Россия, тоже сбрил усы, но не для директора: а чтобы походить на Кулыгина из пьесы.

— Я доволен! Я, Маша, доволен!

Скромный Кулыгин чеховский, сквозь слезы улыбающийся изменившей жене, развлекающий ее накладными усами, найденными у ученика в классе, — вот он, прославлен в Серпухове.

Сам Чехов

Весь этот шум произошел из-за человека тихого, больного, сидевшего в Ялте (в Москву его не пускали врачи), из окна ауткинского своего кабинета видевшего крымские горы, по вечерам спускавшегося в городской сад, бродившего там — в пенсне, подняв воротник пальто, покашливавшего, иной раз одиноко сидевшего у моря.

Антон Павлович Чехов не гонялся за славой. Она сама к нему шла. «Гул» ее доносился из Москвы до дачи селения Аутка над Ялтой, во всей зимней заброшенности этого места. Робкие молодые писатели с трубкой рукописи в ледяной руке, дамы, стремившиеся узнать, «как жить», учителя, врачи из провинции — всякий народ бывал на этой уединенной и уютно-грустной «вилле». К Чехову тоже отношение было не только как к писателю, хотя он и не стоял «на славном посту», терпеть не мог юбилеев и речей с призывами «к огонькам, уже маячащим в беспросветной мгле реакции». Чехов был просто замкнутый, одинокий, скромный человек, не без прохладности, вовсе без сладостности, но человеколюбивая и христианская душа. Кому приходилось

бывать в Мелихове, подмосковном его именьице (ко времени «Трех сестер» он Мелихово уже продал), тот знает, сколько нешумного добра творил вокруг себя Чехов. Как хорошо, что он был врач! Много постранствовал около Мелихова и Лопасни, много и посмотрел, многим помог. «Это что же за школа?» — спрашивает проезжий через деревню. «А это Антон Павлович нам охлопатывал», — отвечает извозчик с Лопасни. Глядишь, и больница: тоже «господин Чехов устраивали». За сохой он не ходил и опрощаться не собирался, но на голод вполне мог поехать. А в общем: очень его почитал человек, «немножко» знавший людей, — Лев Толстой (только пьес не признавал... впрочем, и шекспировских тоже).

Да и Россия того времени очень любила Чехова, художника-человека, человека-поэта, именно это сливалось в каком-то необыкновенно русском звуке. Чехов взгляд на жизнь имел широкий и глаз верный. Что темно, что светло, видел отлично. Но удивителен у него дух сочувствия, снисходительности к слабости человека и его несовершенству. Взять повесть «Дуэль» — не лучшее его произведение, но характерное: сколько доброты! Просто удивляешься. И уж не говорю о вершинах писания чеховского: «В овраге», «Архиерей»... Приближался конец его земной, и вот все он рос.

Сидя у себя в Ялте, сильно по Москве скучал, подпевал в этом сестрам. Любил московскую зиму, извозчиков в санках, ресторан «Эрмитаж» («Прага» явилась позже), были у него в Москве и приятели. Была и Ольга Леонардовна Книппер — Маша из «Трех сестер».

Чехов сам, обликом своим — не одной литературой — вошел в жизнь тогдашнюю некиим добрым кумиром: у скольких курсисток висели открытки с его изображением, сколько учительниц из провинции мечтали о нем, как о тихом заступнике. Именно те, кому жилось тяжело, чьи жизни не удавались, все слабые и незадачливые считали Чехова своим покровителем: и не ошибались. Они, может быть, несколько иконописно представляли себе его, но не обманывались в главном. Это главное и есть сердце пьесы «Три сестры». Чехов писал вещи и выше, но человеческий и поэтический мотив этой пьесы особенно пришелся к месту — «дошел».

«Три сестры» здесь

— Буду играть Машу, пока жива! — говорила Книппер — любила эту роль и успех в ней имела огромный. «Три сестры» очень долго держались в репертуаре Художественного театра. Шли и в революцию. Но не удивлюсь, если вскоре будут возобновлены. А пока что идут в Лондоне и Нью-Йорке, возможно, поставят их в Калькутте или Австралии: Чехов очень, по-настоящему знаменит в англо-американском мире.

Молодой наш «Русский театр»[5] открывал сезон «Тремя сестрами»[6] не без опасений. Эти опасения понятны. Русские даже больше боялись за свою русскую публику, чем англичане за английскую. Английская революции не переживала.

Вот образчик неодобряющих — из молодежи. Юный русский эмигрант так отозвался о «Трех сестрах» (в Париже, на любительском спектакле — шли отдельные сцены):

— Удивляюсь. Ведь они же в России жили? В Москву даже и разрешения не надо было тогда хлопотать. Я через три страны без визы и без денег пробрался. А они все плачут. Из какой-нибудь Пензы до Москвы не доехать? Не понимаю.

Другой разряд недовольных — люди «современные», на литературу смотрящие с точки такой: что в нынешнем году носят? Длинные платья или короткие, шляпы полуклоунские или аэропланные?

— Советская литература, конечно, груба, — говорят они. — Такова там жизнь. И их литература интересна нам потому, что отражает Россию, родину... Агитку мы, конечно, отбрасываем. Но ведь это новая жизнь, строительство... (Года два назад такие разговоры часто приходилось слышать. Теперь они явление старомодное.)

Эмигрантский театр мог рассчитывать на разные недоброжелательные слои публики. Те, кто Чехова любит, тоже могли опасаться. Не без волнения шли некоторые на спектакль. Проверить других, да и себя проверить. Как действует время даже на подлинное художество? И насколько жизнь изменилась?

Впечатления получились сильные, подтвердили старую истину: жизнь беспредельно текуча, поэзия преодолевает время.

Сначала о жизни. Жизнь русская изменилась с «Трех сестер» настолько, будто прошло не сорок, а сто сорок лет. Незачем говорить, лучше она стала или хуже... Но вот что сразу видно: в тех людях — слабых и неврастеничных, неспособных бороться, — как мало хищности! В пьесе грубость и хищность представлены лишь женою Андрея, да и то в скромных формах. Сестры страдают от окружающей пошлости, невежественности, невоспитанности. Все это так. Верим, что город был скучный. Но как все-таки все мирно! Где преступления, кровь, насилия, войны, — ужасы, творящиеся вокруг нас теперь походя? А как мало завоевательного у чеховских военных! Мечтатели, тоскующие души... Есть в последних, конечно, и не-объективное, слишком лично чеховское (особенно в Вершинине), все же и действительно в русском офицере того времени мало было кровожадности, воли к убиению. А была ли воля к власти в просвещенном русском обществе?

Тут начинаются философические размышления.

— Ага! Вот они, чеховские люди! Милые сестры! Проворонили Россию. Отдали настоящим Лопахиным. Туда им и дорога.

Спорить не приходиться. Отдали. «Проворонили». Перечитывая Чехова, поражаешься, как мало Россия вырабатывала действенного сопротивления злу, ответного удара. У Липы, молодой матери («В овраге») на глазах невестка Аксинья обливает кипятком ребенка — Липа страдает безмолвно. Не пытается даже ответить как-нибудь. Богомольная Варвара знает, что у них в лавке обмеривают и обвешивают: но не пошевельнется, чтобы с этим бороться. «В овраге» кончается полным торжеством зла. В плане жизни практической, реальной ему нет сопротивления. Побеждается оно в плане святости, светлого милосердия: победительница — та же Липа, подающая на большой дороге кусок пирога с кашей своему свекру, выгнанному из дома Аксиньей.

Так что можно и не размахивать руками, ругая Россию, а призадуматься.

— Хорошо: слабость, обломовщина, негражданственность.

Все это было. Некая вялость. Но одно ли это? Вот ведь уж Толстой не такой Обломов и не чеховский герой, а ведь и у него непротивление... А Достоевский с «Кроткой», Тургенев с «Живыми мощами», Чехов со своей Липой? — Что же, это все так, зря? «Напрасно» лучшие русские творцы что-то выразили? И нет ли в «заклании» Родины нашей смысла более, более глубокого — может быть ведь и так, что не то что ее «прозевали», «чего-то не доделали»... — а и надлежало ей стать жертвой? Может быть самые несчастные — не напрасно несчастны?

Но это разговор сложный. Возвращаемся к пьесе. Конечно, со стороны отражения жизни это история. Со стороны же искусства — нет. Устарели лишь мелочи, а изобразительность Чехова, его рисунок, словечки, люди — все живое и все живет, и так же трогают Кулыгин и Чебутыкин. А главное, в самой пьесе есть вечный звук, звук поэзии, проходящий через все обличия бытия.

Не-сильные, не-хищные, довольно скромные и изящные люди тоскуют в жизни пошлой. Хочется видеть счастие, красоту. Но их нет. Мечтают, говорят иногда наивности. Но кто же не мечтает о счастье? Ведь вот и в России теперешней томится же кто-то по любви «с черемухой», а ведь «черемуха» — это «в Москву, в Москву». И ведь пока черемуха у людей есть, они и живы.

Театр отлично сыграл пьесу. Удачно разошлись роли, удачно взял режиссер[7] довольно крепкий тон, не впадая в паузы и заунывность. Как и в прежнем Художественном театре, спектакль оказался лучшим в репертуаре. И очень замечательно: с первого же действия немолодая и немодная пьеса, «устарелая» жизнь, проведенная автором и театром

через искусство, неумирающей частью своей доходила в зрительный зал. Успех был большой.

Вряд ли нынешняя молодая дама побежит тринадцать раз смотреть «Три сестры», и насчет «чуткой молодежи» дело сейчас обстоит иначе. Но замечательно, что через сорок почти лет, в чужой стране, после потопа и ковчега русские зрители все же оказались взволнованы, покорены поэтом и театром. Чем не победа? Театр сделал шаг не без смелости. Но игру вполне выиграл.

РОССИЯ ЧЕХОВА

Мелихово

Отец мой решил купить имение, недалеко от города. Мы ездили с ним иногда из Москвы, по газетным объявлениям. И ничего не находили.

Вдруг в «Русских Ведомостях» читаю: «Близ станции Лопасня, Московско-Курской ж. д., продается имение А. П. Чехова, Мелихово» — были и подробности. По ним выходило довольно ясно, что мало это для нас подходяще. Но — имение Чехова — и он сам там живет!

Лопасня в 70 в<ерстах> от Москвы. На другой же день, часов в одиннадцать я нанимал на этой Лопасне извозчика в Мелихово — на паре в тележке покатил подмосковными проселками, по мягко-пыльной колее, среди березовых лесочков, немудрящих пашен, в милом пейзаже средне-русском.

Через час Мелихово — скромная, неказистая усадебка при деревне, на совершенно ровном месте, только рощица. И странным образом забор отделяет ее от усадьбы соседней — там тоже дом, сад! Никакого сомнения: отец и не взглянул бы на все это. Но отступать поздно. Тележка останавливается у одноэтажного дома, тоже небольшого, чистенького, все подновлено, в порядке. Барышня встречает на крыльце. Черты лица очень напоминают Чехова (по фотографии): нечто и простонародно-русское, и благородно-сдержанное — сестра его Марья Павловна.

— Я насчет имения...

— Антоша в Москву уехал.

Должно быть, лицо мое нечто изобразило. Марья Павловна улыбнулась:

— Да ничего, вам все и без него покажут. Слезайте.

Не без смущения я слез.

— Идемте, я вас познакомлю с мамой. Сейчас обедать будем, а там посмотрите наше Мелихово.

Так все и вышло. Мама оказалась старушка Евгения Яковлевна, в белом чепце, худенькая и довольно аккуратная — из настоящих писательских матерей, обожавшая «Антошу» попросту, вероятно, считавшая его центром вселенной (так и надо. Мать Гоголя полагала, что пароходы изобретены тоже Николаем Васильевичем).[1]

Старая мирная Россия!

Студента, впервые встреченного, приняли как близкого знакомого, усадили за окрошку на террасе — хоть и робел он вначале, но потом отошел: художница Хотяинцева с высоким узлом волос на голове, как тогда носили, все хохотала, Марья Павловна улыбалась серыми глазами. Расспрашивали о Горном институте, Петербурге, разных пустяках. И чувствовали, конечно, что приезжий — поклонник «Антоши», относится к нему с благоговением. Значить — свой, друга.

Все-таки после обеда пришлось все осматривать. Хотя самого Чехова не было, Мелихово нечто о нем говорило. Скромностью, малозаметностью своею, духом устроения, порядка. Сад напомнил декорацию первого действия «Чайки» — Станиславский с актерами тут бывал. Показала мне Марья Павловна и флигелек в саду.

— Здесь Антоша живет.

Кажется, одна всего комната, очень простенькая. И маленький балкон, чуть ли не наравне с крышей.

— Антоша по вечерам, поздно, любит здесь сидеть. Звезды наблюдает.

Землю, посевы, лес показывал уже староста. Это следовало претерпеть — назвался покупателем, так и смотри. Но в деревне тоже всюду следы Чехова.

— Это что же за дом такой?

— Школа. Антон Павлович нам охлопатывал.

А там и больница. Тоже:

— Господин Чехов устраивали.

Неудивительно. «Господин Чехов» принадлежал к последним русским писателям XIX-го, милостивого русского века. Можно было и не быть «идейным» бородачом из народников, все же такой — будто бы! и «безыдейный», как Чехов, оказывался другом народа, заступником, ходатаем.

Хорошо, что он был врачом. Это очень ему подходило. Много постранствовал около Мелихова и Лопасни, много и посмотрел, многим помог. Страшная холера была в России в 1892 г. «Господин Чехов» принял командование двадцатью пятью деревнями вокруг Мелихова. Устроил оборону от болезни, медицинские пункты, собирал деньги, разъезжал — «неделями не вылезал из тарантаса», — сказано в его биографии.[2] (Не есть ли это уже частица и «жития»?)

Последним показал мне староста пруд. Кажется — гордость Антона Павловича: завел у себя в имении пруд, сам выкопал! Со стороны трудолюбия замечательно. Мне же пруд этот — вроде сажалки[3] с мутной водицей, тощими ивами, тремя карасями — показался убогим ужасно!

Выдавать себя все-таки не приходилось. Я сказал Марье Павловне, что передам все об имении отцу. Но должен повидать и самого Антона Павловича.

Она дала мне его адрес — на Большой Дмитровке.

В Крыму

Чехов потому продавал Мелихово, что врачи не позволяли ему жить на севере. Он завел дачу в Аутке, над Ялтой, переселялся туда.

Жарким летним утром на Большой Дмитровке дверь отворил мне человек в пенсне, слегка сутулый, в скромном пиджачке, со спутанными, легкими и приятными волосами на голове. Чехов в своей полупустой московской квартире оказался именно такой, как надо. Говорил мало и негромко, был учтив, сдержан. Покашливал. Мы сидели и разговаривали... — о посевах в Мелихове, лугах, роще, о коровах и лошадях. «Я вас обожаю», — должен бы я был крикнуть. А спрашивал о том, заложено ли имение, какова окончательная цена.

И опять, как с Марьей Павловной:

— Передам все это отцу.

Но уже Чехов отравил меня. Отцу, конечно, я, что нужно, передал. Мелихова мы, разумеется, не купили, но дома, в тиши лета, подстроил я все так, что осенью меня отпустили в Крым, в Ялту. Еще из Москвы отправил я Чехову первую свою рукопись — даже домашние ничего о ней не знали.

Для человека в девятнадцать лет первый раз Крым, море, Ялта! Я остановился в «Гранд Отеле», с балкона подолгу глазел на море, объедался виноградом шашла, ходил обедать в «Россию» к знакомому по Москве. Ездил на лошадях в Гурзуф и Алупку, вечером сидел на музыке в городском саду, но главное... — тут вблизи Чехова! Не только он был, но и принял меня на даче в Аутке, прочел рукопись, сказал несколько ободряющих слов. Про имение же — ни звука. Какое уж там имение, когда дело идет о литературе!

Из тех ялтинских дней кое-что и осталось о жизни Чехова.

Дача была небольшая, но поместительная. Из окна кабинета — горы. Письменный стол с подсвечниками на нем в сладостном волнении раскланивался письмами, фотографиями. Фотографии, группы и на стенах. В нише, над турецким диваном этюд Левитана — кажется, копны на вечерней заре. В садике бродил любимый журавль, собака была любимая. А жизнь меланхолическая. По вечерам спускался Чехов в го-

родской сад, бродил там, ужинал со знакомыми, пил красное вино. «Покупатель» с ним. А после ужина Чехов бродил один, в пенсне своем, подняв воротник пальто, покашливая.

Помню, довольно поздно забрел я на окраину Ялты, по дороге в Ливадию. Море слева, луна светить неярко, облака набегают. А внизу — волны, шум бесконечный, вечный. На скамеечке, лицом к морю, одиноко сидел Чехов, кутаясь в пальто свое, шляпу надвинув. Сидел неподвижно, смотрел, смотрел...

К Чехову отношение в обществе было не только как к профессионалу. Кроме юных писателей, робких, с трубкой рукописи в ледяной руке, приходили к нему и дамы, стремившиеся узнать «как жить», и учителя, врачи из провинции — всякий народ. Все мы были его крестом, но что поделать, крест этот — плата за славу.

Чехов никак, впрочем, не стоял «на славном посту», терпеть не мог ни учительства, ни парада юбилеев, ни речей. Замкнутый, одинокий, скромный человек. Не без прохладности, вовсе без сладостности, но человеколюбивая, христианская душа.

Россия того времени очень любила его, художника-человека, человека-поэта, именно это сливалось в нем в каком-то необыкновенно русском звуке. Он вошел в жизнь тогдашнюю некиим добрым кумиром: у скольких курсисток висели открытки с его изображениями, сколько учительниц из провинции мечтали о нем, как о тихом заступнике. Именно те, кому жилось тяжело, чьи жизни не удавались, все слабые и незадачливые считали Чехова своим покровителем. И не ошибались. Они, может быть, несколько иконописно представляли себе его, но не обманывались в главном.

Уход

Утро июльское в Москве — солнечное, прелестное. 1904-й год. Извозчик в пролетке на железных шинах трусцой вез через Кремль. От Боровицких ворот шагом подымался он на взгорье ко Дворцу — направо сияет в голубоватом тумане Замоскворечье с золотыми крестами разных Кадашей, весь Кремль блестит золотом куполов, все горит, поет переливается... — но «покупателю» слезы застилали глаза: на Николаевский вокзал прибывает нынче тело любимого писателя. Вот оно и Мелихово, и Аутка, Крым! «2-го июля в Баденвейлере скончался А. П. Чехов».

На вокзале толпа, но не столь большая. Тяжелый коричневый гроб вынесли мы на руках — началось «последнее путешествие» Чехова через Москву, которую очень он любил — в Новодевичий монастырь, на кладбище. На Домниковской, грязной улице близ вокзала, портные выскочили из подвального помещения, удивленные толпой. «Генерала

хоронят?» — «Нет, писателя. Чехова». Имени этого, конечно, они не знали. И еще более удивились: из за чего же народ собрался?

Писателей было мало: Горький да Телешов, большинство уж разъехалось. У Художественного театра служили литию. Да и в других местах останавливались — очень медленно двигалась процессия.

Кладбище Новодевичьего все в зелени, чудесный это монастырь.

Успела собраться гроза — беглая, остро-шумная, посекла дождем, поразметала толпу — но сейчас же и ярче засверкали мокрые листья, серебром брызнуло но кленам, липам кладбищенским. А на могиле уж гора цветов.

Так что Чехов упокоился в Москве. Похороны и весь уход его очень мы переживали, и не мы одни, но все это осталось воспоминанием... — можно бы сказать: поэтически-музыкальным. Хорошо, тихо, с достоинством и в любви ушел Чехов — взволнованные глаза девические, цветы, вздохи, даже самый блеск дождя сквозь солнце...

С Чеховым уходил мирный русский XIX век. В «Вишневом саду» какая-то бадья срывается на закате в шахте — протяжный, горестно-меланхолический звук («точно с неба, звук лопнувшей струны»). В смерти Чехова был стон уходящей России, скромный и смиренный.

Никакими вещаниями Чехов не занимался. Но в прекрасной повести его «Три года»[4] есть о том, что он любил (о Москве) слова замечательные.

Ярцев и Костя Кочевой возвращаются ночью пешком из Сокольников, с дачи, в Москву.

...«Когда дошли до Красного пруда, уже светало.

— Москва — это город, которому придется еще много страдать, — сказал Ярцев, глядя на Алексеевский монастырь.

— Что это вам пришло в голову?

— Так. Люблю я Москву».

Сказал ли это Чехов «так»? Или мерещилось ему уж нечто? Но как умно сказал, и верно!

Страданий Москвы ему, слава Богу, не довелось видеть. Это выпало уже другим.

АЛЕКСАНДР БЛОК

(К десятилетию смерти — из воспоминаний)

Первое, самое раннее впечатление: высокий лоб, слегка вьющиеся волосы, прозрачные, холодноватые глаза, и общий облик — юноши, пажа, поэта.[1] Носил он низкие отложные воротнички, шея свободно

подымалась над ними — это ему шло. Стихи читал, как полагалось по тем временам, но со своим оттенком, чуть гнусавя и от слушающих себя отделяя холодком.

Позже, летом 1908 г. мне пришлось жить у Г. И. Чулкова, на Малой Невке. Осталась память о воде, прохладе, влажном Петербурге, запахах смоленых барж, рыбы, канатов.

О взморье, о ночах туманных, и о Блоке. Не глубокое воспоминание, и довольно беглое, но соответствующее той новой полосе, в которую он вступал. Уходил юноша, появлялся взрослый. Резче обозначались черты, вес в них прибавлялся, огрубел цвет лица. Что-то в Блоке уже колобродило. Каким-то ветром все его шатало, он даже ходил, как бы покачиваясь. И на сердце у него было невесело.

Мы ездили с ним и Чулковым на острова, в ночные рестораны, по ночным мостам с голубевшими электрическими шарами, с мягким, сырым ветром. Много и довольно бестолково пили, рассуждали (разумеется, превыспренно), особых незнакомок, впрочем, не встречали. Блок хмурился, что-то утомленное, несвежее в нем чувствовалось. Он нездорово жил.

Лицо его приняло медный оттенок, шея хорошо белела в отложных воротничках, глаза покраснели, потускнели. Но стеклянность взгляда их даже и возросла.

Странные вообще были у него глаза.



14 августа 1912 г., свежим утром, на Мясницкой у Эйнем,[2] я встретил Блока — и запомнил встречу потому, что она пришлась на день важного события в моей семье.[3] Радостно было встретить именно тогда Блока московского, — спокойного, приветливого, дружески поздравившего и приславшего жене моей цветы и свои книги. Эти книги долго потом странствовали с нами, в разнообразных положениях страшной эпохи, и теперь где-то в деревне — если не раскурены и не развеяны по ветру «новой жизнью».

А сам Блок надолго ушел из поля зрения (я жил в Москве, он в Петербурге).

Подошла война. Он на нее, как будто бы, не отозвался (удивительно, как русские писатели мало оказались с войною связаны. В этом проявилось, конечно, нечто зловещее). Война привела и революцию — конец того зыбкого, мечтательно-романтического и болезненного, что определило приговор целой эпохе. Немезида надвигалась. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее — поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и «нервических» девиц богемы

и полубогемы, всех «Бродячих собак» и театральных студий оказался Александр Блок. Он находил отклик. К окружающему отлично подходил тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и разымчивость, негероичность. Блок стал уж признанной звездою литературы. После «Прекрасной Дамы», «Снежной маски», «Балаганчика» написал (во времена военные) «Розу и Крест» — романтическую пьесу, одно из самых тонких и возвышенных своих произведений.

Затем, уж в революцию, «Соловьиный сад» (прощание с прежним). Наконец, знаменитое «Двенадцать».

Ясно помню вечер в Москве, зимою, в одном литературном доме, когда подали мне газету:

— Вот, смотрите.

Блок на сером и унылом листе газеты.[4] Но и Блок иной. «Прекрасной Даме», «Розе и Кресту» шла готика. «Двенадцать» — другой мир, уже клубившийся вокруг нас — шинели и винтовки, махорка, мешочники, кровь, «стенка»...

Я принялся читать — с тяжелым чувством. А позже возвращался домой снежной, бурною ночью. Трамваев уже не было. Кое-где постреливали, кое-где грабили. К обычному в те дни свинцу на сердце Блок подвесил гирьку новую — своей поэмой.

Поэма вызвала резкое разделение. Одна сторона говорила:

— Блок с нами, вон как он попа продернул, и буржуя, и длинноволосого интеллигента... Ну, понятно, у самого пережитки... в белом венчике из роз, впереди Исус Христос... старый словарь... Но это первые шаги, а там разработается.

— Блок стал большевиком! Такой поэт... и *с ними*!

Ни те, ни другие правы не были, а основания имели. Блок написал двусмысленную поэму, одновременно полную и поэтического подъема, и глубокой внутренней «скуки». Померещилось ему что-то в революции, померещилось даже, что Христос может благословить это... именно только померещилось: Христос оказался таким же ненастоящим, как призрачна раньше была «Прекрасная дама». Получилось то путаное, мрачное, немалое и жуткое, поэзия и смерть, где имя Христа всуе помянуто, что есть «Двенадцать».



В начале он читал свою поэму часто.[5] Время шло. Революция двигалась, а он стоял на одном месте, после «Двенадцати» умолк. С некоторых пор и перестал читать эту вещь. Раз, на вопрос о Христе, ответил:

— У меня Христос компилятивный.

Весной 1920 г. приезжал в Москву. Под аккомпанемент взрывов на артиллерийских складах читал стихи в Политехническом музее. Но

«Двенадцати» не прочел. Был очень мрачен. На соответственный вопрос ответил:

— Я этой вещи больше не читаю.

Люди близкие передавали, что Блок в страшном упадке, что надломлено его здоровье, — он не пишет, окончательно во всем (и революции) разуверился и едва жив. Революция подорвала Блока сильно и с внешней стороны: он таскал в четвертый этаж дрова, дурно питался, холодал — в этом делил судьбу почти всех. Но и особенный мрак сгущался над ним, независящий от дров или цынги. Никому легко не приходилось. Все страдали в братии пашей — и душой, и телом. Многие писали, про себя, тайно (печататься не могли).

Не идя «в течении», легкого аплодисмента «не срывали». И — выжили. Блок же, будто бы и очень попавший в точку, вдруг стал гаснуть (видимо для всех). Ему после «Двенадцати» были открыты все дороги, но ни по одной он не пошел. Заседал в каких-то комитетах, сочинял доклады, не писал.

Из деревни я послал ему последнюю свою книгу[6] (печатавшуюся в самом начале революции). Получил длинное письмо, очень дружественное, от «сочувственного сердца». Поразил меня тон беспредельной грусти, разлитой в письме — и тронул. Точно он прощался и о чем-то сожалел, недоделанном и самом важном. Нас же ощущал как «Путников» (так называлась книга). «Давно мы с вами встретились, — писал он, — да все были врозь, не пришлось сойтись поближе, хоть и можно было бы. А теперь, кажется, уже поздно».



В последний раз он приезжал в Москву весною 1921 года. Слава его была значительна, его много читали, даже много и покупали (в «Книжных лавках писателей»). Много печатали. Дошло до того, что одно издательство объявило подписку на собрание детских стихов Блока (в детстве написанных).

Сколько помнится, эта глупость не удалась. Но все равно Блок считался признанным, прошедшим в публику и начинающем стареть. Читал он в нескольких местах. Союз писателей устроил вечер в честь его.[7]

Союз наш — старый особняк, дом Герцена на Тверском бульваре, во дворе, в саду. Уютное и мягкое, покойное осталось в памяти от двух зал: большой, с библиотечными шкафами и диванами, колоннами у двери, и от малой, с креслами, огромным столом, тоже книжными шкафами, бюстом Пушкина.

На вечер Блока собралось много народу. В первом отделении читал Чуковский, в малой зале, а потом подъехал Блок. В глубине большой

залы он стоял у раскрытого в сад окна. На темной зелени яснее выступала голова его, огромный лоб, рыжеватые волосы. Вокруг — кольцо девиц и литераторов. Чуковский кончил. Мы позвали Блока, он вошел, все аплодировали. Но какой Блок! Что осталось в нем от прежнего пажа и юноши, поэта с отложным воротничком и белой шеей! Лицо землистое, стеклянные глаза, резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол, и полузакрыв усталые глаза, начал читать. Сбивался, путал иногда. Но «Скифов» прочел хорошо, с мрачною силой.

И в этой вещи, и в манере чтения, и в том, как он держался, была некая отходная: поэзии его и самой жизни. «Вот человек, — думалось, — из которого ушло живое, и с горестным достоинством поддерживает он лишь видимость».

Он был уж тяжко болен. Но не в одной болезни заключалось дело: не хватало ему воздуха. Прежде тоска его хоть чем-то вуалировалась. После «Двенадцати» все оказалось сорвано. Тьма, тоска, разочарованье.

В тот же приезд Блок выступал в коммунистическом Доме печати. Там вышло проще и грубее. Футуристы и имажинисты прямо закричали ему:

— Мертвец! Мертвец!

Устроили скандал, как полагается. Блок с верной свитой барышень пришел оттуда в наше Studio Italiano.[8] Там холодно, полуживой, читал стихи об Италии — и как далеко это было от Италии!

Жить ему оставалось уж немного. Страдальчески прошли его последние месяцы. Теперь он жил в лучших условиях. Разрешили ехать лечиться (раньше не позволяли), — но уже было поздно. В августе на Никитской, в окне нашей Лавки писателей появился траурный плакат: «Скончался Александр Александрович Блок. Всероссийский Союз писателей приглашает на панихиду, в церкви Николы на Песках, в $2^1/_2$ ч. дня». Этот плакат глядел на юг, на солнце. На него с улицы печально взирали барышни московские.



Так он ушел. Его уход вызвал в России очень большой отклик (заседания, собрания, статьи. Отличились и тут имажинисты — устроили издевательские поминки под непристойным названием). Пожалуй, Блок оказался любимейшим из писателей последних лет. Многие хоронили в нем часть и себя, своей души — повторяю: Блок выражал собою некую полосу России. Полоса кончалась с революцией, умирал «блокизм» — никакой живой идеи он не нес, был расплывчат, тепличен, нездоров, некрепок: истек «клюквенным соком».

По смерти Блока появилось и множество статей, воспоминаний, книг. Неумеренные почитатели печатают теперь такое из его писаний, что пожалуй не весьма его порадовало бы. Как отнестись к этому? Заметки из записной книжки, строки, которых Блок не отдавал *сам* в печать, сейчас, однако, появляются. Раз напечатаны, мы в праве обсуждать их.

И один отрывок очень важен для понимания Блока. Набросок пьесы из жизни Христа («Русский современник»).[9] Может быть, Блок сам чувствовал, что нехорошо говорить об Иисусе: «ни женщина ни мужчина», очень грубое о св. Петре (не хочется и повторять), или «все в Нем (Иисусе) значительное — от народа», «апостолы крали для него колосья» — все-таки *он это написал.* Помечено: 1918 год — Блок эпохи «Двенадцати». Вот в каком состоянии духовном, на каком духовном уровне создавалась поэма «Двенадцать». Что же, «настоящий» Христос вел двенадцать красноармейцев или блоковский, «ни женщина ни мужчина», у которого «все значительное от народа»?.. Теперь видно, *какого* Христа пристегнул беззаконно Блок к своему писанию. Вот что значит «компилятивный»...



Я чувствую, что это надо написать, и все-таки писать мне грустно. В общем, вспоминая Блока, больше вижу его молодым, мечтательным, в низком отложном воротничке, слышу его стихи, ощущаю пронзающее их очарованье:

> Уж не мечтать о подвигах, о славе,
> Все миновалось, молодость прошла.
> Твое лицо, в его простой оправе,
> Своей рукой убрал я со стола.[10]

Блока никто не убивал на дуэли, как полагалось для русских поэтов прошлого века. Он умер (правда, в тяжких физических мучениях) у себя на постели. Умер сравнительно молодым, но уже совершенно разбитым духовно. Оставлял жизнь не победителем, а побежденным. Судьба его очень значительна и сурова. Блок один из трагических обликов русской литературы, и сейчас почему-то (вне сравнения дарований, значения) — вспоминается мне рядом с ним Гоголь, его томления последних лет, страшные видения, прикосновенья к миру дьявольскому...

Жил среди видений — иногда прельстительных, иногда ужасных — и Блок. Что-то пытался в них угадать, что-то полюбить, что-то принять за Истину, — но не удалось. Некие черные волны его залили. — Мир душе его.

МОСКВА. «ЗОРИ»

Легкий южный ветер, трескотня пролеток, текучее золото в куполе Христа Спасителя — дыхание апреля. Сколько в Москве блеску: по домам, улицам, стеклам, летящий свет в лицах и улыбках. Нежная зелень распускающаяся — какой пух бледно-зеленый в тополях Архива на Воздвиженке![1]

Несколько молодых литераторов, часто перед этим встречавшихся, много философствовавших, завязавших между собой дружбу, чувствуют к этой весне некое назревание сил.

Зимой собирались у меня на Спиридоновке, читали стихи и рассказы, разглагольствовали об искусстве, символизме, религии, о России, Владимире Соловьеве, мало ли о чем! — и стало складываться как бы общее настроение. Нечто утреннее, юношеское и прозрачное, частью и восторженно-прекраснодушное. Временами казалось, что мы можем создать дружеский союз, вроде ордена, с романтически-возвышенным оттенком. Хотелось и выступить, кого-то «просветить»...

Случай представился. Именно этой весной издатель одного толстого журнала решил выпустить к нему «литературно-художественное» приложение, двухнедельник изящной внешности, с воспроизведениями, рисунками, заставками. Валентин Алексеич Кожевников[2] обитал в огромном доме на Кудрине. Там выходила его «Правда»[3] — неуклюжая, прямоугольно-длинная, и к ней мы должны были «прилагаться». Валентин Алексеич загадочно соединял марксистский журнал с нами — что в нас было марксистского?

Мы получили кредит, маленькую типографию в том же кудринском доме, составили и редакцию. П. М. Ярцев, я, Стражев, Высоцкий, Койранский, Петр Кожевников, Диесперов, Эллис, художник Первухин, Сергей Глаголь, А. П. Воротников[4] — наше ядро заключало и молодых, и не очень юных. Сергей Глаголь величественно откидывал кудри седоватые, Эллис кипел, с его красных губ летели брызги слюны. Ярцев медленно проводил рукой по огромному лбу, устало закатывал глаза, говорил: «Это не то. Это не так. Искусство бывает лишь высокое. Деньги — это мелочь. Это так».

Он писал у нас о театре.

У него теперь и собирались. В кабинете небольшой его квартиры на Плющихе, за столом посредине комнаты, под портретом Ибсена, с бесконечным кофе, при косых лучах солнца заходящего зарождался в «полуподвальном» этаже журнал наш, тоже солнечный, мы назвали его «Зори». А сами считались «зористами». Глаголь и Первухин устроили внешность «Зорь» — нечто бело-коричнево-золотое, много золота

на обложке. Александр Диесперов, трогательный близорукий поэт наш, сочинил подходящие стихи — об апреле и нежности его, о каком-то звенящем жуке. Были и лирические рассказики в модном тогда роде, и статьи по искусству. Ярцев укреплял возвышенный театр, Муратов сообщал из Парижа о живописи, передовая приветствовала народоправство: открылась первая Государственная Дума. Мы писали еще что-то малосвязное о народе (разумеется, богоносце), «таинственной правде» России, а рядом отрывки Данте (в переводе Эллиса), и Бодлер, и Андрей Белый. Блока, Ремизова тоже пригласили. Именно Блок, тогда еще в полосе «Прекрасной Дамы», и дал нечто в весьма «русском» духе (отличное стихотворение, украсившее наш журнал).[5]

Кофе у Ярцева, закатные солнечные лучи на золотой обложке «Зорь», споры, треволнения из-за состава номера, — это только начало. Одним кофе дело не ограничивалось. После редакции шли в кафе или в студенческую «Моравию», и опять разговоры, мечтания, споры, — только в юности можно так остро-бессмысленно кричать, волноваться, думая, что мир сдвинется от твоего крика.

Мир прочно стоял на своих основах. Редакторы же нередко возвращались с рассветом, встречая апрельскую зарю Москвы у памятника Пушкину, где голуби уж перепархивали. Страстной монастырь, Пушкин задумчивый, голуби эти — тоже отвечали чем-то душе.

Первый наш номер, после суеты в типографии, где дежурили сами, сами правили корректуру и наблюдали за версткой, встретили мы восторженно. Разумеется, вакхически и отпраздновали.

Кроме рассылки подписчикам, «Зори» вышли в продажу и самостоятельно. Мы на свое детище любовались. Публика...

Золотой наш номер, со всякими лириками и символизмами, разошелся в пятидесяти экземплярах. Мы готовили следующие. И опять кофе, и Ибсен, и Тверской бульвар: второй прошел пятьдесят пять. Медленно, но верно выбиваемся! Третий принес шестьдесят покупателей, и весь май жили мы «полной жизнью».

— Да, — говорил Ярцев, — идеи «Зорь» несомненно проникают в публику. Театр возможен лишь национальный и в высоком духе. Да. Это так. Мы должны прокладывать путь новым идеям. И это так будет. Да, так.

Но в начале июня Кожевников сообразил, что на Антонах Странниках,[6] стражевских стихах, моих статьях, заметках о театре Ярцева далеко не уедешь — равно, впрочем, как и на его «Правде» (к этому времени уже переменившей вид, название и похудевшей). У Валентина Алексеича была семья, детишки. Разорять их для марксистов, для зористов счел он неразумным.

И от «Зорь» осталась лишь горсть пепла.

❖ ❖ ❖

Я уехал в деревню, провел лето странное и тревожное — довольно мучительное. Мною владела восторженность, несколько даже болезненная. Непрерывно писал, менял, рвал, начинал сызнова. Пытался выразить то, чем был полон, — нечто пронзительно-нежное, сладостно-беспредметное. Ничего не выходило! Я терзался, извел море бумаги, переменил массу названий и ни строки не сохранил — к августу чуть не заболел. Слава Богу, что пришлось возвратиться в Москву.

Там бросил писать, отдохнул, подошли заботы об издании первой книжки. Ездил в Петербург, держал корректуры, знакомился с новыми людьми. К Рождеству вовсе оправился.

Вновь собирались у меня на Спиридоновке, вновь начались «Зори» — не в журнальном облике, а как общение. Новый член прибавился у нас, некий Э.,[7] по виду скромный мистик и ученейшая голова, в заношенном сюртучке, косенький, в очках, обитал он с сестрой где-то вблизи Арбата. Специалист по санскриту, знаток орфизма, греческой литературы... — в молодой своей незащищенности верили мы, что «милейший Михаил Александрович» и действительно такой ходок в науке. Увлекались тогда Италией — он тотчас при гласил меня и Стражева к себе на виллу под Флоренцией, у Фьезоле. Все это так нравилось! «Зори» процветали. Еженедельно мы «определяли окончательно» наши взгляды на искусство и другие важные материи. Наконец, решили вновь «выступить» — и теперь еще внушительнее, с понедельничной газетой.

Наш расчет был простой. В понедельник газет нет. А читать читатель хочет. Мы и дадим ему, именно в понедельник, интересный, живой материал — преимущественно литературный.

Опять заварилась работа. Все наши на местах, нашлась и типография — теперь другая, много больше — гонорара пока не полагалось, издание опять «идейное». Но в отличие от «Зорь» прежних, в «Литературно-художественной неделе»[8] появился отдел полемический. «Неделя» не только предлагала пищу, но и нападала.

Задору у нас оказалось достаточно. Наши юные критики громили и реалистов, и символистов, и брюсовские «Весы». Мы стояли за Блока, против Брюсова. Что там Брюсов! Наш Грифцов заявил в «Неделе», что блоковские стихи выше «Анны Карениной». В «Зорях» писали и Белый, и Эллис, ближайшие к «Весам». По преемству они перешли в «Неделю», но тут вышла целая история из-за «Весов».

Трудно сейчас вспоминать без улыбки всю нашу нелепость и азарт! А однако мы ведь этим жили. Сколько волновались, даже перемучились!

Белого мы тогда очень все ценили, — его лично никто не задевал, но столь же дружно не любили Брюсова. И вот, после какой-то резкой заметки о «Весах», Белый, встретив одного из «наших»,[9] накинулся на него истерически. «Наш», взволнованный и оскорбленный, явился в редакцию, рассказал. Мы были поражены. В заметке ничего особенного не говорилось, обычный спор... Между тем вопли Белого слышали и посторонние, он оскорбил нашего товарища, да и всех нас огулом, весь наш «зоризм», были непристойные выражения. Одним словом:

— Хоть это и Белый, а спускать нельзя. Так как Белого ближе других знал я, да и в газете был я одним из коноводов,[10] то письмо-ультиматум писать поручили мне.

Любопытно бы его теперь перечесть![11] Думаю, в важности своей было оно и несколько комично. Помню, например, фразу, которая мне и другим тогда нравилась: «...в случае же, если Вы не принесете извинений, мы прекращаем с Вами как личные, так и литературная отношения». (Назначался день и час для объяснения в редакции).

Мы собрались. Грифцов ходил большими шагами, по временам нервная гримаса подергивала его юное лицо с голубыми глазами. Стражев курил и поигрывал ноздрей. Я тоже волновался, но как именно, не знаю. В общем, было похоже на дуэль.

Часа в три явился Белый. Сняв шляпу, но не раздеваясь, бледный, стройный, «мечущий молнии» глазами, быстро бегавшими под философическим лбом, остановился почти на пороге. Мы предложили ему сесть, он отказался. Нельзя было и думать о том, чтобы поздороваться. Глаза его, тогда еще бирюзовые, оттененные чудесными ресницами, бегали вправо и влево самопроизвольно. После первых невнятных звуков он сразу взял верхние ноты.

— Где я? Куда меня вызвали? Чего от меня требуют? В участке я? Или в застенке?

Кабинет Стражева (он же редакция), с книгами на полках, Брокгаузами и Ефронами в переплетах, с каким-то даже бюстом «классика», правду говоря, мало походил на застенок! Я постарался это Белому объяснить. И высказал опять наши условия: или извиниться, или вовсе разойтись. Белый потрясал пухом своих волос, делал ритмические жесты, вновь нас громил, я упрямо твердил свое: таков был уговор с друзьями.

Кончилось тем, что оба, красные, со срывающимися голосами и прыгающими подбородками, выскочили в прихожую, а оттуда в кухню.

— Борис Константинович, милый, да ведь я вас лично... я даже ведь вас люблю.

— Борис Николаевич, я ведь то же самое... все так вышло... это недоразумение... но не могу же я, как член редакции...

— Да-да-да... я же понимаю.

Белый приседал, в глазах его были слезы, он жал мне руку... — я совершенно так же действовал и тоже чуть не ревел. Мы бормотали друг другу какую-то нервическую чушь, раскланивались, чуть не танцевали в пустой кухне. В сущности, близки мы не были никогда. Но в эту минуту со стороны можно было нас принять за навеки расстающихся друзей.[12]

Навеки не навеки, но года два мы все-таки считались «врагами». Потом помирились и как будто были в добрых отношениях. Но по теперь вышедшим его воспоминаниям видно, что и незадолго до кончины он считал меня своим недоброжелателем.[13] В чем, разумеется, и ошибался.



Во Флоренции никакой виллы Э. не оказалось. С точностью выяснилось, что этот странный, замухрышистый и скромный человек ученого вида был знаменитейшим вралем, и только мы, люди «Зорь», по молодости лет верили ему. И санскрит, и греческая философия, все это был миф.

Не меньшим мифом оказалась Государственная Дума, которую мы столь безоблачно приветствовали. Вообще, нельзя сказать, что мы преуспели.

— Деньги это мелочь, — говорил Ярцев. — Это не то. Деньги не важны.

Первый номер «Недели» хорошо разошелся — публика не успела разобрать, что это такое. Второй хуже, третий еще хуже, и так далее. Глупой «мелочи», которую справедливо презирал Ярцев, нам и не хватило. Не трудно было поссориться с Белым и «срезать» Толстого. Гораздо труднее — убедить типографию, что наш «неомистический национализм» прибылен.

Мы не создали никакого «зоризма», ни нео-, ни старо-национализма. Прекраснодушная наша настроенность была разгромлена всем последующим. Жизнь страшный опыт над нами произвела. Так что мы не победители. Побежденные ли? Это другой вопрос, с двойственным ответом. Ибо не все то, что делается в искреннем и бескорыстном воодушевлении, можно считать бесполезным, лишь потому, что оно не имело внешней удачи.

ЛЕВ КАМЕНЕВ

...Вечеринка на окраине Москвы, у Марьиной Рощи. Снегом завеянный двор, флигель, столовая с висячей лампой. Нечто провинциальное и старинное, чуть ли не времен передвижников. Студенты, курсистки. Самовар, папиросы, русские споры.

Все это уже — как сквозь сон. С трудом видишь хозяина, полу-литератора, полу-революционера. Трудно представить и себя самого тогдашним. Но одно лицо — студент в пенсне, несколько кудластый, с небольшими серыми глазами, это лицо запомнилось. Не только лицо. А и как говорил. Уверенность его, дерзость, даже, горячность и наскок. Точно бы задорный петух. И все про революцию, Маркса. Очень сухие, безвоздушные слова, но настойчивые.

Посидели сколько надо, более смелые, вроде кудлатого студента, ораторствовали, кто потише, помалкивали — и разошлись.

И так вышло, что почти ни с кем из виденных тогда не пришлось потом встретиться.

Но вот именно «почти» ни с кем.



Много ушло лет. Японская война, революция малая и война великая, коммунизм.

В 1920-м году вновь зима, вновь Москва — холодная и голодная, полуразоренная. Литература еле дышит. Все-таки есть Союз писателей.

В полуголодной нашей жизни Гершензону[1] пришла удивительная мысль, лишь в удивительном быту способная явиться: надо просить ржаной муки сразу на весь Союз, а то перемрем. Правление с этим согласилось. Идти к председателю Московского Совета Каменеву выпало Гершензону и мне.

И вот мы с маленьким, хитроумным и жукообразным Гершензоном во Дворце совета. День морозный. Мы в меховых пальто, в валенках, ждем приема. Барышни стучат на машинках. Сквозь зеркальные стекла сизеет и белеет снег Москвы.

Гершензон нервничает. Я все стараюсь вспомнить, почему лицо Каменева на портретах «вождей» напоминает кого-то.

...Он принял нас очень приветливо. И сразу выяснилось — да, в студенческие годы мы встречались, у такого-то, в Марьиной Роще. Гершензон волновался, путано и своеобразно изложил нашу просьбу.

Каменев усмехнулся. По-интеллигентски поправил пенсне, погладил бородку. Потом вдруг оживился.

И снял телефонную трубку. Минуты через две ее повесил.

— В хозяйственном отделе есть двести пудов муки. Откуда-то к нам забрела. Вот и берите.

Гершензон вновь заволновался, покраснел, стал благодарить.

— Не за что, не за что.

Мы получили ордер, откланялись и ушли. А через неделю с женами, а то и детьми двинулись на Смоленский бульвар к амбару, на морозе ждали очереди и, как драгоценность, осторожно везли оттуда домой по ухабам кто пуд, а кто и два муки.



В следующем году Гершензон ушел, теперь все, что касалось Союза, разных наших бед, затруднений, было на мне. Да к тому же прошел слух, что Каменев мне не отказывает. Я хорошо узнал дорогу во Дворец Совета (бывший дом генерал-губернатора на Тверской).

Со студенческих лет Каменев, разумеется, изменился. Стал покойнее. Потолстел, приобрел снисходительно-покровительственную осанку, небрежность силы и успеха. Все-таки он был просвещенный человек, сам отчасти и литератор (написал книгу о Герцене). Русский интеллигент в нем сидел, и среди гойевских обликов коммунистов того времени даже внешность его выделялась: Каменева можно было принять за либерального адвоката московского. Он, разумеется, принадлежал к коммунизму и ответственность нес.

Все же любви к крови и животной озлобленности в нем не было — с этой стороны он оказался даже плохим революционером. Нечто в «технике» его и смущало. И как председатель Московского совета он закрыл на третьем номере «Вестник Чрезвычайной комиссии» за статью, где рекомендовалось применение пыток при запирательстве. (Если не ошибаюсь, называлось это произведение «Довольно миндальничать» — оно единственно в нашей литературе. Кое у кого из библиофилов номер этот хранится).[2]

Много тогда приходилось хлопотать об арестованных писателях. Двух-трех русских Каменев легко высвободил. Удалось и с французским профессором Мазоном.[3] Но запомнился случай и более трудный.

Что Каменеву под конец надоели мои визиты, это естественно. Может быть, и портило ему репутацию, что всегда он хлопочет о некоммунистах, чуть ли не о врагах. Да появилась и вообще развязность человека, у власти находящегося (а в Москве всемогущего).

Когда я сказал ему об арестованном в Одессе эсере Соболе,[4] он поморщился.

— В чем же его обвиняют?

— По нашим сведениям ни в чем. Сидит за то, что эсер.

— Это он написал роман «Пыль?»

— Он.

— Плохой роман. Пусть посидит.

Раз были мы у него по делу с неким тоже эсером Позднышевым. Каменев принял нас как обычно, в своем кабинете. Имел вид усталый, сидел за столом без ботинок, в одних носках. Говорил по телефону, с Дзержинским (подложив одну ногу под себя, по-турецки).

— Позволь, Феликс, это же пустяки... Его можно бы и выпустить...

В трубке рычало и потрескивало.

— Да, но все-таки почему же...

Опять глухой гул, трели. Каменев слушает утомленно и уже почти равнодушно. Изо дня в день одно...

— Ну, как знаешь...

...«Я никакой вины не нахожу в Нем», — сказал Пилат.

...«Тогда опять закричали все, говоря: не Его, а Варавву».

...«Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его».

Каменев положил трубку. Со мной поздоровался обычно. На Позднышева взглянул с изумлением.

— И вы здесь, Позднышев? И вы еще не расстреляны?

Не знаю дела Позднышева. Думаю, что как и у Соболя, «дела» никакого не было, кроме того, что он эсер — значит, и подлежал «расходу». Когда же он подтвердил спокойно, что жив, Каменев улыбнулся. И мы принялись говорить о деле: кажется, понижении налога на писательские кооперативные лавки.



Летом 1921 года приключился в России страшный голод. Как и полагается — в Приволжье. Власть не чувствовала тогда себя еще достаточно крепкой. Собственными силами управиться не могла: в самой Москве не так-то сытно жили! И возник странный проект — смешанного Комитета из представителей «общества» и правительства. Помощь голодающим, Помгол. Его председателем назначили Каменева, еще помню из коммунистов Рыкова. Остальные — какие-то кожаные куртки. От интеллигенции во главе стояли Кускова, Прокопович, Кишкин.

В юности, на квартирке у Марьиной Рощи, Каменев показался мне шумным, речистым. В дальнейшем было обратное: он именно никакими особыми речами не занимался, скорее вел закулисную дипломатию. Что-то улаживал, склеивал разбитое, под кого-то подкапывался, что-то проводил. Его устроили председателем Помгола потому, что для нас («общественности») он был наиболее приемлем.

Мы собирались на Собачьей площадке, в старинном особняке. Профессора, агрономы, статистики, писатели — власть. Каменев председательствовал очень просто и вежливо. «Наши» (как в парламенте!) критиковали правительство, предлагали разные более или менее ра-

зумные меры. Некоторое время все это и выслушивалось довольно покойно. Рыков приезжал с лицом воспаленным, красный его нос слегка покачивался над мягким воротничком рубашки, пестрым галстуком. Каменев лавировал между нами и кожаными куртками, откровенно на нас поглядывавшими. Он был зыбким мостом между двумя мирами.

Комитет, наконец, признал, что нельзя ничего сделать без участия Европы. Надо отправить представителей в Англию, рассказать там все и получить поддержку. Мы не только это признали, но поставили дело так: или ехать, или все бросить.

Каменев, видимо, и тут пытался уладить, смягчить, найти середину. Окончательный ответ все оттягивали. Наконец, назначили решительное заседание: да или нет.

В зале особняка долго мы ждали приезда Каменева. Вместо него явилось несколько автомобилей с чекистами. Всех нас арестовали. Вечером мы поселились уже на Лубянке, в бывшей конторе Аванесова (дом Российского страхового общества) — ныне камере Чеки.

Москва не так велика. Все скоро стало известным, и арест наш вызвал копошение среди интеллигенции: как мы ходили просить за других, так и за нас просили. Доктор Блюм, мой приятель, лечивший и Каменева, тотчас к нему бросился. Тот был на даче. Доктора встретил удивленно:

— Арестованы? Быть не может! Сейчас позвоню.

Но пока он «звонил», видавшая виды, ветхая деньми и мудрая бабушка Хая сказала Блюму:

— Так и вы верите, что он не знает? Они же все сюда вчера приезжали... ну вот которые в кожаных куртках. Леон их уговаривал не трогать, это верно. Куда там! Разве с ними сладишь? Ну, теперь Леону неприятно, он вид делает перед вами. Бабушка все знает... Ах, Боже мой! — Но вы никому не говорите.

❖ ❖ ❖

Для главарей наших все это едва не кончилось стенкой. Для нас сошло более или менее легко.

И жизнь по-прежнему шла в Москве, история писала свои страшные письмена, а мы ходили за пайками, топили печурки и мечтали об освобождении.

На другой год опять мне пришлось побывать у Каменева — теперь по собственному делу. После сыпного тифа, с бритой головой, я неважно держался еще на ногах.

Каменев даже ахнул.

— Что с вами?

Я объяснил. И он помог мне получить разрешение выехать — в Берлин, для лечения.

Так что весной мы уехали. А история Родины моей шла своим чередом. И жизнь шла. Застрелился перешедший к коммунистам Соболь, умер Блюм. Умерла мудрая бабушка Хая — без опасения могу я их ныне назвать.

Самое же страшное приготовил рок Льву Борисовичу Каменеву.

— Вы еще не расстреляны, Позднышев?

Может быть, Лев Борисович и сидел-то в той самой конторе Аванесова. Как и мы, слышал по ночам стук моторов, иногда, на вечерней прогулке, видел дальние над собой звезды — из тюрьмы такие чудесные!

Но за нами была родная Москва, волна сочувствия, любви, молитв...

С ним вместе шли ко дну страшные люди. Он же сам страшным не был — самый обыкновенный, может быть даже лучше среднего. И хоть за многое ему надо ответить, все же с ужасом представляешь «то» утро, стенку, последние проклятия...

А на воле сплошной вопль: «добей его!» Без его и других крови даже дети в России не могли жить... Устанешь ли содрогаться в страшной нашей жизни?

ДАЛЕКОЕ

<О Помголе>

Недавно перечел я полученную из России статейку свою, напечатанную 40 лет назад, уже в революцию, в «Помощи» (Бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. 1921 г., 22 авг.). Комитет этот назывался «Помгол», правительство разрешило его, и даже Каменев считался его председателем. Но учреждение это было интеллигентское, его возглавляли проф. Прокопович, Кускова и врач Кишкин.[1] «Помощь» выходила под редакцией М. А. Осоргина. Вот в этой-то газете (недолго просуществовавшей) и появилась моя статейка,[2] которую по нек<оторым> причинам решаюсь воспроизвести и теперь.

Завет

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Некрасов[3]

Голод — русский стон! Как все знакомо, как привычно. Малыми детьми слыхали мы и про Самару, Волгу, про какие-то места, далекие

и страшные, где люди мрут, где ходит голод, куда нужна подмога. Сестры и кузины говорили, тайно от родителей, что туда надо ехать и кормить народ в столовых. Ехали — студенты, барышни, курсистки, и жутко, но и радостно было нам провожать их. Некоторые и не вернулись... Тиф, болезни.

Были люди, чьи писания уже мы знали, в тумане славы: Лев Толстой, Короленко. Позже — Чехов. Эти все твердили неустанно — и сами трудились: да, туда, не забывайте, там несчастье, там братья гибнущие.

С тех пор прошло довольно много времени. Россия испытала две войны, две революции, гражданскую войну — и вот теперь снова голод (1921 г.).

Кто жил в деревне и в революционное время, видел и доныне, в весну прошлую и позапрошлую — картину, Родине привычную: скитальцев с сумками в полях — седые головы, лысые, глаза слезящиеся, длинные палки strannические, давнее уныние в глазах, обдутых ветрами полей. «Подайте, матушка-барыня, Христа ради! Помираем». И «матушка», библиотечная помещица, отрежет ломоть. Посетители же тянутся к деревне, длинной палкой отбиваясь от собак. Но на деревне пусто. Все давно уже съедено. Девчонки по лугам рвут оконятник, конский щавель. На нем матери хлеб замешивают. Едят зеленую мастику, видом, да и вкусом премерзейшую. Ждут мучительно, когда хоть немного нальет колос и когда хоть полузрелый можно срезать, подсушить, цепом обмолотить и съесть. Пока же тощие все, мрачные и раздраженные. Но это в Тульской ведь губернии, где нет неурожая, где просто не хватило хлеба после той «разверстки», что блестяще выполнила «по плану» тихая губерния.

Толстой уже не подымется в рост исполинский и не крикнет на весь мир, так что стекла задребезжат, чтобы все услышали: «не могу молчать!» Не скажет слова Чехов, скромно на носу пенсне поправив. Но вот раскрываю лист печатный... Короленко. Жив, и говорит. И вновь, как много лет назад, *все силы*, слабнущие и неверные уже, но силы, но любовь, но долг свой, но подарок, сделанный ему союзами, — все снова туда, кому и жизнь-то отдана — Родине. Болеет, мучится в родах, в крови, насилии и спазмах мать Россия. Так и старый сын ее в беде с ней снова. Да как же иначе быть может? *Он писатель русский.* В стране, где нет еще культуры политической, общественной и мало личной, где много и невежества, и грубости, есть, однако, и великое, и незапятнанное, всему миру начинающее сиять.

Русская Литература. «Даже и маленьким писателем приятно быть», — говорит кто-то у Чехова. Приятно, но и жутко, ибо за плечами мощная традиция, ибо ведь не безответственно быть русским писателем.

Русская Литература никогда и никому не кланялась — ни государству, власти, ни богатству, знатности, успеху. Мало дела было ей до каверз политических, интриг, хитросплетений. Если шла против государства и томилась в ссылках, то во имя истины (как ее понимала), любви, добра. Правительства меняются, уходят люди, рушатся системы — братство человеческое остается, и любовь, и сострадание. Пророчественный и жизнеучительный, и жертвенный характер был всегда присущ Литературе Русской, и такой дай Бог ей пребывать вовеки. Как Русская Литература, не могла она ответить иначе устами достойнейшего своего представителя: «Снова с вами, униженные и обиженные, обездоленные, гибнущие, отчаявшиеся. Вам — слабеющие мои силы».

Выше и выше! Мимо злобы и мелких расчетов, мимо ничтожества, тьмы, насилия и безобразия — к делу добра, давнему, вековому завету Русской Литературы, к вековому поклонению христианских народов, к заповеди незыблемой «возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Перечитывая сейчас вот это, написанное так давно, чувствуешь те годы, ту бурю и тот подъем, в котором жили. Вот хоть бы Короленко. Находился он тогда в Полтаве, очень много делал для голодных, большевиков громил беспощадно, в свое время сам подготовлял все это, а когда пришло, ужаснулся, ибо по существу был христианской душой, человеколюбцем и противником насилия и зверства. Спасала его от Чеки слава старого народовольца, в свое время от императорского правительства пострадавшего.

Ну, а мы, в Москве? Прокопович, Кускова, Кишкин очень помощью голодающим горели, это верно. А я, Муратов, Виппер,[4] другие члены Комитета? — Мы ходили на заседания, ничего жертвенного и героического не делали, но все же было сознание, что участвуем, хоть очень мало, в деле правом и нужном.

Все это продолжалось недолго. И эта «Помощь», и «Помгол» очень скоро погибли. Власть поняла, что неудобно, чтобы мы обращались за поддержкой к Западу, когда есть тут «свои», которые все могут отлично сами устроить.

И через несколько дней после статейки моей весь наш Комитет на Собачьей площадке отлично хлопнули, все мы покатили августовским вечером в чекистских машинах на Лубянку... Боже, как ругала вспыхнувшая Вера Фигнер, двадцать лет в свое время в Шлиссельбурге отсидевшая «за народ», этих самых представителей «народа» в кожаных куртках, арестовавших ее и нас.

Все-таки время было тревожное. Только что раскрыли «Таганцевский заговор» в Петербурге и расстреляли немало народу. Убили и Гумилева — все это в те самые дни.[5]

Из «наших» долго сидели Кускова, Прокопович, Кишкин. Сколько помню, от смерти их спас Нансен, с которым считались — он помогал и пригрозил, что не будет помогать, если убьют главарей.[6]

О «Помголе» этом я уже писал подробнее («Москва»). Теперь привожу всего несколько слов: «Пользы голодающим мы, конечно, не принесли. Предсказания наших жен при начале Комитета («через месяц будете все в Чеке») с точностью осуществились. Но, вспоминая наше сидение, я вспоминаю не плохое дело, а хорошее».[7]

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

(Из воспоминаний)

12 сентября 1919 года Андреев скончался — жизни его было 49 лет. При таком бурном естестве, как у него, при такой трате сил, творческих и нервных, трудно ждать дальней, ясной старости.

Он родился в Орле, но был москвич. В Москве кончил университет. Москву (в молодости) любил, Москва дала ему первую любовь, первую славу, не московскую только, но и всероссийскую.

Я его знал с ранних моих лет, по этой самой Москве. Я был начинающий, он уже молодой писатель, быстро прославившийся. Заведывал литературным отделом «Курьера», небольшой московской газеты, где и Бунин печатался, и начинал Ремизов, куда и меня он ввел. Происходило это во времена как бы доисторические (1901—1902 гг.). Но давнее помнится лучше, молодость ярче старости.

Не забыть ни скромной, еще холостой квартирки в Грузинах на Долгоруковской, где жил он с матерью, ни березок Бутова и Царицына — дачных мест под Москвой, где проводил он лето, весенней прелести лесочков русских, невесты русской, очаровательной Александры Михайловны Виельгорской[1] — на ней он вскоре и женился, ни Пресни уже «семейной», где (по утрам!) философствовали мы — вернее он, расхаживая нервно взад-вперед по комнате, куря за папиросой папироску. По вечерам бывали гости. Случалось — Горький, Шаляпин, Скиталец (в поддевках, высоких сапогах, подпоясанные молодцы, стиль рюсс с Волги). Леонид в таком же облике.

В горьковском «Знании» вышел первый томик рассказов его — успех был огромный, и у читателей, и в критике. Всех успех возбуждает. Леонид был натурой мягкой, полной бурных творческих сил, жажды творчества, славы — опьянению был вообще подвержен, в разных его формах.

В это время состоял он членом кружка литературного «Середа» (куда и меня ввел), там много читал своих писаний — до печати, в рукописях. Там дружески обсуждались ранние его рассказы («Василий Фивейский», «Красный смех» и многие другие).

Эти «Среды», при всей, казалось бы скромности их, вошли в историю литературы. Есть и написанное о них, сама квартира Н. Д. Телешова на Чистых Прудах — сейчас небольшой Музей с фотографиями участников групповыми и отдельными.[2] Жутко и горестно-сладостно было бы увидать все это — единственному оставшемуся в живых из участников, правда, и самому младшему. А бывали там Бунин, Андреев, Телешов, Сергей Глаголь, Вересаев, Тимковский. Наездами Чехов, Горький, Короленко — это почетные, так сказать, гости. Случалось — Бальмонт, Брюсов.

Но какая это была «Москва»! Какая непроходимая Москва русских интеллигентов с бородками, со слегка провинциальным оттенком. Нечто и домашнее и по-своему милое. Входя, здороваясь, обнимались. «Здравствуй, Леонид!» «Здорово, Сергеич». Слушали чтение. Обсуждали. Потом ужинали, «по-московски» (голодными не уходили).

Леонид, конечно, главенствовал. Кроме литературы, выдающегося дара, был у него и личный шарм, приветливость, даже странное обаяние среди ужасов и трагедий писания его. Прекрасные темно-горящие глаза, очерк лица изящный — просто был он красив.

Собиралась «Середа» и у Сергея Глаголя, художественного критика, в Хамовниках, чуть не рядом с домом Толстого, и у самого Леонида на Пресне — по очереди. Все же главное некое пристанище было на Чистых Прудах у Телешова. Там в последний раз видел я и Чехова, уже полуживого, накануне премьеры «Вишневого сада», за полгода до смерти.



К писаниям Леонида, особенно ранним, я относился ревниво и нетерпимо. Требовал, чтоб и близким нравилось. Не всегда выпадала удача.

Я очень любил сестру Надю и кузину Верочку (звали ее с детства «Верочка-Собачка»). И вот раз, в самом начале века, прочитал я в «Журнале для всех» рассказик Андреева, не помню, какой именно.[3] Он поразил особенно. Резко не то, что печаталось тогда в журналах. И манера, и захватывающее веяние трагедии — в конце концов всегдашняя его тема. Дыхание смерти, беды, против нее не было у него защиты. А жизнь он любил страстно. И вот вечная западня. Талантом своим завлекал туда и читателя. А если читатель (как тогда я) далек от религии, то почва особенно благоприятна.

Я прочел, взволновался, пошел к сестре в ее комнату. Она разыгрывала на пианино Бетховена. Тут же и Верочка-Собачка.

— Вот, прочтите. Замечательный писатель.

Мрачно буркнул, вышел. Был уверен: если мне понравилось, значит и им.

Позже зашел опять. Сестра опять играла своего Бетховена.

— Ну, прочли?

— Ничего особенного. Рассказ как рассказ.

Тут я рассердился. *Мне* нравится, а им нет! Скажите, пожалуйста!

— Дуры.

И вышел, хлопнув дверью.

— Сам дурак, сам дурак... — донеслось спокойно, как бы издали.



«Веселые годы, счастливые дни...»[4] — кажется они и были такими для Андреева — годы супружества. Александра Михайловна нежна, прелестна, оба любят друг друга по-настоящему, он пишет отлично, и верным сотоварищем была она ему в этом (писал он, обсуждали потом вместе). Москва, «Среда», друзья. Квартира теперь на Пресне побольше, летом подмосковные дачи — Царицыно, Бутово с весенней зеленью, майскими жуками, прозрачностью неба вечернего, дальними свистками паровозов.

«Судьба загадочна, слава недостоверна».[5] Судьбу и ее таинственность всегда Леонид чувствовал, остро и глубоко. «Почему? Зачем?» Простого ответа нет, как не может наш ум вместить и божественную тайну мироздания. Но Андрееву хотелось все понять, объяснить — он наталкивался на стену. В Промысел не верил, с Богом вечная (и безнадежная) борьба — хотя Христа и почитал, но как-то странно...

И вот: в самом цвете сил, счастья, успехов — взрыв, все опрокинувший. Осенью 1906 г. внезапно скончалась от родильной горячки Александра Михайловна.

Помню сумрачный, снежно-ледяной день, когда мы хоронили ее в Москве на Новодевичьем (Леонид остался в Берлине). — Отчаяние его было безмерно. Он кинулся на Капри к Горькому, с которым еще дружил. Жил там мучительно. Вот отрывок из его письма, 9 янв. 1907: «Для меня жизнь так: несколько людей, которых я люблю, за ними города, народы, поля, моря, наконец звезды и все это чужое. И если бы все люди, немногие, кого люблю, вдруг умерли бы или забыли меня — я оглянулся бы и завыл от ужаса и одиночества».

Далее говорит, что хорошо, если бы мы с женой приехали туда, и прибавляет вновь: «Здорово я тут одинок, несмотря на Горького. С вами я бы мог говорить о смерти Шуры, постараться понять ее».

Нам и пришлось встретиться в Италии, в мае того же года. Но говорить о том, о чем он писал, не пришлось. Вот открытка его во Флоренцию: «Еду из Неаполя в Берлин, так что во Флоренции можем увидеться только на вокзале. Пожалуйста, приходи с Верой, хоть на минутку!».

Мы находились тогда в очаровании счастья, молодости, Италии. Он в преисподней горя.

С грохотом влетел международный экспресс на вокзал Флоренции. Вера держала в руках букет великолепных роз — ему. Обнялись братски, несколько фраз, но это было действительно «на минутку».

Вот и не увидишь его больше никогда, даже «на минутку»..



Из Москвы он перебрался теперь в Петербург. Может быть, тяжело было «родное пепелище». В Петербурге, в сущности и не легче, но нет растравляющих воспоминаний. Переломилась жизнь, переломилась и литература. Это началось с «Жизни человека», драмы-мистерии в отвлеченном роде («человек— вообще», персонажи условны, все схематично и очень горестно). Шла эта вещь в Художественном театре, с большим успехом. За ней ряд других — «Анатема», «Царь-Голод», «Самсон», «Черные маски» и пр. Некоторые успех имели, другие нет. Жизнь самого Леонида изменилась.

Отодвинулось понемногу бурное отчаяние, он вторично женился,[6] как бы топил прошлое в новом — жаждала натура счастья. Получила ли? Бог знает.

Несравнимые с прежним деньги, своя огромная дача в Финляндии, близ Териок, в стиле северного модерн, огромные комнаты, камины, все грандиозно, мрачно-вызывающе. «Как пышно, как богато, как красиво...» («Жизнь человека»). Завел Леонид катер, он теперь моряк, носится в брызгах и ветре по Финскому заливу. Московско-интеллигентская бородка сбрита (шкиперу это не идет).

В доме красавица-жена и все та же мама, Настасья Николаевна, орловско-московское безответное дитя, обожающее Леонида, не без ужаса взирающее на Штука,[7] на разные макабрные гравюры и упражнения самого Леонида (в том же роде. Но если Леониду нравится, значит так и надо).

И — неистребимые остатки прежнего — без конца самовары, чаи — Леонид пил чай с блюдечка, как и в Москве. Днем вечная суета приезжих, редко друзей, чаще завистников, любопытных, недоброжелателей, репортеров, интервьюеров. По ночам, как прежде, литературная работа.

Денег он теперь получал много — и от пьес в театре, и от издательства «Шиповник», где в альманахах своих Зиновий Исаевич Гржебин

печатал его пьесы, рассказы — тоже большие гонорары. — Но душевного мира не было. В огромной степени зависело это от литературы. Слишком избалован он был ранней славой. Теперь Фортуна поворачивала в другую сторону. Гонорары еще шли, тиражи немалые, но в критике резкая перемена. Раньше превозносили, теперь стали писать много грубого и обидного. Это раздражало. Леонид мрачнел.

В Москве были друзья, сочувственники, в этой Финляндии он совсем один.

Война же разыгрывалась. Близилась революция. Никто будущего не угадывал, а оно, никого не спрашиваясь, грозно приближалось. Предвидел ли его Леонид, не знаю. В эту пору мы почти не видались. Он упорно сидел в финском мавзолее, я в глуши Тульской губернии.

Все же помню спектакль («Человек, который получает пощечины») в Москве у Корша. Мы сидели с ним и его близкими в ложе. Леонид был угрюм.

— Пьесу испортили, сгубили. Главная роль не понята. Но посмотри — он указывал на ворох вырезок — как радуются эти ослы. Какое наслаждение для них лягаться. (Это была не премьера, отзывы уже существовали).

Пьеса как раз достоинствами обладала, личной горечью оживлялась, шла позже и за границей. Все-таки «ветр успеха» переменил направление.



Революция застала его в Финляндии. До нее он считался левым, но когда явился Ленин с компанией и деньгами немецкими, революцию эту возненавидел. Настолько, что обратился к Западу с воззванием «SOS».[8] При нервности, страстности натуры переносил все с особой болезненностью (впрочем, кто переносил легко?). И в сентябре 1919 г. скончался — кратко и бурно, как жил. Погребен был на недалеком кладбище, а огромная его дача сгорела — голое место осталось от всего этого сумрачно-грандиозно-эфемерного сооружения.

Лето 1935 г. мы с женой проводили в Финляндии, съездили на могилу Леонида, на кладбище при церкви, недалеко от пепла дачи.[9] Но попасть туда оказалось непросто. Все окружено стеной, невысокой, правда, но все-таки... Ворота заперты, сторожа нет. Помню, светило солнце, мы были бодры и полны сил, приехали из Келломяк нарочно, и вдруг такая штука!

— Перелезем, вот и все тут, — сказала жена.

Я не возражал. Влез вперед сам, сидя на стене верхом, подал ей руку, и она вскарабкалась тоже. Потом спрыгнули вниз.

Могилу нашли скоро. Жена привезла розы, букет, они с нами скакнули благополучно. Могильная плита была обложена бордюром шиповника, мелкие цветочки — память издательства петербургского, где выходили его книги. Очень получилось кстати.

Мы с женой давно уже жили во Франции, он отошел в вечность, писания же его остались, понемногу стали печататься и в России. Литература вообще победила политику: власть имущие знали, как он к ним относился, но отступили. Пришел час, и останки его вернулись на родину...

Покоятся в Петербурге на Волковом кладбище, рядом с Тургеневым, Некрасовым и Достоевским.

Там на его могиле нам не пришлось уже быть, и не придется. Но ничего. Память осталась.

Говорить о Леониде Андрееве «объективно», оценивать писание его мне трудно. Слишком он связан с моей ранней жизнью, литературной и личной. Для меня он всегда молодой, чернокудрый, с остроблистающими прекрасными глазами, «решающий» неразрешимое, каким помню его в годы Грузин,[10] Пресни, Бутова. Он лихорадочно говорит, курит, пьет с блюдечка чай на террасе дачи, среди вечереющих берез, туманно-нежных далей. С ним, где-то за ним, тоненькая большеглазая невеста, тоже брюнетка, в темном платье, с золотой цепочкой на груди. Любовь, свежесть, сияние глаз девических: расцвет жизни.

Так что для меня Андреев не просто талант русский, тогда-то родившийся, тогда-то умерший, а выражаясь его же словами, милый призрак, первый литературный друг, старший брат, с ласковостью и вниманием опекавший первые шаги.

Дальний, верный привет могиле твоей, Леонид.

БАЛЬМОНТ

(К юбилею)[1]

С Бальмонтом больше всего связаны для меня годы далекие: начало нашего века. И связана — Москва. Там он появился, «просиял», и занял первенствующее место. Слава пришла к нему не особенно рано. Если не ошибаюсь, 1902-й год («Будем, как солнце»[2]) — был для него годом «mezzo del cammino di nostra vita»[3]. Но воспринималась его слава юношески. Бальмонт всегда казался моложавее себя (и теперь это так), страстней, кипучей и неудержимей сверстников. Дружил охотно с молодежью. И сейчас чествует его в Париже «Клуб молодых литераторов»[4]. Так с ним всегда было. Люди «академические» не всегда к нему благоволили. Дамы и юноши — вот бальмонтово окружение.

Так называемый «бальмонтизм»...

Есть два рода писателей. Одни чисто академичны в высоком смысле — Флобер, — проходят в высоте, в тумане — прекрасные художники, на жизнь не действующие. Другие — сами собой *выражают* нечто, суммируют рассеянное. Можно сказать: «роковые» и «обязательные». В России этого столетия — Чехов, Горький («чеховское» и «горьковское» не только литературные разряды, но и жизненные). Из символистов Бальмонт и отчасти Блок.

Слава Бальмонта не была *только* литературной. Самим собою он вносил некое мироощущение — для русских не весьма характерное, «ренессансное». Считают, что один лишь Пушкин был в России «ренессансен», но это не точно. Есть и другие. Среди них — Бальмонт.

Он появился вовремя, — была усталость от «интеллигентщины», «заветов» суховатого направленчества. Бальмонт же славил солнце, молодость, любовь, огонь, стихию и безудержность, счастье и радость, — все это излучал он очень вольно и полно, и вспоминая само имя *Бальмонт*, — ощущаешь свет — и золотистый. Брюсов написал когда-то Белому «Бальдер и Локи»,[5] но роль Бальдера Бальмонту шла не менее, чем Белому.

И когда стал он выступать на вторниках Литературного кружка,[6] дамы с желтыми цветами и юноши «декадентского» (какое древнее слово!)[7] вида бешено ему рукоплескали. («Окунемся в освежающие волны разврата», — кричал один «страшный» по тому времени юноша.[8] Теперь он вырос, грустен, одинок, ничего не кричит, никуда не бросается...)

Итак, Бальмонт оказался центром некоего «вероучения», главою секты или группы. Все это гнездилось вокруг Арбата. Веселое, богемское и бестолково-милое всходило на дрожжах легкой жизни, над «фундаментом», тогда еще покорно и беспрекословно несшим всю свою «надстройку». Надстройка непрерывно бегала друг к другу в гости, декламировала самоновейшие стихи Бальмонта, влюблялась, шлялась по кабачкам, и только танцевала меньше, чем теперь танцуют. Мрачный Брюсов все это не одобрял. Но и его не очень одобряли бальмонтисты. Он выпускал яд из своего «Скорпиона» в «Метрополе»,[9] сочинял тяжкие стихи на Цветном бульваре,[10] а Бальмонт летал по Арбату, всем Толстовским, Спасо- и Николо-Песковским переулкам, всегда живой, веселый, искрящийся, в черной шляпе, с золотистым клинушком бородки, слегка припадающей своей походкой — genius loci милой местности. Он забегал, читал стихи, взволновывал и заносил с собой кусочек солнца, и девицы ему аплодировали, а он переливался весь цветами радуги... Бальмонта вообще ясно видишь в золотистом оперении. Ему нравились тогда испанцы и «кинжальные слова»,[11] он

переводил Кальдерона, но и легкая воздушность Шелли, даже Эдгар По[12] — многое его пленяло.

С 1905—6 года он стал эмигрантом, жил в Париже. В 1912-м году вернулся, и Москва тот же кружок, принимала, чествовала его. Слава его была велика. Он ездил с лекциями по провинции, — его читали и любили и в Сибири, и в Прибалтике. «Бальмонтизм» проникал в самые далекие углы, стихи читались и с эстрад, и декламировались немудрящими провинциальными девицами.

Что сталось теперь с бальмонтизмом? Изменились времена. Бальмонт, к чести его, остался раз навсегда Бальмонтом, целиком поэтом и певцом того же, что любил и в молодости. Можно даже сказать, что остался молод, — но бесконечно изменилась декорация. Нет прежнего Арбата, Москвы прежней, нет и беззаботности и легкокрылости. Кровь и страдание, «меч» прошел через все сердца. Вряд ли кому по душе сейчас бальмонтистская девушка, да ее и нет, пожалуй. Она где-то служит. И ей некогда читать стихи, мечтать над золотыми облаками, плакать «У моря ночью» [13]. Все это ушло. Глядя на окружающее, иногда думаешь, что и вообще поэзия уходит, умирает Пан, [14] машиной и машинностью убитый. Бальмонтизм не столь глубок, не столь упорен, героичен, чтобы выдержать страшную нашу эпоху.

Итак, Бальмонт жив и по-прежнему поэт, а бальмонтизм — уже история. Поэты одиноки все сейчас... И Бальмонт пролетает *над* жизнью, как эти облака предвесенние, розово-позлащенные над печальным домом по улице нашей Фальгьер. [15] И пока я пишу, все ж таки бег облаков мне напомнил Бальмонта. Печально лететь над чужой страной, над Фальгьерами и Монапарнасами, а все-таки надо лететь, вернее — нельзя не лететь, потому что ведь таков Бальмонт. Не спрячешь его в серый дом на улице Фальгер.



Поэт, за десятилетия песен и за солнышко, вами оброненное, за волнения и слезы в горле, вами вызванные, я дружески желаю вам, в суровой нашей жизни, неизменного полета, неизменного меча в руке — пера.

О БАЛЬМОНТЕ

(К пятидесятилетию литературной деятельности)

...Впервые увидал я Бальмонта еще в студенческие времена, более тридцати лет назад. Он читал в Московском литературном кружке об Уайльде.[1] Молодой, рыжеватый, быстрый в движениях, в том же сто-

ячем воротничке, как любил носить всю жизнь, с галстуком-пластроном, тоже навсегда с ним оставшимся, в черном сюртуке, острый, бодрый, несколько дерзкий, с капризным поворотом головы над высоким крахмалом... Правда, он ни на кого не походил. Говорил о поэте, которого никто не знал, в тоне вызывающем и возбужденном, читал несколько нараспев, звук голоса своеобразен. В спорах о прочитанном, где сразу разделились старые и молодые, проявил быстроту, смелость. Ему аплодировали барышни, молодые дамы, юноши, писавшие стихи. Люди «почтенные» негодовали.

Бальмонт уже выпустил несколько сборников стихов, но это было еще введение, юношеская меланхолия и задумчивость. Лишь теперь, именно в Москве начала века, наступил час, когда Бальмонт расцвел или процвел, распустился, зашумел: «Будем как солнце», «Горящие здания», «Только любовь».[2] Голос его поэтический, очень яркий, с тембром златистым и музыкальностью исключительной, сразу услышан был. Бальмонта залюбили, заласкали одни (молодые), поносили другие (старшие). Начиналась слава. Он же сам был в упоении силами жизни, стихиями ее. Этим и заражал. В нем, конечно, был дар некоего обольщения.

В Москве сразу он привился, вошел в жизнь ее, нечто от разноцветной его блистательности связалось даже с пейзажем Москвы: вспоминая Арбат, видишь на солнечной его стороне Бальмонта в широкополой шляпе, чуть прихрамывающего, с устремленной вперед рыжеватой бородкою, всегда несущегося навстречу новым впечатлениям и увлечениям, стихам, любви. Как и Андрея Белого, Бальмонта вспоминаешь в движении и в возбуждении. Вечно молод, всегда счастлив, так ему быть полагалось... — всегда ли было в действительности? И так ли в конце концов оказалось?

...Он жил в Толстовском близ Арбата, мы недалеко, в Спасо-Песковском. Из окон нашего дома были видны окна бальмонтовского. Там в четвертом этаже снимал квартиру Бальмонт, и мы в четвертом — на одном уровне. Там он вел жизнь, о которой не скажешь, что она была вялой, бездеятельной.

Трудился он неустанно. Писал собственные стихи, переводил Кальдерона, Шелли, изучал норвежский и испанский, печатал статьи, очерки, путешествия — все это с педантической тщательностью в распорядке часов работы. Нанизывал море стихов правильным своим почерком или выстукивал их на машинке, и уж тут ничто не могло оторвать: повседневная сторона жизни крепко была налажена. Катерина Алексеевна, первая его жена,[3] женщина большой культуры и изящества, вела дом в порядке строгом. Но Бальмонт выходил, и начиналась другая часть жизни, та погоня за «мигами», которой усердно они с Брюсо-

вым занимались, но у Бальмонта это выходило легко и с увлечением, а у Брюсова грубо.

Бальмонт часто к нам забегал. Именно забегал, ибо всегда куда-то летел дальше, всегда был ярок, возбужден, иногда очень мил, шутлив, даже с детскими замашками. Иногда и чудил, но в пределах.

Раз застал меня одного, я кончал завтракать. Он сел за стол, посмотрел на меня вызывающе и сказал:

— Я хочу, чтобы этот юноша в студенческой тужурке прочел мне стихи Верхарна.

Я отбивался как умел. Но пришлось подчиниться. Верхарна тогда Все мы знали, у меня был дома томик его поэм, по-французски. Но читать вслух, на чужом языке... Я читал, разумеется, очень плохо.

Бальмонт слушал задумчиво.

— Я желал бы, чтобы мне лучше читали, много лучше, гораздо лучше...

Этого удовольствия я ему уж не смог доставить.

В другой раз, зайдя с Максом Волошиным, он сел с ним под большой наш обеденный стол, туда же устроились две молодые дамы, и считалось, что они сидят все под пальмами, «в стране нежных Маори»,[4] — Бальмонт читал стихи, а когда выбрались, он сообщил мне, что напрасно я не отправился на волшебный остров, там было хорошо, «нас было четверо друзей и стихи звучали узывно». (Уже здесь, в эмиграции он напомнил мне об этом: «Гордый студент не пожелал сесть под стол...» — не весьма был этим Бальмонт доволен.)

А однажды, глядя из окна моей комнаты на свой дом и свои окна на том же уровне, сказал не без убежденности:

— Я хотел бы придти к вам прямо по воздуху. То было бы знатное путешествие. Проще и кратче, чем блуждать по каким-то переулкам.

Намерения своего, к счастью, не пытался исполнить, а упорно сидел над Шелли и говорил «ласковости» многим барышням и молодым дамам. Да тогда так и казалось, в жизни привольной и мирной, довоенной России, что собственно главные занятия человека — это поэзия и любовь — взгляд не такой бессмысленный, но от одного воспоминания о нем невесело ощущаешь окружающее. Пусть находят в тогдашнем времени много ребяческого, легкомысленного и греховного, за что расплата пришла, все же и обаяния его не зачеркнешь. Обаяние — дух поэзии, подымавший жизнь.

И опять тот же Бальмонт. Не причудами, разумеется, он нас и многих тогда покорял. А тем, что был настоящий, большой поэт. Вот заходит он в ту же нашу квартиру, на углу Арбата и Спасо-Песковского. Тихий июньский вечер. Напротив, через переулок, церковь Спаса на Песках, с острыми колоколенками своими, окруженная липами, — густой, пахучей волной тянет оттуда: липы цветут.

Еще не темно, но смеркается. Прозрачные, зеленоватые сумерки. У нас сидят соседние барышни-бальмонтистки, их дом у самой церкви. Входит Бальмонт. Он сегодня тих и задумчив. Почему, мы не знаем, да и мало лм почему человек может быть в том, ином настроении? Все тоже притихли. И просят читать стихи. Выставляя вперед бородку, вынув из бокового кармана книжечку, Бальмонт начинает:

У Моря ночью, у Моря ночью
Темно и страшно. Хрустит песок.
О, как мне больно у Моря ночью.
Есть где-то счастье. Но путь далек.

Я вижу звезды. Одна мне светит
Других светлее и всех нежней.
Но если сердце ее отметит,
Она далеко, не быть мне с ней.

Я умираю у Моря ночью.
Песок затянет, зальет волна.
У Моря ночью, у Моря ночью
Меня полюбит лишь Смерть одна.

Стихи, их музыка, его волнение, кристальность сумерек, пронзительное и нежное овладевает — и нами, и читающим. Что-то дрожит в его голосе, глаза блестят — слезой, и это нам передается, и через тридцать лет вот ведь и вспомнишь вечер арбатский, померещившееся море, песок прибрежный, недосягаемость любви, печаль и одиночество... Ведь вот именно «лирою» своей взволновал нас поэт, именно легкозвенящей лирой преобразил арбатскую квартиру в чистую поэзию.

И вновь читал, вновь волновал. В этот вечер Бальмонт тихий и печальный, но ненадолго. Почитав, посидев, он стремится уж дальше, ибо вялых и серых минут не должно быть в жизни.

А на другой день по солнечному Арбату летит Бальмонт, как некая жар-птица литературы русской, отливая всеми цветами радуги.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И выси гор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть море,
И пышный цвет долин.
Я заключил миры в едином взоре,
Я властелин.

Я победил холодное забвенье,
    Создав мечту мою.
Я каждый миг исполнен откровенья,
    Всегда пою.
Мою мечту страданья пробудили,
    Но я любим за то.
Кто равен мне в моей певучей силе?
    Никто, никто.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
    А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о Солнце
    В предсмертный час! [5]



Жизнь его протекала и дальше шумно. Годы он жил в Париже, возвращался в Москву — Москва пышно справляла его юбилей, потом начались странствия с чтениями, лекциями, слава уже всероссийская. А затем общая наша судьба: эмиграция.

Бальмонт подолгу жил в Капбретоне, в Ландах. Мы реже теперь видались, лишь когда он бывал в Париже. Одна из встреч этих мне запомнилась.

Против окон моих теперь была не церковь Спаса на Песках и не липы цветущие, а маленький парижский дом, над ним чудесные каштаны, им бы позавидовала и Москва. Чуть не вечность прошла со времен Спасо-Песковского. Но Бальмонт... на улице Клод Лоррен[6] в 1931 году он сказал, что не хочет жить. Все погибло, не нужно ему даже солнца.

— Я не люблю сейчас солнечного света, мне мила ночь и молчание. Лишь луну я могу признать.

Бальмонт отказался от солнца! Он тем же жестом, как и тридцать лет назад, вынул из бокового кармана книжечку, исписанную тем же правильным, слегка крючкообразным почерком. И стал читать. Да, это были стихи о луне и против солнца, даже против жизни.[7] У меня нет их сейчас, но я помню все давящее и угнетающее, что в них было — как бы панихида по Бальмонте прежних дней.

Декабрем 1932 года помечено стихотворение «Косогор», явно написанное в той же полосе (но его он тогда не читал):

Как пойду я на далекий косогор,
Как взгляну я на беду свою в упор,
Придорожные ракиты шелестят,
Пил я счастье, вместе с медом выпил яд.

Косогорная дорога вся видна,
Уснежилася двойная косина,
А на небе Месяц ковшиком горит,
Утлый Месяц сердцу лунно говорит:

— «Где все стадо, опрометчивый пастух?
Ты не пил бы жарким летом летний дух,
Ты овец бы, в час как светит цветик ал,
Звездным счетом всех бы зорко сосчитал.

Ты забыл, войдя в минуты и часы,
Что конец придет для всякой полосы,
Ты вдыхал, забывши всякий смысл и срок,
Изумительный, пьянительный цветок.

Ты забыл, что для всего везде черед,
Что цветущее наверно отцветет,
И, когда пожар далекий запылал,
Любовался ты, как светит цветик ал.

Не заметил ты, как стадо все ушло,
Как сгорело многолюдное село,
Как зардели ярким пламенем леса,
Как дордела и осенняя краса.

И остался ты один с собою сам,
Зашумели волчьи свадьбы по лесам,
И теперь, всю силу Месяца лия,
Я пою тебе, остря свои края».

Тут завеяли снежинки предо мной,
Мир как саваном был полон белизной,
Только в дальности, далеко от меня,
Близко к земи ярко тлела головня.

Это Месяц ли на небе, на краю?
Это сам ли я судьбу свою пою?
Это вьюга ли, прядя себе убор,
Завела меня, крутясь, на косогор?[8]

«Пил я счастье, вместе с медом выпил яд» — видно, чувствовал, куда идет дорога. Яд сейчас в полной силе, Бальмонт в полной беде.[9] В этом году пятьдесят лет, как он вышел в путь, стал поэтом. «Вышел сеятель сеять...» Что же: много дал, отдал, в сущности, все, что имел, не считая, и когда перелистываешь лучшие его книги, волнение молодости вновь овладевает.

В горестный его час вспомнишь высшее в нем, натуру живую, пламенную, потрясаемую поэзией и восторгом, некими радиоволнами себя изливавшую и пленявшую нас.[10]

БУНИН

Передо мной тоненькая, хорошо переплетенная книжечка с надписью: «Вере и Борису с любовию. Ив. — 25.IV.46.» Собственно, это ничья особенная молодость, ни его, ни Верина, ни моя. Да еще если вспомнить, что теперь ему было бы сто лет и что мы чествуем ныне его юбилей...

Все-таки от чувства молодости не отказываюсь. Может быть и потому, что тут же, в «Речном трактире»[1] этом, изданном Марией Самойловной Цетлиной,[2] другом и покровительницей писателей эмигрантских, через страницу от дарственной надписи помещен портрет автора — это молодой человек, недавно оперившийся писатель.

Я его знал с 1902 года, но тут раньше. Тут совсем молодое лицо. А одежда! Очень высокие воротнички крахмальные (еще не треугольные, как все мы тогда носили, а какие-то тургеневско-гончаровские, с широким поперечным галстуком).

Все довольно удобное и производит впечатление мягкости. Сюртук, хорошо сшитый, покорно ложится складками по коленям — Бунин сидит в кресле. Это именно молодой русский писатель с тонким изящным лицом — будущее украшение литературы нашей.

Первый раз встретился я с ним вот тогда, у Любы Рыбаковой,[3] подруги моей жены, в Москве, в Неопалимовском переулке, близ всех этих «священных» мест Арбата и Пречистенки, Поварской, где некогда ходили да и жили и Тургеневы, Толстые и Ростовы из «Войны и мира».

Люба Рыбакова — чудесная брюнетка с кудряшками, тогдашний стиль модерн, Бальмонты, Волошины, теперь как будто Бунин и целая компания юных, «будущих». Разные Саши, Кости, Зиночки, Лели...

Удивительно, как запомнился мне Бунин с первого же раза. Он сидел спокойный, слегка насмешливый, снисходительно побалтывая в стакане чая ложечкой. А из залы неслись последние звуки пения (муж Любочки, врач Федюка[4] — так его все звали): «Целовался сладко я, да с твоей жен-н-ной!» И через минуту, в белом нелепом галстуке, оглаживая рукою волосы, с победоносным видом влетел побледневший Федюка, с размаху выпил стакан холодной воды: «Вот, мол, какой я Собинов!» Ему аплодировали. Бунин сидел по-прежнему, не без лю-

бопытства поглядывая, но в меру — никакими Федюками, психиатрами московскими, распевающими у себя на вечерах, его не удивишь.

Очень скоро потом стали мы с ним сотоварищами по литературным «Средам» — все равно, отношение такое же: младший к старшему, и такому, кто кроме изящества обладает над тобой некоей властью. Он мне даже легким высокомерием своим (сдержанным, как бы затаенным) нравился, не говоря уже о внешности и писании. Но и смущал. Это не приятель какой-нибудь начинающий — тут писатель уже явный, из толстых журналов и «Сосны» из «Мира Божьего»[5] — дай Бог всякому так написать. Да не всякому такие сосны даются.

Сам я только еще прикасался к литературе, со страхом и трепетом. С Буниным, кроме Любы и Литературного кружка, стал встречаться у Леонида Андреева, Телешова, Сергея Глаголя (критика художественного).

Чувствовал себя робко, больше молчал. Там бывали люди хорошие, теплая Москва, иногда проездом и знаменитости — Чехов, Горький. Бунин знаменитостью еще не был, все-таки несколько подавлял. Просто собой, недооцененный еще, но ощущавшимся талантом и взглядом сверху.

Помню, подарил он мне раз только что вышедшую свою книгу — перевод «Песни о Гайавате». Это поэма из жизни краснокожих тогда очень известного поэта Лонгфелло. Сколь помню, простодушная, отлично переведенная, теперь показавшаяся бы «для юношества».

Пришел домой, в маленькую свою светелку переулка Годеинского (ныне его нет). Там, за углом, на Арбате, рядом с «Прагой» жил в номерах «Столица» Бунин.

Сел читать и читал до рассвета. Все прочел, уже лампа стала тухнуть. Кончил в почти восторженном состоянии. Трудно заснуть после такой вещи. Во всяком случае тогда было трудно.

И потом вышло, что почти вся жизнь — литературная особенно — прошла вблизи этого человека, редкостно одаренного, нелегкого, для меня обладавшего шармом особенным. Как он садился, закладывал ногу за ногу, морщился, когда вино не очень нравилось, как изображал «в лицах» других, даже как артистически сквернословил — все было первый сорт. Не говоря уже о писании. Это, конечно, самое главное. За это вполне можно простить, что в первоклассном ресторане обнюхивал он иногда поданное («Не тухлятину ли дали, анафемы»).

Кроме таланта литературного был у него и актерский (в хорошем смысле), так что Станиславский приглашал его в Художественный театр, это бесспорно. Помню, как, провожая в поезде нас с женой от Грасса до С.-Рафаэля, он так смешил, изображая разных мужиков, что слезы выступали на глазах — веселые слезы. Странным образом, под-

земно соединялось в Бунине неистребимо барское с неистребимым простонародным. Любил выражения непечатные. И великий знаток был их. По его собственным словам, это спасло его раз в революцию. Засиделся он со своей Верой где-то в Елецком уезде, в именьице, пришлось просто бежать, «господ» начали уничтожать. Вера оделась бабой, Иван прасолом, и на убогих лошаденках в тележке тронулись они к станции. Поезда еще ходили. Бежать можно, но небезопасно. По дороге перехватил их народ-богоносец, и Ивана спасло только то, что он стал ругаться не по-барски («Ну, братцы, это свой... не барин»). Да, не зря давал он в свое время пастушонку по две копейки за ругательство.

А литература его иногда, особенно в молодости, несла в себе ноты и нежные. Помню сразившие меня «Осенью», «Скит», «Тишина», «Сосны» — небольшие лирические и почти бессюжетные произведения в прозе.

Дальше крепнет он, может быть, и изобразительность растет — «Деревня» (произведшая большое, не всегда сочувственное впечатление), «Игнат», «Ночной разговор» — более мрачные вещи. Но это привело уже к званию академика и радостным чествованиям в Литературном кружке, «Праге». Тут уже некогда было спрашивать, тухлое или свежее, только чокайся.

Ясней проступила в нем еще черта: любовь к путешествиям.

Не столь Европа, как Азия. К Азии таинственное у него было тяготение, связанное частью с буддизмом, частью с древностью доисторической вообще. Все это ему нравилось. И жило в нем. Откуда? Бог весть. Происхождения он был чисто славянского, древний дворянский род.

Уже в 1907 году, полюбив Веру Муромцеву, ставшую женой его и подругой на всю жизнь, отправился он с ней в дальнее плавание — Иудею, написал там чудесную «Розу Иерихона», прославление любви в высоком тоне. А затем — Цейлон, очень много ему давший для писания.

Много обо всем этом можно сказать. Тут лишь беглые заметки, связанные (жутко сказать) со столетием его рождения.



Не сумею с точностью передать странствия его. Помню, что было их много — и до Веры, и при ней. Можно бы назвать его непоседою. Да и правда, прочного своего угла, хоть бы и скромного, в первой половине жизни у Ивана не было. Не сидеть же в номерах «Столица» на Арбате. Или, несколько позже, в квартире Муромцевых в Скатертном переулке, тоже поблизости. Тоже скучно. Своя комната, но, как всегда у него — как бы необитаемая. Здесь читал он нам — брату своему Юлию,[6] моей и своей Вере и мне «Деревню», «Астму»... — и как будто

во всем убежище этом, кроме коробки с гильзами и рассыпанного по клеенчатому столу табаку, ничего и не было, разве чемодан с наклейкою «Порт Сайд». А за стеной Лидия Федоровна, мать, мечтавшая отдать дочь за «солидного» человека, да смиренный отец, Николай Андреич,[7] православнейший член Городской управы, не такой театральный, как брат Сергей,[8] председатель Государственной Думы, вполне уверенный в своих достоинствах и умело выпячивавший, где надо, грудь в накрахмаленной рубашке. Вера была отзвуком отца, не матери, не дяди. Скромный листик Святой Руси.

Вот Иван и рвался всегда, то вдруг в Ниццу, то в Иерусалим, то на Цейлон, Капри — там Горький, с ним он тогда дружил.

В эти же годы и несколько позже написал некоторые замечательные вещи: «Господин из Сан-Франциско», «Братья», «Сны Чанга». (Не тот Бунин, что побалтывал ложечкой у Любы Рыбаковой). Тут уже академик, будущий лауреат Нобелевский. Крепче, тверже и отчасти сумрачней. Что делать? Себя не переделаешь.

Война, революция. Все наши жизни сломаны, «спасайся, кто может» и «Выход евреев из Египта» — в этот выход русский попал Иван рано, чуть не раньше всех из клана нашего литературного, уже в 1920 году он председатель Союза русских писателей в Париже.

В этом Париже все мы и засели. Но Ивану скоро наскучило жить вечно в Пасси на улице Оффенбаха. Особенно летом. Был он человек солнца, воздуха, любил море. (Бальмонт сказал ему раз: «Бунин, в вас живет душа корабля»).

Пышно, а в общем правильно. И он выбрал Грасс, хоть и не море, но приморский город провансальский. Прелестная небольшая вилла на горе с видом на Эстерель, море, зеленоватые холмы налево, к Ницце. Сначала жил здесь только летом, потом переселился вовсе. В Париж наезжал (иногда, зимой).

В Грассе было ему по душе. Ночью звезды, днем дальний, синеватый дым моря, тишина, «благорастворение воздухов». Тут написал он завершительные свои, выдающиеся вещи — «Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Солнечный удар». Произведения зрелости художнической. Русское, пропитанное солнцем провансальским.

Когда пришла, в 33 году, Нобелевская премия, он проводил зиму в Грассе. Тихий город был взбаламучен журналистами, телефонами, автомобилями. Это была, кажется, последняя радостная и бурная зима его. Париж, куда тотчас он отправился, еще большая толчея в отеле «Мажестик», где поселился он временно (до Стокгольма), банкеты, адреса, чествования публичные — нечего говорить, закат жизни шумный, но до последнего упокоения еще далеко. Еще двадцать лет — и нелегких! Мировые события, отрезанность полная от друзей и Пари-

жа — да и чуть не половина Парижа русского оказалась в Нью-Йорке. Шум и аплодисменты далеко. Письма того времени в Париж — стоны и жалобы. Здоровье хуже и хуже.

В 45-м (или 46-м?) мы увидели в Париже другого Бунина. Где далекие прогулки пешком в Грассе, купание морское в Канн<е> или Жуан-ле-Пен. Там был человек хоть и немолодой, но в купальной голытьбе почти красивый, с тем же худощавым, но и живым телом, что некогда в Москве у Любы Рыбаковой, — тут вполне надломленный Иван, слабый, недовольный, раздраженный.

От Нобелевской премии и морально, и материально мало что осталось. Появились разные осложнения жизни, а впереди?

Смерти Иван всегда очень боялся. Теперь чувствовал ее рядышком. Вечные доктора, операция, режим... Часто стал пробовать пульс — ослабел.



Вот жизнь и прошла. Почти вся взрослая на наших глазах — с радостями, горем, одиночеством, славою, превозношением и нелюбовью — всяко бывало.

Чашу с темным вином
Подала мне богиня печали...[9]

Вино было разное: и светлое (кипучее), и темное. Немало последнего. Но любовь к жизни, природе, красоте — стихийная. К каждом листику, лучу, краске заката, красивому женскому лицу, запаху леса, туче, грому. Расставаться с этим страстно не хотелось. Но смирения, преклонения пред Высшим не нашлось И повиновения. До конца он сопротивлялся. Это усиливало тягость.

Скончался он ночью, в полусне, на руках любящей Веры. Кажется, и не заметил смерти, которую так ненавидел. Взяла она его потихоньку.

В столетие его рождения поклонимся писателю первостепенному.

ПОРТРЕТЫ-НЕКРОЛОГИ

ПОТЕМКИНУ

Avant le temps se clorra ta journée.[1]

*P. Ronsard**



едавно спросили на похоронах эмигранта: кто следующий? Вот он и нашелся. И как скоро! Петр Петрович длинной и худощавой своей рукой вынул жребий.

Я мало знал его. Знавшие ближе — больше и расскажут. А в моей жизни он прошел случайной тенью, но сочувственной.

Вспоминаю его высокую и угловатую фигуру, остро-неправильный очерк лица, узкие и глубоко сидевшие глаза, улыбку, часто появлявшуюся, мало веселившую... Шутка, грусть, странная обреченность.

Недолговечным оказался он — дитя богемы, вскормленник литературных кабачков и маленьких театриков, возросший в воздухе «предгрозовой» России, столько нам всем, его сверстникам, знакомой.

И поэт — весь, целиком. Такой уж уродился. Можно так или иначе оценить стихи, жизненное дело, только уж никак не отнесешь его к дельцам и практикам. Художник.

Горько сознавать его утрату. Горько будет хоронить его, в чужой земле, под чужим небом, и в печальный час хочется ему сказать последнее:

— Прощай, соратник, мирный воин армии литературной, рано ушедший, отец и муж, труженик, изгнанник, русский — наш.

Да пошлет ему Ангел Господень легкий сон.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Перед тем, как скроется твой день. П. Ронсар (*фр.*).

РЕЧЬ

<О протоиерее Георгии Спасском>

В прошлом году, в среду на Страстной, отслужив обедню, о. Георгий вышел на амвон — уже разоблачившись, в черной рясе, с золотым крестом на груди. Придерживая крест рукой, высокий, несколько сутулый, производил впечатление силы и задумчивости. Минуту помолчал, полузакрыв глаза. Потом сказал :

— В последний раз нынче мы совершали Литургию Преждеосвященных даров. В последний раз слышали «Господи и Владыко живота моего». Теперь — до следующего Великого поста. До следующей Страстной.

Сделал маленькую паузу.

— Доживем ли? Сколько нас соберется здесь в будущем году? Кого не досчитаемся?

Он говорил и дальше, кратко, но с тем внутренним напором, как всегда: словами пережитыми и потому доходящими. Они и запомнились — слова о мгновенности, бренности, летучести жизни.

Конечно, иначе и не может чувствовать христианин. Все-таки у о. Георгия, при всей его как бы и жизненности, особенно сильно было это чувство. Сколько раз и раньше приходилось от него слышать, примерно, так: «Не устраивайтесь, не располагайтесь в жизни прочно. Смотрите только в Вечность. Смерть на каждом шагу. Будьте всегда готовы — главное, главное: готовьтесь!». «Ведь вот, в синема идете, а не знаете, вернетесь ли». «Горести наши, скорби? Да они — мгновение... А там — подумайте! — вечная жизнь!»

Родом он был из Тверской губернии, но учился в Вильне, в Вильне же и служил вначале священником.

Нечто западное, и от западного края осталось в нем навсегда: своеобразие выговора, оттенок отношения к католицизму, особая любовь к трем Виленским мученикам (погибшим за православие). Западная страстность в защите восточного исповедания. Пышность и яркость красноречия, действенность, боевой темперамент — все это довольно далеко от тишины и интимности Оптинской или Троице-Сергиевской.

Общеизвестен его ораторский дар. Молодым священником он выступил в Храме Спасителя в Москве с речью о патриаршестве (1917 г.), имевшей огромный успех. Это и естественно. О. Георгий был именно оратор для большого храма, для сотен слушателей, для возможности электризовать и зажигать толпу. Он говорил в остром и повышенном тоне, словами большого внутреннего давления, — но владея собой и не растекаясь. Нечто личное всегда сквозило у него в «общем». Может

быть, оттенок горечи и страстности, большого опыта жизни, горького ощущения её и горячей надежды, устремления пламенного. Он был «пессимист» *здесь* для оптимизма *там*. Но никак не монашеского склада его натура. Можно даже сказать, что по природе был он жизнелюбив, чувствовал краски, красоту, поэзию, вообще обладал чертами артиста. (И в красноречии его был художественный дар. Он умел живописать словами. О Св. Серафиме, например, говорил с изобразительностью художника слова.)

Но с неменьшею силой чувствовал трагедию этого «прелестного» мира —всю глубину мрака и зла. И в последние годы росло в нем апокалиптическое чувство. Он не верил в благополучный, *удобный* исход жизни. «Все мне кажется, что уж очень тяжко в мире, душно. Скоро должно кончиться».

Он много перевидал на своем веку, прожил жизнь довольно сложную и разнообразную. После Вильны служил в Севастополе, занимал пост главного священника Черноморского флота. В революцию вел страстную борьбу за религию, выступал на митингах по всему побережью, состязаясь с безбожниками и громя их. Его дар, пафос и вера давали огромное преимущество.

Ему чрезвычайно шло быть с военными. Я не вижу о. Георгия, не случайно носившего имя поразителя дракона, — не вижу его в отступлении: его дух и стиль — всегда атака. Он любил говорить с амвона, держа пред собою тяжелый крест как оружие. Этот крест точно нес его — прикрывал. Как бы влекся за ним оратор, вовлекая слушателей, завоевывая их сердца.

С военными жил он в мирное время, с ними же провел войну и революцию, с ними потерял Россию, но не сдавшись ушел в изгнание — с теми же моряками. Делил дни Бизерты. Всюду подымал дух и ободрял, утешал, служил... Кто побывал с ним в Африке, особенно благоговейно вспоминает об о. Георгии.



Мы узнали его уже здесь, в русском быту сложившемся, в буднях. Но вот именно будничности в нем и не было — серости, вялости. Он и здесь непрерывно сражался, быть может, с врагом еще более многоголовым и страшным, чем крымские атеисты: с повседневностью, засорением душ, измельчанием — с малым злом, непрестанно нас осаждающим.

Кроме служб, треб, проповедей, преподавания, чтений в Сестричестве, акафистов, лекций нес он и груз исповеди: был духовником огромного числа прихожан.

Его значение в этом было не меньше, чем в проповеди: здесь тоже борьба, но действие на каждого в отдельности, умение всколыхнуть, взволновать, зажечь... — и сжечь «тину».

Тайна влияния на людей... — он ею обладал, все, кто у него исповедывались, знают это. В чем она заключалась? — Была тут, разумеется, черта личного обаяния, которая объяснению не подлежит (некая красота пейзажа душевного). Но кроме неуловимого этого налета можно в нем различить основные черты: соединение силы, доброты и грусти. Сила — стихийная его черта. Она проявлялась не только в проповеди и исповеди, но и в самой церковной службе о. Георгия. Он *сильно* служил, как и вообще все делал сильно. Грусть — от ощущения всеобщей нашей слабости, от страшной незащищенности... — этому противополагается лишь доброта, любовь: особенно удивительные при силе (которую обычно связывают с суровостью). Но вот тут «край светлой ризы», к ней прикоснуться, за нее ухватиться. На нее всегда, с любовию и снисходительностию, указывал о. Георгий. Он иногда казался даже слишком снисходительным. Думаю, это вытекало из глубокого понимания жизни и человеческой души.



До нынешнего Великого поста не дожил о. Георгий, «Господи Владыко» не услышал. Не напрасно с такой значительностью говорил тогда. Указывая другим на смертный час, всегда подстерегающий, сам его ждал не менее, и готовился. Свою кончину предчувствуя, за нисколько дней говорил близким: «Скоро меня отпевать будете. Ухожу».

Воином жил, воином умер, как бы в атаке, сраженный пулей, — во время лекции о догматах, на словах «православие, церковь»... — отстаивая то, что считать угрожаемым.

...С необычайной ясностью вяжу о. Георгия, точно он и не уходил: живым проходит перед взором в облачении и митре на служении, в полусумраке исповедальни, возлагая епитрахиль, разрешая с полузакрытыми глазами грехи... — высокий, неравноплечий, в черной рясе с золотом креста, и всегда в движении, всегда на грани времени и вечности.

Ныне он эту грань переступил. Мы еще здесь. Он — там. И лишь любовь соединяет нас.

ПАМЯТИ О. ГЕОРГИЯ СПАССКОГО

...Завтра день Св. Георгия Победоносца, именины покойного о. Георгия Спасского. В этот день все, кто его чтил и любил, бывали на литургии. Как сейчас вижу сияющего, просветленного о. Георгия, с крестом на ам-

воне. Подходившие поздравляли. Отвечая, каждому находил он ласковое, приветливое слово — от него всегда ведь исходила подымающая и укрепляющая, *добрая* сила, это чувствовалось и в службе его церковной, и на исповеди, и в частном разговоре. Он всегда покорял, влиял.

Чтившие и любившие не позабыли о нем. При церкви образовался комитет увековечения его памяти, собирающий средства для создания достойного памятника почившему. Как хорошо, если бы сбор дал возможность именем о. Георгия сделать что-нибудь и для детей, безработных, нуждающихся!

Пусть же все, кому дал нечто от своего сердца о. Георгий Спасский, особенно вспомнят о нем в этот день Св. Георгия Победоносца и поддержат хорошее начинание — пусть побудят к этому и тех, кто его лично не знал.

Н. Н. БЕЛОЦВЕТОВ

> Это несомненно, один из лучших поэтов эмигрантского поколения. У него редкой чистоты голос. Его стихи ненавязчиво напевны...
>
> *«Грани», № 5.*[1]

Совсем недавно писали о нем так, одобрительно и как о живом, но теперь надо бы сказать «был одним из лучших поэтов...» — Николай Николаевич недавно скончался в Штутгарте, «после долгой и мучительной болезни».

Быстро идет время. очень быстро. Как будто и недавно было все. Кави под Генуей,[2] вилла синьоры Луизы, наши пять комнат, осеннее море, дивный воздух с гор — «Коля Белоцветов» с женой в двух комнатах, мы в двух других и общая большая столовая, из окон видны проносящиеся вдоль моря поезда.

Коля худенький, с приятными карими глазами, свисающею прядью темных волос, то рассеянный, то на манер Владимира Соловьева без конца острящий, но всегда изящный и вносящий черту благородства, хорошего тона. Целый день пишет, у себя в комнате. Встречаемся только за завтраком и обедом, да иногда на общих прогулках. Он для меня почти юноша, очень милый, высококультурный и склонный к заоблачностям. 1923-й год! Из России совсем недавно мы оба. Еще есть надежды, еще хочется жить и видеть «что будет дальше». На какой-то, краткий срок жизни наши даже и сближены — пред зрелищем белых

валов моря Тирренского. Иногда ходим в горы, вверх по ручью в благоуханные лесные дебри, иногда в парной коляске катаемся по побережью — к Киавари. Море мягко и сыро ухает рядом, пенится на утесах при выезде к Сестри и обдает брызгами — мы и в Сестри это ездили, и в старомодном отеле обедали, где некогда жил Гауптман, — пили темное тяжелое пьемонтское вино Barolo или Barbera.

А потом жизнь, на два месяца соединившая, так же и развела — одних в сторону Парижа, а других в Германию.

Там Николай Николаевич и остался. Увлекался антропософией, писал стихи. Две книжечки его стихотворений предо мной — «Дикий мед», «Ангел Силезский».[3] Просматривая их теперь, видишь, что действительно и в нашем деле, литературном, был он изящен, даровит. Тяжко сложилась жизнь. Беды войн, странствий, скитальчество и одиночество, все родные судьбы, в этом живем, это кругом видим — трудно развернуться как следует. Да просто и «выявиться» трудно. (Кто печатает, кто читает? Вот и сейчас, может быть, запоздало оцениваешь сотоварища отошедшего...)

Но с тем большей задумчивостью и печалью, сердечным расположением вспоминаешь «Колю Белоцветова» времен Кави, скончавшегося вовсе не старым, в памяти же оставшегося почти юношей. «Путей много, но цель одна», — написал он жене моей на своей книжке. Цель его была высока и он шел к ней упорно. Смерть застала на пути, вечерто еще не был близок. Что же, еще одним меньше, настоящим. Все в порядке вещей. Но в порядке вещей и то, что сочувственно и с любовью склоняешься пред его могилой.

К УХОДУ БУНИНА

Меня просили написать о Бунине в связи с кончиной его. Трудно сейчас это сделать, слишком еще близка его смерть и все связанное с ней (чувства, волнение). Привожу поэтому только несколько строк из письма, отправленного ему мною месяц назад:

«Дорогой Иван, ты, вероятно, очень удивишься, получив это письмо, и я сам отчасти удивлен, тем не менее вот пишу.

Последнее время разбираю письма и раскладываю их в порядке. Твои у меня давно собраны, но на днях попалось еще одно, очень дружеское по тону. Попалось и письмо Веры, напомнившее мне Грасс и хорошие наши дни, о которых я не забываю... У меня есть просто желание послать тебе добрые чувства. Пришла такая минута... Хочу по-

желать тебе всего, всего доброго — здоровья, хорошего душевного состояния и покоя. Мысленно обнимаю тебя».[1]

Теперь все это уже прошлое. Прошлое — и земные страсти, хвала, осуждения, слава. Осталась лишь вечность Сейчас одно только могу сказать и говорю постоянно:

— Упокой, Господи, душу усопшего раба Иоанна.

<В. Ф. ЗЕЕЛЕР>

Небольшое племя эмигрантов тает. Один так, другой иначе, понемногу все скрываются за горизонтом. Владимир Феофилович ушел точно бы сраженный: собирался в типографию, пошатнулся, выронил чашку и упал сам, чтобы уже не очнуться.

Тридцать лет жизни его в эмиграции — тридцать лет трудов: и борьбы за жизнь, и работы общественной. Был он настоящий эмигрант — негибкий, в трудные времена это и показал. А труды его, как деятеля общественного, — все мирные, «о человеке». Земгор, Дни Культуры, союз Писателей. Последние годы — «Русская Мысль».

В Союзе Писателей он был генеральным секретарем тридцать лет, бессменно; все на нем и держалось — и во времена расцвета, до последней войны, и в тайном облике Союза при нашествии, и в теперешней полосе, когда оставшихся сочтешь по пальцам.

Думаю, основное в нем было — при суровой иногда внешности — доброта. То, что всегда вело русскую интеллигенцию: поддержка слабых, сочувствие страждущим. Это одушевляло его и возбуждало. Ему нравилось собирать на стариков Ди-Пи в Австрии, устраивать посылки писателям, сидеть до утра у кассы литературных балов, писать о детском приюте Зёрновой, поддерживать Русскую гимназию, заступаться за высылаемого Березова.[1]

В конце концов, это и был его мир. Русско-интеллигентскую закваску, человеколюбивую, свободолюбивую, сохранил он до дней старости.

Старость же все-таки пришла... Он долго и крепко держался. Был медлен, иногда и медлителен, но что полагалось делал и на восьмом десятке (а летом перешагнул и в девятый). Только горбился больше и ходил утомленно.

Последний раз я его видел у типографии, за несколько дней до кончины. Издали узнал согнутую спину, каскетку на голове. Опираясь на палку, медленно он проследовал в типографию, горбясь сидел за корректурой.

Устал Владимир Феофилович. Потрудился и пожил сколь назначено, сколько Бог велел. А теперь — вечность и отдых.

Н. Д. ТЕЛЕШОВ

На девяностом году жизни в Москве скончался старейший русский писатель, Николай Дмитриевич Телешов.

Телешов — это Москва, Чистые Пруды, купеческо-интеллигентский мир, вошедший в литературу.

По ранней молодости своей помню его именно на этих Чистых Прудах — одного из основателей литературного кружка «Среда»: по средам собирались у него писатели.

В большой гостеприимной квартире Николая Дмитриевича Леонид Андреев читал своего «Василия Фивейского», читал Вересаев, другие тогдашние. Там в последний раз видел я Чехова (через несколько месяцев он скончался).

В Телешове было благодушие, приветливость, простота и какая-то sancta simplicitas*, располагавшая сразу. Так и сохранилась память о нем: о человеке благожелательном, чистом. (Он даже физически производил «чистое» впечатление: красивый, с прекрасным цветом лица, карие, ясные, очень русские глаза...)

Писал мало. Сотоварищи называли его «угол Денежного и Большой Ленивки» — принято было давать членам кружка прозвища по московским улицам.

О «Среде» много написано. В книжке воспоминаний самого Николая Дмитриевича о ней подробно рассказано. Имя Телешова от нее неотделимо. И, возможно, в истории нашей словесности больше оно останется в связи с этой «Средой» (Л. Андреев, Бунин, Вересаев, наездами Горький, Чехов, Короленко, Куприн и другие), чем в чисто литературном отношении.

Все это было очень давно, в начале века. Тот московский мир совсем ушел. Ушла его человечность, приветливость, некая, может быть, наивность. Мир «Среды» и Телешова не предчувствовал трагедии. У одного Леонида Андреева, пожалуй, было «расщепление атома». Остальные при встречах просто лобызались, слушали чтения, благодушно закусывали водочку балыком на обильных ужинах Николая Дмитриевича. Либерально ворчали, ждали реформ, а в общем все слава Богу.

Телешов дожил до революции, в эмиграцию не попал. Что общего у него с «новым миром»? Ровно ничего. Но ему дано было прожить годы и умереть именно в «их» мире. Он занимался безобидными делами: общество имени Чехова, музей Художественного театра (был его директором). И вот теперь умер. От последнего, единственного сотоварища по «Среде», еще живого — поклон его памяти.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Святая простота (*лат.*).

СМЕРТЬ РЕМИЗОВА

Вот и последние мои слова о Ремизове. Недолго пришлось ждать.

С месяц назад зашел я к нему, он сказал:

— Пришли проститься.

До того видел его летом, в день 80-летия. Разница оказалась огромная: просто другие черты — одутловатость, припухлость целой половины лица. И та слабость, которая ведет к Вечности.

Но за последние дни будто нечто в нем выравнялось — все мы все-таки чувствовали, что конец близок.

— И подумайте, — сказал он тогда же, — ведь никакой надежды... Задыхаюсь.

Его поддерживали кислородом. Почти слепой, тяжко дышащий, так и остался он до конца литератором: занимали его только книги, печатание, отзывы, переводы.

Литературная судьба его особенная, жизнь долгая и нелегкая, облик причудливый, трудный, — порождение, однако, и России, и Москвы. Глубоко русский человек. И очень был умен, один из умнейших наших писателей. Но никак не «Декартовского» духа. Подземное, путаное и сложное было в нем, смесь горечи, ущемленности, как бы всегдашней обойденности с сознанием превосходства. Замечательная память и сновидчество, чувство древней Руси, древнего языка и близость к сюрреалистам, фантастические рисунки (пока видел, любил рисовать) и склонность к мельчайшим, утомительным описаниям.

Его мало читали, но небольшой круг очень чтил.

Впрочем, теперь уж неважно, кто признавал и любил, кто нет. Он уже в Вечности, где нет ни статей, ни рецензий, ни читателей. А *что* есть, неведомо никому: можно лишь верить и надеяться.

Для меня в нем ушел последний сотоварищ по писанию — моего поколения. Своеобразнейше одаренный писатель и книгочий, москвич с Земляного вала, дорогой Алексей Михайлович, кого знал полвека, к кому любил заходить в последние его годы парижские, мирно беседовать.

— Идите тихо, идите мирно, — повторял он всегда, провожая до дверей квартиры. Позже не провожал уже: сил не хватало двигаться.

Ныне мы провожаем его в дальний, таинственный путь.

— Идите тихо, идите мирно.

Упокой, Господи, душу новопреставленного Алексия.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ

Спокойствия и ровности никогда не было в о. Киприане. Само вступление его в монашество было непокойно и бурно. Он избрал ношу тяжкую, как бы и с надрывом внутренним. Но никто не мог бы «отсоветовать», повлиять, даже самые близкие и любимые: не таков был его характер.

Впрочем, всякий склад жизненный был бы для него нелегок. Я не вижу о. Киприана вне борений, одиноких раздумий, недовольства собой, приступов тоски – сменявшихся ярким подъемом, главнейше в Богослужении, или восторге перед красотой, в искусстве.

Монашеский путь, однако, с отсечением воли, удалением от стихии, всеми нами владеющей, ткущей земную ткань, путь собственно «ангельский», не труднейшим ли оказался для него? Но таков именно был покойный – выбирать, так крайность. Серединки, благоразумия не любил. Отсюда его порывистость, иногда очаровательность, иной раз и резкость, и неожиданность поступков.

Сильный темперамент, глубокая уединенность, художническая нотка, влечение к прекрасной видимости – и монашеская обязанность удаляться от нее. Св. Бернар не заметил, одно или два окна у него в келье,[1] о. Киприан обладал поразительной остротой чувств, глазом замечательным, как у Бунина, любил ароматы, духи, цветы, природу, красоту, музыку, живопись, итальянское возрождение.

Была, однако, в монашестве черта, внутренно ему созвучная и привлекавшая его: «особность», отдаленность от мира, ни на что непохожесть. Он и в жизни и в литературе предпочитал одиночек. А еще больше – одиночек недопонятых, недооцененных. Такими были для него Константин Леонтьев, Леон Блуа.[2]

О. Киприан сам являл собой облик этого одиночества, образ изящества, некое художественное произведение – достаточно было видеть его прекрасные глаза и длинные, тонкие пальцы.

В жизни он был настроен почти всегда горестно. В общежитии иногда нелегок, иногда восхитителен. К общественной деятельности совсем неприспособлен.

Думаю, главная радость и утешение его было Богослужение. Насколько он не любил заседания и комитеты, настолько высшее оправдание и смысл находил в литургии и молитве. Тут, кажется мне, он действительно возвышался на несколько пядей над жизнью повседневной.

Как исповедник он всегда грешнику сочувствовал, был заодно с ним, заранее к нему расположен. В Евангелии больше всего любил притчу



Б. К. Зайцев. Париж, 1960-е гг.



Воскресенье, 15 іюля 1901 года.

№ 193 — ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ — № 193

КУРЬЕРЪ

ГАЗЕТА ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Ежедневное изданіе.

Воскресенье, 15 іюля 1901 года.

Театръ „АКВАРІУМЪ".

Театръ „Олимпія".

На открытой сценѣ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

второе полугодіе 1901 г.

(IV ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

на газету политики, литературы и общественной жизни

КУРЬЕРЪ

Московскіе бѣга

Сегодня начало бѣга въ 2 часа дня.

Аукціонъ лошадей

Будутъ продаваться:

Указатель съ описью лошадей выйдетъ изъ печати въ на-

Памяти М. Ю. Лермонтова.

Газета «Курьер», в которой публиковались первые рассказы Б. Зайцева

Б. К. Зайцев в Притыкино. 1911 г.

Титульная страница еженедельника «Народоправство»



НАРОДОПРАВСТВО

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

1917 г. № 17.

7 Декабря.

СОДЕРЖАНІЕ.

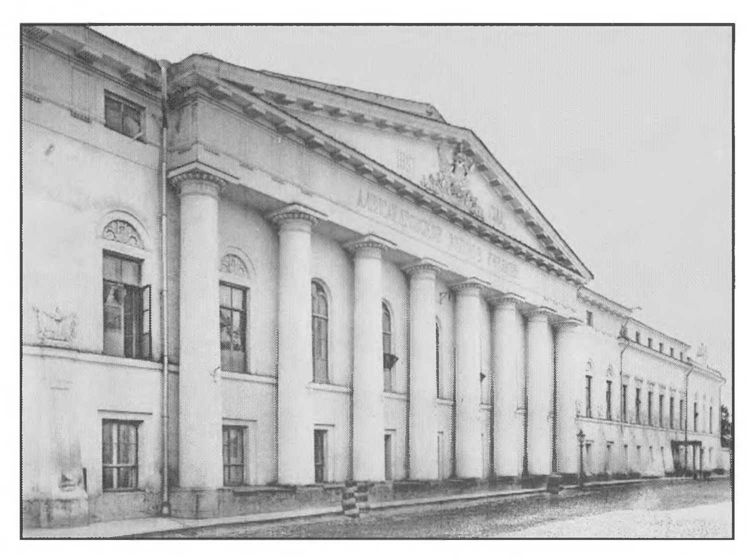
Н. А. БЕРДЯЕВЪ. ГЕРМАНИЗАЦІЯ РОССІИ.
Н. ЛУГИНЪ. ИЗЪ ПИСЕМЪ ПРАПОРЩИКА.
БОРИСЪ ЗАЙЦЕВЪ. НАШЪ ЯЗЫКЪ.
В. Н. ДОСѢКИНЪ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ.
ПРОФ. К. ВОБЛЫЙ. ПЕРЕСЕЛЕНІЕ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА.
ПРОФ. Н. АЛЕКСѢЕВЪ. СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИСЪ.
БОРИСЪ КРЕМНЕВЪ. ПОЛИТИЧЕСКІЙ МАСКАРАДЪ.
БОРИСЪ ЗАЙЦЕВЪ. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ.



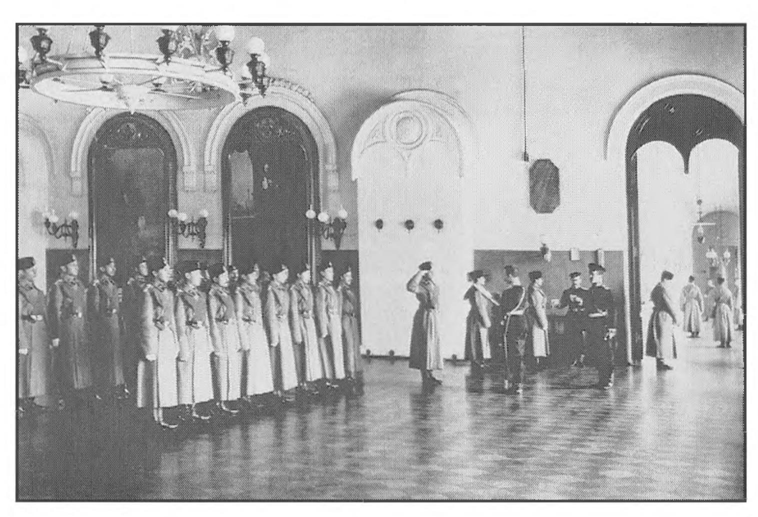
Б. К. Зайцев в форме прапорщика 192-го Запасного пехотного полка с женой и дочерью. Москва, 1917 г.



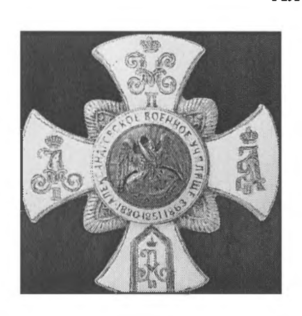
Первомайский митинг перед зданием Московских советов солдатских и рабочих депутатов на Скобелевской площади. 18 апр. (1 мая) 1917 г.



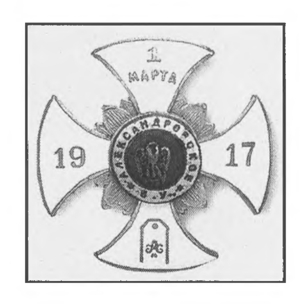
Москва. Александровское военное училище



Александровское училище. Построение



Нагрудные знаки об окончании Александровского военного училища до и после Февральской революции 1917 г.





Художественный электротеатр. 1910-е гг.

Парад революционных войск в Москве 4 (17) марта 1917 г., в котором принимали участие юнкера-александровцы. Командующий парадом — начальник училища генерал-лейтенант Н. И. Геништа (в центре на коне). Рядом с ним (в темной папахе) — полковник А. Е. Грузинов, принимавший парад

**Периодические издания русского зарубежья,
в которых сотрудничал Б. К. Зайцев**


№ 2410 Годъ изданія седьмой

ВОЗРОЖДЕНІЕ

Vozrojdenie — La Renaissance

РОЖДЕСТВО

Что происходитъ въ Харбинѣ?

Репарационная конференция

Переговоры съ большевиками

Рождественский номер газеты «Возрождение» от 7 января 1932 г.
с приветствием Б. Зайцева «Рождество»

ДЕНЬ РУССКАГО РЕБЕНКА

ВЫПУСКЪ XX-ЫЙ
АПРѢЛЬ 1953 Г.
2174 Post Street
San Francisco, Cal.

КОЛОСЪ

Русскіе писатели русскому юношеству

Изд. Общежитія для русскихъ мальчиковъ въ Шавилѣ
1928

30 Іюня 1938 г.
ЦѢНА 2 ФР. 50

СВЕРЧОКЪ

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЮНО

Journal de la Jeunesse Russ

ДѢТСКІЙ ЖУРНАЛЪ

ОГОНЬКИ

(MENSUEL)

Къ сказкѣ „Дурень и утка"
Валерій Каррикъ


НОВЫЙ ПУТЬ
NOUVELLE VOIE
№ 35
Христосъ Воскресе!
Воскреснетъ во Христѣ Россія




Новогодній номеръ
LA RUSSIE ILLUSTRÉE
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
РОССІЯ



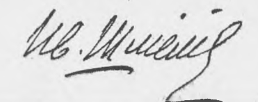

Борисъ Константиновичъ Зайцевъ, писатель

Въ жестокой современности единственно что ободряетъ — духовное: все связанное съ именемъ Христа, подъ Его знакомъ дѣлаемое.

„Новому Пути", идущему по пути Вѣчному, и всѣмъ братьямъ труждающимся, вокругъ него объединеннымъ, низкій поклонъ и сердечный привѣтъ.

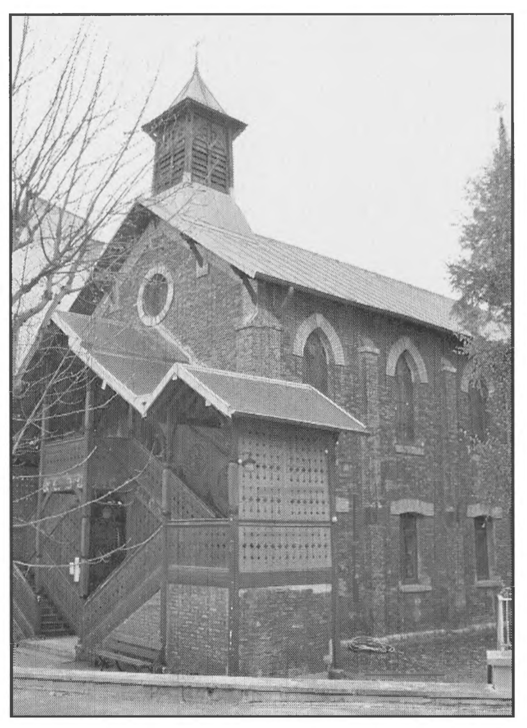
Борис Зайцев.

Путь трудящихся христіанъ, на основѣ Христова слова, братства во Христѣ, есть для нашего горестнаго вѣка — воистину НОВЫЙ. Этимъ путемъ, если онъ станетъ широкимъ, можно придти къ болѣе легкому разрѣшенію — и какъ бы незамѣтному — сложнѣйшихъ вопросовъ соціальныхъ, нравственныхъ — общечеловѣческихъ.

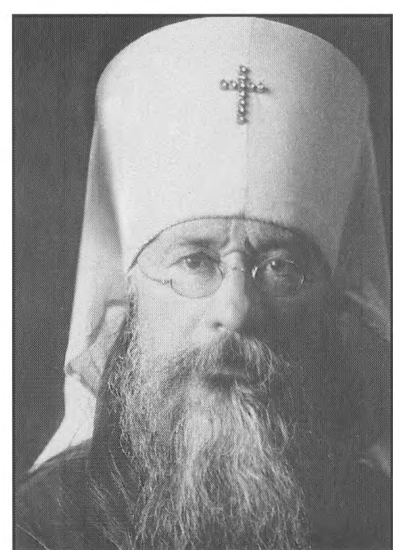



Иванъ Сергѣевичъ Шмелевъ, писатель

Приветствия Б. Зайцева и И. Шмелева газете «Новый путь»



Храм Сергиева подворья



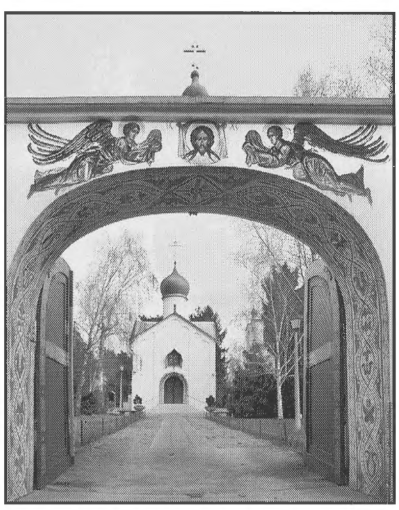
Митрополит Евлогий (Георгиевский)



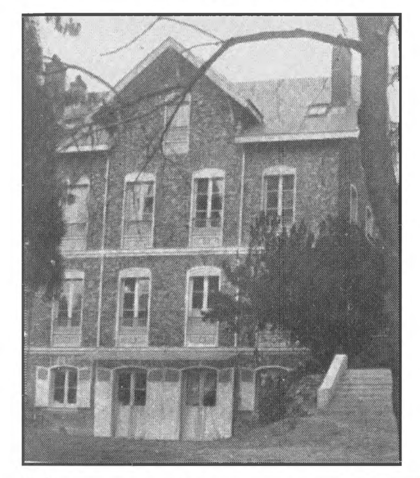
На Сергиевском подворье. В третьем ряду в центре — Борис и Вера Зайцевы. Париж, 1926 г. (к очерку «Тридцать лет»)



Внутренний вид храма ап. Иоанна Богослова.
Белая Церковь, Югославия



Храм Успения на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа



Общежитие в Шавиле



Группа благотворителей и воспитанников
Общежития для русских мальчиков в Шавиле. 1928 г.



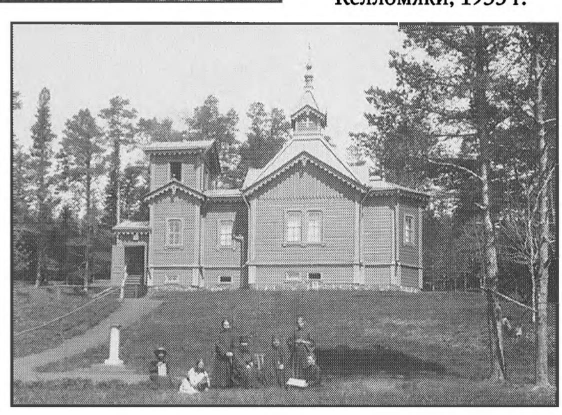
Казанский храм в Териоки (Зеленогорск)



В. А. Зайцева, 1929 г.

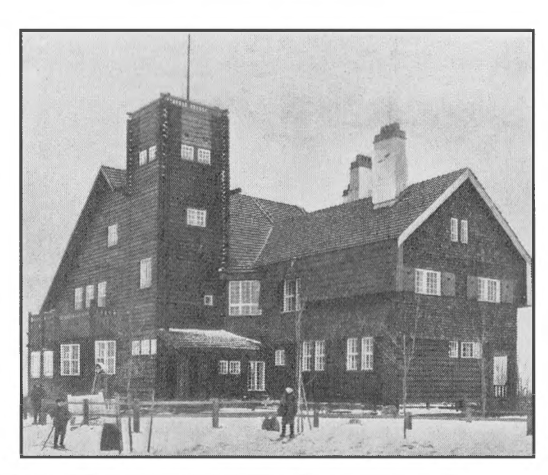


Борис и Вера Зайцевы у пансиона П. С. Захарова. Келломяки, 1935 г.



Валаам. Ильинский скит. 1930-е гг.

Вилла Леонида Андреева
в Ваммельсуу





Усадьба Мариоки. Звонница и кладбище, где находилась могила Л. Андреева



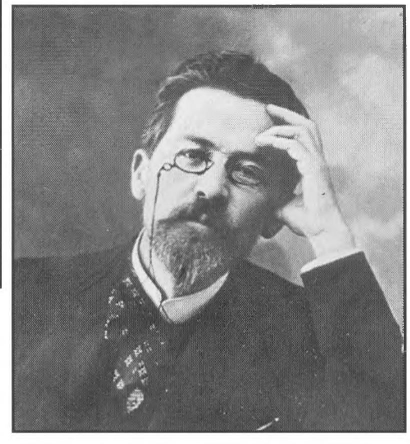
Усадьба Нобелей
Кирьола

Герои очерков и воспоминаний Б. К. Зайцева

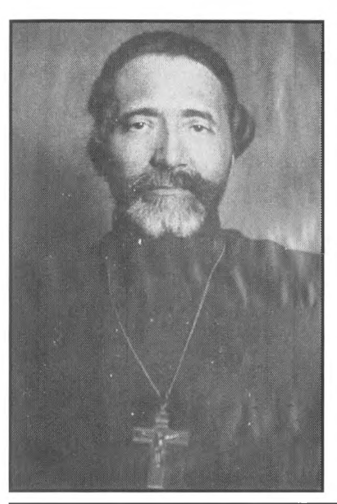
Писатели — участники литературного кружка «Среда». Конец 1900-х гг.
Сидят: Ю. А. Бунин, И. А. Бунин, Н. Д. Телешов, А. Е. Грузинский. *Стоят:*
С. С. Глаголь, Б. К. Зайцев, С. Д. Разумовский, И. А. Белоусов, Л. Н. Андреев



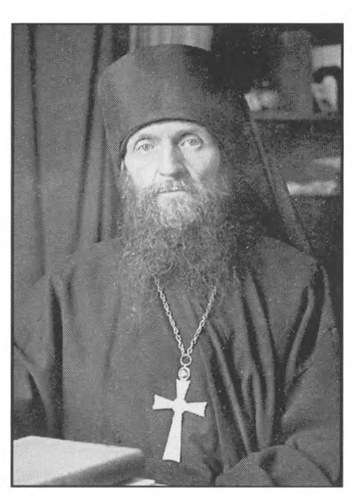
И. А. Бунин и Б. К. Зайцев. Париж, 1933 г.



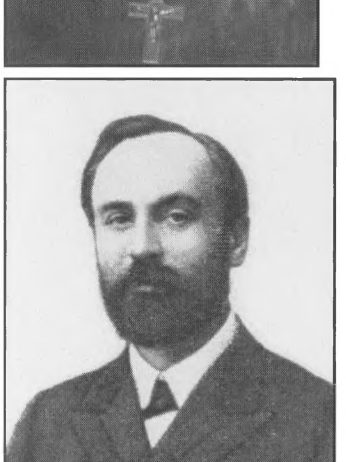
А. П. Чехов



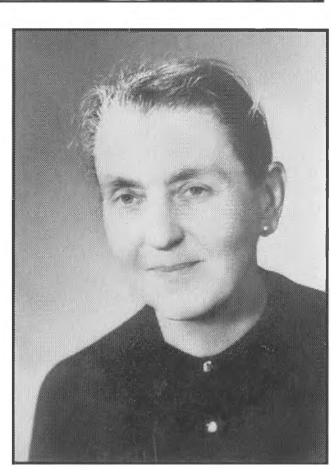
Прот. Георгий Спасский



Архимандрит Киприан (Керн)



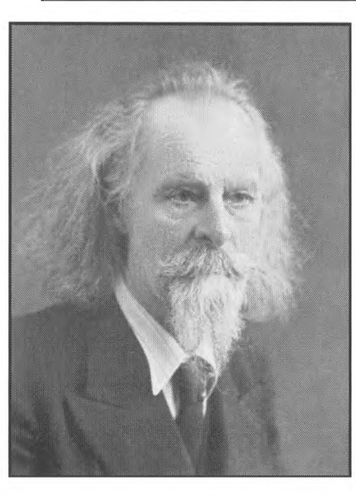
М. М. Федоров



С. М. Зернова



А. К. Герцык



К. Д. Бальмонт

Ф. А. Степун

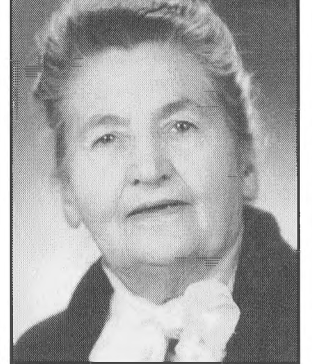
М. А. Осоргин

Н. А. Тэффи

М. А. Алданов

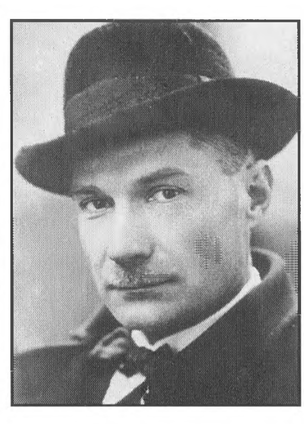
А. М. Ремизов

Н. Н. Берберова





Л. Н. Замятина



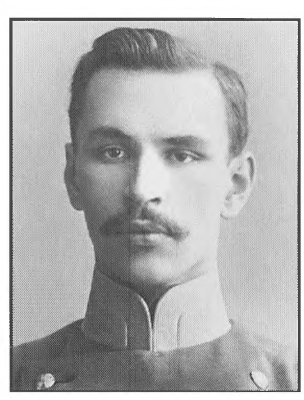
Е. И. Замятин

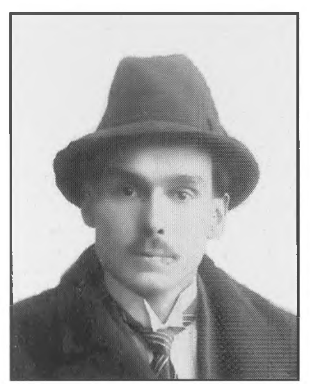


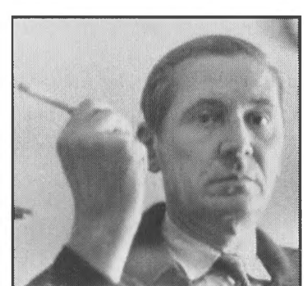
Б. Л. Пастернак


С. А. Найденов

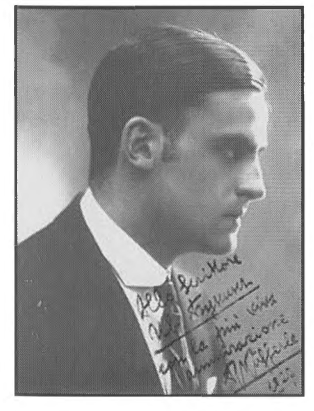

С. Т. Семенов


П. П. Потемкин

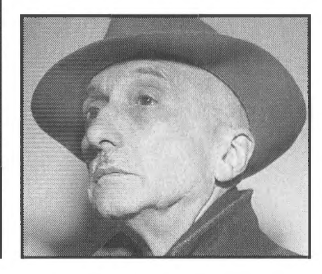

Н. Н. Белоцветов


В. А. Смоленский

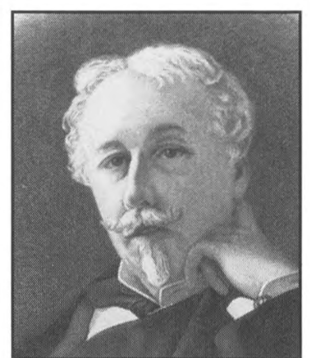

В. Ф. Зеелер

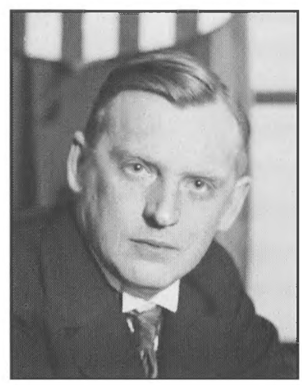

Ринальдо Кюфферле


Этторе ло Гато

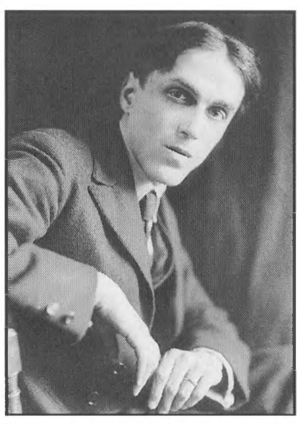

Франсуа Мориак


Ж. Дюамель


Ж. де Гобино


А. А. Алехин


Н. П. Кошиц


Г. И. Питоев


Е. Н. Рощина-Инсарова


Серж Лифарь


Л. Я. Питоева

о Блудном Сыне и всех нас, себя в том числе, считал лицами этой притчи. (Последнее, что прочитано было из Евангелия над его телом перед положением во гроб, оказалось именно любимая его притча.)

Я знал его многие годы. Думаю, знал близко, не иконописно. И всегда любил. Знал его тяжкую жизнь, тяжкую борьбу с собой. Знал — в последние годы как бы особенное его отдаление от многого, что ему было близко: искусства, музыки, красоты, даже общения с людьми, прежде близкими. Рост аскетизма, удаление на некий Синай, все, однако, с оттенком глубокой горестности.

Теперь, когда его нет, вспоминаешь с особым чувством — покинутости и тоже одиночества — что его, такого как знал в расцвете сил, больше среди нас не встретишь.

Облик Аввы неповторим, незаменим — по строгости, благородству очертаний, некоему высокому классу самого существа, по цельности, которая полна была противоречий, а все же цельность, ибо создание художественное. Да, дорогой о. Киприан был сам художественным произведением всем нам известного Непостижимого Художника.

ПАМЯТИ ЗАМЯТИНА

Двадцать пять лет тому назад, 10 марта 1937 г. скончался Евгений Иванович Замятин — один из самых выдающихся писателей 20-х — 30-х годов нашего века. Он начал писание свое еще до Первой мировой войны («Уездное»,[1] ироническое изображение провинции), затем попал в революцию и пережил всю трагедию ее. Как и Пастернак, по-видимому, принял Октябрь, но уже вскоре, так же как и тот, ощутил раны этого Октября. По словам знавших его близко, под внешней сдержанностью и холодноватостью, как бы английского склада, обладал Замятин отзывчивостью и благожелательностью к окружающим, обладал даже скрытой горячностью, и — самое для судьбы его трудное — вольнолюбием.

Это, конечно, совсем не подходило ко времени. Уже с <19>21 года, когда появилась его статья «Я боюсь»[2] (за литературу боялся), начался в Петербурге поход против писателя, занимавшего очень видное место в литературе того времени, вдохновителя кружка «Серапионовы братья» (Федин, Каверин, Зощенко и др.), автора романов «На куличках», «Островитяне» и др. — но... *не* смиряющегося перед указующим перстом. Этого сильные мира сего ему не простили. А как могли они простить ему «Мы», сатирическо-фантастическое произведение, пере-

носящее в будущий «стеклянный дворец», удушающий все личное и своеобразное? «Мы» в России и не появилось[3] (позже переведено на многие иностранные языки). Но автор попал в полную опалу: его вообще перестали печатать. По его собственному выражению, без суда приговорили «к высшей мере наказания для писателя — к молчанию». Ему пришлось преподавать в Политехническом институте (сам он был по профессии инженер, судостроитель). Но кончилось все эмиграцией. По ходатайству Горького его и его супругу выпустили за границу (1931 г.).[4] (Да простится за это Горькому многое из его писаний.)

Но, видимо, силы Замятина были уже надломлены. Хотя встретили его французские литературные круги очень сочувственно, переводилось довольно много на иностранные языки, — все же он недолго протянул здесь. В 1932 г. обосновался в Париже, а через пять лет, будучи вовсе не старым, — скончался.

С русской эмиграцией здесь у него не установились связи. Но наш брат по несчастью, такой же бездомный и не покорившийся насилию, жестокости, как и мы. И мы вспоминаем о нем с сочувственной грустию, как о своем собрате, находящемся в одном с нами лагере — *не* застоя и *не* тирании, но творческой свободы.

Т. И. МАНУХИНА

Она недавно скончалась, так же тихо, как и жила. Я мало ее знал. Но в памяти образ ее остался — серьезной, глубокой, верующей русской женщины, очень просвещенной и своеобразной. Юность ее как будто типична для конца того века, начала этого: Стоюнинская гимназия в Петербурге, Высшие педагогические курсы, потом Париж, Сорбонна, замужество — муж ее был известный врач, сотрудник Мечникова Ив. Ив. Манухин[1] — но обще-интеллигентская закваска осложнилась тяготением к литературе и религиозностью. Большой свой роман «Отечество» она выпустила уже в эмиграции, в 1933 году.[2] А затем в течение трех лет каждую неделю ездила к митрополиту Евлогию, он рассказывал ей о своей жизни, она обрабатывала это и выпустила в свет огромный том (YMCA-Press 1947, почти 700 страниц!).[3] — Замечательная книга: не только история жизни Владыки, но и история Православия того времени, особенно в эмиграции. Очень живо и ярко. Митрополит был хороший рассказчик, но умно сделал, что не сам написал, у него не вышло бы, а Татьяна Ивановна оставила выдающийся памятник церковно-православной нашей жизни.

Затем в той же ИМКЕ вышла вполне собственная ее книга «Св. Анна Кашинская»[4] — это агиография без слащавости и тоже картина тех времен (далеких).

И вот, наконец, за несколько недель до ухода закончила она большую (и довольно неожиданную) статью о Сереже, сыне Анны Карениной. Считала, что на него недостаточно обращено внимания, да и сам Толстой «отвел ему роль пассивного лица». Подход Татьяны Ивановны и выбор ее очень интересен.

Не знал я ее в молодости, но здесь, в эмиграции она вела жизнь замкнутую, полумонашескую, отдаваясь религии, литературе, чтению. Ей монастырь очень подходил бы, особенно после кончины мужа (неск<олько> лет назад).

Да, облик глубокий, сосредоточенный на важнейшем, тихий и значительный.

Мир ее праху.

ПАМЯТИ Л. В. ШЕЙНИС

Недавно скончалась Людмила Владимировна Шейнис, многолетняя «душа» Тургеневской библиотеки.[1]

С первых же годов эмиграции вижу эту небольшую женщину. Типичную русскую интеллигентку, скромно одетую, негромко говорящую. Как-то сразу чувствовалось — целиком предана она своей Библиотеке. Собственно, так оно и было. Во Францию она попала совсем юной девушкой, очень давно, в конце прошлого столетия. Жила и училась, сначала в Монпелье, где познакомилась с будущим своим мужем, врачом и юристом Л. И. Шейнисом (а фамилия ее была весьма российская: Чехова — только к Антону Чехову никакого отношения она не имела). Потом попала в Париж.

Тургеневская библиотека — давнее интеллигентское учреждение, еще времен Тургенева. Виардо когда-то пела для нее, собирала деньги. Тургенев и свои давал. Устраивали разные елки в пользу Библиотеки, и так она и существовала и росла, росла... Книг много жертвовали — и издательства, и частные лица.

Людмила Владимировна уже с 1900 г. стала бывать в Библиотеке. Сначала как читательница, потом добровольной помощницей — дежурила в определенные дни при библиотеке, облегчая работу. Мало-помалу Библиотека затянула ее. Война 1914 г. окончательно решила дело. Платный библиотекарь ушел волонтером на войну, ей предложено было заняться детским отделом (книги детские жертвовались кн<иж-

ными> магазинами из России). После революции ей и М. П. Котляревской предложили место библиотекарей (с жалованьем в 250 фр. в месяц!). Стали они и членами Правления. Да собственно, на них и вообще-то все держалось. В это время Библиотека помещалась на рю Валь де Грас. Там-то и выдавала она нам Хомяковых, Герценов, Бенедиктовых (перевод «Пана Тадеуша») и всякие вообще редкостные книги. А какие комплекты старых русских журналов хранились там! (Был и «Колокол» Герцена). Помещение тесное, но была и читальня с бородками русских интеллигентов. Квартира заставлена книгами, как же иначе, сто тысяч томов. Бюст Тургенева и две скромные русские дамы за конторкой — одна маленькая, Людмила Владимировна, другая — худая и высокая, Мария Петровна. Обе как-то вросли в Библиотеку эту, не просто библиотекарши, а составные части живого организма.

О Тургеневской Библиотеке следует написать целую статью. Эти строки — лишь посмертный поклон ушедшей, малая дань признательности энтузиазму ее и преданности делу. Уже после разрушения немцами Библиотеки (все вывезли с рю де ла Бюшри, отличного помещения — целый этаж старинного дворца уступил город Париж в 1937 году Библиотеке) — в годы трудов по созданию теперешней Библиотеки собирались мы в маленькой комнате Людмилы Владимировны. Она к этому времени была председательницей Правления, и оно собиралось у нее. Это была уже маленькая сухенькая старушка и как будто держалась и жила только делами Библиотеки. Много сил, труда было положено А. И. Ерухмановым и С. А. Луцким, чтобы получить средства для покупки помещения и возможности приобретать книги. Собрания Правления происходили, как уже сказано, у Людмилы Владимировны.

По возрасту и своим силам она не могла уже принимать такого деятельного участия как Ерухманов, Луцкий и Т. А. Осоргина,[2] но всегда чувствовалось, что как некогда на рю Валь де Грас, так и теперь, после долгих хлопот и забот по открытию вновь Библиотеки (11, рю де Валанс) она внутренне так же горела ею и самое ее присутствие вносило особую ноту в заседания.

Новое помещение Библиотеки довелось ей, к сожалению, увидеть только раз. Но вполне можно согласиться с мнением Т. А. Осоргиной, близко знавшей покойную, что «интерес ее к любимому делу угас, только когда угасло сознание». И еще говорит Осоргина, и тоже справедливо: «А от нее самой остается очень светлое впечатление — как о человеке очень большой душевной чистоты, преданности делу и большой скромности».

ВЕРНОСТЬ

Памяти Л. Н. Замятиной

С Людмилой Николаевной, вдовой писателя Замятина, впервые встретился я у Ремизова, тогда уже полуслепого, предсмертно болевшего. Он был вдовец и родных никого, но оказались при нем, хоть не родные, но дружественные люди — в большинстве женщины. Среди них Замятина.

Маленькая, небыстрая, Людмила Николаевна мало говорила, потихоньку всегда что-то делала. По хозяйству, по мелким жизненным делам Алексея Михайловича. Замкнутая, сдержанная, не весьма общительная, могла казаться даже прохладной. Под прохладой этой скрывались, однако, сильные чувства.

Ремизов закончил скорбный свой путь. Тяжко заболела моя жена. Незаметно и как-то само собой, Людмила Николаевна перенесла свои заботы в нашу квартирку. Тут узнал я ее ближе.

Есть «люди единой книги», есть люди единой любви. К ним, по моему, принадлежала Людмила Николаевна.

Она много помогала другим. Но главным и единственным настоящим солнцем ее оставался Евгений Иванович Замятин, ее муж, скончавшийся в 1937 году здесь в Париже.

Сама она вела полумонашескую аскетическую жизнь, перебиваясь перепиской, работала одно время в типографии и неустанно, кропотливо, иногда подземно трудилась для охранения и укрепления памяти мужа. Надо отметить 25-летие кончины его, надо устроить так, чтобы написали об этом в «Русской мысли», дали бы его портрет. Надо издать его посмертные вещи, собрать разбросанное по журналам — выпустить книжкой. Надо подготовить к печати давние его лекции по литературе...[1] А в то же время каждую среду бывать у нас, помогать больной моей жене — будто неслышно и незаметно, а получалось очень действенно. Годы так продолжалось, точно бы приросла как-то Людмила Николаевна нашему дому, стала своей, полу-родственной. Тихо копошится в кухне, тихо просматривает потом газету, берет журналы с собой, иной раз приносит жене цветочки. Ушли бы мы раньше ее, она других нашла бы, кому помогать. Но Евгений Иванович остался бы как всегда первым.

«Женское служение» — есть такое церковное выражение. Нельзя сказать, чтобы церковной была Людмила Николаевна (хотя в церковь ходила), но все так складывалось в ее жизни, что она именно другим себя отдавала непрестанно — этим собственно «поддерживалась» внутренняя ее жизнь (добро всегда животворит служащего ему). Не было

бы главного ее служения — памяти мужа и второстепенных, но живых и непосредственных самоотданий, чем бы жила она в маленькой одинокой комнате своей у Порт С. Клу?[2]

Вот и ушла она от нас недавно, тоже бесшумно — упала на улице и больше не подымалась. Смерть сразила ее точно пулей на поле брани. Успела ли в последние мгновения подумать о чем? Если блеснуло нечто — думаю, был покойный муж. Но это ее тайна.

В небогатой церкви на отпевании стоял ее небольшой гроб, весь в цветах, и стояли вокруг в большинстве давние ее друзья. Прощаясь, некоторые земно кланялись праху ее, целовали крест на гробу. Равнодушных что-то не было. А для меня и семьи моей ее уход особенно отмечен. Да я пред ней и в неоплатном долгу.

Памяти ее еще раз земно кланяюсь.

ВЕНОК

Слово на вечере памяти Алданова

«Суета сует, — сказал Проповедник, — суета сует, все суета сует».[1] Вы любили это, дорогой Марк Александрович, Вы любили царя Соломона и премудрость его, Екклезиаста и его горестные слова. «Все произошло из праха и все обратится в прах».[2]

В Вас сидело это, где-то в глубине.[3] Нельзя силой заставить Вас чувствовать по-другому — и все таки Вы и блистательный царь Соломон — неправы. *Не* все суета и *не* все прах. И сама Ваша жизнь и писание, и грустное благоволение к простым людям, и весь облик Ваш опровергают великолепного Соломона. *Не* все суета, *не* все прах. Из того, что *Вы* умерли, и мне недолго уж тут быть — не следует еще, что мы *только* прах. Да, когда мы встретились с Вами и супругой Вашей в Берлине,[4] сорок пять лет назад, оба Вы были худенькие, молодые, с прекрасными огромными глазами и, конечно, не такой Вы стали в феврале 57-го года в Ницце пред кончиной Вашей. И я не такой был, как сейчас.

Но ни Вы, ни я *не* прах. Мы люди, как и все, люди грешные, но в нас есть неумирающее, пусть хоть капля — в одном больше, в другом меньше, но есть. И само то, что вот сейчас, через десять лет после кончины Вашей мы собрались, чтобы вспомнить о Вас с любовью, почтить Вас — уже свидетельство, что не в одном тлении телесном дело. Жив человек и жива душа его. Ваша душа выразилась в Вашем писании и в Вашей жизни... Сквозь всю горечь писания этого, *за* горечью виден *человек*.

Вы дали огромные фрески исторические, кого-кого из «великих» и «знаменитых» буреносцев мира сего не изобразили, но не к ним лежало Ваше сердце. Замечательно, и не знаю, отмечено ли в литературе о Вас, что из всех этих полководцев, революционеров прославленных, царей, министров, политиков — для сочувствия своего Вы избрали скромных артистов цирка (в «Истоках»,[5] одном из важнейших Ваших произведений). Вы назвали циркачей этих людьми «тройного сальто-мортале», ежедневно безвестно рискующими своей жизнью, тогда как на мировой арене «великие» тройного сальто-мортале проделывают свои штуки на чужих судьбах, заливая кровью, бедой целые страны. (Помню фразу Вашу — «для того, чтобы быть очень знаменитым, надо пролить очень много чужой крови»). И вот духовный композитор Бортнянский ничьей крови не проливал, а в «Заговоре»[6] — одном из лучших Ваших созданий — этот невидный Бортнянский смиренно разыгрывает великую свою музыку для себя самого в дальней комнате своего друга, скончавшегося в ночь убийства императора Павла — страшного человека тройного сальто-мортале, убитого другими людьми, тоже страшными, и тоже тройного сальто-мортале.

Глухой Бетховен в Вашей «Десятой симфонии»[7] тоже прожил жизнь на полу-задворках, мировая слава пришла после смерти. И вот он *не* прах. И Суворов Ваш *не* прах, но не потому, что был великим полководцем, а потому, что, *несмотря* на полководчество, жила в нем живая душа — загадочная черта: в ночь пред решительным сражением при Нови, в Италии, он всю ночь молился на коленях — в сущности, тоже пред делом тройного сальто-мортале, а затем утром — Вы сами это описываете — с сияющим лицом вылетел из палатки и вскочил на коня, неудержимый и околдовывающий.

Да и в жизни Вашей: когда это Вы отворачивались от страждущего, не помогали, не ходатайствовали за бедствующего? Когда? Была в этом польза для Вас? Выгода? Что влекло Вас к высокой умственно-духовной культуре? Что привлекало к озарениям Декарта в «Ульмской ночи»?[8] Прах, суета сует?

Нет, не это. А то, что в Вас сидела живая человеческая душа, Богом созданная, и никакой прах, никакая суета сует затмить ее не могли. Может быть, сами Вы недостаточно на нее обращали внимания, и царь Соломон мешал Вам — все равно, Господь сильнее Соломона, Екклезиаст-Проповедник не мог потушить в Вас искры Божией.[9]

И вот прошло десять лет с Вашего ухода от нас. Никто нас не гнал, никто не приказывал здесь собраться и поклониться облику Вашему благороднейшему, писателя и человека, тому, что осталось и остается от человеческой души, таинственно созданной в таинственном нашем мире — душе, не умирающей в вечности.

Царь Соломон велик, как и Екклезиаст его, «Песнь Песней» в особенности, и никто не подымет руку на него, но у каждого свое мнение и свое чувство мира. *Не* все прах, *не* все суета.

Вашей памяти низкий поклон.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Да, последнее. Был Александр Адольфович Шик и его нет. В книге адресов зачеркнута его строка, перед именем поставлен крест.

Но ничего в душе не зачеркнулось. Хоть и прах он сейчас, а для меня жив.

Дальняя — даже более давняя связь, чем раньше думал, еще с московских времен, довоенных. Как-то он проговорился мне, что в Москве, в начале века, помнит и меня, и покойную мою жену в Литературном Кружке. Мы были взрослые, он гимназист — вот откуда идет нить. А знакомы тогда не были еще.

Но вот в эмиграции полвека товарищеского общения — это уж нечто. Двадцать лет в «Русской мысли», двадцать лет в Союзе писателей. Выл он и вообще сотоварищем в скромном эмигрантском нашем бытии.

Ничего провинциального. Человек русский, из Москвы, но кругозор европейский. Автор «Дениса Давыдова», книги «Гоголь», но и переводчик Лукиана, знаток живописи, театра, литературы, автор многих статей о современном искусстве, неутомимый труженик в Союзе нашем, на всех наших вечерах литературных. Иногда нервный, но всегда делу своему преданный, им внутренне и живший.

Теперь Вечность пред ним, куда ведут пути всех наших жизней. Но пока мы живы, можем еще сказать с нашего зыбкого брега дорогому сотоварищу и спутнику многих лет, дружественной ушедшей державе: «Прощай!»

И слово это полно скорби, неутолимой скорби.

О РОЩИНОЙ-ИНСАРОВОЙ

Года за полтора-два до революции Незлобинский театр в Москве[1] поставил «Любовь на земле» Ивана Новикова,[2] моего приятеля. Главную роль исполняла Рощина. Сыграла она превосходно, на ней пьеса и выплыла.

После спектакля все мы, друзья, литераторы, знакомые, закатились в «Прагу». Там был уже приготовлен отдельный кабинет, где мы и поджидали «диву» с автором.

Худенькая, стройная, в черно-блестящем платье, с букетом роз, сияла она огромными прекрасными глазами на нас, интеллигентов с козлобородками, в сюртучках.

Все было шумно, весело и поздравительно на этом ужине. Пили шампанское, чокались, говорили добрые слова Рощиной, Ивану. Вечер оказался и началом дружественного моего знакомства с ней, длившегося всю жизнь. А сама встреча — «Прага», цветы, румынский оркестр, чудесные глаза, весь облик Рощиной запомнились блистательно.

На сцене видел я ее потом кажется только в «Анфисе» Л. Андреева, да в «Грозе» — тоже была превосходна, но в другом совсем роде.

Она недолго у нас и оставалась, пригласили в Петербург в Александринский Императорский. Успех там имела большой. Слава росла, но все оказалось недолговечно — призрачным. Подошла революция. Рощина вылетела на юг, если не ошибаюсь, через Константинополь попала в Париж. Тут мы вновь с ней и встретились.

Всем нелегко было в эмиграции. Все-таки писателям лучше — появились журналы, газеты, «свое», где можно было печататься. Театра русского эмиграция дать не могла. Публики Парижа хватало на дватри спектакля. Екатерине Николаевне нелегко приходилось. Поддерживало имя, слава, почитатели.

И так вышло, что годы прожили мы почти рядом в доме на улице Тьер, в Булони, предместье Парижа. Я с семьей в пятом этаже, она с сыном[3] в третьем, по той же лестнице. Да, это не отдельный кабинет в «Праге», не цветы и румынский оркестр, а рынок, кухня, повседневность — и, понятно, бесконечные русские. Выделялся среди них давний друг ее по России еще, А. А. Плещеев,[4] сын поэта Плещеева (стоявшего в свое время с Достоевским у эшафота в Петербурге).

Этот милейший Плещеев-младший, поклонник и почитатель, назывался в дружеском кругу «Пума серебристый» (за нежную седину волос). Обломок барства-рыцарства прежней России, театральный писатель — в эмиграции и мемуарист — многое видел он на своем веку. Театрально-артистический и литературный мир, особенно дореволюционный, знал наизусть. Разумеется, бездонный поклонник Рощиной. Лет ему было уже за семьдесят. «Катю» обожал как ребенка, дочь и, разумеется, артистку. Она тоже его очень любила — думаю, считала необходимой принадлежностью бытия своего.

Этот Пума чистейший как бы у ног ее и скончался. Была зима, холод. Он шел к дому нашему пешком. Приустал, сел вздохнуть на скаме-

ечку. Некто Высший прикоснулся палочкой к сердцу, оно остановилось.



Екатерина Николаевна была тонка, гибка, вроде былиночки, только глаза всегда огромные. Очень нервна. Легки и бурны переходы от гнева к нежности. Вспыльчива, нрава не совсем легкого, скорее повелительного. Но главное, что всю ее пронизывало и чего нельзя скрыть, это талант. В конце концов она природное дитя театра, с детских лет жила в сумятице отца-актера,[5] очень известного в свое время (принадлежал он, думаю, к героическому поколению Счастливцевых и Несчастливцевых — сам из числа последних). Умер трагически.

Катя с детства знала запах кулис. И навсегда унесла с собой дух театра. Трудно представить себе ее в ином мире. Театр — это она. Она — театр.

Но как же развернуться у нас в Булони, на улице Тьера? «Дни культуры», случайные спектакли, юбилеи... В общем, медленное угасание.

Из страниц не-будничных: в Русском Клубе на rue de l'Assomption справляли в декабре 1926 г. ее собственный 25-летний юбилей (театральный). Тоже весело, как и некогда в «Праге» московской на премьере Новикова. Предо мной фотография банкета этого. Лица оживленные, благожелательные. Изящный зал, смокинги, нарядные дамы.

Кого знал, все уже в могиле, может и другие ушли. А тогда поднесли Катерине Николаевне памятную тетрадь на веленевой бумаге, много портретов ее в ролях, приветствия печатные, автографы писателей, артистов, поклонников. Это, кажется, основное, что закреплено о Рощиной на бумаге.

Все это было уже давно, в ранней полосе эмиграции. А потом отдельная комнатка в Corneilles-en-Parisis под Парижем, тишина — Дом многолетних русских.[6] Отдых для «Кати», как бы и упокоение.

Обставлена она была там хорошо. Но уходила. Несколько раз пришлось видеть ее, с каждым разом становилась она как-то меньше, еще худей и бестелесней, только глаза не уступали, сияли из своих пещер прежним московским блеском. Но не вечно сиять им. Назначенный день пришел, и осталось теперь только облачко искусства, дымка легкая, но и прелестная.

Дорогой Екатерине Рощиной-Инсаровой, звезде Театра — вечный покой, вечная память.

ПРОЩАНИЕ

Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его.

А. Пушкин [1]

«Русская мысль» родились весной 1947 года. Время для эмиграции было нелегкое. Дыхание коммунизма чувствовалось почти везде. Даже в самой эмиграции русской произошел некий «откол», правда, незначительный.

Покойному В. А. Лазаревскому пришлось немало потрудиться, чтобы получить разрешение на выпуск газеты. Но получил. В конце апреля первый номер «Русской Мысли» вышел.

Редакция — Лазаревский, Зеелер, Водов и Полянский. Первое помещение редакции — закоулок около Мадлен, бульвара Мальзерб. Просто дыра какая-то: начинали ведь газету без гроша. Там вот, в убогой комнатке и встретил я впервые Сергея Акимовича Водова. Помню, был он баз пиджака, с засученными рукавами, возился с установкой какого-то письменного стола (или подобия его) — невысокий, тогда еще худенький, оживленный. Сразу видно: всего себя отдает. С азартом занят делом. Так и оказалось. Не только столом, а посложнее койчем, «всерьез и надолго». На двадцать один год.

Газета явилась вовремя, была пряма, бескорыстна и воодушевленна. Отклик получился сразу, но тираж, конечно, эмигрантский. «Благородная бедность», как и полагается изгнанничеству... Первое время сотрудники вообще ничего не получали, понятия «гонорар» не существовало. Одним из сотрудников самых рьяных оказался именно Сергей Акимыч, в юности журналист в Одессе, потом в Праге, и вот докатившийся сюда.

Характер замкнутый, но горячий. Вспыльчив, но и здравый смысл. Делу предан фанатически. Жизнь скромная и одинокая, в отельчике на левом берегу — вся она, в сущности, сводилась к «Русской Мысли». Передовые статьи (писал он всегда просто, сжато и серьезно), чужие рукописи, люди, разговоры, типография, нередко споры с соредакторами, иногда очень горячие — это относится ко временам четверовластия редакционного. Но жизнь шла, уводила тетрархов, одного за другим. Еще на рю Монтолон, куда перебрались из первой норы (тоже: и редакция, и контора в одной комнатке!) — там управляли четверо, для споров спускались вниз в кафе. Но вот и Зеелер, Полянский, Лазаревский — один за другим — уходили за черту жизни. Сергей Акимыч остался в одиночестве.

Более двадцати лет прожили мы с ним бок о бок, в литературном и дружеском согласии. Был случай, когда ко мне обратился он за поддержкой (моральной), в мои горькие дни неизменно был отзывчив. Одно письмо его особо хранится в моем архиве.

Был он человек чистый, убежденный, жизни отшельнической, со всегдашней нотой затаенной внутренней грусти, ненавистник насилия и деспотизма, православный, можно бы назвать и «христианский демократ». Весь в деле своем.

Ныне ушел и он туда, куда ведут пути всех человеческих жизней. Пока мы, близко его знавшие, живы, будет и он жить в нашей душе. Пока живы, можем еще с братским и горьким чувством вспомнить о нем, помянуть внутренно — направить некое радио-благоволение в Вечность.

ОЧЕРКИ О ДУХОВНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

ОБИТЕЛЬ

Приидите ко Мне вси труждающи-
еся и обремененнии, и Аз упокою вы...

Матф., XI, 28

В северо-восточном углу Парижа, в самом бедном и дымном его квартале, с мелкою жизнью людей маленьких, есть странный парк Бютт Шомон. Странен он в этих краях своими скалами и озером, огромною беседкой «миловидою»,[1] тем романтизмом и той прихотливостью, что будто вовсе не идут к соседству. Бютт значит холм. Парк на холме, а из беседки открыт вид на весь Париж, в сизом тумане внизу расстилающийся. На полусклоне холма, по рю Криме, есть, однако же, нечто еще удивительнейшее, чем самый парк.

Уже из ворот в глубине вы видите на небольшом домике огромный образ — Преподобный Сергий смотрит на входящего. А потом дорожка ведет вверх, делает загиб, и вы на площадке перед церковью, в самом сердце Сергиева Подворья.

Замечательна его история.

Семьдесят лет назад скромный пастор основал здесь церковь и школу для немецких тружеников, рабочих, своим потом орошавших новые строенья — дома, улицы — чужбины. На гроши нищих купил владение с садом и завел тихое доброе дело. Оно прожило более полувека. Его смела война. Несколько лет было тут все в забросе, но явились русские в Париже, и митрополит Евлогий, вряд ли чем богаче того пастора, — решил приобрести владенье.[2] И вот тронулась вся странническая, зарубежная Россия. Богатые горстями, бедные крупинками, все русские пожертвовали на созданье новой церкви, имени св. Сергия, и Академии при ней для подготовки новых тружеников, а то и подвижников. Из Сербии и Сирии, Шанхая и Марокко приходили «лепты». Любовью, единением и светом создали отверженные и бесправные свой

холм, обитель Матери-Руси. Холм невелик и скромен. Со всех сторон сжат он стенами, там дома парижские, но на нем зелень, тишина, птицы чирикают, и его сердце — храм.

Храм Сергиева Подворья растет на глазах. Год назад, тоже весной, присутствовали мы на литургии освящения его.[3] Прежняя протестантская кирка была бела, пуста, гулкою пустотой, свойственной нежилому. И как наполнилось теперь и наполняется — теплотою и светлым русским медом — это прежде суховатое строение. Внутри его расписывает Стеллецкий.[4] Уже почти готов иконостас — в старинном, благородном стиле древней иконописи. Расписан потолок, алтарь и боковые стены. Царские врата (и врата влево) — древние, подлинные (кажется, 15-го и 16-го веков).[5] И появились русские иконы, темнолицые святыни в золоте, лампадки, свечи, и все ближе, как-то сладостней, стройней идет служение, и кругловатый, такой русский, тоже медоносный, голос Владыки Вениамина[6] так певуче, вдохновенно и благожелательно дает отзыв из алтаря. Вообще замечателен духовный воздух храма. Говорят, храм на Дарю[7] более обмолен, более уже как бы проникнут горним, я не знаю, может быть и да, но Сергиево Подворье трогательнее. Пусть оно еще «становящееся», но в нем какая-то иная нота, может быть, еще скромнее, выше и светлей, возводящая к первохристианству. В церкви Дарю отголосок пышности Империи, церковь св. Сергия есть церковь нищенства, изгнания и мученичества, воистину «живая» церковь, и ее действие на душу велико. Ее свет несколько разреженней, легко-туманней, все служение в Сергиевом Подворье не высоко-отлито, не столь закончено, как на Дарю, но, повторяю, еще трогательней. И *все моложе* здесь. Тут ощущаешь смену, чувствуешь, отсюда выйдут (и уже выходят) новые священники, быть может, новые монахи и епископы, это новый, тихий и уединенный путь Церкви.

Под стать всему и молящиеся. Здесь уж совсем редкость — хорошо одетые. В подавляющем большинстве это та беднота, один вид которой молчаливо укоряет всякое богатство, те поношенные пальтеца, замученные шляпки, стоптанные каблуки, чтом есть — святая бедность, с нашей русской точки <зрения> «не порок», а в сущности, быть может, истинный знак «Почетного Легиона».[8] Этот Легион предан своей церкви, своей Матери. Она дает ему то высокое разрешение, то просветление, которого нет вне религии Любви, святой христианской веры. Ибо она, лишь она отстраняет от зависти, злобы (хотя бы и временно), лишь она, говорящая о великом ничтожестве власти, и силы, и славы пред лицом кротости и любви. Оттого так легко дышать в белом свете Сергиева Подворья.

В его воздухе нет злобы. Все беды, ужасы, все раны, что приносят приходящие, преодолеваются, заращиваются любовью. Великий наш

Святитель на шестом веке после смерти как бы вновь взял в руки посох, которым мерил некогда дебри Радонежа, и неторопливой, старческой походкой взошел на парижский холм, как на свою Маковицу, и среди дебрей «Нового Вавилона» основал новый свой скит, чтобы по-новому, но вечно, продолжать древнее свое дело: просветления и укрепления Руси.



Да, образ Сергия, и образ Матери-России... Последний раз, на литургии, я встретил ее, Мать и Русь, я думаю, это наверно так. Она явилась в облике старушки. Уже не раз здесь на чужбине и в Германии, Италии, Париже мерещилось что-то мучительно-родное в некоторых старушечьих глазах и лицах. То же было и теперь, только сильней. Она стояла впереди меня, маленькая, в теплой кацавейке, седенькая, с простым и незаметным лицом русским, серыми глазами, аккуратною прической, с тем пронзительно-невыразимым отпечатком и страдания, но и порядка, и покорности в самом страдании — чтом есть плод выдержки и силы. Стояла больше на коленях. Иногда истово крестилась, земно кланялась, но без надрыва. И спокойно, тесно, тоже аккуратно были у нее прижаты одна к другой подошвы — старенькие, выхоженные, в тех дырах бедности, на какие равнодушно взглянуть трудно.

Да, Русь. Да, Мать.

ОБЩЕЖИТИЕ В ШАВИЛЕ

Серый зимний день. Туманно. Сходя с парижского трамвая, вдыхаешь воздух полудеревенский: насколько чище, слаще и душистее, чем в столице! У ворот виллы на взгорье с садом, старыми деревьями, встречаемся — дамы несут в узелках сласти детям, образки — все те, кто вот уже около года хлопочет в «Особом Комитете» по созданию Общежития для мальчиков: Н. К. Кульман, г-жи Спиридович и Ельяшевич, М. К. Горчаков, М. В. Бернацкий, писатель В. Ладыженский и др.[1] Нынче праздник — открытие Общежития.

Трехэтажный дом имеет нарядный и парадный вид. Внизу, в столовой устроен целый иконостас для молебна. В комнатах мальчиков (их 23 человека) все чистое, новенькое, только что доставлено от Лафайетт. Сами они тоже кажутся подтянутыми; маленькие занимают свой этаж, старше и взрослее — свой.

Столовая и смежная с ней большая комната наполняются. Скромно одетая, с профилем как бы с медали В<еликая> кн<ягиня> Мария Пав-

ловна.[2] Другие, знакомые, все наши «русские» лица, из французов — старенький, смирный генерал По,[3] однорукий герой «отечественной войны». Благодушный и благополучный мэр Шавиля.

Молебен служит митрополит Евлогий. Прекрасная тихая служба. Небольшой хор с Дарю. Владыка говорит слово — с обычной простотой и кротостью. Его сменяет председатель комитета Н. К. Кульман — в горячей речи он особенно подчеркивает, что не всех нуждающихся детей мог принять комитет. Целому ряду пришлось отказать!



Итак, то, о чем говорили, писали, из-за чего собиралась и иногда спорили, осуществилось. Общежитие действует. Цель его очень проста. В Париже довольно много мальчиков, которые учатся, но живут в невозможных условиях (впятером с родителями в одной комнате; вдвоем на чердаке; впроголодь; иногда учат уроки в метро; или — мальчик до восьми утра вышивает, помогая матери, потом идет в гимназию. Примеров множество). Значит, надо устроить этих детей по-человечески, и тем из них, кто учится во французской школе, не дать забыть русского языка и русской, культуры. (Предположены вспомогательные занятия по русскому языку, истории, Закону Божию). Значит, преследуются цели гуманитарные, и на этом объединены люди различных взглядов и партий: само дело беспартийно. Всякий нуждающийся мальчик находить в Общежитии пристанище — сын ли он «правых» или «левых» родителей, чисто ли русский и православный, или католик, еврей, армянин — безразлично. Церковь, в лице митрополита Евлогия, о. Георгия Спасского и др. оказала и оказывает Общежитию большую поддержку, духовную и вещественную, но Комитет — учреждение совершенно самостоятельное, ни от кого не зависящее. В его состав входят ученые, писатели, художники, общественные деятели и т. п. Суммы, которые удалось собрать, составились преимущественно из выручки от продажи однодневной газеты «Русскому мальчику» (с произведениями Бунина, Бальмонта, Тэффи, Ремизова, Черного и др.), из пожертвований отдельных лиц и из церковных сборов.

Надо сказать, суммы эти невелики. Общежитие существует, но начинает и будничную каждодневную борьбу за кусок хлеба и теплый угол для своих обитателей. Устроители верят, что дело это хорошее, нужное. Верят в силу Добра, в отзывчивость человеческих сердец и надеются, что им удастся поддержать свое начинание.



Лицо, производившее весной этого года тарелочный сбор в Сергиевом Подворье в пользу Общежития, так передавало о нем:

— Мог ли я себе представить несколько лет назад, что вот так, после небольшой и трогательной речи епископа Вениамина,[4] с тарелкой, кланяясь каждому даянию, начну обход церкви? Как изменилась жизнь! Должен сознаться — глубокое, светлое волнение владело мной, когда я медленно, стесняясь в непривычном деле, обходил храм. Давали все. Я почти физически ощущал волну благожелания и любви. К моей тарелке тянулись руки старые и детские, мужские и женские, но по всем пробегал трепет одного чувства. Я очень неудачно двигался и к некоторым не подошел вовсе. Все равно, они пришли сами, когда я остановился у прилавка церковного старосты. Смею вас уверить, что полтинничек какого-нибудь скаута не менее радостен, чем франк бледной женщины-труженицы над шитьем, или десятка зажиточного господина.

Воспоминание об этом сборе — для меня случайном — необыкновенно светло.



Пусть помнят все: в Общежитии — мальчики, в большинстве прошедшие уже суровую жизнь. Общежитие может жить только помощью общества. Если ее не будет, устроители не смогут не только не принять «оставшихся за оградой», но и удержать попавших в ограду — им будет грозить прежнее.

В церкви все дали. Пусть в жизни даст каждый десятый, и тогда Общежитие сможет не отказывать нуждающимся, прочно поставить то, что уже существует.

«Дети — надежда». Не забывайте же о детях.

КАПБРЕТОН — ШАВИЛЮ

Письмо К. Д. Бальмонта Б. К. Зайцеву

Дорогой Борис Константинович,

Вы знаете, как и каждый из нас, что время Святок и Нового Года несколько волшебное. Бывают в эти дни маленькие, а в сущности, очень большие, чудеса. В комнатах и в лесах засвечаются <так!> ёлки. Сердца у многих людей раскрываются, а из таких растворенных дверей вылетают не хищные птицы, и не звери выбегают разъяренные, а исходят слова благовестия, приветы, доброта и даже дары. Не знаю, что Вам подарила Судьба к Святкам, я уже несколько получил подарков. Чешский поэт Антонин Сова[1] прислал мне в подарок десять поэтических своих книг. Живущий в Ченстохове, польский мой друг — историк литературы Станислав Пазуркевич[2] напечатал и прислал в подарок книжечку «Константин Бальмонт». Живущая в Нерви, Лидия

Лебедева[3] напечатала в итальянском журнале перевод моего рассказа «Дружба с удавом». Живущая в Финляндии, юная поэтесса Татьяна Осипова[4] — прислала мне в маленькой коробке — две изумрудно-цветные куколки махаонов: к весне, быть может, две великолепные бабочки будут лакомиться в моем саду на кустиках не финского, а ландского укропа. Живущая в Мольдене, недалеко от Бостона, молодая американская поэтесса Лидия Нобль,[5] в прошлом году подарившая мне за год «Географический журнал Америки», в этом году прислала в подарок пять долларов,[6] чтобы я мог купить себе книг по собственному выбору. Не детство ли ко мне вернулось? Когда мне было десять, мой крестный отец[7] подарил мне на Новый Год «Задушевное Слово».[8] Ну, вот, естественно, что эти пять долларов поступают в пользу детей того Приюта Русских Детей, к которому Вы имеете отношение.[9] Прилагаю эти американские пять долларов. И напечатайте в той газете, где Вы сотрудничаете, эти мои к Вам строки. Быть может, кто-нибудь, прочтя их, пожелает во имя этих малых чудес, дать что-нибудь малым сим от своего достатка.

К. Бальмонт

Капбретон, 20.XII.27.

Ответ Б. К. Зайцева

Дорогой Бальмонт, я очень рад был получить Ваше письмо, хотя и мог бы позавидовать Вашим подаркам. Но что же завидовать: Вы сами тотчас же раздариваете их.

Бальмонт, радостно видеть, что Вы все такой же, как были двадцать пять лет назад, и так же обращаетесь с долларами, как некогда с русскими империалами (Вы называли их «позлащенные возможности»). Был Бальмонт Бальмонтом, им и остался. Вашу длинную американскую бумажку я передал, куда следует. Какие-то свечки на детской елке от нее зажгутся. Комитет Общежития Вам ответит за подписями и печатями. А мне позвольте вот сейчас, дружественно обнять Вас, в Вашем Капбретоне, и поблагодарить. Знайте — и хотелось бы, чтобы другие знали, что вообще-то мы (т. е. Общежитие) живем «чудом», но живем, и надеемся выжить, ибо в чудеса верим. Надеемся также, что Ваш милый примерь найдет последователей — с Вашей бы легкой руки нам поток «позлащенных возможностей»! Знаете ли Вы, что летом (по недостатку средств) мы вынуждены мальчиков в 15—16 л<ет> отпускать вместо отдыха на работу? На заводы, в поле. Да, вместо отдыха — зимой они учатся. Так неужели нам не нужны длинные бумажки? Спасибо, спасибо.

Привет.

Бор. Зайцев. Париж, янв. 1928.

АЛЕХИНУ

Очень давно, в так называемые мирные времена, сидя на Притыкинском балконе, прочитал я однажды (думаю, в «Русских ведомостях») следующее:

— Первый приз Всероссийского шахматного турнира достался гимназисту Алехину.[1]

— Шустрый, должно быть, гимназист, — сказал мой отец.

И прибавил, что если он занимается таким неосновательным делом, то, пожалуй, и гимназию не кончит.

Алехин, однако, кончил не только гимназию, но и Училище правоведения, неосновательным же делом заниматься продолжал. Еще годы прошли. Капабланка прогремел,[2] и страшной «предвоенною» весной в Петербурге вновь началась бескровная резня за шахматными досками.[3] В том же тульском Притыкине записывали мы очки выигранных партий. Первым оказался Ласкер, вторым Капабланка, третьим Алехин, «гимназист». Он выдвинулся в мировую тройку. Прошло еще десять лет. Все для России перевернулось, насиженных гнезд нет, «Русские ведомости» в истории, старики в могилах, уцелевшие развеяны по миру. Как и другие, претерпел также Алехин. Кажется, и довольно тяжко претерпел, но из России все-таки бежал,[4] и как другие — выплыл.

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце, под скалою.

Высушив ризу, Алехин разгромил кого надо в Гааге, Гастингсе, Париже и других местах. За это время и Капабланка вырос. Он победил Ласкера и стал чемпионом мира.[5]

Единственным противником, его достойным, оказался бывший «гимназист».



Шахматы — отдел духовно-умственной культуры, тонкий цвет. Как и поэзия — очаровательная бесцельность. Ибо цель только та, чтобы показать сложность фантазии, глубину расчета, силу выдержки и самообладания. Чтобы обнаружить чистое совершенство.

В шахматах, как и в поэзии, как в философии, есть смены умственных течений, смены мироощущений. Романтизм и реализм, фантазия

и анализ — все находит отражение за доской. Художник шахматный так же отражен в своем творении, как поэт в слове.

— Можете ли вы по партии узнать, кто играл ее? — спросил я недавно у известного маэстро. Он подумал и ответил:

— Это труднее, чем назвать имя писателя по его отрывку. Но возможно. Шахматы выражают и личность, и через нее — нацию. Капабланка — латинский мир, Ласкер, Тарраш — Германия, Россия в прошлом — это Чигорин,[6] в настоящем — Алехин (беру упрощенно: у нас есть и другие блестящие игроки).

Чигорин был совсем «старая Россия», со всем ее богатством, нерасчетливостью и безудержьем. Он любил играть гамбит Эванса, отчаянную игру романтического английского капитана, привыкшего к бурным плаваниям, заваривавшего вокруг пешки сразу водоворот, где либо пан, либо пропал. Чигорин знал и туман хмеля и, наверно, азарт рулетки. Он был претендентом на корону мира, но как бы *поленился* овладеть ею.

Алехина считают его преемником, так же «гением комбинации», фантазии, игры остро-пронзительной. Но он живет в иные времена. Буря вынесла Ариона на просторы мира, сделала всесветным, закалила, укрепила. Каждого из нас, русских, на чужбине, зрелище «мира» и борьба в нем несколько изменили В уроке есть польза. Нередко стряхнута русская распущенность, тут мы подтянутей, свежей, меньше расплывчатости, чем было на родине, в провинциально-чеховские времена. «Россию нужно подморозить», — говорил Леонтьев.[7] Вот и подморозили.

...Да, борьба так борьба. В Париже больше жаль пропить талант, ослабеть и заныть наподобие Астрова в «Дяде Ване», — нежели в Жиздре или Козельске. Здоровье, сила, деятельность — вот что грозной судьбе противопоставляет русский на чужбине.

Алехин не зарыл таланта. Как он работал, как его растил и шлифовал! Может быть, в этом был и смысл высший. Может быть, ему назначена та, несколько таинственная роль, какая выпала и другим в изгнании: русифицировать мир и явить ему лицо русского гения. Довольно быть России страной провинциальной. Пора в полной мере показать себя.

Замечательно, что вообще изгнанничество подчеркивает, обостряет это чувство: «Вперед — потому, что я бесправный, русский, и горжусь тем, что русский». Такое ощущение есть на верхах нашей культуры, но оно и в обыденности, и даже у наших детей.

— Я хочу быть первой в лицее, для того, чтобы доказать, что Россия — первая страна в мире, — сказала мне недавно одна девочка.

Алехин принадлежит к исключительной, малочисленной группе, где соединились верхи разного рода оружия: литература, музыка, театр,

философия — все это, вспоенное Россией, идет походом на мир, завоевывает Германию и Испанию, сражается в Англии, на гигантских пароходах переплывает океан в погоне за Америкой, в книгах на всех европейских и нередко азиатских языках просачивается в чужие культуры.

Алехин принадлежит к племени русских конквистадоров времен революции.



Он только что победил Капабланку в Буэнос-Айресе. Выдержал напряжение более чем двухмесячной борьбы.[13] Теперь чемпион мира в шахматах — русский. То, в чем упорно пока отказывает русским Шведская академия (Нобелевская премия, своего рода чемпионат мира в литературе), то в своей области с боя взял Алехин.

Вот мое письмо к нему, я представляю собой голос бесчисленно-бесталанных русских шахматистов:

«А<лександр> А<лександрович>, уже столько времени, развертывая газету, прежде всего ищем мы подзаголовка: “Капабланка — Алехин”. Нынешнее хмурое утро скрасилось для нас Вашей победой. Ура! Вы теперь не русский Ферзь, а русский Король. Вы можете ходить лишь на одну клетку, но отныне поступь Ваша — “царственная”. В Вашем лице победила Россия, Ваш пример должен быть освежением, ободрением всякому русскому, в какой бы он области ни трудился: хотеть, уметь — значит не все, но многое.

Дай Вам Бог сил, здоровья, Вашему искусству — процветания».

МИТРОПОЛИТ ЕВЛОГИЙ

Владыка Евлогий, родом из Тульской губернии, одоевец, сын священника сел. Сомова. Средне-русским воздухом он дышал с детства, ребенком он ездил с матушкой в Оптину Пустынь у Козельска и, ребенком же, его благословил знаменитый старец Амвросий, как позднее незаметно, без напора, вел к монашеству. Нынешнему Митрополиту Западно-Европейских церквей хорошо знакомы поля и большаки тульско-калужских краев, дом сельского священника, скит старца Амвросия, колокола Оптиной, Тульская семинария, Духовная Академия Сергиевой Лавры. И в бытовом, и в духовном отношении Владыка вскормлен коренною Русью. Его любимый святитель — Св. Тихон Задонский, чьим «тихим» именем мечтал даже быть назван тогдашний молодой инспектор Ефремовского Духовного училища Василий Георгиевский. Образ старца Амвросия навсегда запал в его сердце. Не могла

не влиять и рака Преподобного Сергия в Лавре, где заканчивал он высшее образование при блестящем ректоре Антонии (ныне Митрополит Антоний). В Академии Владыка принадлежал к группе студентов, вдохновлявшихся ректором на монашеское служение, понимавшееся, как высокое духовное дело.

Старец Амвросий и о. Иоанн Кронштадтский благословили его на принятие монашества. Преосвященный Ириней Тульский совершил пострижение.

Некая тихость и мягкость, сердечная доброта, отвращение к грубости всегда были основными чертами Владыки. Еще инспектором Владимирской семинарии (1895 г.) он уже вмешивался в суровый семинарский быт, очеловечивая его, ходатайствуя о смягчении кар, внося свет и мир в меру сил — таков в общем оказался и весь его путь. Двадцатипятилетие епископского служения Владыки мы с глубоким почтением и любовью и празднуем ныне.

Духовный сын старца Амвросия, Преп. Сергия, всей смиренной святыни Православия, Владыка Евлогий почти всю свою жизнь проводит, однако, вдали от родных мест, на западе. Семнадцать лет прожил он в Холме, ректором семинарии, викарием, епископом и архиепископом. Какова главная черта его деятельности в Холмщине? Монастыри, созидание храмов, благотворение, просветительство, живое «показывание» Православия населенно полукатолическому, — надо думать, что в этом, как позднее в Галиции, личность иерарха играла важнейшую роль: Владыка в самом себе нес и несет облик Православной Руси в ее чистом и смиренном виде, — это не могло не привлекать, как привлекает и сейчас.

Замечательно, что именно Святейший Патриарх Тихон (тоже бывший в Холме ректором) поручил Митрополиту представлять собою Православие на Западе «глубоко-европейском», среди чистого латинства. Вряд ли случайно тянуло так Василия Георгиевского к имени Тихона. Вряд ли случайно возвел его в сан митрополита именно Тихон, и еще менее случайность, что в Митрополите Евлогии получила такое яркое выражение духовная настроенность Патриарха (Церковь выше жизни, выше политических страстей). Да и вообще Владыка Евлогий имеет нечто родственное с покойным Патриархом. Какая-то общая простая и спокойная, неброская, круглая и корневая Русь глядит из обоих, далекая от крайностей, бури, блеска, чарующая именно тем, что как бы задачею себе ставит малозаметность, у Владыки Евлогия — даже с оттенком большей мягкости.

Небольшая комнатка на рю Дарю, вся в образах, иконках, фотографиях, со скромным столом и диванчиком, с особым сладковато-монашеским воздухом — это предельная точка «шествия Владыки на За-

пад». Но как в Холме вокруг него вырастали новые церкви, ширились монастыри, процветали приюты, так и в Париже, будто бы сами собой, «потихоньку да помаленьку», появляются Сергиевские Подворья, Богословские институты, религиозно-философские издательства, а также Студенческое христианское движение, новые церкви в провинции, покровительствуемые Владыкою общины, приюты и т. п. В труднейшей обстановке беженства, церковных разногласий, запутанных отношений с Матерью-Церковью, «неторопливый» будто бы Владыка успевает сделать столько, что удивляешься. В его лице и деятельности Православие как бы внедряется бесшумно показывает себя Западу — совершается великий выход его на мировой простор. Разве не удивительна связь здешней нашей Церкви с Англией, интерес и сочувствие к ней в Америке, местами полная победа в протестантских европейских странах? Не поражает ли, что англичане, уезжающие на миссионерский подвиг в Индию, заходят предварительно в Сергиево Подворье? Что по временам совершается уже русская служба на французском языке? И я сам присутствовал при православном венчании — наполовину по-русски, наполовину по-английски.

Итак, если вглядеться, ясно замечаешь миссионерский характер всего пути Митрополита Евлогия. В нем и с ним Православие непрерывно двигается на Запад, вот уже свыше тридцати лет. Жизнь и дело, как Патриарха Тихона, так и Владыки Евлогия, пришлись на трагическую полосу России, полосу буревую, но и плодоносящую. Оба явились участниками борьбы Православия с темными силами с одной стороны, и внутреннего освежения, укрепления его — с другой. Студентом Василий Георгиевский мечтал о создании монашеско-православной фаланги в Церкви «над государством», далеко от чиновничества. Зрелым глазам Митрополита Евлогия предстоит Церковь, унижаемая государством, мученическая и внутренне свободная. Самому ему выпала миссия именно укреплять и воспитывать это православие не казенного образца, питаемого новыми силами, вышедшими из страданий революции. Как Патриарх Тихон охранял в страшнейшие годы святыню Православия в России, самое сердце его, светящее вечным светом, так Митрополиту Евлогию точно задана задача — тихими шагами проносить эту родную святыню все далее на Запад. Патриарх Тихон скончался среди бурь, Владыка здравствует, но обоим дан крест служения в труднейшие времена — не будучи мучениками в прямом смысле, оба несут в себе некоторую Голгофу, причем главное в делании Патриарха — внутрирусское, Митрополита же — выведение Православия из провинциальной Московии в Европу. Можно думать, что настала, наконец, пора по-революционному Востоку выйти без озлобления к Западу,

и Западу ближе приглядеться к христианскому Востоку. Это одна из надежд великого, вселенского дела.

Пожелаем же нашему высокочтимому и любимому Пастырю долгих и светлых лет делания дела Христова.

КЛЕРМОН

От Шалона дорога сворачивает, главный путь пошел на Нанси, а проселок к Вердену. Ровны поля с загонами ячменя, зреющей, тепло-коричневатой пшеницы. Это поля каталаунские. Тут разбит был Атилла.

Нехитрый поезд везет жарким передвечерьем в городок Клермон, не доезжая Вердена — от одних страшных кровей к другим, страшнейшим.

Против меня на скамейке девочка, лет шести, рядом с матерью, тоже небольшой, тоже простой женщиной, очень ласковой. Девочка сидит аккуратно, сложив ручки, иногда оправляет платье и прядь волос, прислоняется головою то к матери, то к жесткой вагонной спинке. По временам на меня смотрит, с такою доверчивостью, и вместе робостью. Ее голубые глаза хотят спать, она со сном борется. Весь вид говорит приблизительно так: «Я маленькая, и мне очень неловко, что я, может быть сейчас засну, это неучтиво, но не осуждайте меня, я так утомлена, право же, я ничего худого не замышляю».

Даю ей конфету. Она улыбается и берет. Ест быстро и деловито. Как вкусно! Предлагаю и матери. Та, краснея, отказывается.

Вот девочка съела, опять застенчиво на меня смотрит, потом из приличия отводит глаза, вновь поправляет вихорчик довольно таки косматый. Но не удержать век! Медленно они сближаются, голубой зрачок уходит, как у птицы засыпающей. Лицо становится грустным и нежным.

Поезд идет, девочка дремлет, не некрасивая и прелестная, деревенская, под боком матери. Когда подходит их станция, они неторопливо удаляются, в свои поля каталаунские, где ячмень, пшеница.



До Вердена еще верст двадцать пять, а уж и я схожу на клермонском вокзале, среди лесов Аргонн, у подножия городка со старинною церковью на лесистом утесе. В сторону полей, за полотном дороги, русский лагерь, наше богомолье. Совсем недалеко бараки. В одном из них церковь, вся убранная зеленью. В другом — столовая, в третьем — зал для собраний, в четвертом живут девушки, в пятом юноши, тут же священники, профессора, гости. Это съезд христианского движения.[1] Так уже повелось несколько лет, что в июле с благословения Владыки

Евлогия съезжаются на неделю представители и члены союза молодежи из Парижа, Ниццы, Бельгии, Англии, вообще откуда не очень далеко. Живут эти дни не совсем обычно. Утром литургия, днем доклады, вечером всенощная или вечерня. Общий чай, общий обед, общий ужин. В свободное время гуляют, купаются в недалекой речке, играют в мяч, катаются на велосипедах.

Это «мы», русские, а гнездо всего этого — в Париже, в YMCA на бульваре Монпарнасс.[2]

Смысл и цель дела ясны: укрепиться душой, подышав свежим воздухом религии и природы, отдохнуть от «мирского», показать молодежи совсем зеленой уголок христианской жизни.

«Мы», разбив свои шатры между каталаунскими полями и верденскими, сразу внесли сюда Россию, вернее, впрочем, что она сама восстала и в сердцах наших, и в глазах, и в церковных службах, и в иконах, и в лекциях профессоров.



Нельзя сказать, чтобы тотчас вошел во все это. Да кажется, и сами члены съезда должны сперва пообтереться, присмотреться друг к другу. (Движение очень растет численно, так что многие впервые здесь и встречаются). Главное, надо почувствовать общую жизнь, и для этого потребно время. Съехалось около полутораста человек. Все они и раньше ходили в церковь, и раньше слушали лекции, обедали и ужинали, и раньше исповедовались, причащались. Но вот пожалуй нигде кроме этого богомолы не жили совместно, в христианском духе, т. е. — в проникновении любовью. «Соединение в любви» прежде всего ощущаешь в храме, неказистом бараке, где внутри, однако, зелень, теплый свет свечей, разноцветные лампадки, иконы и лики русских угодников. Служат священники русские и французский православный, я впервые слышал в нашей церкви слова проповеди по-французски[3] (язык не столь лирический, как наш, не столь влажный и «душевный», зато действенней, больше укалывает).

Церковная служба (утром и вечером ежедневно) как-то сразу скрепляет. А затем — весь обиход, общий стол с молитвою, разговоры, прогулки. Получается настроение не то общины, не то огромной, но дружной семьи. Она связана не единством рождения, а единством веры, любви.

Это и освобождает от уединенного холода замкнутой жизни.



Доклады читают философы, профессора и священники.[4] Иногда делается это под открытым небом, на лужайке. Евангелие и жизнь,

русские святые, Россия, молодежь там и здесь, и другие темы в таком роде — это просветительская сторона съезда. Есть еще и семинары, т. е. отдельные занятия-беседы с небольшими группами, так что времени не теряют, все же днем выкраивается два три часа, когда юноши бегут купаться в одну сторону, девушки в другую.

Речка Лэр версты за полторы, надо идти полями, тропкою среди ячменя, потом спуститься к железнодорожной будке (так похоже на Россию в этом месте!), а потом луг, и тоже привычная, очень своя картина: извилистая речонка, вся заросшая лозняком, местами просто струится по камешкам, или же образует затоны и омуты с более медленным течением, с корягами под водой, зелеными коромыслами на стебельках трав. (Тут и купанье.) Только запахи не сравнятся с Россией. Почему не так пахнет у нас пригретый лозняк и трава? И поля наши благоуханней? А голубой воздух тот же, и высокие летние облака такие же. (Есть и подорожник, но не заметил я конского щавеля, знаменитого «оконятника» России.)

Молодежь купается «спортивно»: мяч на воде, две партии, игра — дух времени.



Есть и треволнения у съезда — внутренние (как удастся? «высоко» ли, не хуже ли прежних съездов?) и внешние. Например, внешнее волнение: юноша в первый раз и попавший-то сюда, поехал кататься на велосипеде. Разогнался и налетел на кучу камня. Упал, да так ловко головой о камни, что сразу потерял сознание. Перенесли его домой, он все в беспамятстве, из носа кровь, одним словом целая история. Перевезли в город, в лазарет. Выписали из Вердена хирурга, окружили наилучшим уходом... и конечно трепетали! Никто не виноват, а все же ответственность. С одной стороны — его почти никто и не знает, с другой это брат. Ходили к нему в больницу, носили цветы, в церкви служили сообща о нем молебны и молились. Вот и опять «соединение в любви» из-за беды, в горе. Слава Богу, «болящий» пришел, наконец, в себя, стало ему лучше — свободнее вздохнули, между собой собрали на леченье.

Горе пришло на съезд и в другом облике, гораздо более грозном. «Движение» подобрало в Париже слепую. Молодая художница жила где-то очень далеко, чуть ли не в Египте, стали болеть глаза. Поехала лечиться в Париж, да и вовсе лишилась зрения. Одна, совершенно без средств... Я ее видел на съезде — вела ее под руку барышня, глаза как будто и смотрели, но ничего не видели. В церкви она стояла иногда боком к алтарю.

❖ ❖ ❖

«Возьмите на себя хоть малость чужого бремени, — говорил на литургии проповедник, — и когда сложите свои страдания к стопам Христа, Он примет все и облегчит ваши».

На съездах есть обыкновение — заканчивать исповедью и причастием. Не все впервые являющиеся знают об этом (разумеется, принуждения нет никакого). Сам я, отправляясь в Клермон, вовсе не собирался говеть. Но вышло так, что и я, и почти все мы исповедовались и причастились, хотя некоторым и казалось, что они не готовы, не расположены, и т. п. Что-то кольнуло сердце, и мы сдвинулись. Никто, кажется, не пожалел о сделанном. Вернее, что воздержавшиеся чувствовали себя одиноче.

Исповедь началась в субботу на всенощной, продолжалась до глубокой ночи. В церкви было полутемно — несколько свечей да разноцветные лампадки. В трех углах три священника исповедуют за столиками, три очереди юношей и девушек. Перед этим обед прошел в молчании, читалось, как в монастырях, св. Писание. Просили не говорить, зря не болтать и вообще в этот вечер.

Было часов десять, когда я вышел из церкви. Захотелось пройтись, одному. Спустился по шоссе вниз. Сзади подымался Клермон, его лесистый холм с древнею церковью. Небо в звездах. Крест Лебедя, Лира с голубой Вегой, все на месте. Из-за холма, на меня надвигаясь, плыло смутно-овальное облако, все кипевшее молниями — в прозрачную ночь несло оно таинственную, грозную голубизну бесплотных своих миганий. Коровы посапывали на лугу. Стало прохладней, влажней.

Дорога пошла подземом среди густой пшеницы. Я любил ходить так, июльскими вечерами, и на родине, среди пахучих ржей тульских. Сейчас открылся горизонт, в голубоватом сумраке, к Вердену. Сейчас был я на чужой земле, также страдальческой. Наверно, и здесь есть невинные детские глаза, как у той каталаунской девочки, не знающие еще печали. Но все равно... И на этих самых полях тоже бесновались орудия, тоже мучились и умирали люди — в церкви мы молились за всех убиенных. Мир так нуждается в великом сострадании, он должен быть прижат к чьему-то сердцу.



Воскресенье оказалось и совсем праздником. Причастие всегда подымает, всегда воодушевляет и светлит, здесь, после дней общей жизни, в солнечное утро общего причащения чувство это возросло чрезвычайно. Заново убранная зеленью церковь, вся в зелени столовая, все поздравляют друг друга, некоторые целуются — похоже на Пас-

ху или Троицу. Воскресенье это совпало еще с Казанской, праздником «Содружества»[5] при Движении (особой группы молодежи, как есть у них «Витязи», «Студенческий клуб»). Священник, служивший литургию, сказал Содружеству отличное слово, напомнил об иконе Казанской Божией Матери, покровительнице России во всех бедах ее, и как бы благословил юное воинство на достойную жизнь — ново-вступившей девочке прикрепил на грудь значок Содружества. Содружницы и содружники особенно сияли в это утро («именинники»).

Одна девушка сказала:

— Так хорошо на сердце, так хорошо... — запнулась, не сразу нашлась, как именно ей хорошо.

— Полетела бы!

Это ей очень удалось выразить. Действительно, была такая «летательная» радость, опьянение без вина, именинное чувство. Прекрасный, прекрасный день! Подъем и свет, чистая радость. Позже, когда пошли все в лес, где в тени кустов на обрыве расселись и под голубым небом стали делиться впечатлениями, другая дама тоже сказала:

— На кого ни посмотрю, всех и люблю! Все хороши!

Тоже верно. Прорвалась плотина, и поток всех захватил. Много ли говорили на поляне, хорошо ли, все равно колокола звонили, этот благовест мы увезли из Клермона, в золотой предвечерний час, когда наш отряд выступил из лагеря на вокзал. Впереди шли юноши под знаменем России, под трехцветным русским флагом, и почтенный генерал маршировал с ними. Дальше мы, за нами обоз.

Трехцветный флаг выглядывал и из окна вагона, и когда вновь проезжали мы каталаунскими полями, в сердце вновь была девочка милой встречи. Младенец, рожденный на полях крови, — может быть, и нашей жизни безвестной в бараках, нашим молитвам о себе и страждущем мире таинственно соприсутствовала каталаунская девочка.

ХРАМ РУССКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В прошлом году, будучи в Югославии, попал я в Белую Церковь. Это тихий городок вблизи румынской границы — очень русский. Там русский Кадетский корпус, институт, живет много русских.[1] Приятное, благообразное место. Встретился я в Белой Церкви и с иеромонахом Иоанном,[2] которого знал еще в миру, был у него в скромном жилище рядом со временною церковью, помещавшейся в большой комнате того же дома.

Иеромонах Иоанн, совсем молодой, тихий человек, из своего уединения задумал большое и важное дело, часть которого уже осуществляется, часть лишь намечена. Во-первых, основано Православно-Миссионерское издательство с обширной программой — толкование Евангелия, творения святых, современные вопросы веры, объяснительно-богослужебные издания, детская церковная библиотека. Много книг уже издано. Среди них есть очень важные и интересные — недавно я писал, например, в «Возрождении», о «записи» отца В. Ш.[3] Нечего и говорить, как полезно это для православного «народа» зарубежья. Необходимо для детей — дети в эмиграции так часто совсем удалены от религиозного просвещения *.

Другое предприятие о. Иоанна находится еще «в становлении», оно более трудное и сложное: постройка в Белой Церкви русского храма, «храма русского духовного восстановления» — во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Землю под здание дал город, часть нужных для строительства денег уже есть, остальные собирают. Храм проектируется в благородном древнерусском стиле. Он должен явиться центром православно-миссионерского книгоиздательства, вокруг него вырастет подворье, которое усилит и разовьет уже существующую миссионерскую деятельность. Одним словом, задумано новое чистое и благообразное гнездо Православия, которое, Бог даст, совершит большое духовное дело.[4]

На нашу веру отовсюду нападают. Оскорбляют наши святыни, закрывают церкви, монастыри. Какой отличный ответ эмиграции на это — новый православный храм! Новый источник высоких чувств, рассадник веры, знания, благотворения. Это не местное дело югославских русских — оно касается всего зарубежья, ибо действовать будет для всех. Уже сейчас о. Иоанн связан с сорока странами рассеяния, все мы, где бы ни находились, через такую точку скрещения нитей как бы ощущаем свое единство, это будет наше общее создание. И тишина Белой Церкви — полумонастырское ее спокойствие, и географически центральное положение среди стран эмиграции чрезвычайно подходят для такого гнезда. Любовное и просвещенное ведение дела, нужность его и, чувствую, — благословенность — все говорит за то, чтобы его поддержать. Пусть осуществится еще одно мирное и доброе начинание православия. От нас самих зависит его успех. Будем же ему помогать.

Пожертвования принимаются в «Возрождении».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Адрес издательства: Ieromonah Ioann. Bela Crkva. Jugoslavija. — *Примеч. Б. К. Зайцева.*

БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ

(К 25-летию основания)

Время идет да идет. И не заметишь, а уж четверть века набежало как на Бютт Шомон, в старинном парижской квартале, водружался крест храма православного. И при нем — Богословский институт.[1]

Это все — детище митрополита Евлогия. Вечная ему память! И вот удивительно: тульской земли Владыка, весь выросший из народно-священнической России, так и ушедший пленником ее, основал на парижском холме нечто вселенски-православное. Вспомнить только облик покойного — сверх-русский, мягкий и несколько рыхлый, со всеми чертами почвенности, доброты, но и хитроумия — вот этот и создал учреждение, выходящее как раз за пределы Одоевского уезда, кулебяк Замоскворечья, громогласных протодиаконов.

Глубоко «местный» митрополит создал «не-местное» — такова оказалась архитектура Православия в эту эпоху. Домашнее, теплое, насиженное кончилось. Мировой сквознячок...

Но святыня сама по себе неколебима. Только жизнь выносит ее теперь на вселенский простор. Русское не перестает быть русским, однако по-иному проявляется. Восточный вариант христианства ведь так же всемирен, как и западный. Трагедия нашей родины особенно подчеркнула это — и показала новую страницу Православия.



Так ли, иначе, «зеленый холм» на северо-востоке Парижа приобрел для православного человека особое значение. Благочестие, древность, но и культура, свободное просвещение, направленные вширь. Негромкий голос, но его слышат не только на Зацепе или в Кадашах. К нему прислушиваются и в Европе, и в Америке. Ибо из Богословского Института разносится проповедь Православия и русского, и универсального, а не только «московитского». Древность и святыня почитаются сугубо. Но почитание это восходит к первоистокам. К христианству и богословию Отцов церкви — византийских.

Для нас, тех русских, чья юность проходила в России, Православие представлялось делом *только* русским. Вне России ничего и нет. Но вот оказалось, что вне России есть еще целый мир. И с одной стороны Православие вовсе не для одной России, с другой — русский вариант Православия всего не исчерпывает. Русский вариант... О. Сергий Булгаков, например. Кто читал замечательные его «Автобиографические заметки»,[2] тот знает, до какой степени это тоже был, как и Владыка Евлогий, русский человек — только другого уезда (Ливенского Орлов-

ской губернии). Но этот орловец говорил уже не только для Ливен и Орла, но для Европы и Америки, ездил в Англию, был в Нью-Йорке, Бостоне. Уроженец Ливен смело богословствовал на мировые темы, и мир более внял ему (Англия, Америка), чем российская (современная) иерархия. Для российской иерархии он слишком смел и самостоятелен, как богослов. Слишком натура *творческая*...

Вот под знаком свободного творчества (не выходя, разумеется, за известные пределы) и шла, насколько знаю, учено-богословская деятельность Института за эти 25 лет. Список ученых трудов его очень велик (издавала все это ИМКА-Пресс). Отголосок в мире англиканском, протестантском и даже католическом тоже не мал. Православие перестало быть за китайской стеной, прервалась и его связь с государством. Если «железный занавес» был, так теперь он как раз прорван — тут Богословским институтом сделано весьма много.



Таким образом в жизнь православного мирянина Богословский институт и Сергиево подворье вошли обликом Святой Руси, обратившейся ко всему миру. Образ родной, но и возведенный к верхам умственной, духовной и творческой культуры — лишенный лубочности и провинциализма. Соединение монастыря с Академией, где в храме поются древние русские распевы, а служат иногда и по-гречески, и студенты Академии этой не только русские, но и сербы, сирийцы, немцы. В общем для современности русской нечто единственное и неповторимое.

Трудно не полюбить даже пейзажа этого места: сколько раз поднимался по странным, длинным плитам лестницы, восходя как бы на православную гору Чистилища, мимо образа св. Сергия Радонежского у входа, среди густой зелени каштанов, всяких травок и зеленых кустов, покрывающих склоны. А там — или это церковная служба, или хиротония, или актовое собрание Института с ученою речью, или просто дружественная келья с иконами в углу, вся заставленная книжными полками, — даже в летний жар прохладно здесь от осенения каштанов, в их зеленовато-мирном полумраке.

Много лет назад, в утренней мартовской полутьме (еще до лекций) той аудитории, где студентам читают богословские премудрости, молодой афонский постриженик вполголоса повествовал мне об Афоне, откуда только что вернулся, и рассказ его окончательно подтолкнул совершить паломничество.[3]

А теперь, поднимаясь весной по ступеням Горы Чистилища, рассчитывая встретить не Ангела, снимающего огненным мечом со лба грешника одно из семи Р.,[4] а ученого архимандрита или епископа, вдруг да

и вспомнишь об Афоне. Почему? Есть и причина личная, а иной раз какой-нибудь запах вдруг напомнит. Может быть и особенность места духовного в грохоте Парижа вдруг вызовет образ далекого мирового убежища — откуда в ясный день из монастырской гостиницы видна вершина Олимпа.



Раз уж зашла речь об Афоне, то трудно остановиться. Вспоминается майское утро, когда с милейшим иеромонахом Пинуфрием[5] выехали мы верхом на мулах из греческого монастыря Ватопеда по лесным тропинкам домой в Пантелеймонов (русский). Ватопед всегда отличался культурою и ученостью. При нем в XVIII веке была Академия, основанная Булгарисом[6] — своего рода Богословский Институт того времени, учреждение замечательное, тоже рассадник просвещения на весь Восток. Увы! — ныне о. Пинуфрий указал мне лишь на остатки чего-то, зданий, будто обломков акведука (если память не изменяет).

Все проходит. В суровых, во многом трагических судьбах Афона бывало и хуже. Во всяком случае, ученый Булгарис и его сотоварищи-просветители дело свое сделали, и не их вина, что рутина противилась им и одолела. Да и жизнь шла в мусульманском окружении.

Никто не знает ни собственных судеб, ни участи нашей духовной культуры в изгнании. Уже в ту, немецкую войну и оккупацию казалось, что все на волоске, вот может погибнуть Академия на зеленой горке. Однако же не погибла. Дожила до двадцатипятилетия своего. Как и с самого ее основания, как и в военные годы, так и теперь сочувствие христиан англо-американского и скандинавского мира поддерживают ее — некий мирный интернационал культуры. Будем верить, что и в страшные теперешние времена проведет ее Промысел чрез всякие Харибды, Сциллы мировых событий, и «свет разума» не погаснет. Питалось это учреждение любовью и русских, и иностранцев. Для русских оно — свое дело, для иностранцев — братское. За братское сочувствие «нашему» детищу мы, православные миряне, можем этим иноземцам только поклониться.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Перед церковью Сергиева подворья снята группа. Посредине митрополит Евлогий в белом клобуке, сидит, к нему приник мальчик. Остальные стоят. Осенний день, деревья, сквозь них смутно видны дома.[1]

Это давний облик. Самое начало эмиграции, начало и Сергиева подворья, и Богословского института. Многие уже ушли, начиная с митрополита, все это и создавшего. Нет о. Георгия Спасского, рядом с ним стоящего. Нет Владыки Иоанна с легендарной белой бородой, нет кн. Г. Трубецкого, Е. П. Ковалевского, М. М. Осоргина, Вышеславцева, Вахрушева,[2] старшей сестры сестричества Неклюдовой.[3] Мальчик при Владыке Евлогии обратился в церковного деятеля. Коротко остриженный, с ровной бородкой, худенький молодой человек в глубине — ныне ректор Богословского института епископ Кассиан.[4] Изменился покрой одежд мирян, форма дамских шляп. Осталось то, из-за чего собрались и что любили эти несколько десятков скромно одетых русских людей.

Снимку около тридцати лет, а всему учреждению тридцать в этом году.

То время — некие героические дни здешнего православия. Время высокой температуры. Сам Владыка Евлогий при всей своей неторопливости, медленности речи, вялости движений, проявил решительность: поверил, что можно создать русский очаг и без всяких средств, полагаясь на Преп. Сергия, подписал договор на покупку земли и строений. Вокруг него были люди верующие, убежденные. Была и в нем и в них внутренняя сила, светлая и благодатная, она и несла — пронесла чрез все трудности, внешние, да и внутренние (ни одно дело не обходится без раздоров, столкновений. Но если оно правое — удается).

Сергиево подворье удалось потому, что создавалось любовию и энтузиазмом. Нашлись деньги, нашлись люди, нашелся труд. «Да-а... вот. Преподобный Сергий... наш небесный покровитель...» — любил говорить Владыка, и действительно, под благодатным веяньем создалось и жило дело, едва ли не единственное в эмиграции, а отчасти и в истории России: на чужой земле того же духа радиостанция, как в свое время монастырь Преп. Сергия в лесах Радонежа. Удивительно. В такой же нищете основано, изгнанниками, а вот далеко светит — и сколько дало! Я вижу уже четырех епископов, учеников Богословского института, вижу архимандритов, иеромонахов, священников, молодых светских ученых. Сколько книг выпущено профессорами, статей, сколько лекций прочитано. Высших ученых степеней здесь больше, чем сейчас во всей России (там всего один доктор богословия).

С разных концов света съезжаются ученые на богословские конгрессы в это нехитрое Подворье (где встречает их привет и любовь) — католики, протестанты, православные сообща трудятся, делятся познаниями. Разноязычные студенты, может быть, будущие столпы Православия в Греции, Сирии, Югославии, Германии, приезжают учиться у наших епископов и мирских профессоров. Тридцать лет стоит зеле-

ный холм с монашескими цветами в цветниках, то труднее ему (вынес войну, полуголод, полухолод, завоевателей), то легче, то опять труднее, по-другому — все как в жизни.

Но в храме все звучат старинные распевы, колокол отзванивает монастырские службы. Растет библиотека, профессора читают уж теперь студентам чуть ли не на пяти языках.

Летом заглядывают сюда иностранные туристы. Им показывают храм, роспись иконостаса (Стеллецкий), старые иконы.

Все идет, все проходит. Немного осталось уже тех, кто был «первого призыва», создавал и устраивал Подворье. Уже среднее поколение в сединах, есть и следующая волна, более молодых, но ее меньше.

Как везде в эмиграции, жизнь становится все трудней, удивляться надо еще, что все-таки держатся: служат, поют, читают лекции, защищают диссертации.

Нынче день Преподобного Сергия — облик Святой Руси, простоты, скромности, светлой духовности. Будет, кончено, архиерейская служба, крестный ход, молитвенное общение с Преподобным, которое всегда оживляет.

Что бы ни было дальше, каковы бы ни оказались судьбы этого места, служение на нем — и прежде, и теперь, через тридцать лет — есть служение Вечности. Сколько бы ни осталось служителей, какие бы трудности их ни ждали, их взор обращен к этой Вечности, которая отблескивает и в священных словах Литургии, и в древних напевах, даже в очаровательных цветах, полный блеск коих в мае, — монастырских цветах, насаженных любящею рукою.

Дай Бог сил. Дай Бог крепко стоять.

УПОКОЕНИЕ

Кладбище «St. Genevieve des Bois» — в некотором роде Русский Дом. Только подземный, для усопших (есть и для живых, там же наверху,[1] но не о нем речь).

Подземный же возник с первой, главной волной эмиграции после гражданской войны. «Люди жили, страдали, любили и умирали».

Так, слава Богу, сложилось, что бездомные в чужой стране нашли последний приют под белыми березками кладбища русского. Небольшая, изящная церковь древне-псковского стиля возглавляет его.[2]

Здесь лежат наши близкие и знакомые, и незнакомые, но все русские и все безродные. Огромная семья, непрерывно растущая — Русь, в разных ее обликах.

Этой весной, в мае, как раз пришлось видеть там весну. Березки надрывались в белизне стволов своих, в нежной (и вечно-весенней) яркости листьев. Цветы, на всех почти могилках торжественно распустившиеся, давали впечатление сада Божьего, все радовалось, благоухало, точно пело:

— Смертию смерть поправ!

А в Пасхальную ночь, когда крестный ход во главе со священником о. Александром Ергиным,[3] с хором и хоругвями выходит из церкви и с пением обходит все могилы, где теплятся свечи — зрелище, конечно, незабываемое. «Город мертвых» не дает чувства смерти, а обратно — вечной, но преображенной жизни.



«Насельников» можно разделить на несколько частей: литература, философия, богословие. Военный мир — наиболее обширный, целые участки с пирамидами (корниловцы, дроздовцы, недавно открытый отдел: павшие за Францию — все это в строгом порядке, воинском).

И наконец нечто среднее: вольные профессии, интеллигенция, буржуазия. Конечно, все под знаком православия.

В крипте под храмом — вершины Церкви — митрополиты Евлогий, Владимир, еп. Кассиан, прот. Георгий Спасский, знаменитый проповедник. А идешь по кладбищу, точно в огромный знакомый дом попал, навестить давно не виденных. С Буниным встретишься, Мережковским и Гиппиус, и другими по нашей части. Знаменитые имена военных, а то и просто знакомые и друзья, и могилка с простым крестом, как на кладбищах деревенских — Россия, Россия... — упокоение неотделимого существа, с кем жизнь прошла. Там и твоя квартирка, над усопшей,[4] пока пустующая еще.



Жизнь есть жизнь. Кроме поэзии и меланхолии есть в ней — и как еще! — именно «жизненное». За упокоение надо платить,[5] земля-то французская, принадлежит коммуне «St. Genevieve des Bois». Есть погребение «навечно», есть на 50, 30 лет. Коммуна дает отсрочки, но это не решает дела.

Придумано такое: в дальнем конце кладбища построить часовню, под ней огромный склеп, «ossuaire», как здесь говорят. — Туда складывать останки тех, чьи оплаченные сроки вышли, а родственников нет (или они платить не в силах). В склеп этот складывать такие останки, в порядке, с указанием имен. (Подобное видел я на Афоне, в русском монастыре, где черепа, кости умерших складываются в особом помещения, на полках, как в библиотеке, с надписями.)

План будущей часовни мне показывали. Предполагается она в глубине кладбища, в конце аллеи, идущей прямо от церкви. Начался и сбор средств на постройку.[6]

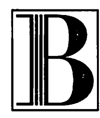
Сан-Женевьевское кладбище уже отмечено во французском путеводителе как достопримечательность. По воскресеньям автокары подвозят иностранцев к этому особенному миру русскому — памятнику и горечи изгнаннической и неколебимой независимости.

Долг самой эмиграции поддержать ее усыпальницу. По просьбе отца-настоятеля храма кладбищенского, уже обратившегося к эмигрантам во Франции, обращаюсь к американским соотечественникам с тою же просьбой:

Поддержите дело мирное и высокое!

ОЧЕРКИ О ГЕРОЯХ. ЛИРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ЭССЕ. ЗАМЕТКИ К ЦЕРКОВНЫМ ПРАЗДНИКАМ

САКЕН И НИКИТИН



В кратких записях хочется удержать след людей, иногда скромных и смиренных, иногда бурных, но почти всегда мало известных... — вольным движением духа жизнь свою положивших за Россию.

1.

Отличался ли чем-нибудь бомбардир Агафон Никитин[1] от других бомбардиров, фельдфебелей, унтер-офицеров русских войск в Средней Азии? Точных сведений о нем нет — слишком незаметною фигурой был он, разумеется, в буднях военной жизни.

По Верещагину, по картинкам иллюстрированных журналов детства помним мы этих скобелевских солдат в белых кепи с белыми покрывалами, защищавшими от солнца затылок, шею. Вероятно, и Никитин был таков по внешности. Внутренний же его облик: молчаливый и сдержанный человек, набожный и серьезный.

Наши войска осаждали Геок-Тепе. 30 декабря 1880 года текинцы сделали удачную вылазку — ворвались в редут передового укрепления (Денгиль-Тепе), занятого уже русскими. Несомненно, захватили наших врасплох. Произошла краткая, страшная резня. Можно представить себе, что полусонного в крепком предрассветном забвении захватили они Агафона Никитина, бомбардира 6-й батареи 21 Артиллерийской бригады. Захватили и одно горное орудие.

С добычей ушли. Но стрелять из орудия не умели. На другой день обратились к Агафону Никитину — чтобы научил.

Он притворился непонимающим. Ему объяснили. Он молчал. Стали грозить. Он, продолжал молчать. Ему отрубили пальцы на руках — молчание. Тогда отсекли уши — то же самое. Как его еще мучили? Известно только, что содрали со спины кожу. Но он так ничего и не сказал. Они отрубили ему голову, стрелять же не научились.

Имя Никитина навсегда оставлено в списках батареи. На вечерней перекличке каждый день первым вызывался бомбардир Агафон Никитин, и правофланговый отвечал:

— Погиб во славу Русского оружия в укреплении Геок-Тепе.

Его родные были щедро обеспечены. Самому Никитину поставлен памятник. Думал ли об этом он при жизни? Но и о том, что придется принять *такую* кончину, вряд ли тоже думал.

2.

Иван Христофорович Сакен,[2] моряк, капитан русского флота при Екатерине — несколько иная фигура. Представляешь его себе жизнерадостным и бодрым, «бравым», может он и рому хлопнуть, сколько полагается, и накричать на подчиненного, и быть с ним благодушным.

В мае 1788 года, отправляясь под Кинбурн на своем судне, Иван Христофорыч сказал на прощанье другу своему, подполковнику Маркову:

— Мое положение опасно, но честь свою спасу. Когда турки атакуют меня двумя судами — я возьму их; с тремя — буду сражаться; от четырех не побегу; но если нападут более, тогда прощай, Федор Иванович, мы уже более не увидимся.

И, распустив паруса, вышел в море. Около Кинбурнской косы встретили его турки. Он был окружен не пятью или шестью, а множеством турецких кораблей. День был яркий, солнечный. Море блестело. Чайки носились. Турки надвигались ближе. Иван Христофорович высадил матросов на шлюпку — отправил их «для убежания восвояси», сам остался на корабле.

Что он пережил в этот майский день, один на палубе против турецкой эскадры, этого мы не знаем. Но поступил так, как полагается русскому офицеру и русскому барину: когда турки приблизились на ружейный выстрел, он подошел к пороховой бочке, всунул в нее пистолет и выстрелил. «В виду неприятеля на воздух с судном поднялся».

Так записывает о нем современник. И добавляет: «За такое геройское дело светлейший князь пожаловал фамилии его иметь в гербе своем взорванный корабль».[3]

Федор Иванович Марков не увидал больше друга.

АРХИП ОСИПОВ

Знакомый рассказал мне прошлой зимой:

— Был я как-то в Калуге — давно, еще в мирное время, в командировке. Жил не помню уж на какой улице. Утром встаю — военная му-

зыка. Что такое? Полурота выстроена у дома напротив — со знаменем, офицер салютует. Спрашиваю: что за парад? А это, говорят, перед домиком Архипа Осипова. В каждую годовщину подвига устраивается. Он ведь отсюда был родом, из Калуги.[1] Домик, где жил, на вечные времена пожалован его потомкам.



Весной 1840 года укрепление Михайловское, на восточном берегу Черного моря, оказалось в опасности. Капитан Лико получил сведения, что на крепостцу его идут 11 тыс. горцев — Вельямииновское и Лазарево уже взяты. Лико собрал офицеров и солдат (менее 500 чел.). Решили живыми не сдаваться, в крайности взорвать пороховой погреб. Сделать последнее вызвался рядовой Тенгинского полка Архип Осипов. Лико позвал к себе Осипова. Тот под присягой подтвердил, что взорвет погреб, когда враги начнут отбивать замки входа.

С ночи 18 марта началась Гефсимания Осипова. Каждую ночь он запирался в погребе. И ждал. Гарнизон выходил на вал крепости, Осипов один сидел в подвале, с фитилями и огнивом. У него, конечно, не было с собой Евангелия, да и читать он не умел. Но была вера. И Господь не погнушался подземелья.

Четверо суток: на ночь погребался, на день выходил. На рассвете 22-го начался приступ. Первую волну отбили огнем и штыковым ударом. Но дальше не выдержали. Капитан Лико пал в начале. Остальные медленно, с боем отходили к пороховому погребу, таяли, гибли. Когда черкесы стали ломать замки, защитников в живых почти и не осталось. До трех тысяч ворвавшихся столпились тут. Архип Осипов не изменил присяге. Ночная его могила взлетела в огне, дыму. Большинство горцев погибло, остальные разбежались.

Архип Осипов навсегда зачислен в 1-ю гренадерскую роту Тенгинского полка. На перекличке соседний солдат за него отвечал: «погиб во славу русского оружия в укреплении Михайловском» — так продолжалось около восьмидесяти лет.

Во Владикавказе Лико и Осипову поставлен памятник.[2]



Историю Осипова, в туманно-легендарном виде, помним мы чуть не с детства. Но вот странно, что в Калуге возросши, в Калуге учившись, чуть не через полвека в Париже лишь узнаешь: этот Архип Осипов — наш, земляк, калужанин. — Сто лет! Земной поклон земляку.

ЗАМЕТКИ

(Из пережитого)

Не забыть июльского вечера в деревне, с самоваром на балконе, копнами сена в саду, когда пришло известие:

— Германия объявила войну!

С этого же балкона побежали мы за две версты к соседу — только что возвратился он из города, привез вести, слухи, газеты. В глубоком волнении шли через березовую рощу, ложком в осинах, липах, с мелким подседом. Солнце садилось. В низинах сырело.

Горький, нежный запах срубленных осинок, влага пряная, струя покоса. Юноши — двое — жмутся ко мне, все разглагольствуют, в великом возбуждении, как пойдут на войну. Идем аллеей осин, где любили скакать верхом с молоденькою кузиною соседа. Племянник называл эти скачки «бегством Карла Смелого после битвы при Нанси».[1]

В тот июльский вечер мы в последний раз шли аллеею скачек, в закатном солнце прежнего мира. Начиналось все *новое*. Понимали ли мы это тогда? Сознанием, может быть, нет. Но *шестым чувством* — да. И сейчас, через много лет, ощущаешь внезапный ток нервный, щемяще скорбный, что *тогда* настиг в самой низине рощи, у ручейка, пред полянкою скошенного сена. Лежало оно в рядах покорное, неведомым Косцом скошенное, недвижно и беззвучно — лишь благоухало. Двум молодым жизням рядом со мной был уже назначен некий Косец (воинов Алексея и Георгия поминаю в числе «убиенных и умученных»).

Тысячи отцов, матерей, сестер, братьев, невест ощутили, разумеется, в тот вечер то же самое — во всем мире.

Загадочны судьбы. Одним надлежало пасть на родной земле, другим для каких-то целей выжить. Голгофу приняли все. Смерть — не все.

Тяжело, и не хочется вызывать в памяти страшное семилетие 1914—21-го годов. Говорят, за семь лет меняется весь состав человека. Думаю, наши деды, отцы не меняли его, в ровной и благодушной своей жизни и в двадцать семь. Нам же те семь могут за семьдесят семь зачесться. Если смотреть на жизнь, как на театр, мы попали к представлениям из грандиознейших. Разные могут быть взгляды на цель, смысл событий. Нельзя отрицать размеров их. Некий Уральский хребет отделяет прежнюю жизнь от нынешней — и одною частию мы там, другою здесь. В этом своеобразие и трудность положения нашего.



Как при начале войны «мудрейшие» и проницательнейшие думали, что все это «на два месяца», так в революции утверждали они, что через две недели останутся от Ленина клочья. Но таинственный Влади-

мир Ильич оказался крепче. То, что казалось трагическим эпизодом, оказалось началом великой болезни. Этого мы упорно недооценивали. И Европу, сидя в Кривоарбатском, все еще расценивали — как разумную, благожелательную — «уж она все прилично устроит».

...Когда летом 22-го года выезжали мы из России, искренно полагали, что это на год, на два... Умнее всех оказалась маленькая девочка,[2] бедно, по-советски одетая, прощавшаяся с дедушкою и бабушкой, Москвой и Арбатом как бы навсегда.

— Нет, мы скоро не вернемся.

И на латвийской границе бросила из окна вагона на родную землю букетик незабудок.

Не одни мы, не один я так чувствовали. Поэтому, говоря о себе, имею в виду собирательное лицо — русского человека, в известном кругу и в известной обстановке выросшего, не весьма к жизни приспособленного, далекого от страшных ее сил — и довольно легко силами этими побежденного. Переезжал ли он латвийскую границу, или польскую, бежал ли через Финляндию или Румынию, попадал ли в Константинополь или Софию, всюду увозил с собой в изгнание душу русскую, с достоинствами ее и недостатками, грехами, слабостями, но душу, потрясенную страданиями и зрелищами невиданными.

Въезжал ли в Болгарию, Сербию или Германию, первое, естественное ощущение: свобода, Европа! За страшным рубежом — кошмарное. Здесь — обычная жизнь, приличные люди, по ночам не замирает сердце, когда прогрохочет грузовик, нет домового комитета, не пошлют разгребать снег или разгружать вагоны на Москве-Товарной. Немцы ли или французы, болгары, итальянцы, сербы — люди обыкновенные — нормальные. Одни участливее и родственней, другие прохладней, но жить с ними можно.

Первое время даже послевоенный Берлин кажется нарядным и веселым — все-таки Курфюрстендамм не Молчановка с разобранными заборами, не Большой Трубный, где через сады можно прямо, по задворкам, выйти на Плющиху.

В этом «европейском» Берлине русские уже раскинули свои шатры, начинают «новую жизнь». Но в душе: временно! Ненадолго. Россия еще под боком. Долго не может там твориться «*это*». И само-то оно не вечно, и Европа не допустит. Здесь же культурные, образованные люди. Разумеется, они *нам* сочувствуют. А не орудующим на родине.

Такое настроение поддерживает. Ну, мало ли, временные беды, тягости... а там опять Москва и человеческая жизнь.

Но уже скоро замечает приезжий, что Берлину до него нет дела. Приехал так приехал, твое дело. Будь еще благодарен, что пустили. Прописывайся, плати налоги, — но имей в виду, что экселенц Krestin-

sky[3] много важнее и интересней всех вас, эмигрантов, вместе взятых. Вы снимаете комнаты у какого-нибудь Herr'a Bolte, а он живет во дворце (предварительно объявив дворцам войну). Вы пьете пиво на Nollendorfplatz, дома порядочного гостя принять не можете, ибо у вас комнаты с «Küchenbenutzung» *. А у него такая икра, что почтенные германские профессора с европейскими именами стоят к ней в очередь «в затылок», и не прочь горсточку домой захватить: фрау профессор понятия не имеет, что такое советская икра.[4]

Так что уже в Берлине возникают недоумения, начинается некая новая эмигрантская наука — вернее, вариант прежнего, что и в России переживали в революцию, на тему: «смирись, гордый человек». Не преувеличивай места своего в жизни. Не заносись! А огорчения свои, разочарования в людях, режимах — Запада ли, Востока, привыкай пережевывать в одиночестве и молчании.



Разными путями, благодаря разным жизненным встряскам и утрамбовкам собирается русское племя в Париже, оседает. Можно сказать, настоящая эмиграция с Франции и начинается. Странное, грустное ощущение — вероятно, многим знакомое: вот теперь прочно, как следует! Не на чемоданах. Россия действительно за тридевять земель, а здесь плотно мы заперты, наглухо, как в подводной лодке: дыши кислородом домашним. Теперь и началась жизнь наша — питомцев прежней вольной, широкой России, распущенной и беззаботной, щедрой, певучей и поэтической — в «столице мира» у порога вселенной. В латинской стране, размеренной и крепкой, с ее укладом, ее культурой, трудолюбием и бережливостью, расчетом и благоговением перед собственностью и деньгами. Зацепившись кое-как, применяясь к порядку внешнему — чудом существуя, начинаем здесь жить.

НАШ ОПЫТ

...За время войны и революции расширился наш горизонт и познания — в политике, экономике, военном деле, географии. Но самый грозный внутренний опыт был опыт раскрывшейся силы зла. Из-за удобного, мирного «прогресса» выглянула трагедия. И дикое лицо человека-зверя. Мы его раньше не знали. Им навсегда убито прекраснодушие нашей молодости. Если с ранних лет глубоко было наше отвращение к наси-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Кухонные принадлежности (*нем.*).

лию, крови, казням, то для зрелости выпало жить в кошмаре убийств и казней. Все это обратилось в повседневность. Помню, как, раз, проезжая в революцию мимо Лубянки, сказал я старичку-извозчику:

— Небось, еще не угомонились?

На что с философской невозмутимостью, точно дело шло об уборке урожая, он ответил:

— Никак нет, барин, раньше пяти часов им не управиться. А уж как уберутся, на грузовик накладут, так и на кладбище. Им раньше пяти никак не отделаться.

Или мальчишка-красноармеец, простой, добродушный, на площадке вагона близ Каширы. Улыбаясь рассказывал, как они воевали с белыми.

— И попался тут один нам в плен. Глядим, а он поп. А туда же, воевать... Наши очень над ним забавлялись. Сколько хотели мучили. Ремни все ему из спины вырезали.

Он сплевывал, затягиваясь цыгаркой. Весенний ветер полей каширских обдувал молодое — симпатичное! — лицо.

— Очень долго с ним баловались.

«Мужички за себя постояли».[1] Этому не приходится удивляться, и на это не надо злобствовать. Но это надо было пережить. Некие «ремни» вырезались также из нашей души, сердца, мозга.

Можно ли жить с сознанием полного господства зла в мире? Не думаю. Это ведет или к потере облика человеческого, или к отчаянию (кран газа в кухне).

Совершенное «отрицание» не так уже часто. В сознании ли, или подсознательно, животворящая сила упорно, долго держится. Откровение со-чувствования, любви, братской родственности не так легко вытравить. Пусть сила зла потрясающа... — страждущим, измученным Бог открывается: это и спасает. Что спасало, удерживало и утешало русского человека в бедствиях нашей эпохи — конечно, религия, сделавшая огромные завоевания в сердцах. Были целые месяцы и недели в Москве, в революцию, когда жить, дышать и не приходить в отчаяние можно было лишь в церкви. Когда на Литургии можно было плакать с первого ее слова до последнего, и все же уходить облегченным, ибо безобразию, зверству, свирепости окружающего противополагался мир гармонии и любви. Хаосу — Космос. Крикам — музыка. Пошлости — величайшая поэзия. В самые страшные минуты самый факт существования Евангелия так же неопровержимо свидетельствовал о величии добра, как встающее солнце ежедневно доказывает неистребимость света.[2]

А в жизни — каждое малое слово участия, со-страдание в беде, умиление, помощь — отблески все того же Высшего и Вечного в людях. Доброта — голос Бога, говорящего через человека.

При этом: полюсы возрастают. Никогда раньше не порождала Россия столько палачей и насильников. Но и дух святости и мученичества никогда не являлся столь ярко, как теперь. Имена митрополита Вениамина, Владимира Киевского, московских священников, принявших мученический венец, — золотые имена России. А протоиерей Восторгов? А бесчисленное количество малых и смиренных, неведомых, кто от своей истины не отступился, за нее пострадал? Наконец, огромное число людей, прежде далеких от религии и равнодушных к ней, а теперь обратившихся — многие из просвещенного класса.

Трагедия ничего не оставила в покое, в летаргическом, сонно-благодушном полу-бытии. Все раскалилось. Чего-чего, а сонливости и равнодушия не осталось в России сожженной.

С таким-то вот опытом, грозным, но, может быть, и плодотворным, вошли мы — люди моего поколения — в изгнание. Не зря дан был нам огонь. Очищающее крещение!

От нас самих зависит многое в нашем дальнейшем внутреннем пути.

Тем, кто почувствовал Бога, нельзя уже в жизни сдаваться.

БЕДА

(Заметки)

...Просматриваю в кафе газету. Вот лист фотографий. Налево вверху изображен человек, на груди у него плакат, надпись на плакате приблизительно такая: «Я еврей и пожаловался на наци. Но я неправ и не буду больше жаловаться на наци».

По виду похож на молодого фармацевта, адвоката, мелкого торговца. Одет прилично, но брюки от колен оборваны. Босой! Вокруг несколько рослых молодых людей в форме. Мальчишки... Улица, любопытные, окна магазинов. Дело происходит в Мюнхене, и дело такое: наказание не совсем покорного еврея. Вот он нашел несправедливым какое-то взыскание, пожаловался — теперь его и водят по Мюнхену, босого, с плакатом «Я не буду больше жаловаться на наци».

Первое чувство при виде картинки... — ну, что ж говорить, всякому ясно. Везет нашему поколению на зрелища насилий. Насмотрелись! (Но сердце все еще не устает. Все останавливается).

Второе чувство: а пошел бы *я* так, если бы мне велели? (Скажем, коммунисты).

Первый ответ, инстинктивный:

— Ни за что.

Нет силы, что заставила бы меня унижаться на улицах Москвы. Ну убили бы и убили. Все равно. Не пошел бы.

Потом, уже вне кафе, с тяжелым, отравленным настроением — размышление и поправка к ответу. Не так просто! Француз, англичанин не поколебался бы. Они выросли в своих барских, джентльменских странах. *Позабыли* о насилиях. Насилия здесь видели их деды, прадеды. А теперь это уже «не стиль». Ну а я видел. На родине. В революцию. Так что я этого еврея больше понимаю, чем француз или англичанин. У меня рассуждение такое:

— А почем я знаю, может быть, пригрозили семье? Жене, детям? Все возможно! Есть такая дорожка для насильников: стал на нее — и уже все позволено. И заложники, и жены, и дети... А коли так, то, пожалуй, и я пошел бы...

Кстати: в родном моем городе Кашире старику священнику надели однажды на шею плакат, на нем надпись: «Я двадцать лет обманывал народ, служа Богу. Теперь я это понял». Под улюлюканье мальчишек таскал ведра с водой для исполкома, разгребал снег, убирал нечистоты. Достоевский дал величайший образ унижения человека. Митя Карамазов ведет за бороденку капитана Снегирева по базарной площади, а сзади бежит Илюша... «Папочка, папочка!» — одна из нестерпимейших сцен «Карамазовых».

И у мюнхенского еврея, и у русского батюшки могли быть дети. Могли видеть. «Папочка, папочка!..»

Детский вопль соединяет Мюнхен с Каширой. Немецкий еврей — русский священник...



Или вот еще. Приехала в Париж немецкая студентка еврейского происхождения, какая-нибудь Вилли или Кэте, чистенькая, веселая, живая — с экскурсией. Бегает по Луврам, Люксембургам, катается с приятельницами по Сене на пароходике, сравнивает Галери Лафайет с Тицем, Версаль с Нимфенбургом, вечером заседает на Монпарнасе в кафе. Повертится в Париже еще с неделю — а там домой, в этот самый изящный Мюнхен с голубой рекой, с пивом, художниками, музеями — хороший город. В Мюнхене папа и мама. Папа адвокат.

И вдруг — телеграмма:

— Выезжай немедленно. Папа убит.

«Папочка!» — Вилли в обмороке. Почему убит папа? За что?

Просто явились, позвонили, папа отворил — его тут же и застрелили. Не родись евреем.

❖ ❖ ❖

Этих случаев много — и им подобных. Чуть не каждый день читаешь. Отравился семидесятилетний профессор, выгнанный за еврейское происхождение, — отравилась его жена, узнав о смерти мужа. И тому подобное. Дело ясное: просто преследование евреев. Даже не коммунистов среди них, а всяких. Евреев как представителей расы.



С глубокою грустью смотрит на все это русский человек. «Мир на земле, в человеках благоволение» — вот он, мир. Вспоминаются горестные и тяжелые события на Родине в этом же духе: погромы. Все-таки там другое. Дело черни, буйство и грех низших стихий. Тьма России. Ум и сердце ее — всегда против. Так Митя Карамазов — насильник в порыве, буре страсти. Одумается — в прах падет, в слезах отчаяния. Ибо Митя христианский человек, знает, что такое грех. Грешит — и мучится, и восстает. Быть может, снова падает. Но снова встанет. Ибо в нем огромная внутренняя скромность.

Как раз скромности нет в расизме — безумной теории, признающей какое-то первородство расы. Это не дикие вспышки страсти. Это самовлюбленность. Возведенное в культ самолюбование. «Мы, мы и мы... В нас начало, в нас конец всего. Мы первые, мы лучшие, для нас солнце светит. Бог, разумеется, немец».



Русский человек слишком много пережил, слишком много видел. Сердце его уже годы кровоточит. Не забыть ему на чужбине безмерной Голгофы Родины. Пятнадцать лет она на кресте. В невиданных миром размерах воздвигнуто там гонение на *человека*, на его свободу, душу, религию. Сотни тысяч убито, сотни тысяч сидят в лагерях и тюрьмах. Миллионы голодают — все это известно. И мир молчит. Торгует, целуется с убийцами.

Горе есть всегда горе. Не будем говорить «наше больше», или «ваше больше». Каждый чувствует острее *свое*. Но горе насилия и торжества низших сил есть горе общее. Унижение человека в Мюнхене или Кашире есть общечеловеческая беда. Русская, еврейская, английская, французская — какая хотите. Ни с Мюнхеном, ни с Каширой примириться нельзя. В этом между православными и евреями не может быть разномыслия.

ДНИ

<Запись 14 марта 1945 г.>

14 марта <1945 г.>

В очень давние годы видел в Риме, на Палатине, в какой-то пещере (как будто) древние рисунки, просто на стене, нацарапано — грубо и неумело — времен первохристианства. Теперь раскопали всё это и считается драгоценным для истории. Называется же graffiti.

...Вчера делал в библиотеке выписки из Зейдлица,[1] «верного Зейдлица», друга и поклонника Жуковского, первого его биографа. Сама книга Зейдлица[2] — редкость, ее нигде не найдешь. Но она печаталась в «Журнале Министерства Народного Просвещения» за <18>60-е годы.[3] Эти толстые томы я в библиотеке достал. Страницы старые, пожелтевшие. Под концом повествования Зейдлица — приписка выцветшими чернилами: «Читано 12 июля 1869 года. Васильевский Остров, Большой Проспект, № 6, дождь. $2^1/_2$ ч. веч.».

Несколько ниже:

«Еще читано 10 янв. 1893 г. — Выборг, Симбирская улица, $6^1/_2$ ч. вечера. — Лампада у икон теплится. Саша играет на фортепиано».

Приписал и я, всё по той же формуле:

«Еще читано в Париже, 1945 г. Вечер, весна, 6 часов. Библиотека, холодно. 13 марта».

А потом закрыл книгу, сдал библиотекарше, как в саркофаг. Кто, через сколько лет ее раскроет?

Моих предшественников нет уже наверно в этой жизни. Думаю, что и меня не будет, когда новая рука развернет том и увидит безвестные наши graffiti.

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

Годы как будто все далее уводят нас от России. Незаметно, но неуклонно растет число зим и весен, проведенных в изгнании. Сколько раз встречали уже мы здесь Пасху, Рождество?

Да, во времени и пространстве отдаление есть. Душевно же Россия, именно теперь, столь крепко в нас входит, с такою мучительной сладостью, как не было и тогда, когда спокойно и барственно сидели мы у себя дома, на Арбатах, Пречистенках. Теперь все Арбаты за тысячи верст. Для чего-то так надо было. Что-то понять в жизни по-новому, глубже и значительнее, как-то переустроиться, новому научиться, кое

от чего от прежнего отказаться — вот что нам было предложено. Этот опыт, или урок, длится уж годы. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда вновь вступим на родную землю, но мы в это твердо верим. Пока что живем. Мы маленький изгнанный народ, рассеянный и полубесправный, но нам нечего «плакать на реках вавилонских». Жизнь продолжается. Для одних из нас она легче, для других тяжелее, но в легком ли, тяжелом ли, у всех нас есть одно, общее и незыблемое: Родина-Истина. Физически Родина от нас далека. Нам сейчас туда не доехать, и не пустят нас. Это ничего не значит. Ибо в душах наших не только не умирает, но, в изгнании сплачивая, ярче и чище светит облик Святой Руси — нашей духовной Родины. Нам дано огромное укрепление и счастье — в родных святынях. То, что самое важное и единственно великое в России, этого не отнять никаким политикам и никаким партиям. Оно с нами, в нашей душе и сердце.

Родина-Истина есть облик Вечной Истины в русском преломлении, как бы с русским «выговором». Истина, воплотившаяся в Святом Младенце, над яслями Коего мы стоим сегодня, в волнении и смирении, для нас русских одета своеобразной легчайшей одеждой — нашего богослужения, наших напевов, всего склада и глубокой поэзии Православия. Идет жизнь и меняются формы. Но Святая Русь, во всем сонме своих праведников, творцов, учителей — выше жизненной пестроты и таинственно покровительствует всем, направляющим к ней свой душевный зов. Многое переменилось и у нас в России. Многое навсегда ушло, незачем стремиться к восстановлению его. Новая Россия будет создаваться новыми людьми, возможно — в новых формах. Тем радостнее издалека, вот отсюда, узнавать, что в этой новой России, рождающейся из трагедии, многое вполне созвучно нам, что на земле российской «Высшая Родина» уже пробилась вновь, иногда тоже в своеобразном виде. Что несмотря на гонения и надругательства, победоносно завоевывает она души — иной раз вчера еще кипевшие озлоблением. К чему плакать на реках вавилонских, когда мы узнаём, что вместо закрытых и оскверненных храмов трудящимися создаются новые, когда число членов приходов считается уже миллионами, когда «Христомол» — новое слово! — союз христианской молодежи (куда сплошь и рядом идут вчерашние комсомольцы) — растет неудержимо, когда все вести сходятся на победе Церкви.

Кто из нас увидит, кто не увидит родную землю — этого мы не знаем. Но именно теперь, на рождественских службах, при рождественских елках и нежном золоте рождественских свечей мы вновь и вновь ощущаем нерасторжимое, любовное единение с Родиной, с самым высоким и чистым, что есть в ней.

Пожелаем же Ей, многострадальной, самого лучшего, светлого, чего только можно пожелать. В этом общении укрепимся сами и постараемся со всем нужным спокойствием, со всей выдержкой и терпением продолжать путь: Вифлеемская звезда над нами.

РОЖДЕСТВО

...Мягко, ветрено, влажно. Пестро бегут облака. Свет прольется, опять все потемнеет. Ветер и лужи, теплая буря напоминают масленицу в России, не Рождество. А это именно Рождество — латинское — и Новый Год. Париж встречает его сдержанно. Но встречает: не так легко выбить западную столицу из вековых рамок. Нелегко и опьянить ее, захлестнуть угаром. И трагедии, и радости, и праздники Парижа вложены в некие берега.

В них живем здесь и мы — русское племя, у которого Рождество позже здешнего Нового Года. Но дело не в днях. Дело в том, что Россия и Запад одинаково на рождественском переломе. «Дева днесь Пресущественного рождает»... — в христианском мире это связано с новым циклом, рождением младенца-года. Христос восстает из яслей своих *пред* годом. Каждый год мы живем при Младенце-Христе.

Как всегда, над глубокою печалью, тьмой, ущербом вознесется Лик Младенца и теперь. Даже над особенною тьмой и озлоблением. Как озлоблению и не быть? Под разговоры о замирениях точат народы друг на друга ножи, заедает внезапно всплывшая нищета, некуда сбыть произведенного: фабрики, заводы закрываются — вчерашний труженик на улице. Экономисту, может быть, все это очень интересно — теоретически, научно. Петру, Ивану, Марье важна жизнь. Важно, чем заплатишь за квартиру, как работу достанешь, у кого займешь. Петра, Ивана, Марью может раздражать (и раздражает) роскошь, себялюбие и неотзывчивость имущих, блестящие сочельники в блестящих ресторанах, когда рядом в Сену с голоду бросается жена гарсона безработная. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий...» В чем-то ошибся Вавилон, что-то напутал — будто бы заколебались самые устои его, устои жадной, грешной и жестокой жизни. Страхом бедности, страхом войны объят мир. А с Востока уже попахивает кровью.[1] Там — только бы до нее добраться. Там не устанут точить ножи: новый Вавилон, возросший на грехах прежнего — много прежнего горьший.

...Под мягкий ветер, ростепельный, ласково накидывающийся, идет Новый Год. Что даст он? Первые ли шаги к лучшему? Или рост худшего?

Это неведомо. Можно гадать, можно надеяться, можно отчаиваться. И конечно, человеку свойственно пытаться прорвать тайну: хоть бы силой, да ответ добыть. Ответ этот (или, вернее, попытка ответа) связан с темпераментом и складом вопрошающего. По своему «образу и подобию» создает он образ будущего. Один ждет начала, другой конца. В общем же все слепы.

Их не следует порицать. Они целиком лишь отдаются одной стороне человеческой своей натуры («слишком человеческой»). Но возможен и другой подход к жизни.

Пусть святым, пророкам, обитателям Синая нечто и приоткрывается — в блеске молний, в громовых ударах. Может быть, есть и среди нас провидцы. Может быть, ход истории для кого-то ясен и виден с такою отчетливостью, как я вижу каштаны на другой стороне улицы из своего окна. Но — не мне. Для меня будущее — туман, загадка.

И таких как я много. Может быть, и не следует нам мудрить — мучить себя, отравляя воображение картинами возможных бедствий, выдумывать рецепты для спасения человечества, впадать в уныние и мрак бездеятельности («все равно пропадать»).

...Если бы можно было попросту *верить*. Вот именно глядеть на сияющего Младенца — и не бояться. Жить обычной скромною и (хорошо бы!) доброй жизнью. История, политика и человечество пойдут, куда указано им. В человеческом общежитии пусть и каждый из нас делает какое-то свое дело. Только чтоб за каждым шагом Он стоял. Никуда *в плохое* с Ним не зайдешь. И чем чаще на Него *прямо* смотреть, тем бы лучше, лучше...

Может быть, это возможно? Как бы облегчилось наше сердце!

ДВЕНАДЦАТЬ ЕВАНГЕЛИЙ

«Рече Господь своим учеником: ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о Нем».[1]

...Париж, нижний храм улицы Дарю,[2] куда спускаешься по лесенке, как в подземелье. Уже который год стоишь вот так, с зажженною свечей, в небольшой, типа крипты, церкви с низкими сводами, в знакомой из года в год толпе, от высшей знати до старух-нянек, в голубоватом каждении, в золоте слегка веющих нежных, капающих воском свечей. Из года в год о. Иаков[3] читает в Чистый Четверг Двенадцать Евангелий. Он невысок, апостольски-лыс, с большим умным лбом, снежно-легким обрамлением волос на голове. Какое русское лицо! Россия так навсегда и осталась в выцветших небольших глазах его, в бро-

вях, скулах — во всем облике. Он в траурной ризе, в очках, какие носили тридцать лет назад, со свечою в руке стоит пред аналоем. На нем огромное раскрытое Евангелие. Старческим, высоким, но сколь музыкальным голосом, по закапанным воском страницам он читает:

«Глагола Ему Петр: Господи, почто не могу ныне по Тебе ити? ныне душу мою за Тя положу. Отвеща ему Иисус: душу ли твою за Мя положиши? Аминь, аминь, глаголю тебе: не возгласит алектор, дондеже отвержешися Мене трищи».

Вечная, с детства родная, навсегда ранившая история Петра. Алектор, трищи... — «не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». И спокойное, ровное, течет рекою первое, самое длинное и мистическое Евангелие среди все той же голубовато-золотистой тишины, коленопреклонений, кое-где слез, блистающих в отсвете свечи. Гефсимания, предательство, Каиафа, заушение, допрос... Двухтысячелетний рассказ! «Они же отвещавше реша: повинен есть смерти. Тогда заплеваша лице Его, и пакости Ему деяху: овии же за ланиту удариша, глаголюще: прорцы нам, Христе, кто есть ударей Тя?»

В лысине протопресвитера реющее веяние света. На словах: «заплеваша лице» и «пакости Ему деяху» в голосе легкая спазма, как бы всхлипывание. По щеке медленно ползет старческая слеза. Он запускает руку в карман, вынимает носовой платок. Но слеза не дождалась — со щеки пала на закапанное воском, в тяжком переплете с окованными углами, застежками, красным тиснутыми заглавными буквами Евангелие. А между тем Петр отрекся уже во дворе Каиафы — «и абие петел возгласи. И помяну Петр глагол Иисусов, реченный ему: яко прежде даже петел не возгласит, трикраты отвержешися Мене. И изшед вон, плакася горько».

О. Иаков знает эти слова наизусть, как и все слова Двенадцати Евангелий. Из года в год повторяет их, и из года в год, на восьмом своем десятке, повторив, спрашивает себя — доведется ли читать в следующем году.

«Слава страстем Твоим, Господи»,[4] «Слава долготерпению Твоему, Господи» — вновь и вновь опускается церковь на колени. Пилат допрашивает Иисуса, свеча слегка дрожит в руке протопресвитера: «распни, распни Его! Глагола им Пилат: поимите Его вы и распните: аз бо не обретаю в Нем вины».

Аз бо не обретаю вины! Но вот опять: «бияху Его по главе тростию и плюваху на Него».

Через всех четырех Евангелистов шествует Господь на Голгофу и Симон Киринеянин несет крест, и Его распинают, «распеншии же Его разделиша ризы Его, вергше жребия». Лишь у Луки — распятый рядом разбойник покаялся на кресте — «помяни мя, Господи, егда приидеши

во Царствии Си». После восьмого Евангелия этого хор прославляет «Разбойника Благоразумного», Евангельское повествование течет, весенний день течет, переходя в вечер, такой же он сиренево-прозрачный и в Париже, каким был в Москве, с набухающими почками, первою апрельской зеленью — день Чистого Четверга, незакатного света, день и грусти, сострадания, воздушных слез, но и такого света и надежды! Хотя протопресвитер в темной ризе с серебряными крестами, но Чистый Четверг не траур, а умиление, нежность, кристалл. Самый воздух его духовен, это день сизокрылый, день-голубь. Четверговая свеча есть Дух. Не напрасно, отслушав об Иосифе Аримафейском («благообразен советник»), о положении во гроб, об опасениях фарисеев, мы расходимся по домам, неся эти свечи зажженными, закрывая ладонями (становящимися сквозными), как носили когда-то по переулкам Москвы. Мы несем облик Духа, стережем, любим его, как любим, чтим Дух в голосе, слабом всхлипывании, слезе о. Иакова, годы нам читавшего о Страстях, годы ведшего свой путь к Вечности.

Мы его не услышим уже. Настал год, которого ждал он — в последний раз читал в нижней церкви Двенадцать Евангелий: и ушел, отойдя в ту страну, куда издавна устремлялся.

А Евангелисты остались. Новый голос священника, на Двенадцати Евангелиях, с новой торжественностью возглашает: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, якоже возлюбих вы. Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя. Вы друзи Мои есте, аще творите, елика Аз заповедаю вам».

ПРИБЛИЖЕНИЕ МЛАДЕНЦА

Со Введения запела о Нем Церковь. Он приближается. Сам молчит. Он просто есть, был и будет, и не петь о Нем нельзя. Он появляется, как появлялся, средь ужасной ночи — точкой света и сияния возрастающего. Перед Ним склонялись пастухи, к Нему волхвы шли, к Нему вышло, наконец, и человечество. Мучится, тонет (и всегда тонуло), но оторвать взора не может.

Он появляется, беззвучно и сиятельно, победоносно и ведя победу на пропятие, чтобы поражением победить.

Он свет, тишина, любовь. Без Него нельзя жить. Он напояет, утешает, с Ним входит в жизнь, с Ним и уходит: на коснеющих устах имя Его ведет в Вечность.

Его нельзя ни затмить, ни остановить. Таинственно, блистательно Он шествует от Вифлеема Своего. Младенцем — ничего не говорит. Но

уже в Нем все великие глаголы, что Он скажет. А сейчас только безмолвное и разгорающееся сияние — царственное приближенье.

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет Разума», — так пели нам наши отцы, так поем мы нашим детям и внукам, подымая их к вечному свету Младенца в скромных свечах немудрящей елочки.

МЛАДЕНЕЦ

«И открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну».

Так поступили волхвы. Так с самого нашего детства являлся Младенец. С каких именно лет помним Его — с пастухами в поле, с этими вот волхвами, яслями, ангелами, Богоматерью, со смирными скотами в хлеве и с тем светом — главное! — светом, озарившим все?

«Я свет миру». Он и явился, и засиял. Удивительна нежность света этого в яслях, кротость Его, неземная легкость. Рядом жует корова, будто и никакой силы в хлеве, а все поклонились. Пронзено сердце мира.

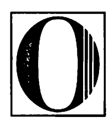
Века идут. Земля делает свой оборот. Когда солнце ниже всего над ней, Младенец из года в год, в самый холод и тьму появляется в своих яслях — и опять свет, все тот же, вечный: не солнечный, выше.

Младенец видит все то же: грех, горе, страдания, зло сильны как и прежде, так было в год появления Его, так есть теперь, будет в двухтысячный год. «Люди жили, любили, страдали и умирали». Но Тот, Кто явился тогда, перевернул мир. Не то чтобы обратил в рай, а Собой показал райский свет. Есть куда преклонить главу. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот это-то самое главное: «свет жизни».

Первые преклонили главу пастухи, волхвы («простота», «мудрость»). До Вифлеемской ночи некуда было преклонять. После нее стало известно: звезда показала. Человечество теперь знает. Грешит, страдает, заливается кровью, но вон там, за всем ужасом — безмолвный свет, сияние над яслями. Это Господь. Это любовь. Там спасение.

ПОЛЕМИКА. ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ОТВЕТ СЕНЕКСУ

днажды, в дождливый день, в книжном магазине вблизи Мадлен мне предложили подписать письмо русских писателей г-ну Анри Беро — по поводу его известных статей о России.[1] Мне представилось так:

«Ну, хорошо, столько в Европе кланялись, превозносили, восхваляли — вот нашелся человек, сказал по-другому — француз, конечно, для французской публики написано, — а взгляд жизненный и едкий, беллетрист, т. е. как-то наш, что-то способный верхним чутьем чуять. Выразить ему сочувствие, среди других русских, много видевших на родине, и много перемучившихся... — да, выразить». Я подписал.[2]

Потом забыл об этом. Потом консьержка показала мне номер «Журналь», откуда я узнал, что подписавшие — «элит» современной русской мысли. Ее удивило что и я «элит» — она спросила, я ли это. Я сказал, что подпись моя, об элите же не стал распространяться.

А потом, 8 числа, прочитал в «Днях», что те, кто подписал это письмо —«кланяются», «бухают в ноги» иностранному писателю, по стародавней привычке кому-то кланяться. «Сенекс» утверждает, что мы, подписавшие, «не изжили еще рабьей психологии». Сравнивает нас с большевиками, унаследовавшими от «именитого купечества» привычку благодарить... вообще начинается что-то несообразное.[3]

Мой ответ, конечно, не спор (не могу же я уверять «Сенекса», что у меня нет рабьей психологии), — а просто напоминание. Ну, неужели же вы, Сенекс, — неужели вы серьезно думаете, что у Бунина, Мережковского, Куприна и других непременно уж такие рабьи чувства! Опомнитесь. Отвлекитесь на минуту от того, что это люди иных партий, чем вы, постарайтесь взглянуть прямо и вы увидите, что написали грубые и несправедливые вещи.

Более всего это должно быть неприятно вам самому. Вот, когда мы действительно провинимся, тогда пишите, что угодно. А зря... нехорошо.

Не верю, чтобы редакция «Дней» была согласна с вами. Тут какое-то недоразумение.

ПИСЬМО ДЮАМЕЛЮ

Несколько лет назад я прочел впервые книгу, подписанную Вашим именем.[1] В ней было веяние русской литературы. Вы, конечно, читали Достоевского... и хорошо его запомнили. Ваш Салавен[2] более похож на русского, чем на француза. В Ваших других книгах Вы — мягкий и сострадательный «гуманист». Вы явно вскормлены общим духом русской классической литературы, и Толстого тоже хорошо знаете. Вас можно было считать другом России и русской культуры.

«Друг России»... Что же сказать сейчас, после «Путешествия в Москву»?[3]

Вы съездили в Россию, пожили там, посмотрели и рассказали пристрастно. Факты, Вами сообщаемые, иногда правильны (например, что в России дурная школа, что литература задавлена цензурой), — но общее освещение лживо. Вам нужна не Россия, а революция. Ваша задача — защитить революцию и теперешнюю власть. Ваш тон по отношению к власти глубоко почтителен, вы иногда как бы даже ее критикуете — чтобы затем всею «музыкою» писания Вашего показать, как в России чудесно: науки процветают, музеи блестящи, все довольны, интеллигенция помирилась и т. п.

Вас восхищает, что в Москве собрано столько полотен французской живописи — Матиссов, Пикассо, Ренуаров и др. Вы правы. Знаете, кто это собирал? Вы не упоминаете имен Щукина, Морозова, — тех, кто французскую живопись знал и любил. Вы умалчиваете и о том, что в музей Щукина можно было идти кому угодно с улицы. В Вашем изумлении перед петербургским Эрмитажем есть нечто детское: будто Вы только вчера узнали, что существует Эрмитаж и там находятся первоклассные вещи. Будто раньше он не был посещаем публикой. Всеми этими музеями заведывают очень просвещенные и культурные люди. Верно. Кто они? Их создала революция? Власть?

Если бы Вы были осведомленнее, то знали бы, что не только в музеях хорошо работают остатки прежней интеллигенции, но уцелели глубоко преданные культуре люди, искренно любящие Россию, которые, например, руководили и руководят работами по расчистке икон и фресок в знаменитых соборах Москвы, Владимира и др. городов — и еще обогатили находками и без того богатую сокровищницу древнерусской иконописи. Только «власть» тут не при чем. Это дело любви и знаний.

Вам, г. Дюамель, приходится все объяснять. Вряд ли Вы знаете, что культура русская не так нова, что у нас были великие святые, великое иконное искусство, замечательное зодчество, удивительное церковное пение и высокой красоты церковная служба. Все эти сокровища Россия

копила веками, и на этой ниве выросла литература и искусство девятнадцатого века. Пушкины, Толстые, Достоевские, Глинки и Мусоргские уходят корнями в священную глубь истории. Но для Вас это ничто. Вы нигде не проявляете уважения к творческим ценностям России, ни к ее святым и подвижникам. Вы не умеете даже правильно назвать Троице-Сергиеву Лавру — «монастырь при Сергиевом посаде»! (я вот не назову Вашу Notre Dame «церковью вблизи Окружного суда»!) Вы, вероятно, и не слыхали о св. Сергии Радонежском, чьи мощи в этой Лавре осквернены Вашими друзьями коммунистами. Побывав в Лавре, Вы не удосужились взглянуть на знаменитую «Троицу» Андрея Рублева, гениального русского иконописца XV в., и Вы осмеливаетесь снисходительно-презрительно отзываться о шитых пеленах Лавры, Вы удивляетесь, как еще это Советы не продали их в Америку!

Когда в 1922 г. власть грабила церкви, то даже она, власть, вместе с чекистами посылала знатоков, которые отстаивали предметы, имеющие художественно-историческое значение. «Эксперты» старались спасать ценности. Ну вот, Вы, французский писатель, представитель самой блестящей сейчас литературы в мире — с кем Вы в данном случае: со знатоками или с чекистами?

Нет, Вы России, конечно, и не поняли и не полюбили. Вы сумели подражать великим русским писателям, но душу России Вы предаете сейчас, всеми своими писаниями. Вы стараетесь выгородить и обелить тиранов России, растлителей ее юношества, палачей населения, тюремщиков русской литературы, запрещающих писать слово Бог с большой буквы. Вы договариваетесь до того, что по Вашему мнению режим власти сейчас «стабилизируется и даже гуманизируется». Не знаю, когда Вы это *написали*, но это напечатано сейчас после того, как весь мир снова передернулся от отвращения, когда снова расстреляны сотни заложников.[4] Хорошо, что не слышит Вас Достоевский, тот, кто в «Бесах» предызобразил многое, и главнейшее в русской революции.

Не признали бы великие русские писатели в Вас своего ученика и по другому поводу.

В одной из статей своих Вы почтительно упрекаете советскую власть за то, что до сих пор она не заключила литературной конвенции с Европой. Вы считаете, что заключив конвенцию и хорошо оплачивая переводы западных писателей, она примирила бы их с собою, через них расположила бы общественное мнение, и потому такая конвенция для России выгодна. Вы подчеркиваете не то, что *справедливо* платить за перевод иностранному автору, а то, что это *выгодно*. Попросту говоря, советуете Советам закупить западных писателей. «Мы будем Вам платить, а Вы не трогайте нас». Очень реалистично, и в духе Советов, но если Вы думаете, что это «в духе» русской литературы, то

глубоко ошибаетесь. Сколько б я дал, чтобы только взглянуть, как *посмотрел* бы на Вас Лев Толстой, из-под своих нависших седых бровей, если бы Вы предложили ему такой проект!

Впрочем, великие старики удивились бы и другому. Если бы они могли прочесть Вашу статью, где Вы говорите, что хотя другим за переводы и не платят, но вот Вам уже заплатил Госиздат и обещал еще заплатить за будущие книги («Московское путешествие»?), — вероятно, они бы сказали:

— Вы напрасно упрекаете Советы, г. Дюамель. Они отлично знают, кому платить и сколько. Зачем платить какому-нибудь Анри де Ренье,[5] чьи сочинения целиком переведены, когда можно заплатить всего только Дюамелю?

ПРОТЕСТ РУССКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

(Письмо в редакцию)

Милостивый Государь, господин Редактор!

Не откажите поместить в Вашей газете следующее наше письмо. В Югославии только что получил силу закон, охраняющий права литературной собственности. В основу этого закона, в отношении иностранных писателей, положен принцип взаимности. Таким образом, права одних только русских писателей-эмигрантов, не имеющих за собой никакой государственной поддержки, по-видимому, оставлены новым законом без охраны. Мы все же надеялись, что ни одно уважающее себя издательство в Югославии не воспользуется в отношении русских писателей той возможностью ограничительного толкования, которую дает случайное, вероятно, упущение в редакции закона. К глубокому нашему сожалению, эта надежда не оправдалась: некоторые издательства уже выпустили книги некоторых из нас, не вступив даже в переговоры с авторами. Против таких действий, не имеющих места ни в одной европейской стране (не исключая и стран, не связанных соответственно законом), мы выражаем категорический протест и надеемся на дружественную поддержку югославской печати, которую просим перепечатать настоящее письмо и которой мы предоставим для возможно широкой огласки имена и факты.

М. Алданов, Ив. Бунин, З. Гиппиус, Б. Зайцев, А. Куприн, Д. Мережковский, П. Муратов, М. Осоргин, А. Ремизов, Н. Тэффи, В. Ходасевич, Ив. Шмелев, А. Яблоновский

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВТОРЖЕНИЯ В ФИНЛЯНДИЮ

В эти дни, когда правительство СССР несёт смерть, разрушение, ложь в пределы мирной Финляндии, мы, нижеподписавшиеся, считаем себя обязанными заявить самый решительный протест против этого безумного преступления. Позор, которым снова покрывает себя сталинское правительство, напрасно переносится на порабощённый им русский народ, не несущий ответственности за его действия. Преступлениям, совершаемым ныне в Финляндии, предшествовали бесчисленные, такие же и ещё худшие, преступления, совершённые теми же людьми в самой России.

Мы утверждаем, что ни малейшей враждебности к финскому народу и к его правительству, ныне геройски защищающим свою землю, у русских людей никогда не было и быть не может. Между Россией и Финляндией не существует таких вопросов, которые не могли бы быть разрешены полюбовно, по мирному соглашению. Вместо этого сталинское правительство, не имеющее никакого права говорить от имени русского народа, проливает, с благословения Гитлера, русскую и финскую кровь. Ради тёмных замыслов, ради выгод, либо мнимых, либо ничтожных, оно готовит России катастрофу; за его преступления, быть может, придется расплачиваться русскому народу.

Мы утверждаем, что Россия, освободившаяся от коммунистической диктатуры, легко договорится с Финляндией, не нарушив своих интересов и проявив полное уважение к правам и интересам этой страны, которой мы выражаем глубокое сочувствие.

З. Гиппиус, Н. Тэффи, Н. Бердяев, Ив. Бунин, Б. Зайцев, М. Алданов, Дм. Мережковский, А. Ремизов, С. Рахманинов, В. Сирин <Набоков>

ОБРАЩЕНИЕ К СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Приветствую вас, собратья, с открытием вашего съезда. В <19>22-м году, когда сам я был председателем Московского союза, таких съездов еще не устраивали. С тех пор прошло много времени. Мы оказались с вами в разных мирах... У вас — родина, наш народ, молодость, сила. Этого у нас нет. Но у нас есть свобода. Мы пишем, о чем хотим. У нас тесная жизнь, но широкая воля. У вас достаток или даже богатство, но неволя.

Желаю вам, чтобы на съезде сделан был хоть первый шаг к этой воле — без нее в нашем деле нельзя.

Дай Бог, чтобы те из вас, кому дан талант, могли стойко и без принуждения выращивать его.

ОТВЕТ БОРИСА ЗАЙЦЕВА А. СУРКОВУ

В заключительной речи, произнесенной на Втором съезде советских писателей, А. Сурков, говоря о писателях-эмигрантах, между прочим, сказал:

«Не молчат и враги нашей страны и нашей литературы. По случаю съезда был вытащен из ящика с литературным мусором белоэмигрант Борис Зайцев, который прошамкал у белогвардейского микрофона слова ядовитой бессильной злобы».

Бор. Зайцев немедленно ответил Суркову по радио «Освобождение»:

«Благодарю Вас, Сурков, за ваш ответ. Я прочел его с большим удовольствием. Он доказывает, что слова мои о писательской свободе вас задели. Наверно, вы знаете, что ваши сотоварищи чувствуют не как вы, а скорее, как я. И вы боитесь. Если бы не боялись, то не сердились бы и не отвечали. Да, сказанное мною дошло. Не вы один слышали его в России.

Бойтесь духа свободы, Сурков. Он сильнее вас. Рано или поздно дойдет, куда надо».

НЕУДАЧНОЕ НАПАДЕНИЕ

«Купаться в ванне» — г. Спасский-Одынец думает, по-видимому, что это хорошо. И упрекает И. М. Хераскова за критику. Но прав, конечно, Херасков.[1] По-русски говорят: «Я принял ванну», а не «я выкупался в ванне». Почему так говорят, не знаю. Но знаю тоже, что говорить «я извиняюсь» — дурной тон, это недалеко от советского «хватит».

И почему г. Спасский-Одынец так рассердился на Хераскова («достопочтенный мэтр»), который гораздо более прав, чем его критик, тоже непонятно. И почему зазорно заботиться о языке?

Нисколько не зазорно. (Что же касается Достоевского, то язык его, иногда вызывающий улыбки, совершенно необычен, как и сам автор. Это не для хрестоматий и учебников, но отголосок необыкновенной души.)

РЕЦЕНЗИИ

RUSSIA: RIVISTA DI LITTERATURA — ARTE — STORIA. DIRETTA DA ETTORE LO GATTO*.1923

Кажется, всю жизнь прожили мы с тем, что Россия и русские — самое рваное, нищее и убогое. С детства непрерывно прорубали нам в Европу окна, и отцы направляли на выучку к премудрым немцам, французам изощренным, к сытым и богатым англичанам. Потом случилась революция. Все окончательно перевернулось вверх ногами. Страна оголодала, области целые вымерли, выплыл изрядно забытый «институт людоедства». И Европа с изумлением открыла, что Россия — презанятная страна. Русские артисты разбрелись по всему миру, русских авторов наперерыв печатают и переводят, русские театры пожинают лавры, ба́лет, музыка, живопись — все оказалось первый сорт. Не революция и не война родили интересную культуру: это — прежнее, но шумными событиями пропагандированное.

Не будем заноситься. Никогда скромность не мешает, все же реакция на прежнее самоуничижение ясна. Значит и мы люди. Значит — и за нами народ настоящий, великий, пусть временно и впавший в беснование.

Есть теперь в Европе некая эксплуатация моды на Россию. Есть оборотистое отношение к ней в Америке. Но из-за шума дел корыстных и рекламных слышатся и голоса серьезные: внимания, любви настоящей.

Очень яркий образец перед нами: журнал «Russia»[1] посвящен литературе, искусству и истории России. Вот про что можно сказать: если

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Россия. Журнал литературы, искусства, истории. Под редакцией Этторе Ло Гатто (*ит.*).

пишу, то потому, что увлечен, люблю — не почему иному. Журнал уже существовал, погиб за недостатком средств и после перерыва вновь возобновился. Создан любовью и энергией одного человека, проф. Этторе Ло Гатто.[2] Он тратил средства на него, он и редактор, и сотрудник главный, переводчик, агитатор и боец. Не успокоившись на первой неудаче, — ныне выпускает вновь журнал с прежним девизом:

«Дать возможность говорить *о русском*, прежде всего о духовной жизни русских, с ясным пониманием ее тенденций, нужд и устремлений... и проникнуть в эту жизнь духовную, столь далекую от нашей, с чистою любовью, не затемненную предвзятостями там, где она заслуживает и требует любви, и с остротой, в вооружении там, где любовь была бы слабостью и опасностью».

Итак, главная задача — осведомление. Так книга и составлена. Скорее *сведения* о культуре, нежели над нею суд (оценка). Шмурло[3] пишет «О культуре и цивилизации древней России», Ло Гатто переводит Блока, Короленко, Лескова, Достоевского, пишет этюд о Лескове, Пальмиери[4] «О религии св. Духа в России», Ольга Резневич[5] — отрывок перевода «Детство Никиты» Алексея Толстого, вновь Ло Гатто — о Федоре Сологубе («Мелкий бес», переведенный им, в ближайшее время выходит). Рецензии о русских книгах, хроника литературная, ноты к песням русских каторжан, портреты Блока, Короленко, зеленая обложка работы Билибина — вся эта изящная книжка говорит об одном: о бескорыстном энтузиазме, направленном на родное наше, то в нем, что значительно и ценно. Не к бравадам и не к самомнению настраивает она. Нет — просто радостна для всякого русского. А для тех — в России нередких — для кого сама Италия давно стала как бы второй духовной родиной, кто перед нею в долгу неоплатном — эта зеленая книжка о русском духе, написанная так осведомленно, так серьезно, интересно и любовно — весть трогательная, впечатление волнующее.

Хочется видеть вторую и третью, дальнейшие книжки. Хочется, чтобы и русские поддержали журнал, более чем заслуживающий того.

ИТАЛИЯ И ГОБИНО

У графа Гобино,[1] как и у всякого, своя судьба. Если взглянуть на жизнь его, она пестра, бурна, печальна, интересна. Он занимался и литературой, и дипломатией, писал новеллы и романы, изучал историю, восточные языки, был секретарем Токвиля,[2] жил в Париже и Стокгольме, Франкфурте, Афинах, Персии, Бразилии. Бывал и беден, и богат. Прожил на свете долго (1816— 82 гг.), дружил в семидесятых годах в Риме

с Вагнером[3] и умер одиноким стариком в Турине на трамвае. Многое видал — за исключением славы. А по смерти получил славу огромную. Немцы создали ее за «Неравенство человеческих рас»[4] — книгу, им польстившую. Французы же упорно отвергали. Но теперь приняли чрезвычайно. Это «имя». Номера журналов посвящаются ему, литературные газеты пишут о нем и печатают портреты, переиздаются позабытые его писания. В Германии есть «Общество Гобино». Во Франции немало гобинистов. Среди его поклонников имена Ренана, Леона Блуа,[5] Поля Бурже,[6] из молодых и модных — Поля Морана.[7] Его литературную судьбу сравнивали уже со Стендалевой. Стендаля, впрочем, сами же французы и открыли. А с Гобино встречался Анатоль Франс, даже не подозревая, что «почтенный дипломат» — тоже писатель.

Есть и в России некоторая судьба Гобино: «Неравенство рас» в русскую литературу не вошло, «Возрождение» же переведено дважды: до войны Горбовым, большим знатоком и любителем «настоящей» литературы, а сейчас известной писательницей А. Даманской (Изд-во «Нева», Берлин, 1924 г.).[8]

В пониженной нашей культуре «Возрождение» очень приятно, а для друзей Италии, особой, прочной русской партии литературной — и подавно. У нас то, что об Италии, всегда найдет читателя, поклонника. Но книга и вообще крупна и замечательна.

Не знаю, хорошо ли знал Гобино Италию. Враги нередко упрекали его в «дилетантстве». Все-таки он прожил несколько последних своих лет в Риме. Ренессанс дошел к нему из воздуха и книг. Стареющий, непризнанный, с немалой горечью прожитой жизни, он написал «сцены» свои — драматические, бытовые, философские — не только без усталости, но страстно, с воодушевлением. Сам Ренессанс им взят под углом героического. Книга разделилась на пять частей, по героям: Савонарола, Цезарь Борджиа, Юлий II, Лев X, Микель Анджело. Она охватывает жизнь Италии с 1492 по 1560 г. Пять героев — пять осей, вокруг которых вертится все. Италия входит в книгу молодой, со страстными порывами, со светлой живописью, яркими и доморощенными государями, демократиями, художниками, с только появившимися «варварами» (французами) — с надеждами на грандиозное. Выходит «одоленная» испанцами и Карлом,[9] смутная, усталая, готовая на три столетия погрузиться в ничто. Мечты Савонаролы не сбылись: вместо христианской демократии, царства Божия на земле — восстановление ослабевших и выродившихся Медичи. Ошибся и Макиавелли. Вместо «Государя»[10] объединителя, национального героя, чужой король Карл берет и разграбляет Рим, играет папами, приканчивает вольности Флоренции.

Книга написана небольшими сценами. Но это не театр. Папы, императоры, короли, герцоги, кондотьеры, живописцы, гуманисты, кардиналы, горожане, дипломаты, купцы, крестьяне, герцогини и маркизы — никто, кажется, не обойден. Трудно ждать, чтоб на пространстве одного тома удалось автору написать десятки своих фигур. Бесконечно трудно индивидуализировать язык. Критики, к Гобино не расположенные, упрекали «Возрождение» в том, что все там говорят одинаково: за всех старается создатель. Отчасти это верно. Все же в книге есть большое чувство жизни. В общем это очень убедительно, правдиво. Особенно в бытовых, народных сценах. Безжалостно «вскрывает» человека — подлость его, глупость и свирепость. Гобино был аристократом по рождению и духу. Как и Флобер, ненавидел середину, серость и мещанство. Ядовито написал «суд глупца» (монахов и церковного старосты) над куполом Корреджио.[11] Народ, несущий на руках Савонаролу, а потом его же предающий и лягающий — везде тут Гобино резок и скорбен. Он, понятно, устремлен к «героям». Это романтизм и пафос его. Гобино романтик настоящий. К счастью, без мишуры, сентиментальности, позерства.

Его герои: Савонарола — действенность религиозная, Цезарь Борджиа — воля и сила «для меня», Юлий II — мощь и действие «для идеи» (могущество церкви), Микель Анджело — творчество. «Сила» во всех, кем движется Ренессанс. Но для чего же нужен Лев X? Пухлый старик, гастроном, охотник, коллекционер, барин, папа... Это пятый «герой» — написан он, однако же, много бледнее. Даже в части, ему отведенной, Микель Анджело его заслоняет.

Савонаролу вряд ли Гобино любил. Савонарола очень уж неблагодарен. Как при жизни не мог надолго прельстить, так и после смерти отношение к нему будто бы с сожалением, усмешкой: захотел Флоренцию ренессансных времен сделать благочестивой! Такого отношения Савонарола не заслуживает. Но у него роль тяжелая. И скучные ханжи ему напортили.

Для некоего культа «ницшеанского» (Гобино старше Ницше!) — Цезарь Борджиа подходящ. «Пока я дышу, мир принадлежит мне. Пока я живу, он еще в моей власти». Очень эффектно. Гобино останавливается, рисует. Конечно, Цезарь выигрышная фигура. Не без театральной «демоничности». При ближнем с ним знакомстве (не по Гобино) — величина некрупная, раздутая историей и баснями. В конце же концов, хотя и казался он Маккиавелли обликом «государя» спасителя, объединителя Италии, но в этом у мессере Никколо было домашнее, — флорентийская, с Борго Сан Никколо точка зрения. В действительности Цезарь — несколько убийств, мелких войн, да знаменитая западня

кондотьерам в Синигалии. А соединением жестокости с утонченностью трудно было удивить в то время.

Гораздо ярче Юлий II. Он, как и Микель Анджело, любимец автора. Да и написан, вероятно, лучше всех. Ни слов его, ни дел ни с кем не спутаешь.

«Наглец, тупица, дурень: как ты смеешь оскорблять моего художника!» (обращено к епископу). «А ты, Микель Анджело, подойди сюда! Ближе! На колени стань! Приложись к кольцу рыбаря! Не сердись! Принимайся за работу».

«Этого и не будет. Я, я их разгромлю, я передушу и растопчу моих врагов. Можешь быть уверен. Дай мне пить!»

«Меня снедают желания сверх сил человеческих».

«Времени нам отпущено мало, и надо торопиться. Надо быстро намечать план действий, и без отсрочек, без колебаний их осуществлять... Будем же работать не покладая рук».

Юлий II всего хотел: страну очистить, утвердить церковь, Рим перестроить, вообще создать иной мир: и это — в старости, став папой. Его фигура колоссальна — могла бы быть на фреске Сикстинской. И жизнь переплелась с жизнью Микель Анджело: это роман, особенный, со ссорами и примирениями. Как Микель Анджело, Юлий II не осуществил и доли замыслов. От этого он меньше, разумеется, не стал. Единственное «меньше» то, что действовать приходится в болоте: дипломатия и политика, игра, обманы, весь тот горький фон, который выписал Гобино язвительно и остро. Все, борющиеся тут, сваливаются, рано или поздно, в яму. Не видно в этой книге оптимизма *к человеческим делам*: насилие и подкуп, кровь, грабеж, дым всех иллюзий, преступление на преступлении. Что же выше этого? Довольно ясно сказано: искусство, творчество, религия.

Вот почему Гобино любит Микель Анджело. Надо сказать, что иногда влагает ему слишком уж «литературные слова». Вряд ли вообще художник скажет: «Можно творить... дух свободен. Какое счастье!.. Раскрывается неподвижное, каменное сердце мрамора, жизнью наливается тело... Белый, холодный камень уж трепещет под резцом...» — это литератор говорит, а не тот, кто работает. Кто знает свое дело, никогда не скажет: «творю», «творить», «каменное сердце мрамора» — это театр. Но у писателей есть штамп для художников. Не избежал его и Гобино.

В общем же Микель Анджело у него хорош. Резко выделяется — фигурой сумрачной, загадочной и одинокой. Чуть не один он — непродажен, неподвластен сладостным очарованиям, беден, горд, непримирим — и не запятнан. Жизнь — труд сверхъестественный. Он говорит о Юлии II: «Его влекло только великое, он признавал лишь мощь» —

именно про себя сказал. Его труд и его мощь — художество. В сущности, он в этой книге господин, ибо прообраз Творца в виде чистейшем, смысл и оправдание преступной свалки. Долгая жизнь углубила, просветлила его, как просветляет мудреца, святого. Есть замечательная сцена в конце книги — Микель Анджело, старик, и давняя его подруга — Виттория Колонна.[12]

> *Микель Анджело.* Я скоро уйду из мира, да! Внутренняя мощь бродит по мне и разбивает истлевшую кору дерева, завязь рвется из плена облегающей ее ткани, созревшее зерно должно, наконец, выйти из сгоревшей оболочки. Я достаточно пожил на земле и прошу Господа призвать меня к себе.
>
> *Виттория.* Вы устали жить?
>
> *Микель Анджело.* Напротив, жажду жизни. Я хотел бы лишь отбросить далеко от настоящей сущности моей эти связующие узы плоти.
>
> Я жажду созерцать вблизи то, что лишь прозреваю духом. Если здесь, на земле, я что-то уловил, если я сумел воплотить в образы часть того, что я постиг, то неужели не смогу достигнуть большего, когда бесплодные, голые скалы вокруг рухнут? Нет. Я не смерть предчувствую, я предвкушаю жизнь — лишь тень которой можем мы здесь видеть, но которая откроется мне скоро.

Савонарола пробовал утвердить некоторое «по ту сторону» — это не удалось ему, он как-то слишком жесток и необаятелен. Микель Анджело проходит весь свой путь с этим девизом. Он в Ренессансе, может быть, самый «сверх-ренессансный» облик. Считается, что Ренессанс — обоготворение человека. Индивидуализм ограниченный. Микель Анджело — доказательство, что Ренессанс очень сложен, в схему не укладывается. Есть у него главная линия, «идея». Но есть и существа, переросшие его.

К ним принадлежит и Рафаэль — у Гобино, как и вообще, нередко — недооцененный. Рафаэль слишком скромно говорит о себе у Гобино, что «собирал со всех». Выходит, будто это нежный и приятный эклектик. Более права влюбленная в него Беатриче д'Эсте:[13] «в этой боготворимой голове царит и ярко играет только свет». «Злу заказано было приближаться к тебе». Рафаэль вырос в воздухе Ренессанса и напитан им, но захватил чего-то и из высшей сферы: золотой свет, музыка, гармония и высшая легкость высочайших его творений («Disputa», «Парнас», «Афинская школа»), весь его «блаженный» и «орфический» образ, загадочный приход с ранним удалением из мира, — все говорит за то, что это был залетный гость, дух, на минуту заглянувший в жизнь — с улыбкою, в торжестве света. Гобино мог с гораздо большим правом, чем заурядного Льва X, сделать его пятым героем «Воз-

рождения». Но и в том виде, как написан, Рафаэль представитель «наджитейского»: творчества, искусства. Микель Анджело тоже понимал это.

Вот Микель Анджело работает у себя в мастерской с лампочкой на голове — собственного изобретения. Поздняя ночь. Он устал, голоден. Вбегает ученик Мини. «Рафаэль умирает». Микель Анджело всегда не любил его, завидовал и сердился. Теперь сразу выбегает, в дождь и темноту, на улицу. Наталкивается на группу офицеров, слуг, солдат, факельщиков — быстро проносят носилки с папой — он был у Рафаэля.

Микель Анджело. Рафаэль?

Голос из толпы. Рафаэль умер. У Италии остался один Микель Анджело.

Микель Анджело опускается на каменную скамью. Толпа, факелы — удалились. Дождя нет. Луна в дальнем небе.

Микель Анджело. Я остаюсь один.

Тут, при луне и в одиночестве, он понял, как напрасно не любил, завидовал, как одиноко одному.

Ибо в свирепой и кровавой жизни — разумеется, как раз Рафаэль был его союзником.

Очень любовно, тонко написал Гобино сцену между герцогиней Марией Борджиа (мужа которой убил Цезарь), шестнадцатилетней Изабеллой, дочерью ее, и монахом. Изабелла кротко говорит об *отходе* от мира (в монастырь). Мать, подавленная ужасом всех преступлений, «вытирает слезы».

— Мы будем молиться за этого несчастного (Цезаря) «и раздадим щедрые милостыни во имя его».

Монах-доминиканец утешает их.

— Бури, которые сеют деяния человеческие, так мимолетны, и что остается после них? Вечная красота жизни! И этого сияния никакие силы сатанинские погасить не могут. Вы обе, одна со скорбным отречением, другая просветленно-чуждая ему, обе вы равным шагом идете в вечное царство добра и истины.

Так философствует монах, и философия его, как будто, близка авторской.

Нетрудно думать, что она явилась, укрепилась у Гобино в Италии. Рим, стольким давший утешение и укрепление, просветил и старческие его годы. Сблизил с гигантскими тенями прошлого. Ясней дал чувствовать высокое и вечное за трагедией, беснующейся в мире, — пусть это будет творчество великого художника или молитвы скромных женщин. И в этом — книга очень современна.

Рим и Италия открыли Гобино свои блаженные дары — за долгую жизнь, мало понятую и несправедливо одинокую. Он написал книгу блестящую.

Забыл в ней свои годы. Кровь и нервы, жизнь и дух бьют в «Возрождении» неистощимо, сцены, образы и положения сменяются непрерывно, и над всем этим хаосом войн, насилий, интриг, наслаждений, честолюбий, звуков, цветов, красок, выстрелов, любвей, хоров, дуэтов, как Дух Божий над рождающейся твердью, носится великое, идущее за жизнь Творчество: Микель Анджело.

П. П. МУРАТОВ. ОБРАЗЫ ИТАЛИИ

Три тома книги Муратова хорошо изданы Гржебиным. Вернее — переизданы. Первые два вышли давно, до войны. Третий же — впервые.[1]

Третий заключает всю «итальянскую эпопею». Он написан позже, внутренне, однако примыкает плечом к первым двум. Лишь в заключительной его главе новый звук врывается в спокойное повествование. Дело происходит в Венеции, с которой и начинал автор. «Уже пробежали газетчики по плитам широкой Рива, возвещая убийство Эрцгерцога. Разноплеменные посетители Флориана и Квадри уже обменялись взглядами, в которых вспыхнули первые искры вражды грядущих страшных лет. Предчувствия овладели многими. В эти последние тихие дни Европы Венеция, полная вечной задумчивости, являлась иным, чтобы пригрезиться потом в предсмертные минуты и в годы страданий». Началась война. Все три тома — жатва мирных лет с благословенных равнин, долин, гор, городов Италии. Написавший встретился однажды с нею и не мог уже расстаться. Он и умереть в ней хочет — «увидеть снова тихий блеск венецианской лагуны и в круге ее горизонта заключить свои дни». Венеция и Флоренция, города Тосканы, Рим, Лациум, Неаполь и Сицилия, Умбрия, Милан и север и опять Венеция — вот круг, очерченный им. Не торопясь, обходит он любимую страну. Старается запомнить, взять и выпить все *прекрасное* Италии. Картины, фрески, здания и улицы, пейзажи, люди, вина, книги, — и особенно картины, фрески. Более всего осталась живопись. Однако это не «история искусства». «Образы Италии» — книга некоторых посвящений в «категорию Италии», поклонение живой душе страны вне связи с временем. Для автора все живо, во что вложено прекрасное. Было ли это пятьсот, или тысячу лет назад, или сейчас светит в нехитром слове крестьянина, улыбке итальянской девушки, пустынности

аббатства Мизерикордия, *вечности* Кампаньи римской — безразлично. Написавший хочет жить очарованьями земли — лучшею из земель — Италией, и передать это читателю.

Он достигает своей цели. Книга его «заразительна». Она серьезна и изящна, обнаруживает острый глаз и верный вкус, артистичность, и большую эрудицию. Как все человеческое — не совсем ровна. Лучше всего удались, кажется мне: Венеция, Рим, Умбрия. Исключение в «Умбрии» — лишь Ассизи. Думаю, неудача с Ассизи — не случайная. Но об этом ниже. Вообще же более радует то, что *совсем свое,* от своего глаза, не от литературы. Книга же над автором очень довлеет. В этом и культура, но и ослабление впечатления. Иной раз и подумаешь: пускай бы *меньше* был начитан. Выше писание его и там, где проще: а надо признать, что вообще маньеризм ему не чужд.

Книга выросла в довоенную эпоху — очень прочный и хороший памятник ее. Она *вообще* останется в литературе нашей, а в литературе об Италии займет и лучшее место. Памятник же эпохи — ее душа: романтика и эстетизм, элегия, мечта «северного человека» о блаженном крае. Это Россия, мы, литературное движенье, вкусы, просвещенность и духовная направленность того времени. Нетрудно видеть, что родились «Образы Италии» в полосу русского лиризма, романтизма: 1902—1914 гг. Те, кому сейчас сорок, за сорок, узнают в ней молодость свою. Мир принимался тогда сбоку, с берега. Каковы судьбы его, чтом есть политика, общественность, путь нашей родины — этим мало занимались. Есть скучная и бездарная жизнь, которой чужды мы — ну, Бог с ней, за то есть и светлый рай — Италия.

Как только можно — едем. Дышим, радуемся и любуемся, «горем имеем сердца», вернувшись же, в Москве мечтаем, вспоминаем о ней, раскладываем планы ее городов, географические карты, читаем Ариосто, Гоцци и Гольдони, Патера[2] и Вернон Ли,[3] переводим Данте и только о том думаем, как вновь туда попасть. Ибо Италия для нас — праздник и расцвет сердца. Книга посвящена мне. Подзаголовок «в воспоминанье о счастливых днях». И это верно. Из нас не один тогда на вопрос о лучших днях ответил бы: дни в Италии — этот ответ не отменен и ныне. Ибо жизнь «вообще» груба, бесцветна и пошлам. Мы в ней не действовали. Вряд ли с кем-то были *заодно,* и с кем-то враждовали, что-то *утверждали.* Искусство утверждали, разумеется, но мало знали жизнь. В каком-то смысле были белоручками.

Тот вечер на широкой Рива, когда «пробежали газетчики, возвещая убийство Эрцгерцога», был вечером новой, открывшейся эпохи. Она все изменила. Жизнь отомстила за себя. Заставила узнать свою полынь, свирепость, зверским ликом поглядела. Нет больше огороженных садов и парков, где мы жили. Нет — и не надо. Мы не охаем, в ме-

ланхолии не впадаем. Стали старше, крепче, закаленнее. Прекрасному, понятно, не изменим никогда. Психологию же перестраиваем. А вернее, перестраивается она сама.

Насколько близок сейчас пафос «Образов Италии»? Хороша мирная, полуязыческая религия этой книги. «Земля плодородна, водяные мельницы на Клитумне не оскудевают полным и веским зерном. Просторные чердаки ферм едва вмещают весенние сборы овощей и осенние сборы плодов. Широко открытые в летние дни подвалы далеко распространяют веселящий запах деревенского вина. Умбрийская деревня живет полно; по белым дорогам все время медленно скрипят телеги, запряженные шелковисто-белыми волами, пыльные ослы везут в город вино, масло или последний сбор плодов, и около них тяжело ступают важные крестьяне, несущие достоинство тысячелетнего труда». Идиллия, нимфы, сатиры, художники, прелесть тона, ритм линии, жизнь как цветение (поэзия), улыбка на эротику и Казанову, вздох над Венецией и маскою венецианской, некоторая *боязнь* Франциска Ассизского — все это в наши дни встретилось с волной грозного, мирового, дьяволического и божественного. Иные звуки — грохота и ада — ворвались. Их перекричать нельзя, да и не надо. Тихий голос всегда нужен, чтоб не забывали об обратном, антарктическом полюсе. Но и сам тихий голос, противостоящий крику рвущейся затопить машины, крику разнуздавшихся хотений хамства и продажности — голос полюса иного должен тоже как-то и *обостриться.*

Эстетизма недостаточно сейчас. Он слишком мягок, тепел. В худшем случае — тяготеет к снобизму, и тогда совсем не на высоте громадных задач, ныне выдвинутых. Героя и святого нет в «Образах Италии». У Стендаля был герой итальянский.[4] Стендалевский «кондотьер» груб, неприемлем для Муратова. Ярость и сила кватроченто, мрачные нравы и трагедии чинквеченто тоже не в его тонах. Муратов очень обстоятельно, сочувственно описывает Казанову. Но Казанова, и «век маски», и Венеция XVIII века — сейчас слишком бледны. Для времени трагического очень уж *малозначительно.* И не случайно, что не удалось Ассизи: в «Образах Италии» нет св. Франциска, есть несколько слов о нем, откуда видно, что Франциск пугает, слишком он «обязывает». Муратов как бы опасается «высоких температур», и в этом близок он язычеству, эпикурейству.

Лишь ориентация на *подвиг* может дать силу, крепость человеку современному, противостоящему материи бунтующей, лезущей на Вавилонское столпотворение. Религия нашего времени не может быть теплой и необязательной. Ей не нужны громкие слова и громкий голос, но *огонь* — необходим. Пусть тихий, но огонь.

— «Книга написана не нынче, не вчера...» Вот это верно. И потому «Образы Италии» отличная книга, порожденная своей эпохой, нашей молодостью. Говоря о ней, скорее говоришь о себе — об ушедших годах и ушедших чувствах. То, что было в них хорошего, останется. И ни от молодости, ни от Италии не станешь отрекаться. Перечитывая, проверяешь себя, и виднее перемены, что пришли с годами. С автором мы вместе вздохнем «о счастливых днях», Италии вечно-прекрасной мы поклонимся всегда, всегда мы будем благодарны ей за «светлые виденья» нашей юности, и как всегда, помимо всяческой борьбы и столкновений, кризисов и катастроф, — по человечеству, в «домашнем» углу сердца мы зажжем свечу перед ее иконой.

А затем двинемся своей дорогою — во мраке и чащобе «новой ночи».

Ф. СТЕПУН. ИЗ ПИСЕМ ПРАПОРЩИКА-АРТИЛЛЕРИСТА

Пражское «Пламя» переиздало книгу Степуна о войне. И хорошо сделало. Книга постоит за себя, хотя война уж и прошла, отболела в сердце целая эпоха, сейчас возвращаться к ней как будто бы не очень хочется. Значит, автор в более трудном положении, чем тот, кто взялся бы за очень «острое», «самозавлекающее». Тем выше его заслуга, если он заинтересует.

Степуну удалось это сделать. Книга его — письма, с пометками: сентябрь 1914, март 1917, начало войны — первая революция. Пишет письма — жене, матери, еще кое-кому артиллерийский прапорщик, философ с артистической натурой, на великих немцах вскормленный, но очень русский по нутру, наблюдательный, умеющий рассказать и показать, пишущий русским слогом кругловатым и полным, по профессии склонный к философствованью, но книгу этим не перегружающей. Тон отношения к войне — умный и серьезный. Хорошо отношение к народу, ко всему русскому (любовь, но не кичливость), широта — к противнику.

Есть крепкие и четкие пейзажные страницы — Галиция, Венгрия, под Ригой. В двух-трех местах хотелось бы попроще, без фиоритур словесных в рассуждениях — но это мелочи.

Наша литература (не в пример западной) дала очень мало книг о войне (артистических. «Специально военные» воспоминания не в счет). «Письма прапорщика» — бесспорно лучшая вещь этого рода и вообще хорошая книга.

Н. А. ТЭФФИ. ГОРОДОК

Тэффи пишет остро, колко, чаще горько, чем весело. Она, конечно, полна насмешки, но менее всего в ней благодушия, веселости физиологической, так просто, «от здоровья». В теперешней своей полосе Тэффи, пожалуй, и вовсе не юмористка, она несет лишь славу прежнего. Редко женщина-писательница бывает так сдержанна, так бронирует себя от всякой сентиментальности. «Чувствительного» Тэффи стыдится в великой мере. Вот она смотрит на жизнь — видит в ней преимущественно плохое, уродливое, ничтожное — и осмеивает это, но и самой ей тяжко дышится. Она настолько заранее уверена, что улов не принесет доброго, что иной раз вместо живого разнообразия дает схему, гротеск: Тэффины люди нередко упрощены, уж очень глупы, уж очень пошлы. Что делать, таков подход. (Три, четыре раза, впрочем, на протяжении книги автор улыбается сочувственно. Это выходит прелестно. Пронзительною скорбью полна улыбка на любовь моржихи к моржу, но и в этой улыбке есть насмешка.)

Изобразительное средство Тэффи — рисунок, сухой и точный. В рисунке движение, краткость, занятность. Меткое слово и та техника «маленького рассказа», которую создал в нашей литературе Чехов, также характерны для Тэффи.

Книга «Городок» такого свойства, что отдельные рассказы — точно бы главки чего-то одного большого, иные ярче, иные бледнее, и эти быстронесущиеся очерки, писанные твердою рукою художника, выдают местами то, что сам он тщательно старается завесить. Самое «личное», самое человечное — в рассказах «Любовь», «Зеленый черт». Как это определить? Жизнь — ничтожна, на тысячу верст пути встретишь один «Цветик белый», но чем, собственно, зажечься? Любовь? — да, «как будто», а потом оказывается, что Ганка походя ест чеснок, не умеет очистить апельсина и спит с солдатом. А симпатичнейший зеленый чертик при ближнем знакомстве — чепуха.

Те немногие, кого Тэффи в своей книжке любит, безмерно одиноки, их привязанности жизненные — рождественский картонаж (ангел), зеленый чертик, чашка, с ними они живут и разговаривают, их любят. «Предмет лучше людей» — философия «веселой» писательницы.

Книжка Тэффи, блестяще написанная, полна неутолимой тоски. Душа глубокая, скорбная и богатая, раз навсегда уязвленная зрелищем «милого мира», туго в ней зашнурована. Вот «мой» эпиграф к «Городку» (двустишие самой Тэффи):

За тем, кто всю жизнь проплакал у порога,
Сам Христос придет в его час вечерний.[1]

Мих. ОСОРГИН. «СИВЦЕВ ВРАЖЕК», РОМАН, ПАРИЖ, 1928

Роман Осоргина писался долго и усердно. Это видишь сразу по основательности работы, по неровности разновременных частей и еще по ощущению, что автор прочно уселся в своем произведении, с ним жил и его любил. Если угодно, это старомодная манера, но единственно-правильная: ничто порядочное *легко* не делается. На все нужна любовь, самоотдание.

«Сивцев Вражек», задуманный как эпопея революционной полосы, начат под некоторым знаком Андрея Белого — не в языке это выразилось. Вселенная, вечность, жизнь стихийных и низших существ, постоянно противополагаемые человеку — все возводит к «симфониям». Осоргин, однако, подает это в своем освещении, с иронией, пессимизмом и горечью. Все уж так плохо, уж так жестоко устроено в мире, что в сущности, хоть вешайся. Временами читателю несколько жутко. Если автор будет на протяжении всего романа так настойчив, то увянешь. Еще тягостнее, что он хочет равнять человека не по высшему (по «четвертому измерению»), а по низшему (по «второму»), упорно навязывая мне родство с муравьями (которых я, впрочем, очень уважаю), мышами, в лучшем случае — ласточками, и забывая, что у нас с автором есть и не только подвальные родственники. Отсюда же идут и его стремления, при каждом удобном случае, надерзить Богу (вполне для последнего безопасные).

К счастью для романа, с некоторых его страниц автор забывает о вечности, о мышах и «проклятых вопросах» покойного Леонида Андреева, о естествознании, и чем далее, тем ровнее и проще ведет повествованье о нехитрых людях, коим выпало жить во времена переворота. Многими чертами его повествование к себе располагает. Можно быть ближе или дальше к мироощущению автора, соглашаться с его оценками или не одобрять их. Но человек достаточно видел, пережил, размышлял. У него бесспорное и хорошее дарование — он имеет и право, и возможность говорить. Говорить языком круглым, чистым, подлинной русской природы. Разливает по всему роману некую миловидность свою, что-то приятное есть в этом очень печальном писателе.

Беря «Сивцев Вражек» весь (а не только начало), надо сказать, что построен он в духе русского толстовского романа, т. е. не фабулистически, не развертыванием, а пряжей из бок о бок идущих тем, фигур, жизненных историй. До Толстого мировой роман этого не знал. Роль Толстого — величайшего революционера форм и врага латинской традиции в прозе (идущей от Боккаччио), кажется, не оценена и до сих пор. Осоргин нисколько Толстому не подражает, он просто идет в его

формальном русле так же, как не мог художник XIV в. идти вне Джотто, или XVI — вне Рафаэля.

Живопись фигур в романе не ярка. Милая девушка Танюша, облик тихого дома на Сивцевом Вражке — больше намерение, чем осуществление. Но и в ней есть изящные и нежные черты, те теноровые ноты приятного тембра, которые вообще украшают книгу. И Танюша, и ласточки, образы мягкости и молодости, кажется, единственное, что может автор противопоставить свирепости жизни. После ряда трагических перипетий с действующими лицами, старый орнитолог, дед Танюши и владелец особняка, утешает ее тем, что весной ласточки вновь прилетят. С Богом вряд ли помирился Осоргин и к концу своего длинного плавания, но как-то стал тише, углубленнее. Раз он видит в молодости, любви, в душевной красоте и благообразии некоторое утешение, то уж не так все отвратительно в нашем мире...

Несколько мелких замечаний: в романе есть и война, и революция, и инвалиды, и чекисты, и любовные истории — все это взято с умом и толком, иногда предельно горестно, почти всегда живо, иногда эскизно. Быт революции местами очень ярок, иногда же автор увлекается им («Москва 1919 г.») — и давая ценный исторический документ, художнически себя ослабляет. Пережившему все это, разумеется, хочется иной раз сказать о «материале», но не так легко сделать, чтобы он не оказался сырым.

Отлично удались две второстепенные фигуры — старого солдата Григория, уходящего от революции в странничество, и жены палача Анны Климовны — очень просто и ярко, жизненно, верно изображено. Что же до музыкантов (равно и художников), то нашему брату лучше их и не трогать: не выходят. Композитору Эдуарду Львовичу Осоргина я не верю ни в одном движении. Это ненужная выдумка.

В общем «Сивцев Вражек» со всеми своими достоинствами и недостатками — хорошее явление литературы, серьезное, проникнутое талантом, неким душевным «изящным тоном», имеющее «симпатичное выражение лица». Как беллетрист автор сделал в нем огромный шаг вперед. Можно лишь пожелать ему дальнейших трудов и дальнейших успехов.

<*Н. БЕРБЕРОВА.*> ПОСЛЕДНИЕ И ПЕРВЫЕ

О чем писать эмигрантскому писателю, обитающему в Пасси, Бианкуре или на Клейстштрассе в Берлине? Годы идут. «Прежнее» русское отходит. Да и говорилось о нем так много. Последние слова досказывают о России старшие писатели. Более молодые меньше ее знают, сами же

складываются в новой, странной, вкрапленной в западную, русской жизни. Понятно, что изображать им хочется теперешнее, а не прошлое.

Возможно ли это? Т. е. обжились ли уже настолько здесь русские, пустили ли корешки, создали ли некий воздух вокруг себя — ту среду, которая необходима художеству? Вопрос это спорный. Кажется, можно ответить так: с животворящей силою России здешнее смешно сравнивать, но нельзя отрицать, что некая поросль русская во Франции (или Германии) есть. Некий оттенок жизни (не советский и не «прежний») появился. За десять лет что-то и пережито. Может быть, в чью-то душу вошел и пейзаж Парижа или Нормандии, Прованса. Вошли облики людей русских на Западе.

Роман Н. Берберовой, «немемуарный», русско-французский, подтверждает возможность и желательность такого устремленья.

Опыт молодой писательницы довольно смел. Его смелость состоит в неженской теме повествования. Берберова берет жизнь не по-женски, а в более общем — к удивлению, даже *в социальном* разрезе. Ось, вокруг которой вращается действие, — жизнь русских трудящихся, драма их колебаний (между городом и деревней, тяжестью изгнания и возможностью возвратиться в Россию). Дан «пролетарский» русский Париж, дана ферма в Провансе: они состязаются, побеждает «земля» (сердце романа) — как и над попыткою возвращенства верх берет «эмигрантство».

Это в некотором смысле народническое произведение. В нынешней французской литературе есть течение — «популизм». «Последние и первые» что-то имеют с ним общее. Порождена же книга не французскою, а русской литературой, очень современной. Подражания никому нет. Но чувствуешь, что написано это в литературном вооружении нашего времени, куда вошла и т. н. советская проза.

У автора довольно яркий и сильный темперамент. Самое построение романа — энергическое, крутое, с композиционными заданиями (линия Достоевского, а не Толстого с его «романом-рекой». Вообще Достоевский живет где-то вблизи этой книги). Действия, чувства, страсти протекают во времени быстро, как бы вращательно, что оживляет, но и ставить задачи нелегкие. (Иной раз читателю хочется ближе, внимательней разглядеть человека, пожить с ним — но уже некогда, колесико композиции уносит, ставит куда надо).

Этот «фабульный» роман написан языком крепким, просто хорошим русским языком. Вкус и известное *благородство* чувствуется во всем. Это опыт здоровой и бесспорной литературы. Притом мажорной. Совсем нет «сумеречности», мечтательности или меланхолии. Автор человек твердых очертаний. Его жизнечувствие никак не расплывчато, ничего в нем нет половинного или туманного. Трагедия так

трагедия. Радость так радость — все выражено решительно, как и должно быть у «последних» (т. е. у более молодых. Противопоставление с «первыми» есть и в романе). Книгу нельзя назвать *веселой*, но кончается она благополучно: редкий довольно случай.

Удачи ее: очерк бедствующего русского Парижа, ночной кабачок, девушки (м вообще все женское), куски Прованса, ферма, заключительная глава. Общий одушевленный и страстный тон.

Слабости: схематизм, не всегда яркое живописание людей (особенно мужчин, особенно «положительного» героя), некоторая надуманность.

Во всяком случае, «Последними и первыми» вступает даровитый автор на путь широкий, интересный. Дебют его хорош. Остальное покажет время.

«НОСЯЩИЙ БАРСОВУ ШКУРУ»

Шота Руставели. «Носящий барсову шкуру». Грузинская поэма XII в., перевод К. Д. Бальмонта. Изд. Хеладзе, Париж, 1933

Произведение Руставели делило судьбу своей страны: явилось в полосу расцвета Грузии, вместе с Грузией было затоплено монгольским вторжением. Только с XVI века медленно стало выплывать. Сохранилось всего пятнадцать списков поэмы. (Данте был в этом отношении счастливее.) В 1712 году царь Вахтанг, по тщательному сличению рукописей, дал первый ее канонический текст. Мирового значения поэма не приобрела, по для грузин, видимо, стала тем, чем для итальянцев «Божественная Комедия». Об авторе сведений мало, и они недостоверны. По преданно, был он придворным царицы Тамары, любил ее безнадежно и поэму о любви написал в честь ее. Дни же свои будто бы окончил в Иерусалиме монахом монастыря св. Креста.

В «Барсовой шкуре» отобразился век и мир — дворы востока, рыцарство, турниры, охоты, и над всем этим — любовь. Она как бы главное содержание жизни, выше войн и завоеваний, К. Д. Бальмонт ставит Руставели рядом с Данте и Петраркой.[1] В некотором отношении отдает даже ему предпочтение. Этот подход отчасти понятен. Все же при чтении поэмы скорее вспоминаешь Ариосто[2] (сторона приключений, сказочности). Да и конец очень уж далек от духа великих итальянцев: у Руставели все кончается браками — начало некоей мирной и благодушной жизни.

Приятно удивляет появление поэмы по-русски. В наше время *такое* произведение в переводе знаменитого русского поэта... Есть еще лю-

ди, поэзию любящие и ценящие! Издание роскошное, со вступительными статьями, иллюстрациями, на прекрасной бумаге со старинными концовками, рамками, заглавными буквами.[3] Во всем видна любовь, тщательность, преданность делу. Не зная грузинского языка, не могу судить о степени точности перевода. Словесные же одежды его — типично бальмонтовские.[4]

«О. ГЕОРГИЙ СПАССКИЙ»

«Во дни земнаго жития твоего никто же от тебе тощь и неутешен отыде...» — слова акафиста[1] поставлены эпиграфом к книге об о. Георгии, только что выпущенной комитетом памяти его*.

Книга эта есть как бы голос должников: проходя жизненным своим путем, о. Георгий раздавал направо и налево, не считая, дары сердца. Этих даров было у него много. По чудесному их свойству, чем он больше их расточал, тем и у самого становилось больше: они убывали бы, если бы он скупился.

О. Георгий ушел, а сколько тех, кому он отдавал себя, — благоговейно возвращают теперь памяти его частицу полученного — в воспоминаниях о нем. Общественные положения их различны: от митрополитов до укрывшихся за инициалами неведомых лиц, но дух везде один. Это есть книга изображения в ответной любви.

Облик о. Георгия никогда не сходит со страниц длинного повествования, говорит ли епископ, или бывшая ученица о. Георгия, или женщина, всю жизнь которой повернул он, приведя ее к церкви, или полковник, рассказывающий, как в революцию укрощал о. Георгий своим словом буйный митинг матросов. Та же сила воздействия светлого и в рассказе о том, как в тяжкую для нее минуту поднял о. Георгий целую семью, утешил, ободрил и предсказал жизнь благополучную — да еще и закладку полунищими тогда людьми церкви Св. Спиридона, в день которого произошла их как бы и случайная, но таинственно-глубокая встреча.

О. Георгий в церкви на служении, о. Георгий на проповеди, исповедующий, учитель в школе, воспитатель, в больнице с умирающими, на военном корабле, в африканском изгнании с моряками и кадетами — всюду в книге этот летящий вперед дух, под знаменем Креста: жизнь свою прожил он как бы в бою. На войне жил, на войне и умер — на полуслове лекции, сраженный недугом, как пулею в атаке.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Продается у кн. О. Вяземской, 4, вилла Монсо. Париж (17). — *Примеч. Б. Зайцева.*

В предисловии к книге о ней сказано: материалы для биографии. Это и верно и, может быть, слишком скромно. Книга получилась гораздо больше такого задания. Ибо она ярко изображает о. Георгия. В ней очень много фактов, но они не музей, а горят, безразличного в ней нет. Потому это повествование любви и читается с увлечением и волнением.

Можно думать, что именно сейчас книга такая и особенно ко времени — в минуту особенно острой тоски и падения духа в эмиграции, разочарований, горечи.

Не заносясь, в сдержанности и спокойствии, принимая все свои слабости и грехи, эмиграция может в противовес темным именам, из нее исшедшим, выставить хотя бы одно, но вот это, блистательное в чистоте своей: о. Георгий Спасский.

ДРУГ РОССИИ

В издательстве «Fratelli Bocca» вышли «Избранные стихотворения»[1] итальянского писателя и поэта Ринальдо Кюфферле. Итальянец по происхождению, автор провел детство в России, первый язык его был русский, учился он в Петербурге. Замечательно — на весь облик поэзии его лег оттенок русского душевного склада. В чем-то этим итальянским стихам близок Тютчев. Замкнутость, глубоко уединенное чувство мира выражено в них с большою сдержанностью, без южной экспансивности. Созерцательность, мистицизм, затаенная горечь, все в возвышенном строе души проникнуто веяньем Севера. (В поэме «Al sonno» * есть и прямое воспоминание о Петербурге.)

На протяжении всей своей — довольно долгой уже — литературной деятельности, Р. Кюфферле не прерывал связи с Россией, истинной ее культурой: переводил сам и редактировал чужие переводы русских писателей — и классиков, и современных авторов, писал в Италии о нашей литературе, всегда являлся ее заступником и проповедником. Теперь издательство «Fratelli Bocca» предпринимает под его редакцией большую «русскую коллекцию», куда должна войти история русской литературы, история России, антология русской поэзии, книга о фольклоре и до 30 томов русских писателей (романы современных авторов, а также и классиков) — все, разумеется, в итальянском переводе.

Таким образом, одно из крупнейших итальянских издательств (основано в Турине в XVIII веке) под руководством известного писателя, испытанного друга России, знатока русской литературы, уделяет столько сочувственного внимания нашей стране, нашей культуре. Иной раз и нам есть чему порадоваться.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «Во сне» (*ит.*).

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРИВЕТСТВИЯ

ПРИВЕТСТВИЕ ГАЗЕТЕ «НОВЫЙ ПУТЬ»

В жестокой современности единственно, что ободряет, — духовное: все, связанное с именем Христа, под Его знаком делаемое.

«Новому Пути», идущему по пути Вечному, и всем братьям труждающимся, вокруг него объединенным, низкий поклон и сердечный привет.

РИНАЛЬДО КЮФФЕРЛЕ

Мало друзей в Европе у русской эмигрантской литературы. Тем больше ценишь немногих искренних ее сочувственников, имеющих внутреннюю связь с Россией духовной, отдающих ей внимание свое и труд. Таков, разумеется, известный миланский писатель и переводчик Р. Кюфферле, гостящий сейчас в Париже.

Кюфферле еще совеем молод, но сколько успел уже сделать! И почти вся работа его связана с Россией. (До пятнадцати лет он жил в Петербурге, там и учился, русский язык знает в совершенстве.)

Россия — в изящном сборнике его рассказов «Il cavallo cosacco» *. Россия и в романе «Ex russi» **, недавно увенчанном премией Виареджо. Деятельность же его как переводчика и вполне Россией вдохновлена.

Он переводил классиков: Пушкина, повести и драматические произведения, Достоевского «Бесы», «Игрок», «Подросток», Тургенева

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «Конь казака» (*ит.*).

** «Бывшие русские» (*ит.*).

«Отцы в дети», «Накануне». Из авторов современных — книги Бунина, мои, Алданова, Амфитеатрова, стихи Вячеслава Иванова, редактировал перевод романа Тэффи и др. Напечатал массу статей о русских авторах, прочел ряд лекций о Мережковских, Бунине, обо мне, Шмелеве, Алданове, Амфитеатрове, Тэффи. Говорил и по радио, выступал и в больших городах, как Милан, Генуя, и в маленькой Пьяченце. Даже на сцене пропагандировал Россию — в постановках Римского-Корсакова, Мусоргского, Стравинского.

В апреле 1935 г. Итальянская Королевская Академия присудила ему премию «за его собственные произведения и переводы с русского».

Кюфферле перевел не только много, но и дал выдающиеся переводы: для каждого автора находя стилистическую формулу, выражающую его на чужом языке.

Писателя, столько сделавшего для русской культуры в Италии, русский человек Парижа может лишь горячо приветствовать. Пишущему же эти строки, давнему поклоннику Италии в всего итальянского, особенно радостно это сделать.

ПРИВЕТСТВИЕ ЖУРНАЛУ «РУБЕЖ»

Десять лет эмигрантского журнала, где и литература, и искусство, журнала культурного, независимого, следящего за жизнью, имеющего обширную связь с читателем, — в тесные наши времена это радость. Удача немаловажная. И вот — привет искренний «Рубежу» из Парижа!

Дай Бог и дальше процветать.

ПЯТЬ ЛЕТ

Первый номер «Русской мысли» вышел в один из светлых апрельских дней 1947 года. Помню скромное помещение на rue Roquépine, при Христианском Синдикате трудящихся — что-то вроде каюты. Там действовали Зеелер и Полянский, Водов в типографии, а зачинатель всего Лазаревский вообще всюду.

Когда мы с Берберовой заходили туда со своими поделками, то казалось, что, кроме редакции, всего только два сотрудника и есть у этой газеты, и по правде сказать не было уверенности, выйдет ли следующий номер или нет: «Русская мысль» возникла самозарождением, с таким отсутствием денег, что просто жутко становилось.

Однако же выжила. Сотрудников оказалось не два, а гораздо больше. Читателей тоже. Богатство ее не умножилось, но вот сложилась она за пять лет прочно, нашла друзей, нашла и врагов и «Богу содействующу» продолжает свой путь.

Друзья приветствуют ее ныне. Один из давних друзей вот и хотел бы сказать, за что именно приветствует.

Да, я желаю и роста, и процветания свободному русскому слову, независимому, непартийному и демократическому, ведущему борьбу с тоталитаризмом и безбожием.

Радуюсь, что «Русская мысль» защищает трудящихся, что она вообще за слабых и угнетаемых против сильных и угнетателей — как в политике, так и в общественности. (Хорошо, что вошла в постоянную связь с Христианским Синдикатом — благодаря ей создалась даже русская секция его.)

Хорошо, что всемерно помогает она бедствующим — многие сотни тысяч розданы через нее и беженцам, и детям, старикам, монахиням, туберкулезным и др. Хорошо, что объединяет разбросанных по всему свету эмигрантов русских и во всех странах есть у нее бескорыстные сочувственники-корреспонденты.

Хорошо, что обращена и к молодежи, объединяя в Париже ряд юношеских организаций — как нужна в эмиграции сейчас именно молодежь!

Хорошо, что посильно освещает общественную, театральную, музыкальную и литературную жизнь Парижа.

Но есть в «Русской мысли» и особенность очень существенная, мало отмечаемая. Она-то и дает ей своеобразие.

С первых же номеров низменно подчеркивалось в ее руководящих статьях, что не в партиях для нее дело, а в том, что выше партий — правда духовного мира. Поэтому та политическая система лучше, которая лучше дает возможность правду эту осуществлять. Через демократию, в большей свободе, лучше осуществляются справедливость и милосердие, уважение к человеку-брату и сочувствие обездоленным — но Божественное всегда остается высшим и системы всегда должны служить Духу. Это и есть надполитическая установка.

«Русская мысль» — светская газета. Но в эмиграции не было и нет издания, которое было бы ближе к Церкви и Православию, чем она. Можно даже прямо сказать: первая русская христианская газета. (А не интеллигентская в старом смысле и не «просто» политическая.)

Считаю это важнейшим. Считаю и знамением времени, и знамением нашей эпохи, когда мир разделился как раз по этой линии — *за* и *против*.

Годы приходилось близко видеть жизнь «Русской мысли». Иногда — из-за второстепенного — спорить, но беря в целом, вспоминая эти пять лет, без всякого юбилейного напора скажешь:

— За труды, борьбу, тягости и волнения во славу вольного человека и вольной Родины, в условиях почти аскетических, руководителям «Русской мысли» привет и поклон.

Всем труждающимся в этом деле — привет и поклон.

ПРИВЕТСТВИЕ Н. В. БОРЗОВУ

Глубокоуважаемый Николай Викторович,

Только что узнал об исполнившемся Вашем 80-летии. Позвольте от души Вас приветствовать. Не приходилось встречаться с Вами, но о жизни Вашей знаю, что была (и есть) она полна труда и деятельности на пользу ближнего. Знаю, сколько Вы делали и делаете для русских детей и для не-детей — все это исходит из того Божественного веяния, которым живится человеческое существо и которое дает непреходящий смысл человеческой жизни, казалось бы такой и краткой, и ничтожной: а вот в ней есть Вечное и этим сама она приобщается к Вечности.

Шлю Вам самые сердечные и почтительные пожелания. Господь Вас храни, будьте и впредь также бодры и деятельны на пользу ближнего. Жена моя просит также присоединить и ее искреннее приветствие.

С истинным уважением,
Борис Зайцев.
12 июля 1951 г.

РЕМИЗОВУ. К 50-ЛЕТИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вы появились в нашей литературе 8-го сентября 1902 г. в московском «Курьере», в день Рождества Богородицы. Напечатанной тогда «Эпиталамы»[1] Вашей я не помню, хотя сам печатался в том же «Курьере», в той же легендарной Москве, где в Хамовниках жил Толстой и куда приезжал иногда Чехов.

Возможно, не помню потому, что подпись была выдуманная, с Вами не связанная. А настоящее Ваше имя запомнилось позже, но, кажется в том же году: рассказик,[2] в нем была какая-то ночь на севере,

написано в гамсуновском роде, но своеобразно — такое только еще начиналось и называли его «импрессионизмом».

В дальнейшем писании Вашем Гамсуна нет. Вы человек московский, из самых недр, хлябей Москвы, с Земляного вала, от Ильи Пророка, Яузы, почти сосед Андрониева монастыря и разных Николо-Ямских. Московским человеком времен протопопа Аввакума сильнее всего и закрепились Вы, полагаю, в нашей литературе — но XVII веком, прошедшим чрез Гоголя, Достоевского и чрез русский символизм. В последних книгах Ваших — «Пляшущий демон», «Подстриженными глазами»[3] московское родословие Ваше показано замечательно.

Ваш литературный путь был долог, сложен, нелегок, с извивами и весьма одинокий. Вы не для народа, но у Вас есть верные ценители и почитатели. Впрочем, если бы и «для народа», то народ русский остался там далеко, с 1922 года Вы, как и все мы, эмигрант. А значит, уже окончательно «Für Wenige» — так назвал некогда Жуковский свою книжку.[4]

Эмиграция для писателя русского сейчас и крест, и спасение. Крест потому, что обрекает на оторванность от родины, на положение бесправное и второсортное. Спасение потому, что дает свободу — независимо может писатель трудиться, созревать.

Да, Вы — как и все мы, Ваши сотоварищи — прожили тридцать лет в заброшенности и одиночестве. Здесь мы чужие, а *туда* ничего не доходит. Таков наш удел. Что поделать. Во всяком же случае в юбилейный Ваш день, хорошо пришедшийся на Рождество Богородицы, позвольте приветствовать Вас сердечно, сказать, что всегда радуюсь на неутомимость Вашу, приверженность к литературе, на неустанный Ваш труд.

Была тяжкая жизнь, были и немалые страдания — Вы о них рассказали в последней своей книге «В розовом блеске».[5] Было, и отошло. Ничего легкого нет и сейчас, но есть любимое дело, каждодневная работа над словом, питание поэтической стариной русской — Вы любите лад древней русской речи, редкостные слова, святость и чертовщину.

У Вас есть свобода писать что хочешь, как хочешь. Нет своих дач и автомобилей. Ну и слава Богу. «Горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам».[6]

Один друг мой покойный, здесь же в эмиграции, скромный человек и тоже писатель, Владимир Ладыженский говорил так:

— Бог дал жизнь. Бог даст и пищу.

Даст сколько надо: не очень много, но чтобы жить и дышать.

Как давний читатель Ваш и сочувственник, да и земляк, желаю Вам, дорогой Алексей Михайлович, получше дышать и полегче жить, сил желаю и бодрости, и писания, и рисования (Вы и это любите). Вообще «во всем благого поспешения».[7]

ВЛАДИМИР ФЕОФИЛОВИЧ ЗЕЕЛЕР. К 80-ЛЕТИЮ

В России нам не приходилось встречаться, и это не удивительно: Владимир Феофилович — южанин, его мир — Харьков, Ростов-на-Дону, мой — Москва.

Свела нас эмиграция. И даже географически — случайно мы оказались в одном и том же доме, в тихом переулочке Claude Lorrain с огромными каштанами в саду против нас, весной они прелестно цвели розовыми свечками и всему переулку придавали оттенок мира и поэзии.

Дом наш был очень эмигрантский и очень свой: меблированные его квартирки занимали чуть не сплошь русские, все литераторы: под нами жил Осоргин, рядом Полонские, ниже Вишняк, тогда один из редакторов «Современных Записок».

А над нами В. Ф. Зеелер с семьей. Он тогда был высок, прям, внушителен. Над собой слышал я иногда основательные шаги, даже через этаж, и отчасти смущался, встречаясь с ним — во мне основательности никакой не было. Про него я уже знал, что в России, на юге, он был видным юристом, общественным деятелем-кадетом, при Временном Правительстве занимал в Ростове-на-Дону крупный пост, позже был даже министром в правительстве Деникина. А в эмиграции вошел в Земгор.[1]

Министры, общественные деятели — это особенный мир, неблизкий нашему брату-писателю. Но Владимир Феофилович и сам занимался в России журналистикой, и к писателям вообще имел склонность: что-то ему в нашей профессии нравилось, и он с самого начала эмиграции стал как бы другом писателей.

В то время Милюков возглавлял Союз писателей и журналистов. Правление — двенадцать человек, на фотографии все такие молодые и многие еще до сих пор живы. Членов Союза было много. Общие собрания — в белой зале Торгово-промышленного Союза, против Бурбонского Дворца. Зеркала, люстры. Милюков мог обмолвиться: «Господа члены Государственной Думы»...

На снимке передо мной в левом углу В. Ф. Зеелер, уже тогда генеральный секретарь — высокий, прямой, делает собранию доклад. Милюков спокойно сидит в центре, секретарь пишет протокол. Миркин-Гецевич[2] всматривается в Зеелера.

Все это давно прошедшее. Но вот общее дело в Союзе сближало — тридцать лет, и до сего времени Владимир Феофилович на том же посту: все наши благотворительные балы, отчеты, выдачи, распределения, — все на нем. Как будто и медленно — характер неторопливый —

иногда сумрачно, будто и неприветливо, иногда озаряясь доброй улыбкой, делал и делает он что надо, не только в Союзе, в Земгоре, но теперь и в газете.

Немцев и войну, как и все мы, пережил он тяжко. У немцев даже сидел (в Компьене),[3] но не подался ни в ту, ни в другую сторону. Немцам не поклонился, но и советам тоже.

Весной 1947 года покойный В. А. Лазаревский добился разрешения выпускать «Русскую Мысль». Владимир Феофилович стал одним из редакторов ее. Несмотря на немалые уже годы, на трудность, иногда даже казалось фантастичность предприятия, занялся им с увлечением. Можно сказать: нищета и свобода. Газета ни от кого не зависела, но все произошло наперекор вековому правилу, без всякой поддержки со стороны, как бы самозарождением (хотя однажды прочел я о «Р<усской> м<ысли>»: «газета Шмелева и Ватикана»). Самую православную из эмигрантских газет поддержали читатели, и как считает русский народ: «бедность не порок», так все и оправдалось.

Сюда вложил Владимир Феофилович все свои силы, вкладывает и по сей день. Не столько политика, сколько поддержка эмиграции в трудном ее, крестном пути, занимает его. Сколько статей — и о страждущих в лагерях Ди-Пи, и о русских культурных начинаниях, и о детях, приютах, домах для престарелых, о русской гимназии, вообще обо всем, что связано с защитой и поддержкой гуманитарного. Те, кто близко стоит к этому, знают, каков и отклик.

Время, однако, идет, годы набегают. Силы не могут расти, слава Богу, они и не иссякают. Можно быть не таким высоким, прямым, как во времена Милюкова, но чувство человечности по-прежнему одушевляет — давнее наследие русской интеллигенции.

На днях исполняется 80 лет земного пути В. Ф. Зеелера, попавшего в катастрофическую эпоху, пережившего русскую войну, революцию, где смерть была у порога, войну здесь, эмиграцию — и все же силы не поколеблены, импульс человечности и сочувствия продолжает действовать. Это и слава Богу, слава Богу. Может быть, это в жизни и самое главное. Старость страшна равнодушием. И если его нет, это совсем хорошо.

27 июня в зале Р<усского> М<узыкального> О<бщества> З<аграницей> друзья и сочувственники Владимира Феофиловича соберутся, чтобы высказать ему добрые и благодарные чувства, долгими годами трудов заслуженные.

ПРИВЕТ АЛДАНОВУ

В 1922 году в Берлине встретил я впервые Алданова. В сопровождении изящной дамы вошел в гостиную темноволосый молодой человек с черными усиками — очень красивый. Мне сразу понравился именно тем, что прекрасные карие глаза, как и жена, изящен.

Соображая теперь, вижу, что ему было вовсе не так мало лет. И не на столь много я сам был его старше. Но вот это впечатление молодости так и осталось. Вошел некий молодой писатель — в то время он был, если не ошибаюсь, автором всего двух книг, вышедших во время войны и революции — события заслонили их. Как писателя я его не знал. Но узнал скоро. В том же Берлине вышел весной 1923 г. первый его исторический роман «Девятое Термидора» — начало трилогии, начало известности.

Книга стоит у меня на полке, с авторской надписью, в переплете. Переплести оказалось необходимым. Мы с женой, получив тогда книгу, читали ее вдвоем, сразу, и чтобы не мешать друг другу, разорвали пополам — я читал первую половину, она вторую, одновременно. Отлично выходило.

Видимо, не одни мы относились к «Девятому Термидора» с таким азартом. Не знаю, раздирали ли другие, но разошлась она отлично и автору сразу дала имя. Потом появились другие романы, исторические и современные — перечислять не приходится, все и так знают.

Знакомство личное продолжалось, укреплялось. Из Берлина перебрались мы оба в Париж, начались долгие годы эмиграции.

Вспоминая их, всегда вижу на близком расстоянии Марка Александровича и радуюсь, что эти три с половиной десятилетия прошли в ровных дружеских отношениях. На склоне жизни так это ценишь!

Талант Алданова рос, развивался. Росла известность. «Заговор», «Десятая симфония», «Истоки» кажутся мне его шедеврами. Но о литературе его напишут нынче другие.

Я просто кое-что вспоминаю. Вспоминаю наши веселые литературные обеды в русских ресторанах Парижа — с Буниным, Цетлиным, Тэффи, Фондаминским, иногда Осоргиным и Муратовым. Обед в честь итальянского писателя Кюфферле, празднования Нобелевской премии Бунина.

Помню и горестные времена весны 1940 года, когда немцы приближались к Парижу, и после собрания у Фондаминского, при ночном сумрачном ветре, в темноте притихшего Парижа мы прощально расцеловались с Марком Александровичем на Плас де Ла Порт Сен Клу — на другой день он с Татьяной Марковной[1] уезжал на юг.

Много чего было. Прошли годы, опять установилась связь с Америкой,[2] первый привет и первая посылка пришла из-за океана от того же Алданова.

Он теперь опять наш земляк, европеец, хоть и не парижанин. Обитатель Ниццы — по-русски нет даже порядочного производного (не то что калужанин, туляк, москвич).

И теперь вообще прошла вся жизнь. «Дней лет наших — семьдесят лет, — сказано в Писании. — А при большей крепости восемьдесят лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим».[3]

Да, мы летим. Марк Александрович, так будто недавно еще «молодой писатель», минует свои семьдесят лет, огибает мыс Доброй Надежды. Как все мы видел он и «труд и болезнь», но дай Бог ему — противореча Псалмопевцу в числах — еще долго занимать неоспоримое и достойнейшее место в литературе нашей, изгproducts, но несокрушимой в чувстве достоинства и свободы человека, физически уходящей, духовно непреклонной.

ЛИФАРЮ

Приветствую Вас, дорогой Сергей Михайлович. Двадцать пять лет! Глава французского балета, русский с мировым именем, художник вольного мира, *наш*; Россия в сослужении с Западом. Случай редкостный. (Редкостно и то, что знаменитый артист не отвернулся на чужбине от соотчичей в изгнании. Имя же русское прославил.)

Мало знаю художество танца. Но знаю, что в своем искусстве Вы хозяин полновластный, облик первостепенный. Хорошо, что любите Вы и наш мир, словесный. Хорошо, что любите, знаете Пушкина — всегда летящего, победителя тяжести — не потому ли Вам близкого? У Вас даже культ его — помню пушкинскую выставку, Вами созданную в <19>37 году.[1]

Дай Вам Бог сил и здоровья, Веры, любви к своему делу, энтузиазма и творчества. Дай Бог всегда быть верным великому искусству нашей Родины.

ПРИВЕТСТВИЕ «НОВОМУ РУССКОМУ СЛОВУ» <1960>

Дорогой Марк Ефимович![1] Примите сами и передайте редакции и сотрудникам «Нового Русского Слова» самый искренний мой привет

и поздравление с наступающим юбилеем. Дай Бог еще долго писать и работать, являть собой вольное и культурное русское слово. Дай Бог, чтобы скорее смогло оно свободно проникать на Родину, чтобы все Вы были бодры и здравы.

Да, еще раз — привет, привет!

Ваш Бор. Зайцев. Париж

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

В России мне не приходилось встречаться с о. Василием Зеньковским (он не был тогда священником и лекции читал не в Москве). И в эмиграции помню его еще штатским, на 10, Bd. Montparnasse, где обитала тогда YMCA. Там выступал живописный Бердяев, Вышеславцев элегантный, кажется, и о. Сергий Булгаков — все почившие, уже ушедшие.

Много говорилось, не помню точно о чем, но о «божественном», разумеется.

Василий Васильевич был вот какой: в очках, в сером костюме, приветливый и благосклонный, от слов его, от улыбки, всего существа исходило некое благоволение.

Оно прочно сидело в нем. Он и сам ученый, профессор, автор книг разнообразных (не мне о них судить по существу, но то, что я читал, глубоко-серьезно и как-то внутренне-честно. Это чувствуется). Книги... — мало ли, все мы, писатели, пишем книги, этим в сословии нашем не удивишь, а вот направленности к людям, сердцам человеческим, к молодежи — этого я у нашего брата мало встречал — у философов ли, поэтов, беллетристов — и сам дару такому завидую.

У о. Василия именно это и было. Его к людям тянуло, и не затем, чтобы навязывать им что-то, а чтобы передавать свет, знания, благодать. Но для этого надо иметь душу-приемницу, душу-передатчицу, вот тогда будет общение. Видимо, всегда влекло к этому Василия Васильевича Зеньковского, профессора, писателя и педагога в сереньком костюме. Не удивительно, что будучи всегда христианином, он в некий момент из профессора христианской философии, психологии, обратился в священника о. Василия, в рясе и со крестом на груди. Ряса не помешала ему впоследствии написать ни «Апологетику», ни только что вышедшего «Гоголя», ни разное другое, но она еще приблизила его к человечеству, на природную его склонность наложила особый, высше-мистический оттенок. Вот он исповедует перед причастием, он должен ободрять, укреплять, утешать — тут особенное поле его делания. И это чувствуют. Сразу почувствовали в нем «пастыря добро-

го» — церковный народ отметил это. Мягкость, сочувствие, излучение некоего природного оптимизма, человечность — как нуждается в этом несущее крест человечество!

А когда говорит о. Василий в храме — всегда кратко и содержательно, — речь его доходит особенно.

Неудивительно, что он так сросся и со Студенческим Христианским Движением — РСХД. Молодежь — его поле. «Вышел сеятель сеять» — он глава всего Движения, глава не только формально, но душою и сердцем. Это чувствуют, разумеется, юноши, барышни, с разных концов Франции и Европы съезжающиеся на Съезды, чувствуют, что они в верных руках. «Я по-настоящему у себя дома именно в нашем Движении», — сказал он мне недавно. Не сомневаюсь, что и для «них» он некий краеугольный камень, настоящий, духом и телом, пастырь.

О. Василию исполняется на днях 80 лет. Жизнь его здесь, трудническая, аскетическая, во многом подвижническая и направленная к ближнему, проходила много лет на наших глазах — поклонимся этой достойной жизни. Пожелаем дорогому о. Василию и творческой бодрости в писании его, и здоровья, и света в нелегкой во многом обстановке его бытия.

ПИСЬМО СТЕПУНУ

«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Да, бегут. Вот и не заметишь, как Ваши добежали до восьмидесяти, переваливают чрез Уральский хребет. Чувствую вас еще больше соратником, теперь уж «восьмидесятником». Рад, что бодр дух Ваш, что по-прежнему, но и с большей глубиной воплощаете Вы блестящую культуру русского серебряного века, иностранцам являете Россию вершин, а не убожества.

Странно: оба мы земляки — калужане, земляки позже и по Москве, почти ровесники, а в этой самой Москве, живя в одном и том же слое общества, встречались весьма мало. Общения гораздо меньше было, чем здесь, когда находимся в разных государствах. Может быть, это с тем связано, что *там* я принадлежал к чисто литературному кругу, а Вы больше к философско-религиозному, а то и чисто философскому, в чем я совсем несведущ. «Логос», «Мусагет» московский, Флоренские, Свенцицкие, Эрны, Яковенко... — это Ваше. «Золотое Руно», «Шиповник», Леонид Андреев — мое. В Московском Литературном Кружке, «колыбели» моей молодости Вы, кажется, почти не появлялись. А я не бывал на философских собраниях у Морозовой.[1]

Время февральской революции оказалось для Вас временем действия, пред-февральские месяцы войны — наблюдательные артиллерийские пункты в Галиции. Вы были уже офицером, а я в Москве в Александровском училище юнкером-шляпой.

И в большевицкую революцию судьба разводила нас. Вы не участвовали в начале 20-х годов в нашем Союзе писателей в Москве — одним словом, я Вас узнал как следует, собственно, по книге Вашей «Из писем прапорщика артиллериста» (Прага, 1926, изд. «Пламя»).

Вот эту книгу Вы мне и жене моей подарили, ее я прочел более тридцати лет назад и тогда же сказал в сердце своем:

— Лучшая книга о войне.

Я ее перечитал теперь как раз в связи с восьмидесятилетием Вашим. И — редкий случай: ничто не сдвинулось в моем отношении к ней. Мир изменился, я сам меняюсь, Вы меняетесь, но вот впечатление осталось то же: даже те места, которые я сочувственно подчеркнул тогда, теперь остались подчеркнутыми в душе, а редкий протест против слишком нарядной фразы, не в тоне общей глубокой простоты, искренности и человечности книги — тоже остался. Да, испытание временем «Письма» Ваши выдержали отлично. (Название даже чрезмерно скромно. Это — история войны и души, поданная художественно.) И не знаешь, что важней и что лучше удалось: война с ее трагедией, ужасами и противоречиями, или душа? Все лучше.

Наверно, это для Вас теперь далекое. Знаю, что охват изображения в «Бывшем и несбывшемся» обширнее, целая эпоха, знаю, что уже годы трудитесь Вы в Германии, продвигая русскую высокую культуру в среду иностранцев, чувствую, что в духовном своем развитии идете все вглубь, религиозный мир все более Вами овладевает, и жизнь с испытаниями ее и горем внутренне Вас подымает — и радуюсь этому. Не брюзжащая старость, а умудренная и живая, заплатившая за рост свой одинокою скорбью — хоть и разделяемой друзьями, все же нести ее надо самому — таким вижу я вечер бытия Вашего.

И позвольте добавить несколько слов уж совсем личных: никогда мы с женой не забудем доброты Вашей и внимания к нам в Мюнхене в декабре 1956 года, когда жива еще была незабвенная Наталия Николаевна[2] и вы оба дали нам столько тепла и благоволения. Теперь этот Мюнхен зимний, чтения, выступления, все кажется чем-то «зарубежным», «на том берегу». Существует, однако, и «этот» берег и по нему дано и наказано идти до конца, бестрепетно. Знаю, слыхал, что Вы так и поступаете. И вот в эти дни и я, и жена моя, шлем Вам братский привет, обнимаем, надеемся, что быть может (не в Мюнхене уж, конечно!) и увидимся еще пред последней разлукой.

Храни Вас Бог.

Е. Н. РЫШКОВА

Дорогая Евгения Николаевна, с большой грустью узнал, что Вы покидаете «Русскую мысль». Годами привык видеть Вас за рабочим столом в небольшой Вашей комнате. Обычно я называл Вас «хозяйкой гостиницы» — главная роль в пьесе Гольдони. Хозяйкой газеты Вы не были, но слово это Вам подходило.

Впрочем, не всегда было так. Сорок лет назад, когда Вы служили еще в «Возрождении», у Вас не было отдельной комнаты. В 1947 году возникла «Русская мысль». Не только Вы, но и вся редакция и контора помещались в одной комнате на rue Montholon и человеческие голоса сливались со стуком пишущей машинки. Это было героическое время газеты. «Беден, но честен». Первые месяцы сотрудники ничего не получали, не знаю, чтó трудникам платили (думаю, гроши). Но был подъем, вера в свободное слово и радость идти наперекор общему настроению, захватившему тогда, увы, многих в эмиграции.

А дальше газета крепла, перемещалась в более приемлемую обстановку, Вы стали секретарем редакции и как бы олицетворением благородной вольности, но и неколебимости в некоторых вопросах. Можно б сказать, воплощали дух «Русской мысли».

Но время есть время. Силы не бесконечны. Их надо беречь, не считаться с ними нельзя.

Позвольте же на прощание крепко, дружески пожать Вашу руку, пожелать всем сердцем мира душевного и здравия в сознании до конца исполненного долга. С лучшими чувствами и пожеланиями.

ПРИВЕТСТВИЕ Р. ГУЛЮ И «НОВОМУ ЖУРНАЛУ»

Дорогой Роман Борисович, всем сердцем приветствую сотый номер «Нового журнала», и вообще журнал, и Вас, руководителя лучшего эмигрантского издания. Дай Бог держаться долго и крепко. Дай Бог сил, здравия и упорства — оно и сейчас оценивается и в будущем не забудется.

Мысленно подымаю за Вас «кубок». Будьте здоровы, дай Бог продолжать ценное дело.

Ваш всегда, Бор. Зайцев.

13.VIII.<19>70. Париж.

ПРИВЕТСТВИЕ «НОВОМУ РУССКОМУ СЛОВУ» <1970>

Глубокоуважаемый и дорогой Марк Ефимович, позвольте самым сердечным образом приветствовать Вас и «Новое Русское Слово» с шестидесятилетием существования — излучения слова независимого и достойного.

Дай Бог сил и бодрости.

С истинным уважением и признательностью.

— Многая лета! Мно-гая ле-ета!

Ваш всегда

Бор. Зайцев. Париж

ОБРАЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

ДЕНЬ РУССКОГО ШОФЕРА

Русские шоферы в Париже устраивают свой «день». Их мысль очень разумна, проста, вызывает сочувствие. 19 мая, в среду, инициативная группа, некое «ядро» наших работников призывает всех русских шоферов отдать половину своего чистого заработка на общее дело. Это дело такое: устроить кассу взаимопомощи (на нее 50%), остальную половину собранного — инвалидам, учащимся и детям. Так что «День шофера» оказывается связанным с «Днем инвалида» и «Днем русского мальчика». Его успех или неуспех соответственно ощутят инвалиды и дети.

Значит, надо, чтобы в среду, 19-го, *все поголовно* русские шоферы сдали половину своего чистого заработка на «ссыпные пункты» (редакции газет, русские рестораны, книжные магазины, гаражи — все это очень точно изображено в воззвании шоферов). Нужно, чтобы и все служащие и владельцы гаражей поддержали их. А еще надо — чтобы и «публика» отозвалась. Это значит вот что. Когда (19 мая) русский подойдет к такси и на вопрос:

— Рю Лаффайетт... силь ву пле, нюмеро дюз... се пре де ла... — получит ответ на чистейшем русском языке:

— Есть — и оба почему-то улыбнутся, то вот тут «седок» тоже должен чистейше спросить:

— Вы участвуете в «Дне шофера»?

И при утвердительном ответе — а надеемся, что всегда так будет, — пусть и седок не пожалеет лишнего франка, а то и двух, и трех, пусть помнит, что ведь это все не зря, — на дело чистое, хорошее.

Итак, в добрый путь, земляки с загорелыми лицами, странники авеню, переулков и улиц парижских, люди руля, быстроты, нервов, внимания, — в добрый час в добром деле. Дай Бог в этот день особенно твердой руки, острого взгляда, щедрых клиентов, богатого сбора.

Последние новости. 1926. 18 мая, № 1882. С. 2

Союз русских шоферов был организован в Париже в 1926 г. и насчитывал более тысячи таксистов. Ежегодно проводил «День русского шофера» — благотворительную акцию с целью сбора средств для помощи нуждающимся водителям. Издавал газету «Русский шофер» и ежемесячник «За рулём», в которых публиковались и художественные произведения русских писателей.

РУССКИМ ЗАРУБЕЖНЫМ ЛЮДЯМ. ПРИЗЫВ ГРУППЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Тысячи наших инвалидов — без помощи и без приюта. Союзы Инвалидов изыскивают средства, но нужда огромна. Необходимо прочное устройство убежищ, мастерских и санаторий. В славянских землях посильно помогают, но эта помощь недостаточна. Жизнь инвалидов наших зависит от случайных сборов. Так нельзя. Надо осознать, что так — недопустимо и позорно.

Самым бесспорным, самым неотложным делом должна стать забота о всех тех, кто жертвовал своею жизнью за Россию, кто принял за нее увечья, раны, потерял здоровье, кто теперь — калеки. Таких до 5000, объединившихся в союзы. Но их, конечно, больше: многие работают по шахтам, на заводах, в услужении, пытаются учиться, борются за жизнь, теряют силы и умирают, не называясь инвалидом. Тысячи могил безвестных раскиданы по свету. Сколько самоубийств — с отчаянья, от безучастья! Об этом слышат и проходят мимо. Так нельзя.

Народы чтут героев: живым — забота, мертвым — память. Мы — на чужбине, могилы «неизвестного солдата» у нас нет, а тысячи страдальцев наших — с нами. Они и наша честь, и наше оправданье перед миром. Их раны и страдания — за Россию. Они остались верны чести, долгу. Это наш русский паспорт. Он не всеми признан; но мы-то знаем, что это настоящий паспорт и дорого оплачен. Знаем — и проходим мимо. Так нельзя.

Россия ничего не может. Делать за нее — наш долг. Мы здесь, в этом деле — ее замена, и мы должны. Это долг нашей чести, русской чести. Пусть не говорят: «своих забыли!» Пусть все проникнутся единой волей. Мы, кто еще работать в силах, обязаны отдать им часть себя, часть своего труда и сердца. Нас сотни тысяч; их — тысячи. Нашей платой мы не оплатим долга; но мы доплатим сердцем, чувством братства. Мы должны.

Помощь наша должна быть постоянной, твердой. Должен быть создан фонд для прочного устройства инвалидов. Если захотим, — все будет. Надо захотеть.

Голос Союза Инвалидов должен быть услышан.

Союз установил, как веху, — помни нас! — «День Инвалида», в день памяти Св. Николая Чудотворца, чтимого народом русским, помощника и покровителя бездомных, сирых. В этом году — 9/22 мая, Летнего Николы. В этот день повсюду в мире, где есть хоть кучка русских, организуется сбор помощи для инвалидов.

Мы, русские писатели за рубежом России, призываем на помощь нашим инвалидам всех. И первым делом мы обращаемся к печати: помогите! Пусть газеты откроют сбор для инвалидов; пусть отзовутся все, как могут: трудом, искусством, сборами в церквах, устройством лотерей, концертов, лекций, спектаклей, чтений и собраний, сборов по местам увеселений и торговли, у знакомых, выпуском статей и специальных номеров в газетах и журналах, — всем, что можно и удобно сделать, смотря по месту.

Мы призываем всех российских граждан за рубежом придти на помощь нашим инвалидам. Пусть в этот день все помнят: на помощь инвалидам, носителям Российской чести! Мы призываем: проявите волю, зовите, напоминайте неустанно, употребите все таланты, силы, слово, влияния и связи, объединитесь в этом священном деле, покажите, что мы, рассеянные в мире, способны быть едины, что мы не пыль, а сила! И пусть этот порыв отныне станет залогом единения и братства, духовной силой, без чего — нельзя. Пусть наши инвалиды станут для всех нас связью, неумирающим призывом — за Россию!

Наша просьба ко всем зарубежным русским органам печати — дать место этому воззванию, а к русским писателям, сочувствующим этому святому общерусскому делу, присоединять свои подписи к настоящему воззванию.

М. А. Алданов, К. Д. Бальмонт, ак<адемик> И. А. Бунин, редакция газеты «Возрождение», З. Н. Гиппиус, редакция газеты «Дни», Б. К. Зайцев, П. Н. Краснов, А. И. Куприн, Д. С. Мережковский, М. А. Осоргин, редакция газеты «Последние новости», редакция газеты «Русское время», Н. А. Тэффи, Владислав Ходасевич, И. С. Шмелев, А. А. Яблоновский, С. Яблоновский.

ДНИ ЛЮБВИ

Чем больше живешь на чужбине, чем чаще слышишь споры и разговоры о роли, о «миссии» эмиграции, тем крепче внутри чувство: пусть избирают политики те или иные пути. Пусть спорят и выясняют.

А вот я, эмиграция, просто русский, просто вижу вокруг себя ежедневно нужду и печаль, я вижу инвалидов войны, знаю о мальчиках, кому некуда «преклонить голову», читаю о самоубийствах, и просто я вижу полуголодных или замученных тяжким трудом — врачей, работающих грузчиками на вокзалах, писателей, таскающих тяжести, их семьи, питающиеся фасолью, — передо мной столько горького, бедственного и ужасного, что как-то некогда ни о чем спорить, всеми нервами ощущаешь: первая и грандиозная «миссия» эмиграции — на помощь! Путь великий и непререкаемый — братская любовь.

Для меня несомненно, что самый правильный способ действий здесь — поголовное самообложение, некое великое содружество изгнанников в делах добра. Задача сложная, огромная. О ней не надо забывать и нужно к ней стремиться. Но сейчас у нас есть и непосредственные, *сегодняшние* поводы всколыхнуться и встряхнуться, ощутить свое единство, русских, твердо пробивающихся сквозь невзгоды жизни на чужбине.

Сейчас перед нами такие «дни любви», близкие — «День Инвалидов», «День Русского Мальчика».

22 мая, в день св. Николая, покровителя всех страждущих и угнетенных, предположен выпуск однодневной газеты «Русский Инвалид». Комитет Общежития для мальчиков уже выпустил свою газету «Русскому мальчику»[1] (она продается и ее можно выписывать — 32, рю Буасьер, у секретаря комитета Н. П. Булюбаша[2]). Обе газеты — литературные. В них нет политики. В них объединились почти все здешние писатели, художники, многие поэты, журналисты, ученые — без различия направлений. Церковь подняла свой благословляющий крест над ними, как бы подчеркивая, что цель этих изданий выше человеческих разногласий.

Таким образом; каждый, кто купит газеты «Русский Инвалид» и «Русскому Мальчику», каждый, кто распространит несколько экземпляров их среди знакомых, каждый, кто на сборе в церкви, в общественных местах, театрах и т. п. даст свою «лепту», кто возьмет билет на концерт, лекцию — всякий войдет в невидимый, но прочный круг Любви, всякий коснется Добра, всякий тем подтвердит жизненность, силу тех русских, что разбросаны по всему свету, бездомны, бесправны, но крепки духом, — и вместе с тем — всякий поддержит измученного, облегчит жизнь калеке, даст русскому мальчику условия сносной жизни.

Да не будет отказа!

КОНЦЕРТ-ГАЛА

Передо мной программа концерта — не совсем обычного вида. На первой странице воспроизведен снимок виллы в саду; на второй и третьей, под «первым» и «вторым» отделением концерта — мальчики на кухне моют посуду, и другие мальчики, у себя в комнате Общежития — играют в шахматы. На четвертой странице они обедают.

Мне уже приходилось писать об Общежитии в Шавиле.[1] Оно действует и дает приют неимущим детям, но денег на ведение дела очень мало, Комитет Общежития изыскивает средства, сколько может, и сегодня — концерт Комитета. На той же программе, над мальчиками, перечень знаменитых и известных имен русского музыкального искусства, драматического, литературы, балета. Артисты разного рода оружия украсили нашу программу; г-жи Балашова, Рощина-Инсарова, Яковлева, Спиридович, Тэффи; г.г. Кедров со своим квартетом, Кайданов, Лапшин, Попов, Рахманов[2] и французский поэт Ростан.[3]

И сейчас к вам, неизвестный и, верю, сочувственный читатель, эти строки. В шуме, пестроте столичной жизни не забудьте, что сегодня, в воскресенье вечером, в зале Гаво[4] (45—47, рю ля Боэси) русское искусство подает благородную руку свою молодой России — в тяжкой лямке жизненной пробивающейся к свету и культуре.

Итак, нынче в девять часов мы встретимся. Нас примут мальчики-распорядители с лентами на рукавах, встретит серьезный светлый зал Гаво — и блистательное русское художество еще раз покорит, еще раз освежит.

ДЕЛО ЛЮБВИ

Как много русских работает в Париже на заводах, это мы хорошо знаем. Меньше знаем, сколько в работе надрывается и ослабевает, скольких стережет зверь слабости — туберкулез. Русские труженики, заболевшие туберкулезом, не могут пользоваться бесплатными французскими санаториями. В платных же непосильна цена. Русские покорно идут в общие госпитали. Но это не то, что надо. Лишь санатория и санаторное лечение могут действительно победить.

«Санатория — вот последняя мечта больного русского, то, во что он вкладывает всю свою надежду на Бога, на комитеты, на своих братьев-рабочих, на посещающих его сестер, — пишет мне лицо, много сил отдающее туберкулезным. — Вспоминаются все те, которые не могли

попасть в санаторию из-за недостатка денег. Жутко делается, когда подумаешь, что немного больше любви — и многие молодые жизни были бы спасены». (Через руки автора приведенных строк прошли сотни больных).

«Помню одного молодого умирающего казака, совсем одинокого, в госпитале. Ему все хотелось куда-то уехать. И встретить Пасху не в госпитале. На земле он таки и не услышал "Христос Воскресе".

Другой, уже холодеющими устами спрашивал меня: "ка-кой резуль-тат насчет са-на-тории, есть ли на-дежда?"».

Надежда есть! Во всей нашей изгнаннической жизни лучше других удаются дела любви, мира и милосердия. Да, на чужой земле рядом с церквами, академиями, университетами, приютами и общежитиями — появилась и первая русская санатория для туберкулезных в Шелль с<юр> Марн, пока дающая приют, к сожалению, только 15 человекам. Там больные могут найти и необходимый отдых, и лечение, и прекрасные условия жизни за 350 фр<анков> в месяц. Но скольким и это недоступно!

Надежда есть, и уже создана цитадель борьбы. Нужно сочувствие, поддержка, незабывчивость о тех, кто молод, страждет и столь мало «вкусил меда» жизни, и так хочет жить.

Много просят и часто обращаются к эмиграции. И все же отклик есть. Всегда таинственным дыханьем слова отверзаются чьи-то сердца. Кто-то неведомый кладет свою лепту. Надобно верить. Надо желать. Мы верим. И желаем, чтобы и сейчас сильные не позабыли слабых, здоровые больных, более состоятельные — неимущих. Идеалом было бы создание «фонда туберкулезных» при Комитете помощи больным (7, рю Генего). Будем же к этому стремиться.

Жертвуйте на туберкулезных, кто сколько в силах. Братскому делу — Бог в помощь.

СТУДЕНТЫ

Исполняется 175 лет Московскому университету. Тому самому, на Моховой, где когда-то мы держали экзамены, сдавали разные философии права, политические экономии. Какие странные, вольготные времена! Сейчас не так легко и вообразить ту жизнь.

Все это ушло. Теперешний Московский университет попал в жестокие лапы, и бессмысленные. Кажется, там учат больше политграмоте, чем наукам. Но и тамошним студентам, и нашим здешним, как трудно жить! Как мало похоже на нашу молодость! Я знаю некоторых париж-

ских: кроме ученья, сколько они работают, чтобы существовать! А еще больше таких, которые лишь мечтают учиться, а пока что задавлены тяжелым трудом, надежда их только на стипендию (на «Михаила Михайловича»)[1] — на возможность хоть впроголодь существовать, да учиться.

В память 175-летия Московского университета, некогда нашей гордости, одного из китов, на которых Москва стояла, и устраивает Московское землячество и Федоровский комитет[2] всеэмигрантский сбор на студентов, на фонд стипендий для молодежи нашей, надрывающейся в труде и в желании учиться. Чудесное предприятие! Ответ и на издевательство над наукой в России, и на бедственность юношества здесь. Дай Бог удачи. В сущности, тут и отказа быть не может. Все решительно должны дать. Если наша молодость была гораздо легче, и если за теперешними юношами нет папенек и маменек, так именно мы сами и должны о них заботиться. И еще надо помнить: в России нет сейчас настоящего высшего образования. Изготовляют полуврачей, полуинженеров, полуучителей. Как еще понадобятся «настоящие»!

Вот вам и миссия эмиграции.

ПОМОГИТЕ РУССКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ. ПРИЗЫВ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Высшее образование не прихоть: в наших условиях это подвиг, долг перед родиной. Дело русской культуры продолжается, не может остановиться, пока не пропало самое слово — русский. Сотни наших ученых достойно оправдывают в мире русскую науку и культуру. Это — оправдание нашего бытия, и это мы должны помнить. Высшее образование наше здесь — и долг, и необходимость: без него русская культура сникнет.

С нашей помощью, с помощью иностранцев и их правительств Центральный Комитет Попечения о русской студенческой молодежи заграницей вот уже десять лет упорными трудами его председателя М. М. Федорова[1] способствовал нашей молодежи получать высшее образование. Тысячи студентов, после великих трудов, в лишениях, стали врачами, инженерами, юристами, учеными. Это — смена в славной работе просвещения, во имя родной культуры, — в работе, которая не может прерываться.

Тяжелое наше время, мировой кризис, безработица — поставили Комитет почти в безвыходное положение: помощь от большинства иностранцев приостановилась, русская помощь оскудела, студенты,

поддерживавшие себя работой на стороне, бессильны; призывы Комитета не получают отклика; стипендии иссякают, средств нет. Сотням студентов, близким к получению диплома, — права на культурную работу в жизни, права достойно служить России, когда позовет судьба, — грозит увольнение, потеря потраченного труда, отчаяние. Положение нашей молодежи воистину трагическое. Русские люди — перестали отзываться.

Можно понять иностранцев: напуганные кризисом, сжавшиеся в расходах, естественно, очень многие из них могут считать помощь учащейся русской молодежи делом не близким их сердцу. И призыв к ним, призыв без отклика, «глас вопиющего в пустыне», — может ли удручить. Больно, когда призыв о помощи не встретит *родного* отклика. Призыв к родному миру, пусть даже обездоленному, не может не быть услышан. Дело идет о помощи *родному*, о помощи на святое дело, на жертвенное дело — дело служения, может быть в близком будущем, бедной России нашей. *Такой* призыв не может не быть услышан.

«Глас вопиющего в пустыне...» Мы верим: наша душа не может в пустыню обратиться, иначе она умрет — русская душа. Это мы знаем: это *знает* великая литература наша, чуткая совесть наша. Русское сердце может, порой, ожесточиться, но превратиться в камень, застыть — не может. Чувство любви к родному, к нашему *человеческому* — к культуре нашей, — не может устрашиться никаких кризисов, кроме единственного, наистрашнейшего, — *духовного*. Этот духовный кризис грозит нашей молодежи. Русское чувство может, под всеми гнетами, все понять и, поняв, широко раскрыться, — и лептами бедняков, знающих, что такое труд, помочь нашей молодежи, довести ее до заветной цели — служить родному, когда позовет судьба, — служить на великом поприще — благого просвещения.

Мы верим: помощь придет, не может не придти.

М. Алданов, К. Бальмонт, И. Бунаков, Ив. Бунин, М. Вишняк, З. Гиппиус, Бор. Зайцев, А. Карташев, Н. Кульман, А. Куприн, Д. Мережковский, А. Ремизов, В. Руднев, Петр Струве, Ив. Шмелев, Александр Яблоновский, Сергей Яблоновский.

ПАРИЖСКАЯ МОСКВА

И еще год. Опять холодный январь, Париж. Опять горсточка москвичей в день Св. Татьяны добром поминает Москву. За горсточкой ведущих ряд ведомых. Старые, больные, средние (жизнью надломленные),

молодежь учащаяся. Пособия, ссуды, стипендии... — немало москвичей в Париже, да и по Европе. В Гамбурге полуголодный старик. В Вене молоденький студент (у родителей его, на Зубовском, и бывать приходилось: тогда и студента никакого не было!) — ныне доучивается он на сборы Св. Татьяны.

А в самой Москве? И особенно в этом году? Часть ее тронулась уже, снялась, в мороз двинулась на беды новые.[1] Пусть и туда дойдут грошики парижские.

Татьяна милостивая! Покровительница Москвы и великомученица — поддержи в самый тяжелый год.

...Праздник Московского землячества — 27 января, в городе Париже, в залах «Лютеции».[2]

ВОЗЗВАНИЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ КО «ДНЮ РУССКОГО РЕБЕНКА» В АМЕРИКЕ

Тяжелая нужда постигла русскую эмиграцию. Мировой кризис и вызванная им безработица в каждой стране более всего ударила по иностранцам, среди которых русские оказались в положении особенно жестоком.

Голод и болезни, нетопленные каморки чердаков или подвалов, ночевки под мостами и, как следствие непереносимой беды, — пуля или веревка, — вот о чем почти ежедневно сообщают газеты.

Но если страшно положение взрослых, то что же сказать о русских детях, не понимающих, почему нет у них дома, почему голод, которого нет у соседей, почему так страшно начало жизни?

Маленькие скелеты, обтянутые синей потной кожей, голодное истощение, все чаще поднимающееся на русские чердаки, опускающееся в смрадные подвалы голодной смерти — можно ли без ужаса знать об этом?

«Общество помощи русским детям эмиграции» устраивает «День русского ребенка». Мы обращаемся к русским людям Америки с просьбой вспомнить в этот день о маленьком русском страдальце.

Ив. Бунин, Игорь Воинов, Борис Зайцев, Л. Зуров, В. Иноземцев, Галина Кузнецова, А. И. Куприн, Ант. Ладинский, Иван Лукаш, П. Муратов, Ив. Новгород-Северский, Николай Рощин, Ю. Семенов, И. Сургучев, Н. С. Тимашев, Н. Чебышев, И. С. Шмелев.

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР

Через неделю, в воскресенье 5 мая — второй пушкинский вечер. Еще раз русские люди соберутся вместе во имя Пушкина, и, через музыку русских композиторов, им вдохновленных, приобщатся к его великому творчеству. Пушкин — солнце России, и лучи его поэзии, достигая до наших сердец, утешают нас в нашей тоске по родине, а наше молодое поколение наставляют в вере в былое величие России. Вот почему мы зовем всех русских в Париже придти на этот второй пушкинский вечер, для участия в котором привлечены лучшие русские музыкальные силы, наши лучшие артисты.

Мы возвышаем наш голос с призывом быть на этом прославлении Пушкина еще и потому, что этот пушкинский вечер должен дать Союзу русских писателей и журналистов в Париже средства, необходимые в его деятельности по оказанию помощи всем нуждающимся и обездоленным писателям, литераторам, журналистам. Это большое дело наш Союз осуществляет вот уже 14 лет, а в этом году жизнь русских людей в особенности трудна и безнадежна.

Помогите им.

Ив. Бунин, М. Алданов, З. Гиппиус, Бор. Зайцев, Д. Мережковский, А. Ремизов, Ив. Шмелев

А. А. ПЛЕЩЕЕВ. К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В текущем 1936 году предстоит редкий юбилей. Исполняется 60-летие литературной деятельности Александра Алексеевича Плещеева, журналиста, балетного критика и драматурга.

В области театра и балета, где его имя особенно популярно и пользуется исключительным уважением, он был и остался верным другом артистов, их доброжелателем и защитником.

На закате жизни, очутившись на положении эмигранта и потеряв зрение, что пагубно отразилось на его литературном заработке, старый писатель нуждается в отдыхе.

Мы предлагаем всем истинным друзьям театра, а также всем балетным артистам откликнуться на наш призыв посильной лептой на юбилейный подарок, который дал бы возможность маститому литературному деятелю отдохнуть и полечиться.

Взносы просят направлять в Союз русских литераторов и журналистов, на имя генерального секретаря союза В. Ф. Зеелера (Mr Wl. Zeeler, 2, rue Boucicaut. Paris, 15).

М. А. Алданов, М. А. Балашева, И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцев, В. Ф. Зеелер, С. М. Лифарь, Д. С. Мережковский, Вас. И. Немирович-Данченко, Е. Н. Рощина-Инсарова, О. И. Преображенская, Р. Словцов, Н. А. Тэффи, И. С. Шмелев

80-ЛЕТИЕ А. А. ПЛЕЩЕЕВА

В текущем году исполняется 80-летие А. А. Плещеева, известного балетного критика, драматурга и журналиста. В кругу друзей и знакомых писателя возникла мысль отметить его восьмидесятилетие каким-либо подношением, которое могло бы гарантировать Плещееву временный отдых и лечение, чего настоятельно требует его здоровье. Сочувствующих этой мысли просят направлять свои взносы в редакцию «Последних новостей», 51, рю де Тюрбиго, Париж (3) или Генеральному секретарю Союза литераторов и журналистов В. Ф. Зеелеру, W. Zeeler, 2, rue Boucicaut, Paris (15).

Б. К. Зайцев, В. Ф. Зеелер, С. М. Лифарь, Н. А. Тэффи, Е. Н. Рощина-Инсарова.

СОЮЗ РУССКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Многоуважаемый господин редактор!

Просим Вас не отказать в любезности помесить в Вашей уважаемой газете нижеследующее письмо.

На двадцатом году эмиграции русские деятели театра и кино не имеют во Франции своего активного общественного органа, который бы регулярно обслуживал их профессиональные, материальные и культурные нужды.[1]

Необходимость создания такового, в форме общества или союза, сказалась с особенной силой в последнее время: вследствие все растущих ограничений в праве на труд для иностранцев возможности заработка резко сократились. С другой стороны, всякий раз, когда вставал вопрос об оказании срочной помощи тому или иному коллеге по про-

фессии, помощь эта организовывалась наспех, кустарным способом (сборами денег среди друзей и знакомых), или не оказывалась вовсе. Все мы недавно были свидетелями печального примера, когда не нашлось средств для лечения одного тяжко заболевшего русского артиста кино, известного в Европе не меньше, чем в России. Он умер, и средства на похороны собирались буквально с трагическими усилиями.[2]

Не менее грустно обстоит вопрос в областях помощи юридической и культурной. Часто вследствие недостаточного знания языка или законов страны русский работник искусства остается незащищенным в своих правах. В равной мере, в силу разобщенности с своими коллегами по профессии, он зачастую пребывает в неведении относительно изменений в области репертуара и техники театра или кино, и, вследствие этого, отстает от требований рынка.

Наличие постоянно функционирующего профессионального объединения в значительной мере способствовало бы устранению эти печальных явлений.

Мы, инициативная группа по созданию Союза русских театральных и кинематографических деятелей во Франции, приглашаем всех наших коллег присоединиться к нашему начинанию и пожаловать на общее организационное собрание, которое состоится в ближайшие дни. Дата, время и место собрания будут объявлены особо.[3]

Русская масса деятелей театра и кино достаточно многочисленна, чтобы, будучи организованной, оказаться полезной самой себе.

Драматурги, музыкальные авторы и сценаристы, театральные и художественные критики; артисты оперы, драмы, оперетты, балета, кино, эстрады, арены; дирижеры, администраторы, организаторы турне; режиссеры, художники, декораторы, операторы, лаборанты, монтеры, гримеры и др. технические сотрудники театра и кино — мы надеемся, войдут членами а организующийся союз.

Инициативная группа представит общему собранию проект статута будущего объединения и предложит кандидатов в правление союза.

За всеми справками просим обращаться к А. П. Рогнедову:[4] Mr. A. Rognedov — 10, villa Victor Hugo. Paris (16) Tél.: Passy 08-85.

М. Алданов, А. Бенуа, А. Богданов, И. Бунин, С. Вермель, А. Волков, З. Гиппиус, А. Гречанинов, Н. Евреинов, Б. Зайцев, К. Коровин, М. Кшесинская, А. Лабинский, С. Лифарь, А. Лошаков, И. Лукаш, Д. Мережковский, А. Мурский, Г. Поземковский, А. Полонский, А. Рогнедов, Е. Рощина-Инсарова, А. Скаржинский, В. Стрижевский, И. Сургучев, И. Товбин, Н. Тэффи, Г. Хмара, кн. Церетели.

НАШ ВЕЧЕР <1949>

Художественный театр есть часть прекрасной, артистической России.

Пятидесятилетие его — некоторый русский праздник, мирный и бесспорный, праздник художества нашего.

Союз русских писателей и журналистов отмечает этот полувековой юбилей литературно-артистическим выступлением 31 января в зале «Шопен» («Плейель»), в 9 часов вечера.

Мы надеемся, что парижские русские поддержат наш вечер, выражая этим связь свою с родною культурой.

КОНЦЕРТ КОНСЕРВАТОРИИ

Особняк на авеню Нью-Йорк всем известен.[1] Зеркальные стекла, вид на Сену в тополях, портреты композиторов и музыкантов, прелестная Павлова в одной из комнат — все будто располагает к тишине. Но зайдешь днем: Боже, сколько звуков! Кто на скрипке, кто поет в верхнем этаже, кто разыгрывает на рояле... Это все учатся будущие, а частью и нынешние артисты. Их довольно много, до полутораста. Лучшие русские музыкальные силы обучают их.

Если же зайти вечером, то чуть ли не каждый день — то концерт в большой зале, то какой-нибудь бал, то «старается» наш брат писатель с хорошо известной эстрады.

Русская Консерватория соединена с РМОЗ, и весь этот особняк как бы пророс музыкой, литературой и художеством (бывают и выставки, и приемы, юбилеи). По правде говоря: это учреждение заняло в Париже место определенное — некоего «культурного центра», единственного в своем роде. (В более скромном виде напоминает Московский Литературный кружок начала века.)

Ныне Консерватории исполнилось 25 лет. Годы идут. Сменяются устроители и хозяева, дух же художнический все тот же, дух мирной артистической культуры под зелеными тополями Сены.

11 февраля устраивается юбилейный концерт-спектакль. Будут выступать начинающие и зрелые. Юные, еще ждущие известности, и уже ее получившие. Ученики и профессора. Имена учеников позже узнаем. Имена Давыдовой, Греч, Карандаковой, Дольницкого, Лабинского, Поземковского, Баклановой, Лушниковой, Агрова[2] — уже говорят громко. А за ними в глубине, частью уже легендарной: Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков (великая Россия).

Итак, дай Бог успеха, и на вечере, и в дальнейшем. Лучшие пожелания.

ВЕЧЕР ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

Балтийское море дымилось,
И словно рвалось на закат,
Балтийское солнце садилось
За синий и дальний Кронштадт.

И так широко освещало
Тревожное море в дыму,
Как будто еще обещало
Какое-то счастье ему.

Это из книжечки «Розы».[1] А вот более позднее, из «Портрета без сходства» (1950):

В пышном доме графа Зубова
О блаженстве, об Италии
Тенор пел. С румяных губ его
Звуки, тая, улетали и...

За окном шумя полозьями,
Пешеходами, трамваями,
Гаснул, как в туманном озере,
Петербург незабываемый.

Абажур зажегся матово
В голубой овальной комнате.
Нежно гладя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».[2]

Что сказать о поэзии, музыке? Просто они существуют. Мера силы их — владение нами. Если я иду по Парижу и меня преследуют (волнуя, пронзая) стихи, и я их всегда помню, значит это поэзия. И настоящая.

Как будто еще обещая
Какое-то счастье ему.

Георгий Иванов, последний петербуржец нашей поэзии, будет читать свои стихи в субботу, 5 декабря, на 26, Ав. Ныо-Йорк. Это его вечер, а начало в 9 часов.

ВЕЧЕР ВЛАДИМИРА СМОЛЕНСКОГО

В пятницу 9 июля в зале РМОЗ (26, ав. Нью-Йорк), В. А. Смоленский, один из лучших современных поэтов (тонкий художник стиха, слова) будет читать свои произведения. Кроме него выступает Анна Марли,[1] интернациональная певица, пользующаяся большим успехом в Англии, Южной Америке и других странах.

Вечер, конечно, будет очень изящен и артистичен. Со всей искренностью можно пожелать ему полной удачи.

БОЛЕЗНЬ СМОЛЕНСКОГО

Тяжело заболел известный, едва ли не лучший поэт эмиграции Владимир Алексеевич Смоленский. После операции ему предстоит двухмесячное клиническое лечение. Хлеб свой насущный зарабатывал он нелегким, далеким от лирической поэзии трудом,[1] но теперь — неизвестно насколько времени — лишен возможности трудиться. Лечение требует средств, жизнь тоже. Но средств-то именно нет.

Как хорошо было бы, если бы эмиграция отозвалась на беду замечательного поэта, поддержала его в ту горькую минуту, которая почти неизбежна для каждого и смягчить ее можно только дружественным, действенным, братским сочувствием.

Кто захочет помочь, посылайте в «Русскую Мысль», кто сколько может.

НАШ ВЕЧЕР <1961>

Было время, Союз писателей и журналистов устраивал грандиозные балы — в «Лютеции», других отелях с огромной программой, мощным аппаратом пропаганды и распространения билетов. Делалось это в пользу нуждающихся литераторов (профессия наша не из прибыльных, а уж в эмиграции...)

Те времена прошли. Балов теперь нельзя давать. Но литературно-музыкальный вечер — на это сил еще хватит.

17 декабря, в воскресенье, в 9 ч. вечера и состоится в Русской консерватории (26, ав. Нью-Йорк) такой вечер — памяти Лермонтова (он скончался 120 лет тому назад).

В первом отделении доклад проф. университета в Осло Бориса Клейбера[1] «Два страшных года в жизни Лермонтова», который любезно согласился прочесть по-русски А. В. Щитков.[2] Второе отделение — романсы и арии на слова Лермонтова: Л. Е. Березовская, З. К. Дольницкий, В. А. Михеева.[3] У рояля А. И. Лабинский.[4]

Надеемся, что эмиграция, хоть сильно поредевшая, нас подержит, т. е. наших слабых и усталых, больных, надорванных — под знаком Лермонтова, т. е. великой русской литературы.

Рады будем, если призыв наш будет слышан.

ПУШКИН

6-го мая Союз писателей, редакция «Мостов» и Объединение Александровского лицея устраивают в зале «Шопен-Плейель» литературно-музыкальный вечер — 125-я годовщина смерти Пушкина.

Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум.

Вот загробный голос его. Это из стихотворения «Поэту». Тургенев сказал, что каждый пишущий должен «зарубить себе на носу» это стихотворение.[1] Собственно, не только пишущий. Это для всех. Это призыв к свободе и самостоятельности, достоинству человека.

В этом — дух Пушкина. И его завет, среди других заветов.

Пушкин — некое наше знамя. Сейчас, во времена такого заушения вольности на Родине нашей, равнодушия к Пушкину ОСОБЕННО не должно быть. Внимание, любовь ОСОБЕННО должны проявиться. Его чествование — наш праздник, наш поклон низкий всему великому XIX веку русской литературы.

6-го числа зал должен быть полон.

БОЛЕЗНЬ Г. С. ЕВАНГУЛОВА

Известный писатель Георгий Евангулов, серьезно больной, долгое время находился в клинике, откуда сейчас его перевезли домой, в его квартиру в Гамбурге, где он давно проживает.

Средств на лечение у него нет, он не молод, работать по болезненному состоянию не может, почему положение его чрезвычайно трудное.

Союз русских писателей и журналистов в Париже обращается поэтому к эмигрантской общественности с просьбой поддержать больного писателя.

Денежные переводы или чеки просим направлять по адресу: G. Ewangulow, 2 Hamburg 19, Bellealliancestrasse 25. Allemagne.

Председатель Союза

Борис Зайцев

ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛДАНОВА

Десять лет тому назад, 25 февраля 1957 года скончался в Ницце Марк Александрович Алданов, благороднейший русский писатель, украшение эмиграции.

Нынче мы, современники его и сотоварищи по литературе, устраиваем под флагом Союза писателей и журналистов вечер, ему посвященный, в большом зале Русской консерватории. Вспомним о нем, постараемся дать его облик. Сделают это Г. В. Адамович, Г. И. Газданов, А. Л. Мищенко[1] и пишущий эти строки. Прекрасная наша артистка В. М. Греч[2] прочтет небольшие отрывки из его произведений.

Было бы очень хорошо, если б эмиграция откликнулась, мы приглашаем ее на АЛДАНОВА и надеемся, нас услышат.

Итак, сегодня вечером, в 20 ч. 30 м., на 26, Ав<еню> Нью-Йорк.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ РЕМИЗОВА

В пятницу 15 марта Союз русских писателей и журналистов устраивает вечер памяти Ремизова — десятилетие его кончины. Алексей Михайлович был своеобразнейший и выдающийся писатель начала этого века, так называемого серебряного века литературы русской. Глубокая связь с народом, стихийная, соединялась у него с утонченностью литературной культуры Запада. Соседствовали в нем удивительным образом протопоп Аввакум и тяготение к французскому авангардному искусству.

Вечер будет состоять из чтений о нем и отрывков его произведений. Участвуют (в алфавитном порядке): Н. Е. Андреев, А. А. Горская, Н. В. Кодрянская, проф. П. Паскаль, С. Ю. Прегель, Н. В. Резникова.

Русская Консерватория (26, авеню де Нью-Йорк), 20 час. 30 мин.

МОНЖЕРОНСКИЙ БАЗАР <1967>

2-е декабря – начало двухдневного боя, который ежегодно дает С. М. Зёрнова[1] – кому, собственно? Бюджету Дома Монжеронского, пристанища русских обездоленных детей. Сама она его устроила, сама ведет – некий ковчег по житейскому морю.[2] Он основателен, все же нужны средства.

Сколько труда бескорыстного, не только устроительницы, но и сонма трудников сюда вложено! Стоит посмотреть храм ихний (по-моему, из лучших церквей эмиграции во Франции по благородству, строгости стиля и иконописи). Все – дело энтузиазма. Сотня русских детей пригревается в Общежитии, маленькие учатся в коммунальной школе, старшие в Лицее.

Судьба этого места связана с давней королевой французскою, Анной Ярославной, дочерью нашего Ярослава Мудрого, выданной замуж за короля Генриха I.[3] Франция и Россия как бы перекликаются здесь на почве любви и сострадания.

Как и в прошлые годы, русский Париж, особенно дамский, кипит, старается, волнуется, как бы получше устроить стенды свои в огромном помещении на рю де Берри. Беготня, раздобывание товаров, даже состязание между собой – чей стенд лучше выйдет? Бельевой или книжный? Где побольше продадут, где больше выручат? Но все на пользу, все на пользу, все на укрепление монжеронских твердынь. «Зёрновский базар» всегда хорошую славу имел, многих притягивал и в эмиграции, и чужестранцев. Уверен, что и ныне русские за себя постоят и неукоснительно двинутся в субботу 2-го и в воскресенье 3-го декабря на 29, rue de Berri, близ Елисейских Полей.

ВЕЧЕР СЕРГИЕВА ПОДВОРЬЯ

Сорок лет существует уже в Париже Зеленая Горка, увенчанная храмом Преп. Сергия Радонежского – Сергиево Подворье и Богословский институт при нем. Дело огромное, европейского масштаба. Не только русскую эмиграцию, но и всю Европу, даже Ближний православный Восток обслуживает Академия. Сколько вышло отсюда епископов, архимандритов, священников! И это в то время, когда на родине гонения на Церковь все продолжаются.

Материально Богословскому институту нелегко. Особенно сейчас, когда идет большой ремонт обветшавших зданий. Помощь инослав-

ных существенна. Все же, все же... очень трудно. И православные Парижа, русские эмигранты, никак не должны забывать замечательного детища митрополита Евлогия и старшего поколения изгнаннического.

В пятницу 29 марта, в 9 ч. вечера, в Американском Соборе[1] — 23, av. George V, Paris (8°), Сергиево Подворье устраивает духовный концерт в пользу Богословского института. Программа такая: хор русской молодежи под управлением Е. И. Евеца, Mlle Ruth Bezinian, г-жа Л. Лебедева.[2] Хор Сергиева подворья под руководством Н. М. Осоргина.[3]

Билеты можно получать:

1) в канцелярии Американского Собора, от 14 до 17 час.;

2) в Греческой церкви — 7, rue Georges-Bizet, Paris (16 e);

3) от 14 до 18 час. в канцелярии РСХД — 91, rue Olivier-de-Serres, Paris (15 e);

4) в книжном магазине «Les Editeurs Réunis» 11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, Paris (5e);

5) в канцелярии Богословского института (тел. в утр. часы 208-12-93).

Цена билетов — 7, 10 и 15 фр. (студентам скидка).

Надо надеяться, что православные откликнутся. Придут, поддержат. Да. да, поддержат.

ДЕТЯМ МОНЖЕРОНА

Их собрано много под Парижем со всех концов Франции, — бездомных что-то около сотни. Живут в старом, обновленном доме вроде замка, близ древней мельницы. Зелень, остатки старины. Рядом с домом церковь, вся построена и внутри расписана (превосходно) русскими руками для русских детей — безвозмездно.

Место странное, даже и удивительное. На останках раннего средневековья, связанных с памятью Анны Ярославны, киевской княжны, ставшей королевой Франции, выросло через девять веков некое русское гнездо бесприютных – детище Софьи Михайловны Зёрновой, под таинственным покровом Анны Ярославны.

В Золотой Книге эмиграции будет, конечно, отмечено героическое это предприятие, начатое без гроша, и вот уже годы существующее: силою духа и железной воли устроительницы, сочувствием и русских, и иностранцев.

Чтобы жить, Монжерону нужны средства. И большие. Разными путями они идут. Один из них, немаловажный — ежегодный благотворительный базар, ныне 30 ноября и 1 декабря, в воскресенье, 29, rue de Berri.

Как и в прошлом году и раньше, в субботу 30-го откроется огромная галерея со стендами, там всякое добро, вещи домашнего обихода, белье, мелочи разные, книги, игрушки, — за стендами дамы — «цвет эмигрантской интеллигенции», в глубине бар (для нашего брата), ресторан. Свет, зеркала, толпа, главнокомандующий, начальник штаба, генералы — все представительницы пола слабого, но здесь разворачиваются по-военному, это поле сражения, от исхода боя зависит многое в жизни Монжерона, юнцов его бесприютных.

Верю, надеюсь, что, как и в прошлом году, как войдешь с улицы в освещенные залы — сразу попадешь в толпу, снующую, покупающую, не только русскую, но и французскую — базар шире эмиграции.

Дай Бог побольше! Интеллигенты, покупайте книжки! Дамы — к стендам хозяйственным! Мужчины — к бару, в ресторан! Vive Montgeron! Ура!

МОНЖЕРОНСКИЙ БАЗАР <1969>

7-го декабря — «большой» эмигрантский день. Не первый раз открываются двери огромной галереи rue de Berri, № 29. Ряд стендов, уходящих вдаль, в блеске, сиянии света — русские дамы торгуют всяким добром. А деньги — в пользу Монжеронского приюта под Парижем, учреждения замечательного, детища Софьи Михайловны Зёрновой.

Несколько лет назад рассказала она мне, как начиналось это дело — мирное украшение эмиграции — без гроша, на одном энтузиазме, вере (и любви!).

В двадцатых годах митрополит Евлогий для Сергиева Подворья «рискнул» задатком, так и Софья Михайловна, в подъеме духа поставила на карту многое — в последнюю минуту выиграла. Помощь пришла, помогла купить участок. Да какой! Восходит все к XI веку. Тут была мельница, пруд, какие-то здания, вернее развалины, относящиеся к владениям Анны Ярославны, дочери нашего Ярослава Мудрого. Выдана она была за Генриха I, не умевшего имя свое писать: ставил крест.

Все это было и быльем поросло. Прошло восемь веков, и вот русское перекликнулось с русским. Где при Анне Ярославне мололи пшеницу, теперь Дом для русских детей, созданный русскими изгнанниками во главе с С. М. Зёрновой.

Именно созданный, из ничего. Теперь новые здания здесь, где живут, обучаются дети русских семей недостаточных или разбитых. А то и просто сироты.

Все построено русскими, бесплатно, даже церковь есть[1] — строение отдельное — тоже создание безымянных каменщиков наших, трудившихся не за динарии. Из малых храмов парижских — лучший, по-моему. Внутри роспись иконописца Круга, недавно скончавшегося, тоже хорошо. Кроме главы, Софьи Михайловны, — ныне, к сожалению, длительно хворающей, — верный сонм православных русских дам заведует всем учреждением. Устраивает ежегодно и базар этот, обычно имеющий большой успех и существенно подкрепляющий начинание.

Чего-чего не выставлено в стендах галереи, и разложено, развешано, поставлено. Дамские украшения, белье столовое и дамское, сласти, игрушки и одежда, антиквариат, посуда, разумеется и книги. В глубине буфеты. Завтраки, обеды, чай... За прилавками дамы молодые и приветливые, в главной галерее непрерывное хождение, гул разговоров — русские, французы, немцы и американцы (корешки подземные у Монжерона — в разных странах, все благодаря Софье Михайловне). Дай ей Бог теперь здравия.

Дай Бог, чтоб и в этом году все так весело бурлило и кипело в галерее Шелль, чтобы франки и доллары для детей бездомных шли безостановочно. Наше это, изгнанническое дело, но и общечеловеческое. Ибо милосердие и поддержка слабых — двухтысячелетний завет для всего мира.

АНКЕТЫ. ИНТЕРВЬЮ. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЮБИЛЕЯХ

О СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И О СЕБЕ <1926>

Трудно сейчас всем: нам на чужбине без России, писателям в России без «Кастальского ключа».[1] Меньше всего время теперь для поэта. Вся жизнь очень дружно на него двинулась. В России бурнее чем здесь, грубее. Но хотел бы я тоже посмотреть и американского поэта...

Вероятно самый урожай артистов сейчас меньше. И понятно. Время боевое, борьба за душу человеческую, не больше ли это искусства? Искусство — на привольи. Ему нужен золотой век.

Мы живем — в трагический. Святые должны появляться, а не «усладители», «Орфеи», «пленители». И возможно, они в эти дни не родятся — в России более чем здесь, но и здесь тоже.

Да и вообще разговор о двух Россиях неправилен. В самом последнем, главном, России одна — подземная, на ее плечах бремя его и там, и тут нести, кто вынесет, тому благо, и дай Бог другим посветить. Так что и кажется: больше всего надо и нам, и московским сохранить здоровье духа, прочность, бодрость, веру — а писать будем, что Бог пошлет, только бы не спуститься, а тогда приложится. Легко же и «удобно» никому не будет, ни здесь, ни там (кроме рвачей литературных — этим и здесь было вкусно, и там весело).

Книг моих тут вышло много — переиздано все прежнее, из новых «Италия», «Улица св. Николая», «Рафаэль» — но это вывезено из России.

За три года здесь: роман «Золотой узор» (отдельно выходит в «Пламени»), кн. «Преп. Сергий Радонежский» — в YMCA Press и рассказы по журналам и газетам.

1926 ГОД

В Италии введут смертную казнь.[1] В «молодой» Турции во имя прогресса отрубят еще несколько голов за ношение фесок.[2] Россия заключит союз с готтентотами,[3] поставит к стенке очередную порцию граждан и распродаст что-нибудь плохо лежащее. В более гуманных государствах биржевики хорошо заработают на франке, и какие-нибудь новые министры будут разглагольствовать о «священном единении», «доверии» и прочем.

Порядочные люди, как всегда, будут в тени. Герои так же будут незаметно биться. Одинокие их жизни так же, как всегда, будут величайшим «заступлением» за наше бытие и величайшим оправданием печальных дел земли.

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ «ВОЗРОЖДЕНИЯ» <1926>

1. Какие произведения закончены Вами в истекшем 1925 году?

— Роман «Золотой узор» (1922—1925 гг.), новелла «Алексей Божий человек», статья «Побежденный» о Блоке, очерки Прованса: «Драгиньян»,[1] «Аббатство Тороне», «Тулон», повесть «Атлантида».

2. Какие Ваши произведения остались незаконченными на 1926 год и над чем предполагаете работать в предстоящем году?

— Книга лирико-философских и публицистических заметок «Странник».

3. Какие ваши произведения были напечатаны в русской зарубежной печати в 1925 году и где?

— «Золотой узор» («Современные Записки»), «Побежденный», «Алексей Божий человек» (там же), «Драгиньян», «Аббатство Тороне», «Странник» в газете «Дни». «Тулон» — в журнале «Перезвоны». «Преподобный Серий Радонежский» (книга), в издании YMCA Пресс, Париж. «Богородица умиление сердец», легенда — в газете «Руль».

4. Какие из ваших произведений были переведены на иностранные языки и на какие?

— Новелла «Рафаэль» (книга) по-немецки («Newa Verlag).[2] Книга «Золотой узор» (выходит).[3] «Преп. Сергий Радонежский (Mathias Grünewald Verlag, выходит), рассказы «Осенний свет», «Гость», «Молодые», «Жемчуг», «Богиня» в немецких журналах и газетах. На английский язык — «Преп. Сергий Радонежский» (переводится). На чешский язык — два тома избранных рассказов, отдельные рассказы («Аграфе-

на» и др.). На итальянский — рассказы «Смерть», «Елисейские поля», «Сестра», лекция «О современной русской литературе» (читано на итальянском языке в Риме в 1923 г. в Институте Восточной Европы). По-французски — рассказ «Миф» и отрывок из «Улицы св. Николая», последний — в «La Revue Française». По-японски — ряд рассказов и роман «Дальний край» (переводится).[4]

5. Какие произведения русской зарубежной беллетристики, появившиеся в 1925 году, по Вашему мнению, являются наиболее ценными?

— «Митина любовь» и «Цикады» Бунина, некоторые мелкие рассказы Тэффи (напр., «Маркита») и Шмелева. «Из писем прапорщика-артиллериста» Ф. Степуна (переиздано, книга написана гораздо раньше), «Чертов мост» Алданова.

КАК Я ПРОВЕДУ ЛЕТО <1926>

Все мои тяготения на юге. Вероятнее всего — в Провансе, а может быть и Корсика, куда давно прицеливаюсь...

ОТВЕТ НА АНКЕТУ «СЕГОДНЯ» <1928>

Летом жил я в Грассе, гостил там у Бунина, жарился на провансальском солнце, купался в Канне.

Сейчас нахожусь в Бретани с семьей, на курорте Порнише — у океана. Менее жарюсь и менее купаюсь. По роду своих занятий и там сочинял, и тут продолжаю сочинять — нечто по названию «Анна», повесть, дело довольно длинное. Начало уже объявлено в ближайшей книжке «Современных записок».[1]

В сентябре еду в Сербию на съезд писателей (русских).[2]

Вот, кажется, и все. Третьего дня Наташа сняла меня с Верой на пляже. Если увеличить, то, может быть, и подойдет. Прилагаю...[3]

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЛЕОНИДЕ АНДРЕЕВЕ

Для меня Андреев не просто талант русский, тогда-то родившийся и тогда-то умерший, а, выражаясь его же словами, *милый призрак*, первый полюбленный писатель, первый литературный друг, литератур-

ный старший брат, с ласковостью и вниманием опекавший первые шаги. Это не забывается. И да будут эти строки, сколь бы бедны они ни были, дальним приветом чужестранной могиле твоей, дорогой Леонид. В бессмертие же духа твоего верю.

КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

Анкета «Иллюстрированной России» <1931>

Завтра уезжаю недели на три в Ромени, — это французская деревня на Марне.

«Жизнь Тургенева» окончена, в ближайшей книге «Современных записок» появится заключительная ее часть.[1] Осенью все выйдет книгою. Только что вышла на французском языке «Анна».[2] Надеюсь, осенью начать роман — действие его среди русских в Париже и Франции.[3]

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЛЕНИНЕ?

Охотно дал бы «Числам» ответ на любую тему, кроме предложенной. Ленин настолько мне мерзок, что ни думать о нем, ни о нем писать — никак не могу.

КАК ВЫ СТАЛИ ПИСАТЕЛЕМ?

Анкета «Иллюстрированной России» <1934>

Та, «первая» моя газета называлась «Курьер». Помещалась в Московском переулке, близ Тверской, в большом нарядном доме. Там же и типография. Редактором был маленький хромой Фейгин, Яков Александрович.[1] Литературу читал Леонид Андреев. Это были мои заступники. А марксисты Шулятиков, Фриче — «враги человека».[2]

Никогда не забуду, как при мне Фейгин прочел первую мою вещицу, за своим редакционным столом, посмотрел на меня сквозь пенсне, улыбнулся. сказал: «Ваша рукопись пойдет».

Был это очерк, строк на двести.[3] Когда он появился, и я увидел в печати свою подпись, то представилось, что земная ось несколько отклонилась, и вообще в мироздании кое что стало по другому.

Целый год, однако, не решался идти за гонораром — хотя потом напечатали еще два-три рассказика.[4] Казалось, скажут в конторе: «Го-

норар? Да ведь вы еще студент, это просто *так, из любезности напечатано!*». Наконец, Леонид Андреев обнадежил. Все-таки я шел со страхом.

Контора помещалась отдельно, в Петровских линиях. За решеткой барышня что-то писала. Вопросу моему не удивилась. Стала искать в конторских книгах. «За первый рассказ по три копейки строчка, а за остальные по пяти. Распишитесь. Сорок пять рублей». И выдала мне гонорар чистым золотом. Империалами, с профилем Государя.

По тем временам это считалась маленькая плата, для начинающих. Через несколько лет я получал во много раз больше. Но... и пять золотых копеек — это пятьдесят сантимов!

Торжественно позвякивало у меня в кармане злато, когда извозчик вез домой. Деньги мне тогда совсем не были нужны. Но они выражали *мою* кому-то нужность — и веселили.

ПИСАТЕЛИ О ЧЕХОВЕ

В ранней молодости с Чеховым встречался, очень мало, но сохранил самые прекрасные воспоминания... Чехов навсегда остался для меня совершенным обликом русского писателя — и писателя вообще: скромность, простота, изящество, глубина поэзии.

Под литературным влиянием его я находился, особенно в юности, и чеховский воздух до сих пор люблю. Считаю его замечательнейшим художником и выразителем целой эпохи. Быт и люди Чехова кажутся теперь как бы с иной планеты, что не мешает им так же быть вечно живыми, как и ушедшие люди «Войны и мира».

Н. ГОРОДЕЦКАЯ.
В ГОСТЯХ У Б. К. ЗАЙЦЕВА

Борис Константинович Зайцев — человек, по собственному определению, «оседлый». Привыкает к дому, к вещам. Из окна его виден чужой сад, два дерева.[1] Я уверена, весною он скажет: «Мои каштаны зацвели». Сидит он в «своем» кресле, против окна, против письменного стола, где из темной рамки ему улыбается два милых лица. На столе — книги, материалы и кипы листов, исписанных крупным, ясным почерком.

Говор у Зайцева — как его почерк: спокойный, внятный и правильный. На вопрос ответит не быстро: призадумается, а потом произнесет

ровную, непрерывистую фразу. Хорошая, плавная речь, иногда с насмешечкой. Вообще же, «ехидства» в Б. К. нету, людей и вещи он воспринимает серьезно, чаше всего, пожалуй, со стороны сердечной их жизни. Это и дает толчок нашему разговору.

Я спрашиваю: как представляется Б. К. столь распространившийся жанр — романа-биографии, и как, по его мнению, строится такой роман, как берется жизнь человека, какие элементы в ней — основные.

— У меня никаких общих идей на этот счет нет (Б. К. выговаривает «идэй»). Могу судить только по тому, как я сам работаю, каким путем шла мысль. Впервые я задумался об этом жанре, когда прочел один известный роман. Должен сказать, что чрезвычайно мне не понравилось, чрезвычайно. Прямо оттолкнуло. Такая развязность в отношении к жизни человека, да еще крупного человека! К тому же автор наделил его собственной речью, да и рассмотрел одни только ссоры с отцом, да как любил, да как женился. А о стихах — между прочим — источник дохода. Но ведь поэт вне своих произведений стал сразу проще, мельче, а порою и вовсе необъясним. Тут, в сущности, и заключена трудность. Когда я принялся за Тургенева, думал, что писать будет легко, — и ошибся. Очень трудно. Воображение уводит, а фактические данные держат — так и приходится вести себя и ущемлять фантазию (он показывает двумя руками нечто вроде узкой лодки). Пожалуй, самое стеснительное — удержаться от диалога. Так и кажется, что сказали Тургенев или Виардо такие-то слова. Но этого им приписать не решаюсь...

Здесь я проявила беспокойство. Факты, положим, известны, — и то!... Но ведь в жизни чаще важны не события, а отражение их в нашем внутреннем существе. Как с этим? Как это найти? Или есть все-таки у каждого человека свои «слова-ключи», по которым можно догадаться?

Б. К. задумывается.

— Вполне узнать не просто. Но тут должна помогать интуиция, выбор сюжета, выбор биографа. Нельзя сегодня, например, писать о Чехове, а завтра про Вашингтона, или, скажем, про Адама Линкольна. Надо, чтобы тот, о ком пишешь, стал в некотором роде своим человеком. Чтобы его судьба стала почти вашей, вашим личным делом, чтобы для вас внутренне стало важно, как у него разрешится тот или иной вопрос.

— Помогает ли творчество раскрыть жизнь человека, — спрашиваю я. — Связь между ним и жизнью — большая?

— Ближайшая связь... То есть, конечно, все иначе рассказано, всегда есть элемент выдумки, но основное — правдиво. Особенно у такого художника чистого типа, как Тургенев. Интересно взаимовлияние: знать, как протекала жизнь автора, год за годом, — и потом перечесть

его сочинение. Тут многое увидишь и поймешь, откуда возникли тема, сравнения, образы.

В передней, за стеною, прошумели чьи-то крупные, быстрые и легкие шаги. Вспомнилось, что в одном из давних рассказов Зайцева — в «Мифе» — герой думает о своей молодой жене: «такая большая и такая легкая»...

— Творчество становится понятнее, если знаешь жизнь автора. Но и жизни его не постигнешь, если пренебречь творчеством. Многое вызвано тем, чего он искал, о чем мечтал в художественной области.

— Влияет ли пейзаж на человека, или мы его преображаем и окрашиваем в зависимости от собственных состояний?

— Думаю, что влияет. По крайней мере по себе скажу — я в среднерусской полосе или я же в Италии чувствовал себя совсем иным. Природа нас поглощает, характер наш изменяется... А у Тургенева, в частности, странно было: живал подолгу за границей, а переживал и нес в себе русскую природу. Впрочем, он вообще был существом пассивным, и очень поддавался влияниям. И ставка всей его жизни была женственная — искание счастья, а счастье видел в женской любви. Ну, и, конечно, был всю свою жизнь глубоко несчастлив. А влюблен был до последнего часа — вполне невинно — и во Вревскую, и потом в Савину. Не мог до старости отказаться от мечты о счастьи... Собственно, мне жизнь Тургенева так и явилась, так и писалась, как история любви. [2]

— Вы считаете, что трудно найти «своего» героя... А у вас есть такие?

— Есть... — Б. К. усмехается. — Очень странно сказать, совсем неожиданно. Представьте себе — Суворов... Что меня в нем влечет? Порыв, легкость действия — очень русский порыв, русский тип, стремительный, И даже мне представлялось — раскрыть Россию в трех лицах: Преподобный Сергий Радонежский,[3] Тургенев и Суворов. Святой, художник и воин. Однако, эта схема трех Россий — одной России — пришла после. И Сергия, и Тургенева я писал раньше такого сопоставления. Не знаю, займусь ли Суворовым, — во всяком случае не сейчас, не скоро. Меня уже тянет к беллетристике, к роману.

— Какому, о ком?

— Уже из парижской жизни, но герои будут русские, и даже кое-кто из прежних моих, взятых в нынешние времена.[4] Ну, и хочется обновления формы — мы все изменились, не та психология, не в том ритме живем, не тот пейзаж — все это хочется и выразить несколько иначе.

После небольшого раздумья Б. К. возвращается к биографии.

— Трудно теоретически рассматривать процесс письма, но за жизнеописание святого должно приниматься иначе, чем за жизнь писателя. Есть некая условность в письме, вроде иконописи... А в другом слу-

чае технически — полная свобода... Но обманчивая, потому что ваш материал вам повелевает. И здесь видно, насколько жизнь бывает непредвиденна и вопреки всякой логике. Напрашивается иное решение и совсем иной ответ, чем тот, который выставлен жизнью...

Он слегка смеется.

— Да, из другой области: до чего странно — ведь после смерти матери Тургенев стал обладателем Спасского, и было у него около пяти тысяч крепостных душ...

— Так вы задумываетесь, был ли он при этом европейцем?

Б. К. машет рукой.

— Какое там! Просто ценил он западную культуру и цивилизацию, многое в России его раздражало — но по существу Европа все-таки была ему чужда, и оставался он русским барином... Какие мы европейцы!

Это «мы», вырвавшееся невольно, — правдиво. По стенам — полки с русскими книгами, в изголовье — икона, из соседней комнаты кличут:

— Идите, у меня чай с ватрушками.

И такая русская белокурая головка заглядывает в дверь.

— Папа, ты свободен?

В. УНКОВСКИЙ. У БОРИСА ЗАЙЦЕВА. НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ ТЕПЕРЬ НАШ ТАЛАНТЛИВЫЙ ПИСАТЕЛЬ?

Борис Константинович Зайцев переселился из Парижа в Булонь, в уютную небольшую квартирку на тихой провинциальной улице. В Париже он семь лет прожил в большом, старом, хмуром, недружелюбном доме.[1]

Теперь вся семья Зайцевых, — Борис Константинович, его жена Вера Алексеевна и дочь, 18-летняя Наташа,[2] — довольны:

— Квартира светлая, — душа радуется!.. В прежней солнца не видели...

Я зашел к Зайцевым накануне большого семейного праздника: я был у них в среду, а в ближайшее воскресенье должна была состояться Наташина свадьба.

Наташу я знал уже давно, — семь лет. Когда впервые ее увидал, она была худенькой, бледненькой девочкой, с коротенькой косичкой и в коротеньком платьице. Бегала с книжками подмышкой в гимназию.

Время летит незаметно... Ребенок стал женщиной. Родители в ней души не чают, — единственное чадо!

В ожидании свадьбы в семье приподнятое настроение. Наташа задумчива и занята рукодельем.

— Себе приданное шьет, — шутит отец...

После чаю мы с Борисом Константиновичем уходим в его кабинет.

Он мне показывает первую тетрадь нового романа, который начал писать совсем недавно. Пока готовы две главы. Роман — из эмигрантского быта, называется «Дом в Пасси».

— Роман будет *человеколюбивый*, — рассказывает Борис Константинович, — потому что в нем повествуется о многих горестях и трудностях... Русские люди живут в доме. Несколько семей, — разные судьбы, разные события. Русское гнездо... Герой — из среды средней интеллигенции. Никакой тезы, никакой политики и тенденции. Вы спрашиваете об идее?.. Никакой идеи не провожу. Пишу о любви, страданиях, радостях, борьбе за жизнь.

Как я пишу?.. Вообще, регулярно два часа в день, по утрам. Но беллетристики почти три года не писал, — после повести «Анна»... Почти. Были иногда небольшие рассказики... Два года я работал над книгой «Жизнь Тургенева». Неоднократно в это время являлось тяготение к беллетристике, но не было времени, не мог сосредоточиться. Тосковал по писанию беллетристики.

Начал роман, и на душе стало удовлетворенно. Писание романа, это — *не что иное, как рассматривание чего-то и себя самого, сосредоточиванье.* Ставлю себе известное задание и рассматриваю через какой-то не то телескоп, не то микроскоп, — что из него получится. Я заранее никогда плана не имею. Ну, хотя у каждого свой манер... Чехов например, садился писать, когда весь рассказ был уже у него в голове... У меня постоянно случаются неожиданности. Например, по началу совсем второстепенный герой вдруг становится одним из главных... Я немного пишу ежедневно и почти каждый раз перечитываю все сначала написанное. Поправляю, вношу новые комбинации. Но черновик у меня один, а когда готово, переделываю все набело...

Я перелистываю рукопись Бориса Константиновича. На каждой странице много поправок. Часто зачеркнуто несколько строк сряду, но так старательно, что нельзя ни единой буквы разобрать.

Прошу Бориса Константиновича поведать, как он написал свою замечательную, прекрасную книгу «Жизнь Тургенева».

— Материалы для книги я собирал долго. В Тургеневской библиотеке в Париже имеются комплекты многих старых журналов — за десятки лет. Я просмотрел за многие годы «Вестник Европы», «Русскую Мысль», «Русскую Старину», «Исторический Вестник»... В них печатались письма Тургенева, воспоминания о нем современников. Мне вдруг неожиданно повезло. Случайно я познакомился с седовласым

старцем, литератором Гальпериным-Каминским...[3] Он нам с вами в деды годится... Гальперин был лично хорошо знаком с Тургеневым и давно составлял архивы о Тургеневе... Он мне оказал большие услуги, познакомил с ценными письмами Полины Виардо, показал много французских журналов, где печатались письма Виардо, Тургенева, его современников, и дал ряд указаний и справок...

— Я поехал в Куртавнель, — говорит Зайцев, — это в 60-ти километрах от Парижа... Там, в имении, завязался роман между Полиной Виардо и молодым Тургеневым, тогда еще начинающим литератором... Но оказалось, что имение было разрушено во время войны. Под Парижем, в Буживале, находилось совместное имение Тургенева и Виардо, в котором он жил в последние годы. Тургенев там обитал во флигеле... Я очень хотел побывать в этом имении, приехал в Буживаль... Но оказалось, что оно теперь принадлежит каким-то французам, посещать имение посторонним воспрещено. И я только мог ходить вокруг да около и глядеть через решетку.

— Почему вам пришло в голову писать о Тургеневе?

— Он очень родствен моей натуре. Еще лет двадцать назад, гуляя как-то с женой в парке в своем имении (в Каширском уезде Тульской губернии), — я почему-то сказал: «Хорошо было бы написать о Тургеневе!» Почему?.. Нити какие-то чувствовались. Я очень люблю Тургенева, он особенно мне близок. Необъяснимо... Но, отчасти, быть может, и потому, что он — мой земляк. Я родился в Орле, и Тургенев — орловец: имение Тургеневых находилось во Мценском уезде Орловской губернии.

— Как началась ваша, Борис Константинович, литературная деятельность?

— Первый мой рассказ «В дороге» был напечатан в 1901 году в московской газете «Курьер». Литературным отделом тогда там заведовал Леонид Андреев. Я был большим его поклонником, хотя Андреев в те времена еще не вошел в славу, — он начинал. Я отправился к нему не в редакцию, а на квартиру, Андреев жил очень бедно, в какой-то хибарке. Помню, в прихожей его матушка стирала белье...

Леонид Николаевич отнесся ко мне очень внимательно, мой рассказ был напечатан,

О, какое это было памятное событие!.. Впоследствии печатаешься равнодушно, но появление первого рассказа в печати и потрясло, и взволновало... Несколько лет я печатался только в «Курьере»; там также начинал Ремизов...

Андреева я обожал, прямо боготворил! Мы с ним стали впоследствии большими друзьями и оставались ими до самой его смерти. Этот человек очень много помог мне в жизни... Интересная личность — Ле-

онид Андреев! Ярко талантливый, оригинальный, самобытный. Крупный талант, хотя и не ровный.

Андреев работал как-то порывами. Писал чаще всего по ночам, — *запоями*. Творчество давалось ему легко. Но у него был большой недостаток: он не любил отделывать своих произведений. Напишет и — спешит отдавать в печать или в театр...



Через три дня, в мартовское воскресенье, состоялось бракосочетание Н. Б. Зайцевой и А. В. Соллогуба.[4]

Храм был переполнен приглашенными, среди которых было много представителей литературного мира.

Невеста в белом подвенечном платье казалась совсем девочкой, — юной, милой, прелестной.

По окончании венчания священник о. Спасский, поздравляя новобрачных, обратился особо к дочери Бориса Зайцева с трогательными словами:

— Наташа, ты была моей ученицей с первого класса гимназии, я очень люблю тебя и потому сегодня я за тебя радуюсь так, как если бы ты была моей дочерью. Я очень люблю твою хорошую христианскую семью. Твой отец, Борис Константинович, — крупный славный русский писатель; он пишет чудесно, возвышенно, одухотворенно и глубоко-нравственно! Твоя мать, Вера Алексеевна, — прекрасная русская женщина редких душевных качеств. Я знаю, что вы, молодые, сильно любите друг друга... Желаю тебе и твоему мужу счастья. Сохраните вашу любовь на вею жизнь...

Наташа стала Натальей Борисовной.

В. УНКОВСКИЙ. У БОРИСА ЗАЙЦЕВА

На днях я был у Бориса Зайцева. Беседа зашла о его чудесной, прекрасной книге «Жизнь Тургенева».

— Как Вы писали ее, Борис Константинович? — спросил я.

— Несколько лет я изучал материалы о Тургеневе, пользуясь архивом Тургеневской библиотеки в Париже. Там я просмотрел старые журналы за десятки лет. Особенно много сведений почерпнул из журнала «Вестник Европы». Немало мне помог старый литератор, который лично знал Тургенева,[1] имел много документов о Тургеневе, он меня познакомил с ценнейшими письмами Полины Виардо. Я читал во французских журнальных воспоминаниях. Я пользовался докумен-

тальными сведениями, опубликованными в советской печати. Там издано несколько Тургеневских сборников. Одним словом, пришлось много поработать. А когда я достаточно изучил все, относящееся к Тургеневу, — начал свой труд. Книгу я писал два года с большой любовью к Тургеневу и неослабевающим рвением.

— Но ваша книга не история Тургенева, а художественное произведение, — сказал я. — Так я считаю.

— Конечно, в моей книге есть вымысел, но он в духе историче<ском>*. <Нельзя> же грозу, например, описывать исторически, или помещичий праздник в старом парке, или встречу Тургенева с проезжающей мимо его имения артисткой Савиной.

Я всецело был занят два года книгой о Тургеневе и не писал беллетристики, и только недавно, после значительных перерывов, принялся за нее опять. Теперь я пишу большой роман из эмигрантской жизни «Дом в Пасси». Действие, как явствует из заглавия, происходит в русском Париже. Пока готово несколько глав. Мой роман бытовой, я изображаю ряд эмигрантских типов, говорю о горестях и радостях эмигрантского жития-бытия. О любви, о счастьи, о печалях и страданиях. Роман мой повествовательный, вне политики и каких бы то ни было тенденций.

В заключение наша речь зашла о текущем моменте:

— В последние дни я с исключительным вниманием слежу за событиями на Дальнем Востоке.[2] Лихорадочно читаю каждое газетное сообщение. Сегодня я несколько часов стоял у карты. Меня крайне поразила фраза в докладе генерала Деникина,[3] прочитанного им публично, что Советы уже эвакуировали Приамурье и Сибирь до Байкальского озера. Если это так, то назревают крупные события, и конечно они меня очень волнуют, как русского человека.

РЕЧЬ В ДЕНЬ 25-ЛЕТИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Среди шумной и восторженной овации Б. К. Зайцев встает и в взволнованной речи благодарит всех, почтивших его в «день его скромного праздника». За последние дни он особенно чувствует «ток любви и сочувствия»: в нем нет преклонения, которое развращает; в нем — любовь, волнующая и наполняющая сердце глубокой радостью и новыми силами.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Далее пропуск в тексте.

Б. К. Зайцев просит «на минуту отвлечь этот ток любви» от него — «от песчинки» — и направить на родину, в Россию. «Пусть на одну лишь минуту все умолкнут и направят свою мысль, свою любовь на Россию — кто как может— направить ток нашей любви, нашу душевную радиотелеграмму в Россию».

Взволнованный зал замирает.

Сосредоточенные, отлетевшие от праздника, текут секунды...

Б. К. Зайцев подымает бокал:

— За Россию!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ТОРЖЕСТВЕ ПО СЛУЧАЮ 85-ЛЕТИЯ

Господа. Я скажу просто только несколько слов искренней и глубокой признательности как товарищам моим по ремеслу — членам правления нашего союза, которые все это организовали, так и тем ораторам, которые выступили тут в таком благожелательном ко мне духе, так и всем тем, кто почтил своим присутствием это собрание, которое названо торжественным, ну, просто собрание как собрание — нашлись добрые люди, почтили то, что вот мне восемьдесят пять лет исполнилось. Вот я и кланяюсь им всем от души...

БЛАГОДАРНОСТЬ <1957>

Приношу искреннюю благодарность всем, выразившим мне и жене моей в эти дни сочувствие и добрые пожелания — к сожалению, не могу ответить на каждое полученное мною письмо в отдельности.

БЛАГОДАРНОСТЬ <1963>

Не имея возможности ответить на все Рождественские и Новогодние поздравления, приношу искреннюю признательность, написавшим мне, приветствую их в свою очередь от себя и жены моей, желаю всего доброго.

КОММЕНТАРИИ

Все публикуемые тексты сверены с первоисточниками *de visu*. Орфография приведена в соответствие с современной нормой, в частности, написания отдельных слов (станд – стенд, шоффер – шофер), употребление строчных и прописных букв в составных наименованиях (Художественный театр, Московский университет), написание ряда географических наименований и названий церквей через дефис (Монте-Карло, Сан-Стефано, Сен-Мишель, Пон-д'Аржан и т. п.). В соответствии с регламентирующими правилами в иноязычных словах после твердых согласных в середине и в конце слова пишется буква «е»: Мюссе, Лоррен, Алле, Шатле, Тороне (у Зайцева чаще используется «э»). Сложные прилагательные, обозначающие сочетания цветов или оттенки цвета, пишутся через дефис: серо-зеленоватый, темно-красный (у Зайцева слитно).

Немногие отступления от нормы продиктованы стремлением сохранить особенности авторской манеры. Это склонение Зайцевым финских топонимов (Териоки, Келломяки); написание в отдельных случаях приставки или частицы *не* через дефис: «это не-благословенная мистика, не идущая от света» (иногда смысловой оттенок подчеркивается у автора дополнительными средствами – кавычками, курсивом: «самая слабая сторона самых умных людей *не*-художников»; «глубоко "местный" митрополит создал "не-местное"» и т. п.).

Текстологическую проблему при публикации текстов Б. Зайцева представляет передача пунктуации. Как известно, писатель, сознательно выходя из правил грамматики, широко использовал расстановку запятых. В очерке «Памяти Ивана и Веры Буниных» Зайцев передает в шутливой форме возмущение Ивана Бунина: «Тридцать лет вижу у тебя каждый раз запятую перед "и"! Нет, невозможно! <...> Я не пугаюсь – слишком хорошо его знаю. <...> Сижу у себя наверху, ставлю запятые вопреки грамматике перед "и"...» [6, 244].

В импрессионистической, эмоционально насыщенной прозе Зайцева знаки препинания являются дополнительными стилистическими и интонационными средствами. Текст часто ритмизован, что требует дополнитель-

ного обозначения пауз. Эта особенность авторской манеры учтена в настоящем издании: пунктуация сохраняется в тех случаях, когда она передает паузу в речи, когда текст после запятой имеет характер уточнения или дополнения и т. п. Примеры: «Захотелось пройтись, одному»; «А вообще все молчит, вековечным молчанием»; «Но и тамошним студентам, и нашим здешним, как трудно жить!»; «Русская Ницца велика, и довольно разнообразна»; «Мы уж не дети, и о смерти тоже кое-что знаем».

Сложность представляют случаи, когда перечисляются неоднородные по отношению к определяемому слову прилагательные. Такие определения, характеризующие предмет или явление с различных сторон, в соответствии с правилами грамматики запятыми отделять не следует, например: «крупные красные душистые цветы». Однако в нормативных источниках есть исключения, допускающие вариативность: считаются однородными (и отделяются запятыми) «определения, которые выражают схожие признаки одного предмета <...>. Схожесть признаков может проявиться на основе некоторого сближения значений, например, по линии оценочности <...>; на основе единства ощущений, передаваемых определениями (осязания, вкуса и т. д.)», например: «в ясное, теплое утро, в конце мая...». Кроме того, неоднородные определения разделяются запятой «в случае, если второе из них поясняет первое, раскрывая его содержание» («осторожно ступал... по блестящей проволоке с новым, свежим чувством восторга»).[1]

Именно подобное словоупотребление весьма характерно для текстов Зайцева, где порой трудно решить однозначно, нужна ли запятая: «гляжу на бледнотонную, кроткую фреску»; «дул свежий, теплый ветер»; «понемногу глаз привыкает к синему, звездному сумраку». Ведь «единство ощущений» является важнейшей особенностью импрессионистической манеры писателя. Во всех подобных случаях запятые сохраняются.

Снимаются они лишь там, где они заведомо не нужны и не несут никакого дополнительного стилистического оттенка или являются опечатками, например: «хозяйка радовалась каждому грибу, мною найденному, по дороге»; «заколочена и входная дверь, на крыльце»; «упал, да так ловко, что сразу, потерял сознание»). В тех случаях, когда не ясно, нужно ли (и как именно) править пунктуацию, сохраняется авторская расстановка знаков препинания.

Звездочками обозначены подстрочные примечания, арабскими цифрами – комментированные позиции. Авторство примечаний Б. К. Зайцева оговаривается, все остальные подстрочные примечания принадлежат пуб-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[1] Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. М., 2009. Глава «Знаки препинания при однородных определениях». Электронный ресурс, режим доступа: http://orthographia.ru/.

ликатору. В угловых скобках заключены конъектуры публикатора. Встречающиеся в источниках опечатки исправлены без специальных оговорок. Слова, которые Зайцев выделял полужирным, курсивным начертанием или разрядкой, даются курсивом.

В комментариях вслед за заголовком текста указывается источник публикации.

В квадратных скобках приводятся ссылки на издание: *Зайцев Б. К.* Собр. соч.: В 11 т. М.: Русская книга, 1999—2001 — с указанием номера тома и страниц.

РАССКАЗЫ. ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

НА СТАНЦИИ
(с. 19)

Курьер. 1902. 12 мая, № 130. С. 3.

Републиковано: Новый журнал. СПб., 1993. № 3. С. 106—111 (публикация Ю. М. Прозорова); *Зайцев Б. К.* Ранняя проза. М., 2004. С. 25—31 (публикация Т. В. Гордиенко).

С публикаций в газете «Курьер» Б. Зайцев начал свою творческую деятельность, в номере от 15 июля 1901 г. был напечатан его первый рассказ «В дороге». В 1902—1903 годах в газете появились еще шесть рассказов, в том числе «На станции» и «Гора Угрюмая», не входившие впоследствии ни в одно из собраний сочинений Б.Зайцева.

ГОРА УГРЮМАЯ
(с. 25)

Курьер. 1902. 6 окт., № 276. С. 2.

Републиковано: Новый журнал. СПб., 1993. № 3. С. 111—115 (публикация Ю. М. Прозорова); *Зайцев Б. К.* Ранняя проза. М., 2004. С. 31—37 (публикация Т. В. Гордиенко).

СКОПЦЫ
(с. 31)

Новый путь. 1904. Июль. С. 1—13.

Републиковано: *Зайцев Б. К.* Ранняя проза. М., 2004. С. 61—69 (публикация Т. В. Гордиенко).

Журнал символистов «Новый путь» издавался в 1902—1904 гг.; в редакцию входили Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, П. П. Перцов, Д. В. Фи-

лософов, Г. И. Чулков и др. В этом журнале были напечатаны также рассказы Б. Зайцева «Тихие зори» и «Деревня».

Скопцы — влиятельная религиозная секта в Российской империи, возникла в XVIII веке. Несмотря на преследования, была весьма многочисленна. К началу XX века представители секты проживали преимущественно в Тамбовской, Курской, Орловской губерниях и в Сибири. В рассказе Б.Зайцев отдал дань теме сектантства, интерес к которой обострился в литературе начала XX века: к образам хлыстов и скопцов обращались в своем творчестве Д. Мережковский, А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, В. Розанов. Об этих увлечениях культурной элиты см.: *Эткинд А. М.* Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998.

Таинственный, навевающий ужас дом скопцов и облик его странных обитателей запечатлен также в автобиографическом романе Б. Зайцева «Тишина».

Леонид Андреев в письме М. Горькому 27—28 сентября 1904 г. отозвался о рассказе, сравнив ряд религиозных философов с персонажами зайцевской повести: «Наивный Зайчик дал в "Новый путь" "Скопцов", и наивная редакция напечатала — а эти самые "Скопцы" есть точнейшее изображение, не преднамеренное, но тем более ценное, всей этой почтенной компании. Религиозные онанисты дуют в кулак и уверяют, что от этого что-нибудь обязательно родится» (Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка. М., 1965 (Лит. наследство. Т. 72). С. 225).

В современном литературоведении рассказ является предметом анализа, в частности, в работе: *Федосеева Ю. А.* Оппозиция «любовь-сладострастие» в рассказах Б. К. Зайцева 1901—1906 годов // Актуальные проблемы современной науки. Научная сессия «XIV Невские чтения»: Мат-лы науч. конф. Санкт-Петербург, 23—28 апреля 2012 г. Санкт-Петербург, 2012. С. 143—149.

[1] Каплун — специально откормленный на мясо кастрированный петух.

ЛОСЬ <1912>
(с. 39)

Подорожник: Альманах для детей. Кн. 1. М.: А. А. Левенсон, 1912. С. 63—73.

Опубликовано также в кн.: *Зайцев Б.* Волки: рассказы. [М.]: Книгоизд-во писателей в Москве, [1916]; Изд. 2-е. [М., 1918].

УТКИ
(с. 42)

Новая жизнь. 1913. № 1, январь. С. 34—39.

Рассказ опубликован также в изд.: *Зайцев Б.* Волки: рассказы. [М.]: Книгоизд-во писателей в Москве, [1916]; Изд. 2-е. [М., 1918]. Республико-

вано: *Зайцев Б. К.* Ранняя проза. М., 2004. С. 69—74 (публикация Т. В. Гордиенко).

ПРИТЫКИНО
(с. 48)

Возрождение. 1929. 24 марта, № 1391. С. 3—4.

Данные воспоминания о помещике и актере, живших в Притыкино, близки к тексту рассказа Зайцева «Земная печаль» (1915); фамилии их несколько изменены: Медокс в указанном рассказе был назван Метаксом, Борисовский — Борисоглебским.

[1] Отец, Зайцев Константин Николаевич (1849—1919), происходил из дворян Симбирской губернии, горный инженер. В Калужской губернии служил управляющим конторы металлургических заводов промышленника С. И. Мальцева в Жиздринском уезде, проживал с семьей в селе Усты (1882—1889), затем работал директором Людиновского чугунолитейного завода. В 1895 переехал в Нижегородскую губернию, где руководил Ивлевским и Балыковским заводами. В 1898 г. назначен техническим директором металлического завода Ю. П. Гужона в Москве. В 1900 г. приобрел имение в деревне Притыкино Каширского уезда Тульской губернии (в настоящее время Ясногорский район Тульской области).

[2] Роману Михайловичу Медоксу (1795—1859) посвящена книга: *Штрайх С. Я.* Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века. М: Федерация, 1929; Изд 2-е: М., 1930.

[3] Медокс Михаил Егорович (Michael Maddox; 1747—1822) — инженер, театральный антрепренёр. Профессор математики в Оксфорде, в 1766 г. приехал в Россию, был преподавателем у наследника престола Павла Петровича. В 1870 г. в Москве построил здание театра, получившего название Большой Петровский театр (существовал до 1805 г.).

[4] Андреев-Бурлак (наст. фам. Андреев) Василий Николаевич (1843—1888) — актёр; гастролировал в различных антрепризах в Поволжье и разных городах России.

[5] Глама-Мещерская (наст. фам. Барышева) Александра Яковлевна (1856—1942) — актриса, педагог. Дебютировала в Александрийском театре, но, отклонив условия, предложенные ей дирекцией, уехала в провинцию. Играла в Киеве, Житомире, Вильно и др. городах.

[6] Цитата из рассказа Зайцева «Земная печаль» [2, 176].

БРЕМЯ. ИЗ «МОСКВЫ ПЛЕНЕННОЙ»
(с. 52)

Возрождение. 1931. 7 янв., № 2045. С. 3.

Текст представляет собой вариант рассказа «Белый свет» (впервые — альм. «Костры», 1922, № 2), подвергшийся сокращению и доработке.

Подзаголовок в других произведениях Зайцева не встречается и, по-видимому, является вариантом названия цикла воспоминаний «Москва», публиковавшихся в «Возрождении» в 1928—1937 гг. и впоследствии составивших одноименную книгу.

[1] Зайцев описывает репродукцию гравюры с несохранившейся картины французского художника Никола Пуссена (1594—1665), получившую название «Отдых на пути в Египет (со слоном)». Гравюра была выполнена Джованни Вольпато и Стефано Тофанелли около 1803 г. и имеет посвящение «Фердинанду III Австрийскому, Великому Князю Этрурскому». Под изображением — строка из книги пророка Исайи: «Butyrum et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum» — «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе» (Ис 7: 15). В пророчестве речь идет о Сыне, которого родит Дева.

ЛОСЬ <1932>
(с. 56)

Огоньки. Детский журнал. 1932. № 5. С. 3—5. То же: Сверчок. Журнал для юношества. 1938. № 8, 30 июня. С. 1—3.

В рассказе варьируются мотивы раннего произведения Зайцева с тем же названием.

КОЗА
(с. 60)

Возрождение. 1934. 25 марта, № 3217. С. 3. То же: Сегодня. 1934. 25 марта, № 84. С. 4; Новое русское слово. 1973. 21 июля, № 23048. С. 4.

Текст представляет собой центральную часть рассказа Зайцева «Утки» (1913), обрамленную новыми вступлением и заключением.

[1] Зарьять (от рьяный) — в речи охотников означает запыхаться от жары, быстрого бега (о борзой собаке).

МАТЬ
(с. 64)

Возрождение. 1934. 8 апр., № 3231. С. 3.

Мать писателя, Татьяна Васильевна Зайцева (1844—1927) — дочь потомственного дворянина Василия Петровича Рыбалкина. Родилась в Санкт-Петербурге, окончила Рижскую женскую Ломоносовскую гимназию. В 1872 г. вышла замуж за К. Н. Зайцева. В семье было трое детей — Борис, Татьяна и Надежда. Владела имением Будаки под Калугой, где часто от-

дыхали дети. После отъезда Б. Зайцева за рубеж в 1922 г. многократно пыталась добиться разрешения выехать к сыну; скончалась в Москве.

[1] Зайцев описывает переезд из Калуги в село Балыково Ардатовского уезда Нижегородской губернии, куда отец, горный инженер, был назначен в начале 1895 г. на место управляющего Илевским и Балыковским железоделательными заводами.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ВОРОНЕЖ
(с. 68)

Возрождение. 1938. 7 янв., № 4113. С. 3—4.

Свою поездку в Воронеж и встречу нового, 1915 года (автору было 33 года) Зайцев описывает в очерке «Та война (двадцать лет)» (1934): «Рождество я провел в Воронеже. Помню этот просторный, сытный, покойный город с монастырем, далеким заречным видом, с ощущением огромных пространств вокруг — пространств не подмосковных, а степных и скифских... Я жил в молчаливом и роскошном доме миллионера воронежского, городского головы. Ряд скучных, в зеркалах, комнат, все давнее, слежавшееся, застывшее. Равномерная жизнь, равномерная скука, священнодействие обедов, холод богатства, серебряный хлад снега на улицах, воронежские вороны — чувство отрезанности и совсем от войны даль. (Даже и лазаретов не помню.) Мы встречали торжественно новый год. Его первые дни принесли радостное волнение Сарыкамыша — вновь надежды, надежды, а потом...» [10, 287].

[1] Долинский Семен Григорьевич (1895—?) — артист, писатель, журналист. Участник Гражданской войны, с 1922 г. жил в Праге. Член Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, член пражского объединения «Скит поэтов». В 1927 г. уехал в Париж. Работал в газете «Возрождение», сотрудничал в журнале «Иллюстрированная Россия».

[2] Аркад — летний сорт яблоневого дерева.

[3] Медвежья полость — плотное покрывало для ног в санях или экипаже.

[4] «Был человек в земле Уц...» — начало Книги Иова (Иов 1: 1, 3). Зайцев цитирует не общераспространенный Синодальный перевод, получивший признанный статус в Русской Церкви, а перевод с еврейского масоретского текста Библии, — например, из издания: Священные Книги Ветхого Завета в переводе с еврейского текста. Для употребления евреям. Т. 2. Издание Британского и иностранного библейского общества / [Перевод В. А. Левисона, Д. А. Хвольсона]. Вена: Типография А. Гольцгаузена, 1888 (и др. издания).

[5] Клевер Юлий Юльевич (1850—1924) — художник-пейзажист; Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902) — исторический живописец.

[6] В декабре 1914 – январе 1915 г. в ходе Сарыкамышской операции русская Кавказская армия остановила наступление Третьей турецкой армии на Карс, а затем разгромила ее.

ВОЛШЕБНИЦА
(с. 72)

Возрождение. 1930. 13 сент. № 1929. С. 3.

Казмин является персонажем и повести Б. К. Зайцева «Путники» (1916) [2, 178–208], рассказывающей об истории знакомства и расставания героя с женщиной по имени Елена.

РОЖДЕСТВО
(*Глава из романа*)
(с. 77)

Возрождение. 1930. 7 янв., № 1680. С. 3.

В 1930 г. Зайцев опубликовал три главы из романа, который не был завершен. Их объединяют сквозные персонажи: Андрей, Марья Львовна, Алексей, Людмила, Фаддей Иванович и др.

СВАДЬБА
(*Глава из романа*)
(с. 83)

Возрождение. 1930. 31 июля, № 1885. С. 2, 5.

ВЕСНА
(*Глава из романа*)
(с. 89)

Возрождение. 1930. 20 апр., № 1783. С. 2–3.

ВЕЧЕР БЛОКА
(с. 98)

Новое русское слово (Нью-Йорк). 1977. 1 мая, <№ 24245>. С. 5. (На газете ошибочно указан № 23245).

С газетой Зайцев сотрудничал, начиная с 1950-х гг. После кончины писателя в течение 1972–1977 гг. в ней републиковались его очерки и заметки. «Вечер Блока» напечатан впервые именно в этой газете без каких-либо комментариев редакции. Скорее всего, он был извлечен из архива писателя.

Трудно судить, является ли текст самостоятельным рассказом или наброском главы более крупного произведения (романа, повести), оставшегося ненаписанным. «Вечер Блока» своими стилистическими особенностя-

ми близок роману «Золотой узор» (1925); в обоих произведениях выражена автобиографичность; многие обстоятельства и события в жизни семьи Зайцевых переданы с документальной точностью, повествование ведется от лица женщины. В Александре отчетливо проступают черты самого писателя, в не названной по имени героине узнается В. А. Зайцева. Есть и общий для произведений персонаж — друг семьи доктор Блюм.

В мае 1920 и в мае 1921 гг. Блок приезжал в Москву, где выступал с чтением стихов. Зайцев описывает вечер Блока (на котором он присутствовал вместе с женой) в Большой аудитории Политехнического музея, состоявшийся 9 мая 1920 г. В начале его над Москвой раздались раскаты грома, напугавшие жителей, — как оказалось, это были отголоски взрывов пороховых складов на Ходынском поле.

О встречах с Блоком, о своем восприятии его личности и поэзии Зайцев рассказал в очерке «Побежденный» (1925), включенном затем в книгу воспоминаний «Далекое». Там упоминается и описываемый вечер поэта: «Весной 1920 года приезжал Блок в Москву. Под аккомпанемент взрывов на артиллерийских складах он читал стихи в Политехническом музее. Но “Двенадцати” не прочел. Был очень мрачен, на вопрос моей жены ответил: “Я больше этой вещи не читаю”» [6, 165—166]. См. также комм. к очерку «Александр Блок (К десятилетию смерти — из воспоминаний)» в наст. изд.

[1] Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Ночное небо так угрюмо...» (1865). У Тютчева: «*Одни* зарницы огневые».

[2] Б. Зайцев вспоминал: «Некогда, увлекаясь Урбино и жизнью его высокопросвещенного двора, собирался я даже написать нечто из того времени, вроде повести — о не подходившем к эпохе, незадачливом и безответном Гвидобальдо, о жене его, Елизавете Гонзага, родной сестре лохматого пса Франческо — тоже ничего общего не имевшей с братом, тоже болезненной и очаровательной, образованнейшей и утонченной герцогини Елизаветы, нежной подруги Изабеллы д’Эсте. Повесть не написалась, но в воздухе Урбино жил я довольно долго, находясь в глуши Тульской губернии. Во время революции» [6, 280].

[3] У персонажа по имени Блюм, вероятно, существовал прототип, который, возможно, удастся установить. Однако литературные образы его в романе «Золотой узор» и в «Вечере Блока» различны: в романе с приходом к власти большевиков и гибелью Андрея (его прототип — сын В. А. Зайцевой от первого брака Алексей Смирнов, расстрелянный в 1919 г.) герои оказываются в непримиримой оппозиции к новому порядку, в то время как доктор Блюм приспосабливается к обстоятельствам и даже становится кремлевским врачом. Наталия считает, что он теперь тоже ответственен за кровь убитых, их пути расходятся («Пускай и радуются, торжествуют. Я им не уступлю. Пусть успокаиваются, обрастают жиром и благополучием на

крови Андрюши, Георгиевского... я не поклонюсь», — замечает она, встретив Блюма в обществе комиссара) [3, 196].

В рассказе «Вечер Блока» (действие которого — весна 1920 г.) Блюм и его супруга — друзья главных героев, жена писателя находится у них в гостях. Сам Блюм — популярный в Москве (но отнюдь не в Кремле) доктор, «интеллигент, любит, разумеется музыку, современен, за всем следит и все знает». Можно предположить, что фамилия Блюм вымышленная, как фамилии и имена всех прочих персонажей и романа, и рассказа. Однако в документальных воспоминаниях «Мы, военные. Записки шляпы» Зайцев, повествуя о юнкерском периоде своей жизни, вновь называет это имя. На новогоднем вечере у друзей присутствует «доктор Блюм»: «бодрый, веселый, все и всех знающий», он самоуверенно разглагольствует о близкой победе над Германией [6, 96].

[4] Из стихотворения А. А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе» (1908). У Блока: «*Уж не мечтать* о нежности, о славе».

ПОДЗЕМНОЕ СВИДАНИЕ
(с. 102)

Наш мир. Воскресное иллюстрированное приложение к газете «Руль». 1924. 23 марта, № 1. С. 1—3.

[1] В церковнославянском тексте: «Земле, да не покрыеши над кровию плоти моея, ниже да будет место воплю моему». Иов, страдающий и сознающий свою невиновность, обращается к земле, чтобы она не скрыла его кровь и признала его невинным праведником, заслуживающим отмщения.

[2] Жан Дезире Гюстав Курбе (1819—1877) — французский живописец, пейзажист, портретист.

ОЧЕРКИ О ФРАНЦИИ

ПРОВАНС
(с. 109)

Цикл из семи очерков под общим названием «Прованс» Б. Зайцев опубликовал в 1925—1928 гг. Структура заглавий и подзаголовков не была унифицирована: в первом очерке отсутствует название города («Драгиньян»), в третьем — заглавие цикла («Прованс»); порядковый номер («2») и подзаголовок («очерки») имеются только в публикации «Аббатство Тороне».

В настоящем издании заглавия текстов приведены к единому виду.

Драгиньян
(с. 109)

Дни. 1925. 17 сент., № 803. С. 2–3.

Лето 1925 г. Зайцев провел в имении своих друзей В. Б. и Ф. О. Ельяшевичей – Пюжет, откуда совершил поездки в близлежащие Драгиньян, аббатство Тороне и Тулон.

В газетном тексте очерка содержится большое количество опечаток, несогласованных частей предложений и т. п. Редакция вынуждена была сделать примечание ко второму очерку о Провансе, вышедшему неделю спустя (27 сент.): «В связи с затруднениями первых дней выхода газеты в первый очерк Б. К. Зайцева вкралось много весьма досадных опечаток». В настоящей публикации опечатки исправлены без специальных оговорок.

[1] Название жителей города на французском языке – «dracénois».

[2] Согласно легенде, название города получено из латинского имени «Draco/Draconem» (дракон): епископ, названный Святым Эрмантером, убил дракона и спас людей.

[3] Слова из Речи о Пушкине Ф. М. Достоевского (1880).

[4] Рене Добрый (1409–1480) – титулярный король Неаполя, герцог Прованса, Анжу, Бара и Лоррейна. В 1473 г. Рене окончательно поселился в единственном оставшемся у него владении – Провансе. Здесь собрал при своём дворе в городе Экс-ан-Прованс многочисленных поэтов, художников, музыкантов. Рене вошел в историю как последний король-трубадур.

[5] Имеется в виду Великая французская революция 1789–1794 гг.

[6] Дольмен Pierre de la Fée (Камень Феи) расположен на северо-западе Драгиньяна, представляет собой три плиты длиной 2,5 м, поддерживающих четвертую – 5 м длиной и весом 60 т.

Аббатство Тороне
(с. 116)

Дни. 1925. 27 сент., № 812. С. 3.

[1] «Дикий лес, дремучий и грозный» (*ит.*) – строчка из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь 1, 5); в таком лесу оказывается герой в начале поэмы.

[2] Тороне – цистерцианское аббатство в Провансе. Монастырь основан в 1157 г., закрыт в 1785 г. и распродан с аукциона. В 1854 г. государство выкупило у частных лиц большую часть зданий монастыря, в 1938 – оставшуюся часть. В настоящее время в аббатстве располагается музей.

[3] Бернард Клервоский (1091–1153) – французский богослов, мистик, цистерцианский монах, основатель и настоятель монастыря Клерво. Был вдохновителем 2-го крестового похода (1147). Выступал против теологи-

ческого рационализма Абеляра и различных еретических течений. Из хронологии видно, что он не мог быть основателем монастыря Тороне, как пишет Зайцев. Однако известно, что он содействовал росту монашеского ордена цистерцианцев, в его память получивших название бернардинцев.

[4] Chiostro (*ит.*) — внутренний дворик (обычно монастырский), окружённый портиками.

[5] Сатирик Позднего Возрождения Пьетро Аретино (1492—1556). Одно из скандальных сочинений Аретино — «Ragionamenti» («Рассуждения», 1534—1536)», представляющее собой эротически насыщенную сатиру на современные нравы.

[6] Сильвакан — цистерцианское аббатство в Провансе, в долине реки Дюранс. Памятник романской архитектуры XIII в. В XVII и XVIII вв. монастырь был заброшен. Во время Великой французской революции церковь и полуразрушенные здания проданы с аукциона и превращены частными владельцами в ферму. Прочие строения Сильвакана оставались в частных руках до 1949 г., когда они в свою очередь были выкуплены государством. В 90-е гг. XX в. проведена масштабная реставрация зданий бывшего монастыря.

Тулон
(с. 121)

Перезвоны. 1925. 8 нояб., № 1. С. 8—12.

[1] Имеется в виду поэт Ивик — персонаж баллады Ф. Шиллера «Ивиковы журавли» (1797), переведенной на русский язык В. А. Жуковским.

[2] Курье (*фр.* courrier) — курьер, посыльный для доставки корреспонденции и небольших грузов.

[3] С осады и взятия Тулона, восставшего против Конвента в 1793 г., началась карьера Наполеона Бонапарта. Он выстроил на берегу моря две батареи, названные им батарея Горы и Санкюлотов. Непрерывный огонь и нанесенные кораблям союзников повреждения вынудили их оставить малый рейд.

[4] Рива дельи Скьявони — главная набережная Венеции.

[5] Дыбенко Павел Ефимович (1889—1938) — матрос Балтийского флота, с апреля 1917 г. — председатель «Центробалта», 1-й народный комиссар по морским делам РСФСР, командарм 2-го ранга (1935); Фёдор Исаакович Баткин (1892—1923) — матрос 2-й статьи, агент адмирала А. В. Колчака, агитатор, участник Первой мировой и Гражданской войн, Белого движения, Агент ВЧК.

[6] Мистраль Фредерик (1830—1914) — провансальский поэт и лексикограф, лауреат Нобелевской премии по литературе 1904 г. Отстаивал литературную самобытность Прованса, способствовал возрождению окси-

танского (провансальского) языка. На этом языке написал пасторальную эпическую поэму о любви молодой девушки «Мирейо» (1859), удостоенную премии Французской академии.

[7] Жорес Жан (1859—1914) — философ, историк, деятель социалистического движения, борец против колониализма, милитаризма и войны.

[8] Буйабес (фр. Bouillabaisse) — «марсельская уха», рыбный суп, характерный для средиземноморского побережья Франции.

Арль
(с. 127)

Последние новости. 1927. 1 мая, № 2230. С. 2—3.

[1] Жан-Луи Водуайе (1883—1963) — французский писатель, поэт, журналист.

[2] Опера Ш. Ф. Гуно «Мирейль» (1863) по мотивам поэмы Мистраля «Мирейо». Премьера состоялась в Париже в 1864 г.

[3] Танагрские статуэтки — древнегреческие терракотовые фигурки III—I вв. до н. э., большая часть которых обнаружена в окрестностях г. Танагры. Отражают в основном частную жизнь древних греков.

[4] Н. В. Гоголь в отрывке «Рим» (1842) описывает красавицу — девушку Анунциату из римского пригорода Альбано. Считается, что ее прототип — натурщица Виттория Кальдони (1805 — после 1872), которая славилась по всей Европе своей классической красотой.

[5] Музей провансальской народной культуры «Музеон Арлатен» создан Фредериком Мистралем в 1896 г. в здании Лаваль-Кастелан XV в. В коллекции — костюмы, мебель, рабочие инструменты, предметы культа и суеверий прованской жизни XIX века.

[6] Медард, еп. Нуайонский (Médard; 470—558) — один из наиболее известных епископов Французской Церкви VI в., святитель.

Авиньон
(с. 133)

Возрождение. 1928. 3 июля, №1127. С. 3.

Очередное путешествие по городам Прованса Зайцев совершил в июне 1928 г. В письме к Буниным он изложил план поездки: «Дорогие друзья Иван и Вера <...> В воскресенье выезжаю, билет уже взял. Остановлюсь на день в Авиньоне, на день в Эксе, и поеду в Ниццу» [11, 57].

[1] Мост Сен-Бенезе через реку Рона в Авиньоне построен в период с 1177 по 1185 г. Согласно легенде, мальчик по имени Бенуа, который позже стал известен под именем Святого Бенезета (1165—1185), в возрасте 12 лет получил божественное наставление идти строить мост в Авиньоне.



[2] Авиньон был резиденцией римских пап в 1309—1377 гг. Папский дворец построен в период 1335—1364 гг. и является самым большим дворцом готического стиля, его площадь — 15 000 м². В 1906 г. дворец отреставрирован и в нем устроен музей.

[3] Маттео ди Джованнетти да Витербо — один из крупнейших представителей «авиньонской школы». В середине XIV в. создал фрески во многих помещениях Папского дворца.

[4] Примитив (от *лат.* primitivus — первый, самый ранний) — здесь: памятник раннего периода эволюции искусства. В искусствознании понятие не имеет оценочного оттенка и употребляется применительно к произведениям художников позднего средневековья и раннего Возрождения, преимущественно итальянских. К ним относят и пизанскую школу живописи XII — начала XIV вв., которая играла важную роль в искусстве итальянского Проторенессанса.

[5] «Mas de Misosoulies» — в написании (в газетном тексте) допущены ошибки, правильно: «Mas des Micocoules» («Хутор Каркасов», *фр.*). Название первой песни поэмы Ф. Мистраля «Мирей» — место, где живет героиня. Каркас южный (*лат.* Celtis australis) — декоративное дерево с кроной шаровой формы и круглыми плодами, растет в южной и центральной Европе, упоминается в гороскопе друидов.

Письмо об Экс
(с. 137)

Возрождение. 1928. 7 авг., № 1162. С. 3.

Письма об Экс и Грассе также опубликованы под заглавием цикла — «Прованс». Их тексты заключены в кавычки. Предположительно, представляют собой части писем Б. Зайцева к жене, В. А. Зайцевой.

[1] Жан-Батист Мари де Пике, маркиз Межан (1729—1786) — французский аристократ, государственный служащий (первый консул и королевский секретарь Арля, государственный прокурор Прованса). Библиофил, коллекционер книг. Завещал городу личное собрание ценных инкунабул XII—XV вв., с условием, что книги будут доступны широкой публике. Оно составило основу публичной библиотеки Экса, известной как Bibliothèque Méjanes.

[2] Симоне Мартини (1284—1344) — крупный итальянский художник XIV в., представитель сиенской школы живописи. С 1336 г. работал в Авиньоне. Был другом и любимым художником Петрарки, заказавшего ему портрет своей возлюбленной Лауры. Известная картина Мартини «Благовещенье» была создана для капеллы Сан-Анзано в Сиенском соборе, передана в галерею Уффици. В Эксе Б. Зайцев мог видеть другой шедевр авинь-

онской школы, так называемое «Благовещение из Экса» (1443) — центральную часть триптиха, исполненного в 1443—1445 гг. для церкви Сан-Совер в Эксе (ныне в церкви Сен-Мари-Мадлен). Автор его не установлен.

О Грассе (Письмо)
(с. 140)

Возрождение. 1928. 13 окт., № 1229. С. 3.

[1] Из стихотворения «Из Гете (Горные вершины...)» М. Ю. Лермонтова (1840).

[2] Имеется в виду Полина Бонапарт (в первом браке Леклерк, во втором Боргезе; 1780—1825) — сестра императора Наполеона. Скончалась во Флоренции. После размолвки с принцем Боргезе зиму 1807—1808 гг. провела в Грассе, укрепляя душевные и физические силы, положив начало курортному отдыху в Грассе. По воспоминаниям, с обзорной площадки часто созерцала виды и «наслаждалась богатым букетом, который поднимался из душистой равнины». В память о ее пребывании грасская фирма «Galimard» выпустила духи «Princess Pauline».

[3] Б. Зайцев ошибочно называет имя сестры Наполеона: в Грассе жила не Луиза (Элиза), а Полина.

ШАРТР
(с. 143)

Возрождение. 1933. 16 апр., № 2875. С. 2.

[1] Шартрский собор построен на месте ранее возведенных соборов, освящен в 1260 г. Имеет девять порталов и насчитывает около 10 000 скульптурных изображений из камня и стекла. Место, где стоит собор, считалось священным у друидов.

[2] Комбре — вымышленный город, в котором происходит действие романов Марселя Пруста и прототипом которого стал город Илье. В романе «Комбре» (1913; первая часть первого тома цикла «В поисках утраченного времени») герой с ностальгией вспоминает его колокольни.

[3] Кадран — плоскость с часовыми делениями (циферблат) солнечных часов.

[4] Бланка Кастильская (1188—1252) — принцесса Кастильская, королева Франции, жена Людовика VIII и мать Людовика IX Святого. Долгое время правила Францией в качестве королевы-матери. На ее средства был сооружен витражный ансамбль (1226—1236) в северной части собора: окно-роза и стрельчатые просветы.

[5] В крипте собора находилась древняя статуя «La Vierge devant enfanter» («Дева Рождающая») — древняя скульптура из грушевого дерева, об-

наруженная в недрах холма. Она утрачена при пожаре и заменена на деревянную скульптуру с младенцем на коленях в 1793 г. Является предметом поклонения и паломничества. Предполагают, что это изображение Богоматери первых веков христианства, другие считают, что изначально это была языческая статуя Богини-Матери галло-римских времен.

[6] Карнуты — древний кельтский народ в центральной Галлии. Главным городом был Аутрикум, с V в. назывался Карнутум, ныне Шартр.

РУАН
(с. 146)

Возрождение. 1933. 20 авг., № 3001. С. 3—4.

[1] Гюстав Флобер, родившийся в Руане, большую часть жизни прожил в своем доме в Круассе близ Руана. Круассе было местом литературных встреч, в частности, здесь бывал Тургенев. Руан подробно описан в романе Флобера «Госпожа Бовари» (1856).

[2] Витраж XIII в. кафедрального собора в Руане, рассказывающий историю св. Юлиана Милостивого. Этот витраж вдохновил Флобера на написание «Легенды о святом Юлиане Милостивом» (1876).

[3] Увраж — богато иллюстрированное художественное издание большого формата в виде отдельных листов или альбома.

[4] Нотабль — представитель высшего духовенства, придворного дворянства или городских верхов как член созывавшегося королем собрания (во Франции XIV—XVIII вв).

[5] Памятник французскому драматургу Пьеру Корнелю (1606—1684), родившемуся в Руане и прожившему здесь 56 лет.

[6] Имеется в виду «Переписка» Г. Флобера: *Flaubert G.* Correspondance 1830—1880. 4 vol. Paris, 1887—1889.

НИЦЦА
(с. 152)

Возрождение. 1934. 15 июля, № 3329. С. 3.

[1] Английская набережная Ниццы, ее длина 7 км.

[2] Среди женщин русского зарубежья, профессионально занимавшихся иконописью в данное время, было немало представительниц аристократических родов: княжна Е. Д. Голицына, княжна Е. С. Львова, графиня О. Б. Орлова-Денисова, Е. В. Лыщинская-Троекурова (урожд. княгиня Шаховская) и др. В Ницце часто бывала Е. В. Половцова (1888—1975; дочь княжны А. П. Трубецкой). В 1921—1926 гг. в Ницце проживала Т. В. Ельчанинова (1897—1981; сестра княгини Н. Оболенской).

[3] Собор святителя Николая Чудотворца в Ницце освящен в 1912 г. Настоятелем храма в 1925—1945 гг. был архиепископ Ниццский Владимир (Тихоницкий), управляющий приходами юга Франции и Италии (впоследствии митрополит).

МОНТЕ-КАРЛО
(с. 157)

Возрождение. 1938. 28 окт., № 4155. С. 3.

Хотя княжество Монако формально является самостоятельным государством, оно ассоциировано с Францией, поэтому очерк о его столице помещен в данный раздел книги.

[1] Монегаски — народ, коренные подданные княжества Монако, составляющие около пятой части его населения.

[2] Марк-Цезарь Скотто (1888—1960) — композитор, дирижер Филармонического оркестра Монте-Карло, директор Музыкальной академии Монако (1941—1960).

[3] Святая Девота (ок. 283 — ок. 303) — дева, мученица Корсиканская; день памяти 27 января. В XVI в. к святой Девоте обращались с молитвами во время нашествий генуэзцев и пизанцев. Считается, что независимость Монако была сохранена исключительно благодаря её небесному заступничеству. Святая почитается как покровительница Корсики, Монако, моряков.

[4] Бугенвиллия — родовое название растений — вечнозеленых вьющихся кустарников и небольших деревьев с яркими цветами.

[5] Средневековый храм Нотр-Дам-де-Лаге находится между Ниццей и Монако, в коммуне Ла-Трините. Возведен в XV в.

[6] Бакан (*устар.*) — то же, что бакен (плавучий знак).

ПАССИ. ЗАМЕТКИ
(с. 163)

Возрождение. 1929. 15 февр., № 1354. С. 2.

[1] Вентури Адольфо (1856—1941) — итальянский историк искусства, профессор Римского университета. Вазари Джорджо (1511—1574) — итальянский живописец, архитектор и писатель. Считается основоположником современного искусствознания. Скартаццини Джованни Андреа (1837—1901) — швейцарский историк литературы и публицист, священник. Автор нескольких работ о Данте, в том числе упоминаемой Зайцевым «Дантовской энциклопедии» (Милан, 1896—1905).

[2] Строчка из стихотворения В. Брюсова «Конь блед» (1903) («Улица была — как буря. Толпы проходили, / Словно их преследовал неотврати-



мый Рок. / Мчались омнибусы, кебы и автомобили, / Был неисчерпаем яростный людской поток»).

[3] Морис Метерлинк (1862—1949) — знаменитый бельгийский писатель, драматург и философ, один из крупнейших представителей символизма в Европе.

[4] Гюисманс Жорис Карл (1848—1907) — французский писатель. Первый президент Гонкуровской академии (с 1900 г.).

[5] Эмиль Верхарн (1855—1916) — бельгийский франкоязычный поэт и драматург, один из основателей символизма. Жорж Роденбах (1855—1898) — бельгийский франкоязычный поэт и романист.

[6] Эти мысли Франсуа Мориак развивает, в частности, в эссе «Роман»: Достоевский — «писатель диаметрально противоположный Бальзаку»; «Тот, кто глубоко усвоил уроки Достоевского, не может больше довольствоваться рецептами французского психологического романа, где человек в некотором смысле предначертан, упорядочен, совсем как природа в Версале» (*Мориак Ф.* Не покоряться ночи: Худож. публицистика / Пер. с фр.; Предисл. В. Е. Балахонова. М., 1986. С. 322, 323).

[7] Поль Бурже (1852—1935) — французский критик и романист, отстаивавший христианские ценности. «Последователи Бальзака, и в частности самый известный из его литературных потомков, знаменитый Поль Бурже <...> пошли противоположной дорогой и проиллюстрировали своими романами вечные законы консервативной мудрости», — писал Ф. Мориак (Там же. С. 318).

[8] Дом Бальзака в Париже на улице Рейнуар, где он жил в 1840—1847 гг., был выкуплен для создания в нем музея в 1908 г.

[9] «Я был рожден для несбыточной любви» — цитата из романа Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа».

ОТЕЙЛЬ
(с. 166)

Возрождение. 1930. 30 марта, № 1762. С. 3—4; 13 апр., № 1776. С. 3; 11 июля, № 1865. С. 3.

Отей (Auteuil) — название квартала в 16 округе Парижа (Пасси). В этом районе проживали многие русские эмигранты. Зайцевы жили здесь в доме 11 по улице Клод Лоррен с 1926 по 1932 г. Употребляются два русских написания: Отей (более распространенное) и Отейль; в публикации сохраняется зайцевское.

[1] Бертран дю Геклен (Bertrand du Guesclin; 1320—1380) — коннетабль Франции в 1370—1380 гг., выдающийся военачальник Столетней войны.

[2] Кретьен Франсуа де Ламуаньон де Бавиль (Chrétien François de Lamoignon de Basville; 1735—1789) — французский государственный деятель, президент Парижского парламента.

[3] Пьетро Бембо (1470—1547) — итальянский кардинал; учёный, писатель. Автор трактатов, писем, исторических работ о Венеции, стихов.

[4] Сэй Жан-Батист (Jean-Baptiste Say; 1767—1832) — французский экономист, представитель классической школы политэкономии.

[5] Люлли Жан-Батист (Jean-Baptiste Lully; 1632—1687) — французский композитор, скрипач, танцор, дирижёр и педагог итальянского происхождения, создатель французской национальной оперы.

[6] Миньяр Никола (Nicolas Mignard; 1606—1668) — исторический живописец, портретист, рисовальщик и гравёр.

[7] Клод-Эмманюэль Люлье, прозванный Шапель (Claude-Emmanuel Lhuillier, dit Chapelle; 1626—1686) — поэт; дружил с Расином, Буало, Мольером, Лафонтеном.

[8] Мария Шампесле (наст. имя Мари Демар) (Marie Desmares, dite Champmeslé; 1642—1698) — актриса. Выступала в театре «Комеди Франсез». Была близка к Расину, стала первой исполнительницей главных ролей в его трагедиях.

[9] Нинон де Ланкло (Ninon de Lenclos; 1615/1623—1705) — французская куртизанка, писательница, хозяйка литературного салона, где бывали многие поэты и ученые.

[10] Мари Антье (Marie Antier; 1687—1747) — оперная певица (сопрано). Получила известность партиями в операх Люлли; была примой Королевской академии музыки и придворной певицей, исполняла ведущие роли во французских операх. Особняк для певицы в деревне Отей построен в 1715 г.

[11] Сестры Мария (1728—1775) и Женевьева (1730—1775) де Верриер (Marie et Geneviève Rainteau de Verrières) — французские актрисы.

[12] Шарль-Пьер Колардо (Charles-Pierre Colardeau; 1732—1776) — французский поэт.

[13] Пьер Карле де Шамблен де Мариво (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux; 1688—1763) — драматург и прозаик, член Французской академии.

[14] «Охота Генриха IV» — пьеса поэта и драматурга Шарля Колле (1709—1783). Написана в 1766 г., поставлена в 1774 г.

[15] Шарль-Мари д'Ирумбери, граф де Салаберри (de Salaberry; 1766—1847) — французский политический деятель и писатель.

[16] Мориц Саксонский (Hermann Moritz Graf von Sachsen; 1696—1750) — граф; французский полководец, маршал Франции (1744), главный маршал Франции (1747).

[17] Маркиз дю Шатлэ Флоран Клод дю Шатле (Florent Claude du Châtelet ou du Chastellet) занимал должность королевского губернатора. Муж Эмили (маркизы дю Шатле), ставшей знаменитой в области математики и физики, а также известной как муза Вольтера.

[18] Лагарп Жан Франсуа (Jean Francois de La Harpe; 1739—1803) — известный французский драматург и критик.

[19] Мармонтель Жан Франсуа (Jean-François Marmontel; 1723–1799) – французский писатель.

[20] Морис Кантен де Латур (Maurice Quentin de La Tour; 1704–1788) – французский портретист, работавший преимущественно пастелью.

[21] Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон (Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon; 1707–1788) – французский натуралист, биолог, математик.

[22] Мари-Франсуаза-Катрин де Бове-Краон, маркиза де Буффле (Marie Françoise Catherine de Beauvau-Craon, marquise de Bouffler; 1711–1787) – французская дворянка. получила хорошее образование, писала стихи, рисовала пастелью. В возрасте 23 лет сочеталась браком с Луи-Франсуа де Буффле (1714–1751), в 34 года стала главной любовницей Станисласа Лещинского (свергнутого с престола польского короля, тестя Людовика XV). Мать поэта Станисласа де Буффле.

[23] Под «невесткой», предположительно, имеется в виду кузина маркизы де Буффле – Амели де Буффле (Amélie de Boufflers; 1746/1751–1794), французская аристократка. В 1766 г. вышла замуж за Армана де Гонто-Бирона и получила титул герцогини де Лозен и де Бирон. Однако сведения о ее последних годах различаются: Б. Зайцев пишет о спасении от казни, исторические источники сообщают, что во время Французской революции она приговорена к смерти и гильотинирована.

[24] Антуан Кантен Фукье де Тенвиль (Antoine Quentin Fouquier de Tinville; 1746–1795) – деятель Великой французской революции, общественный обвинитель Революционного трибунала.

[25] Анна-Катрин Гельвеций, урожд. Линивиль д'Отрикур (Anne-Catherine Helvétius de Ligniville d'Autricour; 1722–1800), вместе с мужем содержала салон.

[26] Гельвеций Клод Адриан (Claude Adrien Helvétius; 1715–1771) – французский литератор и философ-материалист. После женитьбы на Анне Катрин де Линьвиль д'Отрикур в 1751 г. оставил должность. Его салон в Париже получил известность как место для выражения свободомыслия. Входил в кружок Дидро и Гольбаха.

[27] Кабанис Пьер Жан Жорж (Pierre Jean Georges Cabanis; 1757–1808) – французский философ-материалист и врач.

[28] Жан Лерон Д'Аламбер (1717–1783) – учёный-энциклопедист, философ, математик и механик. Анн Робер Жак Тюрго (1727–1781) – экономист, философ и государственный деятель. Этьен Бонно де Кондильяк (1715–1780) – философ, аббат. Кретьен Гийом де Ламуаньон де Мальзерб (1721–1794) – государственный деятель, один из адвокатов на суде над Людовиком XVI. Гудон Жан Антуан (1741–1828) – скульптор, выдающийся мастер психологического портрета. Андре Мари де Шенье (1762–1794) – поэт, журналист и политический деятель. Манон Жанна Ролан де Ла Платьер (1754–1793) – деятельница Французской революции. Оноре

Габриэль Рикетти де Мирабо (1749—1791) — граф, деятель Великой Французской революции.

[29] Франклин Бенджамин (1706—1790) — американский политический деятель, дипломат, писатель; один из лидеров войны за независимость США. Был первым послом США во Франции в период 1776—1885 гг.

[30] Вольне Константен Франсуа (1757—1820) — французский просветитель, философ и политический деятель, ориенталист.

[31] Мари Жан Антуан Николя де Карита, маркиз де Кондорсе (Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet; 1743—1794) — французский философ, математик, академик и политический деятель.

[32] Жан-Батист Антуан Сюар (Jean-Baptiste-Antoine Suard; 1733—1817) — французский журналист, член Французской академии. В эпоху террора покинул столицу и жил в деревенском затишье; одно время был выслан из Франции,

[33] Альфред де Мюссе (Alfred de Musset; 1810—1857) — французский поэт, драматург и прозаик, один из крупнейших представителей литературы романтизма.

[34] Виолле-ле-Дюк Эжен Эммануэль (Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc; 1814—1879) — французский архитектор, реставратор, историк архитектуры. Практиковал метод реставрации, при котором полностью восстанавливалось завершенное состояние зданий, которого они в истории могли никогда не иметь; этот подход критиковался как слишком субъективный.

[35] Анри Франсуа д'Агессо, сеньёр де Френ (1668—1751) — французский юрист, канцлер Франции, член Французской академии. Монумент его памяти находится на площади у церкви Отейль.

[36] Доктор Пьер Шардон (?—1845) — врач, лечивший бедных в Отей на протяжении полувека. Его сын Пьер Альфред Шардон (Pierre-Alfred Chardon; 1809—1893) накопил значительное состояние и вместе с супругой Амели Лагаш открыл в 1865 г. дом для малоимущих престарелых — Sainte-Périne.

[37] Андре Поль Гийом Жид (1869-1951) — французский писатель, прозаик, драматург и эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1947). Пьер Мак-Орлан (наст. имя Пьер Дюмарше; 1882—1970) — писатель, автор приключенческой прозы и мемуаров. Клод Фаррер (наст. имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон; 1876—1957) — писатель, автор романов о морских приключениях. Анри Бордо (1870—1963) — писатель и адвокат; в своих сочинениях воплощал ценности традиционных провинциальных католических общин; член Французской академии (1919).

[38] «Монпарно» (т. е. монпарнасец) — прозвище завсегдатаев художественных кафе в районе Монпарнас, где собирались поэты, художники, скульпторы, критики. Кафе «Ротонда» (La Rotonde), расположенное по адресу бульвар Монпарнасс, 105, — место встреч творческой богемы Парижа.

[39] Братья Гонкур — французские писатели-натуралисты Жюль и Эдмон де Гонкур, основоположники натурализма и импрессионизма во французской литературе. С 1851 г. вели общий Дневник.

ОЧЕРКИ ОБ ИТАЛИИ

СТРАНА СВ. ФРАНЦИСКА
(с. 181)

Возрождение. 1929. 11 авг., № 1531. С. 3–4.

Текст представляет собой переработанный очерк «Ассизи», написанный в 1918 г. и вошедший в книгу Зайцева «Италия» (Берлин; Пг.; М., 1923).

[1] Базилика Санта-Кроче (XV в.) находится в центре Флоренции, самый крупный в мире францисканский храм. Базилика Санта-Мария-Новелла (XIV–XV вв.) — главная доминиканская церковь Флоренции.

[2] Цитата из книги «Цветочки святого Франциска Ассизского» — собрания эпизодов из жизни этого святого и его сподвижников, памятника итальянской литературы XIV в.

[3] Табльдот (от *фр.* table d'hôte — хозяйский стол) — название общего обеденного стола по единому меню в отелях и пансионах.

[4] Веттурин (от *ит.* vetturino) — извозчик.

[5] Субструкция (от *лат.* substructio — основание) — опорная конструкция, служащая основанием той или иной части сооружения.

[6] Ипогей (от *греч.* hypogeios — подземный) — в античных сооружениях подземное помещение, склеп.

ИТАЛИЯ
(с. 187)

Четыре очерка об Италии 1949 года публиковались в «Русской мысли» под общим заголовком «Италия»; первый очерк не имел специального названия (были озаглавлены его части: «Генуя и Чертоза», «Через Милан»).

Б. Зайцев по просьбе издателей прислал в американский «Литературный фонд» рукописи трех из этих очерков («Венеция», «Флоренция» и «Вновь в Риме»), и к 70-летию писателя их факсимильное издание вышло отдельной книгой: *Зайцев Б. К.* Италия. New York: Лит. фонд, [1951]. См. об этом: *Комолова Н. П.* Италия в судьбе и творчестве Б. К. Зайцева. М., 1998. С. 57–62.

Сопоставление текстов позволяет полагать, что опубликованные в газете очерки являются итоговыми (по сравнению с рукописными) редакциями.

Зайцев не оставлял тему Италии; в книгу «Далекое» (1965) он включил очерки «“1908” — Рим», «Латинское небо», «Конец Петрарки», «Повесть о двух городах» и «Чего уже не увидишь» [6, 256—285].

<Генуя и Чертоза. Через Милан>
(с. 187, 189)

Русская мысль. 1949. 20 мая, № 138. С. 2—3.

[1] Из стихотворения Ф. К. Сологуба «Подыши еще немного...» (1927).

[2] Об истории поездки в Италию в 1949 г. Зайцев рассказал в очерке «Вячеслав Иванов» (1963):

«В 1949 году наш приятель — ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конквистадор и по жизни своей Казанова — нежданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.

— У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку, но вывезти не могу — проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.

Предложение заманчивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ницце — Анита из Мадрида, мы из Парижа, Казанова в Ницце уже заседал. Нас смущало, при неблестящем складе быта нашего, соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей и простой юной женщиной, сразу подружившейся с моей женой. Началось наше blitz-tournee. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. Казанова то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местных казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино» [6, 193].

Из текста, где упоминаются католические Страстная и Пасхальная седмицы (Пасха в 1949 г. отмечалась 17 апреля), следует, что путешествие по Италии проходило в 10-х — 20-х числах апреля 1949 г. (прибытие в Милан — 15 апреля).

[3] Оспедалетти — город в итальянском регионе Лигурия.

[4] Кампанила — в итальянской архитектуре квадратная (реже круглая) колокольня, стоящая отдельно от храма.

[5] Имеется в виду Рогнедов Александр Павлович (?—1958, Лиссабон) — импрессарио, театральный деятель, литератор. В эмиграции жил в Париже и Италии. Знаток и почитатель итальянской живописи и зодчества. В 1930 г. совместно с И. С. Зоном открыл в Париже общество «РОЗОН» для организации артистических турне эмигрантов по Европе и финансирования новых театральных предприятий. Ему посвящен очерк Б. Зайцева «Наш Казанова» (1959) [9, 356—360].

[6] Марискаль Анита (Ana Mariscal; 1923—1995) — испанская киноактриса и кинорежиссер, знакомая А. Рогнедова.

[7] Павийская Чертоза (Certosa di Pavia) — картезианский монастырь по дороге из Павии в Милан в итальянской провинции Павия.

[8] Интарсия (от итал. intarsio — инкрустация) — вид инкрустации на деревянных предметах (фигурные изображения или узоры).

[9] Авион — название аэропланов сначала французского авиационного производства, а затем и других стран.

Венеция
(с. 190)

Русская мысль. 1949. 17 июня, № 146. С. 2—3.

[1] Здание Скуолы Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco) — памятник архитектуры XVI в.; основана в 1549 г. благотворительным братством (скуолой) Сан-Рокко.

[2] Первухин Константин Константинович (1863—1915) — пейзажный живописец-импрессионист, иллюстратор, фотограф; один из учредителей Союза русских художников.

[3] Витторе Карпаччо (ок. 1465 — ок. 1526) — живописец Раннего Возрождения, представитель венецианской школы. В 1502—1507 гг. написал для благотворительного братства San Giorgio degli Schiavoni цикл картин из жизни святых Георгия, Иеронима и Трифона.

[4] Церковь Сан-Заккария (San Zaccaria) строилась на протяжении нескольких столетий, считается одним из главных памятников венецианского ренессанса.

[5] Basilica dei Santi Giovanni e Paolo (XIII в.) — один из самых больших соборов Венеции, посвящен раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу.

[6] Андреа дель Верроккьо (1435—1488) — итальянский скульптор и живописец эпохи Возрождения, один из учителей Леонардо да Винчи. Конная статуя кондотьера Бартоломео Коллеони работы Вероккьо установлена в 1495 г.

[7] Зайцев имеет в виду свой ранний очерк «Венеция» (1920).

Флоренция
(с. 194)

Русская мысль. 1949. 29 июля, № 158. С. 4—5.

[1] Из стихотворения В. Ф. Ходасевича «Стансы» (1909).

[2] Саккетти Франко (ок. 1330—1400) — итальянский писатель. Компаньи Дино (ок. 1260—1324) — флорентийский хронист, занимал ряд общественных должностей.

[3] Имеется в виду храм Рождества Христова во Флоренции (освящен в 1903 г.). В 1936—1950 гг. настоятелем прихода был протоиерей Иоанн Куракин. Куракин Иван Анатольевич (1874—1950) — до революции политический деятель, ярославский губернский предводитель дворянства, член Государственной думы III созыва. С 1920 г. жил в эмиграции во Франции, в 1931 г. рукоположен в священника, до 1935 г. служил в Милане. В 1948—1950 гг. — благочинный приходов в Италии. Скончался в Париже, где за несколько дней перед смертью был интронизирован в сан епископа.

[4] Русский промышленник П. П. Демидов по разрешению императора Александра II с 1872 г. использовал приобретенный им в Италии титул князя Сан-Донато, который переходил и на его потомков. Демидовы Сан-Донато жертвовали средства на строительство церкви во Флоренции. Двухэтажная церковь выстроена по проекту архитектора М. П. Преображенского. Убранство нижнего храма во имя св. Николая Чудотворца происходит преимущественно из домовой церкви князей Демидовых Сан-Донато.

[5] Амалия Ризнич (1803—1825) — первая жена одесского негоцианта сербского происхождения Ивана Ризнича, с весны 1823 по май 1824 г. проживавшая в Одессе. Предмет краткого, но сильного увлечения Пушкина в период его южной ссылки, адресат его стихотворений.

Вновь в Риме
(с. 199)

Русская мысль. 1949. 26 авг., № 166. с. 4—5.

[1] Встречу с Вяч. Ивановым в Риме Зайцев описал также в очерке «Вячеслав Иванов» (1963) [6, 189—195].

[2] В заметке «О себе» Зайцев так описывал это чтение: «Не могу тут не вспомнить чтения “Рафаэля” — в саду особняка покойной Е. И. Лосевой, собиравшей вокруг себя поэтов, художников, писателей. Был удивительный майский день 1919 года. Я читал за столом, вынесенным из дома под зеленую сень, в оазисе среди полуразоренной и полуголодной Москвы, в остатке еще человеческой жизни, среди десятка людей элиты — слушателями были, кроме хозяйки, Вячеслав Иванов, Бердяев, Георгий Чулков» [4, 590]. Лосева Евдокия Ивановна (1880—1936) — ученица живописца Валентина Серова. С 1905 г. сотрудничала с художником и коллекционером народного прикладного искусства Николаем Бартрамом. Владела особняком (дом 8 по Смоленскому бульвару). В 1918 г. открыла в нем музей игрушки. Работала в области декоративно-прикладного искусства.

[3] Теодор Моммзен (Theodor Mommsen; 1817—1903) — немецкий историк, филолог, лауреат Нобелевской премии по литературе 1902 г. за труд «Римская история», почётный гражданин Рима. Его облик, действительно, напоминает Тютчева.

[4] Имеется в виду «Повесть о Светомире-царевиче». «Поэмой» названа потому, что написана ритмической прозой. Первые четыре книги создавались в 1928—1945 гг. В 1948 г. Вяч. Иванов начал писать пятую книгу, которую окончить не успел. Всего предполагалось 12 книг, и пятая завершала «первую часть», о которой говорит Зайцев.

[5] Имеется в виду «Комедия о Алексее Человеке Божьем, или Потерянный и обращенный сын» М. А. Кузмина (*Кузмин М.* Комедии. СПб., 1908. С. 47—89).

[6] Синеаст (фр. cinéaste) — знаток киноискусства, кинематографист.

ОЧЕРКИ О ФИНЛЯНДИИ

ФИНЛЯНДИЯ. К РОДНЫМ КРАЯМ
(с. 207)

Возрождение. 1935. 20 окт., № 3791. С. 3.

Летом 1935 г. Б. Зайцев с женой совершили поездку в Финляндию. Пригласила их Антонина (Нина) Геннадиевна Кауше, родственница В. А. Зайцевой, проживавшая на своей вилле в Келломяки (нынешнее Комарово). Она поселила Зайцевых в пансионе, принадлежавшем П. С. Захарову и его супруге В. А. Поммер. Пансион находился также в Келломяки, в конце Морской улицы, неподалеку от Приморского шоссе (здание ныне в руинах). Оттуда Зайцевы совершили поездку на Валаам. Свое путешествие Зайцев описал в цикле очерков, которые под заголовком «Финляндия» печатались в «Возрождении» с 20 октября 1935 г. по 5 марта 1936 г. Впоследствии очерки, начиная со второго, составили главы книги «Валаам», вышедшей в Таллине в 1936 г. Очерк «К родным краям» (первый из цикла) не вошел в книгу.

Свое пребывание в Финляндии Зайцев описал также в автобиографическом романе «Древо жизни».

[1] Зайцев описал пансион в письме Ивану Бунину от 1 сентября 1935 г.: «Уже три недели живем вновь в Келломяках — в немолодом, огромном доме. <...> У нас две комнаты (и отдельный крытый балкон в цветах) выходят в зелень. Это была усадьба. Перед моим окном сад, яблони, цветы, дальше сосны, дорога — и море. Виден Кронштадт. Это очень волновало первое время. Теперь привыкли. Иван, сколько здесь России! <...> И весь склад жизни тут русский, довоенный» [11, 93].

[2] Морской собор святителя Николая Чудотворца — самый крупный морской собор Российской империи. Заложен в 1903 г., освящен в 1913 г. Закрыт в 1929 г., возвращен церкви в 2002 г.

[3] Андреевский собор, в котором св. прав. Иоанн Кронштадтский служил с 1855 по 1908 г., был снесен в 1932 г., и Зайцев видеть его не мог. Видимо, он наблюдал другой храм.

[4] Речь идет о массовых расправах матросов над офицерами Балтийского флота в марте 1917 г., сопровождавшихся изощренным зверством. В частности, в Кронштадте были убиты, по разным данным, от 40 до 200 кадровых моряков.

[5] Имеется в виду Кронштадтское восстание — антибольшевистский мятеж гарнизона Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота в феврале-марте 1921 г. Подавлен частями Красной армии, погибло более тысячи восставших; около семи тысяч бежали в Финляндию по льду Финского залива.

[6] Заключительные строки стихотворения А. Белого «Родине» (1917).

[7] Во время волны репрессий после убийства С. М. Кирова НКВД проведена операция по «выселению контрреволюционного элемента из Ленинграда и пригородных районов в отдаленные районы страны». Всего в 1935 г. из Ленинграда и Ленинградской области были выселены около сорока тысяч так называемых «бывших людей».

[8] Раяйоки — финское название реки Сестры, по которой проходила советско-финская граница в 1918—1940-х гг., и одноименной пограничной железнодорожной станции (ныне не существует).

[9] Хозяин пансиона, Пантелеймон Степанович Захаров (1875—1948) — акварелист, график. В годы Первой мировой войны попал в немецкий плен. После революции жил в поселке Териоки. Член Общества русских художников в Финляндии, участвовал в его выставках.

[10] Куоккала — нынешнее Репино.

[11] Вот как описывает поездки на границу В. А. Зайцева в письме к В. Н. Буниной: «Были два раза у границы. Солдат нам закричал: "Весело вам?" Мы ответили: "Очень!" Он нам нос показал, а я перекрестилась несколько раз. Очень все странно и тяжко, что так близко Россия, а попасть нельзя. Но люди здесь очень, очень свои. Вообще Россию чувствуешь, прежнюю» [6, 460].

[12] В конце 1920-х гг. начались выселения финских деревень под предлогом очистки пограничной полосы от «неблагонадежного» населения. С 1928 по 1935 г. из Ленинградской области было выслано в Сибирь и в Среднюю Азию около 60 тыс. человек. В домах высланных размещали красноармейцев.

[13] Первая строфа песни «Укажи мне такую обитель...», текст которой является отрывком из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858). Была распространена среди революционно-народнической интеллигенции. У Некрасова: «*Назови* мне такую обитель...».

[14] Серия очерков И. Л. Солоневича «Россия в концлагере», впоследствии объединенных в книгу, печаталась в газете «Последние новости» в 1935—1936 гг. В 1935 г., во время поездки Зайцева, И. Солоневич проживал в Хельсинки.

ВАЛААМ
(с. 212)

Иллюстрированная Россия. 1935. 21 дек, № 52. С. 1—3.

В августе 1935 г. Зайцевы, получив рекомендательное письмо от митрополита Евлогия к валаамскому игумену Харитону, совершили поездку на Валаам, где провели девять дней. «Все как в сказке, — писала В. А. Зайцева В. Н. Буниной 2 августа 1935 г. — Б<орис> доволен, тихо улыбается. Познакомились с дивными старцами схимонахами» [6, 460].

Настоящий очерк, одноименный книге Зайцева («Валаам», 1936), является самостоятельным текстом, подготовленным специально для «Иллюстрированной России». Публикация в журнале сопровождалась фотографиями видов Валаама и фото четы Зайцевых у пансиона Поммер-Захарова в Келломяки.

С началом Зимней войны и бомбардировок Валаама Б. Зайцев опубликовал также заметки о Валааме «Дни: Былое. Девятнадцатый век. Теперь» (Возрождение. 1939, 29 дек.; [11, 330—334]), где описал историю монастыря и его современные бедствия.

<У ЗАВЕТНОЙ РОДНОЙ ЧЕРТЫ>
(с. 215)

Заря. 1935. 10 дек., № 335. С. 2.

В газетной публикации под заглавием «У заветной родной черты» следуют подзаголовки «На заброшенной могиле Леонида Андреева. — Во что переделаны репинские “Пенаты”? — Пульс эмигрантской мысли! — Любопытная система “бродячих лекций”» и «От парижского корреспондента “Зари”». Подпись под текстом — В. Унковский.

Материал представляет собой рассказ Зайцева, записанный корреспондентом, что позволяет поместить его в раздел произведений писателя о Финляндии.

Унковский Владимир Николаевич (1888—1964) — доктор медицины, журналист, писатель, общественный деятель. В мировую войну врач военно-санитарного поезда. В 1920 г. эмигрировал через Галлиполи и Константинополь в Югославию, затем работал врачом во французской колонии Дагомее. В 1925 г. приехал в Париж. Генеральный секретарь Харьковского землячества в Париже (с 1936). Многие годы был корреспондентом дальневосточного журнала «Рубеж».

Текст в оригинале неоправданно разбит на абзацы (почти каждая фраза дана с красной строки), изобилует многочисленными неоправданными двоеточиями, отточиями, тире, непарными кавычками; половина текста выделена полужирным шрифтом. В настоящей публикации разбивка на абзацы и расстановка пунктуационных знаков упорядочены для придания тексту целостности и ясности.

[1] В Ваммельсуу (нынешнее Серово) находилась дача Л. Андреева. Писатель скончался 12 сентября 1919 г. и был похоронен на кладбище Метсякюля (Молодежное), в 9 километрах от Териоки (Зеленогорска). В 1956 г. его останки были перезахоронены в г. Ленинграде на Литераторских мостках Волковского кладбища.

[2] В 1924 г. разрушающееся здание дачи Андреева было продано на снос.

[3] Вера Ильинична Репина (1872–1948) – старшая дочь художника. Занималась живописью, театральным искусством, пением. С 1914 г. с перерывами жила в имении отца Пенаты (где И. Е. Репин провел последние 30 лет жизни). После его кончины в 1930 г. стала хранительницей усадьбы и архива. С началом советско-финской войны переехала в Хельсинки, где скончалась в 1948 г. Здание усадьбы Репина было разрушено в 1944 г., восстановлено. В 1962 г. в нем открыт Дом-музей Репина.

[4] Эти лекции освещались в прессе; в частности, «Журнал содружества» (1935, № 9 (33), сент.) сообщал: «В среду 11 сентября в помещении В<ыборгского> Р<усского> р<еального> лицея выступил с докладом на тему "Русский человек в современности" известный писатель Б. К. Зайцев. <...> Русским людям, — считает докладчик, — нужно многое пересмотреть и переоценить, что многие уже и сделали. Самую большую ценность и единственный верный путь для русских Б. К. Зайцев видит в православии, в православной церкви. Таково краткое содержание доклада. Перед началом доклада Б. К. Зайцева встретили приветственным словом В. И. Рейхерт от имени Купеческого общества и Л. М. Линдеберг от имени редакции "Журнала Содружества"» (*Азаров Ю. А., Хямяляйнен Э.* Хроника литературной жизни русского зарубежья. Финляндия (1918–1938) // Литературоведческий журнал. 2005. № 20. С. 306).

[5] Орешин Иван Ефремович (1877–?) – историк и филолог; эсер; заведующий трудовой школой и народным университетом в Кронштадте. Участник Кронштадтского восстания 1921 г., бежал в Финляндию, проживал в Териоки, где преподавал в реальном училище, позже преподавал русский язык в Русском лицее в Хельсинки. Приезжал в Келломяки читать лекции для русской диаспоры. Переписывался с Зайцевыми. В. А. Зайцева сообщает в дневнике 26.02.1944, что жена и дети Орешина погибли во время бомбардировки (Вера жена Бориса. Дневники Веры Алексеевны Зайцевой. 1937–1964 / Сост. О. А. Ростова. М., 2016. С. 101).

[6] Открытие «Русского купеческого общества в Гельсингфорсе» состоялось 1 января 1919 г., общество устраивало лекции и литературно-музыкальные вечера. Клуб общества существовал до 1938 г.

[7] Под «Эмигрантским» автор имеет в виду, скорее всего, общество «Русская колония в Финляндии». Оно было основано в Гельсингфорсе в 1918 г. с целью объединения проживающих в Финляндии русских эмигрантов и лиц русской национальности «на началах культурных, национальных и экономических». Общество открыло в Гельсингфорсе свою библиотеку, проводило благотворительные концерты и лекции.

[8] Литературно-философский кружок «Светлица» существовал в Хельсинки в 1930—1952 гг.; одной из организаторов и участницей его была поэтесса В. С. Булич (1898—1954).

[9] «Журнал Содружества» — литературно-общественный ежемесячник, издававшийся в Выборге Содружеством бывших учащихся Выборгского русского реального лицея и Выборгским культурно-просветительным обществом в 1933—1938 гг.

ФИНСКИЙ КРАЙ. В ЛЕСАХ
(с. 217)

Иллюстрированная Россия. 1936. 28 марта, № 14. С. 1—2.

[1] В действительности священник Георгий Гапон был убит 26 марта 1906 г. в дачном поселке Озерки.

[2] «Пан. Из бумаг лейтенанта Томаса Глана» (1894) — лирический роман норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859—1952) о величии и красоте природы и трагедии неразделенной любви. Его герой, лейтенант Томас Глан, вспоминает события, произошедшие два года назад на севере Норвегии. В частности, описывает три осенние «железные ночи» (так называются августовские ночи, когда наступают первые морозы).

[3] Вилла Кауше находилась недалеко от станции, к северу от железной дороги.

[4] Барон Николай Иосифович Корф (?—18.12.1925) — гофмейстер Высочайшего Двора, член совета при министре финансов Российской империи. Скончался и похоронен в Келломяки, могила не сохранилась (Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1999. Т. 3. М., 2001. С. 477).

[5] Анри Франсуа Жозеф де Ренье (1864—1936) — французский поэт и прозаик, член Французской академии, близкий к символистам. В прозе развивал стилистику «галантного» XVIII в. В частности, герой его рассказа «Маркиз Д'Америкер» носит трость с золотым набалдашником.

[6] Бажанов Филадельф Геннадьевич (1865—1931) — брат Антонины Геннадьевны (в замужестве Кауше), купец 1-й гильдии, директор-распоря-

дитель товарищества «Ф. Г. Бажанов и А. П. Чувалдина», член Совета правления Санкт-Петербургского общества взаимного кредита и совета торговой школы им. императора Николая II. Могила на кладбище в Келломяки не сохранилась.

[7] Св. мученик Филадельф (память 23 мая по н. ст.) вместе с братьями Алфием и Киприаном был замучен в городе Лентини на Сицилии в 251 г. Их мощи обретены в 1517 г.

ФИНСКИЙ КРАЙ. НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ (с. 221)

Иллюстрированная Россия. 1936. 23 мая, № 22. С. 1, 2, 4

[1] Церковь Казанской иконы Божией Матери заложена в 1910 г., освящена в 1915 г. (архитектор Н. Н. Никонов). После провозглашения независимости Финляндии в 1917 г. храм принадлежал Финляндской автономной церкви, подчинявшейся Московскому патриархату, но в 1923 г. перешедшей под омофор Вселенского Константинопольского патриарха и принявшей григорианский календарь (новый стиль). Закрыт в 1939 г.; возвращен Церкви в 1989 г.

[2] Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — поэт, прозаик и переводчик. В 1911—1912 гг. в издательстве «Шиповник» опубликовано собрание его сочинений в шести томах.

[3] Гржебин Зиновий Исаевич (1877—1929) — художник-карикатурист, график, издатель. Вместе с издателем и редактором Соломоном Юльевичем Копельманом (1880—1944) в 1906 г. основал частное издательство «Шиповник». В 1906—1911 гг. здесь вышли три тома рассказов Зайцева. Издательство выпускало одноимённый литературно-художественный альманах (1907—1917), ведущую роль в котором играл Л. Н. Андреев. Зайцев был редактором первых трех выпусков и постоянным автором альманахов. См.: *Ромайкина Ю. С.* Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник» (1907—1917): тип издания, интегрирующий контекст: дисс. ... канд. филол. наук. Саратов, 2016.

[4] Дача Андреева была построена рядом с финской деревней Ваммельсуу на берегу Черной речки в 1907 г. Строительством руководил архитектор А. А. Оль (муж сестры писателя). Л. Андреев принимал участие в проектировании дачи и назвал ее «Вилла Аванс», поскольку она была построена на авансы от издателей. После смерти Андреева продана за долги и разобрана.

[5] Андреева Анна Ильинична (урожд. Денисевич, в первом браке Карницкая; 1885—1948) — вторая жена (1908) Л. Н. Андреева. Дочь от первого мужа — Нина, дети от Л. Андреева — Валентин, Вера, Савва. В эмиграции с 1920 г., жила в Германии, Италии, Чехословакии. Занималась изданиями произведений Л. Н. Андреева в переводах на европейские языки, поста-

новками пьес мужа и др. С 1925 г. во Франции, жила в Париже. Держала «чайную» при парижской студии Иды Рубинштейн. Переехала в США, где скончалась.

[6] Андреева (урожд. Пацковская) Анастасия Николаевна (1851—1920). Андреев посвятил матери пьесу «К звездам» (1905) и под именем Мацневой вывел в автобиографической пьесе «Младость».

[7] Зайцев не уточняет, кого именно из сыновей имеет в виду. У Андреева было двое сыновей от первого брака (с А. М. Велигорской): Вадим (1902—1976) и Даниил (1906—1959).

[8] Карницкая Нина Константиновна (1906—1987) — дочь от первого брака Анны Ильиничны Андреевой; скончалась в Париже (см.: Русская мысль. 1987. 18 сент.).

[9] Усадьба Мариоки, находившаяся близ Черной речки в селении Метсякюля (Молодежное), была построена в 1890-х гг. Е. Э. Картавцевым, которые назвал ее в честь жены — писательницы Марии Всеволодовны Крестовской. После ее смерти в усадьбе была построена церковь во имя иконы «Всех Скорбящих Радость» (арх. И. Фомин). После революции здание усадьбы было разобрано и перевезено в Финляндию, а около церкви образовалось небольшое православное кладбище, где и был похоронен Леонид Андреев. В 1956 гг. церковь снесена, кладбище разорено. В настоящее время территория имеет статус исторического парка «Марьина гора».

[10] 12 сентября 1919 г. Леонид Андреев скончался от порока сердца в местечке Мустамяки, на даче у своего друга, врача и литератора Ф. Н. Фальковского.

ДНИ
<Келломяки. Кирьола. Гельсингфорс>
(с. 225)

Возрождение. 1940. 9 февр., № 4222. С. 4.

[1] Спасо-Преображенская церковь в Куоккала (Репино) построена в 1917 г. на месте прежнего сгоревшего храма (постройки 1894 г.). Сгорела в 1939 г. в ходе боевых действий.

[2] Жан-Батист Жюль Бернадот (впоследствии Карл XIV Юхан; 1763—1844) — маршал, участник наполеоновских войн. С 1810 г. — регент Щвеции, с 1818 г. — король Швеции и Норвегии, основатель династии Бернадотов. В 1812 г. Бернадот порвал отношения с Францией и заключил союз с Россией.

[3] Кирьола, или Ала Кирьола, — усадьба на территории современного пос. Ландышевка Выборгского района. В 1894 г. часть усадьбы приобрела Эдла Нобель, вдова предпринимателя Людвига Нобеля. В 1903—1904 гг. архитектор Г. Нюстрем возвел здесь особняк с высо-

кой башней. В 1940 г.финская армия при отступлении взорвала здания усадьбы.

[4] В 1921 г. Э. Нобель уехала в Стокгольм, в поместье обосновались Г. Олейников и его супруга Марта (дочь Людвига и Эдлы Нобелей). Олейников Георгий Павлович (1864—1937) — врач-инфекционист, приват-доцент Военно-медицинской академии. 6 января 1937 г. отправился на остров проверить теплицу и погиб, провалившись под лед. Марта Людвиговна Нобель-Олейникова (1881—1973) — врач, благотворительница, общественный деятель. В 1939 г. покинула усадьбу и переехала в Швецию.

[5] Бьёрке, Койвисто — шведское и финское названия архипелага и поселения (с 1948 г. — город Приморск).

[6] Шведский застольный этикет предполагает особый порядок тостов. После того, как хозяин дома произносит «Скооль!» («Ваше здоровье!»), гости чокаются, обмениваясь взглядами.

[7] Митрополит Александр (в миру Александр Карлович Паулус; 1872—1953) — священник Рижской епархии; епископ Порховский (1918); архиепископ Таллинский и Эстонский (1920). С 1923 г. — митрополит Таллинский и всей Эстонии, первый предстоятель Эстонской апостольской православной церкви (Константинопольского патриархата). Б. Зайцев встретил Владыку, возвращавшегося с крупного торжества Финляндской православной церкви: 21 сентября 1935 г. в Сортавальском Петропавловском кафедральном соборе состоялась хиротония протоиерея Александра Карпина во епископа Выборгского. Наряду с митрополитом Александром для совершения хиротонии был приглашен настоятель Псково-Печерского монастыря архиепископ Печерский Николай (Лейсман).

[8] Б. Зайцев цитирует эпиграф к повести И. Бунина «Господин из Сан-Франциско», имеющий основой цитату из Апокалипсиса: «горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой» (Откр 18: 10).

[9] С началом советско-финской войны Н. Кауше выехала в Стокгольм.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

НАШ ЯЗЫК
(с. 233)

Народоправство. Еженедельный журнал. 1917. 7 дек, № 17. С. 7—8.

Републиковано: Москва. 2017. № 3. С. 183—188 (Предисл. и коммент. А. М. Любомудрова).

Журнал «Народоправство», орган Московской просветительской комиссии при Временном комитете Государственной думы, редактировался другом Зайцева писателем Г. И. Чулковым, выходил с июня 1917 по февраль 1918 г. На его страницах печатались московские ученые, философы, литераторы (среди которых А. Толстой, Г. Чулков, Вл. Ходасевич, А. Ремизов, Вяч. Иванов), обсуждались последствия революции, вопросы государственного и культурного строительства новой России.

Реформа правописания готовилась задолго до революции: она обсуждалась в Орфографической комиссии, созданной в 1904 г. при Академии наук и включавшей в себя видных лингвистов, которые и подготовили ее проект. С самого начала обсуждения проекта российское общество разделилось: реформу поддержали ученые-филологи, преподаватели школ, но резко возражали писатели и критики: они рассматривали традиционную орфографию как национальное достояние. В императорской России реформа была приостановлена, но Временное правительство не мешкая взялось за ее реализацию: 11 мая 1917 г. было утверждено «Постановление совещания при Академии наук под председательством акад. А. А. Шахматова по вопросу об упрощении русского правописания» (в нем перечислялись все изменения); вслед за тем циркуляры министра народного просвещения А. А. Мануйлова от 17 мая и 22 июня предписывали попечителям учебных округов перевести школы на новое письмо.

Большевистская власть посчитала дело ломки прежней орфографии первоочередным: уже 23 декабря 1917 г. нарком просвещения А. В. Луначарский выпустил декрет, предписывающий всем государственным изданиям использовать новое правописание; 10 октября 1918 г. вышел еще один декрет Совнаркома «О введении новой орфографии», окончательно закрепивший реформу. Таким образом, Зайцев полемизирует с пунктами «упрощения русского правописания», принятыми еще Временным правительством, — за две недели до их официального подтверждения правительством советским.

[1] Аксан сирконфлекс (*фр.*) — диакритический знак над гласной, обозначает открытый характер звука.

[2] Ряд ученых полагает, что различие в выговоре букв «е» и «ѣ» исчезло в XIX в., другие утверждают, что особое произношение «ятя» сохранялось в речи и в начале XX в. В ряде диалектов особый оттенок звука «е» на месте прежнего «ятя» наблюдается до сих пор.

[3] На рубеже XX в. во Франции по поручению Министерства просвещения филологи П. Мейер и Ф. Брюно разработали проекты реформы правописания. В результате дискуссии, в которой с критикой реформы выступили видные писатели, Французская академия не дала санкцию на ее осуществление. Б. Зайцев имеет в виду статью французского писателя и критика Реми де Гурмона (1858–1915) «Попытка упрощения орфографии» («Essai

sur la simplification de l'orthographe») в его книге «Философские прогулки» (Париж, 1905).

[4] Кассо Лев Аристидович (1865—1914) — министр народного просвещения в 1910—1914 гг., при котором был усилен контроль над учебными заведениями и деятельностью педагогов.

[5] Речь идет о Н. А. Морозове (1854—1946), который пересмотрел всю библейскую хронологию, в частности, относил книги Пророков к V в. н. э.; он же вынашивал идеи составления «рационального алфавита», считал ненужными буквы Ѣ и Ъ, предлагал заменить знак точки звездочкой, ликвидировать прописные буквы и т.п.

[6] Аптекарь Омэ — персонаж романа Г. Флобера «Госпожа Бовари», олицетворяющий торжествующую пошлость. Глупый и невежественный, он претендует на роль светоча мысли и носителя просвещения.

[7] Отменялись буквы Ѣ, Ѳ, I; устанавливалось единое написание окончаний для именительного и винительного множественного числа всех родов (напр., вместо *добрыя дѣла, синія рѣки — добрые дела, синие реки*).

[8] В современных украинских изданиях название пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом» (1879) переводится как «Ляльковий дім» или «Ляльковий будинок».

[9] За реформу, например, высказался Всероссийский съезд преподавателей русского языка и словесности, проходивший в декабре 1916 — январе 1917 г. в Москве.

[10] В условиях наступившей диктатуры публичный протест становился все более проблематичным. Откликнулся Вяч. Иванов, написавший для известного сборника статей о русской революции «Из глубины» (1918) свои заметки с точно таким же названием — «Наш язык» (очевидно, сознательно ориентируясь на Б. Зайцева). Возражая против «произвольных новшеств», поэт-символист говорит о духовном смысле реформы. Он видит в ней искусственное обмирщение языка, намерение вытеснить из него церковнославянские элементы. Другие оставили нелицеприятные суждения о реформе в дневниках — как, например, Александр Блок или Иван Бунин, записавший 24 апреля 1918 г: «По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевицкого правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию» («Окаянные дни»). Позже политический, историко-культурный и духовный смысл реформы был глубоко проанализирован в работах Ивана Ильина, арихепископа Аверкия (Таушева).

Подробнее см.: *Любомудров А. М.* К 100-летию реформы правописания. Судьба русского языка в публикациях журнала «Народоправство» // Вестник РФФИ. Гуманитарные и обществ. науки. 2018. № 1. С. 97—110.

ЗАВЕТ
(с. 236)

Помощь: Бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. 1921. Вып. 2, 22 авг. С. 2.

Газета «Помощь» издавалась в Москве под редакцией М. А. Осоргина, вышло три номера (1921, № 1, 16 авг. — № 3, 29 авг.). Подробнее о деятельности Помгола и об участии в нем Б. Зайцева см. его очерк «Далекое <О Помголе>» в наст. изд.

[1] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

[2] В 1892 году В. В. Вересаев был на практике в Донбассе, охваченном эпидемией холеры. Его наблюдения отразились в повести «Без дороги» (1894), где дремучий народ обвиняет врачей в распространении холеры и убивает молодого доктора, приехавшего лечить больных крестьян.

[3] В. Г. Короленко принимал деятельное участие в помощи населению голодающих районов России в начале 1890-х гг., написал об этом цикл очерков «В голодный год» (1893). В 1917—1921 гг. организовывал сбор продовольствия для детей Москвы и Петрограда, в 1921 г. избран почетным председателем Всероссийского комитета помощи голодающим. В том же году участвовал в составлении листовок Полтавского общества помощи пострадавшим от неурожая, по просьбе М. Горького работал над воззванием «К честным людям за границей», где призывал помочь России, которую посетило «страшное бедствие» — небывалый голод (впервые опубликовано: Пульс-информ. 1991. № 1. С. 57—58).

[4] «И маленьким литератором приятно быть...» — реплика Сорина в пьесе А. Чехова «Чайка».

[5] Давая согласие стать почетным председателем Помгола, В. Г. Короленко отправил в Комитет телеграмму: «Я болен и слаб, силы мои уже не те, какие нужны в настоящее время, тем не менее я глубоко благодарен товарищам, вспомнившим обо мне в годину небывалого еще бедствия, и постараюсь сделать все, что буду в силах».

ПУШКИН
(с. 238)

День русской культуры. Однодневная газета. Париж, 1926. 8 июня. С. 3. Републиковано: Лит. Россия. 1991. 8 февр. С 14.

Начиная с 1925 г. в русском зарубежье проводился День русской культуры, приуроченный к дню рождения Пушкина. Проводились торжественные заседания, литературно-музыкальные вечера, издавались специальные выпуски газет и журналов.

[1] Открытие памятника Пушкину в Москве (работы А. М. Опекушина) 6 июня 1880 г. привлекло множество москвичей, торжественные собрания и праздничные мероприятия проходили в Московском университете и зале Дворянского собрания в течение нескольких дней. С речами о творчестве Пушкина и его месте в русской культуре выступали И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, И. С. Аксаков и другие.

ЯВЛЕНИЕ ПУШКИНА
(с. 239)

Иллюстрированная Россия. 1937. 6 февр. № 7. <С. 31>.

Републиковано: Волга. 1989. № 6. С. 6–7.

[1] Из автохарактеристики Пушкина в стихотворении «Юрьеву» (1921): «А я, повеса вечно-праздный, / Потомок негров безобразный, / Взращенный в дикой простоте, / Любви не ведая страданий, / Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний...».

[2] «Евгений Онегин», гл. 4, строфа 35.

[3] Ариель — в средневековой традиции имя духа (или ангела). Такое имя носит дух радости в трагедии Шекспира «Буря»; нежный, светлый дух в «Фаусте» Гете.

[4] В феврале 1937 г. в СССР масштабно отмечалось 100-летие гибели А. С. Пушкина. Было издано шеститомное собрание сочинений, вышли книги, кинофильмы, музыкальные сочинения и т. п. См.: *Александров А.* Подготовка и проведение пушкинского юбилея в СССР // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии М.; Л., 1937. [Вып.] 3. С. 492–517.

ПУШКИН
(*Перечитывая его*)
(с. 240)

Русская мысль. 1949. 1 июня, № 141. С. 3.

Републиковано в изданиях: Пушкин: (Исследования и материалы). Т. XV. Л., 1995. С. 297–300 (публикация Л. Н. Назаровой); А. С. Пушкин: Pro et contra. Антология. Т. 2. СПб.: РХГИ, 2000. С.260–264.

[1] Из стихотворения «Поэт» (1827).

[2] «Евгений Онегин», гл. 4, строфа 35.

[3] Из стихотворения «Осень» (1833).

[4] У Тютчева: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» («29-ое января 1837»).

ТУРГЕНЕВ И МОРУА
(с. 244)

Возрождение. 1930. 27 марта, № 1759. С. 4.

Републ. в комментариях в кн.: *Зайцев Б. К.* Жуковский. Жизнь Чехова. Тургенев. Лит. биографии / Сост. А. Д. Романенко. М., 1994. С. 527–529.

Отклик на лекцию Моруа о Тургеневе (текст которой был напечатан в еженедельнике «Revue Hebdomadaire») опубликовал также Г. Адамович (Последние новости. 1930, 3 апр. С. 2).

Андре Моруа (наст. имя Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог; 1885–1967) – французский писатель, автор психологических романов и романизированных биографий. Член Французской академии (1938). Высоко ценил русскую классику, писал статьи о Толстом, Чехове, Гоголе, Тургеневе. Автор книги «Тургенев» (1931; российское издание – М., 2001).

[1] Мазон Андре (1881–1967) – французский славист, руководитель Института славяноведения в Париже (с 1937), вице-президент Международного комитета славистов (1958–1967). Защитил диссертацию о творчестве Гончарова (1914), опубликовал хранившиеся в Париже рукописи Тургенева, автор работ о «Слове о полку Игореве» и творчестве русских классиков.

[2] См. комментарий к очерку «Смерть Тургенева», с. 598–599.

[3] Котерия (фр. coterie) – кружок, группа лиц с особыми частными интересами.

ТУРГЕНЕВ НА СЪЕЗЖЕЙ
(с. 246)

Жизнь и суд. 1930. 13 апр., № 1. С. 2–3.

Очерк предварялся текстом от редакции: «Б. К. Зайцев работает в настоящее время над новой книгой о Тургеневе. В печатаемом ниже очерке писатель с присущим ему мастерством передает любопытный эпизод из жизни Тургенева, когда автор “Записок охотника” оказался в роли государственного преступника и провел некоторое время в петербургском арестном доме, или как он тогда назывался – на “съезжей”».

Поводом для ареста И. С. Тургенева (с 16 апреля по 16 мая 1852 г.) послужил его некролог о Гоголе, предназначавшийся для «С.-Петербургских ведомостей», но запрещенный цензурой; он был напечатан в «Московских ведомостях» 13 марта 1852 г. под заголовком «Письмо из Петербурга» (текст см.: *Тургенев И. С.* Гоголь // Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников / Ред., предисл. и коммент. С. И. Машинского. М., 1952. С. 537–538).

[1] С осени 1851 г. Гоголь жил в Москве в доме своего друга графа Александра Петровича Толстого (1801–1873), впоследствии – члена Государственного совета, Обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода (1856–1862).

[2] Знакомство при посредничестве актера Михаила Семеновича Щепкина (1788–1863) состоялось 20 октября 1851 г.

[3] Мемуары Тургенева были написаны летом 1869 г. и в цикле его «Литературных и житейских воспоминаний» опубликованы в том же году в первом томе «Сочинений И. С. Тургенева». См.: *Тургенев И. С.* Гоголь. С. 531–540.

[4] Боткин Василий Петрович (1810–1869) – литератор, автор статей по русской и западноевропейской литературам, философии. Друг В. Г. Белинского и Тургенева. Феоктистов Евгений Михайлович (1829–1898) – литератор, журналист, историк; в 1850-х гг. сотрудничал в газете «Московские ведомости» и в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник».

[5] Цензор А. В. Никитенко в своем «Дневнике» 20 апреля 1852 г. записал: «Впечатление на всех от заключения Тургенева самое тяжелое. <...> В повелении полиции арестовать Тургенева выставлена причиною не статья, а обстоятельства, в каких она напечатана. <...> Председатель цензурного комитета (М. Н. Мусин-Пушкин.– *Ред.*) объявил, что не будет пропускать статей в похвалу Гоголя, "лакейского писателя". Он запретил и представленную ему редактором "С.-Петербургских ведомостей" статью... <...> Тургенев, увидя в этом просто прихоть председателя, отправил свою статью в Москву, где она и явилась в печати» (*Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. М., 1955–1956. Т. 1. С. 351).

[6] Там же. С. 350. Запись 17 апреля 1852 г.

[7] Из той же записи А.В. Никитенко.

[8] Из письма к П. Виардо 1 мая 1852 г. (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 2. М., 1986. С. 391).

[9] Из письма Г. Флоберу 24 января 1879 г. (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 12, кн. 2. Л., 1967. С. 338).

[10] В своем дневнике от 2 марта 1872 г. Э. Гонкур приводит рассказ Тургенева на обеде у Флобера: «Он рассказывает нам, как после издания "Записок охотника" ему пришлось месяц просидеть в тюрьме, причем камерой ему служил архив полицейского участка, и он мог вволю порыться в секретных делах. Штрихами художника и романиста он рисует начальника полиции; однажды, когда Тургенев напоил его шампанским, тот заявил, взяв писателя за локоть и поднимая свой бокал: "За Робеспьера!"» (*Эдмон Жюль де Гонкур.* Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы: В 2 т. Т. 2. М., 1954. С. 151).

[11] Повесть «Муму» Тургенев читал в Петербурге у своего дальнего родственника Александра Михайловича Тургенева (1772–1863).

УТЕШИТЕЛЬНИЦА
(с. 248)

Возрождение. 1930. 15 авг., № 1900. С. 3–4; 1930. 30 авг., № 1915. С. 3–4.

Данный очерк об отношениях Тургенева и графини Ламберт целиком основан на материале писем Тургенева. Ламберт Елизавета Егоровна (Георгиевна), урожд. Канкрина (1821–1883) – знакомая Тургенева; дочь министра финансов Е. Ф. Канкрина; жена генерала и графа И. К. Ламберта (1809–1879).

[1] Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт / Предисл. и примеч. Г. П. Георгиевского. М., 1915. В этом издании опубликованы 115 писем Тургенева 1856–1867 гг.

[2] Из письма к Е. Ламберт от 9 мая 1856 г. (Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт. С. 4). Далее все цитаты Зайцев приводит из этого издания.

[3] Дочь писателя от белошвейки А. Е. Ивановой – Пелагея (Полина) Ивановна Тургенева, в замужестве Брюэр (1842–1918). До восьми лет жила у матери Тургенева на правах крепостной. Затем отец отправил ее во Францию, где она воспитывалась в семье Полины Виардо и в частном пансионе. После смерти Тургенева Полина пыталась оспорить права его законной наследницы Виардо, но проиграла судебный процесс. Оставшись с маленькими детьми без средств к существованию, вынуждена была давать уроки музыки.

[4] Маслов Иван Ильич (1817–1891) – член Русского музыкального общества. В 1860 г. назначен управляющим Московской удельной конторой. Тургенев, познакомившийся с ним в 1843 г., останавливался в его квартире во время приездов в Москву и вел с ним постоянную переписку.

[5] Борисов Иван Петрович (1824–1871), орловский помещик, сосед и знакомый Тургенева, Фета и братьев Толстых; был женат на сестре Фета Н. А. Шеншиной.

[6] Толстой Николай Николаевич, граф (1823–1860) – автор очерков «Охота на Кавказе» (1857), высоко оцененных Тургеневым.

[7] Сезострис (1-я четв. II тысячелетия до н. э.) – упоминаемый Геродотом и другими античными авторами фараон, совершивший поход на раннюю Скифию.

НОВЫЙ ТУРГЕНЕВ
(с. 259)

Возрождение. 1931. 26 февр., № 2095. С. 3–4.

[1] Из письма редактору-издателю одесской газеты «Правда» И. Ф. Доливо-Добровольскому (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 16, кн. 1. М., 2016. С. 45).

[2] Первая часть (51 стихотворение в прозе) была напечатана в журнале «Вестник Европы» № 12 за 1882 г. после настойчивых просьб к Тургеневу

со стороны редактора журнала М. М. Стасюлевнча, посетившего писателя в Буживале 31 июля 1882 г.

[3] Цитаты из стихотворения в прозе «Как хороши, как свежи были розы...» (1879).

[4] Французский славист Андре Мазон (1881—1967) опубликовал хранившиеся в Париже рукописи стихотворений в прозе Тургенева отдельной книгой параллельно с французскими переводами, выполненными Шарлем Саломоном (1863—1936): *Tourguénev.* Nouveaux poèmes en prose. Texte russe publié par André Mazon; Traduction de Charles Salomon. Paris: J. Schiffrin, 1930.

[5] Точное название — «У-а... У-а!».

[6] Полностью процитировано стихотворение в прозе «Nessun maggior dolore» («Нет большей скорби»).

[7] Из стихотворения в прозе «Куропатки» (1882).

[8] Из стихотворения в прозе «Памяти Ю. П. Вревской» (1878). Баронесса Юлия Петровна Вревская (урожд. Варпаховская; 1841—1878) — жена генерала П. А. Вревского, убитого в 1858 г. на Кавказе. Тургенев был с нею знаком с 1873 г. и состоял в переписке вплоть до ее гибели. В 1877 г. отправилась на Балканы в действующую армию в качестве сестры милосердия, 24 января 1878 г. умерла от тифа в госпитале в г. Бяле (Болгария).

[9] Стихотворение «Дрозд II», по мнению текстологов, написано в августе не 1878-го, а 1877-го г. (см: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 10. С. 519).

[10] Из стихотворения в прозе «Когда меня не будет...» (1878).

СМЕРТЬ ТУРГЕНЕВА
(с. 264)

Возрождение. 1931. 27 сент., № 2308. С. 2.

В этом наброске имеются текстовые совпадения с книгой «Жизнь Тургенева» (заключительная глава «Судьба»), но большей частью текст является оригинальным.

[1] Шарко Жан-Мартен (1825—1893) — французский врач, основоположник невропатологии и психотерапии. Основатель кафедры психиатрии в Парижском университете. Член Парижской Академии наук (с 1863 г.). В 1882—1883 гг. лечил Тургенева.

[2] Из письма Ж. А. Полонской 8 (20) апреля 1882 г. (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 13, кн. 1. Л., 1968. С. 233—234). Полонская Жозефина Антоновна (1844—1920) — скульптор; вторая жена Я. П. Полонского; Полонский Яков Петрович (1819—1898) — поэт, друг Тургенева и автор мемуаров о нем.

[3] Из письма Ж. А. Полонской 27 мая (8 июня) 1882 г. (Там же. С. 269).

[4] Из письма Я. П. Полонскому 30 мая (11 июня) 1882 г. (Там же. С. 271).

[5] Из писем Полонской 2 и 17 июня (ст. ст.) 1882 г. (Там же. С. 275, 287).

[6] Савина Мария Гавриловна (1854—1915) — выдающаяся русская актриса, дружившая и переписывавшаяся с Тургеневым. После пятилетнего романа в 1882 г. оформила брак с офицером Никитой Никитичем Всеволожским (1846—1896).

[7] Цитата из письма М. Савиной к Тургеневу, приведенная Тургеневым в ответном письме к Савиной от 7 (19) июня 1882 г. (Тургенев и Савина. Пг., 1918. С. 48).

[8] Из письма к М. Г. Савиной 17 (29) авг. 1882 г. (Там же. С. 52).

[9] Слова Тургенева Зайцев цитирует по воспоминаниям А. А. Мещерского «Предсмертные часты И. С. Тургенева» (впервые: Новое время. 1883. 3 сент., № 2629) и В. В. Верещагина «Очерки, наброски, воспоминания» (СПб., 1883. С. 141).

ТУРГЕНЕВ
(*К 50-летию кончины*)
(с. 268)

Возрождение. 1933. 3 сент., № 3015. С. 4.

[1] Автоцитата из книги Б. Зайцева «Жизнь Тургенева» [5, 174].

[2] Имеются в виду слова Гоголя из письма Н. Я. Прокоповичу от 25 января (н. ст.) 1837 г.: «Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 11. М.; Л., 1952. С. 84—85).

[3] В отеле «Друо» в Париже происходили регулярные аукционы произведений искусства. В 1870-х гг. Тургенев был их постоянным посетителем.

[4] В 1870-х гг. Тургенев сблизился с революционными деятелями народнического движения. С 1872 г. поддерживал дружеские отношения с идеологом народничества П. Л. Лавровым. Тургенев помогал средствами основанному Лавровым журналу «Вперед!» (Цюрих; Лондон, 1873—1877) — органу «социально-революционной молодежи»; в частности, в 1874 г. прислал 500 франков.

[5] Точные названия упомянутых рассказов: «Рассказ отца Алексея» (1877), «Стук... Стук... Стук!..» (1870).

ТУРГЕНЕВУ
(с. 272)

Русская мысль. 1968. 14 нояб., № 2712. С. 7.

Заметка написана к 150-летию со дня рождения И. С. Тургенева.

[1] Памятник Тургеневу в Орле на холме у Оки открыт 4 ноября 1968 г. по случаю 150-летнего юбилея писателя (скульптор Г. П. Бессарабский). Ранее, в 1958 г. на железнодорожном вокзале Орла установлен памятник, изображающий Тургенева-охотника (скульптор Л. И. Курнаков).

[2] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. / [Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы. (Пушкинский дом)]. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960–1968.

[3] Эта запись в памятной книжке матери писателя, Варвары Петровны, процитирована в издании: Каталог выставки в память И. С. Тургенева в Императорской академии наук. Март 1909. 2-е изд. СПб., 1909. С. 83.

ТУРГЕНЕВ
(с. 273)

Новое русское слово. Нью-Йорк. 1969. 5 янв., № 20390. С. 3.

Вступительное слово Б. Зайцева на вечере Союза русских писателей и журналистов в Париже, посвященном 150-летию со дня рождения Тургенева и состоявшемся 15 дек. 1968 г.

[1] Имеется в виду статья критика Н. В. Шелгунова «Философия застоя», в которой он утверждал, что в «Войне и мире» главенствует «философия застоя, убийственной несправедливости, притеснений и эксплуатации <...> Результат, к которому приходит граф Толстой, конечно, социально вредный», и признавал: «счастье, что граф Толстой не обладает могучим талантом» (Дело. 1870. № 1).

[2] Н. Добролюбов иронизировал над образом героини повести «Первая любовь» в статьях «Стихотворения Ивана Никитина» («никто такой женщины никогда не встречал, да и не желал бы встретить»: Современник. 1860. Кн. IV) и «Луч свете в темном царстве» («нечто среднее между Печориным и Ноздревым в юбке»: Современник. 1860. Кн. X).

[3] История рода Лаврецких и описание жизни героя до начала действия романа занимают пять глав (VIII–XII). Коллективное чтение и обсуждение «Дворянского гнезда» состоялись в 1858 г., присутствовали П. В. Анненков, И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, В. П. Боткин, И. И. Панаев, С. С. Дудышкин, Н. Н. Тютчев, И. И. Маслов, М. А. Языков, А. Ф. Писемский и А. В. Дружинин. Однако, по воспоминаниям, писателю советовали добавить главу не о предках Лаврецкого, но о детстве и воспитании Лизы Калитиной, что он и выполнил: «Анненкову я обязан тем, что вставил в “Дворянское гнездо” целую главу, выясняющую, как сложился характер Лизы. Анненков убедил меня, что без этого исход моего романа остается непонятным» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М. : Наука, 1981. Т. 6. С. 382).

Мнение Зайцева о том, что вставка биографии Лаврецкого сделана «по совету друзей» и отсутствовала в первоначальном рукописном тексте романа, противоречит выводу комментаторов: «В первоначальной редакции приводилось значительно больше подробностей из семейной хроники Лаврецких, чем вошло в окончательный текст» (Там же. С. 398).

[4] «Так я желаю, так приказываю» — начало латинской крылатой фразы «Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas!» («Так хочу, так велю, пусть доводом будет моя воля»), восходящей к «Сатирам» Деция Юния Ювенала.

[5] О переписке с графиней Е. Е. Ламберт см. очерк Б. Зайцева «Утешительница» в наст. изд.

[6] Жакку Сигизмунд (Sigismond Jaccoud; 1830—1913) — известный французский врач-терапевт, с 1877 г. — член Медицинской академии, автор ценных научных трудов по медицине внутренних органов.

Н. С. ЛЕСКОВ
(*К столетию рождения, заметки*)
(с. 276)

Возрождение. 1931. 5 нояб., № 2347. С. 3—4; 10 нояб., № 2352. С. 3.

В републикации очерка в журнале «Аврора» (2002. № 1. С. 76—81) содержатся многочисленные искажения текста, а также пропущена пятая часть очерка (выпали 4 газетных столбца).

[1] Так называемое «Полное собрание сочинений» Лескова, куда вошли его художественные произведения, вышло в 1889—1893 гг., переиздано в 1897 г. В 1902—1903 гг. в типографии А. Ф. Маркса (в качестве приложения к журналу «Нива») вышло 36-томное собрание сочинений, которое породило общественный интерес к творчеству писателя.

[2] Книга «N. Leskov» историка, библиографа Петра Евграфовича Ковалевского (1901—1978), автора докторской диссертации «Лесков, недооцененный бытописатель русской жизни», вышла по-французски в Париже в 1926 г.

[3] Цитаты из повести «Овцебык» (1864).

[4] «Больной талант» — статья критика, публициста М. А. Протопопова (1848—1915), опубликованная в «Русской мысли» (1891. Дек.).

[5] Цитата из повести А. П. Чехова «Моя жизнь». Имеет источником Нагорную проповедь (ср: Лк 6: 24—25, 30).

[6] Учитель Варнава Препотенский, секретарь Измаил Термосесов — сатирически изображенные персонажи хроники «Соборяне».

[7] Фреска итальянского художника Возрождения Андреа дель Кастаньо (1245—1457), на которой изображен глава флорентийских гибеллинов Фарината дельи Уберти (1212—1264).

[8] Литературный критик, историк культуры Аким Львович Волынский (1861–1924) – автор книги «Н. С. Лесков: Критический очерк» (СПб., 1898; 2-е изд.: Пг., 1923).

[9] Б. К. Зайцев цитирует (с небольшими неточностями) книгу: *Волынский А. Л.* Н. С. Лесков. Пг., 1923. С. 98–99.

[10] В католицизме – состояние, в котором пребывают души людей, которые умерли в мире с Богом, но нуждаются в очищении от последствий совершённых при жизни грехов. В «Божественной комедии» Данте поместил «сладострастников» в седьмой круг Чистилища.

ТОЛСТОЙ
(с. 285)

Новое русское слово. (Нью-Йорк). 1960. 20 нояб., № 17422. С. 2. То же: Русская мысль. 1960. 17 нояб., № 1605. С. 1.

[1] Первая цитата – из романа «Война и мир» (т. 1, ч. 2, гл. 19); вторая – начало романа «Анна Каренина».

[2] Из письма Ф. М. Достоевского к А. Г. Достоевской от 28 мая 1880 г. (*Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: В 15 т. СПб.: Наука, 1996. Т. 15. С. 615).

[3] Софья Андреевна Толстая в 1910 г. не раз угрожала мужу самоубийством, а узнав о его уходе из Ясной Поляны, пыталась утопиться.

[4] Дядя Ерошка – персонаж повести Л. Толстого «Казаки», ощущающий себя частицей огромного мира.

РУССКАЯ СЛАВА
(с. 287)

Возрождение. 1929. 15 июл., № 1504. С. 1.

У Зайцева есть очерк с тем же названием, посвященный памяти русских эмигрантов, павших во Второй мировой войне [7; 378–381].

[1] Однако ждать этого события пришлось почти 70 лет: памятник А. П. Чехову в Москве (в Камергерском переулке) был открыт только в 1998 г.

ЧЕХОВ В ИТАЛИИ
(с. 288)

Новое русское слово. 1954. 11 июля, № 15415. С. 2.

В книге «Чехов», вышедшей в том же 1954 г., пребывание Чехова в Италии отражено в гораздо меньшей степени.

[1] Из стихотворения А. С. Пушкина «Кто знает край, где небо блещет...» (1828).

[2] Стихотворение Е. А. Боратынского «Пироскаф» со строками «Завтра увижу я башни Ливурны, / Завтра увижу Элизий земной» написано по дороге в Италию в 1844 г. незадолго перед кончиной.

[3] Три цитаты — из письма И. П. Чехову 24 марта (5 апреля) 1891 г., Венеция.

[4] Из письма Чеховым 25 марта (6 апреля) 1891 г., Венеция.

[5] Из письма И. П. Чехову 24 марта (5 апреля) 1891 г., Венеция.

[6] Обе цитаты из письма И. П. Чехову 24 марта (5 апреля) 1891 г., Венеция.

[7] Из письма А. С. Суворину 10 мая 1891 г., Алексин.

[8] Из письма А. С. Суворину 27 мая 1891 г., Богимово. Выше в том же письме Чехов пишет: «Кстати, прочтите врагу моему Анне Ивановне письмо Григоровича: пусть у нее душа порадуется. "Чехов принадлежит к по<ко>лению, которое заметно стало отклоняться от запада и ближе присматриваться к своему..."» (*Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 4. М., 1975. С. 237). Чехов имеет в виду письмо Д. В. Григоровича к А. С. Суворину от 20 мая (1 июня) 1891 г. Анна Ивановна Суворина (1840—1874) — переводчица и публицист; первая жена А. С. Суворина.

[9] Н. М. Линтваревой 1(13) октября 1894 г., Генуя.

[10] Из письма Чеховым 1 (13) апреля 1891 г., Рим. Цитата неточная, у Чехова: «...искусство есть в самом деле царь всего...».

[11] Обе цитаты — из письма А. С. Суворину 18 октября 1892 г., Мелихово.

[12] Из письма М. П. Чеховой 29 сентября (11 октября) 1894 г., Милан.

[13] Из письма Н. М. Линтваревой 1 (13) октября 1894 г., Генуя.

[14] Цитата из очерка К. С. Станиславского «А. П. Чехов в Художественном театре» (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М, 1986. С. 396).

[15] Три цитаты из письма О. Л. Книппер 29 января (11 февраля) 1901 г., Флоренция.

[16] Из письма О. Л. Книппер 2 (15) февраля 1901 г., Рим. Цитата неточная; у Чехова: «Ах, какая чудесная страна эта Италия!»

[17] Модестов Василий Иванович (1839—1907) — историк античности, филолог, переводчик. С 1893 г. жил и работал в Италии. Автор трудов по истории Римского государства и культуры.

[18] Из письма О. Л. Книппер 4 (17) февраля 1901 г., Рим.

[19] Из письма М. П. Чеховой 26 июня (9 июля) 1904 г., Баденвейлер.

[20] Из письма М. П. Чеховой 28 июня (11 июля) 1904 г., Баденвейлер.

ВЕНОК (1904—1964)
(с. 291)

Русская мысль. 1964. 30 июл., № 2184. С. 3.

Под заметкой стоит дата: 15 июля 1964 г.

[1] Из воспоминаний Т. Л. Щепкиной-Куперник:

«Чехов иногда высказывал в разговоре такую мысль, что его скоро забудут.

— Меня будут читать лет семь, семь с половиной, — говорил он, — а потом забудут.

Но как-то он прибавил:

— Но потом пройдет еще некоторое время — и меня опять начнут читать, и тогда уже будут читать долго» (*Щепкина-Куперник Т. Л.* О Чехове // А. П. Чехов в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста и коммент. Н. И. Гитович; вступ. ст. А. М. Туркова. М., 1986. С. 258).

СУДЬБЫ <С. СЕМЕНОВ, С. НАЙДЕНОВ>
(с. 292)

Дни. 1923. 14 янв., № 63. С. 13.

Зайцев — автор нескольких заметок с тем же названием: о Л. Андрееве и Горьком [6, 312—316], о Гамсуне и Горьком [9, 288—291], о Н. Гумилеве [9, 475—479].

[1] Семёнов Сергей Терентьевич (1868—1922) — прозаик и драматург, автор «Воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом» (1912), повестей, пьес и рассказов.

[2] Скородить (региональное) — обрабатывать бороной вспаханную землю.

[3] Личарда — имя слуги короля Гвидона из сказки о Бове-королевиче. В XIX в. — нарицательное ироническое название прислуги.

[4] С. Семенов проживал в селе Андреевском Московской губернии, где в 1922 г. был убит соседями, по одной из версий, принявшими успешное ведение хозяйства за колдовство. Убийц писателя судили.

[5] Найдёнов Сергей Александрович (наст. фам. Алексеев; 1868—1922) — драматург. В 1903 г. удостоен премии им. А. С. Грибоедова Общества русских драматических писателей. С начала 1910-х гг. жил в Ялте. Один из учредителей «Российского общества по изучению Крыма». Автор хроники «Москва» (1921), посвященной первой русской революции. После ухода Белой армии из Крыма Найдёнов, несмотря на болезнь, принимал активное участие в культурной жизни, выступал в концертах в пользу голодающих.

[6] «Дети Ванюшина» — первая пьеса Найденова. В 1901 г. он послал пьесу в Санкт-Петербург на конкурс театра Литературно-художественного общества (пьеса получила премию и была поставлена в театре Общества, премьера 10 дек. 1901 г.) и в Москву в театр Фёдора Корша (где также была поставлена, премьера 14 дек. того же года).

[7] Найденов поселился в Ялте и вместе с женой, актрисой И. И. Мальской, организовал там драматическую труппу.

[8] Пётр Алексеевич Сергеенко (1854, Таганрог — 1930, Севастополь) — журналист, писатель. Автор книги «Как живёт и работает граф Лев Николаевич Толстой» (М., 1898). Оказывал помощь проживающим в Крыму и нуждающимся писателям. Автор идеи создания в Гаспре международной здравницы для писателей. Дворец графини С. В. Паниной в Гаспре после революции был национализирован и отдан под санаторий, в котором, в частности, лечился С. А. Найденов.

[9] Годеинский (ныне Арбатский) переулок находился неподалеку от дома Сусоколова на Молчановке, где Б. Зайцев-студент снимал комнату.

БЕСЕДА О ПИСАТЕЛЯХ
(с. 295)

Звено. 1923. 9 апр., № 10. С. 2.

[1] «Серапионовы братья» — объединение молодых писателей (прозаиков, поэтов и критиков), возникшее в Петрограде 1 февраля 1921 г. В 1922 г. вышли в свет альманах «Серапионовы братья» (Пг., 1922) и его расширенное издание «Серапионовы братья. Заграничный альманах» (Берлин, 1922). Среди участников — М. Зощенко, Л. Лунц, Вс. Иванов, Е. Полонская, М. Слонимский, Н. Никитин, В. Каверин, К. Федин, Н. Тихонов, И. Груздев.

[2] Дюамель Жорж (Duhamel Georges; 1884—1966) — французский прозаик, поэт, драматург, критик. Лауреат Гонкуровской премии (1918), член Французской академии (1935). Врач по образованию. Во время Первой мировой войны был военным медиком.

[3] «Confession de Minuit» («Полуночная исповедь», 1920) — первый из цикла романов и повестей Дюамеля о Салавене. В 1923 г. вышел в переводе на русский язык в издательстве «Всемирная литература». Салавен, посчитав себя личностью незаурядной, делает попытку выделиться из серой массы служащих и дотрагивается пальцем до уха своего начальника. Этот смешной и нелепый поступок — начало исканий Салавена.

[4] «Цветные ветра» (1921) — приключенческая повесть на революционную тему Вс. Иванова.

[5] Соболев (ныне Большой Головин) переулок «заслужил в дореволюционной Москве репутацию одного из самых злачных мест <...> А. П. Чехов, хорошо знавший окрестные места, описал его в рассказе “Припадок”, а в письме к А. С. Суворину, владельцу газеты “Новое время”, спрашивал: “...отчего у Вас в газете ничего не пишут о проституции? Ведь она страшное зло. Наш Соболев переулок — это рабовладельческий рынок”» (*Романюк С. К.* Из истории московских переулков. М., 1988. URL: http://www.rusarch.ru/romanuk1.htm).

[6] Роденбах Жорж (Rodenbach Georges; 1855—1898) — бельгийский франкоязычный писатель. Известность Роденбаху принесла повесть «Мёртвый Брюгге» (1892). На рубеже веков считался крупнейшим, наряду с Метерлинком, франкоязычным писателем-символистом, его книги широко переводились в Европе, в том числе в России.

[7] Казин Василий Васильевич (1898—1981) — поэт. В 1920 г. был в числе основателей литературной группы «Кузница».

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
(*Памяти А<делаиды> Г<ерцык>*)
(с. 300)

Перезвоны. 1926. № 25. С. 782—784.

Републиковано в кн. *Зайцев Б. К.* Знак Креста: Роман. Очерки. Публицистика / Вступ. ст. и коммент. А. Любомудрова. М., 1999; *Герцык А. К.* Из круга женского: Стихотворения. Эссе / Сост. Т. Жуковской. М., 2004.

Данный очерк Зайцева (в то время редактора литературной части «Перезвонов») предварял публикацию «Подвальных очерков» А. К. Герцык, печатавшихся в номерах 25—27 этого журнала. В основу очерка легла запись дневникового цикла «Странник» от 20 августа 1926 г., где Зайцев писал о Герцык как «о светлой душе, частице Святой Руси, терзаемой и распинаемой» [9, 75].

Герцык Аделаида Казимировна (1874 —1925) — поэтесса, прозаик, переводчица. После прихода большевиков в Крым в 1920 г. был арестован ее брат, а 9 января 1921 г. была арестована (вместе с пожилой мачехой) и сама А. Герцык. Провела несколько недель в тюрьме-подвале в Судаке, где написала цикл стихотворений «Подвальные». Позже, в 1924—1925 гг., написала «Подвальные очерки». «Эти очерки после смерти поэтессы попали в Париж к Б. Зайцеву через В. С. Гриневич, подругу сестер, тоже судачанку...» (*Жуковская Т. Н.* Судак в жизни и творчестве сестер Аделаиды и Евгении Герцык и их окружения // Сестры Аделаида и Евгения Герцык и их окружение. М.; Судак, 1997. С. 10).

Скончалась и похоронена в Судаке, могила не сохранилась. Дом Аделаиды Герцык в Судаке существует до настоящего времени. См. о ней: *Герцык А. К.* Стихи и проза: В 2 т. / Сост., предисл., коммент. Т. Н. Жуковской. М., 1993; *Герцык Е. К.* Воспоминания. М., 1996; *Герцык А. К.* Из круга женского: Стихотворения. Эссе / Сост. Т. Жуковской, предисл. Германа Рица, примеч. Т. Жуковской и Е. Калло. М., 2004. О прототипах персонажей «Подвальных очерков» см.: *Филимонов С. Б.* Тайны судебно-следственных дел. Симферополь, 2000.

[1] Эти опасения были не напрасны: муж А. Герцык еще в 1921 г. был выслан в Вологодскую область, а затем его пересылали из одного города

в другой до самой его смерти. Дети скитались по знакомым, общежитиям; старший сын Даниил в 1936 г. был обвинен в распространении стихов М. Волошина, арестован и в 1939 г. погиб. Брата, Владимира Казимировича, также постоянно держали под наблюдением и арестовывали.

[2] Младшая сестра поэтессы, Герцык Евгения Казимировна (1878–1944) — переводчица, критик.

[3] Джотто ди Бондоне (ок.1270–1337) — итальянский живописец и архитектор.

[4] Рескин Джон (1819–1900) — английский писатель, историк, искусствовед, автор трудов по истории итальянской живописи и архитектуры.

[5] В 1908 г. А. Герцык вышла замуж за Дмитрия Евгеньевича Жуковского (1868–1943), ученого и издателя, переводчика философской литературы.

[6] Первая публикация стихотворений А. Герцык — цикл «Золотой ключ» в альманахе символистов «Цветник Ор. Кошница первая» (СПБ., 1907).

<ПРЕДИСЛОВИЕ К «ПОВЕСТИ О ЖИЗНИ» К. ПАУСТОВСКОГО> (с. 303)

Русская мысль. 1956 25 дек., № 995. С. 7.

Заметка (без названия) является предисловием к началу публикации в «Русской мысли» фрагмента «Повести о жизни» К. Паустовского (книги первой, «Далекие годы»). Автобиографическую «Повесть о жизни» (в шести книгах) Паустовский создавал в 1945–1963 гг., отдельные части публиковались в периодике.

С К. Паустовским Б. Зайцев встречался в Париже в 1962 г., вел переписку, посвятил ему одноименные заметки «Паустовский» 1951 и 1968 гг. [9, 291–294, 451–452], где характеризовал его как писателя «настоящего, пишущего для себя, как ему нравится, а не как приказывают, писателя одаренного, умного и спокойного, в спокойствии своем иногда очень трогательного» [9, 452].

<ВОСПОМИНАНИЯ О Б. ПАСТЕРНАКЕ> (с. 303)

Дело Пастернака. Мюнхен: Изд-во Центр. объединения полит. эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), 1958. С. 65–66.

Данный текст – запись выступления Б. Зайцева на радио «Свобода». Впоследствии был дополнен и под названием «О Пастернаке» опубликован в «Русской мысли» (1958, 29 марта; [9, 353–355]).

[1] Подробнее см. очерки Б. Зайцева «Пастернак в революции» и «Еще о Пастернаке», написанные в 1960–1961 гг. году и вошедшие книгу «Далекое» [6, 225–238].

[2] Повесть Пастернака «Детство Люверс» впервые опубликована в альманахе «Наши дни» (М., 1922. Кн. I).

ПУТЬ
(*О Пастернаке*)
(с. 304)

Сборник статей, посвященных творчеству Бориса Леонидовича Пастернака. Мюнхен, 1962. С. 16–19. То же: Новое русское слово. 1970. 31 мая. № 21901. С. 2.

Республиковано: Лит. обозрение. 1990. № 2. С. 77–78 (публикация К. М. Поливанова).

[1] Речь идет о повести Пастернака «Детство Люверс».

[2] Первое письмо Б. К. Зайцева к Б. Л. Пастернаку написано 10 февраля 1959 г. [11, 176–177] Ответное письмо Пастернака датировано 15 марта 1959 г. Далее Зайцев цитирует отрывки из писем к нему Пастернака.

Пять писем Б. Л. Пастернака к Б. К. Зайцеву 1959–1960-х гг. и письмо к Н. Б. Соллогуб 29 июля 1959 г. опубликованы: Наше наследие. 1990. № 1 (13). С. 45–48 / Публ. и коммент. М. А. Рашковской. Письма Зайцева к Пастернаку того же периода см. [11, 176–186].

[3] «Здесь богословская фразеология и символика – лишь внешний покров отнюдь не религиозных мыслей. Господь и архангелы, Мефистофель и прочая нечисть – не более как носители извечно борющихся природных и социальных сил. В уста господа, каки́м он представлен в "Прологе на небе", Гете вкладывает собственные воззрения на человека – свою веру в оптимистическое разрешение человеческой истории», – писал в предисловии Н. Вильмонт (*Вильмонт Н.* Гете и его «Фауст» // Иоганн Гете. Фауст / Пер.: Борис Пастернак; Вступит. статья и коммент.: Н. Вильмонт. М., 1960. С. 15). Николай Вильмонт (псевд., наст. имя Николай Николаевич Вильям-Вильмонт; 1901–1986) – переводчик-германист, литературовед, историк культуры. Знакомый Б. Л. Пастернака, опубликовал «Воспоминания о Борисе Пастернаке» (М., 1989).

[4] Имеется в виду письмо Зайцева Пастернаку от 5 апреля 1959 г. [11, 178–179] и ответ Пастернака от 22 апреля, не дошедший до Зайцева. Текст его см.: Наше наследие. 1990. № 1. С. 46.

[5] Партийный функционер Владимир Ефимович Семичастный (1924–2001; в 1950-е гг. – секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1961–1967 гг. – председатель КГБ СССР) в докладе на пленуме ЦК ВЛКСМ 30 октября 1958 г. выступил с речью, в которой сказал: «Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно, говорим о свинье, что она такая, сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, – все люди, которые имеют дело с этими животными, знают особенности свиньи, – она никогда не гадит там, где

кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал».

ФРАНСУА МОРИАК
(*К избранию в Академию*)
(с. 308)

Возрождение. 1933. 9 июня, № 2929. С. 3.

1 июня 1933 г. писатель Франсуа Мориак (1885–1970) был избран членом Французской академии. Зайцев внимательно следил за творчеством Мориака, которое оценивал высоко и написал о нем несколько заметок. Мориаку посвящена статья «Виноградарь Жиронды» (1930) [9, 105–109], где Зайцев намечает эволюцию писателя и разбирает его новый роман «То, что было потеряно». Французский собрат по перу воспринимается как «душа мужественная, мрака не боящаяся, остро и современность чувствующая». В очерке «Встреча» (1947) [9, 230–232] Зайцев определяет французского романиста как писателя-христианина, пишущего о грехе и о спасении, и завершает очерк словами об одиноком славящем Бога художнике — «гласе вопиющего в пустыне».

[1] Зайцев приводит цитаты из воспоминаний Мориака «В начале жизни» (см.: *Мориак Ф.* Не покоряться ночи: Худож. публицистика / Пер. с фр.; Предисл. В. Е. Балахонова. М., 1986. С. 27, 31–33).

[2] В эссе «Роман» Мориак писал о Достоевском: «писатель, чей могучий гений был направлен отнюдь не на распутывание того клубка противоречий, каким является человек, писатель, который удержался от введения системы и предвзятой логики в психологию своих персонажей и творил, не вынося заранее приговора их интеллектуальным и нравственным достоинствам. <...> Они люди из плоти и крови, обремененные наследственностью и пороками, подверженные страстям, способные на все — и на добро, и на зло; от них можно всего ждать и всего опасаться. Это, безусловно, писатель диаметрально противоположный Бальзаку...» (*Мориак Ф.* Не покоряться ночи. С. 321–322).

[3] См. примеч. 6 и 7 к очерку «Пасси» (с. 575 в наст. изд.).

[4] Цитата из воспоминаний Мориака «Бордо, или Отрочество» (см.: *Мориак Ф.* Не покоряться ночи. С. 54–55).

[5] Клемансо Жорж Бенжамен (1841–1929) — французский политический и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции. Член Французской академии (1918); Фош Фердинад (1851–1929) — французский военачальник времен Первой мировой войны, маршал Франции, Главнокомандующим союзными войсками. Избран во Французскую академию в 1918 г.

ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРЕВОДАМ «АДА» ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (с. 311)

Зайцев начал переводить «Ад» Данте в 1913 г. и возвращался к этой работе на протяжении последующих десятилетий. Переводы отдельных песней публиковал в периодике (третья: Возрождение. 1928. 22 апр.; пятая: Возрождение. 1928. 27 мая; восьмая: Числа. 1931. № 5; вновь пятая: Опыты. 1955. Кн. 4 и вновь третья: Вестник РСХД. 1958. № 50); полностью перевод вышел в 1961 г.: *Данте Алигиери.* Божественная Комедия. Ад / Пер. Бориса Зайцева. Париж: YMCA-Press, 1961 [8, 305—474].

Текст переводов 1928 и 1931 гг. отличается от текстов 1955 и 1958 гг. (вошедших в отдельное издание). Различны и предисловия разных лет к третьей и пятой песням.

Песнь третья <1928> (с. 311)

Возрождение. 1928. 22 апр., № 1055. С. 2—3.

[1] Предположение Зайцева оправдалось не во всем: в советской России «Божественная комедия» была издана в переводе М. Л. Лозинского: «Ад» — в 1939 г., «Чистилище» — в 1944 г., «Рай» — в 1945 г. За этот труд переводчик был удостоен Сталинской премии (1946). Первая полная публикация перевода «Ада» Б. Зайцева вышла в Париже только в 1961 г.

[2] Далее следует перевод третьей песни.

Песнь третья <1958> (с. 312)

Вестник РСХД. 1958. № 50. С. 27—28.

Предисловие к переводу третьей главы «Ада», опубликованному в том же изд. на с. 29—32.

Песнь пятая <1928> (с. 313)

Возрождение. 1928. 27 мая, № 1090. С. 2.

[1] Цитата имеет источником Библию (1 Цар 14: 43). Поставлена эпиграфом к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

[2] Далее следует перевод стихов пятой песни (с 31-го по 136-й).

[3] «Ад», песнь 5, 121—123 (перевод Б. Зайцева).

Песнь пятая <1955>
(с. 315)

Опыты. 1955. Кн. 4. С. 21—26.

Введение к переводу 5-й песни «Ада», опубликованной в том же номере журнала на с. 26—32.

[1] Константин Федорович Некрасов (1873—1940) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Ярославской губернии; издатель. Основатель «Книгоиздательства К. Ф. Некрасова» (1911—1916), в котором вышли книги Зайцева «Усадьба Ланиных» (1914) и «Дальний край» (1915).

[2] Мин Дмитрий Егорович (1819—1885) — поэт-переводчик, профессор и проректор Московского университета. Имеется в виду издание: «Ад» Данта Алигиери. С приложением комментария, материалов пояснительных, портрета и двух рисунков. Перевел с италианского размером подлинника Дмитрий Мин. М., 1855.

[3] Джованни Андреа Скартаццини (1837—1901) — швейцарский историк литературы, критик и публицист. Крупный исследователь «Божественной комедии» Данте, переводчик этого произведения на немецкий язык. Автор «Дантовской энциклопедии» (Милан, 1896—1905)

[4] Франц Ксаверий Краус (1840—1901) — немецкий католический богослов и археолог, автор монографии «Данте» (1897).

[5] Бьянки Бруно (Bianchi Brunone; 1803—1869) — священник, настоятель храма Сан-Лоренцо во Флоренции, секретарь Академии дела Круска, филолог. Автор комментариев к «Божественной комедии». См.: La Commedia di Dante Alighieri fiorentino novamente riveduta nel testo e dichiarata da Brunone Bianchi. 4 ed. Firenze, 1854.

[6] «Ад», песнь 8, 82—86 (перевод Зайцева)

[7] 27 февраля 1917 г. в Петрограде был убит племянник Зайцева Юрий Буйневич; 1 октября 1919 г. в Москве был арестован его пасынок Алексей Смирнов и вскоре расстрелян как участник антибольшевистского заговора.

[8] Цитата из рассказа «Земная печаль» (1915) [2, 177].

[9] В 1922—1923 гг. в берлинском изд-ве З. И. Гржебина вышло шесть из 7 томов собрания сочинений Зайцева.

[10] В молитвах на литии во время Всенощного бдения испрашивается избавление «от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников», однако приводимая Зайцевым цитата точнее соответствует строкам «Молитвы ко преп. Сергию Радонежскому»: «Испроси нам <...> от голода и мора избавление, от нашествия иноплеменных сохранение».

[11] Рютабага (рутабага) — турнепс.

[12] Мизерабль — здесь: жалкий, несчастный человек.

ДАНТЕ. СУДЬБА
(с. 319)

Возрождение. 1965. № 166. С. 7—11.

Зайцеву принадлежит также очерк «Данте и его поэма» (М., 1922) [8, 477—492], заметка о Данте «Семь веков» (1965) [9, 405—409].

[1] «Vita Nuova» («Новая жизнь») — сборник произведений, написанных Данте в 1283—1293 гг. в форме чередующихся фрагментов стиха и прозы.

[2] Цитата из статьи А. д'Анкона «Разговор о Беатриче»: *D'Ancona A.* Discorso su Beatrice // Dante Alighieri. La vita nuova. 2 ed. Pisa, 1884. P. LXXXXVIII. В оригинале: «...la vera vita di Beatrice и quella sua seconda e misteriosa esistenza nell'anima e nella fantasia di Dante». Алессандро д'Анкона (1835—1914) — итальянский литературовед, критик, писатель. Автор трудов: «La Beatrice di Dante» (Пиза, 1865), «La vita nuova di Dante Alighieri» (Пиза, 1872), «I precursori di Dante» (Флоренция, 1874).

[3] У Мережковского: «Всех изгнанных за правду, бездомных и нищих скитальцев, всех презренных людьми и отверженных, всех настоящего Града не имеющих и грядущего Града ищущих вечный покровитель — Данте-Изгнанник» (*Мережковский Д. С.* Данте // URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/96814/Merezhkovskiii_-_Dante.html).

[4] Зайцев излагает в вольном переводе мысль из эссе Дж. Лоуэлла «Данте». В оригинале: «Во всей истории литературы нет такой фигуры как Данте, нет такой слиянности жизни и творчества, такой преданности идеям, такого возвышенного неприятия малосущественного; и нет ничего более волнующего и поучительного, чем то, что современное признание такой натуры, столь одаренной и столь преданной этому дарованию, должно было получить оценку в приговоре Флоренции: жечь, пока не умрет» (*Lowell James Russell.* Literary Essays. Vol. 4. Boston; New York, [1892]. P. 162—163). Джеймс Расселл Лоуэлл (1819—1891) — американский поэт, литературовед, эссеист, дипломат.

[5] Остия (от лат. hostia — жертва; итал. ostia; в рус. языке принято написание «гостия») — евхаристический хлеб, облатка.

[6] Эти же строки Зайцев приводит в письме к Л. Н. Назаровой 27 июля 1965 г.: «Вот меня просили написать еще статью о Данте, к юбилею 700-летнему. Думаю поставить такой эпиграф к ней: "Слава, неторопливое светило, / Как своенравная Луна, ясная и печальная, / Восходит над могилами". Видимо, из какого-то польского поэта, а какого именно, не знаю. Русский перевод. (В статье Ледницкого — но не указано, чье.)» [11, 228] Ледницкий Вацлав Александрович (1891—1967) — польский литературовед, профессор Гарвардского университета.

[7] Имеется в виду издание: *Scartazzini G. A.* Enciclopedia Dantesca: dizionario critico e ragionato di quanto concerne la vita e le opere di Dante Alighieri. V. 1—3. Milano, 1896—1905.

СТАТЬИ О ТЕАТРЕ

ПРОЩАНИЕ
(с. 327)

Последние новости. 1926. 1 дек., № 2079. С. 2.

[1] «Пражская группа Московского художественного театра» — театральный коллектив, состоявший из артистов МХТ, выехавших в эмиграцию и сохранивших свой репертуар, реквизит и декорации. Созданный ими русский драматический театр, обосновавшийся в Праге, на протяжении двух десятилетий давал спектакли под эмблемой чайки. Театр стал широко известен и за пределами Чехословакии, гастролировал по странам Европы. В 1926 г. гастроли в Париже проходили с 8 по 28 ноября. «Вишневый сад» был поставлен М. Н. Германовой и Н. О. Массалитиновым.

[2] Крыжановская Мария Алексеевна (1891—1979) — актриса. В России играла в спектаклях МХТ. Играла в составе Пражской группы МХТ, в Театре Михаила Чехова и в ряде других театров за границей. Участвовала в благотворительных концертах и вечерах, Участвовала в торжественном собрании, посвященном 50-летию основания МХТ (1948), торжествах по случаю 150-летия со дня рождения А. С. Пушкина (1949). В 1949—1954 гг. играла в Русском драматическом театре.

[3] Серов Георгий (Юрий) Валентинович (1894—1929) — артист, режиссер. Сын художника В. А. Серова. В 1919 г. был в числе организаторов Первой студии МХТ. В 1923 г. вошел в Пражскую труппу Художественного театра. Работал в труппе М. Германовой, с 1926 г. перешел на французскую сцену. Член Русского профессионального Союза сценических и кинематографических деятелей, снимался в ряде фильмов 1920-х гг.

Греч Вера Мильтиадовна (урожд. Кохинаки; 1893—1974) — актриса, режиссер, педагог. Участвовала в спектаклях 2-й студии МХТ. В 1922 г. после гастролей в Америке и Берлине осталась в эмиграции. В составе Пражской группы МХТ выступала в разных странах Европы. После войны играла в Париже в Театре русской драмы, спектаклях театральной секции при Союзе советских патриотов, Русском драматическом театре и др. Вела драматическую студию в Русской консерватории в Париже (1949—1952), руководила театральной группой Объединения молодежи витязей (ОМВ) (с 1948). Снялась в фильмах «Идиот» Г. Лампена (1946) и «Анастасия» А. Литвака (1956). В 1952—1955 гг. работала в Англии.

Павлов А. А. (? — после 1943) — драматический артист, режиссер, общественный деятель. В эмиграции во Франции. С 1930 ведущий режиссер и артист Театра драмы и комедии О. В. Барановской. Ставил спектакли в различных русских театрах. Выступал на эстраде как конферансье и чтец-декламатор. Участник концертных программ, благотворительных вечеров.

[4] Германова Мария Николаевна (наст. фам. Красовская-Калитинская; 1884—1940) — актриса. В 1902 г. принята в труппу МХТ. С 1919 г. в эмиграции; играла в театрах Праги, Парижа и др.

Шаров Петр Федорович (1886—1969) — актер, режиссер, драматург. Играл на сценах театров С.-Петербурга, Тбилиси, Москвы и др. Один из организаторов 1-й студии МХТ. В 1920-е гг. режиссер Пражской группы МХТ. В 1930-е гг. обосновался в Италии. В 1938 г. создал в Риме театр Элезио. В 1947 г. переехал в Голландию. Участвовал в парижских сезонах Пражской группы МХТ.

Комиссаров Сергей Михайлович (1891—1963) — актер, режиссер. Заслуженный артист РСФСР (1947). Окончил юридический факультет Московского университета. С 1919 г. актер труппы МХТ, в 1920-е гг. остался играть в труппе Германовой в Праге. Вернулся в СССР. Брат Александра Михайловича Комиссарова (1904—1975), актера МХАТ, народного артиста РСФСР.

Вырубов Александр Александрович (1882—1962) — артист, режиссер. Выступал в 1-й студии МХТ. В 1922 г. эмигрировал. Жил в Берлине, Париже. Входил в Пражскую группу МХТ (1922—1929). Выступал в концертах и на благотворительных вечерах. Играл в Русском драматическом театре, Русском театре. Участвовал в 1950-е гг. в собраниях Кружка друзей и почитателей И. С. Шмелева, в вечерах памяти Н. В. Гоголя, Ф. И. Шаляпина, Н. А. Тэффи, Н. Н. Евреинова, И. А. Бунина и др.

[5] «Женщина с моря» («Дочь моря») — пьеса Г. Ибсена, написанная в 1888 г.

[6] Асланов Николай Петрович (1877—1949) — артист, режиссер, театральный деятель. В 1922 г. открыл в Париже Драматическую школу, ставил спектакли своей труппы. В 1926 и 1928 гг. играл в Париже в составе Пражской группы МХТ. Участвовал в концертах и благотворительных вечерах. В 1935 г. вернулся на родину. Работал на киностудиях Москвы и Ленинграда, в московских театрах.

Токарская (Дидерихсен) Мария Александровна (1875—1945) — актриса театра и кино, режиссер. Окончила Школу МХТ, играла в составе труппы МХТ. С начала 1920-х гг. жила в Германии, работала в театре, снималась в кино, затем примкнула к Пражской труппе МХТ. В 1930 г. переехала во Францию, обосновалась в Париже, выступала на различных театральных площадках С 1930 г. выступала на благотворительных театральных вечерах, концертах, участвовала в Днях русской культуры.

Токарская (в замужестве Богданова) Наталья Владимировна (?—1966) — артистка, режиссер. С 1930 г. жила в Париже. В 1931—1935 гг. артистка Пражской группы МХТ. В 1945—1947 гг. выступала в Русском театре при Союзе советских патриотов, в 1949—1954 гг. работала в Русском драматическом театре. С 1950-х гг. выступала в благотворительных спектаклях-

концертах артистов Пражской группы МХТ в Благотворительном содружестве при Введенской церкви в Париже.

Полиевктова Ольга Александровна (сценический псевдоним Полуэктова, в первом браке Евреинова, во втором браке Куфтина; 1896—1983) — драматическая актриса, жила во Франции, затем в Чехии. Выступала в Пражской группе МХТ.

Левицкая Любовь — драматическая актриса, была занята в спектаклях Пражской группы МХТ «Вишневый сад», «Ревизор», «Женитьба», «Осенние скрипки», «Сверчок на печи», сценических миниатюрах по рассказам А. П. Чехова. 29 октября 1932 г. выступала на вечере Русского комитета содействия национальному воспитанию молодежи.

[7] Джеки Куган (наст. имя Джон Лесли Куган; 1914—1984) — американский киноактёр. Вошёл в историю кинематографа как первый ребёнок-кинозвезда. В начале 1920-х гг. Джеки был одним из самых популярных актёров Голливуда.

Рудольф Валентино (1895—1926) — американский киноактёр итальянского происхождения, секс-символ эпохи немого кино.

НИНА КОШИЦ. К ЮБИЛЕЙНОМУ КОНЦЕРТУ (с. 329)

Возрождение. 1927. 11 дек., № 922. С. 3.

Кошиц Нина Павловна (наст. фам. Порай-Кошиц; 1891/1892—1965) — оперная и камерная певица, педагог. В 1913 г. окончила Московскую консерваторию, обучалась пению у У. Мазетти, фортепиано — у С. Танеева. В начале 1920-х гг. совершенствовалась в вокальном искусстве в Париже у оперной певицы Фелии Литвин. Дебютировала в 1913 г. в московской опере С. Зимина. В 1920 г. уехала в США, выступала как камерная певица. В 1920-х гг. гастролировала в разных городах США и Европы, в том числе в Париже (1925, 1927). Сотрудничала с С. Рахманиновым, который посвятил певице цикл песен. В 1940 г. ушла со сцены и обосновалась в Голливуде; преподавала вокал.

[1] Оперный театр Зимина — частный оперный театр, созданный в 1904 г. в Москве театральным деятелем, меценатом Сергеем Ивановичем Зиминым (1875—1942).

[2] Фелия Литвин (наст. имя Франсуаза Жанна Васильевна Литвинова, урожд. Шутц; 1860—1936) — певица. Родилась в Петербурге, с 15 лет жила в Париже, где в брала уроки пения, в том числе у Полины Виардо. Выступала в оперных театрах и концертных залах Европы и Америки (в т. ч. в 1890-х гг. — в Москве и Петербурге). Преподавала в консерватории в Фонтенбло. Награждена французским орденом Почетного легиона (1927).

[3] Виллермоз Эмиль-Жан-Жозеф (Émile-Jean-Joseph Vuillermoz; 1878—1960) — французский музыкальный и театральный критик.

[4] О М. М. Федорове см. примеч. 1 к заметке «Студенты», с. 682.

ЧАЙКА
(с. 330)

Русские записки. 1939. № 16. С. 93—97.

[1] В воспоминаниях М. Г. Савиной, записанных Ю. Д. Беляевым, приведены слова Тургенева о своей пьесе «Месяц в деревне» и ее герое Ракитине: «А Ракитин это я. Я всегда в своих романах неудачным любовником изображаю себя» (*Беляев Ю.* «Месяц в деревне». Из воспоминаний М. Г. Савиной // Тургенев и Савина: Письма И. С. Тургенева к М. Г. Савиной. Воспоминания М. Г. Савиной об И. С. Тургеневе / С предисл. и под ред. А. Ф. Кони. Пг., 1918. С. 77).

[2] Премьера спектакля 17 октября 1896 г. в Александринском театре в Петербурге была провальной, в то время как постановка Московского художественного театра (премьера 29 декабря 1898 г.) имела чрезвычайный успех.

[3] Роксанова Мария Людомировна (наст. фамилия Петровская; 1874—1958) — актриса, ученица В. Немировича-Данченко; в 1898 г. вошла в труппу Художественного театра. На премьере «Чайки» не справилась с образом героини, сделав ее слишком наивной и мелодраматичной.

[4] «Чайка» была впервые поставлена Г. Питоевым 25 апреля 1922 г. в театре Comedie des Champs-Elysees. Премьера возобновленной постановки «Чайки» в Théâtre des Mathurins (Театр Матюрен) — 17 января 1939 г.

[5] Жорж Дюамель — французский писатель и критик; подробнее о нем см. комментарии к заметке «Беседа о писателях», с. 605.

[6] Питоевы (Pitoëff) — французские театральные деятели русского происхождения. Питоев Георгий Иванович (Жорж) (1884—1939) — режиссёр и актёр, один из крупнейших деятелей французского театра 1920—1930-х гг. С 1905 г. учился в Париже, в 1912 г. организовал собственный театр, гастролировавший по России. В 1915—1922 гг. жил в Швейцарии, затем в Париже, где вместе с женой организовал труппу «Театр Питоевых». С 1924 по 1939 г. поставил более 200 пьес русских и западных авторов, был исполнителем ведущих ролей. Открыл для Франции драматургию А. Чехова. Спектакли «Дядя Ваня», «Чайка» положили начало так называемому чеховскому направлению во французском театре.

Питоева Людмила Яковлевна (1895—1951) — актриса, жена Георгия Питоева. Среди ролей в чеховских пьесах — Соня в «Дяде Ване», Ирина в «Трёх сестрах», Нина Заречная в «Чайке». С 1939 г. жила и работала в Швейцарии, США, Канаде, после 1945 г. — в Париже. О постановке Пи-

тоевым «Трех сестер» Б. Зайцев писал в заметке «Милые призраки» (1954) [9, 326–330].

[7] Французский театр «Матюрен» (Le Théâtre des Mathurins) находится по адресу 36, Rue des Mathurins, в VII округе Парижа. На здании этого театра установлена мемориальная доска, посвященная супругам Питоевым.

[8] Этот портрет Чехова был написан художником И. Э. Бразом в марте 1898 г. в Ницце.

[9] Вишневский Александр Леонидович (настоящая фамилия Вишневецкий; 1861–1943) – актёр, один из создателей Московского Художественного театра, друг Чехова. В 1898 г. исполнил роль Дорна в «Чайке».

[10] Об М. Н. Германовой см. коммент. 4 к очерку «Прощание», с. 614.

[11] «Дикая утка» – пьеса Г. Ибсена, поставлена К. С. Станиславским на сцене МХТ (премьера 19 сентября 1901 г.).

[12] См. коммент. к заметке «Венок (1904–1964)», с. 604.

[13] Имеется в виду Лика (Лидия Стахиевна) Мизинова (в замужестве Санина; 1870–1939) – певица, актриса, мемуарист, близкий друг А. П. Чехова, прототип чеховской «Чайки». Похоронена в Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

ПОЛВЕКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
(*Слово на юбилейном вечере Союза писателей*)
(с. 335)

Возрождение. 1949. Тетрадь 2 (март). С. 109–112.

[1] Союз русских писателей и журналистов отметил полувековой юбилей МХТ литературно-артистическим вечером, прошедшим 31 января 1949 г. в зале «Шопен» концертного комплекса «Плейель».

[2] Имеется в виду пьеса Гауптмана «Микаэль Крамер» (премьера 27 октября 1901 г.). Крамер – холодный ригорист, религиозный художник, работающий над образом Христа, но не понимающий собственного сына, идущего к гибели. «Этого персонажа Станиславский собирался сделать смысловым центром спектакля. У Гауптмана Микаэль – персонификация буржуазной ограниченности, которая претит его гениально одаренному сыну Арнольду. Станиславский трактовал его аскетизм не как ограниченность, а как самоограничение сродни подвижничеству. В рецензиях отмечалось, что Станиславский в этой роли напоминал проповедника» (*Давыдова М.* Герхарт Гауптман. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.mxat.ru/history/persons/hauptmann. Дата обращения 03.04.2017).

[3] Из стихотворения Г. В. Иванова «Теплый ветер веет с юга...» (1930). У Иванова: «Все, что в жизни *ты* любил».

О МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
(с. 338)

Златоцвет. Берлингем (США), [1962]. № 4. С. 9—10.

Первые годы деятельности МХТ Зайцев описал также в очерках «Начало Художественного театра» (1932) [6, 19—23] и «Памяти Художественного театра» (1948) [9, 250—252].

[1] Московский художественный театр открылся 14 октября 1898 г. спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого. Первые четыре сезона МХТ давал спектакли в здании театра «Эрмитаж» (Каретный ряд, 3).

[2] Театр «Новый Эрмитаж» (впоследствии «Эрмитаж») открыл в 1894 г. антрепренер и меценат Яков Васильевич Щукин. Он арендовал здание, принадлежащее К. В. Мошнину.

[3] Б. Зайцев имеет в виду Московский литературно-художественный кружок (1899—1919) и ресторан «Прага» — места встреч московской интеллигенции. См. главу «Литературный кружок» в кн. Зайцева «Москва» [6, 36—41].

[4] Мошнин Константин Владимирович — инженер-механик, окончил Императорское московское техническое училище (сейчас МГТУ им. Н. Э. Баумана) в 1882 г., с 1886 по 1894 г. — преподаватель математики и механики в Александровском военном училище.

[5] Актрисе Н. Бутовой Зайцев посвятил очерк, вошедший в книгу воспоминаний «Москва»: «Была она как бы и совестью Художественного театра, его праведницей. <...> Инокиня-актриса, праведница в веригах на сцене: редкая и яркая фигура...» [6, 83—87].

МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ

«МЫ, ВОЕННЫЕ»
(с. 343)

Народоправство. 1917. № 1. С. 7—9; № 2. С. 5—7.

Републиковано (в сокращении): Родина. 2017. № 2. С. 98—103 (публикация А. М. Любомудрова).

Летом 1916 г. Зайцев был призван в армию и зачислен в московское Александровское военное училище юнкером Второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска. Здесь его застала Февральская революция. Окончив курс, получив чин прапорщика, он поступил в 192 Запасной пехотный полк Московского гарнизона, расквартированный на Ходынском поле. В июне был переведен в Первую запасную артиллерийскую бригаду. Но на фронт не попал: тяжело заболев, большую часть лета и осени 1917 г. провел в своем

имении Притыкино. Александровское училище стало главным центром сопротивления большевикам во время недолгих ожесточенных боев в Москве осенью 1917-го. Зайцеву не пришлось стать участником этих событий. О том, что он несомненно оказался бы в рядах своих собратьев по училищу, говорит признание: «мне не дано было драться за свою Москву на стороне белых» [6, 117].

Находясь в эмиграции, Зайцев посвятил этим страницам своей жизни очерки «"Мы, военные". Записки шляпы» и «Офицеры». Опубликованные в парижской газете «Возрождение» в 1932 г., впоследствии они вошли в книгу воспоминаний «Москва» (1939). В комментариях к ним ошибочно указывается, что первоначально очерк «Мы, военные» был опубликован в журнале «Народоправство» в 1917 г. и является вариантом позднего текста [6, 469, 482]. В действительности под тем же заглавием там находится совершенно другой текст, не переиздававшийся на протяжении столетия.

[1] Название очерка взято в кавычки, означающие цитацию. В тексте эти же слова приведены по-французски. Скорее всего Зайцев позаимствовал их из исторического анекдота: однажды Талейран спросил у маршала Ожеро, что означает у военных насмешливое жаргонное словечко «péquin». Тот отвечал: «Мы, военные, называем так всё не военное», на что Талейран парировал: «Ну а мы называем военным всё не гражданское» (в оригинале яснее игра слов: «civil» значит и гражданский, и вежливый, учтивый). Аналогом французскому péquin в русских военных училищах служило словечко «шляпа», отсюда ироническое сочетание заглавия и подзаголовка позднего очерка Зайцева: «"Мы, военные". Записки шляпы».

[2] Пресненский завод санитарной техники, организованный Главным комитетом Всероссийского земского союза.

[3] С февраля 1916 по апрель 1917 г. должность московского градоначальника занимал Вадим Николаевич Шебеко (1864—1943).

[4] Племянник Зайцева Юрий Михайлович Буйневич (1894—1917), молодой офицер Измайловского гвардейского полка в Петрограде. 27 февраля, в первый день революции, был дежурным по полку, преградил дорогу толпе, ворвавшейся во двор казармы, на предложение сдаться ответил отказом и был убит на месте. Б. Зайцев посвятил ему эссе «Призраки», написанное в Страстную субботу 1 апреля 1917 г.

[5] Записки присылала жена, Вера Алексеевна Зайцева (1878—1965).

[6] Мрозовский Иосиф Иванович (1857—1934) — генерал от артиллерии, с сентября 1915 г. — командующий войсками Московского военного округа (МВО). 28 февраля 1917 г. объявил МВО на осадном положении и отдал приказ о применении оружия против демонстрантов. 1 марта посажен под домашний арест, 10 марта уволен от службы.

[7] Начальником Александровского училища с 1908 по август 1917 г. был генерал-лейтенант Николай Иванович Геништа (1865—1932). После

Октябрьской революции вступил в ряды Красной армии, преподавал в советских высших военных заведениях.

[8] Имеется в виду полковник Александр Евграфович Грузинов (1873–?). Содействовал переходу войск на сторону революции. 1 марта 1917 г. возглавил Московский гарнизон, 4 марта принял на Красной площади парад революционных войск, затем военный министр А. И. Гучков назначил его командующим войсками Московского военного округа.

[9] Личность полковника «в форме военного юриста» не установлена. Помощником командующего войсками МВО с 28.05.1916 до 12.08.1917 г. был генерал от инфантерии Николай Иванович Протопопов. Не исключено, что Зайцев имеет в виду полковника А. Е. Грузинова, который в революционные дни произносил множество речей перед разными аудиториями.

[10] Имеется в виду штаб революционных сил. По свидетельству Зайцева, он находился в помещении кинотеатра «Художественный».

[11] «Прага» — популярный ресторан на Арбатской площади; «Художественный электротеатр» (впоследствии «Художественный») — первый кинотеатр Москвы, специально построенный для кинопоказа, открыт в 1909 г.

[12] Кинотеатр «Унион» открыт в 1913 г. в особняке на углу Большой Никитской и Никитского бульвара.

[13] Поль Фор (1872–1960) — французский поэт-символист. Выступал в Москве и Санкт-Петербурге в 1914 г. «Королем французских поэтов» назвала его газета «Раннее утро» в номере от 11 марта 1914 г., сообщая о приезде Фора в Москву.

[14] Б.Зайцев использует редкое слово — сравнительную степень прилагательного «лихой».

[15] Конфликт, возникший между командующим МВО А. Е. Грузиновым и чинами его штаба, закончился тем, что по настоянию Совета солдатских депутатов в апреле 1917 г. он подал в отставку.

[16] Имеется в виду офицерское обмундирование и снаряжение, приобретенное в Доме Экономического общества офицеров Московского военного округа (позже — Центральный военный универсальный магазин), находившегося на Воздвиженке, дом 10.

[17] В апреле 1917 г. Б. К. Зайцев был произведен в прапорщики 192-го Запасного пехотного полка Московского гарнизона.

КРЕСТНЫЙ
(*Из литературных воспоминаний*)
(с. 353)

Перезвоны. 1926. № 26. С. 808.

Зайцев посещал А. П. Чехова летом 1900 г. Чехов жил в своем доме в Аутке с августа 1899 по 1 мая 1904 г. вместе с матерью и сестрой. Село

Аутка в 1945 г. было переименовано в Чехово, а в 1968 г. включено в черту города Ялты.

[1] Шашла — сорт винограда.

[2] Первая публикация Б. Зайцева — рассказ «В дороге», опубликован в газете «Курьер» 15 июля 1901 г.

МОСКВА. ЧЕХОВ
(с. 355)

Возрождение. 1928. 13 мая, № 1076. С. 3-4.

В 1928—1937 гг. Б. Зайцев публиковал в газете «Возрождение» цикл воспоминаний под общим названием «Москва», составивших впоследствии одноименную книгу. Несколько очерков цикла в нее не вошли, к их числу относятся «Чехов», «Три сестры» и «Зори».

[1] Театр Мошнина располагался в Каретном ряду, использовался любительскими труппами. Его владелец Константин Владимирович Мошнин — инженер-механик, с 1886 по 1894 г. приватный преподаватель математики и механики в Александровском военном училище. Театр Мошнина описан Зайцевым в очерке «Начало Художественного театра» (1932) [6, 19—23].

[2] Хотяинцева Александра Александровна (1865—1942) — художница, карикатуристка. С Чеховым познакомилась в 1897 г. через сестру Марию Павловну, неоднократно гостила у Чеховых в Мелихове. Ее воспоминания «Встречи с Чеховым» опубликованы в «Литературном наследстве» (Т. 68. М., 1960. С. 605—612. Публикация П. С. Попова).

[3] Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — публицист, критик, журналист, ученый и общественный деятель; с 1885 г. один из руководящих членов редакции журнала «Русская мысль», где Чехов заведовал отделом беллетристики. Лавров Вукол Михайлович (1852—1912) — журналист, переводчик, основатель и издатель-редактор журнала «Русская мысль».

[4] Дата указана неточно: первое представление «Вишневого сада» в Московском Художественном театре, на котором было отмечено 25-летие литературной деятельности Чехова, состоялось 17 января 1904 г.

[5] С осени 1902 г. МХТ работал в здании в Камергерском переулке.

МОСКВА. <«ТРИ СЕСТРЫ»>
(с. 360)

Возрождение. 1937. 17 дек., № 4110. С. 3.

[1] В первой постановке спектакля роли сестер исполняли М. Г. Савицкая (Ольга), О. Л. Книппер (Маша), М. Ф. Андреева (Ирина).

[2] К. С. Станиславский исполнял роль Вершинина, Александр Родионович Артём (наст. фамилия Артемьев; 1842—1914) — роль Чебутыкина, Мария Петровна Лилина (1866—1943) — роль Наташи.

[3] «Остров мёртвых» — картина швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина (1827—1901).

[4] Ut consecutivum (в латыни — придаточные предложения следствия) — в пьесе Чехова «Три сестры» нарицательное имя чиновника, уволенного из гимназии как не могущего освоить «ut consecutivum» (о нем рассказывает Кулыгин).

[5] Новый постоянно действующий репертуарный «Русский драматический театр» («Русский театр») основан в Париже в начале 1936 г.

[6] 27 ноября 1937 г. Русский театр открыл сезон пьесой А. Чехова «Три сестры». В ролях: М. Крыжановская (Ольга), М. Бахарева (Маша), Е. Кедрова (Ирина), Н. Токарская (Наташа), А. Богданов (Прозоров), Гр. Хмара (Вершинин), Б. Карабанов (Тузенбах).

[7] Постановщик спектакля — Григорий Михайлович Хмара (1878—1970).

РОССИЯ ЧЕХОВА
(с. 365)

Иллюстрированная Россия. 1938. 6 авг. № 33. С. 1, 2, 4.

Очерк имеет подзаголовок: «К годовщине дня смерти писателя 2/15.VII. 1904»

[1] Эти сведения были сообщены А. С. Данилевским биографу Гоголя В. И. Шенроку, который записал и опубликовал их: «В обожании сына Мария Ивановна доходила до Геркулесовых столбов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги) и, к величайшей досаде сына, рассказывая об этом всем при каждом удобном случае» (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. М., 1892. С. 202). Б. Зайцев мог узнать эти сведения также из книги В. В. Вересаева «Гоголь в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников» (М.; Л., 1933. С. 141).

[2] В своей книге «Вокруг Чехова» (1-е изд.: М., 1935) М. П. Чехов сообщал: «Как бы то ни было, а усилия Антона Павловича все-таки увенчались успехом. Скоро весь участок, в котором было до 25 деревень, покрылся целой сетью необходимых учреждений. Несколько месяцев писатель почти не вылезал из тарантаса. В это время ему приходилось и разъезжать по участку, и принимать больных у себя на дому, и заниматься литературой» (*Чехов М. П.* Вокруг Чехова. Встречи и впечатления / Подгот. текста, коммент. С. М. Чехова; предисл. Е. З. Балабановича. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1964. С. 271—272).

[3] Сажалка (*разг., устар.*) — приспособление для сохранения пойманной живой рыбы; небольшой искусственный водоём, пруд.

[4] Повесть «Три года» написана в 1895 г.

АЛЕКСАНДР БЛОК
(*К десятилетию смерти — из воспоминаний*)
(с. 369)

Возрождение. 1931. 13 авг., № 2263. С. 3—4.

Текст представляет собой существенно переработанный вариант очерка «Побежденный», опубликованного шестью годами ранее (Современные записки. 1925. Кн. 25). Впоследствии в книгу «Далекое» (1965) Б. Зайцев включил именно первый вариант — «Побежденный» [6, 161—168].

[1] Первая встреча Зайцева с Блоком произошла весной 1907 г. в Петербурге на собрании альманаха «Шиповник».

[2] Фирменный магазин кондитерских изделий «Товарищества паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений Эйнем» (с 1922 г. «Красный Октябрь») находившийся на Мясницкой ул. в доме 27.

[3] 14 августа 1912 г. у Зайцевых родилась дочь Наталья.

[4] Поэма «Двенадцать» была впервые опубликована 3 марта 1918 г. в газете «Знамя труда».

[5] Н. Ю. Грякалова в комментарии к очерку Б. Зайцева «Побежденный» сообщает: «Согласно ряду мемуарных свидетельств, сам Блок никогда публично “Двенадцать” не читал. “...у меня не выходит...”, — признавался он Чуковскому (Лит. наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 270). Это подтверждает и С. М. Алянский: “Мою просьбу прочитать поэму вслух Александр Александрович отклонил. Он сказал, что ни разу вслух “Двенадцать” не читал и прочитать не сумеет. Поэтому читает его жена — Любовь Дмитриевна, она актриса” (*Алянский С. М.* Встречи с Блоком // Новый мир. 1967. № 6. С. 167)» (Александр Блок: pro et contra / Сост., вступ. ст., примеч. Н. Ю. Грякаловой. СПб.: РХГИ, 2004. С. 708).

[6] Имеется в виду кн.: *Зайцев Б. К.* Путники: Рассказы 1916—1918 гг. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1919.

[7] За время пребывания в Москве в 1921 г. Блок выступал в Политехническом музее 3, 5 и 9 мая, в Доме печати и Studio Italiano 7 мая, в Союзе писателей (Дом Герцена) 5 мая (см. *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 541). Всероссийский союз писателей существовал в 1918—1932 гг. В 1921 г. председателем союза был избран Б. К. Зайцев.

[8] Общество Studio Italiano создано в Москве в 1918 г. для изучения и пропаганды итальянской культуры. В дневнике от 11 мая 1921 г. Блок записал: «...в Studio Italiano (приветствие Муратова, Зайцев, милая публика)» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 418).

[9] В литературно-художественном журнале «Русский современник» (М.; Л., 1924. № 3. С. 164—165) были напечатаны наброски и заметки Блока, в том числе запись из дневника от 7 января 1918 г. с планом пьесы из жизни Иисуса. Христос предстает в них «грешным Иисусом», «художником»,

который «всё получает от народа». Среди авторских ремарок: «Дурак Симон с отвисшей губой», «апостолы воровали для Иисуса», «У Иуды ... великая требовательность» и т. п.

[10] Последняя строфа стихотворения А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908). У Блока: «Уж не мечтать о *нежности*, о славе...»

МОСКВА. «ЗОРИ»
(с. 375)

Возрождение. 1934. 13 мая, № 3266. С. 3.

Очерк с одноименным названием и близкой тематикой был опубликован в газете «Последние новости» (1926. 9 дек., № 2087. С. 2; с подзаголовком «Из литературных воспоминаний») и впоследствии включен в книгу «Москва» (1939). В собрании сочинений [6, 474] ошибочно указано, что этот же очерк был опубликован также в «Возрождении» 13 мая 1934 г., однако на самом деле это другой текст — републикуемый здесь.

В очерке «Андрей Белый» Б. Зайцев так характеризует направление журнала: «В 1906—1907 годах кучка молодежи литературной издавала в Москве журнальчик "Зори", а затем газету "Литературно-художественная неделя". Объединяли участников родственные черты — некое "русское" (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и *не* брюсовского духа» [6, 173].

[1] Московский Главный архив Министерства иностранных дел находился на углу Моховой и Воздвиженки (в начале 1930-х гг. на его месте построили здание Государственной библиотеки имени В.И. Ленина).

[2] Кожевников Валентин Алексеевич (1867—1931) — инженер-путеец, редактор-издатель журнала «Правда» (1904—1906), газеты «Книговедение» и при ней еженедельника литературы и искусства «Зори» (1906).

[3] Марксистский журнал «Правда» выходил в Москве в 1904—1906 гг. Б. Зайцев работал в «Правде» корректором, опубликовал здесь рассказы «Мгла» и «Сон».

[4] Ярцев Пётр Михайлович (1870—1930) — театральный критик, драматург, режиссёр. Близкий знакомый Б. К. Зайцева, посвятившего ему главу «П. М. Ярцев» в книге «Москва» [6, 74—83]. Стражев Виктор Иванович (1879—1950) — поэт, прозаик, критик, издатель; Высоцкий Владимир Александрович — переводчик с польского; Койранский Александр Арнольдович (1884—1968) — поэт, художник, литературный, художественный и театральный критик; Кожевников Петр Алексеевич (1872—1933) — прозаик, археограф; Диесперов Александр Федорович (1883 — не ранее 1931) —

поэт, критик, историк литературы; Эллис (наст. имя и фам. Кобылинский Лев Львович; 1879—1947) — поэт-символист, критик, литературовед, переводчик; Первухин Константин Константинович (1863—1915) — живописец, график, педагог; Глаголь (наст. фам. Голоушев) Сергей Сергеевич (1855—1920) — врач, художник, публицист, театральный критик; ему посвящена глава в кн. Б. Зайцева «Москва»; Воротников Антоний Павлович (1857—1937) — драматург, беллетрист, переводчик, журналист, режиссер, сценарист. После 1917 г. в эмиграции.

[5] Об этой же публикации Б. Зайцев пишет в книге «Москва», приводя строку из стихотворения А. Блока, якобы впервые напечатанного в «Зорях»: «твой узорный, твой цветной рукав» [6, 43], что позволяет установить его название — «Осенняя воля». Однако это стихотворение было опубликовано не в «Зорях», а в сб. «Факелы» (СПб., 1905. Кн. 1). В «Зорях» Б. Зайцев только упоминал это стихотворение в своем обзоре (*Зайцев Б.* Заметки о художестве. 2. Новый реализм и сборник «Факелы» // Зори. 1906. 17 апр., № 9—10. С. 14).

[6] Возможно, имеется в виду этюд «Странник Антон» работы М. В. Нестерова (1896), воплощающий образ русского странничества, позже введенный художником в полотно «Святая Русь» (1901—1905).

[7] Эртель Михаил Александрович (1882 — начало 1920-х) — историк, теософ и антропософ. Сын романиста Александра Эртеля. Входил в теософское общество и в группы по изучению трудов Рудольфа Штейнера. В последние годы жизни страдал душевным заболеванием.

[8] Еженедельник литературы и искусства «Литературно-художественная неделя» выходил в Москве под редакцией В. И. Стражева с сентября по октябрь 1907 г. (№ 1—4).

[9] Имеется в виду П. П. Муратов. См. [6, 173].

[10] Коновод — здесь: вожак, зачинщик дела, заправила (*разг.*).

[11] Текст письма от 24 сентября 1907 г.:

«Милостивый государь Борис Николаевич!

В Вашем сегодняшнем разговоре с П. П. Муратовым, членом редакции "Литературно-художественной недели", в помещении "Перевала" Вы позволили себе назвать нашу газету *хулиганской* и употребить целый ряд крайне оскорбительных выражений по адресу газеты и ее сотрудников.

Ввиду этого мы, члены редакции, предлагаем Вам: или принести публичное извинение и взять Ваши слова назад в том же помещении редакции "Перевала", или считать все отношения с каждым из нас, как литературные, так и личные, совершенно поконченными.

Мы будем ждать Вашего ответа до 5 час. вечера среды 26-го сентября 1907 г. Если к этому сроку Вы не ответите, мы будем считать, что Вы приняли второе условие.

Во всяком случае мы находим дальнейшее участие Ваше в "Литературно-художественной неделе" невозможным.

Вик. Стражев. Борис Зайцев. Борис Грифцов. Павел Муратов.

Адрес редакции: 2-ой Смоленский пер., д. Орловых, кв. 33».

Цит. по: *Белый А.* Между двух революций. Воспоминания: В 3 кн. Кн. 3 / Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 1990. С. 513.

[12] Подробнее об этом эпизоде литературной жизни столицы см.: Там же. С. 224—226, 512—514.

[13] В книгах воспоминаний «Начало века» (М.; Л., 1933) и «Между двух революций» (Л., 1934) А. Белый оставил не всегда лицеприятные, подчас полные сарказма портреты Б. Зайцева. Мемуарный очерк Б. Зайцева «Андрей Белый» (1938) вошел в его книгу «Далекое» [6, 170—182].

ЛЕВ КАМЕНЕВ
(с. 380)

Иллюстрированная Россия. 1936. 10 окт., № 42. С. 1, 2, 4.

Каменев Лев Борисович (1883—1936) — большевик, занимавший высокие посты в СССР. В одни годы с Б. К. Зайцевым учился на юридическом факультете Московского университета. Очерк написан под впечатлением известия о расстреле Л. Каменева. О своих встречах с ним Зайцев вспоминает также на страницах книги «Москва» (1939) и в очерке «Давнее. Луначарский. Каменев» (1960). См.: [6, 124—125, 131] и [6, 322—326].

[1] Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк литературы, философ, публицист, переводчик; организатор сборника «Вехи» (1909). Зайцев написал о нем главу «М.О.Гершензон» в книге «Москва» [6, 123—127].

[2] В «Еженедельнике чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» (1918. 6 окт., № 3. С. 7—8) было опубликовано письмо «Почему вы миндальничаете?» за подписью первого секретаря Нолинского комитета РКП(б) и сотрудников Нолинской ЧК с призывом подвергать врагов революции «таким пыткам, от одного описания которых холод ужаса охватил бы контрреволюционеров». На заседании ЦК РКП(б) 25 октября 1918 г. статья была осуждена, а журнал решено закрыть.

[3] Мазон Андре (1881—1967) — французский филолог-славист; исследователь русской классической и древнерусской литературы и славянских языков. Арестован большевиками и провел полгода в Бутырках.

[4] Соболь Андрей (наст. имя Юлий Михайлович (Израиль Моисеевич); 1888—1926) — прозаик. Занимался революционной деятельностью, отбывал срок на каторге, был близок партии эсеров; в 1917 г. — комиссар Временного правительства, в 1922 г. — секретарь правления Всероссийского союза писателей. С юности страдал от депрессии, покончил с собой.

ДАЛЕКОЕ
<О Помголе>
(с. 384)

Русская мысль. 1963. 5 янв., №1939. С. 2—3.

21 июля ВЦИК утвердил статус общественного Всероссийского комитета помощи голодающим, созданного при участии виднейших представителей российской интеллигенции. Председателем был назначен председатель Моссовета Л. Б. Каменев, почетным председателем избран В. Г. Короленко. Комитет получил право приобретения продовольствия за рубежом, денежных сборов среди населения, и распределения их среди голодающих. Инициатива борьбы с голодом переходила в руки общественности, и через шесть недель Комитет был закрыт.

О своем участии в Помголе Б. Зайцев вспоминал в очерке «Максим Горький. К юбилею» [6, 309] и в главе «"Веселые дни". 1921 г.» книги «Москва» [6, 127—138].

[1] Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — экономист, политический деятель. Министр Временного правительства. В 1922 вместе с женой выслан из России. Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — политический и общественный деятель, публицист и издатель, активист революционного движения, жена С. Н. Прокоповича. В частности, в 1918 г. по инициативе В. Г. Короленко Кускова и ряд других общественных деятелей организовали «Лигу спасения детей», занимавшуюся устройством приютов и колоний для беспризорых детей. Кишкин Николай Михайлович (1864—1930) — член партии кадетов, министр государственного призрения Временного правительства, неоднократно арестовывался большевиками.

[2] Статья Зайцева «Завет» была опубликована в издании: Помощь. Бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. М., 1921. Вып. 2, 22 авг. С. 2. Включая ее в данный очерк, автор подверг текст некоторым сокращениям и стилистической правке. Полный текст статьи «Завет» и комментарии к ней см. в наст. изд.

[3] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

[4] Виппер Борис Робертович (1888—1967) — историк искусства, педагог и музейный деятель.

[5] В 20-х числах августа 1921 г. в Петрограде были расстреляны арестованные по делу «Петроградской боевой организации» профессор В. Н. Таганцев и его жена, поэт Н. С. Гумилев, ректор Петроградского университета Н. И. Лазаревский, профессор Петроградского технологического института Г. Г. Максимов, химик М. М. Тихвинский. В эти же дни Ленин написал письмо И. В. Сталину, в котором поручил Политбюро распустить комитет Помгол и взять под надзор его членов. 27 августа в Москве члены Помгола

были арестованы. В целом по делу Всероссийского комитета помощи голодающим арестовали около 80 человек.

[6] От казни активистов Комитета спасло вмешательство одного из организаторов международной помощи голодающей России, полярного исследователя и общественного деятеля Ф. Нансена.

[7] Цитата из главы «"Веселые дни". 1921» книги «Москва» [6, 138].

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
(*Из воспоминаний*)
(с. 387)

Русская мысль. 1969. 23 окт., № 2761. С. 8.

Републиковано (с купюрами): Андреевский сборник. Исследования и материалы / Под ред. Л. Н. Афонина. Курск, 1975. С. 226—232. Публикация Л. Н. Назаровой и Л. Н. Афонина. В публикации купированы фразы о том, что Андреев «возненавидел революцию» и о том, что «литература победила политику».

Л. Андрееву Б. Зайцев посвятил несколько заметок и очерков, среди них — «Заметки о художестве. I. Новый рассказ Леонида Андреева» (1906) [9, 21—23]; «Леонид Андреев» (1922), первоначально опубликованный (без заглавия) в издании «Книга о Леониде Андрееве. Воспоминания» (Берлин; Пб.; М., 1922) и включенный (с некоторыми сокращениями) в книгу «Москва» [6, 24—32]; «Финский край. На Черной речке» (1936) — см. в наст. изд.; «О Леониде Андрееве» (1949) [9, 276—278]. Публикуемый очерк 1969 г. — итоговый в мемуарах Зайцева, посвященнных Л. Андрееву.

[1] В 1902 г. Андреев женился на Александре Михайловне Велигорской (1881—1906), внучатой племяннице Тараса Шевченко. Мемуаристы (Н. Д. Телешов, Б. К. Зайцев) обозначали ее фамилию как Виельгорская (Велигорская — русифицированная форма родового имени одной из ветвей графов Виельгорских).

[2] Дом Н. Д. Телешова расположен на Покровском бульваре (д. 18). В квартире, где проживают родственники и потомки Телешова, до наших дней сохранились памятные вещи времен «телешовских сред».

[3] «Журнал для всех» — ежемесячный иллюстрированный научно-популярный и литературный журнал; издавался в Санкт-Петербурге с 1895 по 1906 г. В начале 1900-х гг. здесь опубликованы рассказы Л. Андреева «Мать. Из мира детей», «На реке», «Молчание», «Кусака», «В тумане».

[4] Строки старинного романса «Веселые годы, Счастливые дни — Как вешние воды Промчались они!». Использованы как эпиграф к повести Тургенева «Вешние воды» и к стихотворению А. Блока «Веселые годы...».

[5] Слова из размышления Марка Аврелия о краткости жизни.

[6] В 1908 г. Андреев женился на Анне Ильиничне (урожденной Денисевич, по первому мужу Карницкой; 1885—1948).

[7] Франц фон Штук (1863—1928) — немецкий живописец и скульптор.

[8] Обращение Л. Андреева «SOS», с призывом к «цивилизованному обществу» выступить против большевиков, ввергнувших Россию в хаос и тьму, не оставаться равнодушными «к бесчеловечной деятельности большевиков и называть её каким-нибудь другим именем кроме преступления, убийства, лжи и грабежа», было опубликовано в 1919 г. в переводах на разные языки в Париже, Выборге, Гельсингфорсе, Варшаве, Берлине и др.

[9] О даче Л. Андреева и посещении Зайцевым его могилы в 1935 г. см. очерк «Финский край. На Черной речке» в наст. изд.

[10] Грузины — наименование местности в Москве, подаренной в 1729 г. приехавшему в столицу грузинскому царю Вахтангу VI, расположена между современными улицами Красной Пресней, Грузинским валом, Грузинским переулком и Большой Грузинской улицей.

БАЛЬМОНТ
(*К юбилею*)
(с. 392)

Дни. 1925. 4 апр., № 733. С. 2.

С Бальмонтом Зайцев познакомился в Москве в начале 1900-х гг. Прозаик и поэт находились в центре литературной жизни, оба входили в Литературно-художественный кружок и общество «Среда», печатались в одних и тех же журналах, посещали творческие собрания и вечера. С разницей в два года они уехали в эмиграцию (Бальмонт — в 1920 г., Зайцевы — в 1922 г.). Первым жилищем Зайцевых в Париже стала освободившаяся квартира Бальмонтов на рю Беллони, здесь Борис Константинович с семьей прожил осень 1924-го и первые месяцы 1925 г. [6, 411]

Образ Бальмонта не раз появляется на страницах мемуарной прозы Зайцева. В воспоминаниях «Серебряный век» (1959) содержится характеристика мировоззрения поэта: «Бальмонт, хотя тоже был крайний индивидуалист, все же совсем другого склада. Тоже, конечно, самопреклонение, отсутствие чувства Бога и малости своей пред Ним, однако солнечность некая в нем жила, свет и природная музыкальность. <...> Бальмонта тех дней можно было считать язычником, но светопоклонником» [2, 471].

Зайцев — автор трех очерков о Бальмонте, написанных в 1925, 1936 и 1963 гг. Последний из них, «Бальмонт» — хорошо известен, он включен в книгу воспоминаний «Далекое» (1965) [6, 183—188]. Первоначально этот текст под названием «Ранний Бальмонт» был опубликован в газете «Русская мысль» (1963. 5 дек., № 2082. С. 4—5). Однако до сих пор оставались непереизданными первые два очерка. В данной публикации они впервые вводятся в научный оборот.

[1] Весной 1925 г. в Париже отмечали юбилей Бальмонта — 35-летие выхода его первой книги «Сборник стихотворений» (Ярославль, 1890). Заметка написана под впечатлением вечера Бальмонта в Клубе молодых литераторов, прошедшего 28 марта.

[2] «Будем, как солнце» — четвёртый поэтический сборник Бальмонта (1902), имевший грандиозный успех. Считается лучшей его поэтической книгой.

[3] Первая строка «Ада» («Божественная комедия»). У Данте: «Nel mezzo del cammin di nostra vita». В переводе Б.Зайцева: «На половине странствия нашей жизни» [8, 307].

[4] В 1925 г. в Париже был основан Союз молодых писателей и поэтов, объединивший младшее поколение литераторов-эмигрантов. Первым председателем стал Ю. К. Терапиано. При Союзе существовал Клуб молодых литераторов, собрания проходили в доме 79 по ул. Данфер Рошро. В начале 1925 г. Бальмонт неоднократно встречался с молодыми поэтами. «В клубе молодых литераторов он выступил с докладами “Слово и поэзия Фета” (27 февраля) и “Высокий викинг” — о Баратынском (1 марта). 28 марта там же молодые поэты устроили чествование Бальмонта по поводу 35-летия выхода первой книги стихов (ярославский сборник 1890 г.). От имени Союза писателей и журналистов его приветствовали И. Шмелев, Н. Тэффи, М. Гофман и др. Поэт прочел свои ранние стихи» (*Куприяновский П. В., Молчанова Н. А.* Поэт Константин Бальмонт. Биография. Творчество. Судьба. Иваново, 2001. С. 382).

[5] «Бальдеру Локи» (Зайцев неточно приводит название) — стихотворение Брюсова. Опубликовано с посвящением «Андрею Белому» в 1905 г. «Бальдр и Локи — герои скандинавских мифов, в том числе сказаний “Старшей” и “Младшей” “Эдды”. Бальдр — юный бог, сын верховного бога Одина, прекрасный, светлый и благостный; характерна его роль пассивной жертвы. Локи — стихийный, “демонический” многоликий бог, отличающийся хитростью и коварством; по его наущению погиб Бальдр. Локи в брюсовском тексте — сам автор, Андрею Белому (Бальдеру) он послал стихотворение, свернув лист в виде стрелы. <…> Стихотворением “Бальдеру Локи” Брюсов недвусмысленно заявил, что он намеренно надел на себя личину “демона”, дабы противостоять чуждым ему мировоззренческим устоям Белого» (*Гречишкин С. С., Лавров А. В.* Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел». URL: http://www.trediakovsky.ru/node/45?nopaging=1. Дата обращения: 24.02.2018).

[6] Московский литературно-художественный кружок (1899—1919) — клуб творческой интеллигенции, существовал в 1899—1919 годах. См. главу «Литературный кружок» в кн. Зайцева «Москва» [6, 36—41].

[7] Зайцев, вероятно, имеет в виду, что термин *décadence* (*фр.* упадок) использовался еще в эпоху Просвещения для обозначения культурных явлений заката Римской империи.

[8] Фигура юноши, выкрикивающего тот же лозунг, возникает и в воспоминаниях Б. Зайцева «Литературный кружок». Там уточняется, что это был гимназист-восьмиклассник, вечерами появлявшийся «на эстраде, в штатском, с демоническими начесами». «Не так особенно он окунулся, — с юмором продолжает Зайцев, — и домашняя, довольно безобидная была тогда Москва, но так уж полагалось “устрашать” и “претерпевать за идею”: юноша, пожалуй, только что получил двойку, но, зачитываясь Бальмонтом и Брюсовым, готов был отдаться на растерзание “мещанству”, лишь бы не быть “как все” и чем-то о себе заявить» [6, 37].

[9] «Скорпион» — издательство символистов, основанное в 1899 г. меценатом С. А. Поляковым, поэтами В. Брюсовым и Ю. Балтрушайтисом. «Метрополь» — ресторан при одноименной гостинице, открыт в 1905 г. Б. Зайцев вспоминает, что С. А. Поляков «был богатый человек, мог хорошо угощать в “Метрополе” и других местах» [6, 184]. Противопоставление Бальмонта Брюсову находим и в других мемуарах Зайцева: «Бальмонта в Москве сразу приняли и полюбили (молодежь, конечно). Брюсова не любили, но вокруг себя он сумел создать некую “магическую” славу. Его боялись. И прислушивались к его теориям художническим. Он редактировал “Весы”, тоже журнал скорпионовский» [6, 36].

[10] В доме по адресу Цветной бульвар, 22 В. Я. Брюсов жил и работал в 1878—1910 гг.

[11] «Кинжальные слова» — стихотворение Бальмонта 1899 г.

[12] В переводе Бальмонта вышли сочинения Педро Кальдерона (в трех выпусках, 1900—1912), Перси Биши Шелли (в семи выпусках, 1893—1899), Эдгара По (в пяти томах, 1901—1912).

[13] «У моря ночью» — стихотворение Бальмонта 1903 г.

[14] «Умер великий Пан» — крылатое выражение, восходящее к греческому мифу. Означает конец исторического периода, закат эпохи. И. С. Тургенев написал на сюжет этого мифа стихотворение в прозе «Нимфы» (1882).

[15] В 1924—1925 гг. Зайцевы жили в доме на углу улиц Фальгьер и Беллони (ныне ул. д’Арсонваль). До них в этой квартире жил К. Д. Бальмонт с семьей. Улица Фальгьер также описана в эссе Зайцева «Странник» [7, 259].

О БАЛЬМОНТЕ
(*К пятидесятилетию литературной деятельности*)
(с. 394)

Современные записки. 1936. № 61. С. 185–190.

Публикуя статью, Б. Зайцев стремился привлечь внимание к поэту, оказавшемуся в беде. Начиная с 1932 г. Бальмонт страдал душевной болезнью, которая обострилась в 1935 г. Бальмонта устроили в пансион, что требовало немалых средств. «Солнечник висит на волоске в лечебнице, завтра

надо платить "монеты". Он стал тише, почти не ест, страшно исхудал... м<ожет> б<ыть> — разрешение всего? Ибо платить-то за него решительно нечем» — сетует Зайцев в письме к Бунину 30 марта 1936 г. [11, 95]. Для сбора средств 24 апреля 1936 г. был проведен вечер «Писатели — поэту», приуроченный к 50-летию его литературной деятельности, в организации которого приняли участие Б. Зайцев, И. Шмелев, М. Цветаева и др.

[1] В ноябре 1903 г. на заседании Московского литературно-художественного кружка К. Бальмонт прочитал доклад «Поэзия Оскара Уайльда» и свой перевод «Баллады Редингской тюрьмы». Доклад опубликован в журнале «Весы» (1904. № 1. С. 22—40).

[2] Имеются в виду поэтические сборники Бальмонта «Горящие здания. Лирика современной души» (М., 1900), «Будем как солнце. Книга символов» (М., 1903), «Только любовь. Семицветник» (М.,1903).

[3] Бальмонт Екатерина Алексеевна (1867—1950) — литератор, переводчик и мемуаристка, автор книги «Воспоминания» (М., 1997). Вторая жена (с 1896 г.) Бальмонта (Зайцев ошибочно называет ее первой).

[4] Во время путешествия по Новой Зеландии Бальмонт увлекся искусством и мифологией народа маори, записывал их предания, которые планировал включить в книгу «Океания», написал очерки «Острова счастливых. Тонга», «Острова счастливых. Самоа». Океания стала темой литературных вечеров Бальмонта в 1914—1917 гг.

[5] Стихотворение «Я в этот мир пришел...» (1902).

[6] То есть в гостях у Зайцевых, которые жили на улице Клод Лоррен (д. 11) с 1926 по 1932 г.

[7] Тема противопоставления Луны и Солнца присутствовала еще в раннем творчестве Бальмонта, ср. стихотворение 1895 г.: «Отчего нас всегда опьяняет Луна? / Оттого, что она холодна и бледна. / Слишком много сиянья нам Солнце дает, / И никто ему песни такой не споет». Неизвестно, какое стихотворение «против солнца» имеет в виду Зайцев. Однако в последней своей поэтической книге с говорящим названием «Светослужение» (1937) поэт вновь подтверждает приверженность «светлым, солнечным началам своего мироощущения» и включает в нее стихотворение «Солнце поющее» (см. об этом: *Куприяновский П. В., Молчанова Н. А.* Поэт Константин Бальмонт. Биография. Творчество. Судьба. С. 429).

[8] Стихотворение «Косогор», не входившее ни в один прижизненный сборник поэта, впервые появилось в печати именно в данной статье Б. Зайцева.

[9] Состояния мрачной депрессии сменялись у Бальмонта периодами просветления и творческой активности. Последние его книги, написанные в 1936—1937 гг., — «просветленная лирическая поэзия, как всегда у Бальмонта, высоко музыкальная, но в последнем его сборнике стихи исполнены пронзительной простоты, полны любви к природному миру и благо-

дарности Творцу» (*Крейд В. П.* Бальмонт в эмиграции // Бальмонт К. Д. Где мой дом: Стихотворения, худож. проза, статьи, очерки, письма / Сост., предисл. и коммент. В. Крейда. М., 1992. С. 15).

[10] Б. Зайцев в очерке 1963 г. писал: «Он горестно угасал и скончался в 1942 г. под Парижем в местечке Noisy-le-Grand, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым. Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния» [6, 188]. Зайцев был среди немногих лиц, проводивших поэта в последний путь.

БУНИН
(с. 400)

Русская мысль. 1970 22 окт № 2813 с. 8.

Републиковано: Русская литература. 1989. № 1. С. 201—203. Публикация Л. Н. Назаровой.

[1] Рассказ Бунина «Речной трактир» в 1945 г. при содействии М. Алданова и Цетлиных выпущен отдельной брошюрой как подарок к 75-летию Бунина (*Бунин И.* Речной трактир / Обл. и концовка работы М. В. Добужинского. Нью-Йорк: Grenich printing corp., 1945).

[2] Цетлина Мария Самойловна (1882—1976) — общественный деятель, издатель, культурный деятель российской эмиграции. Издавала журнал «Опыты», была членом правления Литературного фонда, оказывала помощь эмигрантам, в т. ч. Бунину. В альбом М. С. Цетлиной Бунин в мае 1920 г. записал стихотворение «Цирцея».

[3] Рыбакова Любовь Ивановна (урожд. Чулкова; 1882—1973) — художница; сестра Г. И. Чулкова. Первый муж — врач, профессор психиатрии Ф. Е. Рыбаков. После его смерти в 1920 г. вышла замуж за искусствоведа Н. М. Тарабукина.

[4] Рыбаков Фёдор Егорович (1868—1920) — психиатр и психолог, доктор медицинских наук, профессор Московского университета. Один из основателей и первый директор Московского психоневрологического института.

[5] Рассказ Бунина «Сосны» был напечатан в журнале «Мир Божий» (СПб., 1901. № 11).

[6] Бунин Юлий Алексеевич (1857—1921) — публицист, литературно-общественный деятель, старший брат Ивана Бунина. Один из основателей и председатель литературного кружка «Среда» (1897—1916), директор Литературно-художественного кружка (с 1910). Б. Зайцев посвятил ему главу «Юлий Бунин» в книге «Москва» [6, 50—53].

[7] Родители В. Н. Муромцевой-Буниной: Муромцев Николай Андреевич (1852—1933), член Московской городской управы; Муромцева Лидия Фёдоровна (урожд. Соколова), потомственная дворянка.

[8] Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — правовед, один из основоположников конституционного права России, социолог, публицист, политический деятель. Профессор Московского университета. Председатель Первой Государственной думы (1906).

[9] Начало стихотворения Бунина «Чашу с темным вином...» (1902) — «Чашу с темным вином подала мне богиня печали. / Тихо выпив вино, я в смертельной истоме поник. / И сказала бесстрастно, с холодной улыбкой богиня: / "Сладок яд мой хмельной. Это лозы с могилы любви"».

ПОРТРЕТЫ-НЕКРОЛОГИ

ПОТЕМКИНУ
(с. 407)

Дни. 1926. 23 окт., № 1140. С. 2.

Петр Петрович Потемкин (1886—1926) — поэт, переводчик, драматург, критик. Родился в Орле, учился в Риге, Томске, Петербурге. Сотрудничал в журнале «Сатирикон», посещал «Башню» Вяч. Иванова. С 1920 г. — в эмиграции (Прага, Париж). В эмиграции Потёмкин переводил чешских и немецких поэтов, печатал стихи и рецензии.

[1] Неточная цитата из стихотворения Пьера Ронсара (1524—1585) «Avant le temps tes temples fleuriront...». У Ронсара: «Avant *le soir* se clorra ta journée». Первую строфу этого стихотворения Зайцев поставил эпиграфом к рассказу «Елисейские поля» (1914).

РЕЧЬ
<О протоиерее Георгии Спасском>
(с. 408)

О. Георгий Спасский. 1877—1934. Париж: Издание Комитета по увековечению памяти о. Георгия Спасского, 1938. С. 211—214.

Из текста можно заключить, что речь была произнесена Б.Зайцевым вскоре после кончины о. Георгия на одном из собраний его памяти.

Спасский Георгий Александрович (1877—1934) — протоиерей, богослов, преподаватель, проповедник. Рукоположен в 1903 г., служил законоучителем, с 1917 г. по приглашению контр-адмирала А. В. Колчака — главный священник Черноморского флота. В качестве флотского делегата принял участие в заседаниях Поместного собора 1917—1918 гг. В 1920 г. в составе русской эскадры эвакуировался в Бизерту. С 1923 г. — во Франции, с 1925 г. — штатный священник Александро-Невского собора в Париже, где оживил приходскую жизнь, читал лекции, руководил сестричеством.

Был духовником русских эмигрантов, в том числе Ф. Шаляпина и семьи Зайцевых. Скоропостижно скончался 16 января 1934 г. в Париже во время чтения лекции о догматическом богословии. В 1934—1936 гг. в Париже состоялись вечера его памяти.

ПАМЯТИ О. ГЕОРГИЯ СПАССКОГО
(с. 410)

О. Георгий Спасский. 1877—1934. Париж: Издание Комитета по увековечению памяти о. Георгия Спасского, 1938. С. 281.

Впервые опубликовано в газете «Возрождение» 5 мая 1935 г. (№ 3623. С. 2). В сборнике текст приведен без изменений, но без заключительного предложения: «Пожертвования (по талонным книжкам) производятся лицами, на то уполномоченными, а также в кн. маг. Е. Сияльской (против церкви)». Там же в ссылке на номер газеты ее дата указана ошибочно (как 5 мая 1934 г.).

Спустя 30 лет, в 1965 г. Зайцев написал заметку с тем же названием «Памяти о. Георгия Спасского», представляющую собой новый текст [7, 415—418].

Н. Н. БЕЛОЦВЕТОВ
(с. 411)

Русская мысль. 1950. 9 июня, № 248. С. 5.

Белоцветов Николай Николаевич (1892—1950) — поэт, переводчик, публицист, религиозный мыслитель. С 1912 г. — член Российского Антропософского общества. В 1917—1920 гг. принимал участие в деятельности антропософских кружков Москвы и Петрограда. В 1920 г. бежал в Финляндию, в 1921 г. поселился в Берлине. В 1933—1941 гг. жил в Риге, затем в Штутгарте.

[1] Цитата из статьи: *Иссако Г.* Предвоенная эмигрантская поэзия // Грани. 1949. № 5. С. 71.

[2] В дореволюционные годы Б. Зайцев с женой неоднократно отдыхали в местечке Кави-ди-Лаванья на Лигурийском побережье Италии. Здесь же они провели осень 1923 г., где общались с Н. Белоцветовым.

[3] Имеются в виду издания: Ангел Силезский: Избранные двустишия из Херувимского Странника. Перевод Николая Белоцветова. Берлин, 1926; *Белоцветов Н.* Дикий мед. Стихи. Берлин, 1930.

К УХОДУ БУНИНА
(с. 412)

Русская мысль. 1953. 14 нояб., № 606. С. 5.

И в России, и в эмиграции И. Бунин и Б. Зайцев были друзьями и единомышленниками. Причины их размолвки политические: Зайцев не шел ни на какие компромиссы с советской властью, и в 1947 г. из возглавляемого им парижского Союза русских писателей и журналистов были исключены те, кто решил принять советское гражданство. В знак протеста Бунин также вышел из Союза. Попытки Зайцева объясниться привели к окончательному разрыву. См: *Гордиенко Т. В.* И. А. Бунин и Б. К. Зайцев в Москве и в эмиграции // И. А. Бунин и его окружение: к 140-летию со дня рождения писателя. М., 2010. Т. 84. С. 146—172.

К истории размолвки с Буниным Зайцев обратился в мемуарном очерке «Тринадцать лет» (1966), где с горечью признавался: «Странным образом, мы оказались с Иваном в разных лагерях — хотя он был гораздо бешенее меня в этом (да таким по существу и остался...). Теперь сделал некоторые неосторожные шаги. Это вызвало резкие статьи в издании, к которому близко я стоял. Он понял дело так, что я веду какую-то закулисно- враждебную ему линию, а я был *именно* против таких статей. Но Иваново окружение тогдашнее и мое оказались тоже разными, и Ивану я *не* сочувствовал. Тут ничего уже нельзя было поделать. Темпераменты разные, но я не уступал ни пяди. Он более и более раздражался. Озлобленность его росла. Мы перестали встречаться. <...> Я его больше не видел. Грустно вспоминать все это, и, может быть, надо было преодолеть его раздражение и мрак, но сил, очевидно, не хватило. Поздно теперь сожалеть» [6, 301].

[1] Зайцев цитирует строки из своего письма Бунину от 9 октября 1953 г. В этом письме также говорилось: «Хочу еще сказать, что в том тяжелом, что было и есть между нами, *огромная* доля недоразумения. Ошибки может делать каждый, и все мы их делаем, но одно я знаю *наверно:* никогда никакого зла я тебе не делал (хотя ты, наверно, думаешь, что делал)» [11, 174].

<В. Ф. ЗЕЕЛЕР>
(с. 413)

Русская мысль. 1954. 31 дек., № 724. С. 3.

Наряду с некрологом Зайцева в том же номере газеты свои заметки памяти В. Ф. Зеелера поместили В. Полянский, В. Сперанский, Н. Туроверов, С. Водов, Н. Шальнев.

Зеелер Владимир Феофилович (1874—1954) — журналист, критик, мемуарист; член партии кадетов. В 1917 г. — городской голова Ростова-на-Дону, в 1919—1920 гг. — министр внутренних дел в правительстве Деникина. В 1920 г. эмигрировал в Париж. Один из организаторов, затем генеральный секретарь парижского Союза русских писателей и журналистов. В годы Второй мировой войны арестован нацистами, содержался в концлагере. С 1947 г. член редколлегии газеты «Русская мысль».

[1] Березов Родион Михайлович (наст. фам. Акульшин; 1896–1988) – прозаик, поэт, драматург, журналист, мемуарист. В 1925–1930 гг. участник лит. группы «Перевал». С 1934 г. член Союза советских писателей. В июне 1941 г. вступил в народное ополчение, попал в плен. После войны жил в Австрии, в 1949 г. переехал в США, в 1958 г. принял американское гражданство. Оформляя документы для эмиграции в США, Березов скрыл свою подлинную биографию, опасаясь насильственной выдачи советским властям. Прибыв в Америку, он признался в этом обмане, был привлечен к суду, ему вновь грозила высылка в СССР. Был амнистирован благодаря вмешательству влиятельных лиц. Итогом этой тяжбы стало принятие закона, разрешающего русским эмигрантам скрывать свою фамилию, чтобы не быть насильственно репатриированными.

Н.Д. ТЕЛЕШОВ
(с. 414)

Русская мысль. 1957. 28 мая, № 1061. С. 5.

В воспоминаниях Б. Зайцева встречается двоякое написание названия кружка: «Среда» и (как здесь) «Середа».

Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957) – прозаик, мемуарист. В 1899 г. организовал кружок московских писателей «Среда» (1899–1916). После революции принимал участие в работе Наркомпроса, был членом правления Всероссийского союза писателей. Участвовал в организации музея МХТ, директором которого был с 1923 г. С 1925 г. – председатель «Общества имени Чехова». Известность получила книга Н. Телешова «Записки писателя. Воспоминания и рассказы о прошлом», неоднократно переиздававшаяся.

СМЕРТЬ РЕМИЗОВА
(с. 415)

Русская мысль. 1957. 3 дек., № 1142. С. 5.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
(с. 416)

Вестник РСХД. 1960. № 56. С. 46–47.

В этом же номере опубликованы заметки В. В. Вейдле и прот. Александра Шмемана памяти архим. Киприана.

Киприан, архимандрит (в миру Керн Константин Эдуардович; 1899–1960) – богослов, церковный историк. Участвовал в Гражданской войне в рядах Добровольческой армии, в 1920 г. эмигрировал в Сербию. В 1927 г. принял монашеский постриг, в 1928 г. возведен в сан архимандрита. В 1925–1936 гг. преподавал (с перерывом) в духовной семинарии Серб-

ской православной церкви в Битоле. В 1936–1939 гг. – настоятель Покровской церкви на ул. Лурмель в Париже, с 1940 г. – настоятель церкви святых Константина и Елены в Кламаре. С 1941 г. доцент, в 1945–1960 гг. – профессор Свято-Сергиевского богословского института по кафедрам патрологии, литургики и пастырского богословия. Автор научных трудов по этим дисциплинам, один из главных – «Антропология святого Григория Паламы» (1950).

Был духовником Бориса и Веры Зайцевых. Зайцев посвятил ему очерк «Архимандрит Киприан» (Русская мысль. 1960. 5 марта), включенный в книгу «Далекое» [6, 202–207], а также сделал прототипом персонажа (архимандрита Андроника) в рассказе «Река времен» (1964).

[1] Бернар Клервоский (1091–1153) – католический святой, богослов, основатель и аббат монастыря Клерво. Много лет провел в созерцательном уединении. В жизнеописании отмечено, что он был настолько отрешен от внешнего мира, что не замечал, есть ли потолок над его кельей, освещалась ли она через три окна или через одно.

[2] Блуа Леон (1846–1917) – писатель, автор романов, эссе, Дневника. Получил известность как глубокий католический мыслитель. Был популярен среди православных русских эмигрантов, в том числе преподавателей и студентов Сергиевского богословского института.

ПАМЯТИ ЗАМЯТИНА
(с. 417)

Русская мысль. 1962. 10 марта, № 1810. С. 7.

[1] «Уездное» (1912) – первая повесть Е. Замятина, в которой нелицеприятно изображен мир русской провинции.

[2] Статья «Я боюсь» была опубликована в издании: «Дом Искусств» (1921. № 1. С. 43–45). Замятин озабочен тем, что «труд художника слова <...> и труд словоблуда <...> теперь расцениваются одинаково», и утверждает, что «настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики».

[3] Роман-антиутопия «Мы», описывающий общество с жестким тоталитарным контролем над личностью, закончен Е. Замятиным в 1920 г. Советская цензура запретила публикацию. Роман был издан на английском (1925), чешском (1927) и французском (1929) языках. На русском языке полный текст романа «Мы» впервые был опубликован в США в 1952 г., в России – в 1988-м.

[4] Подвергавшийся травле критики, Замятин в 1929 г. вышел из Всероссийского союза писателей, в 1931 г. обратился к Сталину с просьбой разрешить ему выезд за границу. Получив благодаря ходатайству Горького раз-



решение, выехал из страны в ноябре 1931 г., с 1932-го обосновался в Париже.

Т. И. МАНУХИНА
(с. 418)

Русская мысль. 1962. 10 июля, № 1862. С. 6.

Манухина Татьяна Ивановна (1885—1962) — журналист, прозаик, критик. Начала печататься в 1913 г. (лит. псевдоним — Т. Таманин). Окончила Высшие педагогические курсы в С.-Петербурге, затем Сорбонну. Вернулась в Россию. В 1921 г. с мужем эмигрировала во Францию. Публиковалась в журналах «Русские записки» (под псевдонимом Таманин), «Новый журнал», «Вестник РСХД». Член Союза русских писателей и журналистов в Париже. Автор воспоминаний о Е. Ю. Кузьминой-Караваевой «Монахиня Мария» (Новый журнал. 1955. № 41).

[1] Манухин Иван Иванович (1882—1958) — врач-иммунолог, доктор медицины, ученый-исследователь, общественный деятель. Проходил стажировку у И. И. Мечникова в Институте Пастера в Париже. Находясь в эмиграции с 1921 г., лечил русских эмигрантов, продолжил научную деятельность, принимал участие в работе Комитета помощи русским писателям и ученым.

[2] В 1933 г. под псевдонимом Т. Таманин вышел из печати в издательстве YMCA-Press роман «Отечество», повествующий о судьбах русской интеллигенции в послереволюционный период. Идея книги в том, что революция уничтожила всю русскую нацию и страну, и теперь героям приходится отринуть родину, чтобы остаться с Богом. По поводу романа возникла острая полемика между З. Гиппиус, высоко его оценившей (Последние новости. 1933. 12 янв.), и В. Ходасевичем (Возрождение. 1933. 26 янв.).

[3] Путь моей жизни: Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные Т. Манухиной. Париж, 1947. 2-е изд.: М., 1994.

[4] *Манухина Т. И.* Святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Париж: YMCA-Press, 1954.

ПАМЯТИ Л. В. ШЕЙНИС
(с. 419)

Русская мысль. 1962. 4 окт., № 1899. С. 4.

Републиковано в изд.: Русская общественная библиотека имени И. С. Тургенева. Сотрудники. Друзья. Почитатели. Сб. статей / Сост. Т. А. Бакунина-Осоргина. Париж, 1987. С. 131—132; Изд. доп. СПб., 2012. С. 123—124.

Чехова-Шейнис Людмила Владимировна (1870—1962) приехала во Францию в конце XIX в. Жила в Монпелье, затем в Париже. С 1917 г. по

1940 г. была, совместно с Мариной Петровной Котляревской (1883–1951), библиотекарем Тургеневской библиотеки.

[1] Русская общественная библиотека («Тургеневская»), созданная в 1875 г. русскими эмигрантами, в 1940 г. после оккупации Парижа была вывезена немцами в неизвестном направлении. Усилиями энтузиастов-эмигрантов восстановлена в 1959 г. Борис Зайцев был членом Правления библиотеки после ее возобновления и посвятил ей очерк «Тургеневская библиотека» (1964) [9, 397–401].

[2] Осоргина (Осоргина-Бакунина) Татьяна Алексеевна (1904–1995) – историк, библиограф, библиотекарь, преподаватель, общественный деятель. В эмиграции с 1926 г. Работала в Национальной библиотеке Франции, преподавала русскую литературу в Высшей нормальной школе в Сен-Клу. Хранитель архива и издатель сочинений М. А. Осоргина. В 1957 г. была среди инициаторов восстановления Тургеневской библиотеки. Директор, член Правления и с 1960 г. председатель Общества Тургеневской библиотеки в Париже. Сотрудничала в Институте славяноведения в Париже, составитель и редактор библиографий русских писателей и философов.

ВЕРНОСТЬ
Памяти Л. Н. Замятиной
(с. 421)

Русская мысль. 1965. 6 мая, №2304. С. 4.

[1] Людмила Николаевна Замятина (1883–1965) на протяжении многих лет занималась литературным наследием своего мужа, готовила к публикации его произведения. При ее содействии роман «Мы» был опубликован в Америке (Нью-Йорк, 1952), а также печатался в переводах на многие языки в 1950-х гг.; вышла книга Е. Замятина «Повести и рассказы» (Мюнхен, 1963). Приняла участие в составлении и издании книги статей и воспоминаний Е. Замятина «Лица» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955).

[2] Порт-де-Сен-Клу – площадь и станция метро в предместье Парижа Булонь-Бийанкур.

ВЕНОК
Слово на вечере памяти Алданова
(с. 422)

Русская мысль. 1967. 15 апр., № 2608. С. 3.

В том же номере «Русской мысли» опубликованы, наряду с зайцевской, речи Г. Адамовича и Г. Газданова. Вечер, посвященный 10-летию кончины М. А. Алданова, состоялся 1 апреля 1967 г. в помещении Русской консерватории в Париже.

Тремя годами ранее Б.Зайцев опубликовал в «Русской мысли» (1964, 7 апр.) очерк «Алданов» [6, 352— 354].

[1] Неточная цитата из «Книги Екклезиаста, или Проповедника». В оригинале: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё суета!» (Екк 1: 2).

[2] Неточная цитата, в Библии: «все произошло из праха и все возвратится в прах» (Екк 3: 20). Автором Книги Екклезиаста считается царь Соломон.

[3] Пессимистическое мировоззрение М. Алданова, о котором говорит Зайцев, констатируют и современные исследователи его творчества: «Иронический скепсис — закономерная реакция писателя на извечное недомыслие человечества в истории, нечистоплотность политиков. Подобный взгляд на историческую судьбу человечества отчасти объясняется и природной склонностью Алданова, мыслителя и человека, к пессимизму (а также, возможно, передаёт мироощущение эмигранта, «затерянного на чужбине»). Писатель постигает сумрачную, трагическую сторону бытия. <...> Алданов как мыслитель наследует и традиции скептического философствования, черпая интеллектуальное вдохновение из величественной и скорбной Книги Екклесиаста: "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем" (Екк I, 9)» (*Маркушина И. В.* О художественной эсхатологии М. Алданова (на материале романа «Начало конца») // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 9. С. 229—230).

[4] «С Алдановым мы встретились в то давнее время, кажущееся теперь чуть не молодостью, когда мы еще только покинули Россию (и казалось, вернемся!) — Берлин 1922—1923 гг.», — вспоминал Б. Зайцев в очерке «Алданов» [6, 352].

[5] «Истоки» (1950) — исторический роман об эпохе Александра Второго и народовольцах

[6] Роман «Заговор» (1927) повествует о последних днях правления императора Павла I.

[7] Философская повесть «Десятая симфония» (1931), в центре которой — фигура князя, дипломата А. К. Разумовского, которому Бетховен посвятил свои «Русские квартеты».

[8] Книга «Ульмская ночь. Философия случая» (1953) построена в виде диалога двух альтер эго автора.

[9] Эту мысль Б. Зайцев повторил и в письме к Л. Н. Назаровой 29 апреля 1967 г.: «был Алданов скептиком и пессимистом и "все прах и суета", а вот в натуре его сидело и нечто противоположное, что делало его добрым и благородным человеком» [11, 255].

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
(с. 424)

Русская мысль. 1968. 7 марта, № 2677. С. 3.

Шик Александр Адольфович (1887—1968) — литератор, искусствовед. С 1924 г. в эмиграции в Берлине, с 1933 г. — в Париже. В годы Второй мировой войны доброволец французской армии, участник Сопротивления. Сотрудник «Русской мысли», писал о балете, театре, кино. Печатался в журналах «Возрождение», «Грани», «Мосты», «Новом журнале». Товарищ председателя правления Союза русских писателей и журналистов. Член многих культурно-общественных организаций и комитетов зарубежья. Автор книг, изданных в Париже: «Одесский Пушкин» (1938), «Гоголь в Ницце» (1946), «Гоголь, его мучительная жизнь» (1949), «Денис Давыдов» (1951) и др.

О РОЩИНОЙ-ИНСАРОВОЙ
(с. 424)

Русская мысль. 1970. 16 апр., № 2786. С. 8.

Рядом с публикацией воспроизведено факсимиле рукописных строк Зайцева (вероятно, из первоначального наброска заметки):

«Помню Рощину-Инсарову по Москве, особенно в одной пьесе Ивана Новикова "Любовь на земле". И пьеса неясно осталась в памяти, и другие исполнители. А Рощину как сейчас вижу — легкая, летящая такая на сцене, с трепетом, и серебряный какой-то оттенок в ней, т. е. в голосе и движениях. Удивительна она была, прямо прелестна. Вот спасибо ей за прекрасные воспоминания. А "Анфиса", "Обнаженная"! Отлично. Бор. Зайцев».

Рощина-Инсарова (урожд. Пашенная, в браке графиня Игнатьева) Екатерина Николаевна (1883—1970) — драматическая актриса, педагог, общественный деятель. С 1919 г. в эмиграции. Основала Русский Камерный театр и театральную студию в Риге (1923). С 1925 г. жила в Париже. К 25-летию сценической деятельности был издан альбом с приветствиями А. И. Куприна, Н. А. Тэффи, Б. К. Зайцева, К. Д. Бальмонта, З. Н. Гиппиус и др. Состояла в организационных комитетах по подготовке Дня России, Дней русской культуры и др. С 1922 г. постоянный член Комитета помощи русским литераторам и ученым. В 1927—1928 гг. руководила Русским драматическим театром — Новым театром в Париже. Член попечительского совета Тургеневской библиотеки, активный член Общества охранения русских культурных ценностей. Последние годы провела в Русском доме в Кормей-ан-Паризи (под Парижем).

[1] Театр Незлобина — частный театр, созданный в 1909 г, в Москве антрепренёром, режиссёром и актёром Константином Николаевичем Незлобиным (1857—1930). В 1911—1917 гг. театр работал в Петербурге, затем до 1922 г. существовал как товарищество актёров.

[2] Новиков Иван Алексеевич (1877—1959) — писатель, друг Б. Зайцева. Начинал как прозаик-модернист, печатался в столичных символистских журналах. В 1917 г. переехал в Москву. Известность получили романы «Между двух зорь» (1915), «Пушкин в изгнании» (1947). Пьеса «Любовь на земле» написана в 1911 г.

[3] Рощина была замужем за графом Сергеем Алексеевичем Игнатьевым (1888—1955), их сын — Алексей (род. 1919).

[4] См. комментарий к заметке «А. А. Плещеев. К шестидесятилетию литературной деятельности». А. А. Плещеев с 1903 г. состоял в гражданском браке с Е. Рощиной-Инсаровой.

[5] Отец Рощиной — Николай Петрович Рощин-Инсаров (наст. фамилия Пашенный; 1861—1899) — драматический артист. Погиб трагически: его застрелил художник, приревновав к нему свою жену-актрису.

[6] Русский дом для престарелых в Кормей-ан-Паризи основан в 1949 г. Н. С. Долгополовым (1879—1972), ставшим его директором.

ПРОЩАНИЕ
(с. 427)

Русская мысль. 1968. 11 июня, № 2689. С. 3.

Водов Сергей Акимович (1898—1968) — юрист, журналист. Участник Белого движения; с 1920 г. в эмиграции в Константинополе, затем в Праге. С 1925 г. — в Париже. Секретарь Национального союза русской молодежи. Сотрудник «Последних новостей». Один из основателей (1947), член редакционной коллегии (с 1949) и редактор (с 1954) газеты «Русская мысль». Член Союза русских писателей и журналистов, с 1957 г. — член правления Союза.

С. Водов скончался 19 мая в Мюнхене, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. Номер «Русской мысли» от 11 июня извещал о том, что 27 июня, в сороковой день со дня кончины главного редактора газеты, состоится панихида в кафедральном соборе св. Александра Невского, а также содержал, наряду с зайцевским некрологом, заметки памяти С. Водова, принадлежащие Г. Адамовичу, П. Ковалевскому, К. Померанцеву.

[1] Из стихотворения А. С. Пушкина «Расставание» (1930).

ОЧЕРКИ О ДУХОВНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

ОБИТЕЛЬ
(с. 431)

Перезвоны. 1926. № 20. С. 626—628.

[1] Миловида — видовая площадка в виде беседки, рассчитанная на обзор живописных панорам.

[2] Протестантская церковь с участком земли на рю де Криме принадлежала немецкому пастору Фридриху фон Бодельшвингу, была выставлена на аукцион. Место для будущего подворья подыскал регент М. М. Осоргин, получивший на его покупку благословение митрополита Евлогия.

[3] Освящение храма подворья состоялось 1 марта 1925 г. в Прощёное воскресенье, а учебные занятия начались 30 апреля 1925 г. (официальная дата начала работы Богословского института).

[4] Художественная роспись, иконостас и другие внутренние работы в храме выполнены под руководством художника и иконописца Д. С. Стеллецкого (1875—1947).

[5] В многоярусный иконостас храма были вставлены вывезенные из России Царские врата XIV в., купленные у антиквара.

[6] Имеется в виду епископ Вениамин (Федченков), исполнявший обязанности инспектора и преподававший ряд дисциплин в Свято-Сергиевском богословском институте.

[7] На улице Дарю находится Свято-Александро-Невский кафедральный собор, освящен в 1861 г.

[8] Орден Почётного легиона — организация, принадлежность к которой является свидетельством признания особых заслуг во Франции. Каждое звание членов ордена имеет свой знак отличия.

ОБЩЕЖИТИЕ В ШАВИЛЕ
(с. 433)

Последние новости. 1927. 4 янв., № 2113. С. 2.

[1] Председателем Комитета по устройству общежития в Шавиле был Н. К. Кульман, генеральным секретарем — Н. П. Булюбаш. Б. Зайцев принимал деятельное участие в обустройстве Общежития.

Кульман Николай Карлович (1871—1940) — филолог, литературовед, общественный деятель. В 1919 г. эмигрировал в Константинополь, затем переехал в Париж, где преподавал предметы на русском языке во во французских лицеях в Париже. Декан Русского отделения историко-филологического факультета Сорбонны, преподаватель в Богословском институте в Париже.

Спиридович Маргарита Александровна (1895—1973) — певица, общественный деятель. Принимала активное участие в культурной жизни русской колонии в Париже. С 1926 г. — член Попечительского комитета по устройству Общежития для русских мальчиков в Шавиле.

Ельяшевич Фаина Осиповна (1877—1941) — общественный деятель, жена историка, юриста Василия Борисовича Ельяшевича (1875—1956).

Член бюро Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции, член правления общества «Быстрая помощь». Ельяшевичи были близкими друзьями семьи Зайцевых.

Горчаков Михаил Константинович, светлейший князь (1880—1961) — монархический деятель, коллекционер. В эмиграции жил в Париже с 1920 г. Член Русского эмигрантского комитета во Франции. Член Центрального совета Русской монархической партии, член-учредитель клуба «Русский очаг во Франции» и участник многих других общественных объединений зарубежья. Член приходского совета при Св.-Александро-Невском соборе, один из основателей (1927) и многолетний староста синодальной церкви Знамения Божьей Матери в Париже. В 1926—1931 гг. финансировал и редактировал издание журнала «Двуглавый орел».

Бернацкий Михаил Владимирович (1876—1943) — публицист, педагог. В 1920 г. эмигрировал в Константинополь, в том же году переехал во Францию. Читал финансовое право в Парижском университете, в Русском коммерческом институте и др. вузах. Публиковался в русской и французской периодической печати (1929—1939). Участник многих научно-культурных организаций.

[2] Мария Павловна, великая княгиня (1890—1958) — дочь великого князя Павла Александровича, общественный деятель, благотворитель. В Первую мировую войну была сестрой милосердия в полевых лазаретах. С 1920 г. — в Париже. Основатель и художественный руководитель парижского Дома вышивки «Китмир» (1921—1928). Пожертвовала большую сумму на внутреннюю отделку храма Сергиевского подворья в Париже, почетная попечительница Сергиевского подворья. Под ее покровительством в Париже проходили благотворительные концерты и вечера, в том числе в пользу Союза русских летчиков, русских больных, Общежития для русских мальчиков в Шавиле, на устройство детской колонии и др. В 1929 г. уехала в США, работала модельером-консультантом, фоторепортером. В 1941 г. переехала в Аргентину, занималась живописью. В 1952 г. вернулась в Европу, жила в Мюнхене, Париже, Монте-Карло.

[3] По (Paul Marie César Gérald Pau; 1848—1932) — французский генерал, участник франко-прусской и Первой мировой войн. Сражался в Эльзасе, служил в Верховном военном совете Франции. В январе 1916 г. был назначен представителем при русской Ставке.

[4] Епископ Вениамин (Федченков) с 1925 г. был инспектором и преподавателем Богословского института в Париже, служил на Сергиевом подворье.

КАПБРЕТОН — ШАВИЛЮ
(с. 435)

Возрождение. 1928. 14 янв., № 956. С. 3.

Сохранены общий заголовок («Капбретон — Шавилю») и подзаголовки, данные редакцией газеты. История публикации переписки такова: «Выполняя просьбу Бальмонта, Зайцев переслал его письмо С. К. Маковскому (в редакцию газеты “Возрождение”) с припиской: “Дорогой С<ергей> К<онстантинович>! Напечатайте эту штуку с моим ответом (вот это материал “даровой”). Хорошо бы в воскресном №. — Привет. Ваш Бор. Зайцев” <...> 18 января 1928 г. Бальмонт писал Зайцеву: “Дорогой Борис, с твердой надеждой, что наше “выступление” призовет “длинные бумажки”, шлю Вам на этой пошатнувшейся открытке мою нешатучую любовь и спасибо, что так хорошо ответили”» (Константин Бальмонт — Ивану Шмелеву. Письма и стихотворения: 1926—1936 / Сост., вступ. ст., коммент. К. М. Азадовского, Г. М. Бонгард-Левина. М., 2005. С. 113. Здесь же частично процитирован ответ Б. Зайцева).

[1] Бальмонт переписывался с чешским поэтом и прозаиком Антонином Сова (1864—1928), посвятил ему очерк «Имени Антонина Совы», в который включил свои переводы нескольких его стихотворений. См.: *Бальмонт К. Д.* Несобранное и забытое: Из творческого наследия: В 2 т. /Сост. А. Ю. Романов. СПб., 2016. Т. 2. С. 536—544.

[2] Пазуркевич Станислав Валериан Виктор (Stanisław Pazurkiewicz; 1894—1964) — польский литературовед, переводчик. Окончил Ягеллонский унинверситет (Краков) со степенью доктор философии. В 1922—1928 гг. работал в гимназии им. Г. Сенкевича в Ченстохове. Преподавал польский язык, введение в философию, руководил библиотекой. Автор брошюры «Константин Бальмонт» (1927); перевел на польский ряд статей Бальмонта и его книгу «Ян Каспрович: поэт польской души» (1928), где поместил статью о поэте: *Pazurkiewicz S.* Konstantyn Balmont // Balmont K. Jan Kasprowicz, poeta duszy Polskiej. Częstochowa, 1928. S. 62—86.

[3] Лебедева Лидия Петровна (1869—1938) — поэтесса, переводчик, троюродная сестра Бальмонта. С 1902 г. жила преимущественно в Италии, с 1916-го — в Нерви близ Генуи, работала сестрой милосердия. «Дружба с удавом (рассказ путешественника)» Бальмонта напечатал издающийся в Генуе журнал «Passegna Il Europa dell' America Latina».

[4] Осипова Татьяна Петровна (1905—1928) — поэтесса, жила в Териоки (Финляндия), с 1926 г. переписывалась с Бальмонтом. Переписка переросла в заочную дружбу. Безвременную кончину поэтессы Бальмонт тяжело переживал, посвятил ей несколько стихотворений, а также очерк «Весна прошла», в котором опубликовал ее стихи (Перезвоны. 1929. № 42).

[5] Бальмонт вел переписку с семьей американского журналиста Эдмунда Нобля (1853—1937). Нобль Лидия Эдмундовна (Lydia Noble; 1884—1929) — американская поэтесса, переводчик. Автор статьи о Бальмонте, перевела несколько его стихотворений. Бальмонт посвятил ей несколько заметок, а также очерк-некролог «Звенящая струна. Лидия Нобль» (1931).

См.: *Бальмонт К. Д.* Несобранное и забытое: Из творческого наследия. Т. 2. С. 447–452, 738. Л. Нобль и ее сестра Беатрис присылали Бальмонту денежную помощь.

[6] Пять американских долларов 1928 г. эквивалентны 70-ти современным.

[7] Крестным Бальмонта, согласно метрическому свидетельству о рождении, был коллежский асессор Аркадий Михайлович Ранг (из дворян Владимирской губернии) (Лит. наследство. Т. 98, кн. 1. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. С. 82). А. М. Ранг (?—1912) происходил из дворян Владимирской губернии, юрист, председатель 3-го уголовного департамента Московской судебной палаты.

[8] «Задушевное слово» (1876—1918) — популярный журнал для детей, выходивший в Петербурге. В 1877 г., когда Бальмонту было десять лет, выходил еженедельно, под редакцией детского писателя В. И. Лапина.

[9] В 1926 г. при Попечительстве о русских детях во Франции образован Комитет по устройству общежития в Шавиле. Председателем стал Н. К. Кульман, генеральным секретарем — Н. П. Булюбаш. Б. Зайцев также содействовал обустройству пансиона (см. заметку «Общежитие в Шавиле» в наст. изд.). К. Бальмонт и Б. Зайцев, наряду с другими писателями, приняли участие в сборнике «Колос: Русские писатели русскому юношеству. Издание Общежития для русских мальчиков в Шавиле» (Париж, 1928). Бальмонт напечатал в нем стихотворный цикл «Россия» («Безглагольность», «Прощание с древом», «На краю земли», «Завет бытия», «Для чего?»), Зайцев — очерк «Афон. Монастырская жизнь».

АЛЕХИНУ
(с. 437)

Возрождение. 1927. 1 дек., № 912. С. 5.

Републиковано (с неточностями): Лит. учеба. 1993. № 3. С. 128—132 (предисловие и комментарии А. Богословского и Е. Лукьянова).

Алехин Александр Александрович (1892—1946) — русский шахматист, выступавший за Российскую империю, Советскую Россию и Францию, четвёртый чемпион мира по шахматам. Материал представляет собой отклик на известие о победе А. Алехина на первенстве мира. Это редкий в наследии Б. Зайцева очерк, героем которого является не литератор или деятель искусства. Однако и шахматиста Зайцев рассматривает как творца-художника со своим неповторимым стилем. Сам Алехин не раз подчеркивал, что шахматы являются для него не игрой, а искусством.

Спустя два дня в той же газете появилось эссе А. Куприна «Шахматы», также посвященное победе Алехина — «короля шахматной игры» (Возрождение. 1927, 3 дек. С. 3).

[1] В 1909 г. Алехин занял первое место на Всероссийском турнире любителей, приуроченном к Международному шахматному конгрессу памяти Чигорина.

[2] Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера (1888—1942) — кубинский шахматист, дипломат, третий чемпион мира по шахматам (1921). Получив в 1913 г. назначение в кубинское консульство в Санкт-Петербурге, проводил сеансы игры в Москве, Киеве, Риге и др. городах. В 1914 г. принял участие в международном турнире в Петербурге.

[3] Петербургский шахматный турнир проходил с 8 апреля по 9 мая 1914 г. На нем впервые сыграли друг против друга тогдашний чемпион Эммануил Ласкер и Хосе Рауль Капабланка. Ласкер опередил кубинца, а третье место занял Александр Алехин.

[4] В апреле 1919 г. в Одессе Алехин был арестован ЧК и приговорён к расстрелу, но освобожден благодаря заступничеству знавших его лиц. Вернулся в Москву, где в 1920 г. ВЧК завела новое дело на шахматиста. В 1921 г. эмигрировал, проживал во Франции.

[5] В 1921 г. в Гаване в матче с Э. Ласкером Капабланка завоевал звание чемпиона мира.

[6] Чигорин Михаил Иванович (1850—1908) — крупнейший шахматист XIX в. Дважды (в 1889 и 1892 гг.) участвовал в матчах на первенство мира против В. Стейница (первого чемпиона мира). В 1895 г. занял второе место на традиционном турнире в Гастингсе, опередив Ласкера, Тарраша и Стейница.

[7] «...Надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не “гнила”...», — писал К. Н. Леонтьев в заметке «Газета “Новости” о дворянском пролетариате» (газета «Варшавский дневник» от 1 марта 1880 г.). Впоследствии текст републиковался в сборниках и собраниях сочинений, в частности: *Леонтьев К. Н.* Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 246.

[8] Матч между чемпионом мира Капабланкой и претендентом на это звание Алехиным проходил с 16 сентября по 29 ноября 1927 г. в Буэнос-Айресе. Было сыграно 34 партии, Алехин одержал победу со счётом 6 : 3 и стал четвёртым чемпионом мира.

МИТРОПОЛИТ ЕВЛОГИЙ
(с. 439)

Возрождение. 1928. 22 янв. № 964. С. 1.

Очерк опубликован в год 60-летия со дня рождения Владыки и 25-летия его епископского служения — и в разгар раскола в русской зарубежной церкви.

Митрополит Евлогий (в миру Василий Семенович Георгиевский; 1868—1946) в 1922 г. был назначен св. патриархом Тихоном управляющим русскими заграничными приходами. Его поддерживала либеральная и уме-

ренно-консервативная часть эмиграции, в то время как правые эмигрантские круги ориентировались на митрополита Антония (Храповицкого), возглавившего Русскую Православную Церковь заграницей. В июне 1926 г. Митрополит порвал с Архиерейским Синодом РПЦЗ. В январе 1927 г. Синод РПЦЗ постановил предать митрополита Евлогия суду священного Собора, отстранить его от управления епархией, назначить другого епископа и запретить в священнослужении, однако состоявшийся летом того же года епархиальный съезд выразил поддержку владыке Евлогию. Таким образом, оформился окончательный раскол русской православной эмиграции. Оставшись в юрисдикции Заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), митрополит согласился на требование дать подписку о «лояльности» по отношению к советскому правительству.

В 1948 г. Б. Зайцев опубликовал очерк под тем же названием — «Митрополит Евлогий» [7, 370—374], в котором размышлял о последующем пути и подводил итоги жизни скончавшегося в 1946 г. Владыки.

КЛЕРМОН
(с. 442)

Возрождение. 1929. 27 июл., № 1516. С. 2.

[1] Шестой съезд Русского студенческого христианского движения, состоявшийся летом 1929 г. в Клермон-ан-Аргон. РСХД возникло в 1923 г. при содействии Христианского союза молодых людей (ИМКА) и Всемирной христианской студенческой федерации. Основной целью движения является объединение верующей молодежи для служения православной церкви и привлечение к христианской вере.

[2] С середины 1920-х гг. центральный секретариат РСХД, молодежные кружки и братства располагались в доме № 10 по бульвару Монпарнас. Здесь же находились издательства, редакции журналов «Путь», «Вестник РСХД», работала Религиозно-философская академия.

[3] Имеется в виду архимандрит Лев (Жилле; 1892—1980), католический священник, богослов, перешедший в 1928 г. в православие. В том же году митрополит Евлогий назначил Жилле настоятелем первого французского православного прихода в Париже, где он трудился около десяти лет. На съезде РСХД в 1929 г. в Клермон-ан-Аргон митрополит Евлогий предложил произнести отцу Льву заключительную проповедь по-французски. Отец Лев проникновенно говорил о духовном поиске, о преодолении повседневных мирских забот.

[4] На съезде выступали В. В. Зеньковский, Б. П. Вышеславцев, Г. П. Федотов, Н. А. Бердяев, Г. В. Флоровский, В. Н. Ильин и др.

[5] «Содружество» при РСХД — братство молодежи в возрасте от 16 до 20 лет. Вступающий в Содружество принимал на себя обязательства по-

вседневной молитвы, молитвы друг за друга, ежедневного чтения Евангелия, искренних и добрых взаимных отношений, неопустительного (по возможности) посещения церковного богослужения.

ХРАМ РУССКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (с. 446)

Возрождение. 1929. 20 окт., № 1601. С. 2.

[1] Первый Русский Великого князя Константина Константиновича кадетский корпус был переведен в Белую Церковь в 1929 г. Здесь находился также Мариинский Донской институт, эвакуированный из Новочеркасска в 1919 г. В городке также были дом русских военных инвалидов Великой войны, детский приют и ряд эмигрантских организаций.

[2] Имеется в виду иеромонах Иоанн (Шаховской). См. примеч. 4.

[3] Имеется в виду книга: *О. В. Ш. [Шустин В.]* Запись об о. Иоанне Кронштадтском и об оптинских старцах. Белая Церковь, 1929. Она послужила поводом к написанию Зайцевым очерка «Иоанн Кронштадтский», опубликованного в «Возрождении» неделей раньше, 13 октября 1929 г., см.: [7, 333—338]. Книга написана священником Василием Васильевичем Шустиным (1886—1968), который в то время преподавал физику в Кадетском корпусе в Белой Церкви.

[4] Историк русской зарубежной церкви М. В. Шкаровский сообщает: «В Крымском корпусе и Донском институте существовали свои домовые храмы, кроме того, в начале 1920-х гг. в зале на ул. Гете, д. 80, была устроена русская приходская церковь св. Георгия Победоносца для жителей города. В 1927—1929 гг. в ней часто служил работавший в это время законоучителем Крымского кадетского корпуса и возглавлявший пастырско-богословские курсы епископ Севастопольский Вениамин (Федченков). В начале 1927 г. этот Владыка пригласил в Белую Церковь молодого монаха Иоанна (в миру князя Д. А. Шаховского, будущего архиепископа Сан-Францисского), рукоположил его во иеромонаха и назначил настоятелем Георгиевского храма и наставником в Пастырской школе. Вскоре иеромонах Иоанн открыл в приходе издательство "Борьба за Церковь" (Православное русское зарубежное миссионерское подворье), которое выпускало газету "Борьба за Церковь", миссионерские "Белоцерковские листки", духовные книги и брошюры. Он же стал инициатором постройки на собранные по всей Сербии пожертвования отдельного каменного храма св. ап. Иоанна Богослова. Церковь была построена в псковском стиле по проекту архитектора А. П. Шевцова в 1930—1932 гг. и оставалась русской до середины 1950-х гг.» (*Шкаровский М.* Русская церковная эмиграция в Югославии. 1920-1930-е годы // Новый журнал. 2010. № 259. URL: http://magazines.russ.ru/nj/2010/259/sh34.html).

БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ
(*К 25-летию основания*)
(с. 448)

Русская мысль. 1951. 19 янв., № 312. С. 3.

[1] Сергиевское подворье и Свято-Сергиевский богословский институт были открыты в 1925 г. в XIX округе Парижа, на улице rue de Crimée, неподалеку от парка Бют-Шомон.

[2] Книга прот. Сергия Булгакова (1871—1944) «Автобиографические заметки» вышла в Париже в 1946 г.

[3] Имеется в виду о. Иоанн (в миру князь Д. А. Шаховской). В 1926 г. принял монашество на Афоне с именем Иоанн. Впоследствии служил священником в Белой Церкви (Югославия), в Берлине, а завершил свой жизненный путь в сане архиепископа Сан-Францисского. Зайцев встретился с о. Иоанном в Париже в 1927 г. Новоначальный монах, полный афонских впечатлений, увлек Зайцева рассказами об Афоне и побудил к поездке — эту встречу Зайцев описал в заметках «Вновь об Афоне» (1929) и «Афон» (1969). В письме архиеп. Иоанну (Шаховскому) 19 мая 1966 г. Зайцев признавался: «Если бы утра этого не было, я никогда бы, наверно, на Афон не попал, и в жизни моей не сохранилась бы одна из самых светлых и возвышенных ее страниц» [7, 439].

[4] Б. Зайцев намекает на описание Чистилища в «Божественной комедии» Данте: у каждого пришедшего в Чистилище ангел мечом на лбу изображал семь букв «P» (от *лат.* «peccatum» — грех). По мере прохождения каждого из семи кругов Чистилища эти буквы должны были стираться с лица, означая, что грех искуплен. Начав путь с подножия Горы, души, достигнув вершины, получали полное очищение и устремлялись в Небеса.

[5] Спутником Зайцева во время его странствия по монастырям Афона был о. Пинуфрий (Ерофеев). Он неоднократно упоминается в афонских заметках и очерках писателя. См.: *Зайцев Б. К.* Афины и Афон. Очерки, письма, афонский дневник / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. М. Любомудрова. СПб., 2011. С. 30 и др.

[6] Булгарис Евгений (1716—1806) — архиеп. Славянский и Херсонский, греческий духовный писатель, ученый. В 1753—1759 гг. — ректор и главный наставник Академии при Афонской Ватопедской лавре.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
(с. 450)

Русская мысль. 1955. 8 окт., № 805. С.1.

В 1967 г. Б. Зайцев также опубликовал развернутый очерк «Сергиево подворье» [7, 419—422].

[1] Групповая фотография, описываемая Зайцевым, опубликована в издании: «Русский Париж. 1910—1960» (СПб., 2003. С. 80) с подписью: «На Сергиевском подворье. Париж, 1926». На фото запечатлены и Б. Зайцев с супругой.

[2] Вахрушев Петр Александрович (1867—1955) — промышленник, церковный деятель. В эмиграции во Франции. Член Комитета по сбору средств для приобретения Сергиевского подворья в Париже, староста церкви при подворье. Входил в состав Попечительского комитета Богословского института. Член Совета Российского торгово-промышленного и финансового союза. В 1926 г. делегат Российского Зарубежного съезда в Париже от Франции. Участник 1-го епархиального собрания Западно-Европейских русских церквей (Париж, 1927).

[3] Неклюдова Вера Васильевна (1862—1935) — фрейлина, церковный деятель, педагог. Окончила Смольный институт в С.-Петербурге. В эмиграции во Франции. Член приходского совета, основатель (1920) и заведующая церковно-приходской школой при Св.-Александро-Невском соборе в Париже. Учредитель и старшая сестра Сестричества при храме.

[4] Кассиан, еп. (в миру Безобразов Сергей Сергеевич; 1892—1965) — епископ, богослов. В 1922 г. выслан за границу, с 1925 г. — в Париже. Участник первых съездов РСХД. Один из основателей Богословского института, профессор (1925), ректор (с 1946). В 1932 г. принял монашество, в 1939—1945 гг. жил на Афоне. В 1947 г. посвящен в сан епископа Катанского. Редактор нового перевода на русский язык Нового Завета и церковно-исторических трудов. Б. Зайцев посвятил ему очерк 1965 г. «Дни (Епископ Кассиан)» [7, 413—415].

УПОКОЕНИЕ
(с. 452)

Новое русское слово. Нью-Йорк, 1970. 11 февр., № 21792. С. 2.

Эта заметка — одна из последних прижизненных публикаций Бориса Зайцева (скончался 28 января 1972 г.). В этом же номере газеты опубликовано несколько материалов, приуроченных к 90-летию Б.Зайцева: редакционное поздравление, краткая биография, приветствие от читателей газеты, очерк Зайцева «Памяти Ивана и Веры Буниных» (1962 года).

[1] В 1927 г. в коммуне Сент-Женевьев-де-Буа княгиня Вера Кирилловна Мещерская (1876—1949) основала Русский дом для престарелых эмигрантов и стала его руководителем. На местном кладбище был отведен участок, где стали хоронить пансионеров, а затем и русских парижан, таким образом образовалось «русское» кладбище, где похоронены около 15 000 эмигрантов.

[2] Кладбищенский храм Успения Божией Матери построен по проекту Альберта Николаевича Бенуа и освящен в 1939 г.

[3] Ергин Александр Гаврилович (1894—1977) — штабс-капитан, протоиерей. С 1923 г. во Франции, окончил Богословский институт в Париже, в 1944 г. принял священство. Настоятель церкви Рождества Христова в Монруже (под Парижем). Одновременно в 1947—1950 гг. обслуживал тюрьмы и места заключения. С 1952 г. настоятель Успенской церкви в Сент-Женевьев-де-Буа. Вице-председатель Общества помощи русским эмигрантам, руководил строительством церковного дома в Сент-Женевьев-де-Буа. Председатель Комитета по охране и поддержанию могил на русском кладбище, участвовал в организации сбора средств для ухода за могилами.

[4] Жена Зайцева Вера Алексеевна скончалась 11 мая 1965 г.

[5] По нормам французского законодательства любое погребение сохраняется лишь до истечения срока аренды земли. Начиная с 1960 г. местные власти ставили вопрос о сносе кладбища. С 2007 г. российское правительство перечисляет Франции средства для погашения задолженности и продления аренды кладбищенских участков.

[6] Небольшая часовня, построенная в конце русской аллеи на деньги от пожертвований в 1977 г., стала усыпальницей для перезахороненных в ней русских останков из могил, у которых закончился срок аренды кладбищенской земли.

ОЧЕРКИ О ГЕРОЯХ. ЛИРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ЭССЕ. ЗАМЕТКИ К ЦЕРКОВНЫМ ПРАЗДНИКАМ

САКЕН И НИКИТИН
(с. 457)

Русский инвалид. 1939. 10 мая, № 131/132. С. 2.

«Русский инвалид» — газета Комитета помощи инвалидам при главном управлении Российского Красного Креста в Париже, выходила в 1929—1940-х гг. Майские выпуски газеты были приурочены к Дню инвалида, который отмечался в русском зарубежье 22 мая, в день свт. Николая Чудотворца, и имели целью привлечения средств для оказания помощи нуждающимся ветеранам. Б. Зайцев был членом редакции газеты, публиковал в ней очерки, рассказы и эссе. В специальных выпусках газеты 1939-го и 1940 г. Зайцев опубликовал заметки о военных — героях России.

[1] Агафон Никитин (1848—31.12.1880) — русский солдат-артиллерист, герой Туркестанских походов. При осаде крепости Геок-Тепе Никитин, числясь бомбардиром-наводчиком 6-й батареи 21-й артиллерийской бригады, был захвачен текинцами, которые пытались заставить его обучить

их стрельбе из захваченных орудий. После пыток ему отрубили голову. В 1886 г. в Темир-Хан-Шуре был установлен памятник Никитину. Никитин стал вторым военнослужащим Российской императорской армии, который посмертно был навечно занесен в списки своей части (первым был Архип Осипов).

[2] Иоганн-Рейнгольд фон Остен-Сакен (1755—1788) — русский морской офицер, героически пожертвовавший собой во время Русско-турецкой войны 1787—1791 годов. Капитан 2-го ранга. 20 мая 1788 г., неся дозорную службу вблизи устья Южного Буга, столкнулся с турецкими галерами. Чтобы избежать плена и захвата судна неприятелем, Остен-Сакен отправил экипаж на лодке, после чего подпустил турецкие суда вплотную и взорвал судно вместе с четырьмя неприятельскими примерно в 40 верстах от Кинбурнской косы. Императрица Екатерина II, в награду за подвиг Остен-Сакена, пожаловала его семье имение близ Митавы. В 1888 г. его именем был назван минный крейсер Черноморского флота.

Русские написания имени Сакена в исторической литературе варьируются: Христофор Иванович, Христиан Иванович; приведенное Зайцевым написание «Иван Христофорович» в источниках не обнаружено.

[3] Выражения, приведенные Зайцевым в кавычках, являются цитатами из воспоминаний: *Цебриков Р. М.* Вокруг Очакова. 1788 год. (Дневник очевидца) // Русская Старина. 1895. Т. 84, № 9. С. 157.

АРХИП ОСИПОВ
(с. 458)

Русский инвалид. 1940. 5 мая, № 151. С. 3.

Осипов Архип Осипович (1802—1840) — рядовой Тенгинского полка, герой обороны Черноморской береговой линии. 22 марта 1840 г. горцы атаковали укрепление Михайловское, где находились 500 человек Тенгинского пехотного полка под командой штабс-капитана Николая Константиновича Лико. Он вдохновил гарнизон дать обещание живыми не сдаваться и, в крайнем случае, взорвать пороховой погреб. Добровольцем для этого вызвался рядовой Архип Осипов, который сдержал свое слово, взорвал погреб, а с ним и все укрепление. Неприятель понёс большие потери.

Архип Осипов впервые в истории Русской армии был навечно зачислен в списки полка. Повелением Императора Николая I и приказом военного министра от 8 ноября 1840 г. предписывалось сохранить его имя в списках, считая его первым рядовым, и на всех перекличках отвечать: «Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении». На месте взорванного укрепления в 1876 г. был установлен чугунный крест с надписью «рядовому Архипу Осипову, погибшему во славу русского оружия». В 1889 г. станица Вуланская по просьбе жителей была переименована в Архипо-Осиповскую.

[1] Рассказ знакомого, переданный Зайцевым, содержит ошибочные сведения о калужском происхождении Архипа Осипова. В действительности он происходил из крепостных крестьян Липовецкого уезда Киевской губернии.

[2] 22 октября 1881 г. во Владикавказе состоялось открытие памятника Архипу Осипову и Николаю Лико. Он представлял собой обелиск из белого мрамора, установленный на сером постаменте, увенчивался вызолоченным орлом, который держал в клюве венок Славы, а в лапе — ядро. В нише был помещен образ Спасителя в золотом окладе. После 1917 г. снесен как памятник самодержавию.

ЗАМЕТКИ
(*Из пережитого*)
(с. 460)

Русский инвалид. 1933. 22 мая, № 55. С. 4.

[1] Битва при Нанси — сражение 1477 г. близ столицы Лотарингии Нанси, в котором швейцарско-лотарингские войска разгромили отряды бургундского герцога Карла Смелого, погибшего в этой битве.

[2] Имеется в виду дочь Зайцевых Наталья. В очерке «Крест» Зайцев так описывает эту сцену: «Восемь лет назад выезжали мы из России... <...> На границе бросила моя дочь, тогда маленькая девочка, на родную землю букетик фиалок. Самая умная из нас — не верила, что скоро вернемся. Мы же, взрослые, все надеялись: пройдет год, два, здравое одолеет, что-то перекипит, и, отдохнув, оправившись за границей, мы вернемся на родину для жизни, для работы новой — тяжкой, конечно, но нужной» [11, 324].

[3] Крестинский Николай Николаевич (1883—1938) — дипломат. Член РСДРП с 1903 г. В 1918—1922 гг. нарком финансов. Полпред РСФСР и СССР в Германии (1921—1930). С 1930 по 1937 гг. — заместитель наркома иностранных дел в СССР. Расстрелян в 1938 г. Реабилитирован в 1963 г.

[4] Н. Крестинский устраивал в дворце, где размещалось советское посольство, роскошные балы и банкеты, пользовавшиеся популярностью у немецкой публики.

НАШ ОПЫТ
(с. 462)

Русский инвалид. 1935. Май, № 79. С. 5.

[1] «Мужички за себя постояли» — цитата из главы XIV книги 12-й «Братьев Карамазовых» Достоевского; имеются в виду присяжные, вынесшие обвинительный вердикт Дмитрию Карамазову.

[2] Эту же мысль Зайцев высказал в автобиографическом эссе «О себе»: «Странным образом революция, которую я всегда остро ненавидел, на пи-

сании моем отозвалась неплохо. Страдания и потрясения, ею вызванные, не во мне одном вызвали религиозный подъем. Удивительного в этом нет. Хаосу, крови и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, Церкви. (Само богослужение есть величайший лад, строй, облик космоса.) Как же человеку не тянуться к свету?» [4, 589].

БЕДА
(*Заметки*)
(с. 464)

Евреи в культуре русского зарубежья. Статьи, публикации, мемуары и эссе. Т. V / Сост. М. Пархомовский. Иерусалим, 1996. С. 503–505. Публикация А. К. Клементьева.

В предисловии А. К. Клементьев сообщает, что этот текст публикуется по рукописи, хранящейся в парижском архиве Б. К. Зайцева, с разрешения дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб. Заметка датируется, исходя из содержания, 1933 г., т. е. написана вскоре после прихода национал-социалистов к власти в Германии.

ДНИ
<*Запись 14 марта 1945 г.*>
(с. 467)

Опыты (Н.-Йорк). 1953. № 1. С. 160.

Цикл дневниковых записей Б. Зайцева 1939–1945 гг., озаглавленный «Дни», печатался в разных зарубежных периодических изданиях. Републикован в издании: *Зайцев Б.* Дни. М.; Париж: YMCA-Press; Русский путь, 1995. Составитель книги А. К. Клементьев опубликовал их по авторской машинописной рукописи, имеющей некоторые разночтения с печатными публикациями. Эти же тексты, взятые из издания 1995 г., напечатаны в Собрании сочинений Зайцева [9, 157–226] и дополнены записями с 28 февраля 1944 г. по 29 июня 1944 г., взятыми из источника: *Зайцев Б. К.* Дни. Из парижских записей 1944 г. // Грани. 1957. № 33. С. 77–82.

Однако ни в одно из этих российских изданий не попала запись 14 марта 1945 г., находящаяся среди записей Зайцева (с 10 марта по 2 апреля 1945 г.) в журнальной публикации: *Зайцев Б. К.* Дни (записи) // Опыты. 1953. № 1. С. 159–162.

В издании «Дней» 1995 г. и соответственно в 9 томе Собрания сочинений под этой же датой находится другой текст (несколько ироничных строк о поклонении государству) [9, 223]. Таким образом, публикуемая запись впервые вводится в читательский оборот в России.

[1] Зейдлиц Карл Карлович (1798–1885) — доктор медицины, друг и биограф В. А. Жуковского, автор работ о его жизни и деятельности. В 1940-е гг.

Зайцев работал над книгой «Жуковский», вышедшей отдельным изданием в Париже в 1951 г.

[2] Имеется в виду книга К. Зейдлица «Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. 1783—1852: По неизданным источникам и личным воспоминаниям» (на нем. яз. — Митава, 1870; рус. пер. — СПб., 1883).

[3] *Зейдлиц К. К.* Очерк развития поэтической деятельности В. А. Жуковского // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1869. Кн. 4—6.

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
(с. 467)

Возрождение. 1928. 7 янв., № 949. С. 1.

Рождественский номер газеты, на первой полосе дата указана по старому стилю: 25 декабря 1927. Текст Зайцева дан без подписи.

В номере опубликованы также «Плач о Борисе и Глебе» Б. Зайцева, «Наше Рождество» И. Шмелева, «Рождественский рассказ» И. Воинова, рассказы Е. Чирикова, И. Лукаша, стихи С. Маковского, П. Бобринского, С. Рафаловича и др.

[1] В 1920-е гг. в СССР существовали многочисленные молодежные религиозные организации, в основном протестантской направленности. В 1928 г. «христомол» объединял более двух миллионов молодых людей.

РОЖДЕСТВО
(с. 469)

Возрождение. 1932. 7 янв. № 2410. С. 1. Рождественский номер.

[1] Зайцев имеет в виду опасность войны Японии с Советским Союзом в связи с обострением ситуации на Дальнем Востоке, вызванной вторжением Японии в Китай и оккупацией Манчжурии. Подробнее об этом см. интервью «У Бориса Зайцева» и коммент. к нему в наст. изд., с. 555—556, 696.

ДВЕНАДЦАТЬ ЕВАНГЕЛИЙ
(с. 470)

Иллюстрированная Россия. 1939. № 16, 8 апр. С. 2.

Републиковано в пасхальном выпуске газеты «Новое русское слово» (1975. 4 мая, № 23620. С. 2), в Канадском православном календаре (Монреаль; Торонто, 1972), в кн. *Зайцев Б. К.* Знак Креста (М., 1999).

«Двенадцать Евангелий» — название службы утрени в канун Страстной Пятницы, на которой читается двенадцать евангельских текстов, рассказывающих о завершении земной жизни Спасителя, Его страданиях, казни и погребении.

[1] Цитируемые строки (Ин 13: 31) — начало первого из 12 евангельского отрывка, в нем содержится прощальная беседа Спасителя с учениками и Его первосвященническая молитва за них.

[2] На ул. Дарю в Париже находится кафедральный храм Св. Александра Невского. Верхний храм освящен в 1861 г., нижний, во имя Святой Троицы, — в 1863 г. В XX в. собор стал религиозным центром русских беженцев. В 1972 г. здесь отпевали Бориса Зайцева.

[3] Смирнов Иаков (Яков Георгиевич) (1854—1936) — протопресвитер, богослов. Окончил Вифанскую семинарию и С.-Петербургскую духовную академию, кандидат богословия. В 1883 г. священник с назначением на церковную службу за границей, был настоятелем посольских храмов в Дрездене и в Стокгольме. С 1898 по 1936 г. настоятель Александро-Невского собора в Париже. Благочинный русских православных церквей во Франции (1921—1926), лектор Богословского института в Париже.

[4] «Слава страстем Твоим, Господи» — припев канона Божественным Страстям Христовым, который, однако, на службе утрени Великой Пятницы не читается. Зайцев, вероятно, имеет в виду строку 15-го антифона этой службы: «Покланяемся страстем Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение».

ПРИБЛИЖЕНИЕ МЛАДЕНЦА
(с. 472)

Русская мысль. 1948. 7 янв., № 39. С. 1. Рождественский номер.

МЛАДЕНЕЦ
(с. 473)

Русская мысль. 1957. 5 янв., № 1000. С. 1.

В заметке приведены евангельские цитаты: «И открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф 2: 11); «Доколе Я в мире, Я свет миру» (Ин 9: 5); «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин 7: 37); «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин 8: 12).

ПОЛЕМИКА. ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ОТВЕТ СЕНЕКСУ
(с. 477)

Дни. 1925. 16 дек., № 880. С. 2.

Вслед за письмом Зайцева помещен текст от редакции:

«Редакция вполне соглашается с Б. К. Зайцевым, что даже не случайная, как у него самого, а вполне политически предумышленная подпись под письмом-адресом не может определяться, как проявление одного из “видов рабства”.

Вместе с тем редакция считает справедливым подчеркнуть, что — как уже видно и из самого заглавия вызвавшей письмо Б. К. Зайцева статьи Сенекса “О разных видах рабства”, — и из текста ее: “но есть и другой вид умственного рабства, довольно распространенный среди просвещенных европейцев: боязнь прослыть ретроградом, своеобразная робость перед сверх-революционерами” — автор отнюдь не имел в виду кого-либо как-либо морально квалифицировать.

Во всяком случае редакция рада тому обстоятельству, что, благодаря письму Б. К. Зайцева, она может сделать это разъяснение и тем устранить все возможности неправильных и нежелательных толкований некоторых фраз в вышеназванной статье Сенекса».

[1] Анри Беро (1885—1958) — французский писатель и журналист. За книгу «Страдания толстяка» (1922) удостоен Гонкуровской премии. Сын рабочего, коммунист, симпатизирующий СССР, Беро отправился в Советский Союз и по возвращении выпустил книгу очерков «Что я видел в Москве» (*Henri Béraud*. Ce que j’ai vu à Moscou. Paris, 1926), где отразилось глубокое разочарование автора от увиденного в советской России.

[2] В парижской газете «Le Journal» (1925. 4 dec., № 12101) опубликован адрес «Русские писатели — Анри Беро». Он предварялся редакционной заметкой: «После выхода в свет книги “Что я видел в Москве” и статей в “Журнале” наш сотрудник Анри Беро получил от русских писателей-беженцев во Франции очень трогательный адрес. Из перечня писателей видно, что они — элита современной русской мысли. Мы рады опубликовать текст этого документа и передать авторам благодарность от нашего друга».

Текст адреса:

«Мы, русские писатели, принадлежащие к различным политическим партиям, но единогласно преданные нашей родине, считаем своим долгом выразить глубокую благодарность за ваши талантливые и правдивые статьи о советской власти, которая угнетает Россию и угрожает в ближайшем будущем другим странам таким же крушением, который она вызвала в нашей стране.

Мы надеемся, что ваша смелая речь независимого человека послужит предупреждением тем, кто, из-за нехватки проницательности, не осознали в полной мере коммунистическую опасность, которая угрожает превратить в развалины человеческую цивилизацию.

Примите, дорогой коллега, нашу большую благодарность и искренние пожелания успехов вашему таланту.

Иван Бунин, князь В. Барятинский, Иван Шмелев, А. Куприн, А. Кирьянов, Дмитрий Мережковский, С. Мельгунов, Валентин Сперанский, Петр Струве, Борис Зайцев, Кирилл Зайцев» (*перевод с фр. А. Любомудрова*).

[3] Автор под псевдонимом «Сенекс» (лат. «мудрый старец») публиковался в газете «Дни» в 1925–1926 гг., вел рубрику «Отклики» с фельетонами на общественно-политические темы. Установить его имя пока не удалось. Профессор Манфред Шруба, специалист в области псевдонимов русской эмиграции, высказал предположение, что это один из членов редколлегии, а возможно и сам основатель газеты, А. Ф. Керенский.

7 декабря опубликован фельетон Сенекса «О разных видах рабства» (Дни. 1925. 7 дек., № 873. С. 2). Поводом послужили адрес русских литераторов Анри Беро, а также отклик на его книгу французского историка А. Олара. Книга Беро представляется Сенексу рядом «довольно поверхностных, но порою ярких очерков», не лишенных верных наблюдений и остроумных догадок». Реакцию эмигрантов на эту «занятную» книжку он считает неадекватной: «Анри Беро — левый республиканец и безбожник — вернулся в Москву с чувством отвращения к большевизму. Этого было достаточно, чтобы все наши "крестоносцы", забыв о хитростях диавола, бухнулись в ноги» писателю. Вместо адреса, полагает Сенекс, вполне можно было ограничиться заметкой в отделе критики. Иронизируя над укорененной привычкой «кланяться и благодарить» — начальников ли, или иностранцев, Сенекс пишет, что авторы адреса не изжили еще «рабьей психологии».

Вторая часть фельетона посвящена другому виду умственного рабства: «боязнь прослыть ретроградом, своеобразная робость перед сверх-революционерами». Здесь объектом критики стал историк, профессор Альфонс Олар, который, высоко оценивая книгу Беро, сомневается в приведенных там цифрах репрессированных советской властью, не находит причин для печали у крестьян, и таким образом закрывает глаза на глубочайшую трагедию русского крестьянства и пролетариата, на бесспорно установленные преступления ЧК.

ПИСЬМО ДЮАМЕЛЮ
(с. 478)

Возрождение. 1927. 2 окт., № 852. С. 1.

[1] В «Беседе о писателях» (1923, опубликована в наст. изд.) Б. Зайцев доброжелательно отозвался о книге Ж. Дюамеля «Полуночная исповедь». О Дюамеле см. коммент. к «Беседе о писателях», с. 605.

[2] Дюамелю принадлежит цикл романов «Жизнь и приключения Салавена» (1920–1930-е), где показан духовный путь человека, стремящегося к нравственному идеалу.

[3] В 1927 г. Дюамель посетил СССР и опубликовал книгу «Путешествие в Москву» (Le Voyage de Moscou. Paris, 1927), которую он называл «паломничеством по святым местам коммунизма» и которая имела во Франции большой общественный резонанс. В этой книге Дюамель признает, что в результате революции «громадное большинство русского народа получило выгоды, которые оно хочет сохранить и защитить». Впоследствии писал о необходимости «принять Советскую Россию в европейскую семью». Около десяти книг Дюамеля были переведены и опубликованы в СССР в 1920-х гг.

[4] 10 июня 1927 г. в ответ на убийство в Варшаве советского полпреда П. Л. Войкова ГПУ демонстративно расстреляло 20 заложников из числа бывших белогвардейцев, а также эмигрантов из Русского Обще-Воинского союза (РОВС). Впервые после окончания Гражданской войны расправа над заложниками вызвала возмущение в европейских странах.

[5] Анри Франсуа Жозеф де Ренье (1864—1936) — французский поэт и писатель, член Французской академии. На русском языке вышло его собрание сочинений в 19 т. (Л.: Academia, 1923—1926).

ПРОТЕСТ РУССКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
(*Письмо в редакцию*)
(с. 480)

Последние новости. 1930. 18 марта, № 3282. С. 2. То же: Возрождение (Париж). 1930. Март, 18. № 1750. С. 2; Новое время (Белград). 1930. Март, 23. № 2672. С. 3.

С развитием книгоиздания в эмиграции остро встал вопрос об охране авторских прав русских писателей за рубежом. Препятствия к выплате гонораров чинили как советские власти, так и зарубежные издательства. Исследователи пишут об авторско-правовой незащищенности писателей-изгнанников: «в странах, давших приют писателям-эмигрантам, нормы местных, национальных, авторских законодательств на эту категорию авторов не распространялись. Исключение в данном случае составляли так называемые “оптанты”, т. е. эмигранты, принимавшие гражданство той страны, где они решали осесть. Если иностранные государства и предоставляли писателям-эмигрантам авторско-правовую защиту на своих территориях, то делали это из юридической *любезности*, а не на основе твердых правил. <...> В случае с писателями-эмигрантами принцип взаимности был неприменим, так как они большей частью *de jure* были апатридами. Фактически югославский закон об авторском праве лишил писателей-эмигрантов возможности отстаивать свои авторские права и, в частности, требовать, чтобы издание их произведений (в том числе в переводе) осуществлялось на основании соответствующего договора и чтобы за это им выплачивался

гонорар» (*Бакунцев А. В.* «Литературное воровство» в эмигрантской прессе 1920-х гг. Газета «Последние известия» (Ревель/Таллин) // Медиаскоп. 2016. Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/?q=node/2139).

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВТОРЖЕНИЯ В ФИНЛЯНДИЮ (с. 481)

Последние новости. 1939. 31 дек. № 6852 С. 2.

Републиковано в издании: *Набоков В.* Собр. соч. русского периода. Т. 5. 1938—1977. СПб., 2000. С. 590—591, а также размещено на многих Интернет-ресурсах.

30 ноября 1939 г. советские войска вторглись на территорию Финляндии, положив начало советско-финляндской («Зимней») войне. Обстоятельства появления письма изложены в работе: *Флейшман Л. С.* Отклики в русском Париже на «Зимнюю войну» // Исследования по лингвистике и семиотике: Сб. ст. к юбилею Вяч. Вс. Иванова. М., 2010. С. 483—500. Письмо, «будучи безусловно искренним проявлением возмущения по поводу советской агрессии, являлось в то же время и продуманным шагом в редакционной политике газеты. <...> По-видимому, непосредственным толчком к составлению письма послужило сообщение о призыве писателей трех скандинавских стран <...> оказать помощь Финляндии, обнародованном в Стокгольме 23 декабря. <...> Решающим фактором в подготовке коллективного письма был не тот или иной подписавший, а редакция газеты, озабоченная соблюдением баланса важных для нее политических принципов» (*Флейшман Л. С.* Отклики в русском Париже на «Зимнюю войну». С. 492—493).

Вокруг письма развернулась полемика, оно послужило поводом для размолвок в литературно-общественных кругах эмиграции.

14 декабря 1939 г. начались бомбардировки Валаама (где размещался финский военный гарнизон). Это известие отозвалось особой болью для писателей, посещавших Валаамский монастырь и написавших о нем книги — Б. Зайцева и И. Шмелева. Однако реакция на вторжение была разной.

В публицистическом отклике Б. Зайцева, опубликованном 29 декабря 1939 г. в «Возрождении» (за два дня до появления «Протеста»), советские войска определяются как «палачи», «враги», «современные варвары», в то время как «валаамские старцы являются заступниками за всех нас, русских, и за Россию. Россию, находящуюся сейчас в стихии демонической, позорящую теперь весь мир. Она на скамье подсудимых. Мученичество русского Валаама указывает, что, кроме России Сталина, есть и Святая Русь» [11, 134] (в томе ошибочная ссылка на источник).

И. Шмелев, напротив, отказался подписать коллективное письмо против нападения СССР на Финляндию, которое принес ему для подписи М. Алданов (что, возможно, послужило поводом для последующей размолвки

этих писателей). Ему было больно наблюдать, как «поливали грязью Россию» и превозносили подвиг «героической Финляндии». Шмелев так объяснял свою позицию: «Солдаты, простые русские парни из Калуги, Тулы, Рязани, были посланы воевать тем самым правительством, которому господа из “Последних новостей” простили все» (цит. по: *Сорокина О. Н.* Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 2000. С. 270). Шмелев был не одинок: генерал А. И. Деникин пришел пожать ему руку за то, что тот «не подписал этой гнусности». Подробнее см.: *Солнцева Н. М.* Иван Шмелёв. Жизнь и творчество: Жизнеописание. М., 2007. С. 362; *Сорокина О. Н.* Московиана. М., 2000. С. 269–270.

ОБРАЩЕНИЕ К СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (с. 481)

Русская мысль. 1955. 21 янв., № 730. С. 2.

Второй Всесоюзный съезд писателей прошел 15–26 декабря 1954 г. в Москве. Делегатами его стали более 700 человек. В номере «Русской мысли» от 21 января 1955 г. были опубликованы развернутое описание съезда и прозвучавших на нем выступлений. Здесь же была помещена подборка «Писатели-эмигранты говорят по радио», предварявшаяся вступлением редакции: «В дни Всесоюзного съезда писателей, происходившего в Москве, мюнхенская радиостанция “Освобождение” передала обращения к советским писателям ряда русских писателей-эмигрантов. Ниже приводится их текст». Напечатаны выступления Б. Зайцева, Н. Ульянова, И. Елагина, Вяч. Завалишина, Вл. Глыбинного, Гл. Глинки; них выражалась надежда на либерализацию культурно-общественной жизни СССР в начинавшуюся эпоху «оттепели».

Борис Зайцев выступал на радиостанции «Свобода» (до 1959 г. носившей название «Освобождение») на протяжении 1953–1971 гг.

Опубликованный в «Русской мысли» текст является отредактированным вариантом полного текста, записанного на пленке и прозвучавшего в эфире перед началом съезда:

«В 1922-м году, когда я был председателем московского союза писателей, подобные съезды еще не проводились. С тех прошло много времени. И сегодня мы с вами живем в разных мирах. У вас есть родина, есть великий народ. На вашей стороне молодость и энергия. Зато у нас есть свобода! Мы пишем, как хотим. Вероятно, мы, зарубежные русские писатели, ведем скромное существование, но свобода наша ничем не скована. Допустим, вы живете в достатке и довольстве, но вы вынуждены прислуживать. От всего сердца я желаю вам на этом съезде совершить хотя бы первый шаг к свободе, ибо без свободы ничего нельзя создать... И дай Бог тем из вас, кто отмечен талантом, обрести все необходимые условия для его развития» (цит. по:

Толстой И. Н. Полвека в эфире. Исторический аудиоцикл, посвященный 50-летию Радио Свобода. Режим доступа: http://archive.svoboda.org/programs/cicles/rl50/rl50-1954.asp).

Годом ранее Б. Зайцев также обращался по радио к советским писателям (Русская мысль. 1953. 7 авг.). Там он высказывал схожие мысли: «Эмиграция, разумеется, драма: отрыв. Но убиение живой души, насилие над ней есть нечто бесконечно худшее. Так что не только я не завидую тем из собратьев моих в России, кто, живя много шире, богаче меня, вынужден приспособляться, писать по заказу и гнуть спину перед ничтожествами, но искренне сожалею о судьбе их. Надеюсь, вполне надеюсь, что не всегда так будет» [11, 335—336]. К теме литературной жизни в СССР Зайцев не раз возвращался впоследствии, как, например, в выступлении 1957 г.: «Что может быть более нелепого, чем то, что какой-то партийный сановник, все равно какой, вдруг начинает объяснять советским писателям, как и что следует писать. Это в свое время объяснял Жданов, теперь поручили Шепилову» (*Толстой И. Н.* Полвека в эфире. Исторический аудиоцикл, посвященный 50-летию Радио Свобода. Режим доступа: http://archive.svoboda.org/programs/cicles/rl50/rl50-1957.asp).

ОТВЕТ БОРИСА ЗАЙЦЕВА А. СУРКОВУ (с. 482)

Русская мысль. 1955. 2 февр., № 733. С. 3.

Сурков Алексей Александрович (1899—1983) — поэт, журналист, общественный деятель. В 1953—1959 гг. занимал пост первого секретаря Союза писателей СССР. На Втором съезде советских писателей Сурков выступил с докладом «О состоянии и задачах советской литературы», а также произнес заключительное слово, в котором дал отповедь Зайцеву, имея в виду его обращение к съезду (оно публикуется в наст. изд.). Источник (радио «Освобождение») Сурков не назвал. Текст доклада, где содержится приведенный редакцией «Русской мысли» пассаж о Зайцеве, опубликован в «Литературной газете» 27 декабря 1954 г. (№ 160. С. 5).

НЕУДАЧНОЕ НАПАДЕНИЕ (с. 482)

Русская мысль. 1962. 9 авг., № 1875. С. 5.

[1] Херасков Иван Михайлович (1880—1963) — историк, публицист, литературный критик, преподаватель, общественный деятель. Член правления Союза русских писателей и журналистов (с 1955). Спасский (Одынец) Алексей Александрович (1878 — после 1960) — журналист, участник общественно-культурной жизни русской эмиграции.

Б. Зайцев подключился к лингвистическому спору о правильности выражения «купаться в ванне», развернувшемуся на страницах «Русской мысли». Начало полемике положила заметка И. Хераскова «Еще в защиту русского языка» (Русская мысль. 1962. 17 июля). Автору показалось неграмотным выражение «купаюсь в ванне» из статьи Наталии Логуновой «Как это было»: «В ванне моются, стирают белье, купают ребенка, но купаться самому или самой? Купаться ходят к речке или на пляж». Свои рассуждения Херасков подкрепил цитатами из французского языка, а также привел другие примеры неграмотной, на его взгляд, речи: «От многих пореволюционных "подарков" русский язык как будто уже освободился. Не говорят больше "извиняюсь" вместо "простите", "хватит" вместо "довольно" и религия не "довлеет" уже, как когда-то, над искусством».

Ему возразил А. Спасский-Одынец («Очень плохая защита» // Русская мысль. 1962. 31 июля), назвав доводы оппонента несостоятельными: «"Купаться в ванне" отнюдь не значит ссориться с русским языком <...> "Купаться" совсем не значит погружаться во что-то глубокое». Не согласился он и с другим примером: «Достопочтенный мэтр начисто упраздняет слово "извинение" и все слова, производные от него. Слово "извините" отнюдь не значит, по точному смыслу, "простите"».

Б. Зайцев поддержал позицию И. Хераскова, но рядом с его заметкой в том же номере редакция поместила письмо за подписью «И. Я-ч», автор которого, напротив, не считает ошибкой фразу Н. Логуновой, а И. Хераскова уличает в плохом знании уже французского языка.

РЕЦЕНЗИИ

RUSSIA: RIVISTA DI LITTERATURA – ARTE – STORIA. DIRETTA DA ETTORE LO GATTO. 1923 (с. 485)

Новая русская книга. 1923. № 3–4. Март–апрель. С. 22–23.

В публикации после названии рецензируемого издания приведен адрес редакции: Roma, via Nazionale, 89.

[1] «Россия. Журнал литературы, искусства, истории», издаваемый славистом и переводчиком Этторе Ло Гатто, выходил в Риме с перерывами с 1920 по 1926 г.

[2] Ло Гатто Этторе (1890–1983) – выдающийся европейский славист, профессор русской литературы и языка в университетах Рима и Неаполя, пропагандист и переводчик русской литературы. Автор многих работ по

истории России, в частности «Истории русской литературы» (в 7 т. 1927—1945), «Истории русской современной литературы» (в 2 т. 1958).

В 1923 г. по приглашению Ло Гатто Б. Зайцев выступил с лекциями о России в Институте Восточной Европы в Риме. Впоследствии посвятил ему очерк «Итальянский друг России» (1930) (*Зайцев Б. К.* Дневник писателя / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. М. Любомудрова. М., 2009. С. 92—95).

В 1966 г. Зайцев в своих заметках «Книги, книги» (Русская мысль. 1966. 24 февр.) вновь пишет о Ло Гатто и его подвижническом труде: «писание его о нашей Родине полно знаний, живости, любви, почти благоговения». Писателя восхищает то, как «человек родом из Неаполя так врос в Россию, что иной раз кажется: не ближе ли ему Россия, чем сама Италия?» [9, 420—422].

[3] Шмурло Евгений Францевич (1853—1934) — историк, председатель Императорского Русского исторического общества. После революции жил в эмиграции, в 1921 г. он создал в Риме Русскую академическую группу. В 1924 г. переехал в Прагу.

[4] Пальмиери (Palmieri) Аурелио (1870—1926) — католический священник, монах-августинец, богослов, исследователь православной догматики. Примыкал к движению «католического модернизма», был сторонником соединения церквей. Дружил с русскими религиозными мыслителями, бывавшими в Италии: Вяч. Ивановым, кн. Е. Трубецким, В. Эрном, Б. Яковенко и др.

[5] Резневич-Синьорелли Ольга Ивановна (1883—1973) — врач, литератор, переводчик, меценат. Переехала в Италию в 1905 г. и с 1910 г. жила преимущественно в Риме. Играла значительную роль в деле распространения русской культуры и литературы в Италии. Переводила на итальянский русскую прозу и поэзию. Дом Ольги Ивановны и ее мужа Анджело Синьорелли (1876—1952), известного врача, коллекционера, был литературно-артистическим салоном, в котором проходили вечера с участием итальянских и русских деятелей искусства.

ИТАЛИЯ И ГОБИНО
(с. 486)

Дни. 1924. 2 нояб., № 606. С. 7, 10.

Републиковано: Русская литература. 2002. № 2. С. 216—223 (публикация и комментарии А. В. Ярковой).

[1] Жозеф Артюр де Гобино (1816—1882) — французский дипломат, писатель-романист, социолог, философ; граф. Писал труды по истории Востока, романы, новеллы, поэмы, драмы. Автор четырехтомного труда «Опыт

о неравенстве человеческих рас» (1853–1855); беллетристического сочинения «Возрождение. Исторические сцены» (1877).

[2] Алексис Шарль Анри Клерель де Токвиль (1805–1859) – французский государственный деятель и писатель, лидер консервативной Партии порядка, министр иностранных дел Франции (1849). Автор книг «Демократия в Америке» (1835–1840), «Старый порядок и революция» (1856).

[3] По сведениям А. В. Ярковой (Громовой), «Рихард Вагнер познакомился с “Опытами о неравенстве человеческих рас” весной 1881 года. В том же году Гобино провел несколько недель на его вилле в Байрете. Идеи Гобино оказались отчасти близки Вагнеру, а расхождения во взглядах нашли отражение в статье Р. Вагнера “Язычество и христианство”. Публикация статьи послужила началом популяризации идей Гобино, в результате чего в Германии возникло “Общество Гобино”» (Русская литература. 2002. № 2. С. 222).

[4] «Опыт о неравенстве человеческих рас» – попытка систематического осмысления истории с позиций биологического детерминизма. Причину упадка человеческих обществ и цивилизаций. Гобино видит в расовом смешении.

[5] Блуа Леон (1846–1917) – французский католический писатель.

[6] Бурже Поль Шарль Жозеф (1852–1935) – французский критик и романист.

[7] Моран Поль (1888–1976) – французский дипломат, романист, драматург и поэт.

[8] Имеются в виду издания: *Гобино.* Век Возрождения. Исторические сцены / Пер. Н. Горбова. М., 1913; Возрождение. Исторические сцены графа Гобино / Пер. с фр. А. Даманской. Берлин, 1924.

[9] Имеется в виду Карл V (1500–1558), император Священной Римской империи и король Испании. Эпизодам из его жизни посвящена новелла Б. Зайцева «Карл V» (1922).

[10] Имеется в виду сочинение Никколо Макиавелли (1469–1527) «Государь» (1513), в котором автор советует правителю укреплять власть любыми средствами, отринув моральные принципы.

[11] Корреджио (наст. имя Антонио Аллегри; 1489–1534) – итальянский живописец.

[12] Виттория Колонна, маркиза де Пескара (1490–1547) – итальянская поэтесса, друг Микеланджело.

[13] Беатриче д’Эсте (1473–1497) – жена миланского герцога Людовика Моро.

П. П. МУРАТОВ. ОБРАЗЫ ИТАЛИИ (с. 492)

Современные записки. 1924. № 22. С. 444–447.

Републиковано: Русская литература. 2002. № 2. С. 223—225 (публикация и комментарии А. В. Ярковой).

Муратов Павел Петрович (1881—1950) — писатель, искусствовед, литературовед, историк, переводчик. Занимался русской живописью допетровского периода, сотрудничал с И. Э. Грабарем в его многотомной «Истории русского искусства». В 1913—1914 гг. издавал художественный журнал «София». Участник Первой мировой войны, награжден орденами. В 1918—1922 гг. работал в отделе охраны памятников Наркомпроса РСФСР, вместе с И. Грабарем участвовал в реставрации храмов Москвы и Новгорода. Основал общество изучения итальянской культуры Studio Italiano. Принимал участие в деятельности Комитета помощи голодающим, в 1921 г. был арестован вместе с Зайцевым и другими членами комитета. С 1922 г. за границей, сначала в Германии, в 1923 г. поселился в Риме, в 1927 г. переехал в Париж. Основатель общества «Икона» в Париже (1927). Перед началом Второй мировой войны переехал в Великобританию, подготовил монографии о событиях 1941—1945 гг. на советско-германском фронте (вместе с историком У. Алленом), о военной истории Кавказа в XIX в. Незадолго до смерти поселился в Ирландии.

Близкий друг Б. Зайцева. Зайцев является также автором обзора «Новые книги Муратова» (1931), посвященному изданиям: *Muratoff P.* La Peinture Byzantine. Paris, 1928; *Muratov P.* Fra Angelico. Rome, 1929 (*Зайцев Б. К.* Дневник писателя / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. М. Любомудрова. М., 2009. С. 121—127) и очерка «П. П. Муратов» (1951), вошедшего в книгу «Далекое» [6, 214—219].

[1] Первые два тома «Образов Италии» П. Муратова вышли в Москве в 1911—1912 гг. В 1924 г. в Берлине вышло новое издание, дополненное третьим томом, с посвящением: «Посвящается Борису Константиновичу Зайцеву в воспоминанье о счастливых днях».

[2] Патер Уолтер (1839—1894) — английский писатель-импрессионист, литературный критик и теоретик искусства, автор книги «Очерки по истории Ренессанса» (1873). В переводе П. П. Муратова и с его вступительной статьей «Воображаемые портреты» Патера выходили в 1908 и 1916 гг.

[3] Вернон Ли (наст. имя Violet Paget; 1856—1935) — английская писательница, переводчица, автор многочисленных эссе об искусстве, в частности двухтомника «Италия. Избранные страницы» (М., 1914, 1915) под редакцией и с предисловием П. Муратова.

[4] Имеются в виду «Итальянские хроники» (1837—1839) Стендаля, написанные на основе ренессансных рукописей и памфлетов.

Ф. СТЕПУН. ИЗ ПИСЕМ ПРАПОРЩИКА-АРТИЛЛЕРИСТА (с. 495)

Перезвоны. 1926. № 14. С. 414.

Федор Августович Степун (1884—1965) печатал книгу «Из писем прапорщика-артиллериста» под псевдонимом Н. Лугин в русской периодике 1916—1917 гг., отдельным изданием вышла в 1918-м: *Степун Ф.* (*Н. Лугин*). Из писем прапорщика-артиллериста; *Ропшин В.* В действующей армии: Лето 1917 г. М.: [«Задруга»], 1918. За рубежом издана в Праге в 1926 г. Примечательно, что одно из писем было опубликовано в том же номере еженедельника «Народоправство» (1917. 7 дек., № 17. С. 4—7), где напечатаны два материала Б. Зайцева: «Наш язык» и «Открытое письмо А. В. Луначарскому».

Н. А. ТЭФФИ. ГОРОДОК
(с. 496)

Современные записки. 1928. № 34. С. 498—499.

Републиковано: Литература русского зарубежья. Антология: В 6 т. М., 1991. Т. 2: 1926—1930. С. 509.

Книга Н. Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой; 1872—1952) «Городок. Новые рассказы» вышла в Париже в 1927 г.

[1] Из стихотворения Тэффи «Ангел».

Мих. ОСОРГИН. СИВЦЕВ ВРАЖЕК.
РОМАН, ПАРИЖ, 1928
(с. 497)

Современные записки. 1928. № 36. С. 532—533.

Роман-хроника Михаила Андреевича Осоргина (1878—1942) «Сивцев Вражек» вышел в Париже в 1928 г.

<*Н. БЕРБЕРОВА*> ПОСЛЕДНИЕ И ПЕРВЫЕ
(с. 498)

Возрождение. 1931. 9 июля, № 2228. С. 4.

Роман Нины Николаевны Берберовой (1901—1993) «Последние и первые. Роман из эмигрантской жизни» печатался в 1929 г. в «Современных записках», а в 1930 г. вышел в Париже отдельным изданием. Один из первых русских романов, посвященных жизни русских эмигрантов во Франции.

«НОСЯЩИЙ БАРСОВУ ШКУРУ»
(с. 500)

Возрождение. 1933. 13 апр., № 2872. С. 4.

Интерес к грузинской культуре и творчеству Руставели у Бальмонта возник еще в 1910-х гг. Поэт переводил поэму Руставели на протяжении

многих лет, публиковал статьи о поэте и отрывки своих переводов (в частности, перевод первых десяти песен вышел в 1917 г. в издательстве М. и С. Сабашниковых отдельной книгой под названием «Носящий барсову шкуру»). Перевод Бальмонта 1933 г. — первый полный перевод поэмы на русский язык. В 1936—1938 гг. он неоднократно переиздавался в СССР (под названием «Витязь в тигровой шкуре» с добавлением дополнительных глав в переводе Е. А. Тарловской). Парижское издание было снабжено двумя дополнительными титулами на французском и английском языках, пересказами содержания поэмы на этих языках и статьями Бальмонта, посвященными Шота Руставели.

Издатель, Давид Келадзе (Хеладзе) — наборщик одной из русских типографий, который в течение пяти лет набирал поэму в свободное от основной работы время и собирал средства на ее издание (см.: *Куприяновский П. В., Молчанова Н. А.* Поэт Константин Бальмонт. Биография. Творчество. Судьба. С. 411).

[1] В статье «Великие итальянцы и Руставели», помещенной в издании, Бальмонт, в частности, утверждал: «Разлучность Данте и Петрарки с любимыми их — вымышленная, это красивый обман. <...> А разлучность с красавицей-царицей, которая есть царица сердца, <...> есть лучший из четырех редкостных изысканно-прекрасных самоцветов, таящих свет Любви».

[2] Лудовико Ариосто (1474—1533) — итальянский поэт, автор сказочно-приключенческой поэмы «Неистовый Роланд».

[3] Книга вышла в цельнокожаном переплёте с золотым тиснением на корешке и золотым обрезом. Форзацы выполнены из вишнёвого шёлка, дополнительные форзацы из цветной бумаги. Иллюстрации известного художника М. Зичи, бордюры, заглавные буквы и концовки, изображающие образцы орнаментов старинной грузинской архитектуры, были взяты из грузинского издания поэмы 1888 г. Книга сопровождалась портретами Руставели, царицы Тамар и самого Бальмонта.

[4] Перевод Бальмонта — вольный: выпущены некоторые строфы, изменены смысловые оттенки отдельных стихов, изменен размер стихов оригинала. Принципы своего творческого переложения текста Бальмонт изложил во вступительной статье к переводу: «Я перевожу поэму Руставели размером подлинника, лишь с некоторым изменением в порядке рифм. В четырестрочии Руставели, *восьмистопный трохей*, четыре раза повторяется одна и та же рифма, — я преломляю каждую строку рифмой, повторяемой трижды в каждом двустрочии, причем конец каждой второй и четвертой строчки связан, кроме того, самостоятельной рифмой. Таким образом, в каждом четырестрочии у меня восемь рифм, и в шести тысячах строк всего текста Руставели, в русском её лике, будет двенадцать тысяч рифм. Эта добровольно наложенная на себя тяжесть выполнения вызвана не произвольною прихотью, а желанием дать в русском стихе достойное отображение пыш-

ной красоты, мною увиденной, звуковую равноценность, которой Руставели достигает, опираясь на большую звучность грузинских слов, построенных на мужественной силе согласных».

«О. ГЕОРГИЙ СПАССКИЙ» (с. 501)

Возрождение. 1937. 10 дек., № 4109. С. 9.

Рецензия на книгу: О<тец> Георгий Спасский. 1877—1934. Париж: Издание Комитета по увековечению памяти о. Георгия Спасского, 1938. Редакторы не указаны, но в анонсе сборника сообщалось, что он выходит «под редакцией Б. К. Зайцева» (Возрождение. 1937. 27 авг. С. 14). В сборнике помещены два материала Зайцева (публикуются в наст. изд.).

[1] Из молитвы преп. Серафиму Саровскому, читаемой в конце Акафиста преподобному.

[2] Вяземская (урожд. Батурина) Ольга Дмитриевна, княгиня (1893—1964) — общественный деятель. Была избрана секретарем созданного с целью оказания помощи бездомным Комитета по увековечению памяти о. Георгия Спасского (1936), генеральным секретарем и казначеем Комитета (1947). Участвовала в сооружении памятника о. Г. Спасскому в крипте Успенского храма на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Генеральный секретарь Кружка почитателей памяти о. Г. Спасского. В конце 1940-х гг. переехала в США.

ДРУГ РОССИИ (с. 502)

Русская мысль. 1954. 17 июля, № 676. С. 5.

Кюфферле Ринальдо (1903—1955) — поэт и переводчик. Сын скульптора Пьетро Кюфферле, обосновавшегося в Петербурге. Детство провел в Петербурге, в 1918 г. переехал в Италию. Поддерживал творческие связи с русской эмиграцией. Переводил русских классиков и писателей-эмигрантов. Свои переводы публиковал в серии «Русская библиотека» («Biblioteca russa») миланского издательства «Бокка». Автор романа о жизни беженцев из Советской России «Ex russi» (1935).

О его контактах с русскими эмигрантами см.: *Кюфферле Р.* Персоны и персонажи. Очерки о русской эмиграции / Публ., пер., коммент. М. Талалая // Диаспора: Новые материалы. СПб.; Париж, 2007. Вып. 9. С. 430—451; *Скандура К.* Ринальдо Кюфферле, поэт и переводчик // Русские в Италии: культурное наследие эмиграции. М., 2006. С. 354—360.

См. также заметку Б. Зайцева «Ринальдо Кюфферле» в наст. изд.

[1] Сборник «Избранные стихотворения» («Poesie scelte») вышел в Милане в 1954 г.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРИВЕТСТВИЯ

ПРИВЕТСТВИЕ ГАЗЕТЕ «НОВЫЙ ПУТЬ»
(с. 505)

Новый путь. Женева. 1935. Апрель, № 35. С. 1.

Пасхальный номер газеты, оформленный крупными колонтитулами: «Христос Воскресе!», «Воскреснет во Христе Россия». На первой полосе — приветствия Русскому трудовому христианскому движению и его изданию, которые прислали митрополит Евлогий (Георгиевский), митрополит Антоний (Храповицкий), митрополит Софийский Стефан, архиепископ Западно-Европейский Серафим, А. Лодыженский, И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, А. В. Карташев.

«Новый путь» — газета, выходившая в Женеве в 1932—1940 гг. Имела подзаголовок: Ежемесячник Бюро русских трудящихся христиан (1932—1937), Ежемесячник русского трудового христианского движения (1938—1940).

РИНАЛЬДО КЮФФЕРЛЕ
(с. 505)

Возрождение. 1936. 20 февр., № 3914. С. 4.

О Р. Кюфферле см. комментарий к рецензии «Друг России» (с. 671).

ПРИВЕТСТВИЕ ЖУРНАЛУ «РУБЕЖ»
(с. 506)

Рубеж. 1938. 2 апр., № 14. С. 10.

В этом же юбилейном номере помещены краткие приветственные письма более сорока представителей русской эмиграции. Еженедельный литературно-художественный журнал «Рубеж» выходил с 1926 до 1945 г. в Харбине. Первый номер вышел 22 августа 1926 г., сначала журнал выходил нерегулярно, а начиная с 1928 г. — еженедельно по субботам. Видимо, по этой причине 10-летний юбилей отмечался не в 1936-м, а в 1938 г.

ПЯТЬ ЛЕТ
(с. 506)

Русская мысль. 1952. 23 апр., № 443. С. 1.

Л. А. Мнухин так описывает создание газеты: «Несколько раз пробовал добиться у французского правительства разрешения издавать национальную газету В. А. Лазаревский, основатель в Париже Российского национального союза. Однако каждый раз он получал отказ. Весной 1947 года на помощь В. А. Лазаревскому пришел его знакомый, один из руководите-

лей католического союза “Французской конфедерации трудящихся христиан” Х. Брюне, который предложил издавать газету как орган этой конфедерации. 1 апреля на квартире В. А. Лазаревского, ставшей вскоре помещением для конторы и редакции газеты, состоялось первое заседание редакции, на котором присутствовали С. А. Водов, В. Ф. Зеелер, П. Е. Ковалевский, В. А. Лазаревский, В. В. Полянский. После некоторых споров из-за названия решено было, по настоянию В. В. Полянского, назвать новую газету “Русская мысль”. <...> Первый номер вышел пасхальным» (*Мнухин Л. А.* «Русская мысль» // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918—1940. Периодика и литературные центры. М., 2000. С. 560).

Б. Зайцев сотрудничал в газете, начиная с первого выпуска и до конца своей жизни, опубликовав на ее страницах за 25 лет более двухсот материалов. С 1950-х гг. он вел в газете литературную страницу.

ПРИВЕТСТВИЕ Н. В. БОРЗОВУ
(с. 508)

День русского ребенка. Сан-Франциско, 1952. Апрель, № 19. С. 62.

«День русского ребенка» — ежегодный журнал, выходил в Сан-Франциско с 1934 по 1955 г., издавался Обществом помощи детям русской эмиграции, возглавлялся Н. В. Борзовым. Прибыль от продажи журнала шла на нужды детей-эмигрантов.

Борзов Николай Викторович (1871—1955) — педагог, общественный деятель. Инспектор Томского коммерческого училища. В 1905 г. переехал в Харбин (Китай), где организовал Народный университет и Высшие курсы для русских эмигрантов, преобразованные впоследствии в Юридический факультет. Преподавал русский язык и историю в Русско-Японском институте. Директор 1-го Объединенного общественного реального училища в Харбине. Переехал в США, где издавал ежегодный альманах «День русского ребенка». Активный член Общества помощи русским детям за рубежом.

РЕМИЗОВУ.
К 50-ЛЕТИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(с. 508)

Русская мысль. 1952. 19 сент., № 486. С. 5.

Зайцев, оставивший заметки и очерки о многих литераторах-современниках, долгое время ничего не писал о Ремизове: друг-писатель жил рядом, а большинство очерков Зайцева посвящено ушедшим. «Ремизову» — первый текст Зайцева, посвященный ему. Второй, «Письмо Ремизову», напечатан в «Русской мысли» 6 июля 1957 г. [9, 352—353]. Некролог «Смерть Ремизова» (1957) публикуется в наст. изд. Развернутый мемуарный очерк

Б. Зайцева «О Ремизове. К десятилетию кончины» опубликован в «Русской мысли» 4 февр. 1968 г. [6, 358—364].

[1] Первая публикация А. М. Ремизова — «Плач девушки перед замужеством (Эпиталама)» — появилась в газете «Курьер» (1902. 8 сент.) под псевдонимом *Н. Молдаванов.*

[2] Имеется в виду рассказ «Бебка» (Курьер. 1902. 24 нояб.) — первый ремизовский текст, напечатанный под его собственным именем.

[3] *Ремизов А.* Пляшущий демон. Танец и слово. Париж: Дом книги, 1949; *Ремизов А.* Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти. Париж: YMCA-PRESS, 1951.

[4] В 1818 г. В. А. Жуковский выпустил серию книг стихотворений, где рядом с оригиналами (главным образом немецкими) были даны его переводы. Книги выходили под названием «Für Wenige» («Для немногих»).

[5] *Ремизов А.* В розовом блеске. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.

[6] Неточная цитата из повести А. П. Чехова «Моя жизнь» (у Чехова: «горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам! Не видать им царствия небесного»). Имеет источником Нагорную проповедь, ср.: «...горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете» (Лк 6: 24—25); «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад» (Лк 6: 30).

[7] Из церковного многолетия: «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подаждь, Господи, (имярек) и сохрани его на многая лета!»

ВЛАДИМИР ФЕОФИЛОВИЧ ЗЕЕЛЕР. К 80-ЛЕТИЮ (с. 510)

Русская мысль. 1954. 18 июня, № 668. С. 3.

Под приветствием Б. Зайцева опубликовано объявление:

«Юбилейный Комитет под почетным председательством А. Н. Бенуа, председателя Б. К. Зайцева и членов: А. С. Альперина, Л. М. Бененсона, С. А. Водова, светл. кн. П. П. Волконского, И. Я. Германа, Б. Л. Гершуна, Б. А. Дурова, В. Н. Загоровского, С. М. Казас, П. Е. Ковалевского, Н. А. Корганова, С. М. Лифаря, В. А. Маклакова, А. Л. Мищенко, В. В. Полянского, В. И. Поли, Д. П. Рябушинского, А. Б. Серебрякова, В. Н. Сперанского, Бадьма Уланова и А. А. Шика приглашает всех желающих поздравить юбиляра и подписать адрес пожаловать в воскресенье 27 июня в 16 часов в зал Русской Консерватории, 26, ав. де Нью-Йорк. Письменные приветствия просят посылать на имя секретаря комитета В. А. Верещагина: 38-бис бульв. де ля Репюблик, Булонь (Сен)».

Зеелер Владимир Феофилович (1874—1954) — политический и общественный деятель, видный представитель русской эмиграции. Член кадет-

ской партии. В 1917 г. — комиссар Временного правительства и городской голова Ростова-на-Дону. В 1919—1920 гг. — министр внутренних дел Южнорусского правительства А. И. Деникина.

В эмиграции проживал во Франции. В 1921 г. вошёл в состав Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей. Один из организаторов и на протяжении 30 лет генеральный секретарь Союза русских писателей и журналистов в Париже. В 1927 г. стал секретарём Центрального комитета «Дней русской культуры». Член редколлегии газеты «Русская мысль».

[1] Земгор — сокращенное название структуры Российской империи, созданной на базе земств и городских дум для распределения государственных оборонных заказов. В 1920 г. в Париже белыми эмигрантами учреждена преемственная организация — Объединение земских и городских деятелей за границей (Земгор), которая занималась распределением помощи для русских беженцев.

[2] Миркин-Гецевич Борис Сергеевич (1892 — 1955) — юрист и публицист. В эмиграции с 1920 г. Под псевдонимом Борис Мирский издал, в частности, книгу «В изгнании. Публицистические очерки» (Париж, 1922).

[3] Нацистский концентрационный лагерь в городе Компьень под Парижем, куда были отправлены многие русские эмигранты. С июня 1941 г. по август 1944 г. в лагере содержалось около 54 тыс. заключенных, из которых 50 тыс. были депортированы в лагеря смерти.

ПРИВЕТ АЛДАНОВУ
(с. 512)

Новое русское слово. 1956. 4 нояб., № 15835. С. 3.

Заметка приурочена к 70-летию М. А. Алданова (1886—1957). Тот же текст, но без заглавия и с незначительными текстовыми отличиями опубликован: Русская мысль. 1956. 6 нояб., № 974. С. 3. В том же номере «Русской мысли» напечатаны материалы к 70-летию М. Алданова, авторы которых С. Водов, В. Маклаков, Е. Кускова, Ю. Сазонова, М. Слоним, М. Кантор, Ю. Терапиано, Г. Адамович, А. Жерби. Сравнение редакций позволяет заключить, что публикация в НРС является обработанным, правленым вариантом текста, присланного для РМ.

Алданов Марк Александрович (урожд. Ландау; 1886—1957) — прозаик, публицист, автор очерков на исторические темы, философ и химик. С 1919 г. — в эмиграции.

[1] Алданова Татьяна Марковна (1893—1968) — переводчик, перевела ряд произведений Алданова на фр. язык. После падения Парижа в 1940 г. Алдановы уехали в США, в 1947 г. вернулись во Францию, поселились в Ницце.

[2] После слов «...опять установилась связь с Америкой» в редакции «Русской мысли» следовали слова: «...и в полуголодной нашей “под иноплеменными” жизни...»

[3] Пс 89: 10.

ЛИФАРЮ
(с. 513)

Русская мысль. 1957. 26 окт., № 1126. С.4.

Среди материалов этого номера газеты, посвященных 25-летию художественной деятельности Сергея Лифаря в Большой парижской опере, — приветствия А. Бенуа, Г. Адамовича, Н. Вырубовой, Ю. Сазоновой, С. Водова, В. Нарышкиной, Д. Парлича, Л. Егоровой, А. Шика и др., а также поздравление, подписанное: «княгиня Мария Феликсовна Романовская-Красинская, Заслуженная артистка Императорских театров Кшесинская» (титул светлейшей великой княгини был присвоен знаменитой балерине в 1935 г.).

Лифарь Серж (Сергей Михайлович; 1905—1986) — артист балета, балетмейстер, теоретик танца и коллекционер. В эмиграции с 1923 г. В середине 1920-х гг. — ведущий солист «Русского балета» Сергея Дягилева. В 1930 г. возглавил балетную труппу «Grand-Opera» и оставался ее балетмейстером до 1958 г. Основатель Парижского университета хореографии и Университета танца.

[1] Сергею Лифарю принадлежит главная заслуга в организации парижской выставки в 1937 г. «Пушкин и его эпоха», посвященной 100-летию со дня смерти поэта.

ПРИВЕТСТВИЕ «НОВОМУ РУССКОМУ СЛОВУ»
<1960>
(с. 513)

Новое русское слово. 1960. 24 апр., № 17202. С. 2.

Заметка к 50-летнему юбилею газеты «Новое русское слово» (издавалась в Нью-Йорке в 1910—2010 гг.).

Вейнбаум Марк Ефимович (1890—1973) — журналист, редактор, юрист. В 1913 г. эмигрировал в США. С 1922 по 1973 г. — главный редактор газеты «Новое русское слово». Был председателем Литературного фонда США и членом Американской академии политических и общественных наук. После Второй мировой войны некоторое время жил в Париже, где встречался с Б. Зайцевым.

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
(с. 514)

Русская мысль. 1961. 11 июля, № 1706. С. 3.

Среди материалов, посвященных 80-летию протопресвитера Василия Зеньковского, в этом номере газеты опубликованы статьи и заметки архиепископа Сан-Францисского Иоанна, стихи Т. Величковской, А. Угрюмова.

Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962) — философ, богослов, педагог, протопресвитер. Профессор философии Белградского университета (1920—1923). Директор Русского педагогического института в Праге (1923—1926). С 1927 г. жил в Париже и возглавлял кафедру философии Православного богословского института, а в 1944 г. стал его деканом. В 1942 г. рукоположен в сан священника. В 1923—1962 гг. — председатель и духовник Русского студенческого христианского движения. Автор книг «Русские мыслители и Европа» (1926), «На пороге зрелости» (1929), «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии» (1934), «История русской философии» (1945, 1950), «Апологетика» (1957), «Н. В. Гоголь» (1961), «Основы христианской философии» (1961, 1964) и др.

Б. Зайцев посвятил В. Зеньковскому портрет-некролог «Ушедшему» [9, 384—386].

ПИСЬМО СТЕПУНУ
(с. 515)

Русская мысль. 1964. 18 февр., № 2114. С. 3.

В этом номере «Русской мысли» опубликована подборка материалов к 80-летию Федора Августовича Степуна (1884—1965), среди которых — приветствие редакции, подписанное С. А. Водовым, статьи М. В. Вишняка и Н. С. Алимова.

[1] Имеются в виду общественно-политические вечера, проводившиеся с 1905 г. в доме Маргариты Кирилловны Морозовой (1873—1958) — меценатки, хозяйки московского литературно-музыкального салона, владелицы издательства «Путь», директора Русского музыкального общества. Она была также одним из учредителей «Московского религиозно-философского общество памяти Владимира Соловьёва» (1906—1918).

[2] В ноябре 1956 г. Б. Зайцев выступил с чтениями в Гоголевской библиотеке в Мюнхене. Наталия Николаевна Степун (урожд. Никольская; 1886—1961) — супруга Ф. А. Степуна.

Е. Н. РЫШКОВА
(с. 517)

Русская мысль. 1969. 27 марта, № 2731. С. 10.

В этом же номере опубликована редакционная заметка, где выражалась благодарность Е. Рышковой за 22-летнее служение в газете.

Рышкова Евгения Николаевна (1893—1981) — сестра милосердия, литератор, общественный деятель. В эмиграции с 1920 г., жила в Париже. Ра-

ботала секретарем в Российском земско-городском комитете за границей (Земгоре), на курсах Русского народного университета, с 1925 до 1940 г. — сотрудник газеты «Возрождение», журнала «Часовой». С 1947 по 1968 г. — казначей и секретарь редакции газеты «Русская мысль».

ПРИВЕТСТВИЕ Р. ГУЛЮ И «НОВОМУ ЖУРНАЛУ»
(с. 517)

Новый журнал. Нью-Йорк. 1970. № 100. С. 428.

Текст опубликован под заголовком «Письмо Б. К. Зайцева». Литератор, историк, общественный деятель Роман Борисович Гуль (1896—1986) с 1951 г. был ответственным секретарем, с 1959 г. — главным редактором «Нового журнала». Ежеквартальный литературно-публицистический журнал начал выходить в 1942 г. в Нью-Йорке как продолжение парижских «Современных записок».

ПРИВЕТСТВИЕ «НОВОМУ РУССКОМУ СЛОВУ»
<1970>
(с. 518)

Новое русское слово. 1970. 7 апр., № 21847. С. 3.

ОБРАЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

ДЕНЬ РУССКОГО ШОФЕРА
(с. 521)

Последние новости. 1926. 18 мая, № 1882. С. 2

Союз русских шоферов был организован в Париже в 1926 г. и насчитывал более тысячи таксистов. Ежегодно проводил «День русского шофера» — благотворительную акцию с целью сбора средств для помощи нуждающимся водителям. Издавал газету «Русский шофер» и ежемесячник «За рулём», в которых публиковались и художественные произведения русских писателей.

РУССКИМ ЗАРУБЕЖНЫМ ЛЮДЯМ. ПРИЗЫВ ГРУППЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
(с. 522)

Последние новости. 1926. 12 марта, № 1815. С. 2.

Этот же текст опубликован в той же газете спустя два года (Последние новости. 1928. 14 мая, № 2609. С. 2). Призыв подписали те же лица, что

и в 1926 г., к ним добавили свои подписи генерал Н. М. Головин, А. Е. Котомкин, Б. А. Лазаревский, В. Н. Ладыженский, В. И. Немирович-Данченко, А. М. Ренников, Д. М. Ратгауз, П. Б. Струве, Евгений Тарусский (псевдоним Е. В. Рышкова), Л. Н. Урванцев, А. И. Филиппов, Д. В. Философов, Е. Н. Чириков, А. М. Черный, редакции газет «Руль», «Слово», «Русское слово» (Нью-Йорк), «За свободу» и журнала «Иллюстрированная Россия».

Союз русских военных инвалидов был создан вскоре после эвакуации войск генерала Врангеля из Крыма и ставил целью оказание инвалидам — бывшим солдатам и офицерам материальной и духовной поддержки. В 1922—1926 гг. Центральное правление Союза находилось в Белграде, в 1927 г. переехало во Францию. Благотворительная организация, получившая название «Зарубежный союз русских военных инвалидов», объединяла Союзы инвалидов, находившиеся во многих странах Европы, в Америке и Китае. Главным правлением Союза в Париже в 1930—1940-е гг. издавалась газета «Русский инвалид». Приуроченная ко дню памяти Святителя Николая, ежегодная благотворительная акция «День русского инвалида», начиная с 1926 г., широко отмечалась в среде русской эмиграции и вошла в традицию.

ДНИ ЛЮБВИ
(с. 524)

Дни. 1926. 16 мая. № 1007. С. 2. То же: Последние новости. 1926. 16 мая. № 1880. С. 2.

[1] Однодневная газета «Русскому мальчику. Издание в пользу общежития для русских мальчиков в Париже» вышла в день Пасхи, 2 мая 1926 г. В ней сообщалось о том, что «при Попечительстве о русских детях во Франции образован Особый комитет по изысканию средств для открытия общежития для русских мальчиков в Париже». В этом благотворительном издании опубликованы призывы митрополита Евлогия и Н. Кульмана, произведения Б. Зайцева, Н. Тэффи, Вл. Ладыженского, А. Ремизова, А. Куприна, С. Яблоновского, М. Рощина, А. Черного. См. также заметку Б. Зайцева «Общежитие в Шавиле» в наст. изд.

[2] Булюбаш Николай Павлович (1880—1963) — военный, художник-любитель. Участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник. В эмиграции во Франции. В конце 1920-х гг. участвовал в благотворительных акциях в пользу приюта (общежития) для русских мальчиков в Шавиле (под Парижем), был заведующим приюта. Член Объединения бывших воспитанников Киевского военного училища, с 1938 председатель Объединения. Член Комитета памяти ген. Н. Н. Духонина от Особого комитета помощи русским комбатантам (1950-е гг.). Сотрудничал в газете «Русская мысль», опубликовал свои воспоминания (1958).

КОНЦЕРТ-ГАЛА
(с. 525)

Последние новости. 1927. 16 янв., № 2125. с. 2.

[1] См. заметки Б. Зайцева «Дни любви» и «Общежитие в Шавиле» в наст. изд.

[2] Балашова (Балашова-Ушкова) Александра Михайловна (1887–1979) – балерина, педагог, коллекционер. С 1921 г. обосновалась в Париже, танцевала в театре «Femina», Grand Opera, Русской опере. Участвовала в организации благотворительных спектаклей. Преподавала в Театральной школе, в 1935 г. открыла собственную Студию хореографического искусства.

Яковлева Александра Евгеньевна (1889–1979) – оперная певица, педагог. В 1923 г. эмигрировала во Францию. Солистка Парижской оперы. Выступала на Исторических концертах русской музыки (1926), в Русском народном университете (1927), на фестивале русской музыки (1929) и др. Участвовала в благотворительных вечерах, в том числе в пользу Бианкурской церкви, Российского общества Красного Креста, нуждающихся морских офицеров.

Спиридович Маргарита Александровна (1895–1973) – певица, общественный деятель. Принимала активное участие в культурной жизни русской колонии в Париже, выступала на концертах. С 1926 г. член Попечительского комитета по устройству Общежития для русских мальчиков в Шавиле, организатор в пользу приюта обедов-гала в ресторане «Большой Московский Эрмитаж» (1928–1929) и гала-концертов в зале Гаво с участием популярных артистов (1927–1929). Участвовала в многочисленных благотворительных вечерах и концертах. Гастролировала по Европе, с 1940 г. обосновалась в Нью-Йорке.

Кедров Николай Николаевич (1871–1940) – оперный и камерный певец, православный композитор и музыкальный педагог. Один из основателей Русской консерватории в Париже, автором ряда церковных песнопений. Еще до эмиграции организовал мужской квартет; воссоздал его в Париже, где певцы выступали под названием «Квартет Кедрова». Основу репертуара составляли церковные песнопения.

Кайданов (наст фам. Шматук) Константин Евгеньевич (1883–1951) – оперный певец. Активный участник литературно-музыкальных вечеров, концертов, в том числе благотворительных. Организатор музыкальных «субботников» для русской молодежи (1942). В 1949 г. вместе с Л. Давидовской открыл в Париже студию пения.

Лапшин Георгий Александрович (1885–1950) – живописец, сценограф и оперный певец. В 1924 г. обосновался в Париже. Участвовал в серии Исторических концертов русской музыки «От Глинки до наших дней» (1925), вечерах «Беседы по русской культуре» при Русском народном университе-

те, музыкальных программах Тургеневского артистического общества. В 1940 г. входил в инициативную группу по учреждению во Франции Объединения русских деятелей литературы и искусства, вошел в Правление.

Попов А. — скрипач, педагог. Эмигрировал во Францию. С 1928 г. преподаватель по классу скрипки в музыкальной школе (с 1931 г. — Русская консерватория) при Русском народном университете в Париже. Участвовал в Вечерах русской музыки, организованных виолончелистом Д. Шуматовым, играл в его квартете

Рахманов Александр Ильич (наст. имя Гурович Арнольд Исидорович; 1886—1970) — пианист, дирижер, педагог. Эмигрировал, с 1923 г. жил в Париже. В 1920-е гг. играл в ресторанах и преподавал. Профессор по классу фортепиано в Русской консерватории, выступал в концертах как солист, в инструментальных ансамблях и в качестве концертмейстера. Выступал на вечерах, концертах в пользу Союза русских военных инвалидов, Тургеневской библиотеки, Русских рабочих союзов во Франции, русских безработных, Союза галлиполийцев и др.

[3] Ростан Морис (Maurice Rostand; 1891—1968) — французский поэт, драматург и сценарист. Родился в Париже в семье известного французского драматурга Эдмона Ростана и поэтессы Розмонды Жерар.

[4] Гаво (Salle Gaveau) — престижный концертный зал в Париже. Открыт в 1907 г. На его площадке выступали ведущие французские и иностранные солисты и музыкальные коллективы.

ДЕЛО ЛЮБВИ
(с. 525)

Последние новости. 1927. 29 нояб., № 2442. С. 2.

Российское общество Красного Креста во Франции включало сеть учреждений, оказывавших медицинскую помощь эмигрантам, прежде всего детям и инвалидам: 3 госпиталя, 2 лазарета, 24 амбулатории, 2 санатория для больных туберкулезом, 10 домов отдыха и приютов для престарелых, 11 детских общежитий. В Париже Красный Крест имел несколько комитетов: Комитет помощи детям, Комитет помощи туберкулезным больным, Комитет помощи больным, Комитет помощи престарелым.

СТУДЕНТЫ
(с. 526)

Возрождение. 1929. 21 нояб., № 1633. С. 2.

17—24 ноября 1929 г. в ознаменование 175-летия Московского университета проводилась Неделя русского студента. Со страниц газет раздавался призыв «к пожертвованиям на учреждение стипендий русским юношам, учащимся в высшей школе заграницей, на создание стипендиального фон-

да Московского университета и на оказание денежных пособий особо нуждающимся и больным студентам» (Возрождение. 14 нояб.). «Там, в стране советского вандализма наука почти изгнана из высшей школы и заменена грубой политикой. Здесь высшее образование также переживает тяжелое испытание» (Возрождение. 16 нояб.).

Материал Б. Зайцева находится в ряду других, публиковавшихся в течение Недели студента. Свои обращения опубликовали И. Лукаш (19 ноября), Н. Тэффи (22 ноября), митрополит Евлогий (23 ноября).

[1] Имеются в виду стипендии комитета, возглавляемого М. М. Федоровым. Федоров Михаил Михайлович (1859—1949) — действительный статский советник, государственный и общественный деятель, публицист. В 1902 г. основал С.-Петербургское телеграфное агентство. Товарищ министра торговли и промышленности (1905). Издавал газету «Слово» (1906—1909). С 1920 г. в эмиграции во Франции, жил в Париже. Принимал участие в организации благотворительных вечеров. В середине 1920-х гг. организовал студенческое общежитие в Париже и участвовал в создании при общежитии храма преп. Серафима Саровского. Член правления Российского торгово-промышленного и финансового союза (с 1928 г.). Инициатор проведения Дней русской культуры в Париже. Член Президиума Центрального Пушкинского комитета (1935—1937).

[2] В 1922 г. М. Федоров основал и возглавил Центральный комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей (так называемый «Фёдоровский комитет»), который оказывал содействие молодым русским эмигрантам в получении ими высшего образования. Комитет обращался к правительствам и другим властным органам западных стран с просьбой о выделении стипендий студентам. Основной причиной создания Комитета стал огромный приток в Европу студентов вузов и средних учебных заведений из России. Их обучение рассматривалось как большое национальное дело — подготовка кадров для будущей свободной России. За первое десятилетие работы Комитет собрал свыше 10 миллионов франков, 20 тыс. русских студентов нашли возможность продолжить обучение.

ПОМОГИТЕ РУССКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ. ПРИЗЫВ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (с. 527)

Возрождение. 1932. 13 нояб., № 2721. С. 4. Тот же текст под названием «Призыв русских писателей» опубликован: Иллюстрированная Россия. 1933. 25 февр., № 9. С. 17.

[1] О деятельности М. М. Федорова и его Комитете см. коммент. к заметке «Студенты».

ПАРИЖСКАЯ МОСКВА
(с. 528)

Возрождение. 1933. 24 янв., № 2793. С. 3.

Московское землячество в Париже основано в 1922 г. Ежегодно организовывало празднование Татьянина дня, к которому были приурочены молодежные съезды, балы, публичные диспуты Объединений русской молодежи, специальные выпуски газет. Сборы поступали в пользу нуждающихся студентов. С 1922 г. председателем землячества был В. А. Маклаков, с 1927 г. — М. С. Зернов. Последний также входил в правление Общества бывших воспитанников Московского университета, в Юбилейный комитет по ознаменованию 175-летия университета (1930), был основателем фонда комитета для выдачи стипендий студентам.

[1] Очередная генеральная чистка партии была объявлена в СССР 12 января 1933 г. Б. Зайцев имеет в виду сообщения информагенств о начавшихся чистках в рядах советских чиновников, об отправке в ссылку Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева (которого Зайцев знал лично), о намеченных репрессиях ряда других советских и партийных деятелей. Сообщалось также о сильных морозах в Москве в январе 1933 г.

[2] Отель «Lutecia» — один из самых известных отелей Парижа, построен в 1910 г. в стиле модерн.

ВОЗЗВАНИЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ КО «ДНЮ РУССКОГО РЕБЕНКА» В АМЕРИКЕ
(с. 529)

Огоньки. Париж, 1933. № 6. С. 15.

«Огоньки: Детский журнал» выходил в Париже под редакцией И. И. Новгород-Северского в 1932—1933 гг.

Мероприятия под названием «День русского ребенка» проводились различными благотворительными организациями русской эмиграции в разных странах. В частности, в США было образовано « Общество помощи русским детям эмиграции». Средства, собранные этим обществом, рассылались по всему русскому зарубежью и, как отмечалось, «спасли от физической и национальной гибели не одну сотню русских детей» (см.: *Ковалевская Н. А.* Культурно-просветительные мероприятия русской эмиграции в 20-30-е годы XX века на примере Дня русской культуры и Дня русского ребенка // Диалог со временем. 2007. № 20. С. 252—261).

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР
(с. 530)

Последние новости. 1935. 28 апр., № 5148. С. 3.

Пушкинский вечер состоялся 5 мая 1935 г. в зале Рамо-Плейель. Концерт включал оперное и балетное отделения, выступали известные оперные певцы, хор, балетные танцоры. Вечер-концерт был организован Союзом писателей и журналистов для поддержки нуждающихся литераторов.

А. А. ПЛЕЩЕЕВ. К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (с. 530)

Последние новости. 1936. 5 марта, № 5460. С. 3. То же: Иллюстрированная Россия. 1936. 14 марта, № 12. С. 1.

Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944) — писатель, драматург, мемуарист, театральный критик, историк балета. Сын поэта А. Н. Плещеева (1825—1893). С 1920 г. во Франции. Член Союза русских писателей и журналистов и Союза деятелей русского искусства. Автор более сорока пьес. В Париже выпустил книги: «Что вспомнилось: За 50 лет. Театральные воспоминания» (1931), «Под сенью кулис» (1936), «Сергей Лифарь. От старого к новому» (1938), «Мое время» (1939). Последние годы провел в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа.

Литературная общественность русской эмиграции отмечала юбилеи писателя и неоднократно проводила благотворительные мероприятия и сборы в помощь писателю.

В 1926 г. в Русском клубе и в Тургеневском артистическом обществе отметили 50-летие, в 1936 г. в редакции газеты «Возрождение» — 60-летие его литературной деятельности. В 1933 г. в Союзе деятелей русского искусства в Париже прошел «Плещеевский вечер» по случаю 75-летия со дня его рождения. В 1939 г. в Musée des Arts Décoratifs была проведена выставка «Дягилев и Шаляпин» в пользу писателя.

80-ЛЕТИЕ А. А. ПЛЕЩЕЕВА (с. 531)

Последние новости. 1938. 10 марта, № 6193. С. 4.

СОЮЗ РУССКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ (с. 531)

Последние новости. 1939. 2 марта, № 6548. С. 4.

Информация о создании инициативной группы и состав ее участников опубликованы также в «Возрождении» 10 марта 1939 г., с. 9 (заметка «Союз русского кино и театра во Франции»).

[1] Объединения русских эмигрантских сценических деятелей существовали в разных странах Европы. Несколько объединений было создано во Франции. В августе 1924 г. в Париже был образован Союз артистов и сотрудников русской кинематографии во Франции с отделениями: бюро взаимопомощи, культурно-просветительная секция, бюро кооперативных фильмов (Последние новости. 1924. 30 авг.). В июле 1927 г. состоялось учредительное собрание Профессионального союза русских сценических и кинематографических деятелей во Франции (председатель правления — С. М. Волконский), который проводил музыкальные вечера и концерты. Правление Союза, учрежденного в 1939 г., имело другой состав.

[2] Речь идет о Иване Ильиче Мозжухине, скончавшемся 17 января 1939 г. в парижской клинике от чахотки.

[3] Заседание инициативной группы Союза русских театральных и кинематографических деятелей во Франции прошло 14 марта 1939 г. 30 марта под председательством Б. К. Зайцева состоялось учредительное собрание. Был заслушан доклад А. Рогнедова о целях и задачах союза. В правление избраны: Д. Мережковский (председатель), Н. Тэффи, А. Волков, А. Мурский, А. Рогнедов, А. Богданов, С. Лифарь, М. Кшесинская и др. (Последние новости. 1939. 1 апр.).

[4] Рогнедов Александр Павлович (?—1958) — импресарио, театральный деятель, литератор. В эмиграции жил в Париже и Италии. См. о нем очерк Б. К. Зайцева «Наш Казанова» (1959) [9, 356—360].

НАШ ВЕЧЕР <1949>
(с. 533)

Русская мысль. 1949. 28 янв., №106. С. 5.

50-летие со дня основания Московского художественного театра (с 1919 по 2004 г. — МХАТ) отмечалось в среде русской эмиграции в 1948 — начале 1949 гг., был создан специальный комитет. Выступление Б. Зайцева «Полвека Художественного театра» на юбилейном вечере опубликовано в наст. изд.

КОНЦЕРТ КОНСЕРВАТОРИИ
(с. 533)

Русская мысль. 1950. 8 февр., № 213. С. 5.

[1] Русская консерватория была основана в 1923 г. в Париже эмигрантами-музыкантами, размещалась в особняке по адресу Авеню Нью-Йорк, 26, на берегу Сены напротив Эйфелевой башни.

[2] Давыдова Мария Самойловна (1889—1987) — оперная певица, педагог. Участвовала в спектаклях Русского балета С. П. Дягилева, пела в Русской опере в Париже и др. театрах. Профессор пения и режиссер оперного

класса в Русской консерватории. Сотрудничала в газете «Русская мысль», опубликовала воспоминания о Ф. И. Шаляпине, Л. Н. Андрееве (1976).

Греч Вера Мильтиадовна (1893—1974) — артистка, режиссер, педагог. В 1922 г. после гастролей в Америке и Берлине осталась в эмиграции. В составе Пражской группы МХТ выступала в разных странах Европы. После войны играла в парижских русских драматических театрах. Вела драматическую студию в Русской консерватории в Париже (1949—1952). В 1952—1955 гг. работала в Англии.

Карандакова Нина Юрьевна (1903—1983) — оперная певица (драматическое сопрано), педагог. В 1918 г. эмигрировала в Финляндию, в 1926 г. переехала во Францию. Пела в Русской опере. После Второй мировой войны гастролировала в Европе и Африке. Профессор Русской консерватории в Париже. Регент хора Св.-Николаевской церкви в Булонь-Бийанкуре (под Парижем).

Поземковский Георгий Михайлович (1892—1958) — певец (тенор), педагог, режиссер, музыкальный деятель. Артист русских оперных театров в Париже, пел в спектаклях с Ф. И. Шаляпиным во время его парижских гастролей. Вел оперный класс и класс сценического искусства в Русской консерватории.

Бакланова Милада Эдуардовна (1904—1989) — певица (сопрано). Училась в Русской консерватории в Париже по классу пения, выступала в показательных концертах и оперных спектаклях консерватории и Российского музыкального общества за границей (РМОЗ). В 1950-е гг. пела в Русской камерной опере в Париже.

Лушникова Елизавета Глебовна (1914—1990) — певица, пианистка, педагог. Окончила Русскую консерваторию в Париже по классу рояля. В 1945 г. вошла в состав Русской оперы. Профессор Русской консерватории (с 1950). Член правления РМОЗ.

Агров Николай Николаевич (1902—1976) — оперный певец (бас), инженер. С 1928 г. жил в Париже, учился в Русской консерватории по классу пения, с 1930 г. выступал на сцене. В 1939—1941 гг. артист Русской оперы в Париже. После Второй мировой войны выступал в Русском театре при Союзе советских патриотов (1946—1947) и на других сценических площадках.

ВЕЧЕР ГЕОРГИЯ ИВАНОВА
(с. 534)

Русская мысль. 1953. 4 дек., № 612. с. 5.

Вечер Георгия Иванова прошел в зале РМОЗ (26, avenue de New York).

[1] Книга стихов «Розы» вышла в Париже в 1931 г.

[2] Стихотворение из цикла «Rayon de rayonne», вошедшего в книгу «Портрет без сходства» (Париж, 1950).

ВЕЧЕР ВЛАДИМИРА СМОЛЕНСКОГО
(с. 535)

Русская мысль. 1954. 7 июля, № 673. С. 5.

Смоленский Владимир Алексеевич (1901—1961) — поэт, прозаик, мемуарист. С 1922 г. обосновался в Париже. Член Союза молодых поэтов и писателей в Париже, в 1925—1931 гг. был председателем Союза. С 1932 г. член Объединения поэтов и писателей, в 1937 был избран в состав правления. Член правления (с 1955), вице-председатель Союза русских писателей и журналистов в Париже. Соредактор альманаха «Орион» (1947). Сотрудник газеты «Русская мысль». Выпустил в Париже книги стихов «Закат» (1931), «Наедине» (1931, 1938), «Собрание стихотворений» (1957).

[1] Марли Анна Юрьевна (1917—2006) — певица, поэт, композитор, танцовщица. В 1919 г. с семьей эмигрировала в Финляндию, в 1922 г. приехала во Францию, с 1935 г. — в Париже. С 1936 гю член французского Общества писателей и композиторов. В 1937 г. редакцией журнала «Иллюстрированная Россия» избрана «Вице-мисс Россия». Выступала в многочисленных концертах и благотворительных вечерах, в том числе в пользу Союза русских шоферов, Объединения русских сестер милосердия, Морского собрания и др. В 1941 г. переехала в Лондон. После войны выступала с концертами в Англии, Аргентине, Бразилии, Чили, США.

БОЛЕЗНЬ СМОЛЕНСКОГО
(с. 535)

Русская мысль. 1960. 5 апр., № 1508. С. 7.

[1] В эмиграции Вл. Смоленский работал на металлургическом и автомобильном заводах, во время Второй мировой войны — на часовом заводе в Аррасе.

В. А. Смоленский скончался 8 ноября 1961 г.

НАШ ВЕЧЕР <1961>
(с. 535)

Русская мысль. 1961. 14 дек., № 1773. С. 5.

17 декабря 1961 г. в зале РМОЗ состоялся литературно-музыкальный вечер к 120-летию со дня кончины М. Лермонтова. Б. Зайцев произнес вступительное слово. В 1939 г. Зайцев опубликовал статью «О Лермонтове» [9, 150—154].

[1] Клейбер Борис — норвежский историк и филолог, автор работ о творчестве Лермонтова. Составитель и редактор антологии «Fra russisk lyrikk» («Из русской поэзии». Осло, 1968).

[2] Щитков Александр Васильевич (1897–1971) – историк, общественный деятель, коллекционер. В эмиграции жил и работал в Бордо, затем в Париже, где в 1940-е гг. держал книжный магазин. Изучал историю российских войн, военную старину, медали.

[3] Березовская Любовь – певица (меццо-сопрано). Участвовала в концертах и благотворительных вечерах молодежных организаций зарубежья и Союза русских писателей и журналистов в Париже.

Дольницкий Зенон Кириллович (1896–1976) – певец (баритон), педагог. С 1947 г. преподавал в Русской консерватории, вел оперный класс и класс пения. В 1950–1953 гг. пел в Русской камерной опере в Париже.

Михеева (в браке Черноцова) Вероника Александровна (1916–2008) – оперная певица (сопрано). После революции эмигрировала с семьей в Прагу, затем переехала во Францию, жила в Ницце, с 1938 г. – в Париже. Выступала на многих оперных площадках, участвовала в спектаклях и концертах РМОЗ (1938–1954).

[4] Лабинский Александр Иванович (1894–1963) – пианист, дирижер, педагог. С 1923 г. в Париже, где на протяжении сорока лет выступал как солист и аккомпаниатор. С 1934 г. преподавал в Русской консерватории в Париже, руководитель ее оперного класса, с 1947 г. – заместитель директора.

ПУШКИН
(с. 536)

Русская мысль. 1962. 3 мая, № 1833. С. 1.

Концертный зал Плейель для концертов симфонической музыки на 1900 зрительских мест – один из самых больших залов, открыт в 1927 г. Здание включает в себя Большой зал, зал Дебюсси и зал Шопена на 500 мест, предназначенный для камерной музыки и различных вечеров.

[1] В статье «По поводу "Отцов и детей"» Тургенев утверждал, что стихотворение «Поэту» «каждый начинающий писатель должен вытвердить наизусть и помнить, как заповедь» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1982. Т. 11. С. 95).

БОЛЕЗНЬ Г. С. ЕВАНГУЛОВА
(с. 536)

Русская мысль. 1965. 6 февр., № 2266. С. 5.

Евангулов Георгий Сергеевич (1894–1967) – писатель. В эмиграции с 1921 г., жил в Париже; в 1930–1934 гг. – в Ницце. Участвовал в образовании ниццкого литературного кружка «Четверг», был его секретарем, выступал на его собраниях. Член Объединения писателей и поэтов, участвовал в его вечерах и собраниях. Сотрудничал в «Современных записках»,



«Новом журнале», «Новом русском слове», «Русской мысли». Опубликовал книги стихов «Белый духан» (Париж, 1921), «Золотой пепел» (Париж, 1925), роман в стихах «Необыкновенные приключения Павла Павловича Пупкова в СССР и в эмиграции» (Париж, 1946). Скончался 31 июля 1967 г. в Гамбурге.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛДАНОВА
(с. 537)

Русская мысль. 1967. 1 апр., № 2602. С. 7.

Вечер памяти М.А. Алданова проходил в зале РМОЗ.

[1] Мищенко Александр Львович (1888—1971) — юрист, журналист, драматург, общественный деятель. В 1920 г. эмигрировал в Югославию, в 1924 г. приехал в Париж. Работал в Американской библиотеке. Сотрудничал во французской и русской прессе, в том числе в газете «Русская мысль». Член приходского совета храма Знамения Божьей Матери. Член правлений РМОЗ (1952—1957), Союза русских писателей и журналистов (с 1961), Общества охранения русских культурных ценностей (с 1961). Член Ассоциации Тургеневской библиотеки.

[2] Греч Вера Мильтиадовна (1893—1974) — актриса, театральный режиссёр. Выступала в Пражской группе МХТ. В. Греч вместе с мужем П. А. Павловым преподавали сценическое искусство, имели собственную студию в Кембридже, получили широкую известность своими спектаклями в разных театрах мира.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ РЕМИЗОВА
(с. 537)

Русская мысль. 1968. 7 марта, № 2677. С. 9.

Десятилетие со дня кончины Ремизова было отмечено в Париже большим вечером памяти писателя. Одним из организаторов был Борис Зайцев — председатель Союза русских писателей и журналистов.

Незадолго перед тем Б. Зайцев опубликовал очерк «О Ремизове. К десятилетию кончины» (Русская мысль. 1968. 4 февр., № 2668) [6, 358—364] — развернутый мемуарно-аналитический текст, сочетающий биографический материал, литературно-критические оценки и портрет писателя.

МОНЖЕРОНСКИЙ БАЗАР <1967>
(с. 538)

Русская мысль. 1967. 30 нояб., № 2663. С. 9.

[1] Зёрнова Софья Михайловна (1899—1972) — педагог, общественный деятель, мемуарист. В 1921 г. эмигрировала через Константинополь в Юго-

славию. Окончила философский факультет Белградского университета (1925). В 1923—1931 гг. участвовала в создании и работе РСХД. В 1925 г. переехала в Париж. В 1932—1934 гг. заведовала бюро по приисканию труда для русских при РОВС. В 1935 г. основала в Париже Центр помощи русским беженцам, до 1969 г. была его председателем. В 1937 г. вошла в Координационный комитет Объединения благотворительных и гуманитарных организаций. Участвовала в проведении Дней русского ребенка. Член правления Федерации русской молодежи (1950).

[2] В 1953 г. С. М. Зернова приобрела на собранные пожертвования поместье в городке Монжерон под Парижем и устроила Русский детский дом. В нем воспитывались около ста детей — послевоенных сирот.

[3] В XI в. жена французского короля Генриха I Анна Ярославна купила в окрестностях нынешнего Монжерона участок земли для постройки загородной резиденции.

ВЕЧЕР СЕРГИЕВА ПОДВОРЬЯ (с. 538)

Русская мысль. 1968. 21 марта, № 2679. С. 11.

[1] Американский кафедральный собор во имя Святой Троицы построен в 1814 г. Принадлежит Епископальной церкви. Наряду с богослужениями выполняет культурно-просветительскую миссию — выставки, лекции, концерты церковных хоров.

[2] Евец Евгений Иванович (1905—1990) — музыкальный педагог, хормейстер. Учился в Варшавской консерватории (1933—1936). Служил регентом в Польше, Германии, Марокко. В 1962 г. переехал в Париж, где стал регентом Александро-Невского собора на улице Дарю и преподавателем основ музыкального знания и гласового пения.

Безиньян Рут — оперная певица (меццо-сопрано), выступала вместе с Хосе Каррерасом, Нелло Санти, Монтсеррат Кабалье.

Лебедева (Лебедева-Дардье) Людмила — оперная певица (сопрано). Окончила Русскую консерваторию в Париже, выступала в показательных концертах и оперных спектаклях консерватории и РМОЗ. Принимала участие в концертах и благотворительных вечерах. С 1956 г. — солистка Митрополичьего хора под управлением П. В. Спасского. С 1958 г. выступала перед пансионерами Русских домов в предместьях Парижа.

[3] Осоргин Николай Михайлович (1924—2014) — регент Свято-Сергиевского подворья, доцент по кафедре славянского языка Свято-Сергиевского богословского института. Продолжал дело отца, М. М. Осоргина — одного из создателей Свято-Сергиевского подворья, где служил псаломщиком и регентом.

ДЕТЯМ МОНЖЕРОНА
(с. 539)

Русская мысль. 1968. 28 нояб., № 2714. С. 10.

МОНЖЕРОНСКИЙ БАЗАР <1969>
(с. 540)

Русская мысль. 1969. 4 дек., № 2767. С. 10.

[1] Храм преподобного Серафима Саровского при Русском детском доме был построен в 1957 г. на пожертвования. При строительстве за образец была взята одна из церквей на Охридском озере в Македонии, в память о бабушке Анны Ярославны — византийской царевне из Македонской династии Анне (супруге Владимира Крестителя). Иконостас храма расписал Григорий Круг (1918—1969) — известный иконописец русского Парижа середины XX в.

АНКЕТЫ. ИНТЕРВЬЮ. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЮБИЛЕЯХ

О СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И О СЕБЕ
(с. 545)

Своими путями. Прага, нояб. 1925 / янв. 1926. № 10—11. С. 19.

Подборка «Русские писатели о современной русской литературе и о себе: Б. Зайцев, Д. Крачковский, С. Минцлов, М. Слоним, В. Ходасевич».

[1] Кастальский ключ — родник на горе Парнас, в Древней Греции почитался как священный источник, дарующий вдохновение поэтам и музыкантам.

1926 ГОД
(с. 546)

Последние новости. 1926. 4 янв., № 1748. С. 4.

В нескольких номерах газеты печатались ответы на анкету: «1926 год. Анкета среди писателей, ученых и политических деятелей». В том же номере от 4 января помещено объявление: «Подлинники настоящих ответов будут продаваться на балу “Встреча Новго русского года”, устраиваемом Комитетом помощи русским писателям и ученым 13 <числа> сего месяца в залах отеля “Лютеция”».

[1] Италия, возглавляемая дуче Муссолини, в 1920-е гг. превращалась в полицейское фашистское государство, в 1925 г. избирательный закон отменил парламентские выборы. В 1926 г., действительно, в итальянском уголовном праве появилось наказание смертью.

[2] Среди реформ правительства Кемаля Ататюрка, первого президента Турецкой республики, была и реформа головных уборов и одежды. 25 ноября 1925 г. был введен запрет на ношение традиционной фески и вместо нее обязательным стало ношение европейских головных уборов и одежды.

[3] Зайцев, вероятно, иронически намекает на период дипломатического признания советского государства, выразившегося в череде договоров: в 1924 г. были подписаны договоры с Великобританией, Италией, Норвегией, Австрией, Грецией, Швецией, Францией, Китаем; в октябре 1925 г. подписан советско-германский экономический договор.

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ «ВОЗРОЖДЕНИЯ» <1926>
(с. 546)

Возрождение. 1926. 11 янв., № 223. С. 3; 18 янв., № 230. С. 3; 4 фев., № 247. С. 4; 18 фев., № 261. С. 4; 4 марта, № 275. С. 4.

В 1926 г. газета «Возрождение» провела анкетирование ряда писателей-эмигрантов, ответы публиковались в пяти номерах. Анкета предварялась текстом редакции: «В целях ознакомления русского зарубежного читателя с основными сведениями о творчестве писателей, проживающих на чужбине, мы обратились с просьбой к писателям сообщить сведения по ряду интересующих вопросов. В настоящее время нами получено большинство ответов и мы приступаем к постепенному напечатанию их на страницах нашей газеты» (Возрождение. 1926. 11 янв., № 223. С. 3). Публикуются извлеченные из номеров газеты вопросы и ответы на них Б. К. Зайцева.

[1] Зайцев имеет в виду первый из очерков цикла «Прованс», посвященный городу Драгиньяну (Дни. 1925. 17 сент.). В публикации в заглавии очерка названия города нет.

[2] В книгу Зайцева «Novellen» (Берлин, 1923) вошли, наряду с «Рафаэлем», новеллы «Дон Жуан» и «Карл V».

[3] Роман Зайцева «Золотой узор» вышел на чешском (Прага, 1928), итальянском (Милан, 1930) и французском (Париж, 1933) языках.

[4] Роман «Дальний край» на японском языке издан в Токио в 1925 г.

КАК Я ПРОВЕДУ ЛЕТО <1926>
(с. 547)

Последние новости. 1926. 31 мая, № 1895. С. 3.

Ответ, в числе других, на вопрос газеты. Летом 1926 г. Зайцевы находились в имении своих друзей В. Б. и Ф. О. Ельяшевичей в Пюжет, близ города Драгиньян, департамент Вар региона Прованс.

ОТВЕТ НА АНКЕТУ «СЕГОДНЯ» <1928>
(с. 547)

Сегодня. 1928. 26 авг., № 230. С. 4.

В номере опубликованы ответы писателей под заголовком: «Русские писатели на отдыхе. Анкета парижского корреспондента “Сегодня” Андрея Седых».

[1] Повесть Зайцева «Анна» публиковалась в «Современных записках» в 1928 г., № 36—38.

[2] Первый съезд русских зарубежных писателей и журналистов прошел в Белграде в сентябре 1928 г., в нем приняли участие представители союзов русских литераторов в Берлине, Париже, Праге и Варшаве. Б. Зайцев был участником съезда.

[3] Под ответом Зайцева помещена фотография четы Зайцевых с подписью «Б. К. Зайцев на пляже в Порнише».

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЛЕОНИДЕ АНДРЕЕВЕ
(с. 547)

Москва. Чикаго, 1929. Сент., № 7. С. 3.

В номере журнала опубликованы материалы к 10-летию со дня смерти Л. Н. Андреева, в том числе подборка «Русские писатели о Леониде Андрееве».

КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Анкета «Иллюстрированной России» <1931>
(с. 548)

Иллюстрированная Россия. 1931. 22 авг., № 35. С. 14.

Ответы писателей на вопрос о том, как они проводят лето, в рубрике «Анкета Андрея Седых»

[1] «Жизнь Тургенева» печаталась в «Современных записках» в 1930—1931 гг (№ 44—47); отд. изд. — Париж, 1932.

[2] *Zaitzev B.* Anna / Traduit du russe par Ludmila Savitzky. Paris, 1931.

[3] Имеется в виду роман «Дом в Пасси» (Париж, 1935).

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЛЕНИНЕ?
(с. 548)

Числа. 1932. № 6. С. 282.

Ответы предварялись сообщением: «Редакция “Чисел” обратилась к ряду писателей с просьбой ответить на следующую анкету: Что вы думаете о Ленине. а) Личность; б) Деятельность; в) Стиль (литературный)». В но-

мере опубликованы ответы М. Алданова, Б. Зайцева, Н. Тэффи и Ю. Фельзена.

КАК ВЫ СТАЛИ ПИСАТЕЛЕМ?
Анкета «Иллюстрированной России» <1934>
(с. 548)

Иллюстрированная Россия. 1934. 8 дек., № 50. С. 6.

Подробнее о своей первой публикации и начале творческой деятельности Зайцев написал в заметке «Прыжок (Из автобиографии)» (1921) [1, 583–585].

[1] Фейгин Яков Александрович (1859–1915) — первый издатель-редактор «Курьера».

[2] Шулятиков Владимир Михайлович (1872–1912) — критик, переводчик, публицист, печатавшийся в «Курьере». Участник революционного движения, с 1903 г. член партии большевиков. Фриче Владимир Максимович (1870–1929) — литературовед. В «Курьере» вел рубрику «Очерки иностранной литературы». В период 1905–1907 гг. входил в состав литературно-лекторской группы Московского комитета РСДРП.

[3] Первая публикация Зайцева, рассказ «В дороге» — Курьер. 1901. 15 июля, № 193 (с ошибочной подписью П. Зайцев).

[4] В газете «Курьер» напечатаны рассказы Зайцева: «В дороге» (1901), «Земля», «Волки», «На станции», «Гора угрюмая» (1902), «Соседи», «Север» (1903).

ПИСАТЕЛИ О ЧЕХОВЕ
(с. 549)

Для вас. Рига, 1939. 6 авг., № 32. С. 17.

В номере журнала — материалы к 35-летию со дня смерти А. П. Чехова, в том числе подборка «Писатели о Чехове».

Н. ГОРОДЕЦКАЯ. В ГОСТЯХ У Б. К. ЗАЙЦЕВА
(с. 549)

Возрождение. 1931. 13 янв., № 2051. С. 4. Републ. в кн.: *Городецкая Н. Д.* Остров одиночества: Роман, рассказы, очерки / Сост. А. М. Любомудрова. СПб., 2013. С. 779–781.

Городецкая Надежда Даниловна (1901–1985) — писатель, журналист, переводчик, историк литературы. В 1930–1931 гг. опубликовала в «Возрождении» интервью с известными писателями-эмигрантами.

[1] Интервью записано в квартире Зайцевых в доме на рю Клод Лоррен, 11.

[2] В это время Б. Зайцев работал над книгой «Жизнь Тургенева» (вышла в 1932 г.).

[3] Беллетризованное житие «Преподобный Сергий Радонежский» Б. Зайцева вышло в 1925 г.

[4] Имеется в виду роман «Дом в Пасси» (1935).

В. УНКОВСКИЙ. У БОРИСА ЗАЙЦЕВА. НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ ТЕПЕРЬ НАШ ТАЛАНТЛИВЫЙ ПИСАТЕЛЬ? (с. 552)

Рубеж. Еженедельный журнал. Харбин, 1932. 16 апр., № 16. С. 3—4.

Полный заголовок материала: «У Бориса Зайцева. Над чем работает теперь наш талантливый писатель? От парижского корреспондента “Рубежа”». Дату интервью можно установить, исходя из текста под опубликованной там же фотографией Б. Зайцева: «На карточке известный писатель сделал надпись: “Сердечный привет журналу “Рубеж”. Бор. Зайцев. 2-го марта 1932 года”». В. Унковский опубликовал интервью в двух изданиях — «Рубеж» и «Новое русское слово», но тематика их заметно различается.

О В. Унковском см. комментарий к материалу «У заветной родной черты», с. 585.

[1] В 1926—1932 гг. Зайцевы жили в парижском районе Пасси на рю Клод Лоррен, 11. В феврале 1932 г. переехали в район Булонь-сюр-Сэн и поселились в съемной квартире из двух комнат в доме по адресу: рю Тьер, 110.

[2] Соллогуб (урожд. Зайцева) Наталия Борисовна (1912—2008) — общественный и церковный деятель, благотворитель, мемуарист. Дочь Б. К. и В. А. Зайцевых, жена А. В. Соллогуба. Окончила Парижский лицей имени Мольера. Жила по месту службы мужа в различных департаментах Франции. Принимала активное участие в деятельности многих эмигрантских организаций. Член РСХД. Хранитель архива и библиотеки Б. К. Зайцева, принимала участие в подготовке изданий его сочинений.

[3] Гальперин-Каминский Илья Данилович (1858—1936) — писатель, переводчик произведений русских писателей на французский язык и французских — на русский. Жил во Франции, преподавал в парижском лицее Кондорсе и Коммерческом институте. Исследовал наследие Тургенева, в частности, подготовил и издал «Письма И. С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям» (М., 1900).

[4] Свадьба Н. Б. Зайцевой и А. В. Соллогуба состоялась 6 марта 1932 г., венчание проходило в соборе Александра Невского на рю Дарю, венчал прот. Георгий Спасский. Свадьба описана В. А. Зайцевой в письме к В. Н. Буниной от 9 марта 1932 г., опубликованном в повести Зайцева «Другая Вера» [6, 438—439].

Соллогуб Андрей Владимирович (1906—1996) — доктор юридических наук; закончил службу в английском банке «Барклейз» в должности главного директора этого банка по Франции.

В. УНКОВСКИЙ. У БОРИСА ЗАЙЦЕВА (с. 555)

Новое русское слово. 1932. 1 мая, № 7035. С. 10.

Подзаголовок: «От собственного парижского корреспондента “Нового русского слова”».

NB! [1] Речь идет о И. Д. Гальперине-Каминском, см. о нем примеч. 3 на с. 000.

[2] В 1931 г. Япония вторглась в Маньчжурию и в 1932 г. установила там марионеточный режим, что представляло угрозу безопасности СССР. С весны 1932 г. началось наращивание советского военного присутствия в этом регионе и воссоздание Тихоокеанского флота. Однако Правительство СССР стремилось избежать вооруженного конфликта с Японией и проводило политику нейтралитета. Эти события освещались в эмигрантской прессе, в частности, «Последние новости» 20 апреля 1932 г. писали: «Отношения между Японией и СССР с каждым днем становятся все более напряженными. Если между большевиками и “независимой” Манчжурией вспыхнет вооруженный конфликт, вмешательство Японии станет неизбежным».

[3] В докладе «Русский вопрос на Дальнем Востоке», изданном отдельной брошюрой (Париж, 1932), А. И. Деникин детально проанализировал геополитическую обстановку и призвал русскую эмиграцию блюсти по мере сил национальные интересы России, используя все имеющиеся возможности. В этом проявилась его принципиальная позиция: необходимость поддержки Красной армии против любого иностранного агрессора. Мнения по этому вопросу в среде русской эмиграции разделились. «П. Н. Милюков в феврале 1932 г. сделал в Париже доклад “Дальневосточный конфликт и Россия”, в котором, касаясь планов Японии на Дальнем Востоке, отметил: “Мы не в состоянии при нынешних условиях сами бороться за нашу землю. Становиться же на другую сторону баррикад было бы для нас преступно”. Поэтому, по мнению Милюкова, русская эмиграция должна “желать, чтобы Советская власть оказалась достаточно сильной на Дальнем Востоке”. Позицию Милюкова в других эмигрантских изданиях поддержали А. И. Деникин, А. М. Кулишер, А. И. Гидони, В. Л. Богданович. Доклад Милюкова вызвал бурную реакцию в эмигрантской прессе. Против него ополчились представители не только правого, но и левого крыла эмиграции. <...> Для свержения диктатуры большевиков Керенский был готов на союз белоэмигрантов с японцами в войне против СССР» (*Аблова Н. Е.* История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина XX в.). Минск, 1999. Электронный ресурс: http://archive.li/XeOh).

РЕЧЬ В ДЕНЬ 25-ЛЕТИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (с. 556)

Последние новости. 1926. 14 дек., № 2092. С. 2.

12 декабря 1926 г. в Париже в клубе Союза русских литераторов и журналистов «Очаг друзей русской культуры» торжественно отмечалось 25-летие творческой деятельности Б. К. Зайцева. Председательствовал И. А. Бунин.

Информацию о юбилейном вечере опубликовали газеты «Руль» (1926. 14 дек. С. 4) и «Возрождение» (1926. 14 дек. С. 3). Речь Зайцева передана в них так:

«Я песчинка, а вот есть Россия. Скажем про себя о ней: Господи, помоги России! Вот возьмем сосредоточимся и на одну минуту помолчим и вспомним о тех, что там, кто страдает».

Несколько полнее была изложена речь в очерке С. Яблоновского «Блаженный» (Руль. 1926. 19 дек. С. 6), посвященном тому же событию:

«Что я? Песчинка. <...> Есть большее: есть Россия. <...> Давайте сейчас, на одну минуту, забудем обо всем; все разом прекратим думать и заботиться о другом и сосредоточим все усилия нашей воли и мысли на России. Пошлем ей сейчас нашу душевную радиотелеграмму. Все разом скажем внутри себя свое пожелание ей. Кто какими словами может. Для меня это будут слова: "Господи, помоги России"; для каждого — свои, но давайте сейчас, одну минуту — все вместе» [11, 346—347].

Наиболее полный репортаж о чествовании Зайцева был опубликован в газете «Последние новости» (1926. 14 дек.), он подписан «Н. П. В.» — инициалами Николая Платоновича Вакара (1894—1970), секретаря редакции этой газеты, зав. отделом информации.

«Речь Б. К. Зайцева» — фрагмент этого репортажа. Публикуем его целиком, место данного фрагмента обозначено отточием.

Чествование Б. К. Зайцева

12 декабря в «Очаге друзей русской культуры» было устроено торжественное чествование 25-летнего юбилея литературной деятельности Б. К. Зайцева.

Чествование явилось подлинным праздником русской культуры за рубежом. Имя Б. К. Зайцева соединило вокруг себя едва ли не всю эмиграцию в лице всех современных литературных изданий за рубежом и виднейших представителей русской культуры в изгнании. Письменные и телеграфные приветствия из всех стран беженского рассеяния внушительной грудой ждали оглашения в конце банкета; проживающие в Париже представители русской литературы и искусства собрались на банкет, едва вместивший ограниченное число приглашенных.

За шестью громадными столами вокруг юбиляра — сотрудники «Последних Новостей», «Возрождения», «Дней», артисты пражской труппы Московского художественного театра, Н. Д. Авксентьев, М. К. Адамов, М. А. Алданов, И. П. Алексинский, А. С. Альперин, Г. М. Арнольди, В. Н. Бунина, Нина Берберова, Н. А. Бердяев, М. В. Вишняк, З. Н. Гиппиус, А. Т. Гречанинов, Д. Н. Григорович-Барский, Н. Х. Денисов, М. А. Добужинский, В. В. Зензинов, Георгий Иванов, П. К. Иванов, С. А. Иванов, Н. П. Кошиц, П. Е. Ковалевский, К. Коровин, Б. А. Лазаревский, О. Леванши-Жданова, С. В. Лурье, А. С. Милюкова, П. Н. Милюков, В. А. Маклаков, М. С. Маргулиес, С. Маслов, Д. С. Мережковский, П. А. Нилус, кн. В. А. Оболенский, Е. Н. Рощина-Инсарова, В. В. Руднев, П. Я. Рысс, К. К. Парчевский, А. А. Плещеев, С. А. Смирнов, П. Б. Струве, И. Д. Сургучев, В. Н. Сперанский, Н. А. Тэффи, П. А. Тикстон, А. А. Титов, С. В. Федорова 2-я, В. Ф. Ходасевич, М. О. Цетлин, С. В. Яблоновский (Потресов) и др.

Оркестр, помещенный на эстраде, торжественно встречает юбиляра, с семьей вошедшего в зал; собравшиеся, стоя, приветствуют его длительной овацией.

Председательствующий на банкете акад. И. А. Бунин в кратком слове выражает чувства собравшихся и трижды лобызается с «другом и собратом».

Речи

Первым говорит от имени «Очага друзей русской культуры» *кн. В. А. Оболенский*, подымающий бокал за «знаменосца русской культуры».

Н. Д. Авксентьев от имени редакции «Современных записок» в глубоко прочувствованной речи говорит о том, что дорого ему в Б. К. Зайцеве, «как читателю»: о творческом приятии жизни, о любви, претворяющей жизнь.

П. Н. Милюков приветствует юбиляра от имени Союза русских писателей и журналистов в Париже и от имени редакции «Последних новостей»: товарища по Союзу и сотрудника по газете. Он отмечает «необычайную скромность» Б. К. Зайцева как писателя, нежелание утверждать себя; эти качества Б. К. Зайцев склонен вменять себе в недостаток, но именно сегодня они имеют свое блестящее оправдание: внутренний огонь, горящий в Б. К. Зайцеве и направляющий его художественное творчество, сделал его «нашим общим душевным центром».

От имени редакции «Дней» *В. В. Зензинов* желает Б. К. Зайцеву, как москвичу, встретиться в Москве; приветствуя юбиляра от имени редакции «Руля», *С. В. Яблоновский (Потресов)* характеризует Б. К. Зайцева как художника и писателя.

П. Б. Струве от имени редакции «Возрождения» говорит, «как читатель и почитатель», сравнивает Б. К. Зайцева с Карамзиным, противопоставляя его «чувствительность» — «холодности» Бунина и Вал. Брюсова, и особенно благодарит его за «воссоздание в изгнании родных русских святынь».

В кратких речах *М. Л. Кантор, С. С. Маслов, П. Я. Рысс* излагают приветствия юбиляру от редакций «Звена», «Родного Слова» (Варшава) и «Борьбы за Россию».

Речи сменяются и чередуются с исполнением русских музыкальных отрывков. Место у рояля занимает *А. Т. Гречанинов*, и *Н. П. Кошиц* исполняет написанный композитором экспромт, посвященный Б. К. Зайцеву: «Легкозвонный стебель», на слова К. Д. Бальмонта.

Снова следуют речи: *М. А. Алданов* приветствует своего товарища по Комитету помощи писателям и ученым; *Б. П. Вышеславцев* говорит от имени издательства YMCA Пресс о «благородных особенностях творчества» Б. К. Зайцева. Его сменяет *А. М. Черный,* читающий свои посвященные юбиляру стихи. От имени Союза молодых поэтов и писателей *Ант. Ладинский* рассказывает о том, чем молодые писатели и поэты, путь которых труден и тяжел, обязаны Б. К. Зайцеву как своему другу и учителю...

После речей *М. К. Адамова, Б. А. Лазаревского, В. Н. Сперанского* и других, *С. Ф. Штерн* оглашает многочисленные приветствия, полученные ко дню юбилея и подымает бокал за «спутницу жизни, помощницу и музу» юбиляра В. А. Зайцеву.

Телеграммы и приветствия

За невозможностью перечислить и привести содержание всех полученных Б. К. Зайцевым письменных приветствий и телеграмм, отметим главнейшие: от митрополита Евлогия; от редакций газет «Сегодня», «Русского Времени», «Слова», «Руля» и др.; от редакций журналов «Перезвоны» (Рига), «Своими путями» (Прага), «Родное Слово» (Варшава), «Новая Неделя» (Рига), «Новая Нива» (Рига); от Республиканско-демократического объединения в Париже, Союзов писателей и журналистов в Чехословакии, Югославии и Германии, от YMCA в Париже, от Русского академического союза и Русской академической группы в Париже, от Народного университета, от Союза русских шоферов, от литературного кружка «Далиборка» (Прага); от В. Н. Муромцевой, И. П. Демидова, А. Амфитеатрова, П. П. Муратова, Л. Столицы, от Общества русских студентов для изучения и упрочения славянской культуры, от Е. Д. Кусковой, Е. М. и А. И. Куприных, А. М. Ремизова, В. Ф. Зеелера, Н. Ф. Балиева, Сергея Кречетова, А. Ф. Даманской, поэта Д. Ратгауза, Д. Крачковского, Ф. А. Степуна, Е. А. Ляцкого, Ю. Айхенвальда, М. Н. Германовой, Е. Н. Чирикова, И. С. Шмелева, И. В. Гессена и др.

Речь Б. К. Зайцева <...>

Концертные выступления

По окончании банкета в импровизированном концертном отделении с шумным успехом выступили М. А. Спиридович, С. В. Федорова 2-я,

Е. Н. Рощина-Инсарова, читавшая стихотворения Н. А. Тэффи, и др. Снова к роялю сел А. Т. Гречанинов, и под его аккомпанемент Н. П. Кошиц исполнила «Колыбельную», «Степью иду я унылой» и др. вещи композитора. Поздно после полуночи, когда гости разошлись, в одной из верхних зал собрались ближайшие личные друзья Б. К. Зайцева во главе с И. А. Буниным и продолжали чествование юбиляра в дружеском интимном кругу.

Н<иколай> П<латонович> В<акар>.

Последние новости. 1926. 14 дек. С. 2.

В редакции газет Б. Зайцев направил благодарственное письмо:

«М<илостивый> г<осударь> редактор, позвольте при посредстве Вашей уважаемой газеты выразить глубокую благодарность всем, проявившим ко мне доброе внимание – присылкой писем, телеграмм, личными поздравлениями – в день моего юбилея. Бор. Зайцев» (Возрождение. 1926. 18 дек. С. 4; Дни. 1926. 18 дек. С. 2; Последние новости. 1926. 18 дек. С. 2).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ТОРЖЕСТВЕ ПО СЛУЧАЮ 85-ЛЕТИЯ (с. 557)

Беседы о русской зарубежной литературе / Сост. В. Вейдле. Париж, 1967. С. 27.

В Париже состоялось торжественное собрание, посвященное 85-летию Б. Зайцева. Фрагменты выступлений Г. Газданова и проф. Пьера Паскаля опубликованы в разделе «Старейший писатель зарубежья» того же сборника на с. 24–27.

БЛАГОДАРНОСТЬ <1957> (с. 557)

Русская мысль. 1957. 12 марта, № 1028. С. 5.

Б. Зайцев благодарит всех, выразивших сочувствие в связи с болезнью жены – 2 февраля 1957 г. В. А. Зайцева перенесла инсульт.

БЛАГОДАРНОСТЬ <1963> (с. 557)

Русская мысль. 1963. 5 янв., № 1939. С. 3.

Благодарность помещена вслед за опубликованным здесь же очерком Б. Зайцева «Далекое» (о Помголе).

СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Издания, в которых публиковались включенные в данную книгу тексты Б. К. Зайцева

Вестник русского студенческого христианского движения (Вестник РСХД). Париж, 1925 — по наст. время (с 1974 — Вестник РХД).

Возрождение. Газета. Париж, 1925—1940.

День русского ребенка. Ежегодный журнал. Сан-Франциско, 1934—1955.

День русской культуры. Однодневная газета. Париж, 1926. 8 июня.

Для вас. Еженедельный иллюстрированный журнал. (Рига, 1933—1940).

Дни. Ежедневная газета. Берлин, 1922—1925; Париж, 1925—1928.

Жизнь и суд. Еженедельный иллюстрированный журнал для всех. Париж, 1930.

Заря. Ежедневная газета. Харбин, 1920—1943.

Звено. Литературно-политическая газета; с 1926 — журнал. Париж, 1923—1928.

Златоцвет. Ежемесячный литературно-художественный журнал. Берлингейм, Калифорния, 1962—1963.

Иллюстрированная Россия. Журнал. Париж, 1924—1939.

Курьер. Ежедневная политическая и литературная газета. Москва, 1897—1904.

Москва. Журнал. Чикаго, 1929—1931.

Народоправство. Еженедельный журнал. Москва, 1917—1918.

Наш мир. Иллюстрированное воскресное приложение к газете «Руль». Берлин, 1924—1925.

Новая жизнь. Журнал литературы, науки и общественной жизни. Санкт-Петербург, 1910—1916.

Новая русская книга. Ежемесячный журнал. Берлин, 1921—1923.

Новое русское слово. Газета. Нью-Йорк, 1920—2010.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1942 — по наст. время.

Новый путь. Ежемесячный журнал. Санкт-Петербург, 1903—1904.
Новый путь. Ежемесячная газета. Женева, 1932—1940.
Огоньки. Детский журнал. Париж, 1932—1933.
Опыты. Литературный журнал. Нью-Йорк, 1953—1958.
Перезвоны. Литературно-художественный журнал. Рига, 1925—1929.
Помощь: Бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. Москва, 1921.
Последние новости. Ежедневная газета. Париж, 1920—1940.
Рубеж. Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Харбин, 1926—1945.
Русская мысль. Газета. Париж, 1947—2008.
Русские записки. Общественно-политический и литературный журнал. Париж; Шанхай, 1937—1938; Париж, 1938—1939.
Русский инвалид. Военно-научная и литературная газета. Париж, 1924—1940.
Сверчок. Журнал для юношества. Париж, 1937—1939.
Своими путями. Литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал. Прага, 1924—1926.
Сегодня. Независимая демократическая газета. Рига, 1919—1940.
Современные записки. Общественно-политический и литературный журнал. Париж, 1920—1940.
Числа. Сборник литературы, искусства и философии. Париж, 1930—1934.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРКИ ОБ ИТАЛИИ

ОЧЕРКИ О ФИНЛЯНДИИ

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

СТАТЬИ О ТЕАТРЕ

МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ

ПОРТРЕТЫ-НЕКРОЛОГИ

ОЧЕРКИ О ДУХОВНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

ОЧЕРКИ О ГЕРОЯХ. ЛИРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ЭССЕ. ЗАМЕТКИ К ЦЕРКОВНЫМ ПРАЗДНИКАМ

ПОЛЕМИКА. ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

РЕЦЕНЗИИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРИВЕТСТВИЯ

ОБРАЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

АНКЕТЫ. ИНТЕРВЬЮ. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЮБИЛЕЯХ

Согласно Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»,
«книга предназначена для детей старше 16 лет»

На обложке воспроизведен портрет Б. Зайцева работы Н. П. Ульянова из издания: Золотое Руно. 1909. № 1. Для вклейки использованы фотографии из парижского архива Б. К. Зайцева, опубликованные в кн.: *Ростова О. А.* «Напишите мне в альбом...» Беседы с Н. Б. Соллогуб в Бюсси-ан-От. М., 2004 (листы 1, 2), а также из изданий: Русский Париж. 1910—1960. СПб., 2003 (лист 8); Литература в лицах. Фотографии русских писателей из собрания Государственного Литературного музея. 1850—1916. М., 2008 (лист 12).

Научно-популярное издание

Борис Константинович Зайцев

ОТБЛЕСКИ ВЕЧНОГО

Неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью

Составитель:
Алексей Маркович Любомудров

Корректор *Т. Л. Самсонова*
Компьютерная верстка *С. В. Степанова*
Художественное оформление *С. А. Гавриловой*

Формат 60 × 88 $^1/_{16}$. Гарнитура Octava. Печ. л. 46,00.
Тираж 300 экз. Зак. №2807

E-mail: rostokbooks@yandex.ru
URL: http://www.rostokbooks.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

Отпечатано: ИП Варваркин
199155 Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, 17, к. 3

Нам дано огромное укрепление и счастье — в родных святынях. То, что самое важное и единственно великое в России, этого не отнять никаким политикам и никаким партиям. Оно с нами, в нашей душе и сердце.

Бор. Зайцев.

Впервые публикуется более двухсот произведений классика русского зарубежья Б. К. Зайцева: рассказы, очерки, воспоминания, статьи, рецензии, критика и публицистика. Они увидели свет в редких дореволюционных изданиях и в эмигрантской периодике, до сих пор не переиздавались и современному читателю не известны.